АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ПРОТИВ АНТИМАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ПРОТИВ АНТИМАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

СБОРНИК СТАТЕЙ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА 1940 ЛЕНИНГРАД



Редакторы: Ц. М. Подгорненская и К. М. Панков

Технический редактор И. П. Пошешулин Корректор Х. М. Копман

Сдано в набор 13/XI 1939 г. Подписано к печати 19/IV 1940 г. Формат 60×92 1/16.
Объем 31 3/4 п. л. В 1 л. 46 000 печ. зн. 35,83 уч.-изд. л. Тираж 15 000 экз. А-22916.
АНИ № 1472. РИСО № 1282. Заказ № 1338.

Набрано и сматрицировано в 1-ой Образц. тип. Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

Отпечатано с матриц на 3-ей ф-ке книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Собранные в настоящем втором сборнике статьи дают критический разбор антимарксистских взглядов Покровского по различным вопросам истории СССР, частично освещенным и не освещенным вовсе в первом сборнике, вышедшем в 1939 году.

На ряду с выяснением методологических и фактических извращений в концепции Покровского и его «школы», авторы статей показывают влияние буржуазной исторической науки на трактовку Покровским кардинальных вопросов истории СССР.

В качестве общего введения печатается статья акад. Ем. Ярославского «Антимарксистские извращения и вульгаризаторство так называемой «школы» Покровского».

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ

АНТИМАРКСИСТСКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ И ВУЛЬГАРИЗАТОРСТВО ТАК НАЗЫВАЕМОЙ „ШКОЛЫ“ ПОКРОВСКОГО [1]

Одной из задач, которые ставил себе ЦК ВКП(б), создавая «Краткий курс истории ВКП(б)», является необходимость освободить марксистскую литературу от упрощенчества и вульгаризации в толковании ряда вопросов теории марксизма-ленинизма и истории партии.

В чем выражалась эта вульгаризация? В своем постановлении «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» в ряду примеров этой вульгаризации ЦК ВКП(б) указывает и на тот факт, что:

«В исторической науке до последнего времени антимарксистские извращения и вульгаризаторство были связаны с так называемой «школой» Покровского, которая толковала исторические факты извращенно, вопреки историческому материализму освещала их с точки зрения сегодняшнего дня, а не с точки зрения тех условий, в обстановке которых протекали исторические события и, тем самым, искажала действительную историю».

Еще раньше, в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 26 января 1936 г. об учебниках по истории отмечались многочисленные извращения, несостоятельные исторические определения и установки, имеющие «в своей основе известные ошибки Покровского». В этом постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР указывали, что «среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку».

А в замечаниях товарищей Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР, представленного группой учеников Покровского, также отмечен ряд крупнейших извращений: сваливание в одну кучу феодализма и дофеодального периода, смешивание самодержавного строя государства и строя феодального, когда Россия была раздроблена на множество самостоятельных полугосу-

---

[1] Статья акад. Ем. Ярославского первоначально была напечатана в «Правде» (от 12 января 1939 г.). Для настоящего издания статья дополнена автором.

дарств; сваливание в одну кучу понятий: «реакция» и «контрреволюция», революция «вообще», революция буржуазная и революция буржуазно-демократическая и т. д.

Все эти и подобные извращения в значительной степени представляют собой систему взглядов, свойственную всей «школе» Покровского и руководителю этой «школы» — самому М. Н. Покровскому.

I

М. Н. Покровский никогда не был последовательным сторонником диалектического и исторического материализма, а являлся сторонником экономического материализма. «Теория» экономического материализма представляет полную противоположность марксистскому пониманию истории. Эта «теория» все сложные и противоречивые события и факты общественного развития объясняет автоматическим действием экономики. Она фактически совершенно игнорирует классовую борьбу, сводя объяснение исторического процесса только к слепой силе стихийного экономического развития. Самый термин «экономический материализм» — буржуазного происхождения.

Известно, что Ленин не только отрицательно относился к термину «экономический материализм», но считал, что экономический материализм, упрощенно сводящий все содержание развития истории к экономике, есть вульгаризация, выхолащивание исторического процесса, отрицание роли передовых идей в истории, отрицание элементов сознательности, вносимых в рабочее движение извне. Еще в работе «Что такое «друзья народа»...» Ленин, полемизируя против народника Михайловского, писал: «Но где читали Вы у Маркса или Энгельса, чтобы они говорили непременно об экономическом материализме? Характеризуя свое миросозерцание, они называли его просто материализмом».[1] «Экономический материализм» был излюбленной теорией «легальных марксистов», экономистов и меньшевиков, стремившихся выхолостить революционную диалектику марксизма и использовать его для апологии капитализма. Вместо глубоко жизненной и единственно правильной теории исторического материализма, сторонники вульгарного экономического материализма изобретали абстрактные социологические схемы и применяли их с полным пренебрежением к подлинному историзму. Живую творческую деятельность и борьбу классов, партий, отдельных личностей они игнорировали. Так, например, меньшевики догматически, по-школярски, антиисторически отрицали руководящую роль пролетариата в русской буржуазно-демократической революции 1905 года на том основании, что в буржуазной революции, по их мнению, главной движущей силой должна быть буржуазия. Ленин показал теоретическую фальшь этого антиисторического и антидиалектического утверждения меньше-

[1] В. И. Ленин, Соч., I, 70.

виков. Ленин указывал, что меньшевики: «принижают материалистическое понимание истории своим игнорированием действенной, руководящей и направляющей роли, которую могут и должны играть в истории партии, сознавшие материальные условия переворота и ставшие во главе передовых классов».[1]

Покровский еще с конца 90-х годов стал на точку зрения «экономического материализма» в области исторической науки. Этот груз он принес с собою и в нашу партию. Находясь под идейным влиянием идеалиста Богданова, Покровский в своих исторических работах противопоставлял экономический материализм историческому. Пережитки этой идеологии остались у Покровского до конца жизни. «Кто прошел через легальный марксизм, — объяснял этот факт в 1930 г. сам Покровский, — тот обычно долго носил на себе след такой установки, известный пережиток, болезненный пережиток этого недиалектического, хотя и материалистического объяснения истории».[2]

Покровский в своих произведениях не стоял на точке зрения диалектического материализма, а проводил линию буржуазных и мелкобуржуазных «попутчиков» пролетариата, защищавших идеалистические взгляды.

«К нашей партии, — писал Ленин о такого рода примкнувших к пролетарскому движению деятелях, — в ходе буржуазно-демократической революции примкнул ряд элементов, привлеченных не чисто пролетарской ее программой, а преимущественно ее яркой и энергичной борьбой за демократию и принявших революционно-демократические лозунги пролетарской партии вне их связи со всей борьбой социалистического пролетариата в ее целом».[3]

В 1904 г. Покровский доказывал, что «действительность есть только наше представление. Мир есть совокупность наших «переживаний» [4]. Это была идеалистическая, махистская точка зрения. Венский физик Э. Мах и немецкий философ Р. Авенариус еще в 80-х годах XIX ст. выработали реакционную идеалистическую систему, названную Авенариусом «эмпириокритицизм». Мах пытался связать эту философию с естествознанием.

Подобно субъективным идеалистам Беркли и Юму, махизм считал, что в процессе познания люди имеют дело не с объективно вне нас существующим миром, а с «комплексами элементов опыта», т. е. с ощущениями. Новым термином «элементы опыта» махисты прикрывали свой субъективный идеализм, фактически стоявший в противоречии со всей современной им наукой.

В своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин показал, что мысль и ощущение не могут быть независимы от чело-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., VIII, 52.
[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 268.
[3] В. И. Ленин. Соч., XIV, 97.
[4] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 18.

века. «Ощущение без человека, до человека есть вздор, мертвая абстракция, идеалистический выверт».[1]

Махисты отрицали существование объективного мира и объективные законы природы. Мир, говорили они, представляет собой хаос элементов — ощущений. Из этого хаоса человеческое сознание конструирует мир и вносит в него закономерность. Покровский также представлял мир, как «хаос первичных ощущений». Как и махисты, он считал невозможным познать, а следовательно и изучать мир.

«Преодолеть хаос можно только одним путем: *упрощая его,* — писал Покровский в своей статье против Риккерта. — Из миллиона действительных и возможных впечатлений мы берем два-три, которые нам нужны для практических целей ориентировки. Если они выбраны удачно — дают возможность в краткой формуле охватить то, что составляет для нас сущность явления, — то, чем оно для нас важно, — этого достаточно».[2]

Отсюда ясно, что Покровский скатывался к идеалистической теории махизма. Против подобных идеалистических взглядов махистов и эмпириокритиков (Богданов, Базаров и др.) и была направлена гениальная книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

Покровский не признавал, что существуют объективные законы природы независимо от нашего сознания. Ленин же вслед за Марксом и Энгельсом писал: «Признание объективной закономерности природы и приблизительно верного отражения этой закономерности в голове человека есть материализм».[3] Покровский отрицал объективную закономерность. Он заявлял, что «закон — это даже не план действительности, не ее схема: это — ее мерка, масштаб».[4]

Покровский пошел еще дальше — он прямо призывал применять в области истории идеалистическое учение Маха о господстве принципа целесообразности. Покровский этим самым примыкает, с одной стороны, к буржуазной школе таких социологов, как Спенсер и др., и с другой — к вульгарным экономистам.

Таким образом, Покровский не освободился от влияния идеализма и экономического материализма даже и вступив в ряды большевистской партии. В дальнейшем, в период реакции 1908—1911 гг., его философия истории, развиваясь под влиянием Богданова, еще более отдалилась от исторического материализма. Влияние Богданова на Покровского было тем более велико, что не ограничилось одной теоретической областью. С 1907 по 1911 гг. Покровский был связан с Богдановым общей борьбой против Ленина и большевизма в рядах антиленинской фракционной группы «Вперед».

Группа «Вперед» призывала к созданию «пролетарской науки»

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIII, 186.

[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 23.

[3] В. И. Ленин. Соч., XIII, 127.

[4] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 23.

и «пролетарской философии», а по существу проповедывала махизм под названием *эмпириомонизма,* о котором Ленин писал: «Скрывается под этим псевдонимом *махизм,* т. е. защита философского идеализма под разными соусами (эмпириокритицизм, эмпириомонизм и т. д.)».[1]

Впередовцы в 1909 г. организовали свою фракционную школу на о. Капри, а в 1910 г. — в Болонье. Покровский был лектором в обеих школах и читал там курс истории России — от Петра до нашей эпохи.

Ошибки Покровского поставили его в период реакции в лагерь отзовистов, а позднее, в период империалистической войны, сблизили его с Троцким. После победы социалистической революции в России Покровский примыкал в 1918 г. к «левым коммунистам», т. е. к презренной группе бухаринцев и троцкистов.

Даже в период пролетарской диктатуры Покровский в одном из своих последних выступлений (1 декабря 1931 г.) рекомендовал не признавать объективной исторической науки. «И мой завет вам, — говорил Покровский, — не итти «академическим» путем, каким шли мы, ибо «академизм» включает в себя как непременное условие признание этой самой объективной науки, каковой не существует. Наука большевистская должна быть большевистской».[2] С одной стороны, как будто очень радикальное и правильное заявление: отбросьте академизм, отстаивайте партийность в науке. Но с другой стороны, — прямое заявление, что объективной науки не существует. Это заявление только на руку врагам марксизма-ленинизма. Оно дает повод врагам большевизма утверждать, что и большевистская наука не есть объективная наука, а это полностью противоречит марксизму-ленинизму.

II

Покровский и его «школа» учили, что «история есть политика, опрокинутая в прошлое». Это ведет к извращению исторической перспективы; исторические события берутся не в той связи, в какой они происходят, на них субъективно переносятся характеристики и оценка сегодняшнего дня, происходит модернизация истории. Так, например, Покровский в прокламации «Молодой России» 60-х гг. видел предугадывание событий пролетарской революции. Отряды Пугачева он сравнивает с красногвардейскими отрядами гражданской войны советского периода.

В погоне за парадоксальными рискованными аналогиями между современностью и отдаленным прошлым Покровский объявил, например, Чернышевского... меньшевиком — за программу «Великорусса».[3] А Ткачева, народнические и бланкистские взгляды которого

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 346.

[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 406. (Курсив мой. — Е. Я.).

[3] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 47, М., ГИЗ, 1927.

Маркс и Энгельс беспощадно высмеивали, Покровский называл «первым русским марксистом».[1]

Покровский преуменьшает огромную роль Ленина как историка России, тогда как ряд трудов Ленина — «Развитие капитализма в России» и позднейшие его работы, относящиеся и к революции 1905 года, и к периоду реакции, и к периоду империалистической войны, к эпохе Октябрьской Социалистической революции 1917 года и Советского периода истории СССР, — являются, как и работы товарища Сталина, ценнейшим вкладом в историческую науку.

Покровский игнорировал огромную роль большевистской партии как руководящей силы в революции. Он игнорировал роль народных масс и их героев в истории СССР.

Будучи членом коллегии Наркомпроса и заместителем народного комиссара просвещения, Покровский до 1922—1923 гг. совершенно отрицал необходимость изучать историю в школе. Поддерживая «левацкие» теории «отмирания» школы и теории «комплексного» преподавания, Покровский проводил ликвидаторские мероприятия в преподавании истории. Прикрываясь громкой фразой, что «марксизм и ленинизм ориентируются не на прошлое, а на будущее», Покровский отрицал самую необходимость изучения истории с древнейших времен.[2]

Именно Покровский был против последовательного хронологического изложения истории. Он даже уверял, что «хронологические даты не имеют ничего общего ни с какой действительностью».[3] Известно, что именно Ленин настоял на том, чтобы в школах изучали даты важнейших исторических событий, и Покровский вынужден был, *по предложению Ленина,* дать в своей книге «Русская история в самом сжатом очерке» — синхронистические таблицы.

Нечего и говорить, что вышеуказанная точка зрения Покровского на историю ничего общего не имеет с марксизмом-ленинизмом. Достаточно напомнить речь Ленина на III съезде РКСМ: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».[4]

Надо ли доказывать, как велик вред, нанесенный советской школе теориями и практикой Покровского и его учеников?

III

Ленин считал безусловным требование марксистской теории рассматривать историческое событие в определенных исторических

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 50. М. ГИЗ, 1927.

[2] М. Н. Покровский. Об обществоведении во 2-м концентре II ступени. Сб. «Вопросы школы II ступени», стр. 179. М., 1926.

[3] М. Н. Покровский. Историзм и современность в программах школ II ступени, стр. 5.

[4] В. И. Ленин. Соч., XXX, 407.

рамках, учитывая конкретные особенности, отличающие одну страну от другой в пределах одной и той же исторической эпохи.

В качестве основного понятия исторической науки Маркс и Ленин выдвигали учение об общественно-экономических формациях.

«Маркс, — писал Ленин, — положил конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс».[1]

У Маркса, как указывал Ленин, всякий исторический анализ и всякое обобщение вытекали не из субъективного отношения к ним, а из фактов, установленных «с точностью естественно-исторического наблюдения». Покровский не применял такого марксистско-ленинского подхода к изучению истории. Основным стержнем исторического процесса Покровский считал борьбу торгового и промышленного капитала. Его антиисторический метод стирает исторические грани всех эпох и событий и приводит к полному их извращению.

Обратимся к некоторым отдельным периодам русской истории в изложении М. Н. Покровского.

Покровский отрицает Киевский период существования русского государства. В то время как Карл Маркс особо выделяет Киевский период истории как период роста империи Рюриковичей на востоке Европы и проводит аналогию между Киевской Русью на востоке и империей Карла Великого на западе, — Покровский утверждает, что «говорить о едином «русском государстве» в киевскую эпоху можно только по явному недоразумению».[2]

Киевскую Русь Покровский рисует как бесклассовое общество. Он игнорирует при этом такие исторические документы, как «Русская Правда». Так, даже в издании 1929 г. «Русской истории в самом сжатом очерке» мы читаем: «Наказаний вначале не было, потому что городская Русь X—XI вв. еще *не знала общественных классов*». И вслед за этим, в полном противоречии с только что сказанным, мы читаем: «Наказания служат средством *для господствующего класса* поддержать свою власть и привилегии...[3] Общественных классов не было, а господствующий класс был. Над кем же господствовал этот класс? Этого Покровский не говорит.

К крещению Руси Покровский подходит не как историк, а как плохой пропагандист-безбожник. Он не дает никакого анализа тех

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 62—63.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 170, 1920.

[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 29. ГИЗ, 1929.

перемен, с которыми связано было крещение Руси: расширение связей Киевской Руси с Европой, проникновение письменности через церкви и монастыри, возникновение школ. Покровский все сводит к «внешней перемене»: «дело шло об изменении именно обрядов, а религиозные верования и до и после крещения оставались и тогда и гораздо позже, до наших дней — *анимизмом*...»[1]

Как будто дело шло только о культе, а не о культуре.

Оставляя в стороне неверное утверждение Покровского, будто «*до наших дней*» религиозные верования народа остались анимизмом, необходимо указать, что задача историка-марксиста состоит в том, чтобы восстановить действительную картину перемен в жизни древней Руси, в культуре древней Руси, которые были вызваны новыми, более расширенными связями, а этого ни сам Покровский, ни его ученики не сделали. Заслуга в постановке этих вопросов принадлежит, как известно, ЦК ВКП(б) — товарищам Сталину, Кирову, Жданову.

IV

Насилуя исторические факты, укладывая их в прокрустово ложе своей социологической схемы, Покровский стержнем всей русской истории считал *торговый капитал*. Заимствованную им у Богданова и легальных марксистов теорию торгового капитализма он пытался сделать универсальной отмычкой для решения всех вопросов истории. По его мнению, войны Киевской Руси — это войны торгового капитала; и борьба опричнины с боярами — это борьба торгового капитала; и восстание Емельяна Пугачева — это борьба торгового капитала («казацкого») против торгового же капитала (московского); и восстание декабристов — это борьба торгового капитала; и реформа 1861 года проводилась также под влиянием торгового капитала; и русско-японская война есть война торгового капитала; и последняя империалистическая война 1914—1918 гг. произошла в результате борьбы между двумя видами капитализма в России — торгового и промышленного.

Так искажая исторический процесс, Покровский не оставляет места для живой конкретной истории.

Некуда дальше итти в антиленинском извращении истории ради искусственно придуманной социологической схемы!

Покровский, считая себя марксистом, защищал в своих работах идеалистические теории. Так, в вопросе о феодализме он поддерживал идеалистическую теорию профессора Павлова-Сильванского. Вопреки учению Маркса и Энгельса, вопреки учению Ленина о смене общественно-экономических формаций, Покровский видел основную силу, создававшую Московское самодержавное крепостническое государство, не в классе феодальных землевладельцев, а в торговом

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 36, 1929.

капитализме. Он повторял, что в мономаховой шапке по русской земле ходил торговый капитал.

Лишь в 1931 г. Покровский признал, хотя и далеко не полностью, что в этом вопросе он ошибался.

В статье: «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России» Покровский указывал, что его концепция русской истории в основном никогда не расходилась с ленинской. «Но совершенно ясно, — признавался Покровский, — что в ряде отдельных формулировок, иногда очень важных, старые изложения этой концепции звучали весьма не по-ленински, а иногда были попросту теоретически малограмотны. Так, например, безграмотным является выражение «торговый капитализм»: капитализм есть система *производства,* а торговый капитал ничего не производит».[1]

Далее Покровский признал неправильность своей формулировки, что самодержавие это «торговый капитал в шапке Мономаха». Наконец, Покровский признал, что им «был недостаточно учтен и факт *относительной независимости* политической надстройки от экономического базиса». «Экономический материализм, — заключал перечень своих старых ошибок в 1931 г. сам Покровский, — не был еще мною изжит на все сто процентов, когда я писал и «Русскую историю», и «Очерк истории культуры», и даже «Сжатый очерк».[2]

Таким образом, «пересмотр» концепции у Покровского сводился только к тому, что он отказался от названия «торговый капитализм» и признал «преувеличения» по вопросу о самодержавии.

На самом деле, как было выше показано, *антиленинской* была вся его схема исторического процесса России, а не только отдельные ее частности. Это доказывает и самый общий анализ его ошибок по конкретным вопросам русской истории.

Как объяснял, например, Покровский, крестьянские восстания в России? И здесь у него «руководящая сила» — торговый капитал. Покровский и его «школа» виноваты в том, что в исторических работах, вышедших в период пролетарской диктатуры, эти крестьянские движения характеризуются презрительными терминами, пущенными в оборот крепостниками, — «пугачевщина», «разинщина» и т. д. При этом в своем многотомном труде «Русская история с древнейших времен» Покровский при изложении событий XVII в. ничего не говорит о восстании Степана Разина. В «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский уверяет, что восстание Степана Разина было «непосредственно связано с развитием торгового капитализма».[3]

Покровский пытался объяснить восстание Разина как столкновение между торговым капиталом периферии (Поволжье) и торговым капиталом центра (Москва). Другой представитель «школы» Покров-

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. I, 287.
[2] Там же, в. I, 289.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 80, 1929.

ского, оказавшийся врагом народа, — Меерсон, еще более углубил эти ошибки Покровского: в крестьянском восстании под руководством Пугачева он видел буржуазную революцию — борьбу торгового капитала колоний против торгового капитала метрополий. Под влиянием этой грубейшей вульгаризации истории сам Покровский в одной из статей, посвященных Пугачевскому восстанию, называет его ранней буржуазной революцией эпохи торгового капитала.

Исторические факты, однако, опровергают этот взгляд на узко-периферийный характер крестьянского восстания, под руководством Степана Разина, распространившегося на широкую территорию большей части центральной России. Ленин и Сталин высоко оценивали значение крестьянских восстаний в истории.

Напомним речь Ленина с Лобного места на Красной площади при открытии памятника Степану Разину. «Этот памятник, — говорил Ленин, — представляет одного из представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу».[1]

Напомним далее беседу товарища Сталина с Эмилем Людвигом:

«Мы, большевики, — сказал товарищ Сталин, — всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета. Для нас всегда представляло интерес изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства. Но, конечно, какую-нибудь аналогию с большевиками тут нельзя проводить».[2]

Покровский подчеркивал казацкий характер восстания Пугачева, смазывая его крестьянский характер. В некоторых же своих работах Покровский признавал восстание Пугачева ранней буржуазной революцией в России, явно антиисторически оценивая его движущие силы, программу и характер. При этом Покровский не мог удержаться от грубой модернизации, от сравнения отрядов Пугачева с партизанскими красногвардейскими отрядами гражданской войны в период пролетарской диктатуры, игнорируя огромную разницу эпох, обстановки, движущих сил двух совершенно различных и по форме, и по содержанию исторических событий. Отношение Ленина и Сталина к этим народным, крестьянским восстаниям, как мы видели, ничего общего не имеет с отношением к ним Покровского.

V

Покровский совершенно неправильно трактует такие важнейшие моменты русской истории, как татарское иго, польская интервенция в начале XVII в., отечественная война 1812 года и др. В уста-

[1] В. И. Ленин. Соч., XXIV, 271.

[2] Ленин и Сталин. Сб. произведений к изучению истории ВКП(б), III, 527, 1937.

новлении виновников и причин войны 1812 года Покровский рабски следует за таким ненадежным источником, как мемуары наполеоновского посла в Петербурге Коленкура. Именно этот наполеоновский шпион писал, что единственным виновником войны 1812 года явилось русское дворянство. Конечно, русские дворяне боялись проникновения революционных идей французской буржуазной революции в Россию. Но известно, что нашествие Наполеона на Россию было войной захватнической, грабительской, и именно потому, что это нашествие было захватническим, грабительским, оно вызвало отечественную войну, и против Наполеона поднялась вся Россия. Напомним, что писал Ленин в феврале 1918 г. об этой войне.

«Империалистские войны Наполеона продолжались много лет, захватили целую эпоху, показали необыкновенно сложную сеть сплетающихся империалистских[1] отношений с национально-освободительными движениями».[2] Не ясно ли, что Ленин считал отечественную войну 1812 года национально-освободительным движением?

Покровский игнорировал тот бесспорный факт, что армия Наполеона была разгромлена в результате героической народной войны против интервенции, и изображает этот разгром как результат неурядиц в самой наполеоновской армии и сильных морозов. Хороша неурядица, когда весь народ в России поднялся против захватчиков.[3]

Неисторическое, антимарксистское объяснение дал Покровский и *восстанию декабристов*. Известно, что Ленин считал восстание декабристов революционным. Ленин не раз высказывал глубокое уважение к декабристам, хотя и считал их «дворянскими революционерами».

«Чествуя Герцена, — писал Ленин, — мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена...»[4]

Ленин подчеркивал, что главное в движении декабристов — это их борьба против крепостничества и царского самодержавия. Он ценил республиканские стремления декабристов. Ленин гордился декабристами.

---

[1] Империализмом я называю здесь грабеж чужих стран вообще, империалистической войной — войну хищников за раздел такой добычи. (Прим. Ленина).

[2] В. И. Ленин. Соч., XXII, 287.

[3] Под влиянием М. Н. Покровского представитель его «школы», враг народа Пионтковский, фальсифицировал историю войны 1812 года. Он отрицал народный характер этой войны, отрицал борьбу крестьянства против иностранных захватчиков, клеветнически повторял вслед за мракобесом Руничем, что крестьянство восстало «за своих кур и гусей».

[4] В. И. Ленин. Соч., XV, 468.

А Покровский видел в декабристах только дворянское движение. «Никакие фразы, — писал он, — взятые из буржуазных конституций, не могут замаскировать того факта, что движение декабристов было, в сущности, дворянским движением».[1]

Ленин видит в декабристах дворянских революционеров, зараженных демократическими идеями Европы. У Покровского же декабрист только «обиженный самодержавием дворянин». Декабристы, по мнению Покровского, боролись за аристократический строй общества. В своих «Очерках по истории революционного движения» Покровский допускает ошибку и другого рода. Он идеализирует Пестеля — руководителя Южного Общества декабристов, и считает, что большевистская аграрная программа идет от... проекта Пестеля.

Не от Маркса, оказывается, идут большевики, а от мелкобуржуазного революционера — по характеристике самого Покровского — Пестеля. Занимаясь беспочвенными аналогиями и перенося точку зрения сегодняшнего дня на прошлое, М. Н. Покровский видит в Пестеле то отдаленного предшественника «величайшего практика революционера наших дней» — Ленина, то отождествляет Южное Общество с правыми эсерами.

«Правые эсеры — это группа Пестеля, левые эсеры — это группа «Соединенных славян». Подобная вульгаризация вовсе не помогала действительно научному изучению восстания декабристов. Причины поражения вооруженного восстания декабристов Покровский видит не в классовом составе участников этого восстания, а в колебаниях хлебных цен, которые в 20-х годах XIX столетия пошли на понижение, а поэтому-де восстание и не могло победить, так как дворянство в целом не хотело разрыва с крепостническим порядком.

VI

Народничество в изображении Покровского также получило неправильное антиленинское освещение. Ленин определял народничество как идеологию мелкобуржуазной крестьянской демократии. Народнический, утопический социализм — это крестьянский социализм. Само перерождение революционного народничества 70-х годов в либеральное народничество Ленин объяснял расслоением крестьянства, расколом деревни.

А Покровский отрицал эту ленинскую точку зрения, которая не могла не быть ему известной. «Народничество, — писал Покровский, — есть общественное мировоззрение мелкобуржуазной интеллигенции, — мировоззрение «грамотея-десятника», не позабывшего мужицкой избы, где он вырос, сознающего свою вину и свой долг перед

---

[1] К. Левин и М. Покровский. «Декабристы». История России в XIX веке. Изд. Гранат, I, 108—109.

народом, но все-таки командующего этим народом и смотрящего на народ сверху вниз».[1]

При этом надо отметить грубую ошибку, допущенную Покровским в первых изданиях только что цитированной книги. Покровский считал интеллигенцию особым классом, промежуточным между пролетариатом и буржуазией, и тем самым лил воду на мельницу махаевщины.

Совершенно антимарксистские взгляды находим мы у Покровского по вопросу о первой буржуазно-демократической революции 1905 года. Он сам объяснял, что это был для него период, когда у него окончательно рушились демократические иллюзии. Но и объяснение по поводу своих ошибок Покровский начал с новой ошибки: «Классовая борьба, благодаря 1905 г., из теории стала жизненным фактом — без нее уже нельзя понять исторического процесса».[2] Как будто до 1905 г. у нас не было классовой борьбы.

Прежде чем перейти к революции 1905 г., остановимся несколько на характеристике русско-японской войны в работах Покровского. И здесь опять на сцену появляется вездесущий торговый капитал. «Руководителем авантюры был торговый капитал».[3]

Вопреки Ленину и Сталину, которые установили, что царизм — это «военно-феодальный империализм», вопреки указанию Ленина, что в России в 1904—1916 гг. у власти была: «горстка крепостников-помещиков, возглавляемая Николаем II»,[4] — Покровский изображал эту войну как войну торгового капитала. Он совершенно неправильно изображал дело так, будто при дворе боролись два капитализма: один более мирный — промышленный — виттевский, а другой более грабительский — торговый капитал.

В лекциях «Внешняя политика России в XX веке» Покровский приводил нестерпимо грубую социологическую схему. По его словам выходило, что внешняя политика царизма в начале XX века якобы не была империалистической, потому что Россия только после 1906 г. — т. е. после русско-японской войны — вступила в полосу империализма.

То, что он не показал грабительских целей японского империализма, а изобразил дело так, что Япония только защищалась от хищнических устремлений царского правительства, несомненно, на руку японским империалистам. Такую же грубую ошибку Покровский допустил в оценке причин империалистической войны 1914—1918 гг.

Он делал крупнейшие ошибки в анализе причин революций 1905 и 1917 гг., именно потому, что не разделял ленинской теории империализма и неправильно представлял себе классовую сущность русского царизма. Впоследствии он сам признал, что в оценке импе-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 187, 1929.

[2] Под знаменем марксизма, № 10/11. 210, 1924.

[3] Сб. «1905 г.», I, 606.

[4] В. И. Ленин. Соч., XX, 570.



риализма, по крайней мере, до 1924 г., он «сидел между двумя стульями, концепцией Гильфердинга и концепцией Ленина...»[1].

Поэтому у Покровского не найти в его характеристике империализма такого важнейшего признака, как стремление империалистов к новому переделу мира.

Он совершенно неправильно характеризовал классовую сущность царизма. Вслед за Богдановым Покровский повторял, что царское самодержавие «не было вовсе остатком седой феодальной старины, а было созданием торгового капитализма, т. е. предыдущей стадии капиталистического же развития».[2]

Ленин, как известно, характеризовал царизм прежде всего как представителя интересов крепостников-помещиков. Ленин считал, что царская монархия есть средоточие ...«банды черносотенных помещиков (от них же первый — Романов)»...[3] Для Покровского царское самодержавие — это «политически организованный торговый капитализм».[4] Помещик для него — «агент торгового капитала».[5]

Выступая по существу против Ленина, Покровский заявляет, что «само объяснение самодержавия просто как верхушки крепостнического государства и больше ничего, — это объяснение недостаточно глубоко, оно оставляет нас в недоумении перед целым рядом вопросов».[6] Между тем, ленинская характеристика царизма диалектична, она отражает все изменения в экономическом, классовом и политическом развитии страны. Покровскому, вероятно, было известно, что Ленин в полемике с меньшевиками, троцкистами и другими оппортунистами отстаивал характеристику царизма как политического аппарата крепостников-помещиков? «Развитие русского государственного строя за последние три века показывает нам, что он изменял свой классовый характер в одном определенном направлении. Монархия XVII века с боярской думой не похожа на чиновничью-дворянскую монархию XVIII века. Монархия первой половины XIX века — не то, что монархия 1861—1904 годов. В 1908—10 гг. явственно обрисовалась новая полоса, знаменующая *еще один шаг* в том же направлении, которое можно назвать направлением к буржуазной монархии».[7] Ленин прекрасно видел, что самодержавие сделало шаг в сторону буржуазной монархии, но не стало еще ею. И когда меньшевики — Рожков, Ларин, Мартов, Ерманский и др., объявили царизм уже буржуазным, Ленин резко выступил против этого утверждения. Ленин признавал, что крепостники-помещики вступили в союз с вер-

---

[1] Под знаменем марксизма, № 12, 254, 1924.

[2] Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. Изд. 2-е, 126, 1927.

[3] В. И. Ленин. Соч., XV, 247.

[4] Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. Изд. 2-е, 10, 1927.

[5] Там же, 172, 1927.

[6] Там же, 14, 1924.

[7] В. И. Ленин. Соч., XV, 83.

хушкой банковой и торгово-промышленной буржуазии, но он решительно выступил против утверждения Ерманского, что русская буржуазия уже стала политически господствующим классом в полном смысле этого слова. «Это — сплошная фальшь, — пишет Ленин. — Тут забыто *и* самодержавие, *и* то, что власть и доходы остаются попрежнему в руках землевладельцев-крепостников. Г. Ерманский напрасно думает, что «*только* в конце XIX и начале XX века» наше самодержавие «перестало быть *исключительно* крепостническим». Этой «исключительности» не было уже в эпоху Александра II по сравнению с эпохой Николая I. Но смешивать крепостнический режим, теряющий свойства *исключительно* крепостнического, делающий шаги к буржуазной монархии, смешивать его с «полным господством представителей крупного капитала» совершенно непозволительно».[1]

В отличие же от меньшевистской фальсификации классовой природы русского самодержавия, объявляющей царизм диктатурой промышленной буржуазии, Покровский считал царское самодержавие диктатурой торгового капитала. Как меньшевики-ликвидаторы приходили во время столыпинщины к отрицанию буржуазно-демократической революции, так и оценка Покровским царизма делает фактически ненужным буржуазно-демократический этап русской революции. Недаром он впоследствии утверждал, что февральская революция положила фактически начало диктатуре пролетариата.

Покровский стоял по существу на реформистской точке зрения. Вопреки Ленину, утверждавшему, что буржуазно-демократическая революция в России нужна была для того, чтобы покончить с остатками крепостничества и расчистить путь для классовой борьбы в России, Покровский утверждал, что революция для этого была не нужна, а что для этого достаточно было правительственной реформы.

Покровский прямо утверждал, что круговая порука в деревне была отменена торговым капиталом и что якобы тот же торговый капитал в 1861 г. отменил и крепостное право, что в 1906 г. этим же торговым капиталом была будто бы ликвидирована и крестьянская община; а так как эта ликвидация проводилась самим царским правительством, то для этого, по мнению Покровского, «не нужна была революция, а достаточно было реформы».[2]

Ленин неоднократно указывал на то, что буржуазно-демократическая революция 1905 г. — это в значительной степени крестьянская революция, что аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России, это основной вопрос, который должна была разрешить русская революция, что самодержавие опиралось прежде всего на дворянское крупное полукрепостническое землевладение. Покровский же считал, что в революции 1905 г. шла ожесточенная борьба двух

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 499.

[2] Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. Изд. 2-е, 126, 1927.

форм капитализма — борьба торгового капитала с промышленным капиталом.

Совершенно неправильно Покровский рисовал и движущие силы первой буржуазно-демократической революции 1905 г. Ленин считал, что союзником пролетариата в революции, в его борьбе против помещика, против царизма, является все крестьянство; в борьбе за социализм союзником пролетариата является деревенская беднота. Покровский же считал одно время кулака «единственно политически восприимчивым слоем деревни, наиболее демократическим». Отсюда у Покровского — меньшевистско-троцкистская недооценка крестьянства в буржуазно-демократической революции.

VII

Опасной и вредной являлась и данная Покровским характеристика причин возникновения империалистической войны 1914—1918 гг. Покровский считал главным виновником мировой империалистической войны русское самодержавие и русскую военную клику. Германия, по мнению Покровского, не руководитель тройственного союза, который вел империалистическую политику, начиная с 80-х гг. XIX столетия, — а всего лишь обороняющаяся сторона. Эти вредные антимарксистские взгляды Покровский развивал в своих многочисленных статьях о происхождении мировой войны. Эти же взгляды популяризировали его ученики, эти же взгляды проводились в предисловиях к многочисленным публикациям документов по внешней политике. В 1915 г. Покровский читал реферат в парижском «клубе интернационалистов» на тему: «Виновники войны». В этом реферате, напечатанном с некоторыми изменениями в 1919 г., Покровский говорил, что «Германия не только не стремилась сама к захватам, но и мешала делать их своей гораздо более драчливой союзнице — Австро-Венгрии».[1]

Покровский утверждал, что Германия только потому и начала войну, что думала, будто «на нас хотят напасть». Он отрицал наличие захватнических планов у французского и германского правительств, отрицал наличие противоречивых интересов Германии и Англии. Главным виновником войны Покровский считал русских помещиков. Помещики будто бы соблазнили французских ростовщиков и английских консерваторов, и отсюда возникла война.

Выходит, что империя Вильгельма — невинная жертва. Такая версия была на руку Шейдеману и Носке, а теперь она на руку германским империалистам.

Эта теория Покровского явно смазывает также роль Англии в Антанте. Именно английские империалисты, любители загребать жар чужими руками, использовали царскую Россию в качестве резерва в борьбе с Германией за мировую гегемонию. У Покровского полу-

[1] М. Н. Покровский. Сб. «Империалистическая война», стр. 39, 1928.

чается наоборот — по его мнению решающую роль в Антанте играла царская Россия.

В последующих статьях об империалистической войне Покровский также не показал гнусной роли германского империализма и Англии как главных виновников войны и тем самым ревизовал взгляды Ленина и Сталина на войну 1914—1918 гг.

VIII

Февральско-мартовскую буржуазно-демократическую революцию 1917 г. Покровский считал «рабочей» революцией. Это чудовищно, но факт! «В марте 1917 г., — писал Покровский, — победила революция, несомненно, настоящая рабочая революция».[1] Покровский по-троцкистски «перепрыгивал» через этап буржуазно-демократической революции. «Февральская революция, — писал Покровский, — была... не только пролетарской революцией по социальному составу той массы, которая низвергла самодержавие и фактически стала у власти, но неизбежно была и социалистической революцией совершенно объективно».[2]

При этом Покровский клеветнически изобразил позицию Ленина и партии большевиков. Вслед за Троцким Покровский утверждал, что большевики в 1917 г. «перевооружились», что в 1917 г. Ленин будто бы не шел дальше буржуазно-демократической революции. Между тем, как известно, Ленин считал февральско-мартовскую революцию буржуазно-демократической революцией, прологом к социалистической революции, ступенькой к ней. Ленин считал ее лишь первым этапом революции, на котором она остановиться не может. Известно, что еще в 1894 г. Ленин поставил вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в коммунистическую и развил позднее это учение как учение о социалистической революции.

Известно, что Ленин в апрельских тезисах и еще раньше в «Письмах издалека», поставил задачу перехода к следующему этапу революции, к социалистической революции. А Покровский в 1924 г. писал, будто Ленин в апреле 1917 г. «ехал в Россию с убеждением, что социалистическая революция в России невозможна».[3]

Вопреки учению Ленина и Сталина о том, что главным и основным вопросом всякой революции является вопрос о завоевании власти, Покровский утверждал, что основным вопросом пролетарской революции является вопрос о постепенном процессе перехода производства в руки рабочих. Эти утверждения Покровского — люксембургианство чистейшей воды. Известно, что Роза Люксембург чисто меньшевистски изобразила социалистическую революцию не как акт воору-

---

[1] Очерки по истории революционного движения XIX и XX вв. в России. Изд. 2-е, 111, 1927.

[2] Там же, стр. 191.

[3] Вестник Коммунистической академии, № 7, 18, 1924.

женного восстания и захвата власти пролетариатом, а как процесс постепенного перехода капиталистического производства в руки рабочих. Покровский не понимал ленинского учения о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую. Поэтому он и трактовал февральскую революцию как социалистическую, а Октябрьскую — просто как высшую точку подъема революционного движения 1917 г. Он не мог поэтому показать, что Великая Октябрьская Социалистическая революция явилась прорывом слабого звена в цепи мирового империализма и что в результате обострения неравномерности экономического и политического развития в России открывается указанная Лениным еще в 1915 г. возможность для победы в ней социализма. Между тем, для Покровского победа социализма в СССР произошла вопреки экономическим законам. «При *чисто экономическом* объяснении, — говорил Покровский на конференции историков-марксистов в 1930 г., — при апелляции исключительно к законам экономики, игнорируя все остальное, нельзя было предсказать того, что действительно случилось, — что мы *прорвемся к социализму* сквозь всякие законы, *наперекор узко экономическим законам*».[1]

Так, внося «поправку» в свою теорию экономического материализма, Покровский пришел к прямому троцкистскому утверждению, что в России не было *экономических* условий для победы пролетарской революции и последующей победы социализма в нашей стране.

Покровский, стоя на позициях «левого коммунизма», не верил в возможность победы социалистической революции в одной стране. В «Известиях Московского Совета рабочих депутатов» (№ 199 за 1917 г.) Покровский писал: «Раз началась пролетарская революция, — она должна развертываться во всеевропейском масштабе, или она падет и в России. Окруженная империалистскими «державами», русская пролетарская крестьянская республика не может существовать. Такого «чуда» Европа не допустит!»

Хотя «Европа», т. е. капиталистический мир, действительно не хотела допустить такого чуда, однако оно совершилось, и советское социалистическое государство, вопреки троцкистскому утверждению Покровского, существует 23-й год! Оно растет и крепнет, и если действительно капиталистической «Европе» не нравится существование советского государства, то уничтожить его она не может: «сие от нее не зависит». Советское государство настолько окрепло, что оно способно дать сокрушительный отпор любой попытке капиталистической интервенции.

Чем объяснить, что Покровский допустил столь грубые антимарксистские извращения и ошибки в своих исторических трудах? Объясняется это тем, что Покровский — как он и сам не раз признавал — не был последовательным марксистом-ленинцем.

---

[1] Историческая наука и борьба классов, в. II, 269. (Курсив наш. — Е. Я.)

Покровский является учеником видных русских буржуазных историков — Ключевского, Виноградова и др. В 90-х годах прошлого столетия Покровский примыкал к «легальным марксистам» и в своих работах выступал как сторонник экономического материализма. В то время эти выступления имели известное прогрессивное значение, так как Покровский боролся против буржуазных и мелкобуржуазных историков, выдвигавших в качестве основной движущей силы истории географическую среду, или некий «дух», «национальный идеал» (например, славянофилы), «героев» и т. д.

Однако Покровский не сумел овладеть теорией марксизма-ленинизма и до конца преодолеть тяжелый груз идеалистических построений и схем Ключевского, Виноградова и других буржуазных историков.

Покровский и сам не отрицал, что период его деятельности до 1905 г. «можно охарактеризовать, как период демократических иллюзий и экономического материализма».[1] Покровский произвольно, совершенно неправильно «объясняет», почему он шел этим путем в те годы: «Классовой борьбы не было около нас — а с массами мы, академики, соприкасались мало. При том же классовая борьба принимала в те дни иной раз очень уродливые формы (зубатовщина); уложить их в нашу демократическую программу было очень трудно. Классовая борьба оставалась теорией и как чистая теория мало отражалась в исторических построениях...»[2]

Таким образом, Покровский все огромное, многообразное содержание классовой борьбы до 1905 г. свел к зубатовщине. Он не видел кругом классовой борьбы, не замечал ни широкого крестьянского движения начала 900-х годов, ни перехода рабочего движения от экономических стачек к стачкам политическим, к политическим демонстрациям. Это игнорирование исторических фактов чрезвычайно характерно для «школы» Покровского, — она стремилась втиснуть все содержание истории в заранее придуманные, не соответствующие историческим фактам, голые социологические схемы.

* * *

Покровский является автором ряда исторических работ. Его «Русская история в самом сжатом очерке» до последнего времени была единственным в советский период учебником по русской истории. Покровский руководил Институтом красной профессуры, под его руководством воспитывались кадры историков на протяжении целого ряда лет. Он руководил ГУСом (Государственным Ученым Советом), который вырабатывал и утверждал все программы, учебники, давал методические указания и т. д. Поэтому особенно важны разоблачение и критика антимарксистских взглядов Покровского.

---

[1] Под знаменем марксизма, № 10/11, 210, 1924.
[2] Там же.

Около Покровского ютилась и под его руководством на историческом фронте подвизалась целая группа врагов народа. Достаточно назвать такие имена, как Фридлянд, Ванаг, чтобы понять какой огромный вред принесли исторической науке эти «деятели» «школы» Покровского.

Мы показали лишь часть грубейших ошибок, допущенных Покровским и его школой.

«Краткий курс истории ВКП(б)» помогает разоблачить эти антиленинские установки исторической «школы» Покровского.

Необходимо самым основательным образом пересмотреть все наследство «школы» Покровского, вскрыть грубейшие ошибки, заключающиеся в его произведениях, и дать им надлежащую марксистско-ленинскую оценку.

Без этого полного разгрома «школы» Покровского нельзя развернуть подлинную марксистско-ленинскую историческую науку.

С. В. ЮШКОВ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ О РАННЕМ ПЕРИОДЕ РУССКОГО ФЕОДАЛИЗМА

I.

В общей схеме исторического процесса вопрос о генезисе феодализма имеет весьма важное значение. От выяснения этого вопроса зависит решение целого ряда крайне важных вопросов истории феодализма, в частности — о начале феодального периода, об основных способах установления феодальной ренты, о специфике феодального процесса и т. д. Генезис феодализма является как бы ключом для понимания общего хода общественно-экономического развития той или иной страны в феодальный период.

Как представлял себе М. Н. Покровский возникновение и первоначальное развитие феодализма?

Генезиса русского феодализма Покровский касался, главным образом, в «Русской истории с древнейших времен» (т. I), в «Очерке по истории русской культуры» (вып. 1) и в «Русской истории в самом сжатом очерке» (ч. 1). Позднее, в результате усилившейся в 1930 и 1931 гг. критики его работ, Покровский в статье «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России» пересмотрел свои взгляды на сущность феодализма, но дал лишь частичную критику своих ошибок.

Что понимал Покровский под феодализмом до появления его последней статьи «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России»?

В своем определении сущности феодализма Покровский ни одним словом не упоминает о взглядах основоположников марксизма-ленинизма. Он дает то определение феодализма, которое, по его словам, было усвоено *«современной»* ему наукой. Но для читателя ясно, что под «современной» наукой надо понимать науку буржуазную, так как именно она выработала отмечаемые Покровским три основных признака феодализма. Признаки эти, по формулировке Покровского, следующие: «Это, во-первых, господство крупного землевладения, во-вторых, связь с землевладением политической власти — связь настолько прочная, что в феодальном обществе нельзя себе представить землевладельца, который не был бы в той или другой степени государем,

и государя, который не был бы крупным землевладельцем, и наконец, в-третьих, те своеобразные отношения, которые существовали между этими землевладельцами-государями: наличность известной иерархии землевладельцев, так что от самых крупных зависели мелкие, от тех — еще более мелкие и так далее, — и вся система в целом представляла собой нечто вроде лестницы».[1]

Действительно, именно эти политико-правовые признаки феодализма и считались в буржуазной науке того времени (особенно после известных работ Павлова-Сильванского) основными. Покровский не делает попыток дополнить это определение, утвердившееся в буржуазной науке, указанием на наличие экономических моментов. Только уже в конце главы он совершенно неожиданно заявляет, что феодализм «*гораздо более* есть известная система хозяйства, чем система права. Государство сливалось здесь с барской экономией — в один и тот же центр стекались натуральный оброк и судебные пошлины, часто — в одной и той же форме: баранов, яиц и сыра; из одного и того же центра являлись и приказчик — переделить землю, и судья — решить спор об этой земле».[2] Не трудно видеть, что Покровский, хотя под конец признавший, что феодализм есть и система хозяйства, совершенно далек от марксистско-ленинского понимания феодализма как общественно-экономической формации. Он не понимал сущности феодального способа производства, форм феодальной эксплоатации. Он не исходит из учения Маркса о докапиталистической ренте. Он не привлекает тех ярких характеристик феодального государства и феодальной идеологии, которые имеются в сочинениях Маркса и Энгельса.

Более того, приходится признать, что некоторые буржуазные ученые гораздо глубже понимали вопрос о сущности феодализма, чем Покровский. В работах многих из них проблема феодального хозяйства и его специфики занимала важное место. Достаточно вспомнить имена Маурера, Инама-Штернега, Лампрехта и др. Да и Павлов-Сильванский, которого Покровский называл «неглубоким» исследователем, в своей работе о русском феодализме большое внимание уделял возникновению феодальной сеньерии и форм феодальной эксплоатации.

Если мы обратимся к другой работе Покровского — «Очерк истории русской культуры», то убедимся, что Покровский внес здесь мало нового в свое старое понимание феодализма.

Он только стал различать экономические и политические признаки феодализма, причем в этой работе основным и единственным политическим признаком он считал «соединение землевладения с властью над людьми, которые живут на земле данного землевладельца».[3]

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 30, 1933.

[2] Там же, 53.

[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 184. М.—Л., 1925.

Очень характерно, что в «Очерке по истории русской культуры» дается такая периодизация истории России: первобытное хозяйство, городское хозяйство, торговый капитализм, крепостное хозяйство, промышленный капитализм. О феодализации он говорит в отделе, посвященном центральной власти. Таким образом, в его периодизации для феодализма места не нашлось.

Еще поверхностнее и грубее Покровский определяет сущность феодализма в «Русской истории в самом сжатом очерке». «Сущность этих порядков, — говорит он о феодализме, — заключается в том, что вся земля со всем населением находится во власти небольшого количества военных людей, которые со своей вооруженной челядью господствуют над трудящимися классами».[1] Не трудно заметить, что под это определение можно подвести и рабовладельческие государства древнего Востока. Таким образом приходится признать, что, давая определение сущности феодализма, Покровский не только игнорировал высказывания классиков марксизма-ленинизма, но даже не учел достижений наиболее передовой буржуазной историографии.

Участвуя в дискуссии об общественно-экономических формациях, Покровский ни разу не выступал на широких собраниях с развернутой критикой своих взглядов и, в частности — взглядов на сущность феодализма. Он ограничивался только самокритическими высказываниями на семинарах ИКП и опубликованием вышеназванной статьи. Но и после Покровский продолжает утверждать, что «в основном» его концепция русской истории «никогда не расходилась с ленинской». Он признает лишь, что «в ряде отдельных формулировок, иногда очень важных, старые изложения этой концепции звучали весьма не по-ленински, а иногда были попросту теоретически малограмотны».[2] Следовательно, расхождение наблюдается только в формулировках, а не в концепции. Покровский стремится затушевать свои ошибки и в понимании феодализма. Он начинает с того, что «термин феодализм имеет разный смысл в исторической литературе и в марксистской теоретической литературе. Для последней феодализм есть общественно-экономическая формация, характеризующаяся определенными методами производства. Для историков феодализм не только это, а еще и определенная политическая система, известная форма государства».

Отсюда видно, что Покровский все еще стоит на позициях экономического материализма. Он все еще не понимает, что общественно-экономическая формация, говоря его словами, не только «характеризуется определенными методами (!?) производства», но вместе с тем есть и «определенная политическая система». Для историка-марксиста,

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 4-е изд., 28, 1933.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 252—253.

стоящего на позициях диалектического материализма, обязательно изучение и феодального способа производства, и политического строя.

Стремление всячески затушевать свои ошибки в особенности ясно проявляется в дальнейшем. Оказывается, Покровский потому ограничился юридико-политическим определением феодализма, что «господство у нас в старину феодальных методов продукции буржуазные историки не оспаривали. Не кому другому, как Виноградову, принадлежит известное определение, что в XIII в. «от берегов Темзы до берегов Оки господствовала одна и та же система хозяйства»».[1] Утверждение, что якобы в буржуазной историографии не было сомнений в распространении «в старину феодальных методов продукции» — неправильно. Именно в буржуазной историографии в конце XIX и начале XX в. утвердилось неверное представление, по которому община в России возникла в результате финансовых мероприятий Московского государства в XVI в., и значительная часть крестьянства жила на своих землях, принадлежащих ему на правах частной собственности.

В дореволюционной историографии господствовало мнение Ключевского о том, что крестьянство со времен переселения с Карпат жило отдельными дворами. Распространено было мнение и о том, что даже те крестьяне, которые своей земли не имели, были свободными арендаторами, а не феодально зависимым населением. Когда Самоквасов в своих работах стал доказывать закрепощение крестьян, начиная с XI в., то его взгляды были признаны оригинальным чудачеством. Ссылка же Покровского на Виноградова совершенно неубедительна. Виноградов был историком западно-европейского средневековья и не признавался авторитетом многими из русских историков.

После этой неудачной попытки оправдать свои ошибки Покровский формулирует свое понимание феодализма так: в основе феодальных методов производства лежит натуральное хозяйство. Феодальное имение ставит себе потребительские задачи — удовлетворение своих потребностей.[2]

Следовательно, и в этой статье, решая вопрос о сущности феодализма, Покровский принимает во внимание не способ производства, не форму феодальной эксплоатации, а распределение хозяйственных благ. В данной статье он главным образом стремится доказать, что наличие феодализма не исключает возможности товарного хозяйства. Анализ всех высказываний Покровского показывает, что он и в 1931 г. не отошел от позиций экономического материализма, не понял или не желал понять своих ошибок. Затушевывая свои старые ошибки, он делал новые.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» дана замечательная характеристика феодализма. В этой характеристике показаны все основные черты феодализма как общественно-экономической формации, подчеркнуто прогрессивное значение феодального строя по отношению к пред-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I. 256.
[2] Там же, 256.

шествующим способам производства (первобытно-общинный строй и рабовладельческий строй), а также его противоречия, развитие которых приводит феодализм к разложению, к гибели, к замене его новым, более прогрессивным способом производства. «При феодальном строе, — говорится в «Истории ВКП(б)», — основой производственных отношений является собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника производства, — крепостного, которого феодал уже не может убить, но которого он может продать, купить. На ряду с феодальной собственностью существует единоличная собственность крестьянина и ремесленника на орудия производства и на свое частное хозяйство, основанная на личном труде».[1]

II

Не владея методом диалектического материализма, игнорируя высказывания основоположников марксизма-ленинизма о сущности феодализма, Покровский неправильно подошел к вопросу о происхождении русского феодализма. Его понимание этого вопроса — пестрый и противоречивый комплекс взглядов, распространенный в то время в буржуазной историографии. Он пытался объединить (уже тогда получившие известность) взгляды Павлова-Сильванского со взглядами Леонтовича, Ключевского и др.

Конечно, первый вопрос, который должен был бы поставить всякий исследователь о генезисе феодализма, — это вопрос об общественно-экономическом строе, который предшествует феодализму и на основе разложения которого феодализм стал развиваться. Взгляды Покровского на этот предмет изложены в «Русской истории с древнейших времен», в главе «Следы древнейшего общественного строя».

В основном Покровский правильно ставит проблему. Он прежде всего выясняет вопрос о роли земледелия в хозяйственной системе восточного славянства. До него этот вопрос уже был поставлен и по-своему разрешен М. С. Грушевским в «Истории Украины-Руси». Убежденный, очевидно, доводами Грушевского, Покровский приходит к выводу, что славяне были земледельческим народом.[2] Но такое решение обязывает итти дальше и признать славян народом, находившимся на довольно высокой стадии общественного развития и культуры. Буржуазная же историография того времени держалась иных взглядов. Для нее развитие культуры восточного славянства связывалось с возникновением Киевского государства. Настаивать на противном значило подвергаться упрекам в возрождении славянофильских взглядов.

Покровский ищет выхода из того положения, в котором он очутился, позволив Грушевскому убедить себя. И он этот выход находит. Неожиданно и совершенно необоснованно, вопреки археологическим данным, он утверждает, что «просвещенные земледельцы-

[1] «История ВКП(б)», Краткий курс, стр. 120.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 13.

славяне жили, по всей видимости, в *каменном* веке». Он приводит следующие доводы в пользу этого неожиданного утверждения: «Все названия металлов у славян или описательные или заимствованные... Древнейшие славянские погребения в Галиции — все с каменными орудиями; металлы встречаются лишь в позднейших».[1]

Чтобы сделать такое ответственное утверждение в 1910 г., надо было подробно проанализировать лингвистические и археологические данные и опровергнуть выводы археологов, которые не только говорили о распространении в IX—X вв. металлических орудий, но и о высокой технике, изготовления их, даже о развитом ювелирном искусстве славян. Но Покровский этого не делает; утверждение, что славяне жили в каменном веке, ему нужно было для того, чтобы свести концы с концами и показать, что хотя славяне были земледельцами, но не могло быть и речи о более высоком уровне их общественно-экономического развития, как это представляли столпы буржуазной историографии. Покровский спешит сделать дальнейший вывод из этого положения. Оказывается, славяне-земледельцы как люди каменного века знали только примитивную сельскохозяйственную технику, именно — мотыжную. Вопрос о технике сельского хозяйства не ставился в буржуазной историографии. Но тем не менее лингвистические данные (например, слова, связанные с обработкой земли — орать, рало, нива и т. д. были или общеславянскими или же были распространены среди многих славянских племен) должны были бы побудить Покровского воздержаться от подобного категорического утверждения. Как известно, современные археологи подтверждают этот лингвистический прогноз о распространении земледелия в дофеодальный период Руси.

Покровский спешит сделать и дальнейшие выводы об основной общественно-экономической единице восточного славянства. Здесь — в буржуазной историографии того периода, когда Покровский писал свою «Русскую историю с древнейших времен», утвердился взгляд, что все прежние теории об *общественном строе* славян являются необоснованными, что славяне в зависимости от того, на какой территории они жили, развивались неравномерно. Так утверждали Платонов и Любавский, а за ними — их ученики и последователи. Покровский спешит отмежеваться от этих теорий и все же не может их преодолеть.

Что же делать? Быть может решить эту проблему по Любавскому и утверждать, что у славян мы находим следы и родовых отношений, и задружных, и общинных? Это был бы явный эклектизм, и Покровский не мог на это пойти. Покровский ищет выхода и находит его в работе А. Е. Ефименко о долевом землевладении на Севере России.[2] Эта весьма яркая и интересная работа была продолжена рядом иссле-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 14.

[2] «Крестьянское землевладение на Крайнем Севере» («Исследования народной жизни»), М., 1884.

дователей, например Ивановым. И Покровский использует работу Ефименко в своих целях. Он решается утверждать, что основной клеткой хозяйственной и социальной организации у славян в дофеодальный период было дворище или печище, т. е. большая семья.

Покровский отмечает, что данная форма землевладения составляет не только русскую, но и общеславянскую особенность: сербохорватская «задруга» или «великая куча» представляет собой, по мнению Покровского, полную параллель нашему архангельскому печищу или полесскому дворищу. Так, незаметно для себя, прорываясь через дебри разных теорий, выдвигавшихся и защищавшихся в исторической науке того времени, Покровский приходит по сути дела к задружной теории и утверждает то же, что Леонтович.

Покровский, совершенно игнорируя работы основоположников марксизма-ленинизма, прошел мимо работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Он считал, что процесс возникновения феодализма развивается не на основе разложения первобытно-общинного строя и сельской общины, а на основе разложения печищ и дворищ. Уже в следующей главе, посвященной феодальным отношениям в древней Руси, он отмечал, что к России неприложима установленная для западных стран схема возникновения феодальной собственности на основе разложения общинного землевладения. Затем он подробно развивает свои взгляды о том, что сельская община у нас не могла возникнуть в феодальный период. «Для того, чтобы возникла и у нас община с ее переделами, мало было тех финансовых и вообще политических условий, о которых нам придется говорить: нужна была еще земельная теснота, а о ней и помину не было в домосковской и даже ранней Московской Руси».[1]

Не трудно видеть, насколько эти взгляды о сельской общине противоречат высказываниям классиков марксизма-ленинизма и конкретному историческому материалу. Покровскому, отрицавшему существование сельской общины, ничего не оставалось делать, как утверждать, что у нас феодализм развился непосредственно на почве того коллективного землевладения, которое он определял, как первобытное землевладение «печищного» или «дворищного» типа. Отрицая существование в дофеодальный и даже в раннефеодальный период сельской общины и связывая процесс возникновения феодальной собственности с разложением печищного, т. е. по сути дела «большесемейного» землевладения, Покровский не мог уяснить себе всей сложности возникновения феодального способа производства. Вместе с тем Покровский не обладал нужным знанием источников Киевской Руси, не усвоил навыков кропотливого анализа летописных известий и «Русской Правды». Он неясно представлял себе, когда начался процесс феодализации. Если этот процесс идет на основе разложения печищного землевладения, то он мог начаться и в VII, и в IX в.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 35.

Поэтому Покровский не приурочивает возникновение феодализма к какому-нибудь периоду Киевской Руси. Для него первобытный общественный строй предшествовал древней Руси. Если считать, что древняя Русь — это синоним Киевской Руси, то, следовательно, процесс возникновения феодализма мог и должен был начаться с момента возникновения Киевского государства. Таким образом, Покровский по сути дела положил начало совершенно неправильному представлению о Киевской Руси как феодальной с самого момента своего образования. Как известно, эта неправильная концепция подверглась решительному осуждению в Замечаниях товарищей Сталина, Кирова, и Жданова на конспект учебника по истории народов СССР. Там говорится: «В конспекте свалены в одну кучу феодализм и дофеодальный период, когда крестьяне не были еще закрепощены».

По тем же причинам, т. е. вследствие антинаучной, немарксистской методологии, совершенно неправильного представления о процессе возникновения феодальной собственности, а также неудовлетворительного анализа источников Киевской Руси, — Покровский не дает ясного представления о том, как возникает феодальное землевладение. По сути дела он дает голую схему, которую подтверждает, главным образом, позднейшими данными, относящимися к XV—XVI вв. Так, он считает, что феодальное землевладение возникает путем пожалования князем деревень феодалам, путем прямого насилия, через задолженность крестьян. Но для того, чтобы князь мог жаловать земли своим слугам, надо было самому князю экспроприировать эти земли. Для того, чтобы осуществить насилие и закабалить крестьянство, надо превратиться в крупного землевладельца, в крупного феодала. Именно этого сложного процесса образования княжеского домена и боярщины, одну из главных сторон которого составлял грабеж общинных крестьянских земель (который до известной степени был объяснен Павловым-Сильванским в книге «Феодализм в древней Руси») — Покровский не смог уяснить.

В современной советской историографии, стоящей на позициях диалектического материализма, вопрос о возникновении феодального землевладения — при всей его сложности — в достаточной степени разрешен. Кроме пожалования, голого насилия и закабаления, мы наблюдаем и захват новой территории, и покупку земель и закладничество-патронат.

Хотя Покровский и неправильно объясняет возникновение феодального способа производства, тем не менее он не мог пройти мимо вопроса о формах феодальной эксплоатации. И здесь он крайне упрощенчески подходит к вопросу. Ясно, что учение Маркса о докапиталистической, феодальной ренте Покровский не усвоил. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать, например, его высказывания об оброке. Полемизируя с установившимися в буржуазной историографии взглядами о тождестве оброка и арендной платы, Покровский, вместо того, чтобы показать принципиальное различие между оброком

и арендной платой, неожиданно замечает: «Представление об оброке как особой форме арендной платы, приходится сильно ограничить».[1] Если бы Покровский следовал учению Маркса о докапиталистической ренте, он подчеркнул бы невозможность отождествления этих двух категорий. С другой стороны, Покровский совершенно не применяет терминологии Маркса, когда говорит о ренте. Он употребляет описательное и неуклюжее выражение: «крестьянин делится с барином продуктами своего хозяйства». Крайне упрощенчески он объясняет, почему крестьянин должен «делиться с барином продуктами своего хозяйства». Оказывается, эта необходимость возникает автоматически, как только появляется феодальная собственность. Достаточно, чтобы князь пожаловал землю, чтобы предприимчивый сосед отнял землю, чтобы более зажиточный землевладелец закабалил землю, как сразу возникает эта необходимость.

Непонимание всей сложности процесса возникновения системы феодального господства и подчинения ведет Покровского к тому, что он ошибочно и упрощенчески решает вопрос о том, какая группа сельского населения является феодально зависимой в первую очередь. И здесь оказывается, что он могуказать только на закупов. Что касается смердов, то Покровский считает их не феодально зависимым крестьянством, а просто данниками. Других феодально зависимых групп Покровский указать не мог, следовательно — он не мог установить, как же слагается рабочая сила феодальных сеньерий.

Советские историки показали, что процесс возникновения феодальной ренты и первых разрядов феодально зависимого сельского населения сложен и разнообразен. Так, феодально зависимым — и, следовательно, обязанным платить феодальную ренту, — делается холоп, посаженный на землю, затем закуп, закладник, искавший защиты и покровительства у феодала, изгой, задушный человек, прощенник, — обезземеленные и лишенные орудий труда люди, а также смерды, дань которых постепенно превращается в феодальную ренту.

С другой стороны, обязанность платить феодальную ренту возникает не автоматически, а в результате внеэкономического принуждения, которое производится феодалом, опирающимся на феодальный политический аппарат. Игнорируя все это, Покровский при решении вопроса стоит на позиции экономического, а не диалектического материализма.

Не усвоив учения Маркса о докапиталистической ренте и не имея ясного представления о том, как возникают первые разряды феодально зависимого сельского населения, Покровский не смог разобраться в вопросе о последовательной смене трех видов докапиталистической ренты: отработочной, натуральной и денежной. Покровский думает, что на Руси существовала сперва натуральная рента, затем отработочная и денежная. Покровский, очевидно, представлял себе, что последова-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 35.

тельность форм докапиталистической ренты, как она показана Марксом, есть последовательность логическая, а не историческая. А между тем, анализируя высказывания Маркса, не трудно установить неправильность такого мнения. Логическое Маркс не отрывает от исторического. Первой формой ренты является отработочная рента, которая затем сменяется натуральной, переходящей при развитии обмена в денежную. Эта последовательность в смене форм феодальной эксплоатации наблюдалась и в Киевской Руси. Как указано, первыми феодально зависимыми и крепостными группами делались сперва холопы, затем закупы, изгои и другие. Обезземеленные и лишенные средств производства люди, они должны были получать живой и мертвый инвентарь от феодала, причем вначале они принуждены были даже жить на его дворе. При такой обстановке иной формы ренты, кроме барщины, и не могло возникнуть.

В общем вопросе о генезисе феодализма большое значение имеет проблема возникновения феодального города. Но она связана с выяснением вопроса о значении торговли в Киевской Руси. Покровский посвящает этому вопросу особую главу.

О значении торговли в Киевской Руси в исторической литературе боролись два взгляда. По одному, наиболее ярко выраженному Рожковым, в Киевской Руси торговля была слаба и хозяйство было натуральным, по другому, с наибольшей силой выдвинутому Ключевским, наоборот — Киевская Русь была торговой, и торговля, естественно, имела громадное значение. Покровскому и надлежало разобраться в этом вопросе на основании высказываний классиков марксизма-ленинизма о средневековой торговле, о средневековых городах и имеющегося большого конкретно исторического — в том числе и археологического — материала, относящегося к Киевской Руси. Но Покровский в решении и этого вопроса проявил явный эклектизм. Он предпочел объединить мнение Рожкова с мнением Ключевского, которые ему — вообще склонному преувеличивать роль торгового капитала — весьма импонировали. Он говорит о существовании двух самодовлеющих, независимых друг от друга экономических центров — феодального владения и города. В то время как город, по мнению Покровского, держался торговлей, в деревне — в феодальном владении — полностью отсутствовал всякий обмен.

«Главнейшим экономическим признаком того строя, который мы изучали как феодальный, являлось отсутствие обмена, говорит он. — Боярская вотчина удельной Руси была экономически самодавлеющим целым».[1] Но тогда непонятно, откуда же могли возникнуть города, если окружавшие их феодальные миры не могли быть втянуты в торговлю? Чтобы выйти из этого затруднительного положения, Покровский создает теорию о разбойничьем характере торговли в Киевской Руси. Если торговцы добывают нужные им товары путем гра-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 54.

бежа у окрестного населения, то существование городов как центров разбойничьей торговли может быть легко объяснено. Город — это «совмещение торгового склада с казармою».[1]

Не трудно видеть, насколько ошибочно подходит Покровский к вопросу о характере и значении торговли в Киевской Руси, насколько его взгляды на значение обмена в феодальном обществе далеки от взглядов классиков марксизма-ленинизма, которые подчеркивают что господство натурального хозяйства в эпоху феодализма не говорит о полном отсутствии обмена в средние века. Достаточно указать хотя бы исчерпывающую характеристику феодального (крепостного) общества, данную Лениным. «Крепостное общество всегда было более сложным, чем общество рабовладельческое. В нем был больший элемент развития торговли, промышленности, что вело еще в то время к капитализму».[2] Да и сам Покровский принужден был констатировать наличие обмена в феодальном обществе.[3] С другой стороны, летописный и археологический материал, относящийся к Киевской Руси, дает нам возможность установить, что и в Киевской Руси существовал внутренний рынок. Изучение керамических и металлических изделий, находимых в курганах и местах поселений восточного славянства X в., позволяет сделать вывод, что посуда и металлические орудия имеют стабильные формы в каждом районе. Стабильные формы имеют и разнообразные женские украшения. Эта стабильность форм тех или иных предметов является одним из убедительнейших доводов в пользу существования в этот период значительных ремесленных центров и значительного развития ремесла. Но последнее обусловливает и развитие внутренней торговли. Наличие ряда крупных городов в XI в. свидетельствует об определенном праве торговли продуктами питания. Словом, в феодальный период Киевской Руси в X и XI вв. обмен, хотя и слабый, должен был существовать между городом и феодальными центрами. Отсюда существование городов могло быть объяснено и без особой теории о разбойничьем характере торговли в Киевской Руси.

Советские историки на основании нового, добытого ими материала, отличают города, возникшие в дофеодальное время, от городов XI—XII вв. Феодальному городу, в прямом смысле этого слова, предшествуют города-замки, — центры феодального властвования над окружающей сельской округой. Города не перестают быть центрами феодального властвования и тогда, когда вокруг городов-замков, по мере дальнейшего развития процесса отделения ремесла и торговли, возникают посады. Следовательно, город в Киевской Руси был не стоянкой купцов-разбойников, но производственным и политическим центром.

---

[1] Там же, 64.

[2] В. И. Ленин. Соч., XXIV, 371.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 257—258.

Наконец, в проблеме генезиса феодализма имеет большое значение вопрос об образовании феодального государства, феодальной политической системы. Об особенностях феодального государства классики марксизма-ленинизма достаточно подробно говорили. С другой стороны, имеется обильный и содержательный летописный материал, который дает возможность достаточно четко выявить феодальные черты политического строя Киевской Руси.

Покровский должен был подвергнуть решительной критике сложившиеся в буржуазной историографии взгляды о политическом устройстве Руси XI—XII вв., обосновать классовый, феодальный характер власти. Но, не разобравшись в вопросе о возникновении феодального землевладения и феодальной ренты, не поняв феодальной сущности города XI—XII вв. и его политического значения, он вместо правильного анализа политического строя Киевской Руси дает беспорядочную смесь отдельных высказываний наиболее видных буржуазных историков. Он часто противоречит самому себе и, желая выйти из этих противоречий, прибегает к парадоксам. Как буржуазные историки, никогда не подходившие к изучению политического строя Киевского государства как феодального государства, так и Покровский не ставит вопроса о возникновении феодальной политической системы. Он избегает даже говорить об этом, поскольку приписывает верховную политическую власть не феодальному владению, а городу, который, по его мнению, является стоянкой разбойников-купцов, а не феодальным политическим центром. Исходя из такого совершенно необоснованного положения, Покровский, естественно, не имел основания говорить о феодальном государстве, о феодальной власти, феодальных чертах политических учреждений. Допустив такую ошибку, Покровский последовал за буржуазными историками и в решении вопроса о *политическом строе* Киевской Руси. Покровскому, вообще преувеличивавшему роль торгового капитала в феодальной хозяйственной системе, импонировали взгляды Ключевского, и в основном он следует Ключевскому при изучении политического устройства Киевской Руси. Так, он решает по Ключевскому один из важнейших вопросов—вопрос о политической структуре Киевской Руси и об основной территориальной единице ее. Киевская Русь — это система городских волостей.[1] Приняв это положение Ключевского, Покровский должен был сделать и дальнейший вывод. Именно, он должен признать, что город в городской волости не только политический центр, но и своего рода коллективный господин над окружающей округой.

Неудивительно поэтому, что Покровский, хотя и в кавычках, называет городовые волости республиками. Эти «древнерусские республики», начав аристократией происхождения и кончив аристократией капитала, в промежутке прошли стадию, которую можно назвать

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 55.

«демократической».[1] Основной политической силой в этих «демократических республиках» был народ. Народ и образовывал основной орган власти — вече. Как известно, вопрос о вече был разработан Сергеевичем, и Покровский без всякой критики, которая была так необходима в отношении одного из столпов так называемой юридической школы, следует ему в трактовке сущности и значения этого органа власти.

В трактовке вопроса о роли князя Покровский следует Ключевскому. Если городские волости — «республики», то ясно, что роль князя не будет значительной, и Покровский называет князя наемным сторожем в городе.[2] Но здесь Покровский должен был вспомнить, что когда он писал главу «Следы древнейшего общественного строя», то он высказывал совершенно противоположные взгляды на сущность княжеской власти. В этой главе он писал, что важной и характерной особенностью древнерусского государственного права является то, что «князь, позже государь Московский, был собственником всего своего государства на частном праве, как отец патриархальной семьи был собственником самой семьи и всего ей принадлежавшего».[3] Как же примирить эти взаимно исключающиеся положения? Если князь — собственник всей земли, то почему он наемный сторож в этой своей собственной земле? Покровский делает попытку выйти из противоречия путем парадоксального положения: «Наемный сторож в городе, князь был хозяином-вотчинником в деревне».

Другое затруднение, которое должно было возникнуть в результате признания князя наемным сторожем, заключается в необходимости объяснить, чем же определяется авторитет и значительная власть князей, о которых достаточно подробно и четко говорят летописи. И здесь Покровский делает попытку выйти из затруднения путем принятия славянофильской формулы, приравнивающей князя к сельскому старосте, «которому каждый в миру послушен, но весь мир их выше и может сменять и наказывать».[4]

Вопрос об административных органах Покровский решает на основании новгородских источников. Тысяцкий и в Киевской Руси, по его мнению, был председателем коммерческого суда, начальником всех купцов, а сотские были их виценачальниками.

Итак, не трудно видеть, что Покровский даже не сделал серьезной попытки подойти к изучению политического строя Киевского государства XI—XII вв. как феодального государства. Наше замечание, что вместо изучения генезиса феодальной политической системы он дает смесь разных взглядов, имевших хождение в буржуазной историографии в начале XX в., целиком подтверждается.

Вопрос о политическом устройстве в Киевской Руси все еще

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 67.
[2] Там же, 86.
[3] Там же, 26.
[4] Там же, 70.

остается недостаточно разработанным. Тем не менее, представляется бесспорным, что Киевское государство, по мере развития феодальных отношений, стало превращаться не в совокупность городских волостей, а в совокупность феодальных сеньерий, связанных между собой отношениями сюзеренитета-вассалитета. Город в феодальной сеньерии — не стоянка разбойников-купцов, а центр феодального властвования, который, по мере развития процесса отделения ремесла и торговли, начинает превращаться в торгово-промышленный центр. Во всех частях Киевской Руси, кроме В. Новгорода (да и там до середины XII в.) основной политической силой являлись князья, первые феодалы в своей земле, опиравшиеся на боярство.

По мере развития феодальных отношений создается многочисленная княжеская администрация как в центре, так и на местах. Тысяцкие и сотские являются представителями княжеской власти, а не органами купеческого самоуправления. Тысяцкие с течением времени превращаются в княжеских воевод. Новгородский политический строй стал отличаться от политического строя других русских земель еще в XI в., и поэтому переносить черты Новгородских порядков на всю Киевскую Русь совершенно неправильно.

Конечно, Покровский не мог пройти мимо вопроса о принятии христианства в Киевской Руси. В первых изданиях «Русской истории с древнейших времен», главы, относившиеся к истории церкви, принадлежали Н. М. Никольскому. Но, начиная с 4-го издания, эти главы были исключены. Тем не менее, взгляды Покровского о причинах и значении принятия христианства Русью могут быть выявлены, так как они с достаточной четкостью формулированы в «Русской истории в самом сжатом очерке».

Покровский признает классовую сущность христианской религии. Он, например, отмечает, что христианская церковь обязана была своим существованием и развитием в России князьям и боярам. Но причины принятия христианства он объясняет с исключительной наивностью. «Когда у нас стал образовываться верхний слой общества, — говорит Покровский, — он гнушался старыми, славянскими религиозными обрядами и славянскими колдунами, волхвами, и стал выписывать себе вместе с греческими шелковыми материями и золотыми украшениями и греческие обряды и греческих «волхвов» — священников».[1] Покровский не понял феодальной сущности христианства и его роли в оформлении классового феодального общества и феодальной системы господства и подчинения. Оказывается, христианство было своего рода «модой» высшего слоя общества, вывезенной из Византии так же, как предметы домашнего обихода. Вследствие этого Покровский дает совершенно неправильную оценку принятия христианства. Он утверждает, что после принятия христианства «дело шло об изменении именно обрядов, а религиозные верования и до

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 28, Партиздат, 1932.

и после крещения оставались и тогда и гораздо позже, до наших дней, анимизмом».[1] Следовательно, по Покровскому, христианство совершенно не отразилось на идеологии того времени; оно как бы скользнуло по поверхности, его влияние сказалось только в изменении обрядов. Само собой разумеется, Покровский ни одним словом не обмолвился о значении церкви в установлении и развитии культурных связей с Византией, развитии письменности и искусства.

Мы в настоящее время следующим образом представляем себе причины принятия христианства. Существовавшие у восточных славян примитивные религиозные верования с развитием феодализма перестали удовлетворять верхушку общества. Возникла необходимость в такой религии, которая обеспечила бы оформление классовой феодальной идеологии, способствовала бы оправданию феодального властвования и содействовала бы феодальной эксплоатации. Попытка создать классовую феодальную религию на базе славянских религиозных верований, предпринятая кн. Владимиром, организовавшим и развившим культ Перуна, успеха не имела. Тогда Владимир послал послов для ознакомления с религиями соседних народов, но, в сущности, вопрос об избрании религии был предрешен экономическими связями с Византией, близостью религиозного центра, наличием уже христианской прослойки и, очевидно — закулисной деятельностью византийского правительства и духовенства. Принятие христианства, само собой разумеется, не повело к немедленной ликвидации старых религиозных верований, но чем дальше, тем больше христианство внедрялось в массы. Принятие христианской религии от Византии имело крупное политическое и культурное значение. Церковь превратилась в мощный феодальный организм. Она стала применять в своих церковных вотчинах систему эксплоатации, установившуюся в феодальной Византии. Церковь много содействовала оформлению и развитию феодального общества и играла решающую роль в деле оформления и развития феодальной идеологии. Вместе с тем она много содействовала установлению и развитию культурных связей с Византией, распространению на Руси письменности, византийской образованности, искусства и архитектуры.

Не имея правильного представления о городе, игнорируя его значение как феодального культурно-политического центра, Покровский неправильно представлял себе расстановку классовых сил и, следовательно — не понимал классовой борьбы в Киевской Руси. В особенности это непонимание обнаружилось в изложении и оценке событий 1068, 1113 и 1175 гг., которые он неправильно называл народными революциями, совершенно игнорируя борьбу феодальных групп в городе.

Анализ летописных известий о событиях 1068 г. позволяет установить следующую обстановку, предшествовавшую восстанию. Опол-

---

[1] Там же, 28.

чение кн. Изяслава, состоявшее как из феодальных элементов (следовательно, владевших селами в Киевской земле), так и из киевских горожан, было разбито половцами. Уцелевшие воины могли спастись бегством, только побросав тяжелое вооружение того времени и загнав лошадей. Однако они не могли примириться с этим и настойчиво стали требовать от кн. Изяслава, чтобы он предпринял новую попытку выгнать половцев из занятой и опустошаемой ими территории. Но князь Изяслав, опираясь на какую-то другую группу (в летописи она называется дружиной), не пожелал этого сделать, вероятно считая безнадежным продолжение борьбы с сильным противником, военные приемы и тактика которого были еще мало изучены.

Элементы, занявшие наиболее резкую позицию против кн. Изяслава, решили освободить из темницы Полоцкого князя Всеслава, вероломно захваченного Изяславом, и провозгласить его великим князем и выгнать князя Изяслава, разграбив его двор и имущество.

Покровский иначе представляет весь ход событий. Он вообще не допускал возможности, что в Киеве могли жить и руководить феодальные группы. По его мнению, в городах жили только купцы. Войска кн. Изяслава, по его мнению, состояли только из купцов. Анализируя летописные известия, Покровский и сам начинает чувствовать, насколько непонятным делается смысл событий, если исходить из предположения о купеческом составе войск кн. Изяслава. «Но как могли убежать от половцев те, кто потерял лошадей в битве, и зачем нужно было обращаться в княжеский арсенал купцам, которые сами всегда ходили вооруженными?», — недоумевает он и предполагает, что «речь, очевидно, шла о создании новой армии из тех элементов населения, которые раньше в походах не участвовали и вооружены не были».[1] Но тогда уже непонятно, почему купцы, не видя непосредственной угрозы со стороны половцев городу Киеву, обнаружили небывалую воинственность.

Неправильно представлял себе Покровский и события, связанные с убийством кн. Андрея Боголюбского, называя их народной революцией. И тут анализ летописных известий позволяет установить, что это убийство произошло вследствие обострения борьбы между двумя феодальными группировками: старым боярством, которое еще не было окончательно добито и держалось в старых городах — Ростове и Суздале, и теми новыми феодальными элементами, которые вели свое происхождение от дружины, пришедшей в Ростово-Суздальскую землю вместе с кн. Юрием (в летописи она называется Владимирской дружиной). Заговор был организован старой ростово-суздальской феодальной знатью, значение которой при кн. Андрее падало все больше и больше. После убийства Андрея ростово-суздальские бояре немедленно перенесли столицу в Ростов, пригласили князей Ростиславичей, а затем начали войну с Владимиром, ко-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 77.

торый обязан был своим расцветом деятельности князей Юрия и Андрея и являлся центром новых феодальных групп. Убийство кн. Андрея Боголюбского было сигналом для восстания городских низов и окрестного крестьянства. Сильная власть Андрея Боголюбского создавала благоприятную почву для городской верхушки и княжеской «дружины» — для усиленной эксплоатации городских низов и крестьянства. Восставшие перебили ненавистных им представителей княжеской власти и разграбили двор убитого князя.

Иначе изображает все эти события Покровский. В 1068, 1113, а также в 1175 г., по его мнению, происходили народные революции. Известия летописи — пишет он — извращают факты. Покровский всячески стремится расширить круг восставших: к числу «революционеров» он причисляет и всех граждан Боголюбова и Владимира и челядь княжескую и крестьянство.[1] Нет ничего удивительного, что дальнейшие события — восстание Владимира против Ростиславичей — с точки зрения Покровского имеют тождественный смысл с «революцией» 1175 г., тогда как еще в буржуазной историографии подчеркивали различие предпосылок между этими двумя событиями. Борьба Владимира против Ростиславичей была борьбой новых феодальных групп и новых торговых центров — против старой ростовско-суздальской феодальной знати, сидевшей в старых городах.

Неправильно представляя общественно-экономический и политический строй Киевского государства, Покровский не понимал причины и обстановку его упадка. Надо отметить два явления: распад Киевского государства на ряд княжеств, т. е. — феодальную раздробленность, — и упадок Киева как экономического и политического центра южных княжений (Черниговского, Переяславского и др.). Не трудно объяснить причины распада. Распад Киевской Руси, находившейся под властью великого князя, на ряд отдельных земель — закономерный результат дальнейшего процесса феодализации. По мере того как осваивался и рос княжеский домен, князь и экономически и организационно должен был все сильнее и сильнее связываться с ним. С другой стороны, все больше укреплялась связь между княжескими дружинниками, которые превращались в феодалов и смыкались с местными крупными феодалами. Для этих князей земля делалась основным источником доходов, в особенности, когда стала падать торговля с Византией и восточными рынками.

Другой вопрос — упадок самого города Киева, Киевской и других южнорусских земель. Очевидно, этот упадок должен быть объяснен несколько иначе. Конечно, распад Киевского государства, рост местных феодальных центров должен был отрицательным образом сказаться на положении Киева и Киевской земли. Но были и другие причины, усиливавшие и ускорявшие этот упадок, и, прежде всего — обострение классовой борьбы в Киеве ко второй половине XI в. Это

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 88—89.

обострение, проявившееся в восстаниях городских низов, в борьбе феодальных группировок, обусловлено большим общественно-экономическим развитием Киевской земли, где процесс феодализации начался раньше, чем в других землях, и отличался наибольшей широтой и глубиной. Вторая причина — усиление княжеских междоусобиц. Киев и Киевская земля были основным и наиболее частым объектом для княжеских притязаний. Третья причина — упадок торговли Киева с Византией, вызванной упадком Византии как мирового торгового центра, благодаря конкуренции североитальянских городов — Венеции и Генуи. И, наконец, четвертая причина — проникновение половцев в черноморские степи и опустошения, которые они производили в Киевской земле.

Покровский иначе подходит к вопросу об упадке Киевского государства. Он не различает отмеченных нами двух разных явлений — дробления Киевской Руси и упадка Киева как экономического и политического центра. Он вообще говорит только об упадке Киевской Руси. С другой стороны, объясняя этот упадок, Покровский исходит из представления о двойственности экономической системы Киевской Руси. Город — это торговый центр, вернее, центр разбойничьей торговли, который живет грабежом сельской округи. Отсюда, по мнению М. Н. Покровского, основными причинами упадка являются экономическое оскудение Киевской Руси, завоевание Руси татарами, перемена торговых путей. Экономическое оскудение Покровский объясняет именно исходя из своих взглядов на город Киевской Руси как на центр разбойничьей торговли, на которой, по его мнению, зиждилось благополучие русского города VIII—X вв. Но «внеэкономическое присвоение имело свои границы» — говорит он. Хищническая эксплоатация страны, жившей в общем и целом натуральным хозяйством, могла продолжаться только до тех пор, пока эксплоататор мог находить свежие, нетронутые области захвата. «Усобицы» князей вовсе не были случайными последствиями их драчливости: на «полоне» держалась вся торговля. Но откуда было взять эту главную статью обмена, когда половина страны сомкнулась около крупных городских центров, не дававших своей земли в обиду, а другая половина была уже «изъехана», так что в ней не оставалось «ни челядина, ни скотины».[1] Следовательно, по Покровскому, сельские округи были только объектом для грабежа городскими элементами — купцами, а не поселениями, где уже существовали формы феодальной эксплоатации.

Упадок Киевской Руси Покровский связывает с упадком городов, перегниванием ее в Русь деревенскую. Деревенская Русь окончательно оформилась, по Покровскому, в Московской Руси. Следовательно, Покровский в этом случае просто повторяет схему Ключевского, который считал, что Русь не занималась земледелием на южном

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 87.

черноземе, но принуждена была заниматься им на северо-восточном суглинке.

Кончая обзор взглядов Покровского на Киевскую Русь, необходимо указать еще на один очень крупный недостаток его концепции.

Дело в том, что уже буржуазные историки подметили наличие некоторых особенностей в общественно-политическом развитии отдельных частей Киевского государства. Эти особенности стали проявляться еще до его окончательного распада. Достаточно указать, что уже Владимирский-Буданов говорил очень подробно об особенностях общественно-экономического строя в В. Новгороде, Галицко-Волынской и в Ростово-Суздальской земле. Изучение этих особенностей совершенно необходимо для понимания общественно-экономического строя тех государств, которые возникли на обломках Киевской Руси.

Но Покровский, ограничившись тем, что дал голую схему экономического развития Киевской Руси, в частности, — голую схему процесса феодализации, относившуюся как к IX, так и к XVI вв., — не в состоянии был подметить эти особенности. По его мнению — на всем пространстве Руси стояли одинаковые по своему строю города — центры разбойничьей торговли, которые и грабили сельскую округу одинаковыми приемами. Более того, Покровский при таком подходе к вопросу не в состоянии был указать, какие части Киевской Руси достигли наибольшего общественно-экономического развития.

Не учитывая местных особенностей, Покровский при изучении политического строя Киевщины оперирует Новгородскими данными. В качестве наиболее яркого примера такого подхода к вопросу можно указать на его попытку отождествить новгородских тысяцких с киевскими тысяцкими.

III

Новгородская земля принадлежала к числу тех земель, которые несколько раньше, чем другие земли, входящие в состав Киевской Руси, стали на пути самостоятельного общественно-экономического развития. Можно предполагать, что и процесс феодализации в Новгороде стал проявляться также рано. Однако в процессе феодализации Новгорода мы должны отметить ряд особенностей, по сравнению с Киевской и южными землями. Новгород в X в. перестал играть ту роль, какую он играл в IX в. Основным экономическим и политическим центром стал Киев. К Киеву тянулись князья и дружинники. Не даром князь Святослав презрительно говорил новгородцам, когда они просили князя: «А бы кто пойдет к вам?» Князья, сидевшие в Новгороде, смотрели на Новгород только как на своего рода плацдарм для последующего нападения и захвата Киева. Так было при кн. Владимире, так было и при кн. Ярославе.

Отсюда начинавшийся в XI в. процесс феодализации в Новгороде проходил вне организующей силы князя и его окружения. Основной группой феодалов сделались крупные землевладельцы, выросшие в нед-

рах разлагавшихся сельских общин. Можно утверждать, что только весьма незначительная дружинная прослойка могла осесть в Новгороде во время правления Владимира и Ярослава и превратиться в местных землевладельцев. Но осевши в Новгороде, она должна была быстро ассимилироваться с местными феодальными группами, с местным боярством.

Местное боярство, стоявшее вне княжеской организации, очень рано начинает играть крупную роль как во внутренней, так и во внешней политике. Достаточно указать, что именно оно направляло кн. Ярослава во время борьбы его со Святополком и обеспечило ему победу, когда он потерял свою дружину, свое окружение.

Развитие феодализма еще больше укрепило экономическое и политическое влияние местных новгородских феодальных групп. В XI в. князья, занятые югом, не в состоянии были добиться в Новгороде того экономического и политического влияния, какое они имели в большинстве русских земель. В XII в. экономическое, торговое значение В. Новгорода начинает увеличиваться. Киев делается своего рода экономическим тупиком и идет к упадку. Интерес к В. Новгороду среди князей начинает быстро возрастать. Князья стремятся расширить свое экономическое влияние в новгородской земле. Но верхушка Новгородского общества кладет предел этим притязаниям.

Дело в том, что в XII в. определился целый ряд особенностей в классовой структуре Новгорода. Новгородские феодальные группы воспользовались благоприятной экономической конъюнктурой и стали заниматься как внутренней, так и внешней торговлей, не только не теряя своих земельных владений, но и увеличивая их. С другой стороны, новгородские купцы внедряются в сельские миры и обрастают землей. Таким образом, в Новгороде мы наблюдаем переплетение интересов феодальной землевладельческой верхушки с интересами новгородского купечества. Феодальная верхушка (новгородские бояре) превращается в оптовых торговцев и одновременно с этим — в организаторов колониального грабежа. Она держит в своих руках все экономические нити и играет основную роль во внешней и внутренней политике. Ее влияние в скором времени получает политическое оформление. Создается боярский совет («господа») — решающий политический орган.

Однако Новгород не в состоянии был обходиться без князя. С одной стороны, были сильны внутренние, классовые противоречия — нужно было держать в руках городские низы, крестьянство и ограбляемые народности севера, а с другой стороны, стали возрастать и внешние опасности, особенно со стороны Швеции и обосновавшихся в Прибалтике немецких рыцарей.

Но принятие князя на общих основаниях означало немедленное усиление княжеского окружения, немедленный захват новгородской земли князьями и княжескими элементами — образование княжеских доменов. Словом, боярству угрожала потеря того исключительного

положения, какое оно занимало в Новгороде. Возникает необходимость приглашения князей только на определенных условиях. Эти условия постепенно превращаются в Новгородскую «пошлину», которая вносится позже даже в письменные договора. Основным и самым сложным моментом в новгородской политической системе было положение веча. Вече в других русских землях постепенно стало исчезать или же терять политическое значение. Новгородское боярство, держа в своих руках все нити внешней и внутренней политики, не только сохранило вече, но и оформило его в настоящий государственный орган, в государственное учреждение. Но, сохранив вече и противопоставляя вече князю и его окружению, новгородское боярство умело управляло им. Вопрос о созыве веча решался боярским советом («господой»). С другой стороны, боярство было в курсе всех вопросов и, следовательно, могло активно участвовать в прениях. Однако городские низы не всегда оставались послушны боярству. Они часто восставали против «господы», причем в своей борьбе использовали вече.

Этот общественно-экономический и политический строй Новгорода стал определяться еще в период, предшествовавший распаду Киевского государства. Окончательно сложились специфические новгородские порядки после того, как были разбиты притязания князя Всеволода Мстиславовича, которому удалось создать себе довольно широкую социальную базу в новгородском обществе.

Иначе изображает новгородский общественно-экономический строй Покровский. Он, как было указано, не учитывал некоторых особенностей в общественно-экономическом развитии отдельных частей Киевской Руси. Перед его глазами везде и всюду была однообразная картина эксплоатации городскими купцами-разбойниками сельской округи. Следовательно, в Новгороде был тот же общественный строй, что в других городах Киевской Руси: в Киеве, Чернигове, Смоленске и т. д. Новгородская земля была частью Киевской Руси, тождественной другим. Покровский не отмечает никаких особенностей в Новгороде и в момент упадка Киевской Руси. Различие, по его мнению, заключалось лишь в том, что Новгород, в силу благоприятных экономико-географических условий, не подвергался упадку, подобно Киеву. Но это определялось не особенностями его экономической и политической структуры, а тем, что в Новгороде было много совсем нетронутых или не слишком затронутых районов для разбойничьей торговли, для грабежа сельского и колониального населения.

Покровский полагает, что Новгород продолжал развиваться, когда в Южной Руси развитие давно сменилось распадом. «По Новгороду,— подчеркивает он,— мы можем судить чем стала бы Киевская Русь, если бы экономические ресурсы не были исчерпаны в XII в».[1] Это неумение подметить специфику общественно-экономического развития должно было отрицательно сказаться на общих взглядах Покровского на историю В. Новгорода.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 100.

С другой стороны, Покровский не в состоянии был преодолеть взглядов на Новгород как на «северорусское народоправство», которые сложились в буржуазной историографии. Он решительно переходит в наступление против тех немногочисленных исследователей, которые поняли классовую структуру Новгорода и установили реальное политическое значение тех или иных органов Новгородской власти.

Ссылаясь на события 1209 и 1228 гг., Покровский протестует против распространенных в литературе взглядов о якобы аристократическом строе вечевых общин Пскова и Новгорода. «Спаивая рядом незаметных переходов патриархальную аристократию X—XI вв., скрывающихся от нас в туманной дали «старцев градских», с «госпо̂дой» крупных капиталистов и крупных землевладельцев, правившей Новгородом и Псковом накануне падения их независимости, получают ровную и однообразную картину олигархического режима, при котором народ на вече играл роль не то «голосующей скотины», не то театральных статистов».[1] Покровский не согласен с таким мнением о роли аристократии в Новгороде и Пскове. Он отрицает роль Новгородского боярства, «госпо̂ды». Но кому же тогда принадлежало решающее влияние в Новгороде? Оказывается, не боярству, а городской демократии. По его мнению, «Новгород дает нам полную картину той эволюции, первые этапы которой мы могли наблюдать в истории Киева. Патриархальную аристократию сменила не олигархия крупных собственников, а демократия «купцов» и «черных людей», мелких торговцев и ремесленников, «плебеев», общностью своего плебейского миросозерцания роднившихся с крестьянством, по отношению к которому они в этот момент исключительного подъема были не столько господами и хозяевами, сколько политическими руководителями, боевым и сознательным авангардом этой темной массы».[2]

Таким образом, Покровский, запутавшись в вопросе о руководящей политической силе в Новгороде, договаривается до того, что отрицает эксплоататорскую роль новгородской верхушки, превращает ее в защитника крестьянских интересов. В дальнейшем изложении своих взглядов Покровский прямо говорит об этом: «Вот отчего победы городской демократии и сопровождались льготами для смердов: первая завоевала права, вторые пользовались этим, чтобы избавиться от непосредственного материального гнета».[3] Но достаточно элементарного анализа источников, чтобы понять, что правящая новгородская верхушка менее всего заботилась о смердах, как таковых. Когда князю Всеволоду новгородцы показали путь, между прочим, и за то, что он «не блюдет смерд», то это они сделали не потому, что действительно жалели смердов, а потому, что охрана смердов была необходима для развития новгородского феодального хозяйства, для

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 104.
[2] Там же, 106.
[3] Там же.

которого зависимые от землевладельца смерды являлись основной рабочей силой.

Далее, пункты договоров Новгорода со своими князьями о запрещении им принимать закладников из смердов вносились не потому, что «новгородская демократия» действительно не хотела давать смердов в обиду, а потому, что принятие закладников, равно как покупка и вообще приобретение земли в Новгороде, должно было расширить экономическую базу для князей и их окружения, чего решительно не хотела новгородская правящая верхушка. Наконец, мероприятия кн. Михаила в 1229 г., связанные с предоставлением льгот смердам, также не свидетельствуют о бескорыстной защите крестьянских интересов. Вследствие усиления эксплоатации часть смердов разбежалась из Новгорода. Чтобы привлечь их снова на новгородскую территорию было решено освободить их, в случае возвращения, от платежа даней на пять лет. Те же, кто оставался в Новгороде, должны были платить дань в прежнем размере. Подобного рода меры в целях привлечения беглецов принимались впоследствии и Московским правительством.

Таким образом, Покровский усвоил совершенно неправильный взгляд на общественно-политическое устройство Новгорода X—XIII вв. Ему не удалось преодолеть взглядов Костомарова на Новгород как на «северорусское народоправство». Но, изучая позднейший период, Покровский должен был понять, что не может быть никакой речи о наличии демократии в Новгороде. Слишком уже бросалась в глаза боярская, феодальная сущность новгородской власти. Слишком неприкрыто защищали бояре свои интересы. И тогда он, вместо того чтобы признать, что это не является новостью для новгородского общественного строя, начинает говорить о «социальном господстве имущих классов» как результате длительной эволюции. «Демократия мелких торговцев и мелких самостоятельных производителей при грандиозном для своего времени развитии торгового капитализма, — пишет он, — может быть лишь переходной ступенью. Черные люди должны были послужить лишь тараном, при помощи которого буржуазия торгового капитала сокрушала родовую знать». «Те, кто за двести лет раньше стоял во главе города и распоряжался его судьбами, были оттеснены теперь на последнее место в ряду составных частей самодержавного веча».[1] На ряду с этим Покровский должен был учесть широту и глубину феодального процесса в Новгородской земле по материалам, относящимся к XIV—XV вв. И тут опять, чтобы спасти свою схему, он также признает развитие феодализма новостью для новгородского общественно-экономического строя этого периода, причем очагом феодализма он считает Москву. Из Москвы феодализм внешним образом надвигался на Новгород, хотя подготовлялся внутренней эволюцией самого новгородского общества.[2]

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 110.
[2] Там же, 113.

Таким путем Покровский пытается спасти свою эклектическую схему, где в причудливом сочетании мы находим взгляды Ключевского, Костомарова и Никитского. Неправильно представляя общественно-экономический строй, Покровский дает неправильную расстановку классовых сил и очень часто неправильно представляет основные линии классовой борьбы в В. Новгороде.

Достаточно указать, что все восстания, которые были отмечены летописью, Покровский располагает по одному ранжиру. Он называет эти восстания, подобно восстаниям 1068, 1113 и 1175 гг., «народными революциями», причем всячески расширяет круг восставших. Он игнорирует борьбу отдельных группировок в новгородской правящей верхушке, которая отчасти облегчила выступления городских низов. Неправильное понимание Покровским основных линий классовой борьбы в Новгороде особенно наглядно обнаруживается из того, что он проводит аналогию между событиями 1209 г. в Новгороде и событиями 1175 г. во Владимире. Не говоря уже о том, что эти события происходили на разной почве, — невозможность этой аналогии предопределяется тем, что в Новгороде в 1209 г. было восстание широких городских масс против притеснения посадника и одновременно — ростовщика, Дмитрия Мирошкинича; во Владимире же мы наблюдаем заговор Ростово-Суздальского боярства против кн. Андрея. Заговор этот развязал выступление владимирских городских низов и окрестного крестьянства.

Неправильно представляя себе общественно-экономический строй Новгорода, Покровский не в состоянии был понять обстановку и причины гибели Новгорода. Для него был неясен тот клубок противоречий, который выявился в Новгороде к XV в. Кроме основного противоречия между новгородскими феодалами и новгородским крестьянством, наблюдались противоречия между боярством и основной массой городского населения, между Новгородом и его пригородами, между Новгородом и новгородскими колонистами, в особенности — землевладельцами-колонистами (например двинскими боярами), между новгородцами и покоренными народностями, северными жертвами колониального грабежа. Наконец, и сама правящая верхушка боярства делилась на две группы—московскую и литовскую. Покровский не показал с необходимой ясностью этих противоречий общественного строя Новгорода перед его падением. Страницы его работ, посвященные изложению событий, связанных с завоеванием Новгорода Москвой, поражают своей нечеткостью. Покровский игнорирует борьбу двух боярских групп, окончившуюся победой литовской группы и приглашением Казимира IV, но зато много и путанно говорит о взаимоотношении между Новгородом, новгородской церковью и митрополитом, так что у читателя создается впечатление, что спор о церковных доходах был основной причиной перехода Москвы в наступление против Новгорода.

Покровский не дает также развернутой картины новгородского

экономического строя. В частности, он почти ничего не говорит о новгородском феодальном землевладении. В тех кратких и поверхностных замечаниях о новгородской экономике, которые разбросаны в главе, посвященной Новгороду, нетрудно установить преувеличение роли торгового капитала. Он говорит, например, о грандиозном для своего времени развитии торгового капитализма в Новгороде. Имея неправильное представление об экономическом строе Новгорода, игнорируя развитие феодализма, Покровский не в состоянии был дать правильное представление о классовой структуре, о политическом строе, расстановке классовых сил и очень часто — об основных линиях классовой борьбы. Вот почему он не мог понять глубины тех противоречий, которые в условиях наступления усилившегося Московского государства привели Новгород к подчинению Москве.

IV

Вопросу о Московском государстве (до XVI в.) Покровский уделяет очень мало внимания. Он посвящает этой теме только одну главу, которая озаглавлена «Образование Московского государства». Следовательно, из всего периода истории Московского государства до XVI в. Покровского интересует только вопрос об образовании Московского государства. Других тем, не менее важных, например об экономическом и общественно-политическом развитии Московского государства, дальнейшем росте его, обусловившем создание национального русского государства, — он не касается. Не затрагивает он и основных моментов классовой борьбы в Московском государстве данного периода.[1]

Ставя в центр своего внимания, вопрос об образовании Московского государства, Покровский, казалось бы, должен был дать развернутый анализ данной проблемы. В частности он должен был показать общественно-экономическую и социально-политическую обстановку, благодаря которой возникло и возвысилось Московское государство, и охарактеризовать общественно-экономический строй возникшего и растущего государства. Однако Покровский почти не коснулся этих вопросов. А те отрывочные замечания, которые носят характер введения к главе об образовании Московского государства, хотя и оригинальны, но совершенно необоснованы.

Прежде всего Покровский решительно выступает против общепринятого тезиса о том, что к моменту возвышения Московского княжества русская земля была раздроблена на уделы. «Нет надобности говорить, что представление это исходит из мысли об «единстве русской земли до начала удельного периода». Русь рассыпалась, и ее потом опять «собирали». Но мы уже знаем, что для Покровского

[1] Мы не касаемся здесь взглядов Покровского на татарское иго, так как критике этих взглядов посвящена в настоящем сборнике специальная статья А. Н. Насонова.

говорить об едином «русском государстве в Киевскую эпоху можно только по явному недоразумению». «Политически древняя Русь знала о Киевском, Черниговском или Суздальском княжении, а не о русском государстве. Рассыпаться было нечему, — стало быть нечего было и собирать».[1]

Здесь каждое слово противоречит известным нам историческим фактам. Прежде всего, Киевское государство в эпоху наивысшего расцвета представляло собой единое государство. Уже при князе Игоре окончательно установилась монополия княжеского дома Рюриковичей. Из племенных князей сохранился только князь у вятичей; из местных князей сохранился только полоцкий князь Рогволд. При князе Владимире Полоцкое княжество было окончательно присоединено к Киевскому государству. Правда, князь Владимир, как и князь Ярослав, раздавал некоторые города в управление своим детям, но исследователи отождествляют положение детей великого князя, управлявших городами, с положением княжеских посадников. Процесс распада Киевского государства, наметившийся при Ярославе, стал развиваться с середины XI в. Следовательно, вопреки мнению Покровского, Киевское государство до середины XI в. представляло собой единое государство.

Процесс феодального дробления — чрезвычайно важный факт. В противоположность взглядам Покровского, он может быть определяющим признаком для целого периода в истории русского государства. Товарищи Сталин, Киров и Жданов в своих замечаниях на конспект учебника по истории народов СССР как раз указывают на необходимость выделения периода феодальной раздробленности, противополагая его дофеодальному периоду и периоду возникновения централизованного государства.

К началу возвышения Московского княжества процесс феодального дробления достиг наивысшего своего развития. К концу XIII в. и началу XIV в. мы уже наблюдаем распад и Ростовско-Суздальской Руси на ряд удельных княжеств. Процесс дальнейшего дробления наблюдался и в других северо-восточных землях, например, Рязанской. Отсюда, говоря словами Покровского, было чему рассыпаться и было что собирать. Возражение против этого всеми признанного тезиса о распаде Руси Покровский, как мы в дальнейшем увидим, делает для того, чтобы обосновать свой взгляд на характер объединительной политики московских князей.

Хотя в «Русской истории с древнейших времен» Покровский не дал общественно-экономического и политического фона, на котором произошло возникновение и возвышение Московского государства, однако, существо его взглядов на этот вопрос можно выяснить из некоторых отрывочных замечаний в «Очерке истории русской культуры». Здесь Покровский касается специфики общественно-экономи-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 119.

ческого строя Московского государства. Он прежде всего заявляет, что «Киевский период и Московский период — это не два последовательных акта одной и той же драмы, а две параллельных драмы, две вариации на одну и ту же тему. У каждой вариации были свои особенности: киевская развертывается на фоне широкой картины, на перекрестке торговых путей, связывавших Скандинавский север с передней Азией, Бирку с Константинополем и Багдадом, московская носит более захолустный провинциальный характер, но в основных чертах социальный процесс шел в одном и том же направлении».[1]

Покровский задает вопрос: почему в Киевской Руси этот социальный процесс не дошел до своего неизбежного конца, и «закупы» не превратились в крепостных крестьян, подобно московским серебряникам. Он объясняет это только географическими условиями. Оказывается, Киевская Русь находилась в близком соседстве с Византией и арабами, странами, которые «с испокон века жили рабским трудом». Так как источником такого труда была Россия, работорговля была гораздо выгоднее сельского хозяйства. Кроме того, «она самым определенным образом мешала успехам последнего, потому что рабы не такой товар, который можно добыть мирным путем: чтобы добыть «челяди», нужно было жечь и разорять, убивать и грабить». Таким образом, разорялись не только крестьянские хозяйства, но и крупные боярские владения.

На северо-востоке была другая обстановка. Северо-восток в основном был связан с северо-западной Европой, которая не интересовалась торговлей рабами. Она покупала у Руси только меха. Следовательно, здесь «никакие опасности крупному хозяйству теперь не грозили: еще мелкое крестьянское хозяйство грабили почасту бояре и челядинцы, но сам боярин мог пострадать только в случае войны с иноплеменниками». Принявшись за мирное хозяйство, русские землевладельцы выработали якобы новую форму хозяйства, крепостное. Такова по Покровскому специфика общественно-экономического строя Московского государства, таков был тот специфический фон, на котором оно возникло и выросло.

Не трудно видеть, что эти высказывания Покровского являются своеобразной комбинацией взглядов разных буржуазных историков. Его утверждение, что «киевский период» и «московский период» — два параллельных процесса, по сути дела является повторением националистических установок, которые получили хождение в буржуазной историографии после выхода в свет основных работ Грушевского. Именно Грушевский всячески стремился обособить совершавшийся в Киевском государстве исторический процесс от исторического процесса северо-восточной Руси. А утверждение, что в Киевском государстве земледелие не играло особой роли и что оно стало разви-

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, изд. 4-е, I, 48. М.—Л., 1925.

ваться на северо-восточном суглинке, является повторением высказываний Ключевского.

Касаясь затронутых Покровским вопросов по существу, не трудно установить их явную необоснованность. Прежде всего необоснованно утверждение Покровского, что северо-восточная Русь развивалась обособленно и параллельно, т. е. вне связи с Киевской Русью. Северо-восточная Русь до начала XII в. была частью Киевского государства. Северо-восточные князья опирались в своей деятельности на своих дружинников — выходцев из Киевской Руси. Русское население северо-восточной Руси частично увеличивалось за счет переселенцев из южных княжений (в особенности в XI в.), которые стремились уйти от все усиливавшейся феодальной эксплоатации и половецких набегов. В культурном отношении северо-восточная Русь была тесно связана с Киевским государством. Необоснованно, как мы уже показали, и другое утверждение Покровского, что земледелие не играло особой роли в хозяйстве Киевской Руси. Попытка Покровского обосновать это положение путем ссылки на географические условия является примером вульгарно-экономического подхода к объяснению исторических фактов. Само собой разумеется, что между феодальным Киевским и феодальным Московским государствами были крупные различия, соответствующие различным этапам в развитии феодального хозяйства, а также местным экономическим и политическим условиям.

В вопросе о причинах возвышения Московского государства Покровский не оригинален. Как мы имели возможность убедиться, он очень часто в решении весьма важных вопросов русской истории следует Ключевскому. Решая вопрос о причинах возвышения Москвы, Покровский перечисляет те причины, которые были отмечены Ключевским, с некоторыми незначительными дополнительными подробностями. Именно, он говорит о Москве, как о перекрестке торговых путей, а затем крупном торговом центре, говорит о содействии бояр и церкви. Указанные Покровским причины возвышения Московского княжества признаются всеми.

Но Покровский, не разобравшись в социальных и политических условиях, благодаря которым происходило возвышение Москвы, не в состоянии был объяснить, почему боярство и церковь стали оказывать содействие именно Москве и Московскому княжеству во время борьбы московских князей за политическую гегемонию. Правда, Покровский отмечает, что митрополит Алексей враждовал с Тверью и правильно объясняет причины этой вражды тем, что Тверь была центром борьбы с симонией, но вражда главы русской церкви с Тверью сама по себе не может оправдать факта, имеющего большое значение для возвышения Москвы, — переноса в Москву митрополичьей резиденции и затем решительного содействия митрополитов московским князьям во время борьбы за великокняжеский ярлык. Ведь митрополит мог перенести свою резиденцию и в другой город.

Обычно те исследователи, которые отмечают содействие бояр

и церкви как причины возвышения Москвы, подвергают тщательному анализу политику московских князей и показывают в результате этого анализа, что и боярам и церкви не оставалось иного пути, как связать свою судьбу именно с Москвой и Московским княжеством.

Но Покровский этого не делает. Не делает потому, что вообще скидывает со счетов роль московских князей и их политику в деле возвышения Московского государства. Следуя в этом вопросе за Ключевским, Покровский считает, что московские князья не играли никакой роли в деле возвышения Московского государства. Ссылаясь на мнение Ключевского, Покровский отрицает за московскими князьями организаторские способности, отрицает за ними качества государей и политиков. А отсюда он считает излишним анализировать деятельность московских князей. «Оставим, — говорит он, — старым официальным учебникам подвиги «собирателей» и не будем вдаваться в обсуждение вопроса, были ли они политически бездарные или политически талантливые». Но те исследователи, которые отрицали исключительные организаторские способности московских князей и отказывались объяснять возвышение Московского государства только деятельностью этих князей, тем не менее подвергали довольно подробному рассмотрению основные линии их внешней и внутренней политики и стремились показать, почему боярство, церковь и татарские ханы были принуждены отдать предпочтение именно московским князьям. Ведь и не обладая особенно исключительными организаторскими способностями, можно вести в основном правильную политику, которая способствовала бы возвышению княжества.

Покровский подменил вопрос о роли князей и об основных линиях их политики вопросом об их способностях, об их талантливости или бездарности.

Словом, Покровский, отказавшись рассматривать деятельность московских князей, отказавшись подвергнуть анализу сложившуюся в конце XIII и начале XIV вв. политическую обстановку, дал совершенно абстрактную схему возвышения Москвы.

Покровский не только не сумел вскрыть причины возвышения Москвы, значение которых в исторической науке всеми признаются, но и не отметил ряда существенных моментов, объясняющих это возвышение. Среди них необходимо, в первую очередь, указать на выгодное положение Московского княжества в отношении восточных и юго-восточных рубежей. Московское княжество было окружено лесами, являвшимися препятствием для быстрого продвижения конных татарских отрядов. Пользуясь этим кольцом лесных массивов, можно было лучше организовать оборону княжества. Большая по сравнению с другими безопасность Московского княжества должна была предопределить тягу к Москве окраинного крестьянства и, следовательно, большую густоту населения.

Но, что важнее всего, из рассуждений Покровского по вопросу о возвышении Московского государства читатель может сделать только

одно заключение: возвышение Москвы и Московского государства — это дело одних бояр, представителей церкви и купцов. А отсюда следует вывод, что возвышение Московского государства, объединившего вокруг себя другие русские княжества и превратившегося в русское национальное государство, не было в интересах всего русского народа и не является прогрессивным фактором нашей истории. Вместе с тем Покровский не указал, что объединение русских земель совершалось в целях защиты от внешних врагов, в частности от татар.

Он совершенно игнорировал указания классиков марксизма-ленинизма, что на востоке Европы «интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия».[1]

Неправильное представление об обстановке и условиях образования и возвышения Московского государства не позволило Покровскому уяснить ту экономическую и социально-политическую эволюцию, которая в нем совершалась. Для Покровского Московское государство с момента его возникновения до середины XVI в. и даже позже является только ассоциацией феодальных владений, которые шли к финансовой ассимиляции с Московским центром. Он, например, не смог уловить новых моментов в феодальном хозяйстве Московского государства в XV в. В частности, он не смог уяснить, что в середине XV в. стали заметно развиваться внешняя и внутренняя торговля, города, натуральная рента заменяется денежной, усиливается барщина и тенденция к закрепощению крестьян. Широкие массы крестьянства в результате ограничения их перехода от одного феодала к другому (установление Юрьева дня) закрепощаются и теряют свою независимость. В «Очерке истории русской культуры» Покровский говорит о возникновении крепостного права, но и здесь его высказывания давно уже признаны наиболее ярким образцом вульгарно-экономического толкования этого вопроса. По мнению Покровского, крепостное право возникло в XVI в., вследствие того, что изменилась сельскохозяйственная техника в Московском государстве: вместо переложной системы утвердилась трехпольная. «При подсечном хозяйстве, — говорит он, — не было ни смысла, ни возможности долго удерживать крестьян на одном месте: выпахав все, что можно было, в лесу, земледельческое население, в силу условий хозяйства, должно было уйти в другое место. При перелоге, а тем более при трехполье, это оказывалось уже возможно, при трехполье даже необходимо. Переход к более интенсивным формам культуры создавал, таким образом, для владельцев интерес и возможности не только на время подчинить себе крестьянина, но привязать его к себе надолго, по возможности, — навсегда».[2] Отсюда Покровский делает вывод: «рус-

---

[1] И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, 1938 г., стр. 73.

[2] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 22.

ского крестьянина закрепостило трехполье». Покровский, не владея методом диалектического материализма, не мог понять, что основной предпосылкой закрепощения крестьянства являлся не переход к более высокой технике сельского хозяйства, а усиление эксплоатации, которое в свою очередь было вызвано целым рядом экономических и политических причин, главным образом — ростом товарных денежных отношений, повлекшим за собой постепенную замену натуральной ренты денежной, расширение боярской запашки и усиление барщины. Крепостное право развивалось не автоматически, как это утверждает Покровский, а при жестокой классовой борьбе и непосредственном участии феодально-крепостнического государства, издававшего законы о закрепощении крестьян.

Покровский решительно отвергает мысль, что в результате деятельности князей Ивана III и Василия III образовалось единое государство. «Политическое единство великорусской народности» мы встречаем лишь в начале XVII в. под влиянием экономических условий, много более поздних, чем «уничтожение последних уделов», — говорит Покровский. — Московское государство XV в. было результатом ликвидации феодальных отношений в их более древней форме, а московские князья до Василия Ивановича включительно тем менее могли думать о такой ликвидации, что они сами были типичными феодальными владельцами. Вся их забота сводилась к исправному получению доходов и так же смотрела вся их администрация».[1]

Тем не менее, Покровский принужден отметить некоторые новые черты во внешней и внутренней политике московских князей, начиная с середины XV в., хотя и не желает разбираться в их личных качествах и деятельности. Когда перед ним встает вопрос, как же объяснить появление этих новых черт, Покровский, следуя большинству буржуазных историков, объясняет эти черты не новой экономической обстановкой, не новой расстановкой классовых сил, а влиянием церкви, воздействием церковно-политических теорий. Так, появление теории единодержавия он объясняет именно церковным влиянием. Оказывается, князья, объявляя себя единодержцами, брали пример с церкви. «Если в практике великого княжества Московского не было ничего, к чему могла бы привязаться идея единой российской монархии, то было налицо учреждение, в котором единство было практически достигнуто, где стало быть, было место и для теории единодержавия» — говорит Покровский и указывает, что таким местом была церковь.

Соответственно с этим Покровский довольно подробно излагает те церковно-политические учения, которые появились и получили распространение в Москве во второй половине XV в. Покровский приходит к выводу, что эти учения и определили развитие идей единодержавия, т. е. следует, в сущности, примеру всех буржуазных историков,

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 145.

которые писали до него на тему о власти московских великих князей и царей. Источником, откуда черпал эти свои мысли Покровский, была работа акад. М. А. Дьяконова «Власть Московских государей». При трактовке вопроса о появлении и развитии теории единодержавия в Московском государстве, Покровский стоял на явно идеалистических позициях.

Свою основную мысль о том, что никакого «собирания» и объединения Руси вообще не было, Покровский стремится доказать на материалах, относящихся не только к XIV, но и к XV и даже к первой половине XVI в. Оказывается, дело шло не о собирании земли, а о собирании доходов, вернее — о создании благоприятных предпосылок для собирания доходов с соседних земель. Это было не присоединение новой территории к Московскому государству, а своего рода финансовая ассимиляция присоединяемых земель. Даже присоединение Новгорода и Пскова на самом деле означало только создание более благоприятных предпосылок для получения княжеских доходов. Так, говоря о походе Ивана III в 1471 г., Покровский отмечает, что главным для Ивана III было чтобы суда «у наместников не отнимати», да «виры не таити», да чтобы Новгород делился с ним, великим князем, новыми штрафами, что ввела Новгородская судная грамота; да сверх того он взял контрибуцию уже 15 тыс. руб. (полтора миллиона)». Но и «окончательный разгром города, выразившийся в переводе в «Низовские земли» 7 тыс. человек житьих людей, зажиточной новгородской буржуазии, отчасти отвечал интересам московских конкурентов в этой последней, отчасти имел в виду подсечь под корень всякое сопротивление финансовой эксплоатации».[1]

Такое же чисто финансовое значение, по Покровскому, имело «присоединение Пскова к Московскому государству». Утверждая, что деятельность московских князей заключалась вовсе не в присоединении территории, а в расширении их финансовых прав в соседних землях, Покровский насилует факты. Достаточно указать, что присоединение той или другой территории вело за собой немедленный захват земли и раздачу ее в вотчины и в поместья. Так, присоединение Новгорода к Москве повлекло за собой конфискацию земель у новгородского боярства и у новгородского владыки (частично) и испомещение на конфискованных землях московских служилых людей. Подобная конфискация и испомещение на конфискованных землях московских дворян были произведены и после завоевания Пскова.

Покровский не понял тех условий, при которых расширяется феодальное государство. Он не понял, что присоединение одного феодального государства к другому, более крупному, означает приобретение территории на правах феодальной собственности, включающей право передачи земель в вотчину и поместье своим вассалам и слугам, право передачи земель крестьянам и получения с них феодальной ренты.

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 140.

Вместе с тем, при изучении вопроса о расширении Московского государства Покровский обошел ряд крайне важных фактов. В частности, он, например, не коснулся вопроса об измельчании княжеских уделов и превращении их в боярские вотчины, а мелких удельных князей — в служилых людей, в бояр.

* * *

Подведем итоги нашему обзору взглядов Покровского на образование Московского государства и основных моментов его истории до середины XVI в. в его интерпретации.

Прежде всего Покровский не понял, что возникновение, возвышение и дальнейшее расширение и создание централизованного русского государства предопределялись развитием феодального хозяйства и классовой борьбой, а также необходимостью обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока.

Правда, Покровский говорил о феодализме, когда трактовал отдельные вопросы в проблеме образования Московского государства. Он даже отмечал, что московское государство было созданием феодального общества, что оно было ассоциацией феодальных владельцев. Но что делать историку, который подходит к феодализму не как к общественно-экономической формации, а как к совокупности некоторых политико-юридических признаков? Ему остается комбинировать в разных сочетаниях взгляды, утвердившиеся в буржуазной историографии.

Не имея возможности дать развернутый и глубокий анализ образования Московского государства, Покровский предпочитает касаться только некоторых из этих вопросов, которые, по его мнению, им поняты глубже и оригинальнее, нежели другими историками. Покровский, перескакивая с одного предмета на другой, вносит характерную для него путаницу; читателю крайне трудно уследить за основной нитью его рассказа. То он говорит о гостях-сурожанах, то о ханских ярлыках, то об отношениях Московской церкви к Новгороду, то о взаимоотношениях государственной власти и церкви в Византии. Но мы не найдем в данном разделе упоминания о чрезвычайно важных фактах и событиях в истории Московского государства XIV—XVI вв. Так, совершенно не упоминается о борьбе Московского государства с татарами, окончившейся освобождением от татарского ига, о борьбе с Литвой. Не говорится об издании Судебника 1497 г., об усилении власти великого князя, начиная с Ивана III, о начале перестройки политического аппарата при Василии III.

Вопросу об образовании Московского государства Покровский посвятил особую главу в «Русской истории в самом сжатом очерке». Эта глава обладает меньшими недостатками. Покровский, прежде всего, дает социально-экономический фон, на котором произошло возвышение Московского государства; он более или менее подробно останавливается на характеристике феодального строя, который установился на Руси к моменту возвышения Московского государства. С другой

стороны, он указывает на ряд других причин, обусловивших возвышение Московского государства, в частности, — на срединное положение Московского государства, что определяло большую густоту населения в Московском княжестве. Гораздо больше говорит он о помощи татарских ханов московским князьям. Но и здесь Покровский не удержался от парадоксального утверждения, что возвышение московского государства в значительной степени определялось тем, что московские князья были серые и незаметные. «Но именно поэтому им везло больше, нежели другим», — говорит Покровский.

И в этом труде Покровский не пожелал проанализировать деятельность серых и незаметных князей, чтобы объяснить, чем было вызвано содействие московским князьям со стороны татар и церкви. Так же, как в четырехтомнике, Покровский не видит той эволюции, которая совершалась в Московском государстве, и совершенно умалчивает об образовании русского национального государства.

Итак, анализ взглядов Покровского на генезис и ранний период русского феодализма позволяет установить, что он не стоял при исследовании этих весьма важных моментов истории России на позициях диалектического материализма. Очень часто его взгляды представляли собой пеструю смесь взглядов буржуазных ученых.

Неправильные, ошибочные взгляды Покровского на генезис и ранний период русского феодализма предопределили ошибочность многих его взглядов на более поздние периоды русской истории и в первую очередь — на историю XVI в.

А. Н. НАСОНОВ

ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ В ОСВЕЩЕНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

О зависимости взглядов М. Н. Покровского от дореволюционной немарксистской историографии можно заключить из слов самого Покровского. Я имею в виду его ссылку на «новейшую историческую науку» в дореволюционном издании его «Истории». «Как видим, татарское нашествие, — писал Покровский, — недаром заняло в народной традиции то место, которое у него склонна была оспаривать новейшая историческая наука. Последняя была права в том отношении, что ничего по существу нового этот внешний толчок в русскую историю внести не мог. Но, как обычно бывает, внешний кризис помог разрешиться внутреннему и дал отчасти средства для его разрешения».[1] Чтобы выяснить степень зависимости высказанных Покровским мнений о татарском иге от предшествующей историографии, напомним прежде всего главнейшие мнения историков о значении татарского ига в истории Руси.

Исторические построения русского средневековья запечатлелись в летописных сводах. Поскольку летописи в основной своей традиции[2] были памятниками официального значения, естественно, что их составители не могли прямо и свободно описывать события. В настоящее время трудно себе представить всю сложность задачи, стоявшей перед составителями официальных летописей в эпоху сильной татарской власти. Тверские своды и московские по-разному освещали отношение князей к Орде. Можно указать также, что, может быть, не случайно ряд пространных, откровенных рассуждений о татарском иге падает на годы, когда в Орде происходили смуты. Таков рассказ о восстаниях 1262 года, направленных против откупщиков ордынской дани, приезжавших не от Берке, а от импера-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 146, изд. «Мир», там же, I, 96. Огиз, 1933.

[2] Летописными сводами, представляющими эту традицию, не исчерпывается летописный материал. До нас дошло, например, несколько драгоценных летописных списков — бесхитростные компиляции «книжных списателей», — соединявших политически разнородный материал. См. А. Н. Насонов. Летописные памятники Тверского княжества (ИАН, 1930, № 9/10). Его же, Летописные своды Тверского княжества (ДАН-В, 1926, ноябрь—декабрь).

тора Хубилая.[1] Как раз в 1262—1263 гг. в монгольской империи происходили смуты,[2] положившие начало отделению «Золотой Орды» от монгольской империи. Обстоятельства позволили летописцу пространно и откровенно рассказать о восстаниях 1262 года. В начале XV в., в годы, когда смуты в Золотой Орде стали усиливаться, летописец записал несколько своих обобщающих мыслей по вопросу о политике татар, сеющих рознь между князьями.[3] В XV в. московские летописцы стали неохотно вспоминать о некоторых фактах зависимости княжеской власти от ханской в XIV ст., возможно, как о фактах позорных. Так, например, может быть, не случайно в московских поздних сводах выпущено известие о съезде князей в 1304 г., когда «чли грамоты царевы ярлыки», имеющееся в своде начала XV в. (Троицкой летописи).[4]

Наибольшее влияние на последующую историографию и в отношении понимания ордынского владычества и понимания истории «собирания» Руси оказала московская традиция. Так, например, в Москве со времен Димитрия Донского приписывали Ивану Калите заслугу «собирания» Руси, которая, в сущности, ему не принадлежала. В новое время о татарском иге писали немного. Показательно, что до сих пор не появлялось в печати специального исследования, выясняющего историю татарского владычества. Одни историки придавали монгольскому завоеванию очень большое значение, главным образом как фактору, будто бы способствовавшему развитию государственного начала на Руси или даже определившему это развитие; по их мнению, монгольское иго способствовало, или даже определило образование самодержавия и единодержавия (Карамзин, Костомаров). Другие считали, что влияние монгольского ига на развитие нашей страны вообще не было значительным (Соловьев, Ключевский). Повидимому, в дореволюционной обстановке даже те историки, которые придавали татарскому игу большое значение, легче воспринимали мысль об активной политике русских князей в Орде, чем мысль об активной политике татар на Руси.

Карамзин полагал, что с монголами родилось самодержавие: «князья, смиренно пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами: ибо повелевали именем царя верховного. Совершилось при монголах, легко и тихо, чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III: в Владимире и везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол, глас вышнего народного законодательства...» «Рождалось самодержавие».[5]

[1] А. Н. Насонов. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси). В печати.

[2] О смутах см. D'Ohsson, Hist. des mongols, II, 352—358.

[3] См. Рогожск. летоп. и Симеон. лет. под 1409 годом. Общий летоп. протограф Сим. лет. и Рог. лет. кончился на 1412 году

[4] См. XVIII т. ПСРЛ и Воскр. лет. под 1304 г.

[5] Н. М. Карамзин. История государства российского, кн. 2, изд. Эйнерлинга, т. V, 218—219.

Москва — по словам Карамзина — «обязана своим величием ханам». Уже Калита, по Карамзину, покупал «целые области». Монголы содействовали также, по Карамзину, возвышению духовенства. Карамзин отмечает, вместе с тем, что татарщина задержала наше культурное развитие, нам было не до «просвещения»: за 250 лет татарского владычества на Руси Западная Европа изменилась, а мы «остались, как были».[1]

Полевой заметил, что Орда «сохранила для Руси политическое бытие».[2] Еще большее значение приписывал татарскому владычеству в истории государственного развития Руси Костомаров. По мнению Костомарова, «где только славяне были предоставлены самим себе, там они оставались с своими первобытными качествами и не вырабатывали никакого прочного общественного строя, пригодного для внутреннего порядка и внешней защиты. Только крепкое завоевание или влияние иноземных стихий могло бы привести их к тому».[3] На основе этой фантастической теории Костомаров объяснял происхождение единодержавия на Руси. Оно, по Костомарову, обязано своим возникновением на Руси исключительно татарскому завоеванию.

Ханы устроили «для своего удобства на Руси феодальный порядок (в смысле — феодальной иерархии. — *А. Н.*) из найденных в ней и подвергнутых изменениям элементов». Единодержавие сначала «вмещалось» в особе хана, а с ослаблением Орды «перешло от ханов к московским великим князьям».[4]

Сергеевич указывал на значение татарского ига в жизни города: «положение городов, — писал он, — среди княжеских усобиц и прежде было тяжелое, теперь оно еще ухудшилось, ибо бывшая в распоряжении князей сила увеличилась татарами, которые пользовались княжескими раздорами для грабежа. Повторяющиеся нашествия татар должны были в конец уничтожить некоторые успехи общественной жизни, достигнутые в дотатарское время; а успехи эти необходимо предполагать в виду значительного числа городов, о которых упоминают дотатарские летописцы, как о пунктах насиженных, население которых принимало деятельное участие в общественных делах. Татарский погром должен был надолго приостановить у нас развитие городской жизни.

Что именно татарское завоевание, перенеся центр тяжести политической жизни в Орду и обессилив население поборами и грабежом, подорвало в корне участие народа в общественных делах, видно еще из того, что в тех местностях, которых нашествие не косну-

---

1 Там же, 221—225.

2 Н. Полевой. История русского народа, V, 22. М., 1833.

3 Н. Костомаров. Начало единодержавия в древней Руси. Собр. соч., V, 5, 1905.

4 Там же, стр. 85.

лось, вечевые порядки сохраняются в XIV и XV вв.; таковы Новгородская и Полотская волости».[1]

Леонтович высказал предположение, что ряд учреждений Московского государства ведет свое начало от монголов (приказы; тарханство; потеря свободы тяглым, крестьянским населением; служебно-родовое местничество; система податей; система кормлений; укрепление служилых людей).[2]

Кавелин подчеркивал, что «положительно воспользовались всеми выгодами монгольского ига даровитые, умные, смышленые князья московские». Политическое единство России, основанное на единстве княжеского рода, распалось, как думал Кавелин, с переходом родовых отношений в семейственные. Монгольское иго «ускорило окончательное падение старого и развитие нового порядка вещей». Монгольское иго «усилило власть великого князя». Из семейственных отношений, по Кавелину, вырастали государственные.[3]

По мнению Соловьева, татарское завоевание мало отразилось на развитии нашей страны. «Так как для нас предметом первой важности, — писал Соловьев, — была смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, отчего зависело единство, могущество Руси и перемена всего внутреннего порядка, и так как начало нового порядка вещей на севере мы замечаем прежде монголов, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали или препятствовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние монголов не было здесь главным и решительным. Монголы остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все, как было, следовательно, оставляя в полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них».[4] Известна предложенная Соловьевым теория «новых городов» на северо-востоке, не имевших

---

[1] В. Сергеевич. Русские юридические древности, II, 38, 1900.

[2] Ф. Леонтович. Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взысканий (Зап. Новоросс. университета, т. 28, 1879).

[3] К. Кавелин. Взгляд на юридический быт древней России. Собр. соч., I, 41—46 и др.

[4] С. Соловьев. Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого (Собр. соч., I, изд. «Общ. польза», стр. 839).

Следует заметить, что Соловьев отмечал значение монгольского завоевания в отпадении Южной Руси. «Не имея тех прочных основ государственного быта, — писал он, — какими обладала северная Русь, — южная Русь после монгольского опустошения, подпала под власть князей Литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности южнорусских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык, — все оставалось по-старому; но гибельно было для русской жизни на юго-западе соединение всех литовских владений с Польшею, вследствие восшествия на польский престол литовского князя Ягайла». (Там же, стр. 838.)

самостоятельного быта, считавшихся собственностью князя, где князь был «властелином неограниченным, хозяином полновластным».[1]

Но Соловьев полагал, что татарские нападения послужили к усилению Москвы. Он указывал на географическое положение Москвы как на одно из обстоятельств, содействовавших ее усилению: на территорию Московского княжества, спасаясь от татар, стекалось народонаселение из ближайших областей, менее безопасных, чем область Московская.[2]

Ученик Соловьева Ключевский также не придавал большого значения татарскому завоеванию. В I томе своего «Курса» Ключевский заметил только: «изучая историю возникновения этого (т. е. «удельного») порядка, забудем на некоторое время, что прежде чем сошло со сцены первое поколение Всеволодовичей, Русь была завоевана татарами, северная в 1237—1238 г., южная в 1239—1240 г. Явления, которые мы наблюдаем в Суздальской земле после этого разгрома, последовательно без перерыва развиваются из условий, начавших действовать еще до разгрома, в XII в.».[3] Основой удельного порядка, по Ключевскому, послужило состояние распада, раздробленности.[4] Под влиянием Соловьева, Ключевский развил теорию «новых городов» на северо-востоке, созданных «смердьей, мужицкой колонизацией», предрешившей, на ряду с другими причинами, социальный облик Суздальской земли XIII—XIV вв., где активную силу общества составлял не областной город, а князь-хозяин, князь-вотчинник.[5] Ключевский говорил о запустении в XII в. Киевской Руси ее городов и упадке ее экономического благосостояния.[6]

Таковы главнейшие мнения о значении татарского ига предшественников Покровского.[7] Напомним теперь, как освещал татарское иго Покровский.

---

[1] С. Соловьев. История России с древнейших времен, IV, 495.

[2] См. С. Соловьев. История России с древнейших времен, IV, 1119, изд. «Общ. польза». См. также В. Ключевский. Очерки и речи, 2-й сб. статей, 197, 1919.

[3] В. Ключевский. Курс русской истории, I, 414, 1904.

[4] Там же, 434.

[5] Там же, 404 и др.

[6] Там же, 345.

[7] Несколько оригинальных мыслей о значении татарского ига были высказаны М. Любавским («Лекции») и А. Пресняковым («Образование великорусского государства», 1918). Любавский отметил, что «татарские погромы и татарское иго надолго и совершенно искусственно задержали экономическое развитие Руси», что с обеднением населения князья стали «все более и более превращаться в сельских хозяев-землевладельцев, все более увеличивать свои села» (Лекции, 1918, 156). Кроме того, по мнению Любавского «татарское нашествие разрушительным образом повлияло на ту группировку западнорусских областей, которая, — как думает М. Любавский, — установилась было в начале XIII в., как бы предвещая собою образование государства Белорусского и Малорусского» (там же, 151). А. Пресняков высказал мнение, что образование золотоордынского царства «изменило резко к худшему условия поволжской торговли» (Обр. вел. гос., стр. 48).

В домонгольской Руси, по Покровскому, образовались городские центры, вступившие в борьбу с княжеской властью. Князь был нужен, поскольку он являлся военным организатором и доставлял «товар».[1] Культуру Киевской Руси Покровский называет «городской». Для развития сельского хозяйства условия были не благоприятными (княжеские усобицы). Но «городская» культура в домонгольской Руси стала приходить в упадок, перерождаться. Древнерусский город держался на хищнической эксплоатации страны, а ресурсы были исчерпаны, источники «товара» иссякли; только Новгород Великий в своих огромных колониях нашел неисчерпаемый источник «товара», а в тесной связи с Западной Европой — новые организационные средства; кроме того, экономическому кризису содействовала «передвижка» мировых торговых путей, но последнее обстоятельство оказало свое действие лишь после 1204 г. и лишь в отношении городов, лежавших на пути «из Варяг в Греки» (кроме Новгорода).[2] Князь ушел дальше на северо-восток, «в области колонизации новой».[3] Покровский согласен с мнением историков, которые «давно заметили возрастающее значение сельского хозяйства и крупного землевладения по мере перехода центра русской истории с юго-запада на северо-восток«.[4] Он имеет в виду, конечно, в первую очередь, Ключевского. На северо-востоке процесс образования городского хозяйства начался как бы снова. «Московская история — по словам Покровского — повторила со своеобразными вариациями киевскую».[5] Но «не повторялось буквально старой истории»: образования новых городских центров, которые вступили бы снова в борьбу с княжеской властью. Не повторилось, как объясняет Покровский, потому, что торговый капитал того времени держался на торговле рабами, а на северо-востоке по географическим причинам работорговля отпадала; торговля же оптовая мехами, по мнению Покровского, была сосредоточена в Новгороде. «Пока не сложились, к XVI веку, новые городские центры, крупная вотчина и стала основной экономической, а стало быть, и основной политической организацией. На этой почве развился в России феодализм».[6]

Что же принесло с собою, по Покровскому, татарское завоевание, татарское иго? При завоевании Руси татары, чтобы гарантировать на будущее время покорность побежденных, разрушили крупные населенные центры, а население частью разогнали, частью истребили, частью увели в плен, высшие правящие классы они стремились уничтожить. Таким образом, «татарский разгром — по словам Покровского — одним ударом закончил тот процесс, который обозначился

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 249—255, изд. «Мир», 1915.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 140, 148, изд. «Мир».

[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 255.

[4] Там же, 67.

[5] Там же, 80.

[6] Там же, 255.

задолго до татар и возник в силу чисто местных экономических условий: процесс разложения городской Руси X—XII веков».[1] Весь погром свелся, по Покровскому, к «одному удару» при завоевании. Покровский протестовал против утверждения, что татары-кочевники опустошали оседлый мир, и указывал на раскопки Баллода, обнаруживающие не кочевое хозяйство, а торговый капитал Центральной Азии.[2]

Одной татарской финансовой организации, по словам Покровского, «было бы достаточно, чтобы опровергнуть ходячее мнение, будто татарское нашествие было разгромом культурной страны «дикими кочевниками».[3] Татары ввели перепись тяглого населения, ввели сошное письмо, причем обложили «горожан», чего ранее, по мнению Покровского, не было. Этим самым татары — как думает Покровский — «поскольку это доступно действующей извне силе, внесли глубокие изменения и в социальные отношения, опять-таки в том направлении, в каком эти последние начали уже развиваться раньше, под влиянием туземных условий».[4] В вопросе о том — «тяжелее ли стала дань сельского населения» — Покровский высказывается в неопределенном смысле, ссылаясь на отсутствие материалов. Он указывает также, что татары первые устроили в России на счет и средствами местного населения правильные почтовые сообщения.[5]

Враждебной татарам силой, как отмечает Покровский, были демократические элементы веча, и татары как опытные практические политики оценили эту враждебность. «Союз, уже намечавшийся в Новгороде в 1259 году, — писал Покровский, — «лучших людей» и князя с татарами против «черни» — должен был стать и, действительно, стал постоянным явлением. Что, поддерживая князей и их бояр в борьбе с «меньшими» людьми, Орда создаст в конце концов московское самодержавие, которое упразднит за ненадобностью и самое Орду, — эта отдаленная перспектива была вне поля зрения татарских политиков, и, отчасти, они были правы».[6] Татары «с корнем вырвали всюду (опять-таки, кроме Новгорода) городскую свободу».[7]

Покровский пишет, что «хан очень подозрительно относился к русским князьям и вовсе не был расположен помогать тем из них, кто сильнее, ибо сильному князю могла притти в голову мысль не слушаться татар, поднять против них восстание. С тверским князем так и случилось. Отсюда — покровительство, которое оказы-

[1] М. Н. Покровский. Русская история, I, 143.

[2] М. Н. Покровский. Откуда взялась внеклассовая теория русского самодержавия (Сб. статей, стр. 72—75).

[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 186.

[4] М. Н. Покровский. Русская история, I, 144.

[5] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 186—188.

[6] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 146.

[7] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 25, 1933.

вал хан именно московскому князю, наиболее слабому и в глазах хана наиболее безобидному».[1] «Московский князь, — писал Покровский, — благодаря ловкости своей ордынской политики, стал наследственным великим князем владимирским».[2] «Объединение Руси вокруг Москвы — как говорит Покровский — было на добрую половину татарским делом».[3] Но только «наполовину». По словам Покровского, *объяснять* связью московских князей с Ордою возвышение Москвы «значило бы вводить *юридическую* теорию с другого конца».[4] Он подчеркивает, что процесс образования единого государства совершался медленно и постепенно; что в политической и экономической эволюции XII—XIII вв. татар нельзя считать за какую-то «грань времени», «с этой точки зрения..., — пишет Покровский, — говорить об особом «удельном периоде» русской истории не приходится. Та группировка феодальных ячеек, которой суждено было стать на место городовых волостей XI—XII веков и которая получила название великого княжества, позже государства Московского, нарастала медленно и незаметно».[5] Возвышение Москвы, по Покровскому, объясняется экономическими причинами: торговой ролью Москвы.[6] «Но если наличность крупного торгового центра, с его обильными денежными средствами, давала опорный пункт для объединительной деятельности московского княжества, то активная роль в этой политике принадлежала не торговому городу... руководящее значение в процессе «собирания Руси» должны были иметь крупные землевладельцы».[7]

Покровский останавливается и на отношении татар к церкви; и здесь, по мнению Покровского, татары применяли политику «разделяй и властвуй». «Татарское завоевание — писал Покровский — очень помогло православной церкви выбраться из-под... зависимости от князя и от веча»; наши митрополиты «завязали прямые сношения с татарскими ханами и стали получать от них жалованные грамоты (ярлыки)»; «ярлыками татарских ханов был обобщен и расширен церковный иммунитет». И здесь, по Покровскому, татары действовали в направлении, определившемся до них: еще до татар «церковь отгораживается от княжеского суда всех раньше и всех основательнее».[8] Покровский полагал, что церковь вошла в союз с Москвой,

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 31, 1933.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 213.

[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 26.

[4] М. Н. Покровский. Борьба классов и русская историческая литература, стр. 90, 1923.

[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 210.

[6] Там же, 212.

[7] Там же, 216.

[8] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, II, стр. 93—94; Русская история в самом сжатом очерке, стр. 33, 1933.

во-первых, потому, что «дружба с Москвой означала дружбу с Ордой», церковь «дорожила этой последней дружбой», а, во-вторых, из желания, обычно возникавшего у феодала, оказать противодействие своему сюзерену (великому князю владимирскому; а им был в первой трети XIV в. тверской князь).[1]

Постараемся теперь определить, в какой мере Покровский стоял в зависимости от дореволюционной не марксистской историографии в интересующем нас вопросе.

Как мы видели, Покровский придавал существенное значение татарскому нашествию. Эта общая оценка сближает его с Карамзиным и Костомаровым. Влияние Костомарова на Покровского не подлежит сомнению: мы можем указать, например, на фразы в его учебнике, взятые почти дословно из статьи Костомарова «Начало единодержавия в древней Руси».[2] Говоря об основах политического строя домонгольской Руси, Покровский в I томе своей «Истории» делает ссылку как раз на эту самую статью Костомарова.[3]

Повидимому, у Костомарова заимствовал Покровский мысль, что татары опустошали населенные центры, чтобы гарантировать на будущее время покорность побежденных.[4] Но Покровский, придававший большое значение экономическому фактору, указывал на свои расхождения с Костомаровым по вопросу о причинах возвышения Москвы.[5] Определяя характер того влияния, которое оказала татарщина на развитие нашей страны, Покровский ссылался на «новейшую», т. е. дореволюционную историческую науку. Татарское нашествие было «внешним» толчком, а «внешние» толчки, по Покровскому, обычно не задерживают развития страны, а, наоборот, помогают ее развитию: новейшая историческая наука «была права в том отношении, — писал Покровский, — что ничего по существу *нового* этот внешний толчок в русскую историю внести не мог. Но, как обычно бывает, внешний кризис помог разрешиться внутреннему и дал, отчасти, средства для его разрешения». Не беремся определять происхождение этой предвзятой мысли, но кажется, она сложилась и дошла до Покровского не без содействия историко-юридической школы. Во всяком случае, он был вынужден, по примеру Ключевского, искать в домонгольской Руси объяснения почти всем явлениям татарской эпохи и, по примеру Соловьева и Ключевского, построить

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 224, 222.

[2] «Слово «вече», — писал Костомаров, — ...стало синонимом скопища, заговора, бунта, и слово «вечник» значило то же, что «бунтовщик» (Собр. соч., V, 47). «Вече, — писал Покровский, — стало значить то же, что «бунт»; «вечник» — то же, что «бунтовщик» (Русская история в самом сжатом очерке, стр. 25).

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 222.

[4] Ср. Костомаров, там же, 42.

[5] М. Н. Покровский. Борьба классов и русская историческая литература, стр. 90.

особую теорию развития домонгольской Руси. Покровский заимствовал у Ключевского мысль о перерождении городской Руси XII в. в деревенскую. Но этому перерождению, или «перегниванию», он давал только, как мы видели, свое самостоятельное объяснение. И у Ключевского и у Покровского стирались черты, роднившие историю домонгольской Руси XII—XIII вв. с историей западноевропейских государств.

Некоторые замечания Покровского, касающиеся активной политики татар на Руси, не совсем мирятся с его цитированным выше мнением, заимствованным от дореволюционной буржуазно-дворянской историографии. Как раз в этих замечаниях он наиболее оригинален, и именно некоторые из них согласуются с высказываниями Маркса о татарской политике. Но в оценке общего влияния татарщины на историю Руси то, что говорил Маркс, совсем не совпадает с тем, что мы читаем у Покровского. «Татарское иго, — писал Маркс, — продолжалось... свыше двух столетий. Это было иго, которое не только подавляет, но растлевает и иссушает самую душу народа, который ему подпал. Монгольские татары установили режим систематического террора, орудием которого были грабежи и массовые убийства».[1]

Переходя к критике взглядов Покровского, заметим, что нашей задачей будет не столько оценка трудов Покровского для определения места, занимаемого им в нашей историографии, сколько проверка его взглядов на конкретно-историческом материале.

Основы феодального строя не были сломлены татарским нашествием: татарщина не сломила установившихся форм эксплоатации в сельском хозяйстве.[2] Вместе с тем, и до татар и при татарах мы видим слабо развитый обмен, феодальное землевладение, феодальную раздробленность в пределах феодального объединения и торговые города — элементы, характерные для средневековых государств Европы. И тем не менее значение татарщины как «политической бури» было велико.[3]

Путь к правильному, всестороннему освещению татарского ига ведет, прежде всего, к выяснению основных тенденций предмонгольской истории Руси. Что застали татары на Руси? По утверждению Покровского, основным явлением был процесс «перегнивания» городской Руси в деревенскую. Изучение источников заставляет решительно отказаться от этой теории. Покровский утверждает, что Новгород Великий на общем фоне перерождения представлял собой исключение, так как «в своих огромных колониях нашел неисчерпаемый источник «товара», а в тесной связи с Западной Европой новые организационные средства». Бесспорно, близость к Западной Европе,

[1] Секретная дипломатия XVIII века.
[2] В. И. Ленин. Соч., III, 242.
[3] Ср. там же.

выгоды местоположения служили особенному развитию торговой жизни в Вел. Новгороде. Но именно тем, что составляло, по мнению Покровского, причину гибели хищническо-городской культуры в остальной Руси — отсутствием «товара» — не страдал Северо-восток. Если мы вспомним, например, о связях Ростова с богатым Севером, куда, в Заволочье, уже при Андрее Боголюбском ездили суздальские «даньники» собирать дань с «суздальских смердов», о том, что там были и земельные владения «ростовцев», заходившие, по крайней мере, в начале XIV в. в область р. Ваги, о ростовских городах Белоозере и Устюге на Сухоне, выросшем к началу XIII в., то поймем, что Вел. Новгород не составлял исключения как обладатель источников «товара». Наличие глубокого социального расслоения и острых классовых противоречий в Ростовской земле в XI в. не подлежит сомнению. Из случайно попавших в южный и новгородский своды известий мы узнаем о восстаниях, вспыхивавших на почве неурожая и голода, принимавших религиозно-языческую окраску и, что всего любопытнее, направлявшихся против «лучших», зажиточных слоев населения области. Летописный рассказ под 1071 годом указывает местопребывание некоторых «лучших» людей Ростово-Суздальской земли (в «погостах» на Волге и Шексне) и их имущество (хлеб, мед, рыба и «скора» т. е. меха).[1] С другой стороны, в XII—XIII вв. Волга была главным проводником культурных сношений Каспия с Русью; в XII в. установился торговый путь из России через устье Волги и полуостров Мангышлак в Хорезм; в XVII в. и позднее путь этот был использован Московским царством.[2]

В каких же слоях населения искал опоры великий князь? Каковы были социально-политические отношения предмонгольского времени?

В построении Покровского остается неясным, в каких слоях населения искал опоры Андрей Боголюбский? Этот князь является у Покровского «самовластцем», как бы ни на кого не опирающимся. Покровский говорит, что «самовластие» Андрея выражалось не только в изгнании им «передних бояр» («мужи отца своего передни»?). Покровский подчеркивает, что его управление было одной из первых систематических попыток эксплоатировать народную массу по-новому, а это вызывало недовольство «горожан» и вообще народных масс.[3]

Построение Покровским домонгольской истории объясняется влиянием предшествующей историографии, но не оправдывается показаниями источников. «Империя Рюриковичей» несла в себе элементы разложения, дробления. Процесс феодального дробления, выразившийся, прежде всего, в образовании новых местных княжений, был двусторонним процессом: образование местных княжений вызыва-

---

[1] А. Н. Насонов. Князь и город в Ростово-Суздальской земле, ист. сборник Века, I, 11, 1924.

[2] В. Бартольд, Очерк истории туркменского народа, стр. 38—39 (Туркмения, I, 1929).

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 139.

лось требованиями данной области, свидетельствуя о распространении феодального землевладения и вообще о развитии экономической жизни в области. Вместе с тем оно отражало интерес в Южном центре, в Киевщине, к данному местному центру. Нет сомнения, что процесс феодального дробления расширял политический и географический кругозор киевского общества, содействовал складыванию общерусской традиции, получившей выражение в замечательном памятнике мировой литературы «Повести временных лет». Интерес к местным центрам в Киеве в известной степени обусловливался тем, что, помимо движения по двум водным основным магистралям (Днепровской и Волжской), создавалась, подобно тому, как было на Западе, возможность торговой связи, выходившей за пределы ближайшей округи, — возможность, осуществление которой зависело «...от существующих средств сообщения, от обусловленного политическими отношениями состояния публичной безопасности по дорогам (как известно, в течение всего средневековья купцы передвигались вооруженными караванами) и от обусловленного соответствующей степенью культуры большего или меньшего развития потребностей в доступных сношениям областях».[1]

Не будем голословны. Укажем на некоторые конкретные признаки такой связи между Киевщиной и Северо-востоком в XII—XIII вв. Нумизматы отмечают одно любопытное явление: сближение двух денежных систем, южной (киевской) и северной (ростово-суздальской), появление, во-первых, серебряных слитков южной формы с северным весом, во-вторых, слитков с южным весом, приближающихся по форме к северным. Земля вятичей, лежавшая на пути из Киевщины на Северо-восток, стала особенно цениться черниговскими князьями: занимая Киев, они обычно оставляли за собою землю вятичей.[2] Их город Козельск сделался исключительно сильным и, повидимому, многолюдным городом: не в пример Киеву и Владимиру-Залесскому он выдержал семинедельную осаду татарского войска. Упоминание источника о «гостях», приезжавших из Киевщины в Ростово-Суздальскую землю, к Андрею Боголюбскому, хорошо известно.[3] Известно также, что Галицко-Волынская земля была связана торговыми путями с остальной Русью. Наглядным и убедительным подтверждением служит карта топографии кладов слитков.[4] Известны торговые связи Смоленска с Киевом, с Новгородом, с Суздальской землей и с Подвиньем.[5]

С установлением феодальной раздробленности Галицко-Волынская область обособляется. Но связи между нею и остальной Русью не прерывались.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IV, 43.
[2] См. Ипат. лет., 1142 г.; 1185 г., ср. там же 1160, 1167 гг.
[3] См. Ипат. лет. под 1175 г.
[4] Ильин. Топография кладов серебряных и золотых слитков. СПб., 1921.
[5] В. Иконников. Опыт русской историографии, II, в. I, 507—508; Голубовский. История Смоленской земли, гл. 2, стр. 105—108.

Окраинное и обособленное положение Галицко-Волынской земли питало агрессивные вожделения западных соседей, Польши и Венгрии (позже — Литвы). Они охотно вмешивались в галицко-волынские дела. Но до нашествия монголов посягательства на независимость Галицко-Волынской области не могли иметь под собою прочной почвы. Во-первых, общие с другими княжествами интересы держали галицко-волынские княжения в сфере влияния общерусских событий. Так, галицкие князья были втянуты в борьбу за киевский стол, и татарское нашествие, например, застало в Киеве наместника галицкого князя. Галичане — участники общерусских предприятий. В 1223 г. мы видим их в походе на Калку и т. п. Во-вторых, во второй половине XII и первой половине XIII вв. в Галицко-Волынской земле выдвигается ряд могущественных князей. Велика была сила галицкого боярства. Но во внутренней жизни земли силам местного боярства противостояла сила князя, опиравшегося не только на боярство, но и на другие слои населения. Центробежные силы находили противодействие в недрах самого феодального общества.

Полоцкая и Смоленская области обособляются от остальной Руси, но не отрываются совсем; иначе и быть не могло. Политически разъединенные после татарского нашествия в продолжение, приблизительно, 100 лет, обе области до татарского нашествия политически сближались и временами объединялись; вместе с тем, мы видим в Полоцком княжестве признаки политического дробления. Во второй половине XII—XIII вв. полоцкие владения подвергаются нападениям немцев и Литвы, усиливающейся в XIII в. Натиск немцев заставил новгородцев отказаться от укрепленного центра (Юрьева) в стране эстов, а полочан — от укрепления Кукенойса и города Герцикэ в Подвинье, в стране латышей. Но немцы, повидимому, не угрожали независимости самой Полоцкой области. Они сами не чувствовали себя прочно в Прибалтике: покоренные народы ненавидели их.[1] Опаснее для самой Полоцкой области были нашествия литовцев. И они вызвали совместные действия русских княжений: поднялись на общую борьбу силы Смоленской земли и Новгородской. Так, в 1191 г. князь Ярослав Владимирович Новгородский был позван «Полотьскою княжьею и полоцяны»; вместе приняли решение итти на Литву или на Чудь.[2] В 1216 г. смоленское войско нанесло Литве поражение под Полоцком.[3] То же повторилось в Полоцкой земле в 1220 г.[4] В 1223 и 1225 гг. набеги литовцев отражал князь Ярослав Всеволодович Суздальский, княживший тогда в Новгороде, причем в 1225 г. он нагнал литовцев у Усвята в Полоцкой земле; одно-

---

[1] См. Генрих Латвийский. Хроника Ливонии, XIV, 7; XIX, 10, и др.

[2] См. Новг. I лет.

[3] См. Д. Данилевич, Очерк истории Полоцкой земли, стр. 131. Киев, 1896.

[4] Там же, 105.

временно вел. князь Смоленский разбил другой отряд литовцев, производивший опустошения около Полоцка.[1]

Северо-восток, где намечался будущий центр объединения, не терял связи с Киевщиной. На Северо-востоке также началось политическое дробление. Попытка Андрея Боголюбского объединить некоторые крупнейшие части государства перенесением столицы из Киева во Владимир имела результатом лишь распространение разложения с юга на центр.[2] Вместе с тем, шла упорная борьба за влияние в общерусском плане. Всеволод и сын его Ярослав стремятся подчинить своему влиянию Рязань, Новгород Великий, Смоленск и распоряжаться Киевом. Как это случилось?

Особое княжение на Северо-востоке образовалось позже, чем в других частях «империи Рюриковичей». Образованию самостоятельного княжения на северо-востоке предшествовал период политического сближения Киевщины с Северо-востоком; основателем города Владимира-Залесского был Владимир Мономах. Город на Северо-востоке в значительной мере служил основанием намечавшегося роста внешней мощи княжеской власти.

На Северо-востоке сложились особенно благоприятные условия для усиления княжеской власти до татарского нашествия; там развитие городской жизни, между прочим, было связано с развитием сношений по волжскому пути, по путям волжско-окского бассейна, а значение сношений на этих путях с Востоком поднялось в общерусском плане после того, как сношения с Востоком на юге, через степи Причерноморья были затруднены вследствие нашествия половцев.

Андрей Боголюбский во внутренних делах Ростово-Суздальской земли действовал так, что заслужил прозвище «самовластца». Это прозвище давалось ему и в объяснении событий, в которых он не играл, повидимому, приписываемой ему роли: в изгнании младших братьев, изгнании еп. Леона. Но самовластное поведение Андрея действительно проявилось в отношении «передних мужей» его отца, изгнанных им за пределы Ростово-Суздальской земли, и, видимо, в отношении Кучковича, по слухам осужденного Андреем на казнь. Сравнивая эти поступки Андрея с некоторыми указаниями, относящимися ко времени преемников Андрея, мы приходим к предположению, что северо-восточный князь вел борьбу с сильными местными боярами-феодалами, пытаясь опираться не только на боярство, но и на горожан, а себя окружить «двором», включавшим в себя людей

---

[1] См. Новг. I лет.; Лавр. лет. П. Голубовский. История Смоленской земли, стр. 299. В 1234 г. Ярослав Всеволодович разбил литовцев около Дубровны, в Торопецкой волости (см. Новг. I лет.).

[2] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века.

Политическое дробление северо-восточной волости выразилось, например, в выделении Всеволодом сыну Константину (в 1210 г.) Ростова с пятью городами.

разного социального происхождения и уроженцев разных стран. В окружении Андрея оказалось не мало лиц, чуждых традициям феодальной верности и легко предавших своего князя-господина.

Внутренняя деятельность его преемника Всеволода впервые развернулась в междоусобной войне, когда на противной стороне боролось большинство боярства области, имевшего своих вооруженных слуг, свою «чадь». Рост сильного боярства на Северо-востоке как политически влиятельного землевладельческого класса не подлежит сомнению. Владимирский летописец прямо ставил Всеволоду в заслугу, что он судил «не обинуяся лица силных своих бояр, обидящих менших и работящих сироты и насилье творящих». Критическое изучение материала может вскрыть, что на Руси происходили явления, подобные тем, которые мы наблюдаем на Западе, где прогрессивные элементы, образовывающиеся под поверхностью феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же, как королевская власть тяготела к ним.

Образчиком подобного явления у нас служит послание Даниила Заточника. Полагают, что в своем первоначальном виде «Послание» было частным письмом. Из текста видно, что автор, сын зажиточных родителей, был изгнан ими из дома. Со временем он впал в нищету. Он обращается к князю с просьбой принять его на службу, в число советников, «думцев». Мы не знаем, из какой среды автор происходил, но к боярству он относится резко отрицательно. Я считаю редакцию, известную под названием «Послания», древнейшей из дошедших до нас редакций разбираемого памятника. Но даже если принять, что древнейшая редакция — «Слово», то, в таком случае, статьи, нас интересующие, следует, как я убедился, считать вставленными в Переяславле-Залесском, потому что их нет в редакции, известной под названием «Слова». Автор «Послания» пуще всего боится службы боярину, быть зависимым от боярина: «лучше бы мне видеть свою ногу в лапте в твоем дому, — обращается он к Ярославу, сыну Всеволода Большого Гнезда, — нежели в красном сапоге в боярском дворе, лучше бы мне тебе в дерюге служить, нежели в багрянице в боярском дворе».[1] Говоря о «милости» князя, о его дворе, его «слугах», автор «Послания» упоминает о слугах Ярослава «от инех стран», подкрепляя тем самым летописные сведения о слугах Андрея Боголюбского.

События XIII в. также показывают, что не только на боярство пытался опереться северо-восточный князь. Не встретив в Ростове, со стороны Константина сочувствия своему решению отделить в княжениях Ростов от Владимира, Всеволод, чтобы закрепить свое завещание, созвал всех бояр своих городов и волостей, епископа Иоанна,

---

[1] См. Слово Даниила Заточника, изд. АН СССР, 1932 (цитату приводим в переводе).

игуменов и попов и «купцов», «дворян» и «всех людей». Последнее событие знаменательно еще в другом отношении. Созванный съезд не походил на думу князя, но не походил и на вечевую сходку, а вносил нечто новое в общественную жизнь Северо-востока. Ниже мы увидим, почему после нашествия татар возможность подобных съездов была исключена. Для нас важно только отметить, что вечевые отношения древней Руси могли эволюционировать, принимать новую форму в соответствии с новыми тенденциями социально-политического развития страны.

Основную военную силу северо-восточного князя составляли местные полки (ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, устюжане, муромцы, новгородцы, рязанцы и т. п.). Имея в своем распоряжении значительную военную силу, северо-восточный князь мог многого добиться, защищая свои общерусские притязания. Главным конкурентом северо-восточных князей были князья черниговские. В круг территории, служившей предметом борьбы между северо-восточными и черниговскими князьями, входят и Рязань и Новгород Великий и Витебск и Киев и даже Галич, куда одно время зовут сына Всеволода Суздальского Ярослава. Борьба затихает как будто в начале XIII века, отчасти в связи с междоусобиями на Северо-востоке, но перед монгольским завоеванием вспыхивает вновь, а перед самым нашествием, после того как Михаил Черниговский вокняжился в Галиче, посадив в Киеве Изяслава, когда Киев стал предметом борьбы между Изяславом и Владимиром, — Ярослав Суздальский, князь Переяславля-Залесского, в 1236 г., обладая княжением в Великом Новгороде, двинулся на юг, оставив в Новгороде сына Александра (впоследствии — Невского) и занял Киевский стол.

На Северо-востоке в среде, близкой к князю, складывается в предмонгольскую эпоху идеал общерусской власти северо-восточных князей, преемников Владимира Мономаха, идеал, еще далекий от осуществления, но отразившийся на тематике и конструкции литературных памятников XII—XIII вв. До нас дошли владимирские летописные своды домонгольского времени; они — общерусские по своей конструкции. До нас дошел литературный отрывок — «Слово о погибели Русской земли» — в рукописи, содержащей биографию Александра Невского.

В сознании автора «Слова о погибели русской земли» нашествие монголов несло за собою, очевидно, крушение идеалов государственного единства «Русской земли», охватывавшей территорию от Киева и Галича до Новгорода Великого и Ростово-Суздальской области включительно.

На юге тяга к общерусскому единению исходила из потребности борьбы с кочевниками (половцами). В сущности, смысл «Слова о полку Игореве» — призыв русских князей к единению. «Смысл поэмы — писал Маркс Энгельсу о «Слово о полку Игореве», —

призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов»[1].

Итак, мы видим, что процесс феодального дробления был, в сущности, процессом двусторонним, поскольку образование местных княжений вызывалось требованиями местной жизни и отражало процесс феодализации и интерес в Киевщине к местным центрам. В процессе феодального дробления отдельные области обособлялись, но не отрывались совсем от «Русской земли», сохраняли связи с остальной Русью.[2] Феодальное дробление шло и в пределах отдельных областей. Параллельно не происходило процесса «собирания» Руси как собирания земли. Однако до татар складывались условия, благоприятствующие усилению княжеской власти и определялось в общерусском масштабе значение Северо-востока как района, где образуется ядро будущего централизованного государства.

Источники не дают основания говорить о «перегнивании» городской Руси в деревенскую перед нашествием татар, об упадке городской жизни на Северо-востоке или об особом, каком-либо «новом» социально-экономическом строе на Северо-востоке. Рост боярского землевладения и усиление крупных феодалов и, с другой стороны, развитие торговых вечевых городов и рост элементов, недовольных феодальными порядками, порождали борьбу могущественных бояр-феодалов с княжеской властью.

В среде, близкой к князю, складывается на Северо-востоке идеал общерусской власти северо-восточных князей как преемников Владимира Мономаха.

Мы говорили о феодальном дроблении, об образовании новых княжений на территории, занятой русскими племенами, но ничего не сказали об образовании трех народностей (великорусской, белорусской и украинской) в составе русских славянских племен. Русский язык в древнейший период, как известно, возможно разделять на несколько говоров: новгородский и смоленский, составлявшие особую группу, галицко-волынский и т. п. Но три особых народности складываются в последующую эпоху, едва ли ранее XV—XVI вв.

Мы убедились, что построение Покровским домонгольской истории Руси в значительной мере объясняется влиянием предшествующей буржуазно-дворянской историографии, но не оправдывается показаниями источников. Теперь нам легче решить, насколько правильно освещает Покровский значение татарского завоевания в истории Руси.

Покровский не показывает той картины страшного опустошения, разорения страны, которые производили монголы на протяжении

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXII, 122.

[2] В особом положении была Тмуторокань; нашествие половцев предрешило ее отпадение.

многих лет своего владычества на Руси. Чтобы познакомиться с истреблением татарами русского населения, включая женщин и детей, достаточно прочесть в Лаврентьевской летописи под 1237 г. о взятии г. Владимира или в Ипатьевской летописи под 1261 г. о взятии г. Сандомира. Но было бы неправильно думать, что татары опустошали только города и только при завоевании страны. Уже во время нашествия 1237 г., как прямо говорит летопись, татары сжигали «села», причем захватывали имущество (см. Воскр. л.). В последующих многочисленных «нахождениях» на Русь татары опустошали также не только города, но и «села», как показывают летописи (см. например, Симеоновскую летопись под 1293 или под 1326 г.). Татарские нашествия вызывали передвижения населения, бросавшего насиженные места. Так, в Батыево нашествие, например, «люди» бежали из владимирского района на север, главным образом, в район ростовских княжеств. Позже, когда опустошались преимущественно ростовские княжества, население бежало на запад, в район Москвы и Твери и т. п. Особенно губительны были опустошения во второй половине XIII и первой половине XIV вв. Но памятны были и Тохтамышево нашествие 1382 г. и Едигеево нашествие 1408 г. Многочисленные опустошения, которым подвергались города и села, не могли не задерживать развития хозяйственной жизни страны — города и деревни.

Покровский не только не говорит об этом, но прямо протестует против мнения, что татары-степняки опустошали оседлый мир, и, как мы говорили, ссылается на результаты раскопок Баллода, вскрывающих культуру торгового города в Золотой Орде. Если бы даже Покровский доказал, что основой общественного быта монголов был «торговый капитал», то тем самым он не опроверг бы показаний источников о разрушительных действиях монголов на Руси. Но следует, однако, сказать, что Покровский односторонне освещает общественный быт Золотой Орды. Конечно, существование значительных торговых центров на месте Селитренного и на месте Царева не подлежит сомнению. Но, во-первых, следует иметь в виду, что большую часть татарского войска, пестрого в национальном отношении, составляли тюрки-кочевники. Монголов было сравнительно немного. Во-вторых, сами монголы оставались кочевниками по преимуществу. Источники показывают нам ханов в большинстве случаев кочующими, а не живущими во дворцах (см., например, описание Ибн-Батуты; пометки на ярлыках, выданных русским митрополитам и т. п.). Разложение Золотой Орды во второй половине XIV в. было связано с небывалым усилением золотоордынской феодальной кочевой аристократии.

Так же односторонне освещает Покровский и налоговую организацию татар. Правда, он говорит, что татары впервые обложили данью «горожан» и тем «внесли глубокие изменения и в социальные отношения». Но как раз это едва ли верно: горожане облагались

и до татар.[1] Покровскому известно, что летопись рассказывает о «лютом томленьи» — о деятельности откупщиков татарской дани, ссужавших неимущих деньгами в рост, уводивших недоимщиков в рабство, о восстаниях против откупщиков. И тем не менее, он говорит, что одной татарской финансовой организации «было бы достаточно, чтобы опровергнуть ходячее мнение, будто татарское нашествие было разгромом культурной страны дикими кочевниками». Покровский упоминает, что татары ввели еще новые налоги: «ям» и «тамгу», но при этом он высказывается недостаточно определенно, когда сравнивает тяжесть дани, взимавшейся с сельского населения в период татарского ига и в предшествующее время. Он не вспоминает, что, помимо дани и ряда определенных налогов и повинностей, были налоги экстренные («запросы»), что князьям приходилось делать значительные затраты в Золотой Орде, занимая у купцов, а затем, по возвращении из Орды, облагать население новыми поборами и т. п. В доказательство того, что восстания не свидетельствовали о тяжести податного бремени, лежавшем на сельском населении, Покровский утверждал, что восстания шли обычно из городов (а не из деревни). Но он забывает, что город был центром области, что восстание в Твери, например, в 1328 г. разразилось в праздничный день, когда в город съезжались из деревень и, как отмечает источник: «в полоутра как торг сънимается».

Дань выплачивалась в Орду «серебром», т. е. серебряными слитками. Характерно, что в Орде существовало даже убеждение, что в России имеются серебряные рудники (Марко Поло; Ибн-Батута). На Руси серебро получали, очевидно, путем внешней торговли.

Результаты татарского нашествия не показаны Покровским полностью и потому, что он почти не останавливается на вопросе о присоединении Юго-западной и Западной Руси к Польше и Литве. Между тем татарское нашествие содействовало отпадению Юго-западной и Западной Руси; отпадение этой значительной территории произошло в условиях, созданных феодальной раздробленностью и в зависимости от условий, созданных татарским нашествием и в связи с событиями истории монгольского государства.

Вероятно литовцы пытались использовать положение сразу же после нашествия Батыя и захватить окраинные области. По крайней мере, мы знаем, что в 1239 г. вел. князь владимирский Ярослав ходил к Смоленску, победил Литву, а князя их «ял»; затем он «урядил» смолнян и посадил в Смоленске Всеволода. В том же году сын Ярослава Александр (Невский) женился на дочери полоцкого князя Брячислава. А в 1245 г. Александр Невский, нанеся пораже-

[1] Так, известно, что уставная грамота Ростислава Смоленского точно и ясно устанавливает «погородие», т. е. доход князя с каждого города (см. Голубовский, История Смоленской земли, гл. 4, стр. 234—258).

ние литовцам, заезжал в Витебск за сыном.[1] Видимо, Литва получала первое время после татарского нашествия отпор со стороны суздальских князей. Но до 1252 г. вся Полоцкая область была захвачена литовцами. Возможно, это произошло между 1247 и 1249 гг., когда Александр Невский уезжал в Монголию.

Киев подвергся страшному разгрому во время нашествия Батыя, а Черниговщина, как окраинный, смежный с татарской степью район, была совершенно опустошена. Разгром Черниговщины вызывался особыми политическими причинами. Киев потерял свое значение торгового города и старого политического центра. Это последнее значение его было подорвано еще сложившимися обстоятельствами церковной жизни, стоявшими в связи с ордынско-византийскими и византийско-русскими отношениями. Александр Невский, получив Киев, не поехал на Юг, а остался в Новгороде.

В дальнейшем, в XIII в. мы не слышим о князьях в Киеве, но не можем с уверенностью сказать, что князей там не было: о Киеве последующих десятилетий мы почти ничего не знаем. Галицко-Волынская область была сильно опустошена и ее силы подорваны походом Телебуги в 80-х годах XIII в. В XIV в. она сделалась жертвой польской и литовской агрессии. Смоленск признал верховную власть Гедимина в 30—40-х годах XIV в. Татарская зависимость вызывала даже в Твери стремления к политическому сближению с Литвою. В 1362 г. Золотая Орда распалась на отдельные области, поставившие себя независимо от Сарая. Пользуясь новой ситуацией, Ольгерд в 1363 г. занял Подолье и Черниговщину — район, соприкасавшийся с татарской территорией, оторвавшейся от Сарая. Тогда же, повидимому, в 1262—1263 г. был захвачен Ольгердом и Киев.

Грубый схематизм построения освободил Покровского от необходимости решать ряд трудных вопросов по истории страны. Читатель «Русской истории с древнейших времен» не узнает, например, даже о существовании Галицко-Волынского княжества. Это также отчасти объясняет, почему Покровский не показал полностью результаты татарского нашествия.

Изучение истории монгольской политики на Руси обнаруживает, что монголы использовали существовавшие на Руси политические отношения. Интересы татар как властителей побудили их в связи с опасностью, грозившей монгольскому владычеству с Запада, поддерживать северо-восточного князя в его соперничестве с черниговским. На Юго-западе, где князь не отказывался от борьбы с Ордою и где большую силу имело боярство, монголы, опираясь на окраин-

---

[1] Суздальские князья, повидимому, дорожили связями с Витебском, важным торговым центром на Двине. Попытка черниговского князя в конце XII в. захватить Витебск и какие-то смоленские «волости» вызвала столкновение между черниговским князем и суздальским. В 1209 г. Всеволод Суздальский закрепил связи с Витебском женитьбой на дочери витебского князя Василька.

ные области Юго-западной Руси, учитывали враждебное отношение местного боярства к князю. Отношения в Юго-западной Руси мало интересовали Покровского.

Несомненная заслуга Покровского в том, что он обратил внимание на союз «лучших людей» и князя с татарами против «черни». Этот вопрос, затронутый им мимоходом, заслуживает самого пристального рассмотрения, так как связан с весьма важной стороной татарской политики на Руси.

Мы упоминали, что откупщики подвергали народ «лютому томленью». В начале 60-х гг. XIII в. на Северо-востоке вспыхнули восстания, направленные против откупщиков ордынской дани (1262 г.). Выступления городов Ростовской земли против этих откупщиков вылились в форму вечевых восстаний. Восстания 1262 г. положили начало ряду восстаний против порядков ордынского владычества преимущественно в Ростовском княжестве во второй половине XIII и начале XIV вв., когда Золотая Орда уже отделилась от монгольской империи. Под Ростовским княжеством я разумею территорию в пределах Ростово-Суздальской земли, перешедшую к сыновьям и внукам Константина Всеволодовича. Она включала в свой состав Ростов, Ярославль, Устюг, Белоозеро, Углич, Мологу. Главным очагом восстания был Ростов, исконный вечевой центр волости. Волнения не могли не вызвать энергичных мероприятий со стороны Золотой Орды по отношению к Ростову, и именно к Ростовскому княжеству.

В настоящем кратком очерке я не имею возможности показать богатый материал по истории политики Орды, добытый мною путем критического анализа материала и сопоставления показаний восточных, русских и западных источников. Я пользуюсь здесь только некоторыми выводами своей работы. Мероприятия татар в Ростовском княжестве прежде всего, конечно, должны были выразиться в усиленной организации баскаческого «охранения», в усилении баскаческих отрядов в Ростовском княжестве, появившихся впервые на Северо-востоке в 1257 г. Такие мероприятия не могли, однако, сами по себе уничтожить самый источник «непокорства», коренившийся в укладе местных отношений. Надо было местных князей сделать в полной мере татарскими «служебниками», оторвать их от местной бытовой почвы, сблизить с Ордою и, тем самым, в значительной мере обезвредить вечевую стихию города и, наконец, прямо использовать князей для борьбы с непокорными. И татары многого добились. Приведем пример. Как показывает критическое изучение материала, ценным источником по интересующему нас вопросу служит житие Федора Ростиславича Ярославского в редакциях конца XV и XVI вв. Ярославцы, как показывает житие в сопоставлении с другим материалом, после продолжительного пребывания Федора Ростиславича в Орде отказались принять его и исполнить требование татарского посла. Тогда князь вернулся из «Орды от царя к граду Ярославлю с силою великою воинъства своего и гражане же вдашася

за него». Город был «взят». Вместе с кн. Федором пришли «многы силы Русские земли, князи и боляре, множество людей душь христианьских, и царева двора приидe с ним множество татар, и кои быша были ему обиды от гражан и он же царевым повелением мьсти обиду свою, а татар отпусти в свою землю в Орду с честью великою к царю». В первой половине XIV в. мы видим, что князь приезжает из Орды и избивает «вечников» не только в Ростовском княжестве. В тексте Владимирского Полихрона мы читаем, что в 1305 г., в Нижнем Новгороде «избита чернь бояр Ондреевых; и пришед князь Михайло из Орды и изби вечников» (см. Львовская и другие летописи). Одной из причин, почему в Орде выдвигали на великокняжеский стол трех московских князей подряд, предпочитая их тверским, было восстание в Твери 1328 г. и поведение великого князя Александра Михайловича.

Как отражалась на развитии страны такая политика татар? Мы видели до татар признаки борьбы великого князя с местными сильными боярами-феодалами; мы видели, что до татар, в отношениях между князем и населением, как будто, намечались некоторые черты, свидетельствующие о том, что князь пытался опереться не только на бояр, но и на другие слои населения; мы указывали некоторые признаки тяготения элементов, недовольных «феодальным беспорядком», к князю и т. п. Ясно, что рассмотренная выше политика татар и разорение городов, особенно Владимир-Залесского, должна была тормозить развитие отношений в указанном направлении.

Вопрос об образовании Московского государства распадается, в сущности, на два: первый, — почему именно Москва стала играть первенствующую роль; второй — почему (а также: как и когда) произошло сплочение Руси вокруг Москвы и сложилось централизованное русское государство.

Значение татарского ига при решении первого вопроса Покровский оценивает далеко не полно. Он правильно указывает на политику Орды на Руси, а также на политику князей в Орде, как на одну из причин возвышения Москвы. Но он забывает о роли татарских нашествий в усилении Москвы, на что указывал Соловьев, развивая мысль, что в Московское княжество стекалось население как в более безопасный район, спасаясь от татарских вторжений.[1] Значение татарского ига при решении вопроса о сплочении Руси вокруг Москвы и образовании централизованного русского государства остается Покровским совершенно не оцененным. Между тем, необходимость дать отпор нашествиям татар имела важнейшее значение в образовании централизованного государства на Руси.

Известно, что Руси не пришлось пойти по такому пути объединения, когда нации облекаются в формы централизованного государства, каким шел Запад (Англия, Франция, Италия и отчасти Герма-

---

[1] С. Соловьев. История России с древнейших времен, IV, 1119.

ния), где, как говорит тов. Сталин: «период ликвидации феодализма и складывания людей в нации по времени в общем и целом совпал с периодом появления централизованных государств...» В Восточной Европе... «интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия. И так как на востоке Европы процесс появления централизованных государств шел быстрее процесса складывания людей в нации, то там образовались смешанные государства, состоявшие из нескольких народностей, еще не сложившихся в нации, но уже объединенных в общее государство».[1]

Положение тов. Сталина об образовании в Восточной Европе централизованных государств не было учтено Покровским. Он считал, что интересы борьбы с монголами не могли играть значительной роли в истории сплочения Руси вокруг Москвы.[2] Этот взгляд Покровского коренным образом расходился с важнейшим положением, высказанным тов. Сталиным. Между тем, изучение материала, свободное от предвзятых взглядов, в полной мере подтверждает объяснение, данное тов. Сталиным.

После периода блеска при Узбеке (1312—1340 гг.) и Джанибеке (1340—1357 гг.) Золотая Орда, пережив несколько смутных лет (1357—1362 гг.), распалась на отдельные области. Пользуясь многовластием в Золотой Орде, Московский князь выказал явное неповиновение Сараю при поддержке темника Мамая, захватившего южнорусские степи. Одновременно Московский князь привел «в свою волю» Нижегородского князя, Ростовского и выгнал из Галича-Мерского Галичского князя. Усилившись, Мамай стал поддерживать на русском Северо-востоке Тверь в противовес Москве. Московский князь стал наступать на Тверь и Рязань. В Золотой Орде начались новые неурядицы, позволившие Московскому князю повести открытую борьбу с Мамаем. Незадолго до Куликовской битвы, в условиях начавшейся борьбы с Мамаем, был совершен известный поход на Тверь 1375 г., принудивший Тверского князя признать руководящую роль Москвы. Города помогали Московскому князю в борьбе за объединение Руси. Но, может быть, сплочение Руси вокруг Москвы началось ранее 1362 г., в эпоху Узбека и Джанибека, при Калите и его преемниках? Еще на рубеже XIV в. Москва захватила у рязанцев Коломну (в 1301 г.), а у Смоленска — Можайск (в 1303 г.). На стороне рязанцев были «татары». Как обнаруживают специальные разыскания, это был момент, когда Москва находилась в независимом от татар состоянии.[3] В конце XIII в. ни Тверь, ни Переяславль,

---

[1] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 73, 1936.

[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. I, стр. 136, 1933.

[3] А. Н. Насонов. Монголы и Русь.

ни Москва не признавали Волжской Орды, не признавали ханов Сарая, а признавали своим «царем» темника Ногая, захватившего южнорусские степи. Как только (около 1299 г.) Ногай был убит, княжества, не признававшие Волжскую Орду, оказались в первый момент без хозяина в Орде и в первые годы XIV в. держали себя еще довольно независимо по отношению к Волжской Орде. Съезды князей в присутствии представителя ханской власти 1299 и 1304 гг. преследовали цель установить отношения в новых условиях между Волжской Ордой и ее новыми вассалами: Тверью, Москвой и Переяславлем. Орда стремилась разъединить бывших союзников, поссорить их, и, вместе с тем, привлечь на свою сторону Московского князя: мы видим, что на съезде 1304 г., где «чли грамоты царевы ярлыки», Переяславль был утвержден за Московским князем, хотя тем самым Орда нарушала правовое положение, согласно которому выморочные владения поступали в распоряжение великого князя (ярлык на великое княжение владимирское был передан Андрею Городецкому). Ярлык на великое княжение Владимирское Московский князь получил только в 1317 г. Нет сомнения, что он пытался использовать свои великокняжеские полномочия в московских интересах, в интересах объединения Руси вокруг Москвы. Такая попытка была сделана в 40-х годах XIV в. Могу указать на новый материал (до сих пор не привлекавшийся историками), свидетельствующий, что Московский князь пытался использовать свои связи с местным боярством, жившим на территории, одно время принадлежавшей к великому княжению владимирскому. Попытка провалилась, так как встретила решительное противодействие со стороны ханской власти (Рогожский «летописец»).

После признания Москвою в начале XIV в. власти Волжской Орды, сплочение Руси вокруг Москвы не могло осуществляться вплоть до 1362 года. Мало того, в первой половине XIV в. Переяславль был изъят из состава территории Московского княжества и присоединен к особой «земле великого княжения» (владимирского), переходившей не по завещанию (с утверждением хана), а по особому ярлыку. Еще в 1311 г. Нижним Новгородом владел Московский князь (Юрий). Но уже в 1328 г. Нижний Новгород и Городец присоединяются к особой территории великого княжения владимирского. Мне удалось установить, на основании летописного материала, изданного после революции, что Нижний Новгород и Городец находились в составе «великого княжения владимирского» с 1328 г. до 1341 г., а в 1341 г., по воле хана, было образовано особое «великое княжение» Нижегородско-Суздальское.

В первой трети XIV в. в Орде передают ярлык на великое княжение Владимирское то Тверскому князю, то Московскому. В частном вопросе — почему на ряду с Тверским князем в Орде выдвигали Московского князя (с 1317 г.) на великое княжение владимирское — Покровский был прав. Он говорил, что Москва была слабее Твери, и в Орде опасались Тверского князя. Это совершенно верно. Анализ

событий 1317—1318 гг. действительно показывает, что Тверское княжество было самым сильным на Северо-востоке.[1]

После восстания 1328 г. в Твери и бегства Александра Тверского, ярлык на великое княжение владимирское передавался не тверским князьям, а трем московским князьям подряд. Но в то же время, как мы видели, по воле Орды был совершен раздел великокняжеской территории.[2] Кроме того, на ряду с Москвой существуют и сохраняют свою самостоятельность по отношению к Москве «великие княжения» Рязанское и Тверское. «Великое княжение» Смоленское, как мы выше упоминали, отходит к Литве.

Мелкие князья непосредственно сносились с Ордою, и Московский князь не имел возможности даже ростовских князей привести «в свою волю», хотя в Ростове Ивану Калите, как великому князю владимирскому, приходилось действовать так, как действовали, вероятно, баскаки, исчезнувшие на русском Северо-востоке в XIV в.[3] «Великое княжение владимирское» должно было служить только интересам Орды. Как правильно указывает Маркс, «для того, чтобы создать рознь среди русских князей и чтобы закрепить за собою их рабское подчинение, монголы восстановили достоинство великого княжения (владимирского)». Предположения историков о покупке Иваном Калитой «власти», «княжения» в Угличе, Галиче и Белоозере не оправдываются совокупными показаниями материала.

Короче говоря, мы вынуждены признать, что до 1362 г. процесс сплочения Руси вокруг Москвы не развивался, хотя в некоторых отношениях почва для будущей роли Москвы была подготовлена социально-экономическими условиями и политикой предшественников Димитрия Донского. Только после 1362 г., когда встал вопрос об открытой борьбе с татарами, «земля великого княжения владимирского» была присоединена к территории Московского княжества, и Московский князь стал приводить в «свою волю» князей. Этот процесс сплочения непосредственно предшествовал военным действиям против татар и вызывался требованиями обороны страны от нашествия монголов.

В состав централизованного Русского государства вошли позднее разные народности. Уже при Донском, когда в процессе борьбы с монголами началось образование централизованного государства, мы наблюдаем вхождение разных народностей в его состав, или точнее— первые шаги в этом направлении. В начале 70-х гг. XIV в. с новыми неурядицами в Золотой Орде ослабла связь Орды

[1] «Традиционной политикой татар, — писал Маркс, — было обуздывать одного русского князя при помощи другого, питать их раздоры, приводить их силы в равновесие и не позволять никому из них укрепляться» (см. Secret Diplomatic History of Eighteenth century, London, 1899).

[2] А. Н. Насонов. Монголы и Русь.

[3] Иван Калита «не завоевывает уделы, но незаметно обращает в свою пользу права завоевателей татар» (К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века).

Мамая с Болгарами. Московский князь немедля выдвинул заслон к Оке, организовал поход на Болгары, взял их и посадил там своего «даригу» и таможника, подражая самим монголам. С Юга ожидали нашествия Мамая. Он сначала послал князя Бегича (1378 г.), затем пошел в поход сам (1380). И как раз в годы, предшествующие Куликовской битве, Московский князь укреплялся в Засурьи. К востоку от Рязанского княжества Димитрий Иванович, по свидетельству сына, «отоимал» какие-то «татарские» и «мордовские» места; в зависимость от Донского стала область по р. Цне, принадлежащая, вероятно, мещерским князьям, на которую ранее, возможно, распространялась власть Тагая. Не менее красноречивы данные, относящиеся к XV в. В интересах обороны от враждебных Москве татар и борьбы с ними в 40-х гг. XV в. Московское правительство жалует Касиму Городец (городок) мещерский с образованием особого рода феодального ханства и т. п.

Мы видим, таким образом, какую большую роль, вопреки мнению Покровского, играла открытая борьба с монголами в истории сплочения Руси вокруг Москвы, в истории образования централизованного государства, в состав которого входили разные народности.

Изучение политики татар показывает, что они действительно стремились препятствовать объединению Руси. Исследование истории татарской политики заставляет думать, что ошибались те историки (Пресняков и др.), которые утверждали, что ханы не вмешивались во владельческий распорядок. Ханы не только не ограничивались закреплением существующего соотношения сил на Руси, но вели активную политику на Руси в течение более 150 лет. «Татарщина» для нашей страны была действительно «политической бурей».[1]

Специальные разыскания по истории татарской политики на Руси вскрывают картину, свидетельствующую, что татарское завоевание только с большой натяжкой можно считать лишь «внешним» толчком. Приведу пример. До сих пор не было правильного объяснения, что собою представляли и какое значение имели баскаки на Руси. Обычно полагали, что их главной обязанностью был сбор податей. Внимательное исследование приводит к выводу об особых по своему составу баскаческих отрядах, *постоянно* пребывавших в значительном количестве на Руси; основной обязанностью их была охрана порядков, установленных монгольским владычеством. До сих пор в литературе не был объяснен смысл организации, отмеченной в летописи под 1257 г.: «темники, тысячники, сотники», поставленные «численниками». Исследование позволяет отождествить эту организацию с баскачеством и считать, таким образом, *постоянной* военно-политической организацией. Разыскания по истории монгольской политики на Руси приводят к выводу, что охрана порядков монгольского владычества

---

[1] В. И. Ленин. Соч., III, 242.

на Руси была непосредственно в руках монгольской степной аристократии. Баскачество служило одним из орудий проведения монгольской политики на Руси. Уже из этого видно, что татарское завоевание не было только «внешним» толчком.

В XIV веке военно-политическая организация (которую следует отождествлять с баскачеством) перестала существовать на Руси. Но татары вмешивались во владельческие распорядки и принимали активное участие в образовании состава территории «великого княжения владимирского», и, опасаясь усиления князя, получавшего ярлык на великое княжение владимирское, производили разделы земли «великого княжения». Некоторые указания материала заставляют полагать, что с исчезновением баскаков на русском Северо-востоке, там постоянно пребывали[1] присланные от хана доверенные лица, наблюдавшие за поведением князей.

Централизованное государство создавалось в период борьбы с татарами, вопреки стараниям монголов-завоевателей, направленным к политическому раздроблению Руси, испытавшей тяжелое татарское иго. Татары стремились парализовать процесс консолидации, но вызывали только сплочение народных сил на борьбу за государственное единство. Источники указывают на народное движение при Димитрии Донском за сплочение «городов» вокруг Москвы и за борьбу с татарами-завоевателями. Как мы знаем, только во второй половине XIV в. явилась возможность открытой борьбы с ними. Ранее, в XIII и первой половины XIV вв. известен ряд восстаний против поработителей.

На Куликовом поле против татар бились главным образом силы Московского княжества и «земли великого княжения владимирского», присоединенного к территории Московского княжения при Димитрии Ивановиче. Кроме того, в качестве участников похода летопись упоминает князей Ростовского княжества и некоторых мелких князей. Благодаря усилиям Мамая крупные княжества — Тверское, Нижегородское — находились во вражде с Москвой, и в походе не участвовали. Олег Рязанский перешел на сторону татар. Тем не менее, Куликовская битва по своему значению явилась общенародным делом. Русский народ, томившийся под игом почти 150 лет, одержал большую, блестящую победу в открытом поле над врагом, угнетавшим его столько времени.

Вскоре после Куликовского сражения Золотая Орда вновь объединилась под властью хана Тохтамыша. Силы Москвы были истощены, но настроение масс в осажденной Тохтамышем Москве свидетельствовало о воле к борьбе. Тохтамыш взял Москву (1382 г.) обманом, при содействии суздальских князей, сопровождавших татар. Москва опять была приведена к покорности.

---

[1] В том городе, в котором жил князь, занимавший «великое княжение владимирское».

Тохтамыш и его ближайшие преемники напрягали силы, чтобы сохранить свое господство над Русью не только номинально, но и фактически. Они препятствовали объединению Руси Москвою, поддерживали местный сепаратизм, противопоставляя Москве княжества Тверское, Рязанское, Нижегородско-Суздальское. Золотая Орда была еще достаточно сильна, чтобы произвести неожиданное нашествие (1408 г.) на Москву, которую им взять не удалось, но значительная часть территории северо-восточной Руси была опустошена.

В первой половине XV в. Золотая Орда стала приходить в полный упадок, тогда опять явилась возможность открытой борьбы с татарами. В XV в. с новой силой возобновился процесс сплочения Руси вокруг Москвы. «В России покорение удельных князей, — писал Энгельс, — шло рука об руку с освобождением от татарского ига и окончательно было закреплено Иваном III».[1] Татарское иго окончательно пало только при Иване III, но уже в первой половине XV в. зависимость Руси от Золотой Орды значительно ослабела.

Источники красноречиво свидетельствуют также о прогрессивной роли церкви в деле сплочения Руси вокруг Москвы. Покровский говорил, что церковь вошла в союз с Москвой, во-первых, потому, что «дружба с Москвой означала дружбу с Ордой», а, во-вторых, из желания, обычно возникавшего у феодала, оказать противодействие своему сюзерену (великому князю владимирскому, а им был в первой трети XIV в. тверской князь). Такое объяснение трудно примирить с показаниями источников. Мы знаем, что при Донском, когда великое княжение владимирское укрепилось в руках Московского князя, а в Орде (Мамай) пытались поддерживать Тверь, митрополит все же не перешел на сторону Твери.

В заключение отметим, что Покровский забыл о том мертвящем действии, которое оказывало татарское иго на развитие искусства в завоеванной стране. Так, например, в домонгольскую эпоху мы наблюдаем расцвет архитектурного искусства. Сохранились памятники ростово-суздальского строительства (например, палаты Андрея в Боголюбове, Дмитровский собор во Владимире, построенный Всеволодом, Успенский собор в Ростове, заложенный Константином Всеволодовичем), отражающее восточные и западные влияния. С нашествием монголов каменное строительство в Ростово-Суздальской земле остановилось. Наблюдения в других областях древнерусского искусства также показывает, что татарское нашествие образовало в его развитии насильственный перерыв.

Резюмируем сказанное. Татарское иго на Руси Покровский изображал, исходя не из оценок Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а из

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. I, 450.

антимарксистских построений своих предшественников и современников. Он (под влиянием Костомарова) придавал татарскому игу существенное значение, но полагал (под влиянием «новейшей» дореволюционной немарксистской науки), что значение это ограничивалось внешним толчком и что этот «внешний толчок», не внося по существу ничего нового, помог разрешиться внутреннему кризису. Теория «перегнивания» в домонгольский период городской Руси в «деревенскую», предложенная Покровским, связывала в его построениях Киевскую Русь с Московской. Понимание татарского ига, высказанное Покровским, не соответствует действительности.

Основы феодального строя не были сломлены татарским нашествием: татарщина не разрушила установившихся форм эксплоатации в сельском хозяйстве. И тем не менее, значение татарщины как «политической бури», длительно разрушавшей, как ига, давившего более 200 лет, — было велико. Татарщина оказала, в действительности, огромное депрессивное влияние на развитие нашей страны, чего не признавал Покровский.

Неверно утверждение Покровского, что татары застали на Руси процесс перегнивания городской Руси в деревенскую, что Новгород на общем фоне перерождения представлял собою исключение, поскольку в своих огромных колониях нашел неисчерпаемый источник «товара»: русский Северо-восток, например, также обладал источниками «товара». Не ясно у Покровского также, в каких слоях населения находил опору своей власти князь на Северо-востоке.

Татары застали на Руси процесс феодального дробления, развивавшийся в результате роста производительных сил страны. Процесс феодального дробления свидетельствовал о том, что шел процесс феодализации и о том, что в Днепровской Киевской Руси оживился интерес к местным центрам. Интерес к последним обусловливался тем, что создавались (подобно тому, как было на Западе) новые местные торговые связи, выходившие за пределы ближайшей округи: например, непосредственные сношения Киевщины с Северо-востоком через землю вятичей. С остальной Русью были связаны торговыми сношениями и западные окраинные области — Галицко-Волынский край и Подвинье. Образование новых княжеств вело за собою политическое обособление волостей, но они политически не отрывались от остальной Руси: до татарского нашествия не было, например, налицо всех условий для того, чтобы Галицко-Волынский край отошел к Польше и Литве. Феодальное дробление шло и в пределах отдельных областей. Вместе с тем до татар складывались условия, благоприятствовавшие усилению княжеской власти и определилось в общерусском масштабе значение Северо-востока как района, где образуется ядро будущего централизованного русского государства.

Притязания крупных бояр-феодалов порождали борьбу крупного боярства с княжеской властью, а развитие элементов, враждебных феодальным порядкам, создавало опору для княжеской власти в этой

борьбе. На Руси происходили явления, подобные тем, которые мы наблюдаем на Западе, где революционные элементы, образовавшиеся под поверхностью феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же, как королевская власть тяготела к ним. Особенно благоприятная почва для усиления княжеской власти в его борьбе с крупным боярством и для усиления «внешней» мощи княжеской власти создалась на Северо-востоке.

Там со второй половины XI или с первой половины XII вв. происходил быстрый рост производительных сил; быстро развивалась городская жизнь, что было, между прочим, связано с новыми условиями восточной торговли: значение волжского пути поднялось после того, как нашествие половцев затруднило сношения с Востоком по путям на Юге. С ростом «внешней» мощи князя складывается на Северо-востоке идеал общерусской княжеской власти.

Относить к дотатарской эпохе образование трех народностей (великорусской, украинской и белорусской) — мы не имеем оснований.

Для того, чтобы понять, какое огромное депрессивное влияние на развитие нашей страны оказало татарское иго, необходимо знать и историю татарских нашествий и историю татарской политики на Руси.

Страшные опустошения, которым много раз подвергались города и села Руси в XIII—XV вв., оказали депрессивное воздействие на хозяйственное и культурное развитие страны. Непосильное бремя разнообразных ордынских поборов разоряло население. Особенно разорительна была деятельность откупщиков ордынской дани. Неправильно полагать, что завоеватели были культурнее завоеванных, хотя в Золотой Орде существовали торговые города, но монголы и тюрки (составлявшие основную массу золото-ордынского войска) были по преимуществу кочевниками.

Татарское нашествие содействовало присоединению Юго-западной и Западной Руси к Польше и Литве. Читатель труда Покровского «Русская история с древнейших времен» даже не узнает о существовании Галицко-Волынской Руси.

Несомненная заслуга Покровского в том, что он обратил внимание на разницу в отношении татар к князю и лучшим людям, с одной стороны, и к черни, — с другой, но вопрос этот не получил достаточной разработки и полного освещения в его трудах. Покровский упустил из виду связь между положением Ростова как старого волостного и вечевого центра и значением его как главного очага мятежей, почему ханы особенное внимание обратили на князей Ростовского княжества. Разорение городов татарами (особенно — г. Владимира-Залесского) и политика татар, направленная к тому, чтобы использовать князей в борьбе с вечевыми городами, депрессивно влияли на развитие отношений в том направлении, в каком оно наметилось до нашествия татар.

Но политика татар прямо ставила целью препятствовать усилению

того или иного княжества на Руси, поддерживать слабых против сильных, препятствуя объединению Руси. Покровский правильно указал, что татары поддерживали Москву в противовес Твери (она была сильнее Москвы). Но вместе с тем, он не учитывал, что усилению Москвы и Твери способствовало движение в эти районы с юга и с юга-востока населения, спасавшегося от татарских вторжений. На совершенно неправильной позиции стоит Покровский, решая вопрос о сплочении Руси вокруг Москвы и об образовании централизованного русского государства.

На решающее значение борьбы с монголами в образовании централизованного государства, предрешившей его многонациональный характер, указывал товарищ Сталин. Покровский не понимал этого важнейшего положения, высказанного тов. Сталиным. Покровский полагал, что интересы борьбы с монголами не могли играть значительной роли в истории сплочения Руси вокруг Москвы. Изучение материалов в полной мере подтверждает указание товарища Сталина. Ни при Иване Калите, ни при его ближайших преемниках (до смут в Орде), пока русские подчинялись ханам, процесс собирания Руси не развивался. Объединение Руси вокруг Москвы началось при Димитрии Донском, когда положение в Орде позволило повести открытую борьбу с монголами. Население оказывало поддержку Димитрию Донскому в его борьбе за объединение Руси. Так складывалось централизованное национальное и затем — многонациональное государство.

Неверно утверждение Покровского, что нашествие монголов было только внешним толчком. Изучение истории монгольской политики показывает, что монголы в своих интересах использовали существовавшие на Руси политические отношения. Интересы татар как властителей побудили их в связи с опасностью, грозившей монгольскому владычеству с Запада, поддерживать северо-восточного князя в его соперничестве с черниговским. На юго-западе, где князь не отказывался от борьбы с Ордою и где большую силу имело боярство, монголы, опираясь на окраинные области Юго-западной Руси, учитывали враждебное отношение местного боярства к князю. На Северо-востоке усилия монголов были направлены к тому, чтобы использовать в интересах своего владычества князя и местное боярство и изолировать массы в их противодействии порядкам ордынского владычества. Специальное изучение истории монгольской политики вскрыло существование постоянной военной организации монголов на Руси, причем обнаружило классовый характер этой организации. В XIV в. эта организация (баскачество) перестала существовать на Руси. Но татары и после этого вмешивались во владельческие распорядки и принимали активное участие в образовании состава территорий «великого княжения владимирского», а также, опасаясь усиления князя, получавшего ярлык на великое княжение владимирское, производили разделы земли «великого княжения». С исчезновением баскаков на русском Северо-востоке там, повидимому, постоянно пре-

бывали присланные от хана доверенные лица, наблюдавшие за поступками великого князя.

Если в начале XIV в. татары, опасаясь усиления Твери, выдвигали в противовес ей Москву, то позже они борются против объединения Руси Москвою, поддерживая в противовес ей другие княжества.

Отношение церкви к Орде и к Москве также неправильно освещено у Покровского. Материал свидетельствует о прогрессивной роли церкви в деле сплочения Руси вокруг Москвы. Наконец, Покровский ничего не говорит о мертвящем воздействии, которое оказало татарское иго на развитие искусства в завоеванной стране.

В. И. ПИЧЕТА

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА И БОРЬБА С ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА

ДВОРЯНСКО-БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ и М. Н. ПОКРОВСКИЙ

Отдел «Смута» в «Русской истории с древнейших времен» Покровского был опубликован в 1912 г. К тому времени дворянско-буржуазная историография располагала целым рядом работ, ценных фактическим материалом, которые были использованы Покровским и оказали влияние на его концепцию «Смуты». Уже одно то, что Покровский нашел возможным удержать термин «Смута», принятый в дворянско-буржуазной историографии, указывает на известную зависимость его от последней. Правда, в «Русской истории в самом сжатом очерке» (1920) Покровский вместо термина «Смута» употребляет совершенно неудачный термин «Крестьянская революция».

Покровский считал, что дворянские и буржуазные историки сознательно ввели в употребление термин «Смута», желая скрыть, что время, «называемое ими «смутным», в действительности было временем восстания народной массы против ее угнетателей»,[1] но, тем не менее, этот сугубо неверный термин, совершенно ложно характеризующий события начала XVII в. в Московском государстве, был сохранен Покровским во всех изданиях своей «Русской истории с древнейших времен». Он пользуется им и в своих более поздних статьях о событиях начала XVII в., помещенных в энциклопедических словарях».[2]

Современники «Смуты», авторы многочисленных повестей и сказаний о пережитом ими времени, не пользовались этим термином. Первые пятнадцать лет XVII в. современники называли «великим разореньем», учитывая всеобщий упадок народнохозяйственной жизни, как естественный результат происходивших в Московском государстве

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, изд. 4-е, 46, 1933.

[2] См. в Энциклопедическом словаре бр. Гранат, изд. 7-е, т. III — «Андронов» (1910); т. VI — «Болотников» (1911), «Борис Годунов» (1911); т. XXIX — «Лжедмитрий I» и «Лжедмитрий II» (1915), «Мнишки» (1916), «Минин»; т. XXXII — «Пожарский»; т. XXXIX — «Смутное время» (1921).

событий. Термин «Смута» впервые появляется в сочинении Г. К. Котошихина: «О России в царствование Алексея Михайловича».[1] Вслед за Котошихиным терминами «Смута», «Смутное время» пользовались все крупные представители дворянско-буржуазной историографии — Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и С. Ф. Платонов. Эти термины безоговорочно воспринял и М. Н. Покровский.

Между тем, термин «Смута» совершенно неправилен и крайне односторонен. Правильнее было бы обозначать события начала XVII в. термином «Крестьянская война», который вошел в употребление в марксистской историографии со времени появления замечательной работы Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии» и который превосходно выражает сущность событий, происходивших в начале XVII в. в Московском государстве. Но «крестьянская война» сопровождалась тогда еще и польско-литовско-шведской интервенцией, поэтому всего правильнее трактовать события начала XVII в. в Московском государстве как крестьянскую войну и борьбу с польско-литовско-шведской интервенцией.

Природа крестьянских войн с необыкновенной яркостью и убедительностью выяснена в трудах классиков марксизма. Так, стихийность крестьянских восстаний и прогрессивность их борьбы против феодального гнета очень метко и образно охарактеризована товарищем Сталиным: «Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета. Для нас всегда представляло интерес изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства».[2] Стихийные крестьянские движения, независимо от размеров и от степени организованности, неизбежно обречены на неудачу до тех пор, пока они изолированы, не имеют связи с революционным рабочим классом и не возглавляются последним. На опыте крестьянской войны 1606—1607 гг. лишний раз подтверждаются слова товарища Сталина о том, что «отдельные крестьянские восстания даже и в том случае, если они не являются такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели».[3]

Буржуазная историография не понимала, что борьба, происходившая в начале XVII в., была результатом классовых противоречий

[1] Г. К. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича, изд. 3-е, 3, 19, СПб., 1906.

[2] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Госполитиздат, 8, 1938.

[3] Там же, 8—9.

между феодальными собственниками земли и непосредственными производителями. Поэтому у Ключевского и Платонова в оценке событий начала XVII в. «классовая борьба», социальная борьба носит привходящий характер и отнюдь не составляет основного содержания «Смуты». Рассматривая государство как какую-то надклассовую силу, буржуазные историки оказались не в силах преодолеть классовую ограниченность своих исторических взглядов и увидеть в классовой борьбе крестьянства против феодальных земельных собственников основу всех развивавшихся во время «Смуты» явлений.

Другим важнейшим недостатком буржуазной историографии, если не считать только одного Н. И. Костомарова, является недооценка ими иностранной интервенции. Игнорирование последней приводит к тому, что борьба за национальное освобождение от интервентов подменяется борьбой «земских миров» против разрушавших государственный порядок анархически настроенных общественных низов, тогда как в действительности крестьянская масса выступала не против государства вообще, а против феодального государства и своего крепостного состояния.

Концепция «Смуты» у Покровского сложилась под несомненным влиянием буржуазных историков. Хотя Покровский впервые выдвинул необходимость изучения «Смуты», как проявления классовой борьбы, однако ему не удалось дать развернутую картину классовой борьбы во время «Смуты». Если путанно и несколько противоречиво Покровский пытается сделать это в своей «Русской истории с древнейших времен», то в «Русской истории в самом сжатом очерке» крестьянское восстание закрыло у него все остальные вопросы, и роль других классов оказалась им совершенно недооцененной. В силу этого и иностранная интервенция остается у Покровского в тени и не получает должного освещения и оценки. Между тем, иностранная интервенция была фактором громадного политического значения, — она была связана самым тесным образом с той классовой борьбой, которая составляет основное содержание «Смуты». Покровский не мог не знать, что иностранные — польские и шведские — интервенты хотели использовать развивающуюся классовую борьбу для порабощения русского народа, находя поддержку своей захватнической политики у тех феодальных элементов, которые предполагали использовать иностранную силу для укрепления своих феодальных привилегий. Не обратив внимания на польско-шведскую интервенцию, Покровский не мог по-марксистски объяснить такое важное историческое явление эпохи крестьянской войны, как борьбу русского народа против интервентов.

ВОПРОС О ПРИЧИНАХ «СМУТЫ»

Покровский отверг одну из выдвинутых Ключевским и Платоновым причин «Смуты», именно — династическую, и искал ее причины в экономическом положении Московского государства и классовой

структуре общества в конце XVI в. В первом издании «Русской истории с древнейших времен» глава «Экономические итоги XVI века» составляет первый раздел «Смуты», тогда как в последующих изданиях она отнесена ко времени Грозного и подводит итоги как экономическому развитию Московского государства, так и социально-экономической политике Грозного. Покровский, вслед за Платоновым, констатирует победу среднего землевладения и вместе с тем отмечает хищнический характер помещичьего хозяйства, плачевно отразившийся на положении крестьянской массы и бывший источником ее задолженности и причиной ее бегства на окраины. В результате помещичье хозяйство, оставшееся без рабочих рук, переживало жестокий экономический кризис, подрывавший экономическое и политическое значение военно-служилого класса, но в то же время толкавший помещика к захвату власти.

В статье «Смутное время» Покровский новые экономические условия ставил в связь с появлением в Московском государстве торгового капитализма и, под влиянием последнего, — крупного землевладения, основанного на крепостном праве. «Сосредоточение в немногих руках капитала и земли сопровождалось экспроприацией широких слоев некогда самостоятельных хозяев-крестьян, мелких помещиков, мелких торговцев и т. д. Истощение земли, благодаря хищнической эксплоатации, очень ускорило этот процесс в первые годы XVII века и обострило его последствия».[1] Рассуждения Покровского о возрождении крупного феодального землевладения в начале XVII в. противоречат его же утверждениям, что в старых уездах Московского государства крупнопоместное землевладение решительно отсутствовало. «Крупные вотчины сохранялись лишь как исключение. Мелкое землевладение тоже было окончательно поглощено поместным».[2] Одновременно в главе «Феодальная реакция, Годунов и дворянство» Покровский пишет, что «старая знать далеко не была разгромлена Грозным столь полно, как бы хотелось и как кажется некоторым новейшим историкам».[3] Покровский не сопровождает никакими положительными доказательствами высказанное им утверждение о возрождении крупного землевладения, предоставляя читателю верить ему на слово. Это утверждение было ему необходимо, чтобы подвести экономическую базу под свой тезис о неполном разгроме феодального боярства во время опричнины Грозного. Покровскому как яркому представителю «экономического материализма» нужно было оправдать образование при Федоре боярского регентства в составе кн. И. П. Шуйского, И. Ф. Мстиславского и Н. Р. Юрьева, однако одних голых утверждений недостаточно для опровержения господствующих в историографии мнений о полном разгроме боярства. Боярская Дума в конце

[1] Смута. Энцикл. словарь Гранат, XXXIV, 644—658. М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. II, 285. Соцэкгиз, 1933.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 215.
[3] Там же, 205.

правления Грозного состояла из новых людей, и «боярство — старый правительственный и землевладельческий класс — было раздавлено опричниной и потеряло свое прежнее положение у власти».[1] Во время опричнины образовался «новый слой московской знати», положение которой было создано «не их отечеством, а личной службой и выслугой или же отношениями родства и свойств».[2] Для того чтобы объяснить состав регентства при царе Федоре, совсем не надо создавать теорию о возрождении крупного землевладения под воздействием излюбленного Покровским «торгового капитализма».

Н. Р. Юрьев и кн. И. Ф. Мстиславский были родственниками царя. Князь И. П. Шуйский был тесно связан с опричниной и стал знаменит благодаря своей защите Пскова от Стефана Батория. Представители других родов, — как Годуновы, Нагие, — были царскими «шурьями». Что они были относительно крупными земельными собственниками, сумев кое-что получить за свою службу при новом опричном дворе, — бесспорно. Но отсюда еще далеко до утверждения о возрождении «крупного землевладения на крепостном праве», словно помещичье-феодальное землевладение не было основано на том же праве, а зависимое крестьянство не эксплоатировалось на основе внеэкономического принуждения. Экономический кризис поражал и вотчины и поместья, поскольку хозяйство и тех и других было основано на феодальном способе производства. В условиях сельскохозяйственного кризиса конца XVI в. не могло произойти усиления крупного вотчинного хозяйства.

В первом томе «Русской истории с древнейших времен» Покровский, с одной стороны, утверждал, что «экономическая независимость феодальной вотчины уже не так велика, как веком, двумя ранее. Наиболее заметным из этих признаков является стремление феодального землевладельца получать свой доход в денежной форме»,[3] но в то же время Покровский признавал, что крупная феодальная вотчина находилась под влиянием развивавшихся товарно-денежных отношений. «Два условия, — по мнению Покровского, — вели к быстрой ликвидации тогдашних московских латифундий. Во-первых, их владельцы редко обладали способностью и охотой по-новому организовать свое хозяйство. Человек придворной и военной карьеры — «боярин» XVI в., был редким гостем в своих подмосковных поместьях и едва ли когда заглядывал в свои дальние вотчины и поместья; служебные обязанности и придворные отношения не давали ему досуга и не внушали охоты деятельно и непосредственно входить в подробности сельского хозяйства«.[4]

Оставляя, и притом совершенно бездоказательно, вотчину — латифундию в рамках прежних натуральнохозяйственных отношений, По-

[1] С. Ф. Платонов. Очерки по истории смуты, 3-е изд., 182, 1910.
[2] Там же, 185.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 164.
[4] Там же, 175—176.

кровский считал, что, «экспроприируя богатого боярина-вотчинника в пользу мелкопоместного дворянина, опричнина шла по линии естественного экономического развития, а не против него. В этом было первое условие ее успеха».[1] Как могло при полном разгроме экономически отсталой крупной вотчины в условиях жестокого сельскохозяйственного кризиса образоваться новое крупное землевладение, наличие которого бездоказательно утверждал Покровский? Увлекаясь голыми схемами и чуждаясь тщательного анализа конкретного исторического материала, Покровский запутался в своих противоречивых суждениях, желая под исторический факт, вполне объяснимый обычными придворными и родственными отношениями, во что бы то ни стало подвести экономику лишь потому, что на основании этого факта он сделал парадоксальный вывод об усилении боярской феодальной знати в конце царствования Грозного.

В «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский пришел к иным выводам: он признает полный разгром боярства: «целые боярские семьи были беспощадно истреблены, а земли были конфискованы и отданы в «опричнину». Власть перешла к дворянству. Помещики создали новую форму государственного управления, которая называлась «опричниной». «Господство дворянства и купечества выразилось таким образом в диктатуре, в огромном усилении царской власти».[2] О возрождении же боярского феодального землевладения Покровский уже умалчивает. Опричнина Грозного и сельскохозяйственный кризис конца XVI в. обострили классовые противоречия между феодалами-землевладельцами, с одной стороны, и закрепощенными непосредственными производителями, — с другой. Обострение классовых противоречий повлекло за собой дальнейшее развертывание классовой борьбы, послужило причиной первых массовых выступлений уже в конце XVI в., как увидим ниже. В «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский правильно констатирует, что «недовольство крестьянской массы, естественно, становилось все больше и больше, — тем более, что эта масса все больше и больше голодала, так как благодаря хищническому хозяйству урожай становился все меньше и меньше».[3] В статье «Смутное время», излагая взгляды на «Смуту» неизвестного автора, произведение которого вошло в «Сказание Авраамия Палицына», считавшего «Смуту» непосредственным результатом разорения и голодов первых лет XVII столетия,[4] Покровский утверждает, что такое понимание «Смуты» остается верным и

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 176.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 43.

[3] Там же, 44.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 285. Следует отметить, что Палицын принадлежал к феодально-крепостническому лагерю. Вполне понятно его стремление объяснить «Смуту» не общим положением крестьян и холопов в условиях феодально-крепостного строя, а случайными «стихийными» бедствиями.

до наших дней.[1] Выходит, будто разорение и голод начала XVII в. были основной причиной «Смуты». Впрочем, в той же статье Покровский утверждает, что «брожение низших классов можно подметить еще ранее опричнины, около 1500 года. В Московском бунте..., несомненно, принимала участие масса посадского населения, а не одни его высшие слои».[1] «Разгром боярских вотчин и целых городов (Новгород) еще увеличил массу обездолешых; закабаление последних пошло ускоренным темпом. Упомянутые выше неурожаи первых лет XVII столетия обострили положение до крайности».[2] Таким образом, неурожаи уже не имеют того первостепенного значения, какое несколькими строками выше Покровский им приписывал. Так Покровский очутился в плену собственных теоретических построений и, запутавшись в них, высказывает на одной и той же странице взаимно противоречащие суждения. Точной и ясной картины расстановки классовых сил накануне «Смуты» он так и не дал, а это необходимо было сделать, поскольку Покровский видел причины «Смуты» не в прекращении Рюриковской династии и поскольку он сам отметил усиление классовой борьбы в конце XVI в.

Посторонний, но вдумчивый наблюдатель московской жизни, англичанин Флетчер, бывший в Москве 1588—1589 г. и издавший в 1591 г. свою книгу «О государстве Русском», предвидел неизбежность всеобщего восстания, как результат общей политики самодержавия. Характеризуя политику Ивана Грозного, в частности, — учреждение опричнины, Флетчер пишет: «столь низкая политика и варварские поступки (хотя и прекратившиеся теперь) так потрясли все государство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что, повидимому, это должно окончиться не иначе, как всеобщим восстанием».[3] Предположения Флетчера полностью оправдались; через 15 лет после того, как были написаны эти слова, началось всеобщее восстание. Голод 1601—1603 гг. явился главным поводом к массовому бегству крестьян за Оку в степь, в Придонье и за Волгу, на Каму, к Уральскому хребту, — к бегству, которое было пассивным протестом крестьян против крепостного права. Но классовая борьба XVI в. выражалась со стороны крестьян не только в пассивном протесте, хотя и принявшем массовый характер. В результате общего ухудшения экономического положения крестьянства, сокращения земельного надела и упадка крестьянского хозяйства, в результате усиления крепостной неволи, — пассивное сопротивление перерастало в активную борьбу крестьянства со своими классовыми врагами. Если запашка на один крестьянский двор до 70-х годов XVI в. приближалась к 10—12 четям земли в трех полях, то в 80-х годах она в центральных уездах сократилась в 4—5 раз. К тому же крепостная неволя получила более четкое юридическое оформление. Царский Судебник 1550 г. стес-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 286.
[2] Там же.
[3] Флетчер. О государстве Русском, 31—32. СПб., 1906.

нил отказ крестьян от помещиков, сделав его фактически невозможным и превратив свободный выход крестьян в насильственный их своз. В начавшейся жестокой борьбе из-за крестьян мелкие помещики терпели поражение и лишались рабочих рук. Вследствие этого мелкие служилые люди оказывались неспособными выполнять военную службу, лежавшую на них, в связи с феодальным землевладением. Правительство Ивана IV, видя это «оскудение воинства», приходит ему на помощь путем указов «О заповедных годах», временно отменивших «Юрьев день» «впредь до государева указа». Впервые указ о заповедных годах был издан в 1570 г. и имел силу для Шелонской пятины, откуда крестьянство под влиянием усиления феодальной эксплоатации и голода убегало массами. Крепостное население сильно поредело. Хозяйство помещика приходило в упадок, а между тем шла подготовка к ревельскому походу 1570—1571 г. Это и заставило правительство, идя навстречу интересам дворянства, опубликовать «заповедь» крестьянского выхода. Правда, эта «заповедь» имела только временную силу, но она впоследствии несколько раз повторялась. В 80-х гг. XVI в. указы о заповедных годах сохраняли свое действие, и беглых крестьян, в случае их нахождения, возвращали прежним помещикам. Эта временная мера фактически стала постоянной, и крестьяне лишились права выхода, хотя общий закон о «заповеди» не был издан или же не сохранился. Указы о «заповедных» годах фактически уничтожили «Юрьев день». Хотя М. А. Дьяконов и пытался доказать, что указы не ликвидировали «Юрьев день», но его данные очень недостаточны для того, чтобы согласиться с его точкой зрения. Крестьяне уже в конце XVI в. составляют нераздельную часть помещичьего имения, они становятся объектом гражданско-правовых сделок, их делят при разделе имущества, передают по завещанию наравне с прочим движимым и недвижимым имуществом.

Все эти новые явления, усиливая крепостную неволю, должны были обострить классовые противоречия в деревне и, естественно, толкали крепостных на путь активной борьбы против феодальной эксплоатации. Увеличение отработочной и денежной ренты, ставившее крепостного крестьянина в более тяжелые условия и болезненно отражавшееся на крестьянском хозяйстве, стремление землевладельца путем увеличения феодальной эксплоатации как-нибудь поддержать свое переживавшее кризис хозяйство также действовали в сторону активизации борьбы крепостного крестьянства. К этому надо прибавить рост денежных налогов в связи с ростом военных и других расходов и падение ценности серебра. Н. А. Рожков вычислил, что серебряный рубль к концу века стоил в 4 раза дешевле, чем в начале века; прямые налоги выросли в три с половиной раза по сравнению с серединой XVI в.[1]

---

[1] Н. А. Рожков. Сельское хозяйство, стр. 202—219, 230—234.

Этого не отрицал и Покровский, повторяя в данном случае выводы Рожкова.

Между тем один из ближайших его учеников, оказавшийся врагом народа, — Томсинский, вопреки всем известному конкретному материалу, доказывал обратное — «смягчение старого феодализма» во второй половине XVI в. в результате вовлечения боярской вотчины в товарно-денежные отношения. Так происходил, по мнению Томсинского, процесс раскрепощения крестьянства, за которым последовало его «вторичное закрепощение», — согласно терминологии Томсинского, новый феодализм, который, якобы, установился в XVII—XVIII вв.

Томсинский не мог, разумеется, пройти мимо быстрого роста кабалы, начиная с половины XVI в. Опубликованные недавно «Новгородские кабальные книги» предоставили в распоряжение исследователя богатый и свежий материал. Томсинский не отрицает «кризиса второй половины XVI века», но объясняет его по-иному. По его мнению, кризис был вызван ростом товарно-денежных отношений, который «заставляет крестьян массами продавать себя». На самом деле, рост кабального холопства — показательный факт растущего закрепощения крестьянства. Между тем Томсинский видит в кабалах известное «смягчение в феодальных отношениях» и в то же время «фикцию отступления от насильственного своза и захвата крестьян от внеэкономического принуждения». Так Томсинский запутался в сетях своей придуманной теории смягчения старого феодализма, чего в действительности не было и не могло быть.

Если во второй половине XVI в. происходил процесс «смягчения старого феодализма», то что же толкало крепостное крестьянство на борьбу против помещиков? Томсинский оставляет этот вопрос открытым, отмечая, что закон 1597 г. о кабальном холопстве «сыграл немалую роль в подготовке крестьянской войны начала XVII в.». Конечно, если «старый феодализм» разлагался, то Томсинский должен был умолчать о «заповедных годах», поскольку они противоречат его теории о «смягчении старого феодализма». Томсинский не отрицает «деградации сельского хозяйства», убыли, обнищания населения и реставрации натуральных отношений, но ведь этот кризис сельского хозяйства был связан с усилением феодально-крепостнической эксплоатации, а не наоборот. Запутавшись в выдуманной им теории «смягчения старого феодализма» и вторичного закрепощения крестьян — образования нового феодализма, Томсинский извращал общий характер феодально-крепостнических отношений кануна крестьянской войны начала XVII в.

Усиление феодально-крепостнических отношений обусловили в начале XVII в. массовое выступление крепостного крестьянства против феодальной эксплоатации и феодализма вообще. Но уже в конце XVI в. были налицо активные выступления со стороны крестьян. Найденные материалы о волнениях крестьян в 1594 г. в вотчинах Волоколамского монастыря свидетельствуют о начавшейся активной крестьянской борьбе. Правда, в нашем распоряжении нет сведений об аналогичных кре-

стьянских волнениях в других вотчинах, но можно предполагать, что таковые имели место и в других местах. Розыски в архивах сулят еще много ценнейших открытий в этой области. Во всяком случае, конкретный исторический материал дает полное основание отнести начало активной противофеодальной борьбы крестьян на последние годы XVI столетия. Это, с одной стороны, подтверждает и Покровский, говоря о том, что корни развернувшейся в XVII в. классовой борьбы надо искать в обострении классовых противоречий между помещиками и крестьянами, а с другой — опровергает его же утверждение, будто голод начала XVII в. явился основной причиной столь ярко развернувшейся тогда классовой борьбы.

Уделив в главе «Экономические итоги XVI века» достаточно много внимания положению крепостного крестьянства и общему характеру феодальной эксплоатации, М. Н. Покровский, однако, прошел мимо одного из важнейших вопросов, отражавших феодально-крепостническую политику дворянского правительства в отношении кабального холопства, численность которого значительно увеличилась, так как основную массу кабальных холопов представляли разорившиеся крестьяне. Дворянское правительство резко изменило юридическую природу кабального хозяйства, идя навстречу помещикам в их стремлении обеспечить себя необходимой рабочей силой, в которой они остро нуждались вследствие бегства крестьян и запустения их хозяйства.

До издания указов 1586 и 1597 гг. холоп юридически мог выйти из кабального состояния после уплаты взятой им взаймы денежной суммы, обеспеченной личным самозакладом. Указы 1586 и 1587 гг., предписывавшие «денег по тем служилым кабалам у тех холопей не имати и челобитья их в том не слушати по старым кабалам, а выдавать их тем государям, по тем кабалам в службу, до смерти»,[1] — устанавливали институт пожизненного холопства. Изменилось также правовое положение и «добровольных холопов», т. е. тех, кто не выдал на себя письменную кабалу. Такие «добровольные холопы» без письменного оформления своего юридического положения могли работать в хозяйстве не больше полугода, по истечении которого они становились кабальными холопами, так как закон требовал «на тех вольных холопей служилые кабалы давати» и не принимать от них никаких по этому поводу исков — «челобитий».[2] Это изменение в юридическом положении холопства, свидетельствовавшее об усилении феодальной эксплоатации, имело громадное значение, увеличивая то общее недовольство, которое охватывало крепостное крестьянство. Землевладелец стремился обеспечить себя кабальными холопами, пока располагал материальными возможностями их «кормить и одевать».

[1] М. Ф. Владимирский-Буданов. Хрестоматия по истории русского права, III, 90, Киев. 1880.

[2] Там же, 93.

В условиях же «голодных годов» положение холопов резко ухудшилось при изобилии рабочих рук, так как относительно дорого стоившие кабальные холопы были не нужны помещику и у него не было нужды о них заботиться. Это и послужило причиной активного выступления холопов против своих помещиков. Накануне крестьянской войны крестьянство было зажато в тиски феодальной эксплоатации, от которой можно было освободиться только посредством полной ее ликвидации. Этим и вызвано было массовое крестьянское движение во главе с И. Болотниковым. М. Н. Покровский не учел всех этих обстоятельств, вследствие чего движение Болотникова было им не понято и представлено перед читателем «Русской истории с древнейших времен» в неправильном освещении.

Таким образом, тезис Покровского о голодных годах, как о первопричине выступлений крестьян и холопов в начале XVII в., следует признать неправильным. Голод только обострил и без того напряженные классовые противоречия в деревне между землевладельцами, с одной стороны, крестьянами и холопами — с другой.

БОРИС ГОДУНОВ — ДВОРЯНСКИЙ ЦАРЬ

В буржуазной историографии (Ключевский, Платонов) твердо установилось мнение о Борисе Годунове как о дворянском царе. Еще при царе Федоре Годунов в качестве правителя проводил дворянскую политику, закрепляя положение дворянства и являясь в этом отношении продолжателем политики Грозного. М. Н. Покровский в этом вопросе примыкает к взглядам буржуазной историографии. Борис у М. Н. Покровского, с одной стороны, «дворянский царь», обязанный своим престолом дворянству — средним землевладельцам. Но это «дворянский царь» только по форме своего избрания, а не по существу своей классовой политики. «Если политика Бориса Федоровича, — пишет Покровский, — с самого начала носит определенный классовый отпечаток, то лишь потому, что всякая политика вообще есть классовая политика и иной быть не может. Очень соблазнительна мысль: выставить худородного «царского любимца», «вчерашнего раба и татарина» вождем худородного же мелкопоместного дворянства в борьбе с родовитым боярством; но такая комбинация была бы исторически неверна. Противники Годунова старались даже после его смерти унизить его тем, что он произошел «от младые чады», но при его жизни этому факту придавали едва ли не больше значения, чем тому, что Борис «Писанию божественному не навык» — был человек богословски необразованный, о чем противная партия тоже вспоминала всегда с удовольствием».[1]

Покровский считает неправильной утвердившуюся за Годуновым репутацию человека, отстаивавшего интересы «простого слу-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 9—10.

жилого люда, который служил с мелких вотчин и поместий»: иначе говоря, это был «дворянский» царь, в противоположность «боярскому» царю, каким рисуется обыкновенно Василий Иванович Шуйский».[1] Покровский ставит себе такой вопрос: если Годунов был дворянским царем, то почему «именно дворянская масса и низвергла Годуновых... За что же она разрушила свое собственное орудие? За измену? Но в пользу какого же общественного класса, казалось бы, мог изменить Борис, преследовавший бояр мало чем лучше Грозного и закрепостивший крестьян?»[2]

Покровский не отрицает, что историк располагает рядом бесспорных фактов, «позволяющих говорить о его (Годунове) «дворянской политике». С другой стороны, «мы имеем и ряд свидетельств довольно хорошо осведомленных современников-иностранцев, утверждающих в один голос, что «мужикам черным при Борисе было лучше, чем при всех прежних государях» и что за то они ему «прямили и смотрели на него как на бога».[3] Покровский убежден в том, что «если бы спросить самих дворян, под конец годуновского правления, они, пожалуй, назвали бы его крестьянским царем с такою же уверенностью, с какой современные историки объявляют его представителем помещичьего класса».[4] С другой стороны, и «бояре далеко не все и не всегда были его врагами». По мнению М. Н. Покровского, характеристика Годунова, как «дворянского царя», «продолжателя опричнины», — «может быть, и не совсем неверная, но все же очень суммарная характеристика для такой сложной фигуры, какой был этот «рабоцарь», без всякого «отечества», забравшийся на самый верх московского боярства».[5]

В статье «Смутное время» Покровский отступает от высказанного им выше суждения и считает, что выдвинутый дворянством Борис Годунов видел всю опасность увеличения массы обездоленных, «но, связанный своей классовой ролью, не мог пойти далее паллиативных мер (запрещение хлебной спекуляции, организация помощи голодающим — есть намеки и на попытки положить границы закабалению), которые лишили его симпатий высших классов, но были недостаточны, чтобы «масса признала его своим царем».[6] Итак, Борис Годунов — дворянский царь, проводящий классовую политику и ею связанный. В статье «Борис Федорович Годунов» та же мысль выражена еще более отчетливо: «во внутреннем управлении Борис опирался преимущественно на среднее землевладение в противовес крупному».[7]

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 7—8.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Там же.

[6] Там же, 286.

[7] Там же, 294.

Таким образом, Покровский в «Русской истории с древнейших времен» отнесся скептически к характеристике классовой политики Годунова как дворянской, утверждая, что во второй период его царствования она таковой не была. Борис скорее был, по мнению Покровского, крестьянским царем. В статье же, написанной годом раньше (1911), Покровский безоговорочно считает Годунова дворянским царем. В статье «Смутное время» (1921) Покровский также склоняется к признанию Бориса «дворянским царем», отмечая лишь известные колебания в его политике в сторону крестьян, однако — не решается квалифицировать Годунова, как крестьянского царя. В «Русской истории в самом сжатом очерке» вся политика Годунова характеризуется, как противокрестьянская: Борис Годунов «был выбран на царство помещиками», в его царствование были изданы «свирепые указы о беглых», хотя последние и не имели практического значения, не остановили бегства крестьян».[1]

Какие же доказательства приводит Покровский для поддержания своей «новой оригинальной» точки зрения? Борис Годунов, сам крупный феодал, в сущности не питал никакой симпатии к «воинству». Но политическое положение Годунова было непрочно, так как он не располагал социальной базой, которая могла бы послужить опорой его власти. По словам Покровского, «если этот крупный феодал желал удержаться у власти, ему не на кого было опереться, кроме «воинства»: не его личное социальное положение определяло его политику, а, наоборот, политика обусловливала его социальные симпатии». Союз с дворянством не возник из классовой солидарности Годунова с «воинством»: общее направление политики и намерение укрепить самого себя толкало его на сближение с дворянством — тем более, что произошел разрыв буржуазии с дворянством, и «оттолкнуть буржуазию от помещиков всего скорее могла неудача Ливонской войны». Годунову пришлось «вести «буржуазную» внешнюю политику, но, по словам Покровского, «буржуазия не была главной фигурой на его шахматной доске».[2] При такой расстановке классовых сил для Годунова оставался один выход — сближение с дворянством; одновременно он искал соглашения и с боярами в лице Романовых, но эта политика потерпела неудачу. Борис Годунов представляется Покровскому правителем и царем, находящимся в полной изолированности от господствующих классов. Разрыв с командующими верхами, политическая изолированность от господствующих классов заставили Годунова, по мнению Покровского, искать поддержки и опоры в народных массах, проводить демократическую политику, которая еще больше оттолкнула от него командующий класс; демократическая же политика в связи с голодом 1602—1603 гг. потерпела полное крушение.

Избрание Годунова на престол было юридически правильным

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 44.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 12.

актом и с формально юридической стороны не могло вызвать никакого сомнения. Но уже в момент избрания Годунов ощущал тревогу. Ему показалось «мало тех общественных сил, которые обычно составляли «политический корпус» московского царства — «чинов», представленных на Земском соборе: ему понадобилось участие в деле «всего многочисленного народного христианства».[1] Годунов «был первый царь, всколыхнувший себе на помощь народную массу».[2] Сознание непрочности своего положения на престоле заставило Бориса Годунова, когда «под его ногами уже клокотала революция», менять характер своей политики.[3] Если до 1598 г. «политика Годунова-правителя еще была классовой дворянской, — хотя не столько по тесной связи с этим классом, сколько потому, что все другие классы были в данный момент не на его стороне», то теперь «политика царя Бориса начинает принимать характер совершенно своеобразный, столь же новый и неожиданный, как нов был в области государственного права выдвинутый тем же Борисом избирательный принцип».[4] Классовое содержание политики Годунова, по Покровскому, все время менялось. Не желая проводить буржуазную политику по соображениям политического расчета, Борис стал опираться на «воинство» и вести дворянскую политику. Потом он пытался опереться на «боярские верхи»; а кончил тем, что стал на путь демократической политики, задевавшей интересы феодалов и завершившейся полным крушением. Политическое одиночество явилось результатом политики Годунова. Нельзя отказать Покровскому в оригинальности его взгляда на классовую сущность политики Бориса Годунова, но следует отметить полную необоснованность этого взгляда.

Покровский избегает пользоваться конкретным материалом, поскольку последний говорит против его концепции и содержит много данных, свидетельствующих о том, что по существу не было никаких изменений в классовом содержании политики Годунова и что Годунов-правитель и Годунов-царь оставался «дворянским царем». Демократическая политика Бориса-царя — плод некоторого исторического остроумия Покровского. Борис Годунов продолжал политику «опричнины» и вел все время борьбу с боярами, остававшимися в скрытой оппозиции как к Годунову-правителю, так и к Годунову-царю, поскольку последний продолжал опираться на «воинство», на средне-поместный элемент, на «худородных людишек», а не на «великих бояр». «Опричнина слишком потрясла боярство, как высшую феодальную прослойку, и последняя в целом потеряла свою силу и влияние, хотя отдельные представители боярства сумели приспособиться к новому курсу политики Грозного, а некоторым боярам удалось даже сохра-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 18.
[2] Там же, 18.
[3] Там же, 20.
[4] Там же, 21.

нить в неприкосновенности свои вотчины».[1] Боярская среда, разумеется, ничего не забыла и была готова использовать любой момент для восстановления своего пошатнувшегося положения, как это и произошло впоследствии. В источниках можно найти немало документальных данных о враждебном отношении Годунова к боярству. Современник Годунова, дьяк Иван Тимофеев, типичный представитель феодально-боярского крепостничества, относившийся к Годунову с величайшей неприязнью, с негодованием осуждает политику покровительства «худородным» и возведения их на степени «высокородных».[2]

Годунов, по словам противогодуновского писателя, «начаша изменения чином от первых и до в последних тогда в бываемых вещми сицевыми во всех случитися, еже худородные на благородных возводя он степени кроме меры и времене». Благодаря такой политике, «в сердца величайших о еже на высокая менших вчинених велеразсужену и неугасну стрелу гнева к ненависти вонзил».[3]

Англичанин Флетчер отмечает намерение Годунова «всеми мерами истребить или унизить все знатнейшее и древнейшее дворянство. Тех, которых почитали наиболее опасными для себя, способными противиться, они уже отдалили».[4] Авраамий Палицын, всецело проникнутый симпатиями к феодально-крепостническому лагерю, не без ненависти и злобы к Годунову свидетельствует, что Борис грабил «домы великих бояр».[5]

Другой иностранец, голландец Исаак Масса, также писал, что Борис устранил всех знатнейших бояр и князей, и, таким образом, совсем лишил страну и высшего дворянства и горячих патриотов.[6] Борьба Годунова с аристократическим по своему составу регентством являлась отражением политики дворянства.

Столкновение Годунова в 1587 г. с боярами во главе с Василием Шуйским и расправа Бориса с отдельными сторонниками Шуйского были продолжением той же борьбы. Сторонники бояр-феодалов были особенно возмущены расправой Годунова с Романовыми.[7]

Аристократическая феодальная прослойка была взята Годуновым под подозрение.[8] И Борис, и бояре взаимно ненавидели друг друга. Неудивительно, что Годунов обвинял бояр, своих антагонистов, в том, что они — виновники появления Самозванца.

Ведя жестокую борьбу с остатками старой феодальной аристократии, Годунов принимал все меры к укреплению дворянского го-

---

[1] С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, стр. 147—150.
[2] Русская историческая библиотека, XIII, 355—356.
[3] Русская историческая библиотека, XIII, 356.
[4] Флетчер. О государстве Русском, стр. 32.
[5] Русская историческая библиотека, XIII, 978.
[6] Масса. Краткое известие о Московии в начале XVII в., стр. 53, 79, 98, М., 1937.
[7] Русская историческая библиотека, XIII, 976.
[8] Там же, XIII, 976, 1284; С. М. Соловьев. История России, кн. II, т. VIII, 733—737.

сударства. Дворянство сильно пострадало от охватившего Московское государство сельскохозяйственного кризиса. Годунов своей политикой старался помочь дворянству преодолеть кризис и восстановить свое расстроенное хозяйство. Для этого нужны были денежные средства и обеспеченность хозяйства крепостными рабочими руками. Политика Бориса и была направлена в сторону благоприятного для дворян разрешения обеих проблем. Так, в год своего вступления на престол Годунов выдал «воинству» двойное жалование.

Но все внимание правительства Годунова было сосредоточено на том, чтобы обеспечить служилых людей рабочими руками. Он провел с этой целью целый ряд мероприятий. В интересах дворянства крестьяне для удержания их на местах были в 1601 г. освобождены на год от уплаты налогов. «Заповедные года», в которые посадским и крестьянам нельзя было выходить, сохраняли свою силу; бежавших продолжали отыскивать и возвращать их в «старые деревни и дворы «з женами и з детьми и со всеми их животы». Запрещение вывозить крестьян и уходить «без отпуску» должно было, казалось, прекратить массовый переход крестьян в пользовавшиеся более льготными условиями вотчины и поместья крупных землевладельцев: от перехода «великая нищета воинским людям прииде». Установление 24 ноября 1597 г. пятилетней давности для исков «на выбежавших» крестьян было попыткой внести известный порядок в разбор множества исков о возвращении беглых крестьян. Крайне умеренный указ царя Федора, частично идя навстречу интересам дворянства по вопросу о возвращении беглых, в то же время должен был успокоить крупнопоместное дворянство, опасавшееся лишиться рабочих рук, незаконно находившихся в их владениях. Годунов-правитель был очень осторожен, и, конечно, не в его интересах было еще более раздражать высшую феодальную прослойку, с которой он и без того находился в далеко не дружественных отношениях. Указ оставлял во владении крупнопоместной феодальной знати всех беглецов, ушедших к новым владельцам до 1592 г. Новая перепись закрепила за крупными феодалами находившихся в их распоряжении крестьян, юридически оформляя права владения ими. В это же время она давала дворянам более твердую почву для предъявления исков о беглых, поскольку состав населения каждого поместья был переписью 1592 г. точно установлен. Частичная отмена указами 1601 и 1602 гг. «заповедных лет» и разрешение «ввозки» крестьян простым служилым людям «промеж себя»: «одного или двух с одновременным запрещением вывозить крестьян высшему духовенству и монастырям, боярству и «большим дворянам» — также прямо преследовали интересы дворянства и были направлены против крестьян. Правильно замечание Платонова, что «царь Борис стремился явно не к свободе крестьянского передвижения, а к удобству и выгодам поместного служилого класса, обеспечивая его от покушений на закрепленный за ним крестьянский труд со стороны крупных и сильных землевла-

дельцев».[1] Противокрестьянскими были и указы 1586—1597 гг. о кабальных холопах. Конечно, все эти противокрестьянские мероприятия, обостряя классовые противоречия в деревне и безусловно ухудшая положение непосредственных производителей, давали в руки служилого человека средства для внеэкономического нажима на крестьян, при помощи которого он должен был восстановить свое хозяйство. Разумеется, это дворянское законодательство должно было также еще более обострить отношения между остатками феодальной аристократии и Годуновым.

Отношение годуновского правительства к казачеству также является отражением его антикрестьянской политики. Правительство мирилось как с бегством крестьян на пустые окраины, так и с образованием казацких поселений, но в то же время стремилось использовать последние в собственных целях, как это отметил и сам Покровский.[2]

Политику Годунова иначе, как дворянской, назвать нельзя. Все мероприятия Годунова, которые Покровский характеризует как попытки опереться на народную массу, вызваны не чем иным, как стремлением Годунова ликвидировать последствия страшного голода 1601—1603 гг., и продиктованы были не заботами «о народе», а желанием предотвратить выступления крестьян против феодалов-землевладельцев и тем спасти от крушения дворянское государство и сохранить за дворянами крестьян. Предпринятое Годуновым строительство в целях предоставления работы голодным отнюдь не было новостью для населения Москвы. Борис Годунов любил строить и много строил еще до «голодных лет», как это и было отмечено в исторической литературе. Результатом усиления внеэкономического принуждения по отношению к непосредственным производителям и их бесправия были крестьянские движения конца XVI и первых лет XVII вв. Так в 1603—1604 гг. под предводительством Хлопки Косолапа происходит восстание холопов и крестьян, которое свидетельствовало об обострении классовой борьбы, в итоге противокрестьянской политики правительства и отношения помещиков к своим холопам и крестьянам во время голода.

Итак, оценка Покровским правления Бориса Годунова не имела устойчивого характера. Если в «большой» «Русской истории» Годунов для Покровского — «крестьянский царь», то в краткой «Русской истории» эта неверная характеристика оставлена, и классовая политика Годунова характеризуется как дворянская. Анализ конкретного материала и методологические соображения позволяют отвергнуть взгляд Покровского на Бориса, как на «крестьянского царя». Классовую сущность социальной политики Годунова можно охарактеризовать только как дворянскую.

---

[1] С. Ф. Платонов. Борис Годунов, стр. 78, Птр., 1921.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 44—45.

ЛЖЕДИМИТРИЙ I

К вопросу о Лжедимитрии I и его политике Покровский возвращался не раз. Первое время Покровский, находясь под влиянием буржуазной историографии (Соловьев, Ключевский, Платонов, частично Костомаров), в своих высказываниях о времени и политике первого Самозванца в принципе не расходился с господствовавшими в буржуазной историографии мнениями. Только в «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский отошел от буржуазных историков и дал новую оценку политики Лжедимитрия. Посмотрим, насколько научно обосновал Покровский эту новую оценку политики Самозванца. Это — одна сторона вопроса. Другая сторона заключается в том, подходит ли Покровский методологически правильно к изучению времени Лжедимитрия I и к объяснению причин утверждения Самозванца на престоле?

В главе о «Смуте», вошедшей во второй том «Русской истории с древнейших времен», времени Лжедимитрия посвящена отдельная глава под общим заголовком «Дворянское восстание». В этой главе Покровский разбирает ряд вопросов, о которых ему приходилось говорить только мимоходом в двух предшествующих главах этого тома. Прежде всего Покровский выступает против употребления термина «Самозванец», которым пользуется Платонов. «Еще Соловьев вполне убедительно доказал, — пишет он, — что во всяком случае он не сам назвал себя царевичем, а другие создали для него эту роль, назвав его Димитрием, а он этому поверил». Покровский отказывается от употребления термина «Лжедимитрий I», полагая, что «пущенный в оборот Костомаровым термин «названный Дмитрий» гораздо лучше передает сущность дела, а поэтому он предполагает и впредь его держаться.

Для Покровского вопрос о том, кто был Димитрий, имеет второстепенное значение. Этот вопрос было бы «правильнее заменить вопросом: «Кто выдвинул Димитрия»? — Покровский, вслед за Платоновым, связывает «появление царевича Димитрия» с семьей Романовых и утверждает, что «историю обвинения и ссылки Романовых теперь никто уже не рассматривает, как простую клевету». По мнению Покровского, поляки не виноваты в появлении Димитрия. Польское правительство начинает им интересоваться только тогда, когда Димитрий «стоит уже во главе некоторой партии». По словам Покровского, польское правительство «не было настолько наивно, чтобы пойти на удочку громкого имени: лишь когда за носителем этого имени оно почувствовало действительную *силу*, сила эта вошла в расчеты польской дипломатии». [1]

Основную силу войска Димитрия, по мнению Покровского, составляли те общественные элементы, которые в силу тех или других

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 24—26.

причин находились в оппозиции к правительству Годунова. К ним относится прежде всего ссылавшийся из Москвы на службу в украинские города уголовный элемент, а также и политические ссыльные, количество которых увеличивалось по мере разгрома боярских семей: Мстиславских, Романовых, Шуйских и др., и доходило до 20 тыс. Конечно, число это определено «на глаз». Они «представляли самую ненадежную часть Борисовых подданных». Не поверстанное в государеву службу казачество представляло собой «готовую военную силу» для Самозванца. Мелкие служилые люди, часто верставшиеся небольшими поместьями, наравне с «будущими помещиками» — казаками, составляли видную опору Димитрия. «Появление казацких ополчений под знаменами Димитрия было, таким образом, началом дворянского восстания». Успех Димитрия связан с упадком популярности Бориса среди дворянства. На Годунова восстали «средние помещики» — «его главная опора в дни борьбы за власть с его соперниками».[1] Черносошное крестьянство и буржуазия «совсем не были расположены жертвовать собой для Годунова». Опираясь на дворянство, которое являлось его социальной базой, Димитрий, естественно, должен был проводить дворянскую политику, направленную против боярства, в целях укрепления дворянства, и в Москве летом 1605 г. водворились порядки, сходные с опричниной Грозного.[2] «Названный сын Грозного, — утверждал Покровский, — был царем не только дворянским, но — еще ближе и теснее — царем определенной дворянской группы, детей боярских городов украинских и заоцких». Естественно, что «теперь посадские очень скоро убедились, что от Димитрия им не приходится ждать больше добра, чем от Годунова, и брожение в Московском посаде становится день ото дня заметнее».[3] Так намечался союз посадской массы и боярства в целях свержения Димитрия. Дворянский царь был ненужен ни боярству, ни купечеству, ни торговым людям вообще.

В статье «Лжедимитрий I» (в словаре Гранат) Покровский считал доказанным московское происхождение Лжедимитрия, а также и то, что выступление Димитрия «было результатом сложного тщательно обдуманного заговора», что «Лжедимитрий заранее (быть может, с самого детства) был подготовлен к тому, чтобы играть в этом заговоре определенную роль. С этой ролью он сжился и впоследствии чувствовал, поступал и держал себя, как «настоящий сын Грозного». «Вся совокупность известных данных фактов противоречит квалификации Лжедимитрия, как «самозванца», по собственному, индивидуальному побуждению выдававшего себя за то, чем он не был». Наконец, Покровский отрицал активную помощь Самозванцу со

---

[1] Там же, 27—28.
[2] Там же, 34.
[3] Там же, 32.

стороны польско-литовского правительства, так как «почти вся польско-литовская знать с обоими канцлерами, Замойским и Сапегой, во главе относилась к Лжедимитрию крайне скептически и отнюдь не советовала королю его поддерживать», за исключением кружка Мнишка, «лично заинтересованного в успехе московского «царевича». «Но решающий оборот в пользу Лжедимитрия дал и не он, а всесильное тогда при дворе Сигизмунда III католическое духовенство».[1] После принятия Лжедимитрием католичества «Сигизмунд официально принял его под свое покровительство, не пошедшее, впрочем, далее денежной поддержки».

В статье «Смутное время» (в словаре Гранат) весь вопрос о Лжедимитрии I рассматривается Покровским в иной плоскости. Прежде всего в походе Лжедимитрия на Москву отводится более значительная роль литовско-польскому правительству. После заключения унии Литвы с Польшей «в 1600 г. польское правительство выступило с определенным официальным планом унии Польши и Москвы. Но в Москве, как и в Литве, план унии наткнулся на решительное противодействие крупного землевладения». Польскую феодально-захватническую политику Покровский объясняет идеалистически «панславистическими» тенденциями, «движением в пользу объединения под главенством Польши всех славян, начиная с восточных». «Неудача затронула не только польских унионистов, сделав их врагами существующего московского правительства». «В союзе с Москвой Сигизмунд надеялся вернуть свое наследственное достояние» (т. е. шведский престол). Католическая церковь рассчитывала на политической унии основать церковную, что ей и удалось в Литве (Брестская уния 1596 г.). Появление на сцене московского «царевича» (осенью 1603 г.) оказывалось как нельзя более на руку, и Димитрию немедленно была обещана королевская и церковная помощь. Димитрий, со своей стороны, не скупился на обещания; дело обеих уний, казалось, было теперь на твердой дороге».[2] Но не польские отряды составляли основную силу войска Лжедимитрия: «пограничное московское население, как один человек, стало на сторону Димитрия... Донцы стали ядром инсуррекционного ополчения».[3] «Содержание политики нового царя определялось не тем, кто его когда-то отправил за литовский рубеж, а тем, кто его из-за этого рубежа привел в Москву».[4] Политика Лжедимитрия была в интересах беглых крестьян, мелких служилых людей и казаков. Старое боярство было в полном отчаянии, и его степень «можно было измерить тем, что оно, недавно гордо отклонившее предложенную Сигизмундом III унию, теперь само, в лице своих родовитейших членов, начинает хлопотать об

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 297.
[2] Там же, 287—288.
[3] Там же, 288.
[4] Там же, 288.

унии, заведя секретные переговоры о посажении на московский трон сына Сигизмунда Владислава».[1] Сам «Димитрий очень скоро забыл свои униатские обещания и, сообразно с тенденциями — опять-таки, тех, кто посадил его на престол — стал готовиться к походу не на север, против шведов, а на юг — против крымцев».[2] Таким образом, если основываться на статье в словаре Гранат, то, по представлению Покровского, классовая сущность политики Лжедимитрия I не была определенно выраженной, отличалась известной противоречивостью, так как Лжедимитрию приходилось лавировать между казаками и крестьянами, с одной стороны, и мелкими служилыми людьми — с другой.

В «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский отрицает участие польско-литовского государства в авантюре Лжедимитрия. По его утверждению «буржуазные историки, которым хотелось скрыть, что называемое ими «смутным» время было восстанием народной массы против ее угнетателей, хотелось дать искусственное объяснение для позднейших историков, стали рассказывать, что будто новый царь Лжедимитрий, или названный Димитрий, как его называли, выдвигался именно польскими помещиками и католической церковью. Этим они хотели унизить его, уменьшить его значение, как будто это был какой-то иностранец, которого иностранцы привели в Москву».[3] С другой стороны, Покровский признает, что, «помогая новому царю, польские и западнорусские помещики надеялись этим путем получить землю и много всяких других богатств в тогдашнем Московском государстве. Они стали деятельно поддерживать Димитрия».[4] Димитрий — ставленник казачества: «среди казачества стали ходить слухи, что он вовсе не зарезался сам и не зарезан, а жив. Скоро нашелся молодой человек подходящего возраста и даже, как уверяли, подходящей наружности, в котором казаки не замедлили признать именно этого самого младшего сына Грозного, Димитрия Ивановича». Внутри страны «массы, доведенные голодом до последнего отчаяния, только и ждали какого-нибудь избавителя... готовы были признать дворянского царя Бориса Годунова не настоящим, а настоящим — любого царя, который сколько-нибудь улучшит или облегчит их положение».[5] Названный Димитрий одержал победу над войском Годунова благодаря «смелости и искусству казачьих отрядов», без которых «он мог бы быть совсем уничтожен годуновской армией». Обязанный своими победами над Годуновым «казачеству и мелкопоместному дворянству», связавшемуся с казацкой верхушкой, Димитрий вступил тогда в Москву и «первыми же своими указами ясно дал понять, на

---

[1] Там же, 288—289.
[2] Там же, 289.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 47.
[4] Там же, 47.
[5] Там же, 46.

кого он опирается и на пользу кому пойдет его правление».[1] Классовая сущность политики Димитрия определялась составом его войск. Для Покровского «царь Димитрий был крестьянским царем». Естественно, что вся политика Димитрия не могла нравиться «помещикам, в особенности крупным». Богатому купечеству не нравился и наплыв иностранцев — польских купцов с заграничными товарами, которые могли «отнять у московского торгового капитала его монополию».[2] Бояре и купцы повели агитацию против Димитрия. Поведение Димитрия и пришедших с ним поляков обострило отношения между поляками и московским посадом. «Городское простонародье, ремесленники, мелкие лавочники увидели, что как будто начинается какое-то иностранное нашествие, и все внимательнее в внимательнее прислушивались к тому, что говорили посылаемые боярами и богатыми купцами агитаторы».[3] Димитрий в результате заговора был убит, а «простому народу выставили все дело как восстание против иностранцев, против поляков, которые хотят будто бы поработить Россию, а на самом деле воспользовались восстанием для того, чтобы убить царя, который шел против интересов богатых помещиков и капиталистов».[4] Таковы в основных чертах те взгляды, которые были высказаны Покровским в разное время в отношении личности и политики Лжедимитрия I. Противоречивость высказываний Покровского бросается в глаза даже при беглом знакомстве с ними. Ни по одному вопросу, связанному с Самозванцем, Покровский не высказывал мнения, которого он в дальнейшем придерживался бы.

Взгляды Покровского складывались сначала под влиянием буржуазной историографии, от которой он в конечном итоге ушел и превратил Лжедимитрия в «крестьянского царя». Вслед за буржуазной историографией Покровский склонен был отводить польско-литовской интервенции в деле Лжедимитрия I не руководящую, а второстепенную роль. Польско-литовский элемент, по Покровскому, стал заметен только после вступления Лжедимитрия в Москву, в особенности, когда наехало много поляков вместе с Мариной. Если Покровский сначала утверждал, что идея Самозванца, как орудия для борьбы с дворянским царем — Годуновым, зародилась в боярской среде, в окружении Романовых, то в «Русской истории в самом сжатом очерке» о роли боярства даже не упоминается, и Лжедимитрий I выступает как кандидат, выдвинутый на московский престол казачеством. Таков клубок противоречий в суждениях Покровского.

Превратив в «Сжатом очерке» Лжедимитрия I в крестьянского царя, Покровский, тем не менее, не внес никаких изменений в свою статью о «Смуте» в «Русской Истории с древнейших времен». Считая, что буржуазные историки употребляли термин «Смутное время» в целях

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 48.
[2] Там же, 48.
[3] Там же, 48—49.
[4] Там же, 49.

фальсификации событий и неправильного освещения последних, Покровский, однако, оставил тот же «буржуазный термин» в «Русской истории с древнейших времен», даже не оговорив его хотя бы небольшим примечанием. Получилась необыкновенно запутанная методологическая концепция, которая требует критического разбора.

Прежде всего, следует признать употребляемый Покровским термин «Названный Димитрий» крайне неудачным и вернуться к прежнему термину «Лжедимитрий I» или Самозванец. Был ли Лжедимитрий уверен в своем действительном происхождении или нет, это — вопрос второстепенный. Все равно он был Самозванцем, независимо от того, кто его выдвинул — бояре или казачество. Если признать вслед за Покровским, что Лжедимитрий I — случайный ставленник казачества, то в таком случае в «самозванстве» Димитрия не приходится сомневаться, и тогда употребление термина «Названный Димитрий» совершенно непригодно. Точка зрения Покровского на появление Самозванца оказалась в полном противоречии с употребляемым им термином.

Покровский в статье «Смутное время» как будто придавал польско-литовской феодально-захватнической политике бо́льшее значение по сравнению с тем, что он говорил относительно польско-литовской интервенции в других своих работах. Однако объяснение Покровским польской политики тем, что Польша была охвачена «панславизмом» и стремилась «объединить вокруг себя все славянские земли», вызывает удивление своим идеалистическим подходом к затронутому им очень важному вопросу. С другой стороны, Покровский писал, что польские и западнорусские помещики надеялись «получить земли и много всяких богатств в Московском государстве», и в то же время утверждал, что «вся польско-литовская знать», за исключением кружка Мнишек, относилась отрицательно к авантюре Лжедимитрия и «отнюдь не советовала королю его поддерживать».

Далее, польский король Сигизмунд III в союзе с Москвой надеялся вернуть себе шведский престол — свое наследственное достояние, «узурпированное одним из его родственников», а «католическая церковь рассчитывала на политической унии основать церковную». «Появление «царевича» (осенью 1603 г.) оказывалось как нельзя более на руку, и Димитрию немедленно была обещана и королевская и церковная помощь». С другой стороны, поляки вмешались только тогда, когда Лжедимитрий располагал уже «готовой военной силой». Таковы противоречивые высказывания Покровского о роли польско-литовского государства в авантюре Самозванца.[1]

Противоречия в высказываниях Покровского отчасти объясняются тем, что под влиянием буржуазной историографии он отводил польско-литовской интервенции второстепенное значение, хотя конкретный

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 287—288; Русская история в самом сжатом очерке, стр. 47.

исторический материал свидетельствует против подобной концепции; Покровскому так и не удалось преодолеть ограниченность буржуазной историографии. На основании высказываний Покровского читатель не сможет составить себе представления о действительной роли польско-литовского государства в походе Самозванца на Москву.

Появление Самозванца в Московском государстве нельзя объяснить только соображениями внутренней политики московской феодальной знати, ущемленной при Грозном и Годунове. Менее всего приходится считаться с парадоксальным взглядом Покровского на Самозванца как на лицо, выдвинутое беглой крестьянской массой и казачеством. Это ничем не доказанное утверждение было необходимо Покровскому для того, чтобы обосновать свой неожиданный вывод, что Самозванец являлся крестьянским царем. В свете этого вывода Покровский рассматривает всю внутреннюю политику Лжедимитрия. Равным образом нельзя отводить второстепенное место польско-литовскому правительству в вопросе о походе Лжедимитрия I на Москву. Покровский игнорировал литовско-польские и московские отношения конца XVI и начала XVII вв., а между тем, правильная их оценка дает возможность поставить польско-литовскую интервенцию на должное место. Тогда окажется, что польско-литовская интервенция в походе Самозванца занимала совсем не второстепенное место, как считал Покровский вместе со всеми буржуазными историками (за исключением Костомарова). Документы опровергают точку зрения тех исследователей, которые проявляли известную склонность к преуменьшению значения первой польско-литовской интервенции.

Краткий анализ политики польско-литовского государства по отношению к Москве показывает, что польско-литовское правительство было основной движущей силой похода Самозванца. За правительством стояла католическая церковь, стремившаяся использовать создающуюся политическую обстановку для своих религиозно-унионистских целей.

Отношения Москвы и Речи Посполитой были урегулированы перемирием 1582 г., заключенным у Запольского Яма. Заключение перемирия означало, что обе стороны оказались недостаточно сильными для того, чтобы осуществить намеченную ими внешнеполитическую программу. Но это, конечно, не означало, что обе стороны от нее отказались; разрешение внешнеполитических споров временно откладывалось до более благоприятного момента. Во время Ливонской войны Стефан Баторий готовил поход на Москву. Последний не осуществился только потому, что Баторию не удалось захватить Псков благодаря героической стойкости псковского гарнизона во главе с князем И. П. Шуйским. С другой стороны, шляхта не очень была расположена к продолжению войны и оставила Батория без денег. К этому времени изменилась и политика Римской курии. Находившийся в войске Батория папский нунций Каллигари являлся сторонником продолжения войны с Москвой. В таком духе он писал свои донесения в Рим,

тогда как влиятельный иезуит Поссевин стоял за скорейшее примирение в надежде на привлечение Ивана Грозного к союзу против турок. Папа Григорий XIII, как организатор противотурецкой лиги, встал на точку зрения Поссевина. Поход на Москву не состоялся, но Баторий не отказался от своих военных замыслов и стал разрабатывать новый, еще более грандиозный план. Канцлер Замойский полностью поддерживал Батория. Последний предполагал воспользоваться непрочностью внутреннего положения в Московском государстве и отнять у Москвы Смоленско-Северскую землю. Правда, из этих планов ничего не вышло, так как мятеж, поднятый братьями Зборовскими против короля, создал в Польше такую политически обостренную обстановку, при которой нечего было и думать о походе на Москву. Однако и на этот раз план похода на Москву не был совсем оставлен.

Баторий намечал подчинение Москвы и всего Московского государства, а затем — завоевание Закавказья, чтобы выйти оттуда через Малую Азию к Константинополю. Эти широкие планы, выполнение которых было рассчитано на три года, встретили полную поддержку со стороны Римской курии в лице папы Сикста V. В 1586 г. Стефан Баторий умер. Наступило бескоролевье, когда польскому шляхетскому государству было не до выполнения плана большой войны.

Избранный на престол шведский королевич Сигизмунд III Ваза, кандидатура которого была поддержана канцлером Замойским, должен был временно отказаться от завоевательных планов на востоке. Для литовско-польской шляхты Балтийское море имело первостепенное значение, поскольку весь хлебный вывоз шел через Гданск, а шведское правительство, владея сильным флотом, могло в любой момент парализовать всю польскую торговлю. Предполагаемая уния между Швецией и Речью Посполитой должна была поставить польский хлебный вывоз в наиболее благоприятные условия. Но эти планы потерпели неудачу, Сигизмунду III не удалось удержать за собой шведский престол, и, вместо заключения унии, между обоими государствами началась война за Балтийское побережье. При таких условиях о немедленной войне с Москвой не приходилось думать.

Московское правительство пристально следило за избирательной борьбой в Варшаве и не желало избрания на престол королевича Сигизмунда, поскольку уния Швеции с Речью Посполитой могла стать большой угрозой для Москвы. Выдвижение кандидатуры царя Федора на польский престол было политически рассчитанным шагом, но кандидатура Федора успеха не имела. Приход к власти в Швеции Карла IX был встречен в Москве вздохом облегчения. Отсюда тактика Москвы — поддерживать мирные отношения со Швецией, в особенности после Тявзинского мира 1593 г., и держать Речь Посполитую под постоянной угрозой противопольского союза Швеции и Москвы. При такой политической обстановке Сигизмунд III должен был избегать резкого обострения отношений с Москвой и в то же время стре-

миться использовать все подходящие условия, чтобы ослабить Москву и отнять у нее намеченные еще Баторием территории. Главное внимание литовско-польского правительства было сосредоточено на балтийском и турецком вопросах. Это заставило Сигизмунда III искать сближения с Москвой и пытаться заключить длительный мир, хотя ранее подобные предложения со стороны Москвы грубо отвергались литовско-польским правительством. Для этой цели в Москву было отправлено посольство во главе с литовским канцлером Львом Сапегой, побывавшим в Москве со специально шпионскими целями в 1584 г., когда Баторий готовился к войне для захвата Смоленска и всей Северской земли. Сапега должен был урегулировать отношения Речи Посполитой с Москвой и предложить заключение унии между обоими государствами. Разумеется, в возможность заключения унии ни Сапега, ни другие члены посольства не верили, но эти переговоры были необходимы для того, чтобы отвлечь внимание Москвы от Швеции.

Миссия Сапеги успеха не имела, но она побудила шведского короля Карла IX поспешить возобновлением договора о мире с Москвой, для чего король отправил специальное посольство, прибывшее в Москву в конце января 1601 г. Правда, и эти переговоры не дали положительных результатов. Московское правительство, правильно ориентируясь в создавшейся международной обстановке, соглашалось на мир, но ценою территориальных уступок со стороны Швеции. Так, обе поездки послов (польского и шведского) кончились неудачей, но для правительства Годунова эти переговоры с польско-литовским и шведским посольством являлись прекрасными показателями возросшего политического значения Москвы.

Предложенная Сапегой уния была отвергнута Боярской Думой. Политические планы Сигизмунда III мирным путем добиться того, что Баторий намеревался получить посредством войны — отвлечь Москву от союза со Швецией и использовать силы Москвы для борьбы на берегах Балтики за литовско-польские интересы, в ущерб ее собственным, — потерпели полную неудачу. Московские дипломаты были слишком реальными политиками, чтобы увлечься красноречием литовского канцлера и добровольно подчиниться Сигизмунду III. Переговоры сосредоточились на вопросе о возобновлении перемирия, на что обе стороны в принципе были согласны. Послы (Салтыков-Морозов, Плещеев и думный дьяк Власьев), отправленные в Варшаву из Москвы 1 (11) августа 1602 г., оформили условия перемирия на 20 лет.

Для польско-литовской политики пребывание Сапеги в Москве не прошло бесплодно. Послы были в то же время и разведчиками. Они убедились в непрочности власти Годунова, вели какие-то секретные переговоры с боярами. Разгром и арест Романовых, заключение в тюрьму Бельского (июль, 1600 г.) совпали с приездом посольства. Сам Годунов подозревал послов в каком-то соглашении с боярской

оппозицией. Исаак Масса сообщает, что будущий Самозванец был в составе посольства Сапеги и мог присмотреться к московским делам. Буссов сообщает, будто сам Самозванец признал в своем манифесте факт своего пребывания в Москве в составе посольства Льва Сапеги. Правда, ко всем этим иностранным свидетельствам историческая критика относится скептически. Самозванец не мог быть в составе посольства в январе 1600 г.; но что Сапега, который уже в 1584 г. был близок к Романовым, был в курсе всех планов боярской оппозиции против Годунова — это не вызывает никаких сомнений. Проявленная Сапегой в Москве уступчивость была связана с арестами Романовых и Бельского, которого еще в 1584 г. Сапега характеризовал как полонофила. Во всяком случае, связь Сапеги с Самозванцем несомненна.

Международное положение Речи Посполитой не позволяло Сигизмунду III занять по отношению к Москве резко агрессивную позицию. О большой войне, конечно, не могло быть и речи, но польско-литовское правительство никогда не отказывалось от планов Батория в отношении Москвы и готово было осуществить их при первой же возможности. Самозванец давал для этого прекрасный повод. Для всей авантюры Самозванца связь его с боярскими оппозиционными кругами играет второстепенную роль. Самозванец не имел бы никакого успеха без моральной и материальной поддержки правительства Речи Посполитой. Годунов с его ориентацией на австрийских Габсбургов и Швецию был неудобен боярам, но он был неугоден и поляко-литовцам. Удаление Годунова с престола было необходимо в интересах литовско-польского правительства. Этого не учитывали ни буржуазные историки, ни Покровский. Крупные магнаты, вроде Адама Вишневецкого, были раздражены набегами русских на их поместья в левобережной Украине. В 1602 г. русские сожгли владение Адама Вишневецкого Прилуки, о чем князь Острожский, киевский воевода, писал Сигизмунду III, настаивая на отпоре.[1] Появление Самозванца в доме князя Адама Вишневецкого — личного врага Годунова — не случайность, а кем-то со стороны осуществленный политический маневр. Вишневецкий поддерживает Самозванца и старается склонить на его сторону Сигизмунда III и Замойского, Сапеги, владевшие ранее землями на Смоленщине и Северщине и экспортировавшие через Балтийское море большое количество зерна, поступавшего из их белорусских имений, тоже не были равнодушны к Самозванцу.

Утверждение Покровского, что вся знать, за исключением кружка Мнишек, была против помощи Самозванцу, не соответствует действительности. Правда, канцлер Замойский, сенатор Ян Острог, отдельные сенаторы и сейм были против помощи Самозванцу, но Сапега занимал двуличную позицию. Король не только дал Самозванцу аудиенцию, но заключил с ним договор. Это уже означало официаль-

---

[1] Пирлинг. Исторические статьи и заметки, стр. 163, СПб., 1913.

ное признание Самозванца со стороны Сигизмунда III. В договоре Самозванец взял на себя обязательство принять эффективные меры против шведов, а также вернуть Литве Смоленск и Северскую землю, т. е. выполнить часть лелеянного Баторием плана в отношении Москвы. Папский нунций Рангони, всесильный при дворе Сигизмунда III, поддерживал Лжедимитрия, обещавшего разрешить католическую пропаганду в Москве и принять участие в противотурецкой лиге. Таким образом, неверно утверждение Покровского, будто поляки присоединились к Самозванцу тогда, когда уже была готова его основная военная база — казачество. В действительности, донское и запорожское казачество вступило в переговоры с Самозванцем в то время, когда у Лжедимитрия сформировался отряд в две тысячи польских войск. Как бы ни были незначительны отряды польских волонтеров, все же они, а не казаки, составляли основу армии Самозванца, и этого не следует забывать. Даже Лев Сапега в своей оправдательной речи на Варшавском сейме в 1611 г. должен был признать, что Самозванец дошел до Москвы с польской помощью.[1] Между прочим, Сапега в этой своей речи признал, что Самозванец — Гришка Отрепьев. Этому свидетельству Пирлинг придает громадное значение и полагает возможным говорить об их тождестве. Возможно, что это так. Сапега знал о Самозванце больше, чем было сказано им на сеймах 1611—1613 гг. Все приведенные нами данные разрушают концепцию Покровского о второстепенной роли в деле Самозванца Сигизмунда III и стоявшей за его спиной литовско-польской знати. Следует признать, что Самозванец был агентом польских интервентов. Другой вопрос, что этот ставленник шляхетской Речи Посполитой оказался не в силах или не хотел выполнить все обещания, данные им Сигизмунду III и папскому нунцию Рангони.

Характеристика классовой сущности политики Лжедимитрия, как крестьянской, настолько идет в разрез с конкретным историческим материалом, что неправильность этой концепции Покровского не требует особого доказательства. Да и сам Покровский в статье о «Смуте» в «Русской истории с древнейших времен» привел столько конкретного материала, говорящего против его вывода о Лжедимитрии, как крестьянском царе, что этот вывод можно опровергнуть его же фактическим материалом. Время Лжедимитрия характеризуется Покровским, как дворянское восстание против Годунова. Поскольку дворянство было «недовольно» демократической ориентацией Годунова, постольку оно, конечно, должно было восстать для его свержения. Это логически вытекает из всей концепции Покровского о Годунове. С воцарением Лжедимитрия установились в Москве порядки, сходные с опричниной. «Как и их отцы ровно сорок лет назад, приведшие в Москву Димитрия помещики широко использовали свою победу:

---

[1] Любавский. Литовский канцлер Лев Сапега о событиях Смутного времени, стр. 3, Москва, 1901.

такой оргии земельных раздач и денежных наград Москва давно не видала, даже, пожалуй, и в те дни, когда Годунов особенно ухаживал за дворянством».[1] Итак, Димитрий по своей классовой политике — дворянский царь.

В статье «Смутное время» (в словаре Гранат) Покровский воздерживается от определения классовой сущности политики Лжедимитрия, ограничившись замечаниями, что «на царствование Димитрия падают две единственные демократические меры, какие мы встречаем в Московском государстве этого периода».[2] К ним Покровский относит боярский приговор 7 января 1606 г. и приговор 1 февраля 1606 г. Характеризуя в «Русской истории в сжатом очерке» политику Годунова как крестьянскую, Покровский, конечно, не мог объявить движение Лжедимитрия дворянским восстанием. Дворяне не могли бы восстать против своего «дворянского царя». Если так, то социальная база, на которую ориентировался Лжедимитрий, не могла быть дворянской. Лжедимитрий мог опираться только на крестьянство, против которого Годунов издавал многочисленные указы о беглых. Казачество выставило Самозванца, и когда «Названный Димитрий» вступил в Москву, «то первыми же своими указами ясно дал понять на кого он опирается и на пользу кому пойдет его правление».[3] Покровский забывает о приведенном им в главе «Смута» громадном конкретном материале, который отчетливо выясняет основные линии политики Лжедимитрия I. В итоге получилась явная неувязка: поскольку Покровский продолжал переиздавать «Русскую историю с древнейших времен» без всяких изменений и даже ограничительных замечаний, то нельзя решить, кто же, по его мнению, Димитрий — «дворянский» или «крестьянский» царь? Ведь сам Покровский находит возможным говорить только «о двух демократических мероприятиях» в этот период. Согласно указу 7 января 1606 г., запрещалось брать «кабальные записи» на отца и сына вместе. Кабалы надо было брать отдельно на отца и сына. Совместные кабалы не имели юридического значения. Холопство сохраняет свой индивидуальный характер, и кабальный холоп после смерти кредитора становится свободным.[4] Боярский приговор о «кабальных холопах» не представляет собой ничего нового. Он является повторением указа от 1 февраля 1597 г., который устанавливал пожизненное холопство и, таким образом, отвечал интересам дворянства, как было сказано выше.

Неправ Покровский и в своем утверждении, что раньше «кабала, т. е. долговое обязательство, писалась от лица целой семьи».[5] Указ

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 31.

[2] Там же, 288.

[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 48.

[4] Хитрово. Законодательные памятники XVI и XVII столетий.

[5] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 48.

1597 г. не признавал наследственности состояния «кабального холопства». Самозванец оставил в силе указ 1597 г. Боярский приговор 1 февраля 1606 г. тоже не является «демократическим» мероприятием. Он оставлял в неприкосновенности феодальную эксплоатацию и был достаточно суров в отношении беглых, которых можно было возвращать к прежним помещикам. Он разрешил оставаться у новых помещиков только тем из крестьян, которые убежали в «голодные годы», так как «было ему прокормиться не мочно». В этом мероприятии нет ничего демократического. Оно полностью направлено в защиту интересов феодального землевладения и хозяйства, прикрепляя к последнему осевшую в нем рабочую силу. Боярский приговор подтвердил действие указа 24 ноября 1597 г. «о беглых крестьянах». Боярский приговор ставил себе целью обеспечить хозяйства тех владельцев, которые лишились рабочих рук во время голода. Но в то же время боярский приговор был направлен против крестьянства, так как находившиеся в отрядах Лжедимитрия крестьяне должны были выдаваться обратно своим владельцам. Так полностью рушится творимая Покровским легенда о Лжедимитрии, как о «крестьянском царе».

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ — БОЯРСКИЙ ЦАРЬ

Соловьев и Ключевский почти одинаково рассказывают об избрании на престол Василия Шуйского. После убийства Самозванца бояре думали «согласиться со всей землей», для чего вызвать в Москву из городов всяких людей и «по совету выбрать государя такого, который бы всем был люб».[1] Но созыв Земского Собора не отвечал интересам Шуйского и боярства. Шуйский был не избран, а «выкрикнут царем». Он был сделан царем «скопом, заговором, не только без согласия всей земли, но даже без согласия всех жителей Москвы». Ключевский полагал, что Шуйского признали «царем келейно немногие сторонники из большого титулованного боярства, а на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей». Платонов подчеркивает особенное участие в избрании Шуйского «кружка, считавшего за собой право распоряжаться царством» «по великой породе своей», к которому Шуйский «всего ближе был опять-таки по своей породе. Аристократический принцип руководил кружком».[2] Платонов даже не упоминает о провозглашении Шуйского царем частью московского населения, очевидно, не придавая никакого юридического значения разыгравшейся на Красной площади избирательной комедии. Все три буржуазные историка, несмотря на отдельные частные расхождения, согласны в одном — в заговорщи-

---

[1] С. М. Соловьев. История России, кн. II, VIII, 802—803; В. О. Ключевский, Курс русской истории, III, 41.

[2] С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, стр. 283.

ческом происхождении власти Шуйского. Концепция М. Н. Покровского совершенно иная.

Покровский указывает на растерянность, охватившую придворную «камарилью». О кандидате на престол не поднимали вопроса: «боялись поссориться на нем накануне дела и тем сорвать самый заговор». Уже это одно должно устранить представление об «аристократической камарилье», «боярском кружке», так распространенное в новейшей литературе. Камарилья могла бы спеться, а тут мы никакой согласованности мнений и действий не замечаем. Если у кого из заговорщиков был определенный план действий, то только у одного Василия Ивановича Шуйского, который и поспешил воспользоваться этим своим преимуществом. Пока остальные бояре растерянно толковали о том, что надо «разослать грамоты о Земском Соборе, как было в 1598 году, толковали с единственной целью оттянуть дело, — московский посад выкрикнул царем Шуйского». Воцарение Шуйского «было заговором в заговоре, полным сюрпризом для большинства членов воображаемой «камарильи».[1] В силу участия в избрании московского посада «знатный боярин, один из первых, если не самый первый по «родословцу», Василий Иванович, сделался таким образом царем не боярским, а посадским»,[2] «царем боярско-купеческим и даже больше купеческим, чем боярским», — писал Покровский в «Русской истории в самом сжатом очерке».[3] Покровский ссылается при этом на свидетельство «Нового Летописца» и Конрада Буссова. «Новый Летописец» характеризовал выборы Шуйского, как избрание «без совета общего», в котором принимали участие «но нецыи от вельмож и от народа».[4] Конрад Буссов, бывший свидетелем выборов, утверждает, что Василию Шуйскому «поднесли корону одни только жители Москвы, вернее соучастники в убиении Димитрия, купцы, сапожники, пирожники и немногие бояре». Шуйский, повторяет Покровский, — «был посадским царем, как Названный Димитрий был царем дворянским. В этом была новизна его положения».[5]

Взгляд Покровского следует отвергнуть как ложный. Эта его концепция была логическим следствием порочности его общих исторических взглядов. Покровский утверждал, что «буржуазия», сблизившаяся с дворянством во время опричнины, отошла от него вследствие неудачи Ливонской войны. Уже Годунов пытался «вести буржуазную политику», но делал это «осторожно и не настойчиво», буржуазия не была главной фигурой на его шахматной доске».[6] Буржуазия отвернулась от Годунова — он не был ее героем. После появления Само-

---

1 М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 36—37.

2 Там же, 289.

3 М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 40.

4 М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 37.

5 Там же, 37.

6 Там же, 12.

званца «посадские очень скоро убедились, что от Димитрия им не приходится ждать больше добра, чем от Годунова, и брожение в московском посаде становилось день ото дня заметнее».[1] Посад не сразу занял враждебную позицию в отношении Самозванца, так как сначала «мелкие торговцы, лавочники, ремесленники не были в числе недовольных Димитрием. Серебро, попавшее в дворянские и казацкие карманы, быстро превращалось в потребительские ценности, и в московских рядах торговля шла на славу».[2] Мелкий посадский люд стал волноваться много позже, «лишь тогда, когда необыкновенный наплыв поляков по случаю царской свадьбы, в связи с пускавшимися заговорщиками нелепыми слухами, разбудил прямо шкурный страх».[3] После этого весь посад оказался в рядах противников Лжедимитрия и сторонников организованного заговора. Участие «посада» в избрании Шуйского логически вытекает из всей этой концепции Покровского. Утверждая, что избрание В. Шуйского на престол произошло при содействии всего московского посада, а не только одной его верхушки, Покровский основывает свое мнение только на показаниях Конрада Буссова, игнорируя свидетельство «Нового Летописца» об участии в избрании и боярства: «но нецыи от вельмож и от народа ускориша, без совета общего избраша царя от вельмож боярина князя Василия Шуйского». Избрание было быстрое, почти тайное, так как о совершившемся факте «и на Москве не ведаху многие люди».[4] Собравшаяся на площади толпа заговорщиков и случайно примкнувших к ним людей состояла отнюдь не из одной только «буржуазии». Утверждение, что В. Шуйский был избран как представитель буржуазии, не находит никакого подтверждения в источниках.

«Шуйский, — по мнению Покровского, — был посадским царем... В этом была новизна его положения. Но представитель буржуазии еще ни разу не сидел на московском престоле: этот класс впервые держал в руках верховную власть — удержит ли он ее, когда московский мятеж уляжется и жизнь войдет в нормальную колею?»[5] Поскольку Шуйский был избран «буржуазией», постольку «самовоцарение» Василия Ивановича в первую минуту совершенно ошеломило боярские круги, тем более, что в числе «немногих бояр», посвященных в этот второй заговор, кроме родственников нового царя, повидимому, были одни только Романовы.[6] Такой вывод не должен вызвать удивления со стороны читателя — он логически вытекает из созданной Покровским версии воцарения Шуйского.

Для обоснования утверждения, что Шуйский был «первым бур-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 32.
[2] Там же, 35.
[3] Там же, 35.
[4] «Новый Летописец» ПСРЛ, XIV, I. 69, СПб., 1910.
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 37.
[6] Там же.

жуазным царем», Покровскому следовало бы поставить вопрос не о том, удержится ли этот «представитель буржуазии на престоле», а о том, каково было классовое содержание политики Шуйского, отвечала ли она интересам буржуазии или нет? Покровский не ставит себе этого вполне законного вопроса. Он ограничивается анализом «крестоцеловальной» записи Шуйского, видя в ней сделку с боярами, растерянность которых прошла довольно быстро. Боярство учло создавшуюся политическую обстановку и решило добиваться гарантии для себя от чужого, если «не удалось посадить своего царя». В этом отношении опиравшийся на купцов Шуйский — заранее можно было предсказать — должен был обнаружить меньшую силу сопротивления, нежели окруженный «воинством» Димитрий». Русская «Хартия вольностей», данная Шуйским, была результатом известного компромисса с боярством.

«В первой же стычке» с Шуйским обнаружилось, что «бояре сильнее». Это заставило Шуйского пойти на уступки боярству и опубликовать «свою крестоцеловальную запись», взяв за основу «боярские статьи» и внеся в них дополнение, касавшееся «гостей и торговых людей», на которых также распространялась гарантия личной и имущественной неприкосновенности.[1] Опубликование Шуйским крестоцеловальной записи, «вопреки мнению новейших историков, это был колоссальный успех боярства». Вся конституция Шуйского имела «боярский характер». Сами авторы «записи», по мнению Покровского, почувствовали это. Так как реальной силой, на которую опиралось новое правительство, были не бояре, а московский посад, то «боярские» статьи конституции получили любопытное дополнение. Запись обещала: «также у гостей и у торговых людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертные вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отъимати, буде с ними они в той вине невинны».

«Русская «Хартия вольностей» ограждала, таким образом, интересы, с одной стороны, бояр, а с другой — гостей и торговых людей».[2] Такое толкование Покровским «записи» Шуйского отличается некоторым противоречием. Если внесение изменений в «крестоцеловальную запись» Шуйского было делом бояр, которые в то же время на ряду с царем становятся активными членами суда, и царь теперь, «не осудя истинным судом с бояры своими», лишен возможности единолично производить «суд и расправу», то «следовательно», боярство занимает первое в правительстве место, и царь, избранный посадом, в сущности, превращается в «боярского царя», который должен проводить «боярскую» политику, а не политику «в интересах «купцов и торговых людей». Избравшая Шуйского царем буржуазия остается в тени, молчит, когда выступившие бояре использовали

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 38—39.
[2] Там же, 30.

совершившийся факт в своих собственных интересах, и Шуйский должен был на это пойти. Все это может служить достаточно ясным опровержением концепции Покровского, пытавшегося изобразить Шуйского «буржуазным царем», а боярство — молчаливыми статистами на политической сцене. В действительности, феодальная аристократия выступает как основная движущая сила, диктующая свою волю Шуйскому и использовавшая создавшуюся политическую обстановку для укрепления своего политического веса и влияния. Бояре составляли «кружок, считавший за собой право распоряжаться царством, по великой породе своей» и к которому Шуйский ближе всего стоял опять-таки по своей породе».[1]

Боярская феодальная прослойка использовала благоприятный для нее политический момент для того, чтобы закрепить потерянные еще при Грозном позиции и снова занять руководящее место в политической жизни страны. Политическая программа феодальной аристократии оформилась под влиянием политики дворянского правительства Бориса Годунова и Лжедимитрия I. Она сводилась лишь к тому, чтобы сделать невозможным возвращение к политике Грозного и его продолжателей. Все обязательства, принятые на себя царем Шуйским в «крестоцеловальной записи», были направлены исключительно «к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху, но не касались прямо общественного государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значения, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений».[2] Тем не менее, по мнению Ключевского, политическое значение «записи» огромно: «запись царя Василия есть новый, дотоле небывалый акт в московском государственном порядке на основе формально ограниченной верховной власти».[3] Платонов держится противоположного мнения, считая, что «подкрестная запись Василия Шуйского не есть ограничительная».[4] Покровский присоединяется к взгляду Ключевского, только внося в него одно существенное изменение: «Это было ограничение царской власти не в пользу «всей земли», а в пользу только двух классов, которые вдобавок в данную минуту не имели никаких положительных общих интересов. У них был общий враг: средние и мелкие служилые, через посредство царской казны эксплоатировавшие торговый люд и посредством царской власти экспроприировавшие боярство».[5]

Такое определение политического значения «записи», естественно, вызывает недоумение. Можно ли говорить об ограничении в пользу двух классов, если представители одного из них, «купцы и торговые люди», вообще не принимают участия в верховном суде и управ-

---

[1] С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, стр. 283.
[2] В. О. Ключевский. Курс русской истории, III, 43.
[3] Там же, 45.
[4] С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, стр. 283—286.
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 39.

лении? Можно ли вообще говорить об ограничении власти, если самодержавная форма правления остается в неприкосновенности и сфера законодательной деятельности царя формально остается в его исключительном ведении? «Запись» Василия Шуйского — отнюдь не конституционный акт, а попытка восстановить доопричнинные отношения между царем и феодальной аристократией, когда царь рассматривался княжатами и боярами как первый между равными. Ясно, конечно, что эта попытка ни при каких условиях не могла осуществиться, поскольку состояние производительных сил и производственных отношений было иного характера по сравнению с доопричнинным временем. «Запись», — попытка обеспечения личных и имущественных интересов от возможного произвола сверху, который имел место при Грозном и при Годунове. Поскольку «средние служилые слои» не страдали от конфискации и произвольных арестов, постольку о защите интересов дворянства и не шла речь в «записи». По Покровскому же — образовался никогда не существовавший союз боярства и буржуазии, «направленный против дворянства».

Вся концепция Покровского относительно политического значения «подкрестной» записи Шуйского порочна. Это в значительной степени зависит от того, что она базируется на неправильном тексте записи Шуйского. Покровский воспользовался текстом «записи», помещенной в «Истории России» Соловьева с весьма существенным пропуском: — «и у черных людей», — так что вся его концепция, если пользоваться правильным текстом документа, рассыпается от прикосновения исторической критики, как карточный домик.[1] Правительство Шуйского не проводило буржуазной политики. Боярская же политика Шуйского должна была считаться с интересами всех землевладельцев, располагавших крепостной рабочей силой. Так, указ Василия Шуйского от 9 марта 1607 г., с одной стороны, устанавливал 15-летний срок давности для иска о беглых крестьянах — законодательная норма, явно отвечавшая интересам дворянства. Вместе с тем указ устанавливал, что иски о возврате беглых не принимались на крестьян и холопов, записанных в писцовые книги 1592—1593 гг. Это гарантировало крупным духовным и светским землевладельцам неприкосновенность той крепостной массы сельского населения, которая находилась в их распоряжении. Введение денежного штрафа за предоставление пристанища беглым должно было послужить известным предостережением крупнопоместным феодалам против приема беглого крестьянства. Указ 1607 г. пытался примирить интересы двух феодальных прослоек.

Покровский придал слишком большое значение действиям посадской массы в пользу Шуйского на Красной площади 19 мая 1606 г. Между тем, этот же посадский люд вскоре поднял восстание против Шуйского. Уже 25 мая Шуйскому пришлось усмирять волнение посад-

---

[1] С. М. Соловьев. История России, кн. II, т. VIII, 804. Акты Археографической России, кн. II, № 44.

ской массы. 15 июня того же года волнение повторилось, и Шуйскому пришлось с Лобного места уговаривать московское население разойтись. Вспыхнувшее через месяц новое волнение было настолько сильно, что пришлось перевести Кремль на военное положение. В августе, когда в Москве было получено известие о поражении царских войск, что совпало с пожаром и нечаянным взрывом пороха в городских лавках, Шуйский заперся в Кремле. Таким образом, на протяжении двух месяцев посадская масса в Москве выступала несколько раз против Шуйского, которого она не считала своим ставленником. Появление «боярского» царя на московском престоле содействовало обострению классовой борьбы, в конечном итоге окончившейся для Шуйского потерей царского престола. Покровский объясняет четырехлетнее правление Шуйского «браком по расчету между торговым капиталом и боярской вотчиной, где обе стороны ненавидели и презирали друг друга, но разорвать союза не решались, пока не вынудил к этому внешний толчок».[1] Покровский умалчивает о выступлениях посадской массы против «купеческого» царя, так как это полностью уничтожает его теорию «союза боярской вотчины с торговым капиталом». Четырехлетнее пребывание Шуйского на престоле объясняется временным сближением боярства и дворянства и образованием между ними единого фронта для борьбы против восставших крестьян. Борьба отдельных посадов против ставленника поляков — второго Самозванца — в известной степени также поддерживала Шуйского, так как городскому населению до поры до времени приходилось защищать какую-нибудь формально признанную власть, которая могла бы руководить борьбой против «литовских людей», причинявших городам громадный материальный ущерб.

Переписка и обмен мнениями между городами может подтвердить сказанное. Если поморские и понизовые города, как Сольвычегодск, Казань, Устюг, а также Вятка ориентировались на московское правительство, то во время движения Болотникова заокские, а также расположенные в центре города: Боровск, Руза, Можайск, Ржев, Зубцов, Стародуб — перешли на сторону Болотникова. Арзамас, Алатырь, Свияжск также отошли от Шуйского. Область мордвы и черемисов (мари) была охвачена восстанием против Шуйского. Все эти факты наглядно опровергают нарисованную Покровским идиллию «союза боярской вотчины с торговым капиталом», благодаря которому будто бы Василий Шуйский так долго оставался на престоле. Впрочем, и в данном случае Покровскому пришлось отступить перед фактическим материалом, указав только в общей форме, что «поморские и понизовые города» составляли опору власти Шуйского. Восстание Болотникова, повлекшее за собой отпадение многих городов, ясно показывало, на чьей стороне находились симпатии посадского населения.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 40.

ИВАН БОЛОТНИКОВ — ВОЖДЬ КРЕСТЬЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

О движении Болотникова буржуазные историки Соловьев и Ключевский ограничиваются лишь кратким упоминанием. Они рассматривают это, в основном крестьянско-холопское движение, как движение анархическое, противогосударственное. О характере восстания Болотникова, по мнению Соловьева, говорят его воззвания к низшему слою народонаселения. На такой же точке зрения стоит и Ключевский: Болотников призывал холопов «избивать своих господ, за что они получат в награду жен и имения убитых, избивать и грабить торговых людей; ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство».[1] Разумеется, и со стороны Платонова отношение к движению Болотникова было резко отрицательным, как к движению, направленному против господствовавшего тогда общественного и государственного порядка. Тем не менее, Платонов дал более правильную оценку движения Болотникова. По словам Платонова, «Болотников получил большое значение на Украине потому, что первый поставил целью народного движения не только политический, но и общественный переворот. Он звал к себе всех недовольных складом общественных отношений в Московском государстве и, подавая им надежду на социальные перемены в их пользу, возбуждал к действиям вообще против господствующих классов». В воззваниях Болотникова «был прямой призыв против представителей земельного и промышленно-торгового капитала».[2]

Трактовка Покровским восстания Болотникова является шагом назад по сравнению с только что приведенной оценкой классовой сущности этого движения. Взгляд Покровского на движение Болотникова не был устойчивым. В статье, помещенной в словаре Гранат, Покровский не признает самостоятельного значения за движением Болотникова, явившегося якобы лишь орудием для дворянства, которое «сначала использовало Болотникова как агитатора, умевшего поднять народные массы обещанием воли».[3] Позднее, в статье «Смутное время» (словарь Гранат) тот же взгляд развивается более подробно. Начавшееся в южных уездах восстание против Шуйского «шло под знаменем того же Димитрия, смерти которого преданное ему население не хотело верить, но оно носило еще более резко выраженный демократический характер, чем восстание против Годунова. Теперь прямо обращались к холопам и крепостным крестьянам, и во главе дружин «Димитрия Ивановича» рядом с князьями шел бывший холоп Болотников».[4] Приведя отрывок из грамот патриарха Гермогена, характеризующих будто бы цели восстания Болотникова, Покров-

---

[1] С. М. Соловьев. История России, кн. II, т. VIII, 815—816.
[2] С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, стр. 305.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 295.
[4] Там же, 290.

ский приходит к следующему заключению: «но даже из этого текста видно, как неосторожно было бы утверждать, что «воры» ставили «целью народного движения не только политический, но и общественный переворот». Какой же был бы «общественный переворот» в том, что вотчины и поместья сторонников Шуйского перешли бы в руки их холопов, приставших к движению? Переменились бы владельцы вотчин, — а внутренний строй этих последних, конечно, остался бы неприкосновенным. Эта неприкосновенность старого строя особенно ясна из другого посула «воров»: давать холопам боярство и воеводство и окольничество. Вся московская иерархия предполагалась, значит, на своем месте — и, когда «воры» прочно обосновались под Москвой, была воспроизведена в «воровской» столице Тушине. Нет никакого сомнения, что мы имеем здесь дело с двойной демагогией».[1]

Для Покровского движение Болотникова не имеет самостоятельного значения. Восставшие против Шуйского помещики, «поднимая на бояр крепостное население боярских вотчин, не стеснялись в обещаниях, надеясь, что исполнять их не приходится и что, в случае надобности, вооруженные помещики легко справятся с мужицким бунтом, если он перейдет границы для них полезного».[2]

Неизменной осталась у Покровского точка зрения на Болотникова и в «Русской истории в самом сжатом очерке». По его словам, «если во время похода первого Димитрия против Годунова крестьяне еще почти не шевелились, то теперь они восстали всей массой. Их предводитель Иван Исаевич Болотников, беглый холоп, попавший когда-то в плен к татарам, бежавший за границу, человек смелый, предприимчивый, звал все крестьянство свергнуть гнет, под которым оно страдало, и самим встать на место помещиков, грабить у тех то, что они награбили у крестьян».[3]

С такой точкой зрения никоим образом нельзя согласиться. Движение Болотникова носило определенный классовый характер. Хотя к нему и пристали мелкие служилые люди (а впоследствии и средние), преследуя свои собственные классовые интересы, движущей силой восстания были не они, а холопы и крестьяне. Покровский отнесся некритически к грамотам Гермогена, содержание которых полностью повторено в «Новом Летописце». Грамоты Гермогена вышли из феодально-крепостнической среды, враждебной движению Болотникова. На это нельзя было не обратить внимания. Употребление восставшими старой феодальной терминологии отнюдь не свидетельствует о содержании программы их борьбы. Под покровом привычных феодальных терминов скрывалось новое общественно-политическое содержание, для выражения которого у Болотникова не нашлось новых слов. Поднявшиеся холопы и крестьяне противополагали себя

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 41.
[2] Там же.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 50.

феодальному фронту, но неразвитость классового сознания проявилась не только в неспособности отказаться от старой феодальной терминологии и заменить ее новой — отчетливо отражающей интересы крестьянства и холопства, — но и в том, что попутчиками Болотникова явились средние и мелкие землевладельцы, преследовавшие противоположные крестьянам и холопам цели и, в конечном итоге, предавшие крестьянское движение.

Новые данные о восстании Болотникова опровергают точку зрения Покровского. Среди документов Иосифа Волоколамского монастыря обнаружена приходо-расходная книга 1606—1607 гг., содержащая ряд интересных подробностей о восстании Болотникова. Документы этого монастыря сообщают новые данные о действиях приверженцев Болотникова в Волоколамском крае, об участии монастыря в борьбе с восстанием и о подавлении восстания армией Шуйского. Около монастыря приверженцы Болотникова потерпели поражение, что ускорило переход служилых людей вообще на сторону крупных феодалов. Монастырь принимал активное участие в борьбе против крестьян, поднявших знамя социального переворота».[1]

Покровский, придавая движению Болотникова второстепенное значение и связывая его с восстанием помещиков против Шуйского, допустил еще одну крупную ошибку методологического и фактического порядка, связав движение Болотникова с лагерем второго Самозванца. Основной социальной базой, на которую опирался Болотников, были широкие народные массы — крестьяне и холопы, тогда как основную военную силу второго Самозванца составляли поляки. В войске Болотникова не было поляков. Рассматривая движение Болотникова как вспомогательную часть дворянского движения вообще и отводя Болотникову второстепенное значение, Покровский даже не воспользовался данными голландца Исаака Массы, который дает яркую характеристику личности крестьянского вождя и говорит о том, что последний «отличался во время войны удальством, храбростью и отвагой». Покровский ни одним словом не упоминает о дикой расправе царя Шуйского с пленными после поражения Болотникова под Москвой, что так красочно описал тот же Масса.[2] Таким образом, Покровский совершенно неверно осветил восстание Болотникова и допустил при его анализе крупнейшие методологические ошибки. В анализе первого массового крестьянского движения, вокруг которого разыгралась классовая борьба, он даже сделал шаг назад по сравнению с буржуазной наукой. Отводя движению Болотникова второстепенное место и показав его в реакционном аспекте, Покровский, как и другой представитель «экономического материализма» — Н. А. Рожков, не заметил прогрессивных черт в

---

[1] Исторический архив, I, 1—22, 1936.

[2] Масса. Краткое известие о Московии в начале XVII в., 156, 162, 164, 168—170, 173. См. также Новый летописец, стр. 124—130.

крестьянском движении XVII в., направленном на разрушение феодального строя.

ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ И ВТОРОЙ САМОЗВАНЕЦ

Оценка Покровским времени второго Самозванца также противоречива и вызывает серьезные возражения. Покровский во втором томе своей «Русской истории с древнейших времен» совсем не касается внутренней и внешней политической обстановки, содействовавшей выдвижению второго Самозванца, и тем самым оставляет открытым этот важнейший вопрос. Все же можно уловить, хотя прямо и невысказанную Покровским, мысль о том, что появление Самозванца — результат главным образом внутренних причин, поскольку в составе его военных отрядов находились «болотниковские дружины». С другой стороны, под рукой Тушинского царька было «десять тысяч регулярной польской конницы и пехоты», которые для «буржуазного царя»[1] являлись более опасными, «нежели болотниковские дружины». Упомянув о поляках, возглавляемых «опытными и талантливыми польскими кондотьерами» — Рожинским и Лисовским, Покровский далее говорит: «прогулка в Москву с первым Димитрием сыграла для людей этого типа роль разведки. Теперь они «знали дорогу» и видели, что московское правительство слабо, как никогда: странно было бы этим не воспользоваться».[2] Такое объяснение явно неудовлетворительно; оно не дает ответа на вопрос: откуда и почему к Самозванцу шли польские военные отряды и какую позицию занимало польское правительство. Видимо и сам Покровский не был вполне удовлетворен таким объяснением. Недаром в статье «Смутное время» (словарь Гранат) он уже говорит о выдвижении второго Самозванца поляками, «которым с их точки зрения Димитрий был не менее нужен, чем Болотникову и его товарищам», и которые «быстро усвоили пущенную последними мысль о «чудесном спасении» Димитрия».[3] В «Русской истории в самом сжатом очерке» дается другое объяснение. Самозванца выдвинули «те войска, которые Димитрий собрал на южной окраине». Как только они «узнали о его гибели, они восстали против нового правительства как один человек. Они постоянно помнили, что в Москве низвергли их любимца... Скоро нашли человека, который взял на себя это имя, и стали убеждать, что он и есть спасшийся Димитрий».[4]

Провинциальные дворяне двинулись на Москву и вместе с ними «массы крестьянства». Однако между дворянами и крестьянством и казаками скоро произошел раскол. Дворяне покинули крестьянские

---

[1] Покровский имеет в виду царя Василия Шуйского.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 44.

[3] Там же, 290.

[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 50.

дружины, как своих классовых врагов, казаки же были разбиты под Тулой и отступили к южной окраине Московского государства. «Скоро они оправились и с помощью польских отрядов, которые опять пришли в Московское государство, частью мстить за своих, частью просто грабить, благо дорога уже была им знакома, — казаки теперь подошли к самой Москве и утвердились в Тушине».[1] Покровский, отмечая присутствие в Тушинском лагере поляков, ни слова не говорит о том, как могли появиться под Москвой польские «регулярные» войска. Одним знакомством с дорогой на Москву этого объяснить нельзя.

В этой противоречивой концепции одна только мысль выражена вполне отчетливо. Польский элемент в войске Самозванца имел большое значение, как достаточно грозная военная сила для Шуйского, но в появлении второго Самозванца, по мнению Покровского, поляки не играли никакой роли. Самозванец был выдвинут казаками и крестьянами в процессе развития классовой борьбы в Московском государстве. Эта точка зрения Покровского вполне понятна, так как он считает, что польская интервенция в начале XVII в. имела место только один раз и выразилась во вторжении в московские пределы польского короля Сигизмунда III, осадившего Смоленск. Правда, и тут Покровский допускает грубую ошибку, связывая интервенцию польско-литовского правительства с заключением Василием Шуйским договора со шведами. В действительности этот договор не был и не мог быть первопричиной польско-литовской интервенции.

Покровский прошел мимо того громадного конкретного материала, который никак не согласуется с его взглядами. Появление «Тушинского вора» только и можно объяснить вторичной интервенцией в Московское государство польско-литовского правительства, действительно шедшего на Москву по проторенной дороге и превосходно осознавшего цели своего выступления. Покровский в данном случае находился под сильным влиянием Ключевского. Он повторяет мысль последнего о том, что «мятежники, пораженные под Москвой царскими войсками, укрылись в Туле и оттуда обратились к пану Мнишку в его «мастерскую русского самозванства» с просьбой выслать им какого ни на есть человека с именем царевича Димитрия. Лжедимитрий II, наконец, нашелся. Усиленный польско-литовскими и казацкими отрядами летом 1607 г., он стоял в подмосковном селе Тушине».[2] По существу, на той же точке зрения стоял и Соловьев. По его словам, «когда весть о появлении Самозванца разнеслась по Польше, то люди, хотевшие пожить на счет Москвы, начали собираться со всех сторон под знамя Димитрия».[3]

Платонов в основном подтверждает высказанные Соловьевым и

---

[1] Там же.
[2] В. О. Ключевский. Курс русской истории, III, 47.
[3] С. М. Соловьев. История России, кн. II, т. VIII, 826.

Ключевским взгляды.[1] Появление второго Самозванца — дело внутреннего характера, но польско-литовский король Сигизмунд III позволял открыто собирать войска для новой авантюры, цель которой оправдывалась намерением «отомстить вероломной Москве за плен и гибель в ней московских гостей Самозванца и добыть хлеб себе и своему отечеству подвигами рыцарства». Покровский оказался не в силах преодолеть наследие буржуазной историографии, хотя тот же Соловьев приводит очень важный польский наказ Лжедимитрию II,[2] который мог бы дать Покровскому возможность подойти более правильно к оценке этого вопроса.

Несмотря на то, что первый Лжедимитрий отказался от приведения в исполнение планов польско-литовского правительства и тем самым попросту обманул последнее, о чем говорил полякам отправленный в Польшу Безобразов (январь 1606 г.),—все же убийство Лжедимитрия было большим военно-дипломатическим поражением Сигизмунда III и польско-литовского правительства. При жизни Лжедимитрия I Сигизмунд III, раздраженный тем, что севший с помощью поляков на престол Самозванец отказывался стать орудием политики литовско-польского правительства, грубо прервал с ним всякие дипломатические сношения. Убедившись в том, что это не произвело на Лжедимитрия никакого впечатления, король пытался снова восстановить дипломатические сношения при помощи Велижского старосты Александра Корвин-Гонсевского. Последний был принят Самозванцем очень любезно, но обмен любезностями не дал никаких политических результатов. Поэтому, хотя убийство ставленника Речи Посполитой и избиение большого количества «поляков и литвы» и свидетельствовало о военно-дипломатическом поражении литовско-польского правительства, Сигизмунд III и стоявшие за ним иезуиты не отказались от мысли об интервенции и от осуществления давнишних политических планов литовско-польского правительства и папской курии.

Василий Шуйский стремился восстановить нормальные дипломатические отношения с Варшавой и тем обезопасить себя со стороны Речи Посполитой. С этой целью в мае 1606 г. было отправлено в Варшаву посольство во главе с князем Г. К. Волконским и дьяком А. Ивановым. Это посольство было плохо принято польско-литовским правительством и подверглось оскорблениям со стороны населения. Сигизмунд III не был расположен итти навстречу мирным предложениям Шуйского. С теми же послами он отправил Василию Шуйскому подписанную 10 января 1607 г. грамоту, обещая в ней дать «отказ» через своих посланников, которых он намеревался отправить в Москву вслед за уехавшими послами Шуйского. Тон грамоты был заносчив и оскорбителен для «боярского» царя Василия Шуй-

[1] С. Ф. Платонов. Очерки по истории Смуты, стр. 333—335.
[2] С. М. Соловьев. История России, кн. II, т. VIII, 827.

ского. Все это свидетельствовало о нежелании польско-литовского правительства восстанавливать договор о нарушенном мире. Сигизмунд III явно не желал отказываться от своей интервенционистской политики.

Литовско-польское правительство во время переговоров с послами Шуйского могло выражать негодование по поводу избиения поляков и конфискации товаров польских купцов, но активно выступить против Москвы Сигизмунд III не мог: его руки были связаны вспыхнувшей в польско-литовском государстве междоусобной войной — так называемым рокошем Зебжидовского, начавшимся еще тогда, когда Лжедимитрий I был жив (апрель 1606 г.). В связи с рокошем Сигизмунд III вел двойственную политику в отношении Шуйского. Желая отвлечь внимание последнего от происходивших в Речи Посполитой событий, направленных против самого Сигизмунда III, он фальшиво соглашался на ведение переговоров с Василием Шуйским. В то же время, учитывая внутреннее положение Московского государства, он выжидал только благоприятного случая для новой интервенции. Московские послы в своем статейном списке ярко изобразили этот рокош, не позволявший Сигизмунду III до окончательного его прекращения предпринимать какие-либо активные действия против Московского государства. Московские послы узнали от московских эмигрантов братьев Хрипуновых, тесно связанных с Львом Сапегой и со всей авантюрой Лжедимитрия, что литовский канцлер не принимает участия в рокоше и что он в то же время вообще противник всяких авантюр со стороны литовско-польского правительства. Короля в его планах поддерживали Ян Сапега, староста Увятский, Ружинский и др.

Литовский канцлер хотел казаться настроенным дружелюбно в отношении Москвы и не желал обострять отношений с правительством Шуйского: в данный политический момент сторонники интервенции во главе с Сигизмундом III и Львом Сапегой, конечно, не могли держаться другой политики в отношении Москвы. Польско-литовское правительство было лишено возможности предпринять против Москвы «большую» войну. Но оно не отказывалось от помощи какому-либо проходимцу-авантюристу и от использования последнего в своих интересах.

В качестве такого авантюриста польско-литовско-иезуитская клика выдвинула второго Самозванца. С территории польско-литовского государства Самозванец пришел в Попову Гору с конвоем литовского урядника Рагозы и в июне 1607 г. объявил себя царем Димитрием Ивановичем, спасшимся от майского погрома. Из Литвы стали приходить к нему польско-литовские военные отряды из числа бывших участников прекратившегося рокоша. Польско-литовские отряды составили основное ядро армии Самозванца, находившейся в то же время под общим руководством польских военных специалистов. Разбитые Шуйским крестьянско-казацкие отряды, влившиеся в войско

Самозванца, имели второстепенное значение, хотя количественно их было много больше, чем поляков.

Сигизмунд III и его окружение были, конечно, довольны уходом разнузданной толпы военных, а также тем, что предстоявшая борьба московского правительства с Самозванцем должна была экономически и политически ослабить Московское государство. Так разбивается созданная Покровским концепция о появлении нового Самозванца по соображениям внутреннего характера. Самозванец был нужен польско-литовским и иезуитским интервентам до тех пор, пока Сигизмунд III и его окружение не нашли возможным открыто выступить против Московского государства. Когда это произошло, Самозванец стал не нужен и был обречен на гибель. До этого же момента Сигизмунд III, скрывая от Шуйского свои настоящие намерения, послал в Москву посольство для урегулирования всех спорных вопросов и заключения мира. Перемирие на три года и 11 месяцев было действительно заключено в июле 1608 г., когда интервенты фактически уже далеко распространили сферу своего влияния.

По условиям перемирия Сигизмунд III обязывался отозвать «вборзде» всех тех людей, которые «без повеления и ведомости нашое» вошли в пределы Московского государства, а затем «в перемирные лета жадного человека з своих государств в ваши государства военным обычаем некоторым умышлением не пропускать». Сигизмунд III лицемерно подписал условия перемирия, в силу которых он должен был отозвать на родину пришедших с Самозванцем «поляков и литовцев». В это время в окружении Сигизмунда «большая» война в сущности была решена, так как Самозванцем была уже создана благоприятная до этого политическая обстановка.

Планы польско-литовских интервентов вскрываются составленным для второго Самозванца «Наказом» (1607)[1], о том, как поступать ему в случае взятия им Москвы. Последняя в действительности не была взята. Наказ оказался лишним. Но он интересен как показатель того, что польско-литовское правительство, выпуская нового авантюриста, стремилось именно к политическому, культурному и религиозному подчинению русского народа поляко-литовцам и иезуитам, к уничтожению Московского государства, как политического целого.[2] Покровский не учел все эти давным-давно опубликованные материалы и, оправдывая поляко-литовцев, лил воду на мельницу польских историков-националистов. Недаром глава о «Смуте» в его «Русской истории с древнейших времен» была встречена приветливо в польской буржуазной историографии. Мы не касаемся других вопросов, связанных с второй польско-литовской интервенцией, поскольку эти вопросы подробно освещены в статье А. А. Савича.[3]

---

[1] Сборник русского исторического общества, 137, 698—708.

[2] С. М. Соловьев. История России, кн. II, т. VIII, 842—845.

[3] Против исторической концепции М. Н. Покровского, I, 172—243. М., 1939.

Если польско-литовская интервенция достигла известных успехов, то это в значительной степени объясняется изменой со стороны боярской прослойки, которая никак не могла примириться как с уменьшением экономического и политического веса, так и политико-экономическим укреплением дворянства. Прекрасно осознав свою политическую слабость и видя полную невозможность собственными силами осуществить политические планы, боярство искало союзников на стороне — в польско-литовском государстве в надежде с его помощью восстановить свое политическое положение, хотя бы ценою предательства страны и потери Московским государством политической независимости. Без «боярской измены» Лжедимитрий I не мог бы появиться в Москве, так как боярские военноначальники имели все возможности нанести польскому ставленнику сокрушительный удар. Но они не хотели этого. Для борьбы с «дворянским царем» Годуновым им был нужен первый самозванец, с помощью которого они питали надежду расправиться с Годуновым и восстановить свое прежнее политическое положение. Появление Василия Шуйского на престоле было попыткой реставрации власти боярства.

Феодальная знать, убедившись в полной невозможности сохранить политические позиции, а также под давлением крестьянского движения, видела в польско-литовской помощи единственное средство для укрепления своего экономического и политического положения. Недаром ничтожный первенствующий боярин князь Ф. И. Мстиславский писал униженные письма к Сапеге, осаждавшему Троицкий монастырь, называя его «другом и братом».

Феодально-аристократический характер польско-литовского государства, политическая роль в нем аристократии представлялась боярам гарантией того, что при установлении польско-литовского господства их политическое положение станет достаточно прочным, а восставшие крестьяне с помощью польско-литовского войска будут вновь возвращены в прежнее состояние. Августовский договор 1610 г. был действительно боярским. Он охранял интересы феодальной знати хотя бы дорогой ценой — выдачей своей страны «на поток и разграбление» полякам и литовцам. Неизвестный автор «Новой повести» правильно оценил измену бояр: «а сами наши земледержьцы якоже и преже рек — землесъедцы... ум свой на последнее безумие отдали и к ним же, ко врагом, пристали и ко иным, к подножию своему припали, и государьское свое прирожение пременили в худое рабское служение и покорилися и поклоняются неведомо кому. И тако те наши благороднии зглупали и душами своими пали и пропали навеки, аще от того зла и худа на добро не обратятся».[1]

---

[1] Рус. Ист. Биб., XIII, стр. 208, изд. 2-е, СПб., 1909 г.

БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ

Не касаясь подробностей третьей (по нашему счету) интервенции, Покровский правильно отметил, какие цели преследовал Сигизмунд III и его польско-литовское и иезуитское окружение, начиная войну с Московским государством. В случае удачного исхода интервенции «вся восточная Европа превращалась в одну огромную державу с Польшей во главе и под одним скипетром. Сигизмунд, разумеется, должен был стать царем московским точно так же, как он был королем польским и великим князем литовским».[1] Такая характеристика политики польско-литовских интервентов была бы еще яснее для читателя, если бы Покровский в выступлениях обоих самозванцев также видел диверсию со стороны польско-литовского правительства, скрыто преследовавшего тогда те же цели, которые поставил перед собой Сигизмунд III во время уже открытой интервенции. Покровский прошел мимо этих вопросов, и тем самым в его изложении третья польско-литовская интервенция оказалась изолированной от двух предыдущих польско-литовских диверсий, на которые он обратил так мало внимания. Он не уловил общей линии политики литовско-польского правительства, настойчиво и упорно проводимой со времен Стефана Батория. Покровский совершенно игнорировал внутреннее и внешнее положение польско-литовского государства, а между тем, зигзагообразная линия политики польско-литовского правительства в отношении Московского государства может быть понята только при наличии анализа состояния польско-литовского государства в начале XVII в. В то время, когда Покровский писал свою главу о «Смуте», в распоряжении исследователя было уже достаточно материалов, характеризующих политику польско-литовского правительства в конце XVI и начале XVII вв.

Национально-освободительной борьбе с польскими интервентами, этому важнейшему моменту в истории «крестьянской войны и польско-литовской интервенции» Покровский уделяет относительно мало внимания, ограничиваясь схематическим изложением вопроса и не иллюстрируя свои положения конкретным историческим материалом, имеющимся в изобилии в распоряжении исследователя.

Нельзя сказать, что точка зрения, выдвинутая Покровским по этому вопросу в главе о «Смуте», всегда оставалась неизменной во всех его последующих отдельных высказываниях. В основном взгляды, высказанные в «Русской истории с древнейших времен», получили еще более отчетливую формулировку в «Русской истории в самом сжатом очерке».

Касаясь общих причин, вызвавших народное движение, направленное против польско-литовской интервенции, Покровский отмечает прежде всего наступление правительственной анархии в первые месяцы

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 60.

царствования Владислава; «и притом формы этой анархии были особенно опасны как для буржуазии, так и для среднего землевладения».[1] В то же время общее разорение страны, прекращение торговли, массовая раздача конфискованных у среднего дворянства земель, хозяйничанье поляков в Москве затрагивали классовые интересы «буржуазии и дворянства».[2] Движение «меньших людей» стало распространяться и в городах и сильно обеспокоило буржуазию. Надежды буржуазии и дворянства на Владислава не оправдались. Поляки не усмирили «меньших» людей. Буржуазия и дворянство должны были подумать о своем классовом самосохранении.[3] Последнее, по мнению Покровского, «стало национальным самосохранением». В этом — смысл событий 1611—1612 гг.[4] Первое дворянско-казацкое ополчение (Ляпунова) не достигло поставленной ему цели; «за слишком резкое проявление этих (своих) классовых тенденций вождь дворянского ополчения поплатился лично».[5] Только союз буржуазии и дворянства, выразившийся в организации Нижегородского ополчения, привел, наконец, к поставленной цели: освобождению Москвы от поляков.[6] Того же взгляда придерживается Покровский и в статье «Смутное время» (словарь Гранат): действующей противопольской силой и там у него выступает «торговый капитал, которому необходимо было сильное правительство, способное дисциплинировать «меньших» и притом — правительство национальное, но городские рати были бы так же бессильны справиться с поляками, как и при Шуйском: нужна была более солидная военная сила».[7] Земельная политика Сигизмунда оттолкнула «массу помещиков в противоположный лагерь; к услугам торгового капитала была теперь армия».[8] «Нижегородский купец Минин стал собирать ополчение «для освобождения Москвы от поляков и иноверцев», и притом, в том-то и состояла его гениальная выдумка, — стал обещать тем, кто пойдет в это ополчение, такое жалованье, какого в прежнее время не получала и царская гвардия».[9] Мелкие служилые люди и казачество позажиточнее увидели, «что служить имущим классам куда выгоднее, нежели якшаться с народной массой и помогать демократической революции, которая явно шла на пользу беднякам и не сулила никому никакого богатства».[10] Купцы при этом «старались своих денег давать как можно меньше, а облагали чрезвычайными налогами мелкую буржуазию, «черных людей». Когда Ми-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II 61.
[2] Там же, 61—63.
[3] Там же, 64.
[4] Там же, 64.
[5] Там же, 68.
[6] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 66.
[7] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 292.
[8] Там же, 293.
[9] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 14.
[10] Там же, 54.

нин говорил, что нужно «заложить жен и детей», чтобы собрать деньги на армию, то речь шла, конечно, не о богатых купчихах и купеческих дочках, а вот семьи городской бедноты действительно отдавали в кабалу, чтобы уплатить налог».[1] В главе о «Смуте» Покровский признал, что «это, как справедливо указывает новейший историк «Смуты», вовсе не служит доказательством личной жестокости Кузьмы Минина и его товарищей. То была особенность социального строя — того строя, победой которого кончилась Смута».[2] Вся конкретная история борьбы Нижегородского ополчения за освобождение от интервентов осталась вне поля зрения Покровского.

Высказывания Покровского об обоих ополчениях, организованных для борьбы за национальное освобождение от польско-литовских интервентов, нельзя не признать в корне ошибочными: о многом он умалчивает, кое-что совсем опускает; он не хочет знать патриотизма ни нижегородца Минина, ни князя Пожарского. Последний, может быть, и не отличался большими военными талантами, но никогда не был «перелетчиком», не пресмыкался перед польскими захватчиками Кремля. Пожарский был страстным противником поляков как угнетателей его отечества. Он находился в ополчении Ляпунова, а также участвовал в боях с поляками на улицах Москвы во время восстания, когда и был ранен. Выбор Пожарского в качестве начальника рати неслучаен. Полонофилы и прихвостни Сигизмунда III не могли иметь места в ополчении. Только такие честные патриоты, каким был Пожарский, могли руководить национально-освободительным движением. Этого Покровский не учел или не считал нужным учесть. Само национально-освободительное движение отразилось в «кривом зеркале». Нижегородское ополчение, в оценке Покровского, было направлено не столько против интервентов, сколько против «меньших людей». Козьма Минин и князь Пожарский, по Покровскому, не вожди народных масс в борьбе с интервентами, а своего рода контрреволюционные деятели, стремившиеся закабалить городских и сельских меньших людей в интересах «торгового капитала и помещиков».[3] Покровский органически не хотел или не мог понять того, что борьба русского народа против поляков была не борьбой в интересах излюбленного Покровским торгового капитала, а борьбой за национальное освобождение. Он не хочет приводить идущих вразрез с его концепцией фактов, свидетельствующих об охватившем тогда народные массы подъеме. Польские интервенты и захватчики были изгнаны из Москвы поднявшимся на защиту своей родины народом. В этом была вся сущность Нижегородского движения. Но враг не был окончательно раздавлен. Борьба продолжалась и дальше со страшным

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 54—55.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 70.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 69—70.

напряжением воли, физических сил и экономических средств народа до полного изгнания интервентов за границы русской земли.

Героическая борьба русского народа против польско-литовских интервентов увенчалась полным успехом. 26 октября 1612 г. народное ополчение заняло Кремль и очистило Москву от поляков. Народ ликовал, охваченный радостью славной победы. Он доверил власть вождям ополчения — князю Д. М. Пожарскому и Кузьме Минину.

Но изгнанием польско-литовских интервентов из Москвы борьба еще не закончилась. Шведы захватили Новгородскую землю. Сигизмунд III шел с новыми войсками и дошел до Волоколамска. Отряды гетмана Лисовского и Заруцкого рыскали по всей стране и беспощадно грабили население. Борьба продолжалась. Временное правительство было по своему социальному составу дворянско-купеческим, оно считало, что с изгнанием поляков из Москвы роль народного ополчения окончена. Дворяне, участники ополчения, разъехались по домам, принялись разыскивать своих беглых холопов и крестьян и возвращать к себе в имение. Крестьяне и холопы не сдавались. Крестьянская война вступила в новую фазу своего развития.

Временное правительство поспешило созвать Земский Собор для решения вопроса о власти, которая должна была взять на себя продолжение борьбы против польско-литовских и шведских интервентов и установление «спокойствия» в стране путем подавления крестьянских движений.

Обратившись к Земскому Собору, временное правительство тем самым передавало решение вопроса об организации новой власти землевладельцам и посадским людям, отстранив от участия в нем широкие народные массы. 21 февраля 1613 г. Земский Собор остановил свой выбор на Михаиле Романове, сыне «Тушинского патриарха» Филарета. Новое дворянское правительство под предлогом разорения страны и отсутствия денежных средств должно было заключить со шведами мир в Столбове (1617 г.) и перемирие с поляками в селе Деулине (1618 г.). Новое правительство царя Михаила, внешнюю политику которого буржуазные историки С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов признавали мудрой, в действительности пошло на соглашение со шведами и поляками в тот момент, когда бессилие польско-литовского и шведского государств было очевидным. По этому соглашению поляки оставили за собой Смоленск и Чернигово-Северскую землю, шведы — берега Финского залива со старыми русскими городами. Правительство повело борьбу с крестьянством за укрепление феодально-крепостнических отношений, без чего дворянство не мыслило себе возможным восстановить свое хозяйство. Выступив единым фронтом против крестьян, класс землевладельцев усилил свою власть.

Б. Б. КАФЕНГАУЗ

РЕФОРМЫ ПЕТРА I В ОЦЕНКЕ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I

Преобразования Петра I двинули страну значительно вперед по сравнению с состоянием русского государства в XVII столетии. В первой четверти XVIII столетия быстро росла крупная промышленность: была создана уральская металлургия, ряд суконных, полотняных и прочих мануфактур, в которых применялась передовая западноевропейская техника того времени. Весьма усилилась внешняя торговля, благодаря завоеванию балтийских портов и покровительственной политике правительства, в 1724 г. был издан по западноевропейскому образцу протекционистский таможенный тариф; правительство выдавало субсидии предпринимателям и предоставляло им монопольные права.

Внешняя политика Петра I привела к разгрому шведов, вторгшихся в Украйну, и обеспечила за Россией берега Балтийского моря. Победы Петра связаны с организацией регулярной армии, достаточно хорошо вооруженной, и созданием впервые русского флота. Шагом вперед по сравнению с неуклюжим и обветшавшим административным аппаратом XVII столетия явились возникшие при Петре новые органы центрального и местного управления. Сенат, коллегии, губернское устройство, заимствованные в известной степени из западноевропейской бюрократической практики, оказались весьма жизнеспособными и гибкими орудиями «национального государства помещиков и торговцев». Подушная подать заменила пестроту многочисленных старинных прямых налогов и привела к увеличению почти втрое государственного бюджета. Но вместе с тем новая подать соответственно усилила налоговый гнет и послужила поводом к расширению прав крепостников. Указом об «единонаследии» правительство пыталось удержать от дробления и упадка дворянское землевладение; крупные раздачи земель и крестьян ближайшим сотрудникам Петра также способствовали дальнейшему «возвышению класса помещиков».

В области культуры и просвещения положительными явлениями следует считать начало европеизации русского дворянства посредством учреждения школ, принудительного обучения дворянских «не-

дорослей» и системы заграничных образовательных путешествий. Основание Академии наук, распространение (правда, в сравнительно узком кругу) математических и технических знаний, изучение иностранных языков, появление первой в России газеты («Ведомости») и переводной научной литературы, возникновение театра следует поставить в заслугу правительству Петра.

«Содействие нарождавшемуся классу торговцев» также протекало на основе расширения прав крепостников; заводчики получили возможность приобретать к своим мануфактурам деревни (посессионные рабочие), и правительство приписывало к крупным заводам целые волости. Реформы привели к усилению самодержавия и бюрократии, к росту крепостного гнета.

Трудовые массы не только героически сражались на войне, но и бурно восставали против феодального гнета. Восстание казаков и крестьян на Дону под руководством Булавина встретило широкий отклик в крепостном населении центральных уездов. Восстание посадских низов в Астрахани, восстания башкир свидетельствуют об огромных народных силах, не желавших мириться с жестоким помещичьим и феодально-государственным гнетом.

Реформы Петра издавна являлись предметом страстных споров в русской публицистике и в исторической литературе. Каждое поколение, каждое политическое и научное направление пыталось по-своему подойти к пониманию этой сложной эпохи. Тотчас после смерти Петра его ближайшие сотрудники, как Феофан Прокопович или Неплюев, пытавшиеся дать оценку эпохи, заполняли свои литературные произведения выражениями восторга перед личностью Петра и его деятельностью. Но и три десятилетия спустя крупнейший представитель русской культуры XVIII в. гениальный ученый М. В. Ломоносов дал высокую оценку деятельности Петра. В «Слове похвальном Петру Великому» (1755 г.) Ломоносов, перечисляя заслуги Петра, останавливается на создании регулярной армии, на его победах над шведами в Северной войне, отмечает реформы государственного устройства, заботы о просвещении; он ставит в заслугу Петру умножение государственных сборов, называя подушную подать «легкой». Ломоносов подчеркивает, что Петра видели «меж рядовыми солдатами» «в своем сообществе за однем столом», что он сам трудился «как мастер», копал рвы «как рядовой солдат», сам строил корабли, вместе с тем «всем повелевая как государь». Ломоносов указывает, что Петру приходилось преодолевать на каждом шагу в своей деятельности препятствия и упорную вражду. Он заключает свою характеристику эпохи замечанием, что не находит никого из исторических деятелей, с кем он мог бы сравнить Петра.[1] Беспредельный восторг по адресу своего «ироя» высказывает также Иван Голиков, составитель «Деяний

---

[1] Сочинения М. В. Ломоносова, изд. Академии Наук, т. IV. СПб., 1898.

Петра Великого», обширного сборника первоисточников по этой эпохе (30 томов).

Представитель следующего после Ломоносова поколения, историк, сенатор и публицист кн. Щербатов дал свою оценку реформ Петра. Идеолог аристократии, он ставил в укор Петру его табель о рангах, давшую разночинцам возможность выслужить дворянское звание; в Екатерининской комиссии 1767 г. Щербатов возражал против признания дворянских прав за лицами, получившими дворянство согласно петровской табели и вместе с тем защищал крепостную зависимость крестьян. Щербатов видел в эпохе Петра начало последующего «повреждения нравов», источник роскоши и связанного с нею разорения дворянства, ослабления семейных уз и т. п. Но при этом и Щербатов считает, что реформа была необходима. Он защищает насильственный характер преобразований, указывает на важность устройства войска и флота, организации фабрик. Без «самовластия» Петр не мог бы осуществить реформы. Предоставленная сама себе Россия совершенствовалась бы крайне медленно и, по расчетам Щербатова, достигла бы того же уровня лишь через семь поколений, к 1892 году.[1] Устами М. Щербатова говорило родовитое дворянство, сознававшее связь дворянской монархии XVIII в. с эпохой Петра и стремившееся усилить и укрепить свое господство.

Критика петровских преобразований с точки зрения революционера XVIII в. была дана Радищевым. Он видел в Петре — великого преобразователя и победителя Карла XII и вместе с тем «столь властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества». По его словам Петр мог быть более славен, «утверждая вольность частную», но при этом Радищев указывает, что нет примера, «чтобы царь упустил добровольно что ли из своея власти».[2]

Большого внимания заслуживает отношение Н. М. Карамзина к преобразованиям Петра. В «Письмах русского путешественника» (1790) с точки зрения просветительных идей XVIII в. он высказывает сочувствие реформам Петра. Он говорит, что «путь образования или просвещения один для народов: все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских, итак надлежит от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами». «Все народное ничто перед человеческим» — восклицает он в оправдание западничества Петра. Однако 20 лет спустя Карамзин выразил иной, определенно отрицательный взгляд на значение деятельности Петра. В его «Записке о древней и новой России» (1811 г.) впервые дана резкая и законченная критика петровских реформ, во многом предвосхитившая взгляды славянофилов первой половины XIX в. В этом

---

[1] М. Щербатов. Соч., II, «О повреждении нравов», стр. 13—22.

[2] Радищев. «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске.» (Полное собрание сочинений, т. I. Изд. Акад. Наук, 1938, стр. 151.)

публицистическом произведении Н. Карамзин упрекает правительство Александра I за «излишнюю любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи». Основной тезис Записки — защита самодержавия от подготовляемых реформ Сперанского. Карамзин хочет подкрепить историческими примерами свою реакционную программу. Он видит заслугу Петра в завоевании Прибалтики, в учреждении флота, мануфактур, училищ и Академии. Но при этом Карамзин указывает на «вредную сторону его блестящего царствования» — страсть к новым обычаям, которая переступила в нем «границы благоразумия». Он обвиняет Петра в потере национального чувства, приведшей к подражанию Западу. «Мы стали гражданами мира — говорит Н. Карамзин — но перестали быть в некоторых случаях гражданами России: виною — Петр». Он, «увидев Европу, захотел сделать Россию Голландиею». Карамзин укоряет Петра за введение иноземного платья, порчу языка, замену боярской думы Сенатом, возражает против построения новой столицы «на северном крае государства, среди зыбей болотных» и т. д. Европеизация дворянства привела лишь к отрыву его от низших сословий. Он ставит в упрек Петру насильственный характер его преобразований, «ужасы самовластия». Он предпочитает консерватизм Московского государства, где «изменения делались постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия».[1] В своей «Записке» Карамзин, напуганный французской революцией и крушением феодализма в ряде стран Западной Европы, выражал интересы реакционного дворянства периода разложения феодально-крепостного строя в России, когда правящий класс уже опасался приближавшегося крушения своего господства. Славянофилы впоследствии немногое прибавили к аргументам Карамзина.

Один из основателей славянофильства, И. Киреевский, весьма положительно оценивал деятельность Петра и подчеркивал, что просвещением «обязаны мы Петру».[2] Но в этом отношении более характерны для славянофилов взгляды К. Аксакова. Он усматривал резкое различие между историей России и Западной Европы. В древней Руси он видел «святые начала» — общину, смирение, внутреннюю правду, добровольное подчинение народа государству; поэтому русская история «может читаться как жития святых». Но затем, при Петре, государство совершает переворот, «Петр захотел образовать могущество и славу земную, захотел, следовательно, оторвать Русь от родных источников ее жизни, захотел столкнуть Русь на путь Запада, путь... ложный и опасный». Петр «вводит подражательность чужим краям, Западной Европе... Переворот сопровождается насилием... Россия разделилась надвое и на две столицы. С одной стороны государство с своей иностранной столицей Санкт-Петербургом; с другой

[1] Н. Карамзин. Записка о древней и новой России, под ред. В. Сиповского, 22—32, СПб., 1914.

[2] И. Киреевский. Соч., под ред. М. Гершензона, I, 106.

стороны — земля, народ, с своей русской столицей — Москвой».[1] Реакционный дворянский смысл этой защиты превратно понятой московской старины вполне ясен. Славянофилы понимали, что история Западной Европы проникнута «войной классов». Об этом писали еще Гизо и Тьерри. И в западническом характере петровских преобразований им чудилась будущая угроза самодержавию и дворянскому господству.[2]

Западники 30—40-х годов горячо спорили с славянофилами. П. Чаадаев, в молодости связанный с декабристами, видел в допетровской Руси лишь варварство или чистый «лист белой бумаги», на котором начал чертить только Петр. Он считал, что реформы Петра необходимы для страны и были вызваны настоятельной потребностью: «Если бы Петр Великий не явился, то, кто знает, может быть, мы были бы теперь шведской провинцией».[3] В пику славянофилам Чаадаев восклицает: «Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями».[4]

Белинский и Герцен не раз подчеркивали прогрессивное значение эпохи Петра. В двух статьях по поводу второго издания «Деяний Петра Великого» Ивана Голикова Белинский отмечает стремление Петра к европеизации страны и выдвигает его роль в военной истории России. «Мы избалованы нашим могуществом, оглушены громом наших побед, — писал Белинский, — привыкли видеть стройные громады наших войск и забываем, что всему этому только 132 года (считая от победы под Лесной — первой великой победы, одержанной русскими регулярными войсками над шведами). Мы как будто все думаем, что это было у нас искони веков, а не с Петра Великого. Мы уже забыли и то, что при Петре Великом у России явился опасный сосед Карл XII, которому нужны были и люди и деньги и который умел бы распорядиться и тем и другим».

Белинский рассматривает эпоху Петра как «ужасную бурю», и в его преобразованиях видит революционный переворот: «Он понял, что полумеры никуда не годятся и только портят дело; он понял, что коренные перевороты в том, что сделано веками, не могут производиться вполовину, что надо делать или больше, чем можно сделать, или ничего не делать и понял, что на первое станет его сил». И по поводу огромных жертв при строительстве Петербурга Белинский замечает: «Когда же и где великие перевороты совершались тихо без отягощения современников?».

---

[1] К. Аксаков. Соч., I, 53, 1882.

[2] Плеханов. Погодин и борьба классов. Соч., XXIII. Там же. «И. В. Киреевский», 106.

[3] П. Чаадаев. Соч., II, 243, М., 1914.

[4] Там же, 226.

Белинский обращается по адресу славянофилов со страстной тирадой: «Да, господа защитники старины, — говорит он, — воля ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исаакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всех площадях и улицах великого царства русского».[1] В этих статьях Белинский прозрачно намекал на необходимость ломки всех устоев николаевской монархии. Дальнейшее печатание статей было прекращено по цензурным условиям («по независящим от редакции причинам»). Более полно Белинский мог раскрыть свою мысль лишь в письмах. В письме к Анненкову в 1848 г., говоря о будущем освобождении крестьян, он восклицает: «России нужен новый Петр Великий».[2] Неудивительно поэтому, что он в другом письме к Кавелину говорил: «Для меня Петр — моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-нибудь делать, быть чем-нибудь полезным».[3]

Эти мысли полностью мог раскрыть только Герцен в заграничной печати. Герцен рассматривал петровскую эпоху (разумеется, совершенно неправильно) как революцию сверху и называл Петра «коронованным революционером». Призыв к революции в настоящем связывается у Герцена с прославлением Петра: «К концу XVII века на престоле царей появился смелый революционер, одаренный обширным гением и непреклонной волей, — писал Герцен — это деспот по образцу комитета общественного спасения».[4] Наперекор славянофилам, видевшим в петровских преобразованиях измену национальным началам, Герцен называет Петра «истинным представителем революционного принципа, скрытого в русском народе». Поэтому «петровский период — по его словам — сразу стал народнее периода царей московских. Он глубоко взошел в нашу историю, в наши нравы, в нашу плоть и кровь».[5]

Следующее поколение революционеров, разночинцы-просветители Чернышевский и Добролюбов, отказались видеть в этой эпохе революцию. Еще в 1847 г. западник и либерал Кавелин писал, что «эпоха реформ наступила у нас не внезапно; она приготовлена всем предыдущим бытом». Он отрицал за ней значение революционного переворота.[6]

Революционеры-просветители 50-х годов сохранили высокое представление о значении петровских преобразований. Н. Чернышевский говорил: «для нас идеал патриота — Петр Великий, высочайший па-

---

[1] Белинский. Полн. собр. соч., под ред. Венгерова, VI, 190, 193. СПб., 1903.

[2] Белинский. Письма, под ред. Ляцкого, III, 338, СПб. 1914.

[3] Там же, 300. Письмо к Кавелину.

[4] Герцен. О развитии революционных идей в России. Соч. и письма, под ред. Лемке, VI, 325—328.

[5] Герцен. Соч. и письма, VI, 325; VIII, 432—433.

[6] Кавелин. Взгляд на юридический быт древней Руси. Соч., I, стр. 58.

триотизм — страстное беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека». Перед своими современниками Чернышевский ставил задачу — «содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим».[1] Но следует подчеркнуть, что Чернышевский был противником идеализации петровских реформ, в чем он упрекал Белинского и его друзей.

Важно понять новую постановку вопроса у Н. Добролюбова, который в своих статьях подверг критике «Историю царствования Петра Великого» Устрялова. Основная мысль Добролюбова в том, что крупная историческая личность не является основным фактором истории — первое место принадлежит народу. «Только тогда человек может заставить людей сделать что-нибудь, когда он является как бы воплощением общей мысли, олицетворением той потребности, какая вырабатывалась уже предшествующими событиями». С этой точки зрения на историю он рассматривает и петровскую эпоху: «Петр разрешал вопросы, давно уже заданные самою жизнью народною — вот его значение, вот его заслуги». Поэтому Добролюбов считал, что «нововведения Петра не были насильственным переворотом». Вместе с тем он видит заслугу Петра в «твердом и неотступном преследовании своих целей»; «нужна была гениальная решимость, непоколебимая твердость воли в борьбе с препятствиями».[2]

У С. Соловьева мы видим этот новый, более научный взгляд, развернутый на конкретном историческом материале. В «Истории России» Соловьев еще называет петровскую эпоху «нашей революцией XVIII века», сравнивает ее с политической революцией во Франции. Но вместе с тем Соловьев рассматривает исторический процесс как органическое развитие народной жизни, естественное и необходимое, он видит в эпохе преобразований не разрыв с прошлым, а «необходимое следствие всей предшествовавшей нашей истории».[3] Соловьев дает чрезвычайно высокую оценку петровским преобразованиям, рассматривает их как дело всего народа: «Никогда ни один народ не совершал такого подвига как русский народ под руководством Петра». С наибольшей полнотой взгляд Соловьева на эпоху преобразований выразился позднее в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872). Здесь значительно сильнее подчеркнута органичность и преемственность развития, хотя оно рассматривается чисто идеалистически. Однако, на ряду с идеалистическим построением «Публичные чтения» содержат весьма ценные соображения. Соловьев рассматривает преобразования как обусловленные предшествующим раз-

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода. Полн. собр. соч. II, 120, 122, СПб., 1906.

[2] Н. Добролюбов. Первые годы царствования Петра Великого. Соч., III, 129, 137, 169, 184, 196. ГИХЛ, 1936.

[3] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, изд. «Обществ. польза», III, 1055.

витием народа. В особенности он подчеркивает экономическую отсталость Московского государства, бедность страны, слабую заселенность и господство крепостного права. Важнейшее место среди петровских преобразований, по его мнению, занимают экономические перемены: «дело должно было начаться с преобразования экономического; государство земледельческое должно было умерить односторонность своего экономического быта усилением промышленного и торгового движения и для этого прежде всего добыть себе уголок у Северного Средиземного (Балтийского) моря».[1] По мнению Соловьева потребность экономического преобразования была «на первом месте», Россия при Петре производила «у себя экономический переворот», развивая город, торговлю, промышленность. Здесь уже отсутствует прежнее сравнение с политической революцией, вместо этого петровские преобразования сравниваются с другой эпохой: «Франция с Кольбером в челе и Россия с Петром Великим в челе действовали одинаково». Конечно, следует помнить, что при этом Соловьев остается идеалистом; реформы начались, по его словам, «с сознания» своей хозяйственной отсталости; «бедный народ сознал свою бедность и причины ее через сравнение себя с народами богатыми» и в силу этого перешел к экономическим преобразованиям. В основе исторической жизни у Соловьева остается сознание. Все же нельзя не признать ценности построений С. Соловьева и их оригинальности для своего времени. В «петровском экономическом перевороте», по Соловьеву, были даны «средства для «освобождения села чрез поднятие города».[2] Таким образом, этот буржуазный историк рассматривал эпоху Петра с точки зрения создания некоторых условий для будущего освобождения крестьян. Роль Петра, как исторической личности, Соловьев ограничивает определенными пределами, так как на первый план выдвигает значение народа. Не преувеличивая роли великих людей, он видит вместе с тем в Петре народного вождя и рисует красивый образ: «народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то ждали; ждали вождя — вождь явился».[3]

В. О. Ключевский удержал из концепции своего учителя главным образом идею органической связи древней и новой России и пошел в этом отношении еще дальше Соловьева. Он начинает новый период в истории России с начала XVII столетия, а не с эпохи преобразований, как Соловьев, чем еще более сглаживает различия между обоими периодами. Более уклоняется Ключевский от Соловьева в определении сущности реформ. Исходя из буржуазной чичеринской схемы о первенствующем значении государства, он считает, прежде всего, что Северная война «вызвала и направляла реформу». Второй

---

[1] С. Соловьев. Собр. соч. (Публичные чтения о Петре Великом), изд. «Обществ. польза», стр. 993.

[2] С. Соловьев. Собр. соч., стр. 1109.

[3] Там же, 1101.

важнейшей чертой эпохи он признавал финансовую реформу: «Война была главным образом движущим рычагом преобразовательной деятельности Петра, военная реформа ее начальным моментом, устройство финансов ее конечной целью». Напротив, народнохозяйственные явления, рост промышленности и торговли при Петре, довольно подробно изложенные в его курсе, Ключевский рассматривал только как следствия реформы, хотя и признавал, что Петр в стремлении поднять производительные силы страны, «стоит одиноко в нашей истории». Но в этой стороне преобразований, по его мнению, Петр видел лишь источник государственного дохода и имел в виду дать народным массам «возможность нести усиленные государственные тяготы».[1] На ряду с неправильной трактовкой экономических явлений, как производных, у Ключевского, конечно, отсутствует также изображение классовой борьбы.

П. Милюков, этот идеолог российского империализма, воспринял некоторые черты концепции Ключевского. Милюков собрал огромный материал по истории финансов и администрации при Петре, но сделал из него совершенно превратные выводы. По его мнению, внешнеполитические задачи эпохи — завоевание берегов Балтийского моря — не соответствовали экономическим потребностям отсталой страны и поэтому привели будто бы «лишь к отрицательным последствиям». «Новые задачи внешней политики свалились на русское население в такой момент, когда оно не обладало еще достаточными средствами для их исполнения. Политический рост государства опять опередил его экономическое развитие... Ценой разорения страны Россия возведена была в ранг европейской державы».[2] Таким образом, в глазах Милюкова грандиозная внешняя политика Петра нисколько не обусловлена состоянием производительных сил, напротив, — она будто бы стояла в резком противоречии с ними. Буржуазное представление о господствующей роли государства в русской истории, полный отрыв политических явлений от экономики связан у Милюкова с резкой критикой приемов и итогов преобразовательной деятельности Петра. Милюков говорит, что реформа страдала «отсутствием плана и системы», деятельность Петра напоминает ему «расточительность природы в ее слепом, стихийном творчестве, а не политическое искусство государственного человека».[3] В военной истории эпохи он подчеркивал Нарвское поражение и неудачу Прутского похода; Пол-

---

[1] В. Ключевский. Курс русской истории, IV, 2-е изд., 81—82, 141, 167, 284, М., 1915.

[2] П. Милюков. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII в. и реформа Петра Великого, изд. 2-е, 546, СПб., 1905. Это — дальнейшее развитие мысли Ключевского, который говорил, что «внешние опасности государства опережали естественный рост народа» (Курс русской истории, IV, 274).

[3] П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, 3-е изд., III, в. 1, 163—164. СПб., 1909.

тавскую победу относит лишь за счет ошибок Карла XII, и только вскользь указывает, что «завоевание моря он (Петр) сделал и сумел отстоять, хотя конечно и тут — полное разорение завоеванного побережья не свидетельствует об обдуманной программе завоеваний». Так же пренебрежительно отзывается он о создании армии и флота, отмечая «скудость результатов сравнительно с грандиозностью затраченных средств». Реформа государственных учреждений носит «печать торопливости, отрывочности и безсвязности». Строительство фабрик при Петре он называет совершенно беспочвенным на том основании, что многие из них закрылись. Говоря о личности Петра, он отмечал примитивность и грубость его натуры, хотя должен был признать в нем «избыток воли и сильное чувство долга».[1]

После Карамзина и славянофилов не было более злобной характеристики петровской эпохи, более извращающей историческую действительность, чем эти высказывания лидера русской буржуазии. Следует заметить, что эта оценка личности Петра встретила решительные возражения со стороны Н. Павлова-Сильванского и С. Платонова.[2] Основной тезис Милюкова относительно сильнейшего разорения страны в результате Северной войны был подвергнут основательной критике в книге М. Ключкова «Население России при Петре I» (СПб., 1911).

Постановка вопроса о реформах Петра в русской исторической и публицистической литературе показывает, что передовые и революционные умы, Ломоносов, Белинский, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, защищали преобразования Петра, хотя не всегда могли правильно вскрыть их значение и сущность. Только указания классиков марксизма-ленинизма со всей отчетливостью выяснили классовую природу империи при Петре и дали ключ к пониманию его реформ.

Маркс и Энгельс особенно интересовались внешней политикой Петра. Они внимательно следили за современной им политикой царского правительства, ставшего жандармом Европы. Выясняя при этом исторические корни военного могущества России и ее внешней политики, они неизменно приходили к эпохе Петра I. Маркс изучал в Британском музее английские памфлеты начала XVIII в. о Северной войне и материалы о Петре. Эти памфлеты и материалы он перечисляет в большом письме к Энгельсу. «В музее я сделал несколько исторических открытий о первых десятилетиях восемнадцатого века, касающегося борьбы между Петром I и Карлом XII (шведским)». Уже тогда был «предсказан будущий рост Moscovite Empire». Русская дипломатия, по словам Маркса, со времени Петра I «не сделала качественных успехов».[3] В ряде работ Маркс отмечал тради-

---

[1] Там же, III, 143—167; I, 81, 1898.
[2] С. Платонов. Петр Великий, изд. «Время». СПб., 1926.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXII, 112—113.

ционность мировой политики России с эпохи Петра и даже ранее. К этому моменту он относил начало современных ему англо-русских отношений; говоря о видах царизма на Константинополь, он замечает, что еще Петр «собирался укрепиться на развалинах Турции».[1] Когда Маркс указывал на методы подкупа и обмана, применявшиеся прусскими Гогенцоллернами для расширения своих владений, он подчеркивал при этом роль договоров России с Пруссией с начала XVIII в., когда «мы видим их в сотрудничестве с Петром Великим в разделе шведских владений».[2]

Энгельс также пишет Марксу о своих занятиях русской историей. «Теперь читаю о Петре I», — сообщает он в одном письме и говорит, что в этой эпохе следует уже признать проявление «всей русской дипломатии».[3]

Маркс подвел итоги своим занятиям русской историей в «Секретной дипломатии XVIII столетия». Он отмечает преемственность и даже тождество методов во внешней политике царизма на протяжении веков. Он отмечает, что наиболее оригинальной чертой внешней политики Петра явилось его стремление к морю. Маркс указывает на «ту характерную смелость, с которой он воздвиг новую столицу на первом завоеванном им куске балтийского побережья, почти что на расстоянии одного пушечного выстрела от границы, умышленно дав, таким образом, своим владениям *эксцентричный центр.* Перенести царский трон из Москвы в Петербург значило поместить его в такие условия, в которых он не мог быть обеспечен от нападений до тех пор, пока все побережье от Либавы до Торнео не было покорено, — что было завершено лишь к 1809 году завоеванием Финляндии. «С-Петербург это — окно, из которого Россия может обозревать Европу» — сказал Альгротти. «С самого начала это был вызов Европе и стимул к дальнейшим завоеваниям для русских» — говорит Маркс. В результате завоеваний Россия вступила в непосредственные торговые сношения с Западной Европой. При этом в отношении ряда товаров Европа оказалась в зависимости от русских. Перенос столицы и завоевание морских берегов, как говорит Маркс, привели к «непосредственному соприкосновению со всеми пунктами Европы».

Кроме новых экономических связей Маркс отметил как результат петровской эпохи — необходимость европеизации страны. В статье о Прудоне Маркс говорил, что «Петр Великий варварством победил русское варварство».[4]

Маркс останавливается на благоприятных международных условиях, именно на позиции, занятой Англией в начале XVIII в., которая

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 401.
[2] Там же, XI, ч. I, 77.
[3] Там же, XXIII, 147.
[4] Там же, Соч., XIII, ч. I, 29.

способствовала осуществлению внешней политики Петра. Исключительно искусное использование русским правительством европейской ситуации того времени также освещено было позднее Энгельсом в работе «Внешняя политика русского царизма» (1890), где он говорит о Петре: «Этот действительно великий человек, — великий совсем не так, как Фридрих «Великий», послушный слуга преемницы Петра, Екатерины II, — первый вполне оценил изумительно благоприятную для России ситуацию в Европе. Он ясно увидел, наметил и начал осуществлять основные линии русской политики как по отношению к Швеции, Турции, Персии, Польше... так и по отношению к Германии. Германия занимала Петра больше, чем какая бы то ни было другая страна, за исключением Швеции».[1]

В другом месте, говоря о политике царской России в Средней Азии, Энгельс снова обращается к Петру: «Еще в 1717 г. этот дальновидный монарх, начертавший своим преемникам всевозможные направления для завоеваний, отправил экспедицию против Хивы — конечно потерпевшую неудачу».[2]

В отношении внутреннего состояния страны при Петре важны высказывания Маркса и Энгельса о положении крепостного крестьянства. Энгельс указал на рост крепостного гнета с начала XVIII века и вскрыл его причины: «Со времен Петра началась иностранная торговля России, которая могла вывозить лишь земледельческие продукты. Этим было вызвано угнетение крестьян, которое все возрастало по мере роста *вывоза,* ради которого оно происходило, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и не завершила законодательства. Но это законодательство позволяло помещикам все более и более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался».[3]

После Крымской войны в период подготовки отмены крепостного права в России Маркс и Энгельс снова отметили историческую связь крепостной России первой половины XIX в. с реформами Петра. Энгельс, говоря о борьбе между господствующим классом и крестьянством в России в связи с предстоящим падением крепостного права, заметил, что «вместе с Россией, которая просуществовала от Петра Великого до Николая I, терпит крушение и ее внешняя политика».[4] Маркс указывал в это время на возможность русского 93-го года — революции крепостных, которая «в конце концов на место лживой декорации, введенной Петром Великим, поставит настоящую и всеобщую цивилизацию».[5]

Таким образом, Маркс и Энгельс выяснили огромное значение эпохи Петра, когда были заложены основы военного могущества

---

[1] Там же, XVI, ч. 2, 12.
[2] Там же, XI, ч. 1, 363.
[3] Там же, XIV, 370.
[4] Там же, XII, ч. 1, 246.
[5] Там же, XI, ч. 1, 545.

и дальнейшей внешней политики царской России, указали начало европеизации страны, отметили, что в качестве крупнейшего политического деятеля Петр по праву носит имя «Великого». Но вместе с тем они подчеркивали, что эти успехи шли за счет усиления эксплуатации крепостного крестьянства, обусловили последующую колониально-захватническую политику царизма и цивилизовали лишь верхушку общества.

Ленин, в соответствии с этими высказываниями Маркса и Энгельса, отметил европеизацию России при Петре [1] и вместе с тем указал на жестокие, варварские методы проведения реформ: «Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства». [2]

Петербургские большевики, в связи с празднованием 200-летия основания столицы в 1903 году, дали интересную характеристику петровской политики. В одной из большевистских листовок того времени говорится, что «умным и сильным человеком был Петр Великий и принес немало пользы для своего времени. Он сумел «прорубить окно в Европу», развил сношения с заграничными государствами...» Но при этом в листовке было отмечено усиление царского произвола и порабощение народа при Петре, который «был настоящим деспотом».[3]

Тов. Сталин дал сжатую и отчетливую характеристику реформ Петра и вскрыл их классовую природу. Тов. Сталин указал на промышленную политику Петра, обеспечившую задачи обороны страны и являвшуюся попыткой борьбы с техно-экономической отсталостью страны. «Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости».[4]

Классовая сущность петровского государства с исчерпывающей ясностью показана тов. Сталиным: «Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры».[5]

---

[1] В. И. Ленин. Возрастающее несоответствие. Соч., XVI, 314.

[2] В. И. Ленин. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности. Соч., XXII, 517.

[3] Листовки петербургских большевиков, т. I, стр. 88, Л. 1939.

[4] И. В. Сталин. Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б). Вопросы ленинизма, 9-е изд., 359.

[5] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом.

II

Задачей историка эпохи Петра I, в соответствии с высказываниями классиков марксизма-ленинизма, является анализ производительных сил, классовой структуры общества и проявлений классовой борьбы, разработка конкретной картины этой бурной эпохи, марксистско-ленинский анализ внутренних преобразований Петра и его внешней политики.

Экономическую основу петровских преобразований М. Н. Покровский усматривал в «торговом капитализме». Петровскую эпоху он характеризует как «набег торгового капитализма на Россию», или «завоевание феодальной России торговым капиталом». Эта эпоха, утверждает Покровский, является кратковременной «весной торгового капитализма».[1] Торговым капиталом объясняется внешняя и внутренняя политика Петра. Под пером Покровского Петр превращается в «символическую фигуру», которую можно «заменить торговым капиталом». Торговый капитал заставил его «биться 20 лет за Балтийское море» и произвести реформы государственных учреждений. В связи с этим Покровский подробно останавливается на промышленности и торговле в эту эпоху. В его глазах крепостное хозяйство XVII—XVIII вв. является также частью торгового капитализма: поэтому о феодальных отношениях и крепостном хозяйстве Покровский говорит вскользь, не останавливаясь на подробностях. Это понимание петровской эпохи, подробно — но далеко не систематично — изложенное в четырехтомной «Русской истории с древнейших времен» М. Н. Покровского, получило впоследствии наиболее четкое выражение в его «Русской истории в самом сжатом очерке». «В Северной войне окончательно складывается и весь механизм торгового бюрократического государства, основанного Романовыми. Мы напомним в немногих словах его социально-экономическую (хозяйственную и общественную) основу, — говорит Покровский. — Мы напомним, что торговый капитал не организовывал сам производство. В его руках были только все средства сбыта и обмена. Торговый капитал был скупщиком готовых товаров, созданных, произведенных самостоятельно мелкими хозяевами, крестьянами и ремесленниками. Эти мелкие хозяева сами по себе не нуждаются в скупщиках; они могли бы продавать все товары сами и весь доход положить себе в карман или могли бы сами их потребить, и поэтому их надо заставить отдать свои произведения; для этого торговый капитал создает сильную центральную власть, с прекрасно организованным по образцу купеческой конторы чиновничеством, с безграничными полицейскими полномочиями, со свирепым, не народным, а также чиновничьим, действующим тайно и только казнящим явно судом. В то же время он поддерживает в деревне крепостное право, при помощи помещиков

[1] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, II, 172, 255, 234, 213, 219, М. 1933. Очерк истории русской культуры, I, 201.

заставляя крестьян отдавать хлеб и другое сырье, выбивая его из крестьян розгами помещичьих конюшен». Перечисляя далее реформы Петра— учреждение сената и коллегий, подушную подать, городское управление и т. д. — Покровский замечает, что «государство Петра и его преемников верно отражает свою основную сущность как владычество торгового капитала».[1]

В другом месте, говоря о финансовых реформах второй половины XVII в., предшествовавших финансовым мероприятиям Петра, Покровский говорит, что «торговый капитал подошел теперь вплотную к самой крупной после него силе страны. Перед ним оставались только помещики с их крепостными: тронуть этих последних значило тронуть самих помещиков».[2] Таким образом, помещики, крепостное хозяйство объявляются только второстепенной, хотя и крупной силой страны; они идут по своему значению после торгового капитала.

Маркс нигде не употребляет термин «торговый капитализм». Указывая (в 20-й главе III тома «Капитала»), что торговый капитал и даже его преобладающее значение имели место в самые различные эпохи, что «торговый капитал старше капиталистического производства», Маркс, однако, подчеркивал, что одного торгового капитала недостаточно для появления капитализма. В какой мере торговля влияет «на разложение старого способа производства, это сначала зависит от его прочности и внутреннего строя». Даже в отношении Западной Европы в XVI—XVIII вв. Маркс неоднократно предупреждал относительно опасности преувеличения роли торгового капитала. Маркс отмечал, что «в ту эпоху бóльшая часть национального производства пребывала еще в феодальных формах и служила непосредственным источником существования для самих производителей. Продукты большей частью не превращались еще в товары, и, следовательно, в деньги, вообще не вступали во всеобщий общественный обмен веществ».[3]

Ошибка Покровского заключалась в том, что он искал экономическую основу общества не в производстве, а в сфере обмена. В применении к конкретным условиям экономики XVII—XVIII вв. Покровский, по его собственным словам, нашел эту теорию готовою у Туган-Барановского.[4] Последний писал, что в допетровской Руси «был вполне развит торговый капитализм», и видел в нем основу для петровских фабрик.[5]

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, изд. 9-е, 94—96, 1930. В 10-м издании это место несколько изменено, на чем я остановлюсь ниже.

[2] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, I, 199.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, I, 141.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, гл. XIII, § 1, изд. «Мир», 252, 1918.

[5] М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем, Введение, I, 16, 1922.

К концу своей деятельности, в 1930 г., Покровский должен был до некоторой степени признать ненаучность своей концепции и говорил о безграмотности термина «торговый капитализм».[1] Он признает, что торговый капитал «у меня закрывал феодальную сущность помещичьего государства».[2] В связи с этим Покровский в 10-м издании «Русской истории в самом сжатом очерке» несколько изменил ту общую характеристику эпохи Петра, которая приведена выше. В ней исчезли слова о «владычестве торгового капитала». О петровском государстве теперь было сказано, что «оно было создано сочетанием двух сил, воплощением которых были, с одной стороны, *крепостное имение*, с другой — *купеческий капитал*».[3] Эти слова вносят значительную поправку к прежнему представлению о Петре как «символической фигуре торгового капитала».

В экономической политике Петра Покровский усматривал проявление меркантилизма. В этом отношении его четырехтомник выгодно отличается от курса В. О. Ключевского, или, например, от работ Н. П. Павлова-Сильванского о петровской эпохе, в которых не отмечался меркантилистический характер петровской экономической политики. Покровский пошел здесь вслед за Штидой и Брикнером — держится деления западноевропейского меркантилизма на две стадии — ранний или средневековый (XIII—XV вв.) и более поздний или кольбертизм. Маркс говорил о монетарной и собственно меркантильной системах. Проявление раннего средневекового меркантилизма Покровский видит в новоторговом Уставе и в «Книге о скудости и богатстве» Посошкова, именно — в его советах регламентировать потребление, сокращая покупку иностранных товаров, в его теории денег, «столь же средневековой, как и его теория обмена». Но через несколько страниц Покровский находит у Посошкова «вполне определенный переход к промышленному меркантилизму кольберовского типа».[4] Из этих двух противоречивых суждений правильно второе: экономическая политика Петра, как и трактат Посошкова, должны быть отнесены ко второй, собственно меркантилистической системе.

Покровский считал, что Россия при Петре переживала недолгую «весну торгового капитализма», после чего наступил «крах» и «промышленный кризис», который он объяснял тем, что «самый способ воздействия Петра на промышленность был таков, что должен был распугивать, а не привлекать капиталы». Он рассматривал его промышленную политику по сравнению с XVII столетием как отступление,

---

[1] М. Н. Покровский. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России, в сб. Покровского «Историческая наука и борьба классов», в. I, 287—288, 1933.

[2] Предисловие к 10-му изд. «Русской истории в самом сжатом очерке».

[3] Цитир. по 5-му посмертному изданию М. Н. Покровского Русская история в самом сжатом очерке, стр. 71, 1934.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 197, 200, М. 1933.

приведшее промышленность к кризису и к появлению крепостной, а не капиталистической мануфактуры. Он ставит в вину правительству Петра следующее: Петр 1) «попытался учить капитал, что он должен был делать и куда ему следует итти», 2) пытался рядом указов регламентировать потребление в интересах новых видов производства, издавая указы против роскоши, о ношении платьев лишь из русского сукна, об употреблении в канцеляриях бумаги русского производства и т. п.; 3) указом вводил новшества в производственный процесс, требуя, например, введения нового способа выработки кож (юфти), предписывая кустарям ткать широкие полотна вместо привычных узких; 4) в принудительном порядке собирал сырье для новых предприятий, например, тряпье для бумажных фабрик; 5) применял таможенный протекционизм для защиты русской промышленности. Только последнее мероприятие Покровский называет «наиболее европейской мерой в этом каталоге принуждений», остальные он признает «средневековым меркантилизмом». Он упрекает Петра в том, что тот твердо верил в «дубинку» как «орудие экономического развития и был глубоко убежден в серьезности подобных мер».[1]

Но можно ли упрекать петровское правительство в этих мерах принудительного порядка? Все они являются характерным проявлением современного ему западноевропейского меркантилизма, который применял те же принудительные меры в Англии, Франции и в других странах, где точно так же правительство вмешивалось в производственный процесс на частных предприятиях, устанавливало сорта, окраску и качество производимых товаров, создавало монопольные компании, регулировало потребление в интересах мануфактуристов и т. п. Ставить Петру в вину эти характерные черты меркантилистической политики — значит критиковать его с точки зрения экономического либерализма с позиций Адама Смита, который выступал с подобной критикой меркантилизма в Англии лишь полвека спустя. Петровские экономические мероприятия характерны для развитой собственно меркантилистической системы, когда средствами принуждения и правительственного надзора стремились покровительствовать развитию мануфактур и торговли. Маркс писал о меркантилизме Западной Европы: «поистине характерно для заинтересованных купцов и фабрикантов того времени», что ускоренное развитие капитала достигается не так называемым естественным путем, а при помощи принудительных средств».[2]

Покровский, таким образом, предъявляет к экономической политике того времени необоснованные требования. Затем он упускает другую важную сторону вопроса. Западноевропейский меркантилизм был в разных странах, в зависимости от уровня их экономического развития, далеко не одинаков. Суммарная характеристика петровского

[1] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, II, 211, 1933.
[2] К. Маркс. Капитал, III, ч. 2, 262, 1930.

меркантилизма и определение его — то как средневекового, то как характерного для капиталистической системы — грешит и неясностью и тем недостатком, что не ставит вопроса об отличиях его от передовых стран Западной Европы. Эту сторону проблемы следует затронуть потому, что она позволяет вскрыть один из важнейших недостатков концепции Покровского — игнорирование феодализма. В старых работах Штиды и Брикнера, где впервые был поставлен вопрос о петровском меркантилизме, он сравнивается с наиболее ярко выраженным меркантилизмом английским или французским.[1] Между тем, петровский меркантилизм отличался от экономической политики Англии и Голландии и даже Франции XVII в. Он стоит значительно ближе к меркантилизму стран Центральной Европы. Для последней, как и для России, характерны крепостное право, слабая роль города и торгово-промышленного класса.

М. Покровский приходит к неправильному выводу, что в результате неудачной промышленной политики Петра капиталистическая мануфактура XVII столетия сменилась затем мануфактурой с крепостным трудом. Нельзя считать убедительным примером наличия достаточной свободной рабочей силы и всех условий капиталистической фабрики при Петре винокуренный завод Посошкова, на который ссылается Покровский. Свой основной источник — письмо управляющего заводом Посошкова — Покровский понял неточно. Управляющий пишет, что наемных рабочих нанять негде, так как «все вышли гулящие, иные на Мсту, иные на канаву, иные дома управляются». Это письмо свидетельствует как раз о недостатке наемных рабочих. Тот же управляющий спрашивает своего господина, на какую заводскую работу (на водочном заводе) следует отослать крепостных крестьян. Затевая открыть текстильную фабрику, Посошков также писал, что на ней будут работать его крепостные.[2]

Преувеличивая значение наемного труда в то время, Покровский для объяснения последующего развития крепостного труда на мануфактурах дает отрицательную оценку промышленной политики Петра, будто бы приведшей к «краху» петровской промышленности. «В России конца XVII в., — говорит Покровский, — были налицо необходимые условия для развития крупного производства, были капиталы — хотя, отчасти, и иностранные, — был внутренний рынок, были свободные рабочие руки. Всего этого слишком достаточно, чтобы не сравнивать петровских фабрик с искусственно выгнанными тепличными растениями. И однако же крах петровской крупной промышленности — такой же несомненный факт, как и все вышеприведенное. Основанные при Петре мануфактуры лопнули одна за другой, и едва деся-

[1] Брикнер. Иван Посошков. СПб., 1876; Stieda. Peter der Grosse als Merkantilist, Russische Revue, IV, 1874.

[2] Павлов-Сильванский. Новые известия о Посошкове (Очерки XVIII—XIX в., стр. 86, 84); Посошков. Книга о скудости и богатстве. (вводная статья Б. Кафенгауза, стр. 19), М. 1937.

тая часть их доволачила свое существование до второй половины XVIII в. Присматриваясь ближе к этому первому в русской истории промышленному кризису, мы, однако, видим, что и он был как нельзя более естественным и объясняется именно тем, чем объясняли часто в прежнее время возникновение крупной промышленности при Петре. Совершенно ошибочно мнение, будто политические условия форсировали развитие русского капитализма XVII—XVIII вв.; но что политическая оболочка дворянского государства помешала этому капитализму развиться, — это вполне верно. Самодержавие Петра и здесь, как и в других областях, создать ничего не сумело — но разрушило многое». [1] В качестве примера наиболее безуспешных предприятий Петра Покровский приводит металлопромышленность. Между тем, металлопромышленность в действительности была одной из наиболее удачных отраслей, и Петра можно назвать создателем уральской металлургии.

Чем объясняется эта удивительная по своей близорукости характеристика Покровского? Можно предполагать, что он исходил из указания Фокеродта, но сделал из него необоснованные выводы. Этот умный наблюдатель русской жизни, писавший через 12 лет после смерти Петра, говорит относительно привилегированной шелковой фабрики Апраксина, Шафирова и Толстого, что владельцы продали свои льготы, связанные с фабрикой, и «через несколько лет бросили ее совсем. Точно такую же участь имела и большая часть прочих фабрик, заведенных Петром в России с помощью иноземных мастеров». [2] Однако Фокеродт не остановился на этом замечании и тотчас же вслед за приведенными словами дал весьма положительную оценку промышленных успехов того времени: «Со всем тем Петр I еще при жизни довел разные фабрики до того, что они в изобилии доставляли сколько было нужно для России таких товаров, как, например, иглы, оружие, разные льняные ткани и в особенности — парусину, которой могли не только снабжать флот, но и ссужать другие народы. Наконец, в его царствование разработаны были и рудники в Сибири, особливо старанием простого кузнеца Демидова... и вместо того, чтобы получать железо и медь из Швеции, как бывало в старые годы, Россия может отправлять и то и другое, особливо железо, в чужие края». [3] Таким образом, Фокеродт должен был признать исключительный успех петровских мануфактур, в особенности в области металлопромышленности, отлично снабжавшей, как он указывает, рускую армию артиллерией. Но к этим свидетельствам Покровский остался совершенно глух.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 207, 1933.

[2] Слова Фокеродта еще ранее обратили на себя внимание Фирсова, который сделал из них тот же общий вывод. Н. Фирсов, Русские торгово-промышленные компании в первой половине XVIII стол., изд. 2-е, 62, Казань, 1922.

[3] Фокеродт. Россия при Петре Великом. Чтения Общества истории и древн. росс., № 2, 74—75, 1874.

Кроме того он, повидимому, заимствовал из «Очерков по истории русской культуры» Милюкова соображения о том, будто только одна десятая петровских мануфактур «довлачила» свое существование до екатерининских времен. Милюков исходил из того, что по сведениям 1780 г. о частных фабриках, к концу XVIII в. оставалось не много предприятий, основанных при Петре (по данным 1726 г., взятым из известного сочинения Ив. Кириллова «Цветущее состояние Всероссийского государства»).[1] Подсчеты Милюкова сделаны по весьма неполным данным (только частные заводы или только текстильные), и его соображения не имеют под собой серьезного основания вследствие огромного промежутка времени (1726 и 1780), разделяющего эти статистические итоги. Но даже, если признать, что многие петровские фабрики закрывались, то, очевидно, вместо них открывались другие, так как промышленность довольно быстро возрастала (1726 г. — 233 завода, 1762 г. — 984 без горных, в 1796 г. — 3161).[2] Один из лучших в дореволюционное время знатоков русской промышленности буржуазный экономист Туган-Барановский ничего не говорит о «крахе» или непрочности петровских заводов. Об этом не пишет и советский исследователь петровской промышленности П. Любомиров. Ошибки Покровского обнаруживаются в его отрицательной характеристике наиболее передовой в то время отрасли — металлопромышленности: «Иначе, но также нездорово, проявлял себя меркантилизм Петра в железоделательной промышленности: на железо были наложены почти запретительные пошлины, а в то же время казенные тульские заводы были всецело поглощены (с 1705 г.) изготовлением оружия, которого так много требовала реформированная Петром армия. Обслуживание же народного потребления всецело было в руках привилегированных предпринимателей-монополистов, вроде знаменитого Демидова или царского родственника А. Л. Нарышкина. Казне было выгоднее, и в политическом и в финансовом отношениях, иметь свои ружья и свои пушки, нежели зависеть в этом отношении от Голландии. Но для развития крупной железоделательной индустрии в России едва ли не благоприятнее были те времена, когда Марселис лил плохие пушки и хорошие сковороды».[3]

Таким образом, Покровский ставит железную промышленность XVII в. выше петровских заводов. В работах лучшего знатока этого вопроса П. Г. Любомирова мы находим, однако, иную оценку состояния металлопромышленности при Петре. Он указывает, что к 1725—1726 гг. имелись следующие крупные доменные и молотовые заводы: 11 заводов на Урале, 11 заводов в Тульско-Малоярославском районе, 3 Липецких завода; кроме того, имелись крупные железные заводы в

---

[1] Милюков. Очерки по истории русской культуры, I, 3-е изд., 81—82.

[2] М. Туган-Барановский. Русская фабрика, стр. 41, 1922.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 211, 1933.

Олонецком крае, в Москве, в Петербурге (включая крупнейший Сестрорецкий завод с 629 рабочими), а также близ Устюжны. Сверх того, был выстроен ряд медеплавильных заводов и впервые поставлена добыча серебро-свинцовых руд в Нерчинске. Заводы являлись централизованными мануфактурами, и техника наиболее крупных предприятий стояла достаточно высоко, благодаря деятельности таких инженеров, как де-Генин. При этом, вопреки мнению Покровского, следует признать, что работа на оборону не исключала производства предметов широкого спроса: «Армия и флот требовали не только орудий, ружей, холодного оружия и военных припасов, но и якорей, скоб, гвоздей, топоров и лопат, подков и удил, шпор и пр. Позже с затуханием военных действий ставился вопрос о вывозе русского железа за границу».[1]

Успехи петровской металлургии выразились в высокой для того времени цифре выплавки металла, достигавшей по новейшим данным в 30-х годах XVIII столетия на всех металлургических заводах 3 100 000 пудов чугуна и до 40 000 пудов меди.[2] В 1726 г. только из двух портов Петербурга и Архангельска, не считая остальных (балтийских) портов, было вывезено за границу 55 149 пудов железа.[3]

Оценка петровской промышленности у Покровского стоит в противоречии с указаниями товарища Сталина, отметившего положительное значение строительства при Петре фабрик и заводов «для снабжения армии и усиления обороны страны», что явилось «своеобразной попыткой выскочить из рамок отсталости». Товарищ Сталин замечает при этом: «Вполне понятно, однако, что ни один из старых классов, ни феодальная аристократия, ни буржуазия, не мог разрешить задачу ликвидации отсталости нашей страны. Более того, эти классы не только не могли разрешить эту задачу, но они были неспособны даже поставить ее, эту задачу, в сколько-нибудь удовлетворительной форме. Вековую отсталость нашей страны можно ликвидировать лишь на базе успешного социалистического строительства. А ликвидировать ее может только пролетариат, построивший свою диктатуру и держащий в своих руках руководство страной».[4]

М. Покровский почти не останавливается на анализе сельского хозяйства и положения крестьянства, так как экономическую основу реформ он усматривал в «торговом капитализме». Этой стороны его концепции мы коснемся в дальнейшем изложении.

---

[1] П. Любомиров. Очерки по истории металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России, стр. 46—79, 1937.

[2] В. де-Генин. Описание сибирских и уральских заводов (предисловие Злотникова). М., 1937.

[3] А. Семенов. Изучение исторических сведений о внешней торговле и промышленности, III, 23, СПб., 1859.

[4] И. В. Сталин. Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б). Вопросы ленинизма, 9-е изд., 359.

III

Мысль о торговом капитализме как экономической основе эпохи Петра I приводит Покровского к столь же ошибочному представлению о классовой природе петровского государства. Он говорил о «диктатуре торговой буржуазии»[1] и усматривал «создание буржуазной администрации» в административных реформах Петра, — особенно в учреждении Ратуши и в знаменитых фискалах. В бюрократизме и абсолютизме эпохи он видел также проявление господства буржуазии и торгового капитала. Эта характеристика империи связывалась у Покровского с полным умолчанием о борьбе крестьянства и казачества против феодально-крепостнической эксплоатации помещиков и налогового гнета.

При этом Покровский очень нечетко формулирует свою точку зрения на классовую природу петровского государства. То обстоятельство, что он делит эту эпоху на два периода — буржуазно-революционный период и период дворянской реакции — не делают его определение социальной сущности эпохи более ясным. На ряду с приведенными выше утверждениями Покровский неоднократно говорит о «союзе торгового капитала с новой феодальной знатью».[2] Говоря о ближайших сотрудниках Петра, Меншикове, Остермане, Макарове, Покровский замечает, что «рядом с иностранными капиталистами перед нами появляется другая социальная группа, познавшая плоды преобразований: то была новая феодальная знать, под именем «верховных господ», начавшая править Россией на другой же день по смерти Петра».[3] При этом мысль Покровского непоследовательна, и через несколько страниц он утверждает, что в Петровском сенате «различие между «старой» знатью — в лице Голицыных и Долгоруких — и «новой» — в лице Меншиковых и Толстых — «никогда не было настолько велико, чтобы создать почву для политической перегруппировки»; тут же он подчеркивает «феодальный характер» сената.[4] Покровский отметил в другом месте, что «верховные господа» были «штабом без армии» и что «тонкая буржуазная оболочка так же мало изменила дворянскую природу Московского государства, как немецкий кафтан — природу московского человека».[5]

Но чаще Покровский формулировал свой взгляд на сущность петровского государства, в особенности в его первый ранний период,

---

[1] См. синхронистические таблицы в «Русской истории в самом сжатом очерке».

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 193, 214, 1933.

[3] Там же, 213.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 230, 1933.

[5] Там же, 255.

как на диктатуру буржуазии. Он видел примеры буржуазной администрации в Ратуше и в фискалах.

Ратуша, или Бурмистерская палата 1699 г., которой Покровский придавал такое большое значение, являлась центральным финансовым органом по сбору налогов и в то же время органом купеческого самоуправления. Сбор налогов передавался на местах выборным бурмистрам из богатого купечества, составлявшим земскую избу, а воевода устранялся как от сборов, так и от суда над купечеством. В 1708—9 гг., с учреждением губерний финансы были переданы губернаторам, и ратуша осталась лишь как орган самоуправления московского купечества.

В Ратуше 1699 г. Покровский видит резкий «прыжок» или «перемещение власти, хотя бы только на местах, в руки людей, вовсе не принадлежавших к землевладельческому классу. Революционный, катастрофический характер петровских преобразований ничем, быть может, не иллюстрируется более ярко, чем этой заменой». Он усматривает в этой реформе стремление «лишить власти один класс и передать ее другому».

Эта характеристика Ратуши как революционного учреждения основана, несомненно, на преувеличении ее роли, и притом суждение о ней у Покровского не подкреплено ничем, кроме самых общих соображений. О Ратуше, ее организации и деятельности мы знаем очень мало, главным образом из указов об ее учреждении, так как архив ее до нас не дошел. То немногое, что известно о Ратуше, нисколько не соответствует представлению об ее революционном характере. Указ 30 января 1699 г. мотивирует создание Ратуши, во-первых, прорывами в государственном бюджете вследствие сбора налогов многими приказами, поэтому новое учреждение должно было концентрировать у себя большую часть сборов, во-вторых, Ратуша в центре и земские избы с бурмистрами на местах, как органы самоуправления, должны были охранять интересы купечества, обеспечить их от убытков и волокиты. При этом, отчасти в связи с необходимостью заплатить за свое самоуправление повышением налогов, посады встретили реформу без какого-либо энтузиазма.[1] Дитятин, интересовавшийся не финансовой стороной реформы, а историей городского самоуправления, пришел к выводу, что служба земских бурмистров носила характер тягла, имела значение повинности по раскладке и сбору налогов. Сословное самоуправление было ничтожно, земские избы не имели права самостоятельного обложения и не могли расходовать по собственному усмотрению на нужды посада ни одной копейки, бурмистры отвечали личным имуществом за исправное поступление сборов. Они «являлись скорее простыми агентами централь-

[1] М. Богословский. Городская реформа 1699 г. в провинциальных городах. Ученые записки Института истории, III, 219—250, М., 1927.

ной власти, чем органами общины». Ратуша была «механизмом чисто государственным по целям его учреждения и сословно-тяглым — по самой организации».[1] Губернская реформа 1709 г. уничтожила финансовые функции ратуши и подчинила земские избы губернаторам, т. е. местной администрации. Легкость и быстрота ликвидации реформы тоже свидетельствует, что нет оснований говорить здесь о переходе власти из рук одного класса к другому, — тем более, что в известной мере посадское самоуправление в виде общепосадского схода и выборных старост и целовальников, а также участие их в раскладке и сборе налогов существовали и прежде, в XVII в.

В конце царствования Петра сословное посадское самоуправление было реорганизовано в виде городовых магистратов (1718—1720 гг.). Эти учреждения хорошо изучены по обширному архивному материалу, что позволяет отчетливо представить себе, чем было городское самоуправление, по крайней мере — в конце эпохи Петра и в последующие десятилетия. Города XVIII в. остались близки по своему устройству к посаду предыдущего XVII в. Основной функцией посадских выборных должностей осталась служба по финансам и раскладка налогов, магистраты являются вместе с тем исполнительными органами государственной власти, передающими распоряжения администрации посадскому сходу, т. е. носят в известной мере бюрократический характер. Как органы сословного самоуправления и суда магистраты находились в руках первостатейных, богатейших купцов, державших в своих руках весь посад. Покровский видел в Ратуше революционное буржуазное учреждение, но в магистратах и он усматривал только «неполное восстановление» прежних учреждений и видел в них проявление дворянской реакции.[2]

Не преувеличивая значения этих реформ, следует сказать, что в них проявилась весьма характерная черта петровской политики, именно «содействие нарождавшемуся классу торговцев» *(Сталин)*. Это, однако, сопровождалось политикой неуклонного «возвышения класса помещиков».

Покровский видел также буржуазную администрацию в органе надзора и контроля — в «знаменитых» фискалах, так как половина их набиралась из купечества; обер-фискал Нестеров по происхождению был крепостным, как и знаменитый «прибыльщик» Курбатов. Покровский замечает по этому поводу, что «буржуазия впервые явилась в виде охранителя публичного интереса и контролера дворянской администрации» и отмечает, что деятельность фискалов вызвала ярую ненависть знати. К той же буржуазной администрации он причислял коллегии, главным образом — в связи с тем, что большая

---

[1] Дитятин. Устройство и управление городов России, I, 154—159, 181, СПб., 1873.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 232—233, 1933.

часть их ведала хозяйственными вопросами, что заставляет его сравнивать их с «торговым домом» и видеть в коллегиях орудие того же «торгового капитализма». Наконец, Сенат 1711 г. он называет «собранием ответственных царских приказчиков», занятых преимущественно вопросами торговли. Правда, в позднейшем Сенате, в особенности — после реформы 1722 г., когда большая часть президентов коллегий была выведена из состава Сената, он отмечает исчезновение буржуазных черт и, напротив, говорит, что «феодальный характер верховного управления стал чище, чем когда бы то ни было». Очень важно отметить, что Покровскому при освещении административных реформ приходилось делать постоянно оговорки такого рода или ссылаться на позднейшую дворянскую реакцию.

Несколько отошел от своей первоначальной схемы Покровский в позднейших работах, где он определяет петровские административные реформы как проявление бюрократизма. В статье о «Бюрократии» в Большой Советской Экциклопедии он отмечает, что о бюрократизме в России можно говорить лишь с Петра I. Бюрократическое начало он видит в фискалах и в сенате: «Сенат был собранием чиновников, назначенных без всякого внимания к их происхождению и социальному положению». Но при этом он рассматривает бюрократию как буржуазную администрацию, как проявление или орудие «торгового капитализма».

Привлечение в администрацию и в военную службу в известной мере разночинцев является характерной чертой эпохи Петра. Однако разночинная по происхождению бюрократия была тесно связана не только с купечеством, но и с дворянством. В табели о рангах, впервые установившей определенную лестницу чинов в гражданской и военной службе, говорилось о способах приобретения дворянского звания путем выслуги; достижение обер-офицерского чина или первые 8 чинов в гражданской службе давали вместе с тем дворянское звание, «хотя бы они и низкой породы были». Так, бюрократия до некоторой степени сливалась с дворянством.

При характеристике абсолютизма и бюрократического характера петровских учреждений Покровский привлекает ряд высказываний Ленина о природе бюрократии, преимущественно XIX—XX вв. как буржуазной по происхождению и по своему значению, об известной независимости абсолютизма и о невозможности непосредственного отождествления его с верхушкой феодального общества. Ленин говорит, «что классовый характер царской монархии нисколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии», от Николая II до любого урядника».[1] Надо сказать, что Ленин, вопреки мнению Покровского,[2] не связывал

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 304.

[2] М. Н. Покровский. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России. Историч. наука и борьба классов, I, 297.

бюрократию только с буржуазией и торговым капиталом. В этом отношении важно привести следующее место из книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», которое Покровский приводит не полностью, выпуская особенно важные строки, свидетельствующие против его концепции: «Особенно внушительным реакционным учреждением, которое сравнительно мало обращало на себя внимание наших революционеров, является отечественная *бюрократия*, которая de facto и правит государством российским. Пополняемая, главным образом из разночинцев, эта бюрократия является и по источнику своего происхождения, и по назначению и характеру деятельности глубоко буржуазной, но абсолютизм и громадные политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно вредные качества. Это — постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа. Это — иудушка, который пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом «охраны экономически слабого» и «опеки» над ним в защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые низводят трудящихся в положение «подлой черни», отдавая их головой крепостнику-помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии».[1]

Таким образом, Ленин видит смысл бюрократии «в сочетании интересов помещика и буржуа». Бюрократия при Петре, очевидно, также служила двум господам. Петровский абсолютизм «сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса» (Сталин). Следует притти к выводу, что Покровский был на правильном пути в этих позднейших работах, где указывал на бюрократический характер петровского административного аппарата, однако, и здесь он ошибочно связывал его снова с «торговым капитализмом», отожествлял бюрократию с буржуазией.

Укрепление национального государства помещиков и торговцев происходило «за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры», — говорит тов. Сталин. Между тем, крестьянство почти целиком выпало из поля зрения Покровского. Мы не видим у него ни анализа изменений в социально-экономическом положении земледельческого населения, ни освещения ожесточенной борьбы крестьян против помещиков. Вместе с феодальным хозяйством, которому Покровский уделил так мало внимания, у него выпали крестьянство и классовая борьба. Это едва ли не самая поразительная черта концепции Покровского. Посвятив три главы торговому капиталу и промышленной политике, он на полустранице говорит о крестьянском разорении. При этом он приводит цифры из исследования о государственном хозяйстве первой четверти XVIII в. Милюкова, к которым он делает лишь ту поправку, что объясняет обезлюдение

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 186 (примеч.).

страны не столько военными условиями, сколько социальными причинами, однако не останавливается на этих причинах с должным вниманием. Читатель четырехтомника ничего не узнает об огромных земельных пожалованиях, о колоссальных имениях Меншикова, Шереметева и др., о законодательстве против беглых крестьян (20 указов); ничего не говорится о значении подушной подати, усилившей налоговое бремя крестьянства и сравнявшей крестьян и холопов.[1] Вне поля зрения Покровского остались такие любопытные документы крепостного хозяйства, как инструкция Волынского своему дворецкому 1724 г. или проекты по крестьянскому вопросу Посошкова. Покровский повторил выводы Милюкова о сокращении населения при Петре на 20%, а в отдельных районах — даже на 40%. Эти цифры гармонируют с общей отрицательной оценкой, которую Покровский дает петровскому царствованию.[2] Однако, он прошел мимо результатов исследования М. Клочкова, вновь пересмотревшего материалы переписей населения 1710—1715 гг.[3] Клочков пришел к выводу, что представление о столь огромном разорении и широком обезлюдении страны при Петре не выдерживает критики.

То обстоятельство, что Покровский не освещает положения крестьянства, привело к тому, что у него совершенно выпали из общей картины революционные выступления крестьянства, что он обошел полным молчанием проявления классовой борьбы. Покровский толкует о борьбе торгового и промышленного капитала и совершенно упустил из виду массовые выступления крестьянства, посадского люда и угнетенных народностей.

Ленин при анализе крепостнического государства указывал на всю важность «многократных восстаний крестьян против помещиков-крепостников и в России».[4] Необходимость соответствующей критики буржуазной литературы видна из того, что С. Соловьев, например, рассматривал восстание Булавина только как борьбу казачества с государством. Советская наука в последнее время вскрыла значение этого восстания, направленного против феодальной эксплуатации, против крепостного права и гнета со стороны дворянского государства. Булавинское восстание потрясло феодально-бюрократическое государство, сплачивало в революционной борьбе широкие массы крестьянства и казачества и имело мощный отклик среди крестьянства Поволжья и центральных уездов. Астраханское восстание 1705 г. интересно как восстание городского плебса против феодально-налогового гнета и издевательства царских воевод, при этом часть купечества

---

[1] Только в «Сжатом очерке» кратко упомянуто о значении подушной подати.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 255, и ст. «Бюрократия», там же, 316, 1933.

[3] М. Клочков. Население России при Петре Великом, 256, СПб., 1911.

[4] В. И. Ленин. Соч., XXIV, 372.

такого крупного торгового центра, как Астрахань, на первой стадии движения примкнула к восставшим.[1]

Башкирское восстание 1705—1711 гг. показывает борьбу угнетенных народов Приуралья и Поволжья против феодально-крепостнического гнета.

При изучении реформ Петра I Покровский оставил без всякого рассмотрения эти мощные проявления классовой борьбы. Это является одной из наиболее важных его ошибок.

IV

Существенной чертой концепции Покровского является разделение эпохи Петра на два периода — буржуазный, или революционный и период дворянской реакции. Ратушу 1699 г. он относит к буржуазной администрации, магистраты, по его мнению, являются результатом дворянской реакции, Сенат 1711 г. — собрание царских приказчиков, занятых торговыми и финансовыми делами, а после «переворота» 1722 г. (как называет Покровский реорганизацию Сената) — это феодальное учреждение; фискалы — буржуазное учреждение, но указ 1714 г., усиливший их ответственность за доносы, означает по мнению Покровского, «начало конца буржуазной администрации». Глава о ближайших преемниках Петра и верховном тайном совете носит название «Агония буржуазной политики».

Период до Полтавской битвы и Прутского похода, действительно, отличается от последующего. В течение наиболее тяжелого времени военных действий отдельные мероприятия принимались поспешно — по мере необходимости, от случая к случаю, тогда как последние годы отличаются более планомерной и систематической разработкой реформ. Но те черты, которые Покровский считает характерными для «буржуазной администрации» первых лет царствования, остаются и в последние годы. Бывший крепостной, Курбатов, ставший инспектором Ратуши, после ее ликвидации занимает пост архангелогородского вице-губернатора, купец Исаев назначается вице-президентом главного магистрата; первым генерал-прокурором (1722), одной из наиболее характерных бюрократических должностей, становится «новый человек» Ягужинский. Последнее десятилетие было временем организации новых бюрократических учреждений — коллегий, главного магистрата, реформы областного управления. Все это трудно назвать «дворянской реакцией» по сравнению с первой половиной эпохи.

Но можно понять, почему в концепции Покровского оказалось это деление на два резких периода. Только при помощи «дворянской реакции» и «агонии буржуазной политики» являлась возможность

---

[1] В. Лебедев. Булавинское восстание. Соцэкгиз, 1934. В. Лебедев. Астраханское восстание. Проблемы истории докапиталистических обществ, № 9/10, 1934.

связать отдельные звенья в общий ход русского исторического процесса, связать эпоху Петра с дворянской монархией XVIII в. с политикой правительства Елизаветы и Екатерины II.

Но Покровский говорит о «революционном, катастрофическом характере петровских преобразований»,[1] по крайней мере — в первом периоде, о переходе власти из рук дворянства в руки буржуазии, о диктатуре торговой буржуазии. Понимание эпохи Петра как революции с последующей затем реакцией весьма напоминает рассуждения писателей первой половины XIX в. Покровский идет в разрез с наиболее важными выводами работ Добролюбова, Соловьева и Ключевского, справедливо отказавшихся рассматривать эту эпоху как революцию, как полный разрыв с прошлым.

Характерно, что в «Сжатый очерк» Покровский не счел нужным перенести представление о катастрофическом и революционном ходе преобразований. Даже упоминая здесь о ратуше как чисто классовом купеческом учреждении, он замечает, что «во время войны этот орган оказался неудобным и был заменен соответствующими коллегиями. В руках купечества осталось только управление на местах в отдельных городах».[2] Таким образом, оказалось вполне возможным трактовать реформы Петра, не применяя понятий — революция или реакция.

Следует заметить, что Покровский понимает петровские преобразования как катастрофический переворот, приведший к краху или неудаче. Оценка эпохи преобразований у Покровского резко отрицательна, по его мнению, реформы были неудачны и оказались непрочными. Эта мрачная, отрицательная характеристика эпохи распространяется на все ее стороны — на экономическую политику, военные реформы, внешнеполитическую историю, явления культуры, личность самого Петра. Неудивительно, что подводя итоги петровской эпохи, он видит «банкротство» всей этой системы и замечает, что «самодержавие Петра дало слишком отрицательные результаты».[3] Он рассматривал новую промышленность как крайне непрочную, будто бы ликвидированную почти полностью после смерти Петра, отмечает «нездоровое» проявление меркантилизма в отношении промышленности и т. п.

Отрицательная оценка распространяется и на военную реформу и на результаты внешней политики Петра. «Банкротство петровской системы заключалось не в том, что «ценой разорения страны Россия была возведена в ранг европейской державы» — пытается полемизировать Покровский с Милюковым, — а в том, что несмотря на разо-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 214, 1933.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, изд. 9-е, 95—96, 1930.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 263, 1933.

рение страны, и эта цель не была достигнута».[1] Лишь «старым предрассудком» он считает мнение, что Петр является создателем регулярной армии, так как и до него существовали стрельцы и полки иноземного строя. Петровская гвардия не столько была военной силой, сколько выполняла роль жандармерии; новый флот, по мнению Покровского никуда не годился, так как корабли делались из сырого леса и т. п.[2]

Однако не только историки (за исключением Милюкова), но и современники иначе оценивали военные преобразования того времени. Фокеродт подробно останавливается на создании постоянной армии и флота. Последний, первоначально строившийся наспех с большими недостатками, к концу царствования Петра значительно улучшился и насчитывал 40 линейных кораблей в Балтийском флоте, до 20 фрегатов и до 100 более мелких судов.[3] Особенно хвалит Фокеродт парусные галеры, построенные по образцу венецианских и давших возможность Петру высадить десант на берегах Швеции. Петровская постоянная армия имела своих предшественников в полках иноземного строя, но только при Петре была создана в таких широких размерах правильно обученная по европейскому образцу и хорошо вооруженная армия. Отто Плейер, австрийский дипломатический агент, в своем донесении австрийскому правительству о состоянии дел в Московии (1710 г.) говорит относительно военных сил России, что «надо весьма удивляться, до чего доведены, до какого совершенства дошли солдаты в военных упражнениях, в каком они порядке и послушании приказам начальства и как смело ведут себя в деле...»[4] Фокеродт называет петровскую артиллерию превосходной, хотя и отмечает недостаток в знающих артиллеристах.[5] Гвардейские полки представляли значительную военную силу, и уже под Нарвой только Семеновский и Преображенский полки упорно отбивались от шведов и не обратились в бегство.

Пренебрежительное отношение Покровского к внешней политике Петра сказалось и в том, что он посвящает ей очень мало места, говорит о ней вскользь. Северная война трактуется лишь в связи с интересами русской внешней торговли, торговый капитал, по его словам, «заставил Петра биться 20 лет за Балтийское море».[6] Относительно больше места отведено внешней политике и военной истории в «Сжатом очерке», где кратко изложены ход и итоги Северной войны

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 256.

[2] Там же, 256, 262—263.

[3] Веселаго. Краткая история русского флота, гл. I.

[4] Чтения ОИД Рос. 1874, II, Записка Отто Плейера, 2—3.

[5] Фокеродт. Россия при Петре Великом. Чтения ОИД Росс., II, 49, 1874.

[6] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 191—193, 257, 1933.

и в заключение указано, что «московский торговый капитал блестяще выдержал испытание и мог теперь не бояться ни Швеции, ни Польши».[1]

Мы видели, как внимательно Маркс и Энгельс изучали внешнюю политику Петра, называли его дальновидным монархом, который «первый вполне оценил изумительно благоприятную для России ситуацию в Европе». Это обязывает историка-марксиста самым внимательным образом остановиться на военной и дипломатической истории эпохи.

Во время переговоров с французским правительством о союзе с Россией в 1717 г. Петр отчетливо сформулировал один из результатов Северной войны, указав, что «полууничтоженная Швеция не может оказать нам, т. е. французам, никакой помощи... и я, царь предлагаю Франции заменить для ее Швецию».[2] Таким образом, Россия в европейских делах заняла место Швеции, до того одного из самых могущественных государств в Европе. Россия получила берега Балтийского моря, частью отнятые у нее в начале XVII в. Это имело весьма важное стратегическое и экономическое значение (отмеченное отчасти Покровским), Россия превратилась в результате войны в одну из сильнейших держав и впервые завела военно-морской флот. Было укреплено «национальное государство помещиков и торговцев». Разгром Карла XII, вторгшегося в Украину в надежде, что на его сторону перейдут казаки и в его руки попадут украинские запасы продовольствия, имел огромное значение, внешнеполитическое и внутри страны. Несмотря на это, Покровский даже не останавливается на Полтавской битве.

Народная память оказалась более благодарной, и народная песня хорошо запомнила военную историю петровской эпохи. Ряд песен об Азовском походе, песня о Полтаве, о строительстве флота, о взятии Орешка и Выборга, об измене Мазепы, цикл песен о фельдмаршале Б. Шереметеве отразили важнейшие сражения того времени. Фольклор выдвигает на первый план значение широких солдатских масс в петровских победах и смеется над трусостью бояр (см. песни о взятии Азова и Орешка), над казнокрадством Меншикова и Гагарина.[3]

Работы Покровского, как известно, слабо освещают историю отдельных народов, населявших Россию. В отношении XVI—XVII вв. он сделал исключение для Украины. Однако при изображении эпохи Петра I, Покровский обошел молчанием даже историю Украины, несмотря на все значение и драматизм развертывавшихся в ней событий. Колониальная политика времени Петра осталась неосвещенной,

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 9-е изд., 94, 1930.
[2] Сб. Русского исторического общества, т. 34, 198.
[3] Песни, собранные Киреевским, вып. 8, М., 1870.

если не считать нескольких замечаний о персидской войне 1722 года. Товарищи Сталин, Киров, Жданов в своих замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР четко поставили перед исторической наукой задачу изучения истории народов СССР, указав, что в представленном неудовлетворительном конспекте учебника осталась без рассмотрения история «народов, которые вошли в состав СССР (не учтены данные по истории Украины, Белоруссии, Финляндии и других прибалтийских народов, северокавказских народов, народов Средней Азии и Дальнего Востока, а также волжских и северных народов, — татары, башкиры, мордва, чуваши и т. д.)».

При изображении культуры и общества того времени Покровский также односторонне выдвигает на первое место резко отрицательные моменты. Правда, он справедливо отмечает светский характер и индивидуализм «нового общества», сравнивает его с западноевропейским возрождением, — но больше всего отмечает грубость придворных нравов, безобразные попойки, драки вельмож, бесконечные празднества и маскарады. По его мнению, «насчет интеллектуальной высоты петровской культуры, к счастью, даже и предрассудков не существует», — вскользь заметив, что лишь некоторого внимания заслуживает учреждение Академии.[1]

Варварство, грубость того времени не возбуждают сомнений. Однако было бы неправильно видеть в петербугском обществе только «солдатские развлечения и потасовки придворных». Это значит отказаться от обязательного для историка учета исторических условий отдаленного от нас прошлого. Ленин говорил, что при Петре происходил процесс европеизации верхушки русского общества. «...Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью...»[2] Покровский совершает крупную ошибку, когда ограничивается лишь характеристикой «варварства» русского двора.

Культурные реформы Петра оказались достаточно прочными. Приведу несколько данных, чтобы отчетливее показать неправильность картины «нового общества» у Покровского. При Петре было издано 50 указов относительно школ и набора учеников. В 42 городах были открыты элементарные школы, называвшиеся «цыфирными», кроме того, были устроены 46 епархиальных школ для духовенства. На уральских заводах в Екатеринбурге инженером Гениным были заведены две школы для будущих заводских техников и канцеляристов. В Москве имелась математическая и морская школа при Сухаревой башне, где преподавал англичанин Форварсон, выпустивший на русском языке учебники геометрии и алгебры и таблицу логарифмов. Там же преподавал Магницкий, автор знаменитого учебника арифметики. Здесь в 1706 г. обучалось 500 человек. Стар-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, 3-е изд. «Мир», II, 359.

[2] В. И. Ленин. Соч., XXII, 517.

шие классы этой школы были переведены в Петербург, чем было положено основание Морской академии. Гимназия, основанная пастором Глюком, обучавшая главным образом иностранным языкам, выпустила до 1715 г. около 250 человек. При военном госпитале в Москве, под руководством голландского врача Бидлоо, была организована хирургическая школа — первый медицинский институт; в 1712 г. в ней обучалось 142 чел.[1] Академия наук была учреждена в 1724 г., но приступила к работе в следующем году уже после смерти Петра, в ее состав был приглашен ряд даровитых иностранных ученых. С 1698 г. по 1725 г. было выпущено 591 название самых разнообразных печатных изданий,[2] в том числе грамматики, учебники географии, математики и т. п. Первая русская газета «Ведомости» начала выходить с 1703 г. Публичный театр, выходящий за пределы двора, также начинается с эпохи Петра. Особенно важное значение для европеизации русского дворянства имели образовательные поездки дворянской молодежи за границу. Несмотря на отдельные известия о том, как неохотно учились дворянские «недоросли», несмотря на побеги и уход в монастырь вместо учебы, — эти случаи нельзя обобщать и считать их общим явлением. Записки Петра Толстого и Неплюева показывают, что русские за границей не только дрались на дуэлях, но многие из них прилежно учились и внимательно знакомились с Западной Европой. В дневнике секретаря гольштинского герцога камер-юнкера Берхгольца, долго жившего в России, у которого Покровский в изобилии заимствует сведения о пьянстве и грубости придворных нравов, можно найти немало указаний на культурные перемены. Однажды к квартире герцога гольштинского, по словам Берхгольца, был поставлен знатный караул из молодых князей Долгоруких, Черкасского и Апраксина. Все они, как оказалось, были хорошо образованы и знали иностранные языки.[3] Прикладной технический характер образования того времени также заслуживает внимания. Нисколько не преувеличивая этого культурного влияния, не распространявшегося к тому же на широкую массу, нельзя, однако, игнорировать его, как это делает Покровский.

Отрицательная оценка петровского дворянского общества тесно связана в изображении Покровского со столь же резкой характеристикой личности царя. Петр — это «нервная, подвижная до суетливости фигура в рабочей куртке, вечно на людях, вечно на улице, причем нельзя было разобрать где же кончалась улица и начинался царский дворец». Царь любит грубые развлечения, на пирах жестоко

---

[1] М. Голубцова. Московская школа петровской эпохи. Москва в прошлом и настоящем, изд. «Образование», IV, кн. 1.

[2] Пекарский. Наука и литература при Петре Великом, СПб., II, 1862.

[3] Дневник камер-юнкера Берхгольца, 2-е изд. II, 98—99, М., 1860.

издевается над придворными, больше всего любит рвать зубы и бить в барабан, был солдатом не менее, чем мастеровым. Трезвый — он орудует дубинкой, во хмелю — хватается за шпагу. К концу жизни жестокость его усилилась. По словам Фокеродта, незадолго до смерти Петр дал полномочия на усиление борьбы против казнокрадства, ждали казней. По Покровскому, от этого «плана всеобщего истребления слишком пахло безумием», и смерть царя «пришла совершенно во время».[1] Петр изображен в четырехтомнике лишенным хотя бы одной черты крупной исторической личности. В соответствии с этим, в «Сжатом очерке» сообщается, что «Петр, прозванный льстивыми историками «великим», запер жену в монастырь», собственноручно пытал своего сына в застенке, был алкоголиком и сифилитиком.[2]

В полном противоречии с этой характеристикой Петра, как умственного ничтожества и нравственного выродка, в другом месте того же «Сжатого очерка» находим указание, что Петр I является «самым энергичным, самым талантливым и самым замечательным из Романовых».[3] Это одна из многих непоследовательностей Покровского, когда он высказывает верную и трезвую мысль, противоречащую его другим утверждениям.

Петр I более сложная натура, чем думал Покровский. В нем несомненные дарования соединялись с грубыми чертами, поражающими исследователя. Для историка всего важнее уяснить, что свои дарования, силу воли и энергию Петр сумел вложить в то историческое дело, во главе которого он стоял. «Марксизм вовсе не отрицает роли выдающихся личностей — говорит тов. Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом — или того, что люди делают историю. У Маркса в его «Нищете философии» и других произведениях вы можете найти слова о том, что именно люди делают историю. Но, конечно, люди делают историю не так, как им подсказывает какая-нибудь фантазия, не так как им придет в голову. Каждое поколение встречается с определенными условиями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда это поколение народилось. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют правильно понять эти условия, понять как их изменить...» Петр I был именно таким деятелем. Энгельс называет его «действительно великим человеком».[4] Современники и исследователи отметили в Петре качества законодателя, кабинетного работника и военачальника. Военные историки, высоко расценивая стратегические таланты Петра, отмечают личную его роль в гродненской операции, где русская армия была выведена из ловушки, и в особенности в подготовке и про-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 234—251, 1933.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. Крепостническое государство, 9-е изд., 116, 1930.

[3] Там же, 82.

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 12.

ведении полтавского боя. В «дневнике военных действий» под Полтавой сохранились яркие воспоминания о речах Петра перед командным составом накануне полтавского боя, где Петр разъяснял политические задачи войны.[1]

В записках современников рассыпано немало указаний, свидетельствующих не только о грубых развлечениях Петра, его деспотизме и жестокости, но рисующих его как выдающуюся и своеобразную личность, умевшую располагать к себе окружающих. Известен рассказ Неплюева об экзамене в присутствии Петра по возвращении автора из заграничного путешествия, когда Петр, желая ободрить его, указал ему на мозоли на своих руках.[2]

Историки часто отмечали отрицательное отношение народных масс к Петру, указывали на знаменитую карикатуру на Петра и Екатерину, остроумно зашифрованную в лубочной картине «Как мыши кота хоронили», или останавливали внимание на мрачных легендах о царе-антихристе. Однако на ряду с этим нельзя забывать также о песнях, воспевавших военную историю эпохи и роль в ней Петра I. Восьмой том песен, собранных П. Киреевским, почти целиком занятый песнями о петровской эпохе, свидетельствует, как глубоко врезались в народную память военные события эпохи и личность Петра. Большой интерес представляет также обширная былина о жизни Петра, записанная на севере.[3]

* * *

Анализ изображения реформ у М. Покровского приводит к следующим выводам.

Покровский дал неверное освещение экономической основы петровских реформ, которую он видел в «торговом капитализме». К концу жизни он должен был признать ненаучность своего анализа экономики эпохи. Неверным освещением экономической основы преобразований объясняется и нечеткое определение меркантилизма того времени.

Покровский неправильно рассматривал экономическую политику того времени, как приведшую будто бы к «краху» промышленности. При этом он замалчивает бесспорные заслуги Петра в создании крупной промышленности, в особенности в отношении уральской металлургии, и не освещает борьбы Петра с экономической отсталостью страны.

---

[1] «Труды русского военно-исторического общества», III, 1909; Б. Кафенгауз. Полтавская битва. «Историк-Марксист» 1939, № 4.

[2] Нартов. Рассказы о Петре Великом. Записки Академии Наук, 67. СПб., 1891. Записки датского посла Юста Юля в Чтениях Общества истории и древностей российских, 1899, III, 229; Записки И. Неплюева. Спб., 1893.

[3] Беломорские былины, записанные А. Марковым, изд. под ред. Миллера, 296, 1911.

Покровский не понял классовой природы петровской империи, являвшейся национальным государством помещиков и торговцев. Он видел буржуазную администрацию в Ратуше и Сенате и утверждал, что в начале петровской эпохи имел место переход власти в руки торговой буржуазии.

Рассуждения Покровского в четырехтомнике о революционном характере буржуазных учреждений, на смену которым к концу царствования будто бы пришла дворянская реакция, повторяют устарелые и отброшенные еще буржуазной наукой представления о петровской эпохе как перевороте и революции.

Покровский оставил без рассмотрения крестьянство и правительственные мероприятия в отношении крепостного права. Совершенно вне поля зрения Покровского осталась борьба крестьянства против феодального гнета. Классовая борьба, восстание под руководством Булавина, восстание в Астрахани и башкирское восстание, остались у Покровского неосвещенными и даже незатронутыми.

Из работ Покровского видно, что он не понял значения внешнеполитических успехов при Петре и огромной важности реформы армии и создания флота. Завоевание балтийских берегов, участие в европейской политике, петровские победы, как Полтавская битва, также не привлекли в должной степени внимания Покровского.

История отдельных народов СССР не освещена у Покровского, который дал главным образом историю русского народа. Даже анализ истории Украины ограничивается у него XVI—XVII вв., т. е. допетровским периодом.

В изображении культуры и общества петровской эпохи Покровский односторонне подчеркивал главным образом грубость нравов придворного круга. Он оставил без рассмотрения насаждение школ, поездки за границу молодых дворян и т. п. меры для европеизации общества.

Неверно изображена личность Петра лишь как грубая и примитивная, игнорируется марксистско-ленинское учение о роли выдающихся личностей в истории.

Отрицательная и односторонняя характеристика петровских реформ, как неудачных и недолговечных, недостаточная оценка военной реформы и внешней политики находятся в противоречии с высказываниями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также с освещением петровских преобразований у революционеров-демократов — Белинского, Герцена, Чернышевского.

При всех указанных недостатках, концепция М. Покровского представляет известный интерес, как попытка преодолеть буржуазные взгляды. В своем четырехтомнике М. Покровский противопоставил им иное понимание эпохи Петра I. Это была попытка понять эту эпоху, исходя из анализа ее экономики, и вскрыть классовую природу петровской империи. Однако, М. Покровский не сумел разрешить поставленную им задачу, он сам оказался в плену у буржуазных

воззрений. Это объясняется неверными антимарксистскими исходными положениями его концепции. Ложный тезис о торговом капитализме соединяется у него с убеждением будто «история — это политика, опрокинутая в прошлое». Борясь с самодержавием, Покровский приходил к неправильному отрицанию прогрессивных черт и в деятельности Петра I, к неверной оценке внешней политики Петра и его реформ.

Вместе с тем необходимо отметить колебания и противоречия у Покровского в оценке петровских реформ. В позднейших своих работах по сравнению с четырехтомником он внес ряд изменений, частично исправлявших отдельные стороны его первоначальной концепции.

М. В. ДЖЕРВИС

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РУССКОГО САМОДЕРЖАВИЯ В XVIII ВЕКЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПОКРОВСКОГО

Международные отношения России в XVIII в. представляют для историка-марксиста чрезвычайный интерес. Интерес этот вызывается не только тем, что более или менее полное изображение истории России в эту эпоху становится невозможным, если не уделить значительной доли внимания вопросам внешней политики, но и тем, что именно с этого времени понимание общего хода истории Европы становится весьма затруднительным без учета возрастающего участия в нем царской империи.

В то же время, однако, приходится с сожалением констатировать, что до сих пор в указанной области историками-марксистами ничего или почти ничего не было сделано.

Вина в этом падает, главным образом, на вредные тенденции так называемой «школы Покровского» и на деятельность самого М. Н. Покровского. Сейчас, когда с непогрешимостью «авторитета» Покровского покончено навсегда и вредное влияние этого «авторитета» на развитие советской науки отходит все больше в область прошлого, ничто уже не должно тормозить настоящей научной работы на интересующем нас заброшенном, но важном участке истории СССР.

Соответственно этому, настоящая статья, написанная в плане критической переоценки литературного наследия М. Н. Покровского и разоблачения его антимарксистских, антиленинских взглядов, преследует еще и побочную цель — привлечь внимание широкого круга советских историков к некоторым вопросам истории международных отношений России в XVIII в.

I

Литературное наследие М. Н. Покровского содержит целый ряд статей и очерков, посвященных вопросам международной политики русского самодержавия и собранных впоследствии в два отдельно изданных тома.[1] Тематика большей части статей не заходит далее

[1] М. Н. Покровский. Внешняя политика. Сборник статей (1914—1917 гг.). М., 1918.

первой половины минувшего века, и лишь в одной статье под заглавием «Константинополь» автору пришлось в силу особенностей самой тематики более подробно затронуть восточную политику Екатерины II и екатерининские войны с Турцией.[1]

Анализ остальных работ М. Н. Покровского, в том числе и в особенности его «Русской истории с древнейших времен», убеждает нас, насколько слабый интерес проявлял Покровский к проблемам истории внешней политики.

Вполне сознательное стремление уделить международным проблемам лишь минимальную долю внимания отчетливо проступает и в позднейших работах Покровского. Во всяком случае Покровский полностью уклонился от последовательного освещения гражданской истории, сведя ее в своих сочинениях к роли чисто иллюстративного материала к своей ошибочной социологической схеме.

Эта коренная методологическая установка Покровского, разумеется, полностью сказалась и на трактовке им тех моментов гражданской истории России, которые связаны с внешней политикой и международными отношениями русского самодержавия. Нигде, в том числе и в обобщающих сочинениях Покровского, мы не встретим систематического освещения этой политики и последовательной истории этих отношений.

Это пренебрежение к внешней политике царизма станет особенно выпуклым, если мы сопоставим его с тем огромным значением, которое придавали международно-политической деятельности русского самодержавия основоположники марксизма. Таким образом, и в этом, чрезвычайно существенном пункте мы видим, как чужды были марксизму методологические приемы и взгляды Покровского.

Было бы грубейшей ошибкой заключить из всего вышесказанного, что М. Н. Покровский, ограничив себя историографической экспозицией только «избранных» фактов из области «внешней истории», отказался от мысли о выработке общего взгляда на международные отношения русского самодержавия, в частности — на внешнюю политику царизма в XVIII в.

Напротив, если мы учтем особенности метода М. Н. Покровского, то придем к заключению, что отрывочность и недостаточность привлекаемого им конкретного материала в данном случае даже облегчала создание такого рода общей концепции, открывая большой простор для игры произвольных умозаключений, которою Покровский слишком часто подменял изучение конкретных исторических фактов.

II

Взгляды Покровского на развитие международных отношений России в XVIII в. в конечном итоге могут быть сведены (и факти-

[1] М. Н. Покровский. Внешняя политика. Сборник статей (1914—1917 гг.). М., 1918, 11—18.

чески сводились их автором) к следующим весьма немногим общим мыслям.

Международные отношения России направлялись в XVII—XVIII вв. политической активностью «торгового капитализма». В XVII в. «торговый капитализм» имел огромное влияние на внешнюю политику Московского государства; последняя ориентировалась на закрепление за Россией земель, прилежащих в ее южной окраине. Проявлением этой внешнеполитической линии были и крымские походы кн. В. В. Голицына и азовские походы Петра.[1] При Петре «торговый капитализм» изменил ориентацию в своей внешней политике. Эта перемена, связанная с Северной войной, была вызвана главным образом интересами русской внешней торговли. Русский торговый капитал с самого начала стремился завладеть хотя бы одной незамерзающей гаванью на восточном побережье Балтийского моря; стремление завладеть незамерзающими портами Курляндии сорок лет спустя вовлекло Россию в семилетнюю войну.[2] Тот же «торговый капитализм», который толкал Петра к активной политике в Балтике, «гнал» его и на Каспийское море; результатом были персидский поход 1722 г. и попытка Петра захватить в свои руки волжско-каспийский торговый путь.[3]

Кроме волжского торгового пути, Московское государство держало в руках и другой торговый путь, путь к Черному морю — днепровский. Но прошло много времени, прежде чем борьба за Черное море стала для России главной задачей: лишь во второй половине XVIII в. Россия завладевает Крымом и северо-западным побережьем Черного моря и добивается от Турции права свободного прохода через проливы.[4]

Такова в основном примитивная социологическая схема Покровского; это схема, в которой пресловутый «торговый капитализм» фигурирует в качестве ultima ratio всех форм исторического развития. Вся система историко-методологических взглядов «экономического материализма» уводит Покровского далеко от исторической истины.

К столь плачевным результатам — политическим и научным — привела Покровского его попытка «обосновать» с помощью «экономического материализма» внешнюю политику русского самодержавия в XVIII в., ту политику, которая в ярком изображении Энгельса, «с железной настойчивостью, неуклонно преследуя намеченную цель, не останавливаясь ни перед вероломством, ни перед предательством, ни перед убийством из-за угла, ни перед низкопоклонством, не скупясь на подкупы, не опьяняясь победами, не падая духом при поражениях,

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 191, 1933.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 75.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 257 и сл.

[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 77.

шагая через миллионы трупов и по меньшей мере один царский труп... сделала больше, чем все русские армии для того, чтобы расширить границы России от Днепра и Двины за Вислу, к Пруту, Дунаю, к Черному морю...»[1]. Для правильного изображения этой политики у М. Н. Покровского не нашлось ни нужных красок, ни должных аналитических средств.

В той же связи должна быть отмечена еще одна существенная черта внешнеполитической схемы Покровского. В тех тесных рамках, в которые Покровский насильственно вводит историю международных отношений царизма, не остается места для обрисовки исторических личностей, которые направляли внешнюю политику России. Покровский, по крайней мере в обобщающих своих сочинениях, обходит полнейшим молчанием даже имена деятелей русской внешней политики XVIII в., в том числе и таких выдающихся, как Бестужев, Панин и Безбородко. Единственным исключением является лишь упоминавшаяся уже статья «Константинополь». Однако и в данном случае исключение только подтверждает общее правило, свидетельствуя, что это умолчание носит далеко не случайный характер.

III

Остановимся еще на одном, чрезвычайно характерном для Покровского и систематически им применяемом приеме «упрощения» наиболее ответственных и сложных проблем русской внешней политики в XVIII в.

Этим приемом является его исключительное внимание к войнам и военным походам, в ущерб интересу к международным отношениям «мирного времени». Сводя всю историю международных отношений царизма к наиболее значительным походам и войнам, Покровский отметает необходимое изучение повседневной политики русской дипломатии, ее настойчивой и упорной активности, не желая считаться с заявлением Энгельса, что царская дипломатия «сделала больше, чем все русские армии, для того чтобы расширить границы России...»

Сложный конкретный материал политической истории XVIII века, еще более усложненный спецификой тайной дипломатии, столкновением персональных интересов и взглядов, династическими мотивами, соображениями политического престижа и т. д., может быть освоен исторической наукой только во всей своей сложности и противоречивости. Отмеченный нами методологический прием позволил М. Н. Покровскому подогнать яркую и полнокровную историческую действительность к серым тонам его социологической схемы, низводя к чрезвычайно примитивному уровню наши представления об этой действительности. В этом отношении высказывания Покровского по вопросам истории внешней политики представляют собой шаг назад по сравнению со многими работами старых буржуазных историков.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 7.

В своих обобщающих сочинениях Покровский подробно останавливается почти исключительно на важнейших войнах России XVIII в., и то далеко не на всех. Это, главным образом, Великая северная война, персидский поход Петра, Семилетняя война, разделы Польши. Русско-турецких войн и русской ближневосточной политики Покровский в обобщающих своих работах коснулся лишь вскользь. Хотя этот пробел отчасти восполняется его статьей «Константинополь», это не снижает, конечно, значения того обстоятельства, что именно в обобщающих работах Покровского из его концепции внешней политики России почти выпал «восточный вопрос», который со времен Екатерины II становится стержневым вопросом русской внешней политики. Это обстоятельство придает схеме Покровского, в дополнение ко всем прочим ее недостаткам, еще и чрезвычайно однобокий характер.

Особняком среди описанной выше тематики стоит небольшой отрывок в третьем томе «Русской истории с древнейших времен», написанный на тему: «Бироновщина и английский капитализм».[1]

Этот экскурс в область международной политики «мирного времени» предназначен служить той же задаче утверждения общей концепции Покровского. Речь идет о «доказательстве» его излюбленного тезиса, что «торговый капитализм шел к нам с Запада и что Россия уже в XVII в. была для Западной Европы той колонией, характер которой во многом мы сохранили доселе». К обоснованию этого взгляда, формулированного им во II томе «Русской истории»,[2] Покровский возвращается на первых же страницах III тома. Таким образом, выпячивание бироновщины в общем ходе развития международных отношений России, отнюдь не соответствующее действительной роли этого явления в развитии русской политической жизни, в которой бироновщина явилась лишь более или менее затяжным эпизодом, — это выпячивание понадобилось Покровскому для вящего утверждения решающей роли торгового капитала в международно-политических судьбах России. Отсюда — столь необычное, выпадающее из общего плана рассматриваемой работы Покровского внимание его к индивидуальным моментам бироновщины. Это исключение является, однако, единственным.

Внешней политике павловского царствования, представляющей для историка-марксиста весьма значительный интерес, Покровский уделяет минимум внимания, рассматривая ее лишь в связи с личной судьбой Павла I. В виду чрезвычайной беглости, с которой Покровский касается здесь вопросов собственно внешней политики, мы затруднились бы на основании этого материала сделать какие-нибудь заключения относи-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 14—17.

[2] Там же, II, 175.

тельно взглядов Покровского на важнейшие проблемы русско-французских и русско-английских отношений при Павле I.

Конкретная критика взглядов М. Н. Покровского на внешнюю политику России в XVIII в. чрезвычайно затрудняется нарочитой односторонностью высказываний и не менее нарочитой скудостью привлеченных им исторических фактов. Тем не менее даже этот скудный и сухой материал дает основание если не для всесторонне развернутой, то все же для довольно обстоятельной критики ошибочных и произвольных, а нередко и извращенных передач и трактовок Покровским исторических фактов.

Не все вопросы, затронутые Покровским, отличаются одинаковой научною актуальностью. Правильнее поэтому будет фиксировать внимание читателя на освещении наиболее актуальных проблем. Таких вопросов в работах Покровского мы насчитали четыре: это проблема Великой северной войны, Семилетней войны, разделов Польши и, наконец, не затронутая, как уже отмечалось, Покровским в его обобщающих работах, но наиболее подробно освещенная в особой статье проблема восточной политики России при Екатерине II.

IV

В своем освещении истории Северной войны, как, впрочем, и в своих дальнейших высказываниях по вопросам международной политики в XVIII в., Покровский исходит из неправильного одностороннего представления о ее экономических предпосылках. Он сводит эти предпосылки к «естественному тяготению» торгового города Риги и других прибалтийских портов к русскому экспортно-импортному рынку, совершенно игнорируя международную политическую ситуацию, непосредственно вызвавшую эту войну.

Позиция остзейского дворянства во время войны также освещена Покровским лишь вскользь и недостаточно верно. Покровский сперва делает попытку вовсе сбросить остзейское дворянство со счетов, а затем безоговорочно приписывает дворянству и его лидеру Паткулю четкую ориентацию в сторону Польши. В действительности же Паткуль вел игру и с Россией и с Польшей, а продажная дворянская масса, переменившая на своем веку не мало господ, держалась того, кто в данное время был сильнее, служа интересам то России, то Польши, то заигрывая со своим «юридическим отечеством» — Швецией.

Покровский совершенно не осветил в высшей степени активного вмешательства оккупантов во внутреннюю жизнь прибалтийских провинций, в значительной мере предопределившего собой отношение к России тех или иных прибалтийских кругов.

Покровский оставляет в тени ряд вопросов, исследование которых историк-марксист счел бы для себя обязательным: это, в частности, коренной вопрос истории всякой войны — об отношении к ней различных общественных групп и прослоек внутри России.

Наконец, недостаточно выясненной осталась у Покровского политико-стратегическая сторона Северной войны, несмотря на огромное влияние ее уроков на исторические судьбы России.

Таким образом, Покровский фактически исключил из своего поля зрения всю политическую историю Северной войны и в особенности политику России в этой войне.

В своей трактовке М. Н. Покровский допускает и ряд грубых ошибок фактического характера.

«Торговыми интересами на Балтийском море, — пишет Покровский, — определяется и та комбинация держав, при которой началась Северная война и которая держалась, с перерывами, до ее конца. Союз России с Польшей именно на этой почве был столь же естественным, как тяготение Риги к Московскому государству: обеим державам для их экспорта нужно было «свободное» Балтийское море, т. е. уничтожение шведской монополии».[1]

Эта концепция, столь, казалось бы, стройная и логичная, рассыпается в прах при первом же столкновении с замалчиваемыми Покровским фактами. Покровский умалчивает о существовании в Польше сильной шляхетской партии франко-шведской ориентации, выдвинувшей в противовес союзнику Петра, курфюрсту Саксонскому, своего кандидата на польский престол. Умалчивает он и о том, что именно к этой партии тяготели польские торговые круги, казалось бы, больше всех заинтересованные в «уничтожении шведской монополии».

При таком игнорировании деталей следовало бы, по крайней мере, ожидать от Покровского решения некоторых более общих вопросов истории этой войны. Это по преимуществу кардинальный вопрос о прогрессивном (для России) характере Северной войны и ее основных движущих силах. В этой связи обнаруживается с особой отчетливостью полная непригодность всей социологической схемы Покровского.

Вопрос о прогрессивном значении Северной войны в развитии русской истории, постановка которого не чужда была и русской буржуазной науке, впервые был поставлен в надлежащем объеме и возведен на должную научную высоту Карлом Марксом, в его работе «Секретная дипломатия в восемнадцатом веке».[2] В отличие от Покровского, давшего Северной войне узкое и неверное определение как одной из захватнических войн «торгового капитала», Маркс определяет ее как национальную войну, тесно связывая задачи, поставленные этой войной перед Петром I, с задачами преобразования внутренних порядков «Московии» и превращения ее в государство европейского типа. Маркс подчеркивает при этом, что «только путем превращения Московии из страны, целиком расположенной на суше,

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 193—194.

[2] K. Marx. The Secret Diplomatic History of the eighteenth Century, 1899.

в омываемую морями империю могли быть изменены традиционные границы Московской политики».[1]

«...Ни одна великая нация, — поясняет Маркс свою основную мысль, — не находилась в таком удаленном от всех морей положении, в каком пребывала первоначально империя Петра В.; никто никогда не мог бы представить себе великую нацию оторвашюй от морских побережий... Одним словом, Петр завладел в этом направлении всем, что было абсолютно необходимо для естественного развития его страны».[2] И несколько далее Маркс снова повторяет, как бы для того, чтобы закрепить этот вывод в сознании читателя: «Балтийские провинции некогда существовали для того, чтобы превратить Московию в Россию».[3]

Не отразив в своих работах этих узловых вопросов истории Северной войны, Покровский не смог правильно показать и ее военно-стратегическую сторону. Для историка-марксиста задача в данном случае состояла в том, чтобы, развивая соответствующие положения Энгельса, показать, почему «сильная, почти неприступная в обороне Россия была соответственно слаба в наступлении», и как сила и престиж Швеции «пали именно вследствие того, что Карл XII сделал попытку проникнуть внутрь России».[4] Именно в этих уроках и заключается ценность истории Северной войны, и именно поэтому трактовка ее у Покровского не может нас удовлетворить.

Не удивительно, что в своем крайне узком и одностороннем понимании Северной войны и ее движущих сил Покровский не сумел учесть и международного значения этой войны, не смог охватить ее общеевропейских последствий. Между тем те обобщающие выводы, которые стремился сделать Покровский из развития русской внешней политики в XVIII в., не могут претендовать на какую бы то ни было обязательность без учета международных итогов русско-шведского столкновения в начале столетия.

Согласно указанию Маркса, непосредственный политический итог Северной войны состоял во включении России в концерт западноевропейских держав и в перенесении центра тяжести русской политики с Востока на Запад.

«Перенесением своей столицы Петр... возвестил, что он намерен действовать и на Востоке и в непосредственно соседних с ним странах путем активности на Западе. Если активность на Востоке была точно очерчена вследствие устойчивого положения и ограниченности отношений азиатских народов, то активность на Западе сразу приобрела неограниченное и мировое значение благодаря неустойчивости положения и всеобщности связей в Западной Европе».[5]

---

[1] K. Marx. The Secret Diplomatic History of the eighteenth Century, p. 87.
[2] Там же.
[3] Там же, 88.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, стр. 8, 9.
[5] K. Marx. The Secret Diplomatic History, p. 89.

Ясную оценку международного значения Северной войны мы находим и в специальных работах, написанных серьезными русскими буржуазными исследователями и изданных уже в начале XX в.

Так, М. А. Полиевктов в своей работе, изданной в 1907 г. и основанной на весьма обширном круге источников, усматривал главную задачу историка международных отношений России в первой четверти XVIII в. в том, чтобы «уяснить... детально... как мало помалу Россия втягивалась в сложную сеть западноевропейских дипломатических интересов». «Это даст, — говорит Полиевктов, — ...руководящую нить... и для характеристики тех задач, которые ставились русскою дипломатиею на Балтийском море..., и тех средств, с помощью которых думали разрешить эти задачи, а также для оценки достигнутых результатов».[1] С другой стороны, Полиевктов указывает, что история Балтийского вопроса в последние годы петровского царствования имеет немаловажное значение для всей последующей истории русской внешней политики XVIII и начала XIX в.[2]

У Покровского мы не встречаем и следа подобной постановки вопроса.

Справедливость требует, правда, признать, что ко времени издания своей работы «Русская история в самом сжатом очерке» Покровский несколько прогрессировал в своем понимании истории Северной войны. Он объясняет победу России в этой войне не одним лишь взаимным тяготением московского и рижских торговых капиталов, но вводит в объяснение этого факта еще целый ряд моментов военно-стратегического и политического характера. Однако эволюция взглядов Покровского была явно недостаточной, и четкого освещения истории Северной войны Покровский все же не дал.

Построенная на недостаточно разработанной проблематике, основанная на ошибочных методологических предпосылках и содержащая ряд отступлений от исторических фактов, трактовка Покровского резко расходится с тем освещением, которое мы встречаем в литературном наследии основоположников марксизма. Тем более неотложной становится дальнейшая разработка истории Северной войны в направлении, указанном Марксом, разработка, которая должна представить историю этой войны на широко развернутом фоне международных и внутренних отношений России в эпоху петровских реформ.

V

Следующий этап в развитии русской внешней политики, исторически связанный с Семилетней войной, в работах Покровского освещен весьма бегло. Эта война вовсе не нашла отражения в «Русской истории с древнейших времен», а в «Русской истории в самом

[1] М. Полиевктов. Балтийский вопрос в русской политике после Ништадского мира (1721—1725 гг.), 17. СПб., 1907.
[2] Там же, 300.

сжатом очерке» ей отведено меньше страницы печатного текста. Трактовка Покровского истории Семилетней войны является весьма «приблизительной», а его обращение с историческими фактами — чрезвычайно вольным.

Вопреки фактической стороне дела, широко известной из опубликованных документов, Покровский приписывает участие России в Семилетней войне исключительно борьбе за незамерзающий порт в Курляндии, самому же вмешательству «русского торгового капитала» в эту войну он придает второстепенное значение, указывая, что это была «огромная война в западной Европе (главным образом между Англией и Францией; но на стороне первой была кроме того Пруссия, а на стороне второй — Австрия)».[1] Таким образом Покровский затушевывает значение русско-прусского конфликта в возникновении Семилетней войны.

Внешнеполитическая концепция канцлера Елизаветы Петровны А. П. Бестужева, рассматривавшего Пруссию как главного соперника России в Европе и поэтому ориентировавшего русскую политику на прочный и долговременный союз с основным противником Пруссии — Австрией, эта концепция остается в работе Покровского вовсе обойденной, равно как и лежавшее в основе этой концепции русско-прусское соперничество в европейских, в частности польских делах. Не противопоставлена взглядам Бестужева и противоположная тенденция русской политики, направленная к соглашению между Россией и Пруссией и к прямому союзу этих держав. Поэтому читателю работ Покровского, пожелавшему выйти за пределы узкого круга истолковываемых им фактов и привлечь к изучению фактический материал из других источников, будет совершенно непонятно изменение курса русской внешней политики, происшедшее в первой половине 60-х годов XVIII столетия и приведшее к действенному союзу России и Пруссии в течение двух десятилетий. Для этого читателя останется непонятным и весь чрезвычайно богатый событиями ход международных отношений России в 70-х годах. Это замалчивание Покровским важнейших исторических событий и фактов дезориентирует рядового читателя, а в читателе-специалисте способно вызвать лишь недоумение, тем более, что политическая деятельность А. П. Бестужева много раз служила предметом исследования со стороны русских буржуазных историков, а о враждебной ему политической активности кругов, близких к будущей императрице Екатерине II, за 8 лет до появления «Русской истории в самом сжатом очерке» были опубликованы исчерпывающие и чрезвычайно ценные материалы.[2]

---

[1] Русская история в самом сжатом очерке, стр. 75.

[2] Мы имеем в виду секретную переписку вел. кн. Екатерины Алексеевны с английским послом сэром Чарльзом Уильямсом, опубликованную в кн. 229 «Чтений в Обществе истории и древностей российских». Рецензию на этот сборник см. у Е. Тарле, «Запад и Россия», 150—159. Пг., 1918.

Выход России из Семилетней войны Покровский приписывает истощению России,[1] оставляя в тени еще большее истощение Пруссии, стоявшей на краю катастрофы,[2] и индивидуальные политические причины этого выхода — воцарение Петра III и его пруссофильскую политику. Таким образом получается искажение основных исторических фактов, нужное Покровскому для того, чтобы представить участие России и в этой войне как проявление политики пресловутого торгового капитала.

VI

Статья «Константинополь», о которой мы уже упоминали ранее, по своим научным качествам стоит много выше высказываний Покровского по вопросам истории внешней политики, приведенных в четырехтомнике и «Русской истории в самом сжатом очерке». В самом деле, мы встречаем здесь конкретное, последовательное, богатое фактами освещение основ русской политики в ближневосточном вопросе и отдельные более или менее правильные высказывания. Если политика, внешняя и внутренняя, первых лет царствования Екатерины II, — писал Покровский, — «определялась чьими-нибудь субъективными настроениями, это были, конечно, не настроения самой Екатерины или даже Григория Орлова, — это были настроения той силы, от которой зависели и Екатерина, и Орловы, — русского дворянства».[3]

Далее, однако, Покровский впадает в характерную для него, как представителя «экономического материализма», ошибку: он переоценивает роль и значение экономического фактора в ходе истории, говоря о необходимости и даже неизбежности турецких войн Екатерины непосредственно в силу условий развития крепостного хозяйства России». «...Субъективность этого общественного класса (дворянства), — писал Покровский непосредственно после приведенной цитаты, — как и всякого другого общественного класса, везде и всегда определялась, в свою очередь, объективными экономическими условиями. В 1760-х годах русское помещичье хозяйство переживало тяжелый кризис. Ему было тесно в тех границах, в какие его поставила русская история предшествующего столетия... В силу совершенно объективных, неотвратимых условий, война с турками составляла неизбежный этап...»

Правда, от внимания Покровского не ускользнула и возможность другого выхода из кризиса 60-х годов — возможность крестьянской

---

[1] Об этом см., кроме соответствующих страниц «Русской истории в самом сжатом очерке», также сборн. «Внешняя политика», стр. 14.

[2] Интересно сравнить оценку результатов Семилетней войны у Покровского с оценкой данной В. О. Ключевским (Курс русской истории, V 28—29, 1921).

[3] М. Н. Покровский. Внешняя политика. Сборн. статей (1914—1917). М., 1918.

реформы; но всем своим изложением Покровский дает понять, что этот выход нельзя было рассматривать как серьезный,[1] а следовательно тезис о «неизбежности» русско-турецкого столкновения нельзя считать поколебленным.

Наконец, весьма существенным недостатком его анализа истории русской восточной политики следует считать то обстоятельство, что он не ставит этой политики в должную связь с международными отношениями России и Запада (на эту связь, между прочим, ссылается Энгельс, замечая, что «войны России против турок приходятся всегда на такие периоды, когда на западной русской границе царит мир, а Европа занята какими-нибудь другими делами»).[2] Нет надобности подробно доказывать, что точное представление о той обстановке, в которой развивалась политика России в восточном вопросе XVIII в., можно получить лишь при строгом учете русско-австрийских, русско-французских, русско-английских (на которые в частности ссылается Маркс),[3] русско-прусских и русско-польских отношений, и даже торговых и политических взаимоотношений России с государствами Пиренейского и Аппенинского полуострова (на это указывает, между прочим, изобилие материалов об этих взаимоотношениях в русских архивах).

Историк-марксист, который займется русско-турецкими отношениями времен Екатерины II, безусловно уделит изрядную долю внимания освещению непрерывных французских и австрийских интриг на Ближнем Востоке (в них была отчасти замешана и «союзница» России — Пруссия), объясняющих трудности, которые встречала Россия на путях своего продвижения к Черному морю. Исследователь, вооруженный диалектическим методом, сделает попытку развязать и тот тугой узел исторических противоречий, в который сплетались в ту эпоху русско-турецкие и русско-польские отношения. Сюда относятся: связь вопроса о выходе к Черному морю с вопросом о Правобережной Украине, борьба России с Барской конфедерацией и поддержка конфедератов Турцией; требование Турции о выводе русских войск с территории Польши и нападение гайдамаков на пограничные владения Турции как исходный момент первой русско-турецкой войны; первый раздел Польши как способ временного разрешения противоречий между Австрией, Россией и Пруссией, возникших на почве черноморско-балканской проблемы.

Что же касается специально связи восточного и польского вопросов, то эта проблема встает каждый раз и перед каждым историком, с какой бы стороны он ни приступил к изучению русской внешней политики в XVIII—XIX вв.[4]

[1] М. Н. Покровский. Внешняя политика. Сборник статей (1914—1917). М., 1918, 15 и сл.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, стр. 15.

[3] Там же, X, 582—584.

[4] См. в особенности работу Чечулина. «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II», СПб., 1896, и старую работу Пе-

Главный же и наиболее серьезный недостаток рассматриваемой работы Покровского в части, относящейся к истории русской политики в XVIII в., — недостаток, перерастающий в искажение исторической истины, заключается в том, что Покровский рассматривает войну 1768—1774 гг. изолированно, как единичный исторический эпизод, вне ее теснейшей зависимости от предшествовавшего хода русско-турецких отношений и русской восточной политики и ее решающего влияния на последующий ход этих отношений.

Методологические корни подобной постановки вопроса совершенно прозрачны: в интересах доказательства причинной зависимости русско-турецкой войны от экономического кризиса 60-х годов, и только от этого кризиса, Покровскому пришлось оторвать эту войну от всего предшествующего и последующего развития русской истории.

VII

В своем освещении истории разделов Польши Покровский также придерживается антимарксистских, антиленинских позиций, резко расходящихся с исторической истиной. Усматривая во всей истории разделов лишь результат экономического тяготения к России украинских и белорусских земель, Покровский фактически дезориентирует своего читателя и мешает ему правильно разобраться в этой политической драме, историческим деталям которой Маркс и Энгельс придавали большое значение. Мы напрасно стали бы искать у Покровского передачи даже самых основных политических фактов, относящихся к разделам Польши, напрасно стали бы искать у него классового анализа этих событий. Вместо этого Покровский повествует о том, что восточные области Польши экономически зависели не от Варшавы, а от Москвы и Петербурга, и что поэтому вопрос о переходе этих областей под политическую власть наследников Петра был только вопросом времени. Все это выглядит внешне убедительно и даже является частично правильным в том ограниченном смысле, что исторически сложившееся хозяйственное тяготение белорусско-литовских земель к русским прибалтийским портам значительно облегчило впоследствии России освоение вновь присоединенных владений. Но беда Покровского заключается в том, что, в своем стремлении максимально «упростить» объяснение сложнейших исторических явлений и фактов, он хватается за одно лишь звено в исторической цепи явлений, а потому истолковывает эти явления односторонне и неверно.

В частности, применительно к данному случаю, Покровский односторонне, а потому и неверно, толкует причины «тяготения» к России восточных областей Речи Посполитой, сбрасывая со счетов вопрос о политических формах этого тяготения и отделываясь от

трова. «Война России с Турцией и польскими конфедератами в 1768—1774 гг.», V, СПб., 1866—1874.

возможных упреков ни к чему не обязывающей фразой о том, что «переход этих земель под политическую власть преемников Петра был только вопросом времени».

При этом Покровский совершенно умалчивает о связи разделов Польши с такими событиями в международной истории (французская буржуазная революция конца XVIII в.) и во внутренней истории Польши (реформы Четырехлетнего сейма и противодействие им польских реакционных кругов), которые ни в какой мере не находились в зависимости от «экономического тяготения» к России земель, расположенных между Днепром и Днестром. При учете этих событий перед Покровским встала бы необходимость выйти за пределы своей социологической схемы и отступить от упрощенного толкования причин, непосредственно приведших к разделу польского государства.

Основная ошибка Покровского заключается в том, что он ограничивался только констатацией (при этом частичной) экономических предпосылок для разделов. История есть история классовых битв, и судьба каждой, даже самой правильной, общей концепции зависит от того, насколько удастся историку проследить вскрытую им закономерность в ходе конкретных классовых столкновений, конкретной социальной борьбы.

Далее Покровский рассказывает, что западные области Польши почти так же зависели от Пруссии, и уверяет своего читателя в том, что «польское дворянство сознавало эту свою зависимость от соседей, которые от начала XVIII в. были сильнее Польши». В последнем своем утверждении Покровский извращает позицию большинства польской шляхты по отношению к разделу государства, заставляя читателя думать, что шляхта в целом отнеслась к разделу как к неотвратимому удару судьбы, и оправдывая «экономической неизбежностью» лакейскую позицию наихудших, наиреакционнейших и просто продажных кругов магнатства и шляхты по отношению к России и Пруссии.

Вопрос о разделах Польши слабее других вопросов истории СССР разработан в марксистско-ленинской исторической литературе. Однако уже сейчас есть возможность утверждать, что эти разделы происходили совсем не так, как это изображает Покровский. Вместе с тем уже сейчас мы имеем возможность наметить контуры положительной трактовки этого вопроса.

Неудовлетворительное освещение Покровским этого этапа русско-польских отношений объясняется, как мы уже отчасти показали, не только недостаточным (а нередко и извращенным) истолкованием привлекаемых к изучению фактов, но и, главным образом, тем, что Покровский, ограничившись ссылкой на одну из предпосылок разделов, обходит полнейшим молчанием весь комплекс внутренних и международных причин и условий, приведших к политическому распаду Речи Посполитой и сделавших возможным разделы 1772—1774 и 1792—1796 гг.

Нам уже приходилось писать о том, как по нашему мнению должен быть поставлен вопрос исторического изучения разделов Речи Посполитой и (в иной историографической связи) ссылаться на ошибки, допущенные при трактовке этого вопроса некоторыми историками, сверстниками или современниками М. Н. Покровского.[1] Мы имели тогда случай отметить и, как нам представляется подтвердить анализом исторических фактов и литературных высказываний, что исторические судьбы феодально-крепостнической Польши были теснейшим образом связаны с ходом и исходом широчайших народных движений, происходивших на восточных окраинах Речи Посполитой в XVII и XVIII вв. (крестьянская война на Украине 1648—1653 гг., национально-освободительные войны Хмельницкого, гайдамачина и др.).

Конкретизируя влияние крестьянской войны 1648—1653 гг. на исторические судьбы шляхетской «республики», мы пришли тогда к выводу, что победа феодальной реакции на Правобережье и в Белоруссии повлекла за собой консервацию феодально-крепостнических отношений в самой Польше, резкое замедление ее исторического развития и сохранение на долгое время того состояния разорения и упадка, в которое повергли всю Речь Посполитую военные столкновения 40—60-х годов XVII в.

Эта консервация феодально-крепостнических отношений выродилась в их открытое загнивание при королях из Саксонского дома (1704—1763 гг.), что проявилось в дальнейшем расстройстве экономической, культурной и политической жизни, в росте коррупции господствовавшего класса, в резком усилении внеэкономического принуждения и катастрофическом обнищании основной массы крестьянства.

Этот всесторонний распад феодально-крепостнической Польши и имел в виду Маркс, когда заявлял со всей резкостью, что «только демократическая Польша могла быть независимой» и что «польская демократия невозможна без упразднения феодальных прав, без аграрного движения, которое превратило бы крепостных крестьян в свободных собственников, в собственников современных».[2]

Покровский совершенно умалчивает и о той позорной, предательской роли, которую сыграла в вопросе о разделе польская шляхта; Энгельс писал по этому поводу в 1863 г.: «Должен сказать: увлекаться поляками 1772 г. может только буйвол. В большинстве европейских стран дворянство пало в ту эпоху с достоинством, частью даже с некоторым блеском. Но ни одно дворянство не поступило так глупо, как польская шляхта, усвоившая себе один метод — продаваться России».[3]

---

[1] В статье «К вопросу о разделах Польши», Исторический сборник, I, 239—252, 1934.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., V, 263.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXIII, 147.

Формой проявления распада Речи Посполитой был рост центробежных тенденций в экономической и политической жизни страны. Это в особенности относилось к восточным окраинам государства, которые никогда не были сцементированы с этнографической Польшей и развивались во второй половине XVIII в. под знаком этих центробежных тенденций. После первого раздела витебская шляхта, повидимому, искренне приветствовала Екатерину II и благодарила ее за присоединение белорусских земель к царской империи. Подчинение Черноморского побережья России (1783 г.), повлияв положительным образом на хозяйственное развитие Правобережной Украины, усилило ее тяготение к России; это тяготение политически оформилось в руссофильских тенденциях украино-польских магнатов, которые становятся с этого времени главными агентами русской политики внутри Польши. Украинские магнаты выступают в качестве союзников и слуг русской политики также в силу совпадения своих реакционных феодальных стремлений с «охранительными» тенденциями русского самодержавия, которое уже в это время (1790-е годы) дебютирует в роли «жандарма Европы».

Мы должны особенно подчеркнуть необходимость отрешиться в освещении данного круга вопросов от примитивного «экономизма» некоторых буржуазных историков (чем не в меньшей степени грешил и Покровский) и рассматривать политический крах Речи Посполитой как своеобразный выход из кризиса всей польской социальной системы, взятой в ее историческом целом.

Важно подчеркнуть и то особое значение, которое приобрел в конце XVIII в. польский вопрос в связи с борьбой феодально-абсолютистской Европы против буржуазной революции во Франции: ни в коем случае нельзя забывать, что в 1793 г. державы-участницы раздела «ссылались на конституцию 1791 г., которая была по общему соглашению отвергнута за ее якобы якобинские принципы».[1]

Для историка-марксиста, разумеется, вполне очевидно, что основные причины этого кризиса крылись в производственных отношениях страны, точнее говоря — в абсолютном господстве феодально-крепостнического способа производства. Однако для историка-марксиста, изучающего исторические явления во всей их конкретности, установление этой основной методологической предпосылки является только частью решения поставленной им перед собой задачи. И в данном случае, едва дело подходит к воплощению коренных противоречий исторического развития Польши в конкретной борьбе движущих сил, как историку приходится перейти от обсуждения первопричин краха Речи Посполитой к изучению живого и конкретного хода классовой борьбы.

Если Покровский неудовлетворительно справился и с охарактеризованной выше первой частью задачи, пытаясь подменить вопрос

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., V, 261.

о противоречиях, лежавших в области производства, вопросом о противоречиях в сфере обмена, то второй ее части — задачи хотя бы сжатого освещения классовой борьбы в польском обществе, предшествовавшей и сопровождавшей разделы польской территории, Покровский перед собой даже и не ставил. Не ставил он перед собой, повидимому, и третьей части задачи, казалось бы вытекающей из самой постановки вопроса о разделе в разрезе учебного курса русской истории, задачи освещения хотя бы основных установок русской политики в польском вопросе 1760—1790-х годов.

Между тем эти установки были не так-то уж прямолинейны и просты, как это представлялось Покровскому. Русская политика в Польше, составляя один из элементов единого комплекса балтийско-черноморско-восточной политики, осложнялась и соображениями внутренней политики (необходимость борьбы с массовыми побегами крестьян в пограничные области и противодействия антикрепостническому крестьянскому движению в Польше), и мотивами открытого соперничества России с Австрией, Францией и своей союзницей — Пруссией, и диверсиями тайной политики как самой России, так и этих европейских держав.

Короче говоря, тема «разделов» в постановке Покровского не удовлетворяет минимальным требованиям ни со стороны проблематики, ни со стороны разработки и освещения исторических фактов. Дальнейшая разработка этой темы, равно как и других частных тем из области международной политики в XVIII в., включенных М. Н. Покровским в его обобщающие работы, должна происходить вопреки общей концепции и освещению исторических фактов у Покровского.

VIII

Внешней политки Павла I Покровский, как сказано было выше, коснулся лишь вскользь, в связи с личной судьбой этого императора. По этому вопросу нам почти нечего было бы сказать, если бы мы не считали необходимым остановиться в данной связи на одном из пробелов в построениях Покровского в области международных отношений России XVIII в. Нам кажется, что этот пробел ярче свидетельствует о вреде, принесенном Покровским развитию советской науки, чем многие из высказанных им мнений и взглядов.

Для историка, стоящего на позициях марксизма-ленинизма, основным вопросом международной политики конца XVIII в. является вопрос о внешнеполитическом окружении революционной Франции и об организации против нее интервенционистской войны. Хорошо известно, насколько велика была роль, сыгранная правительством Екатерины II в интервенционистском окружении Франции, и насколько глубоко отразилась французская революция во внутренней политике последних лет царствования Екатерины.

Указанному кругу вопросов Покровский, — советский историк,

писавший во время гражданской войны и иностранной интервенции в советской России, — казалось бы, должен был уделить соответствующее внимание. Между тем мы не находим у него ни одной строки, посвященной контрреволюционной антифранцузской политике последних лет правления Екатерины II. Оттого-то повисает в воздухе, сводясь к рассказу о диверсионной работе английского посла Уитворта, и попытка Покровского беглыми штрихами изобразить политику Павла I во французском вопросе.

IX

Взгляды Покровского в области истории международных отношений России в XVIII в., как видим, не случайны и полностью вытекают из его ошибочных общеметодологических установок. Будучи тесно связанными с его антимарксистской схемой русского исторического процесса, эти взгляды подчинены единой задаче — доказательству правильности его антимарксистской концепции. С этой точки зрения нельзя считать случайными даже второстепенные и на первый взгляд незначительные ошибки Покровского.

Обращаясь к трудам основоположников марксистской теории, советский историк, желающий заняться историей международных отношений России в XVIII в., найдет ряд подробных и совершенно конкретных высказываний, которые дадут ему основное направление в исследовании русской международной политики. Обращаясь к ценнейшим замечаниям товарищей Сталина, Кирова и Жданова и жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник по истории СССР, советский историк найдет здесь ряд важнейших методологических и фактических указаний, позволяющих поставить на должную принципиальную высоту исследование всех вопросов истории СССР, в том числе и истории международных отношений и внешней политики русского самодержавия.

Соответственно этому историк-марксист, взявший на себя изучение истории международных отношений царизма в XVIII в., должен еще более внимательно изучить комплекс дипломатических отношений этого века, чем это делали русские буржуазные историки (во главе с Соловьевым). При этом советский историк должен больше всего избегать всякого упрощенчества и схематизма и отвергнуть высказанную Покровским махистскую «истину», что научная концепция исторической действительности сводится к ее максимальному упрощению; наоборот, историк должен стремиться к совершенно адэкватному изображению исторической действительности.

С этой целью необходимо прежде всего выйти за предел использованного Покровским крайне узкого круга источников. Несомненно, что в интересах построения общего курса истории СССР придется предпринять ряд архивных исследований, охватывающих материалы не только Архива внешней политики, но и ряд других фондов государ-

ственного (архивы Коммерцколлегии, Государственного совета, военные) и частного происхождения (в особенности — архив Воронцовых и мало изученный архив Репниных). Помимо того, должна быть намечена и проведена в значительно более широком масштабе, чем это делалось до настоящего времени, разработка накопившегося десятилетиями огромного богатства печатных источников, иностранных и русских. В первую очередь должны быть привлечены пользующиеся заслуженно широкой известностью, но фактически совершенно недостаточно разработанные обширные публикации Русского исторического общества, опубликованные материалы архивов князей Воронцова, Куракина. Должны быть привлечены также и такие издания документов, заключающие еще не использованные большие возможности, как политическая корреспонденция Фридриха II, известное французское многотомное «Собрание дипломатических инструкций», некоторые польские публикации (вроде совершенно не учтенной в русской литературе публикации русских документов польского историка Бронислава Дембинского).

Особо стоит задача использования иностранных источников мемуарного характера, знакомство с которыми русских (в том числе и советских) историков, за исключением, может быть, одного Костомарова и — в меньшей степени — Соловьева, следует признать, недостаточным. В частности, в данной связи необходимо отметить, что мемуары польского короля, Станислава-Августа Понятовского, изданные в Петрограде в 1914—1924 гг. и, несмотря на весь свой субъективизм, бросающие яркий свет на закулисную сторону русско-польских отношений во второй половине XVIII в., пользуются у советских историков весьма малой известностью.

Наконец, необходимо привлечь новейшую иностранную литературу (французскую, английскую, немецкую и польскую), главным образом — отдельные работы, основанные на недоступном для нас круге источников. Приходится с сожалением констатировать, что все эти работы, или по крайней мере бо́льшая часть из них, остаются до последнего времени вне поля внимания советских историков.

Только основывая свою работу на привлечении широкого круга источников, советский историк сможет преодолеть нарочитую узость взглядов Покровского и его «школы» и поставить отдельные проблемы истории русской внешней политики в XVIII в. в их взаимной связи и в связи с другими сторонами русской исторической жизни.

В частности, история Северной войны, в изучении которой советский историк должен следовать непосредственным указаниям Маркса и Энгельса, настойчиво требует установления конкретной внутренней связи[1] с реформами петровского царствования. Лишь понимание

[1] А не только формальной, понимание которой доступно (за исключением разве Ключевского, державшегося по этому вопросу особого взгляда) и всем буржуазным историкам.

этой внутренней связи, проникшее уже в художественную историческую литературу, но до сих пор не ставшее почему-то предметом внимания специалистов-историков, способно полностью уяснить историку некоторые особенности эпохи петровских реформ, в частности — вопрос о насильственном проведении этих реформ в условиях затяжного жестокого международного столкновения.

Следующий этап международных отношений России, связанный с Семилетней войной и предшествовавшим ей переломом в русской внешней политике, интересен для историка прежде всего в двух отношениях. Во-первых, он ломает установившуюся в советской науке и до сих пор идущую вслед за Покровским хронологическую схему гражданской истории СССР, заставляя нас расчленять так называемое «время дворцовых переворотов» на две части: до воцарения Елизаветы Петровны и после ее воцарения. Во-вторых, он ставит во весь рост вопрос о соотношении сил между русским абсолютизмом и прусским, — вопрос, с которым мы дважды столкнемся позднее: во время разделов Польши и во время Наполеоновских войн.

Выход России из Семилетней войны и ликвидация политики Бестужева правительством Екатерины II подводит нас к новому этапу внешней политики самодержавия, характеризуемому сближением между Россией и Пруссией и совместно проведенным ими первым разделом Речи Посполитой. Одновременно этот этап выдвигает на первое место так называемый «восточный вопрос», открывая собою длинную цепь военных столкновений царской империи с Турцией, первое из которых — войну 1768—1774 гг. — следует рассматривать в тесной связи с разделом Польши. Этот последний представляет выдающийся интерес в том отношении, что он отразил в себе столкновение двух систем диктатуры дворянства: вооруженного на новейший лад русско-прусско-австрийского абсолютизма и архаической (по выражению Энгельса) шляхетской «республики». Это столкновение показало, что раздираемая внутренними противоречиями «республика» не выдержала фронтальной атаки союза абсолютистских держав, не сумела организовать сопротивления и вынуждена была сдаться на милость победителей.

Наконец, последний этап русской внешней политики в XVIII в., тесно связанный, с одной стороны, с реакцией самодержавия на буржуазную революцию во Франции, с другой стороны представляет собою дальнейшее развитие трех первых этапов и не может быть понят вне непосредственной связи с предыдущим этапом. Главные события этого времени — вторая турецкая война, второй и третий разделы Польши — корнями своими уходят в предыдущий период.

Важнейшая проблема, подлежащая рассмотрению в данной связи, — это проблема российско-прусской интервенции против либеральных реформ и нараставшего революционного движения в Польше.

В таком, примерно, аспекте встает перед нами проблематика целостной темы «Внешняя политика России в XVIII в.»

* * *

Резюмируя наши основные положения, мы можем притти к следующим выводам:

История международных отношений царской империи в XVIII в. представляет собою наименее изученный советской наукой участок исторического прошлого нашей страны. Между тем международные отношения царской России на переломе от позднего средневековья к новому времени, если учесть их значение для истории нашей страны и всей Европы, должны стать весьма важным объектом исторического исследования. То, что сделано в этой области буржуазной наукой, нуждается в коренном пересмотре на основе критической проверки старых и привлечения новых источников. Обязательным условием успешной работы советских историков на этом участке является критическое преодоление системы воззрений Покровского и полный отказ от пережитков его антимарксистской концепции.

В своих работах Покровский сознательно уделяет международным проблемам XVIII в. минимальную долю внимания, сводя их освещение к иллюстрации своей социологической схемы. Тем не менее в его работах содержится целостная система взглядов на внешнюю политику царской России в XVIII в.

Эти взгляды Покровского полностью вытекают из его общеметодологических установок и теснейшим образом связаны с его антимарксистской схемой русского исторического процесса.

Противопоставляя свое понимание международных событий XVIII в. пониманию русских буржуазных историков, Покровский тем не менее полностью обнаруживает антимарксистскую сущность своих взглядов по данному кругу вопросов. По Покровскому, все международные отношения и внешняя политика России в XVIII в. руководились политической активностью торгового капитала. Этой примитивной социологической схеме Покровский всецело подчиняет те беглые замечания, к которым он сводит в своих трудах разработку вопросов истории внешней политики.

Проблематика замечаний Покровского по этим вопросам, таким образом, чрезвычайно бедна: в своем освещении истории международных отношений царизма он ограничивается сообщением кратких сведений о важнейших войнах. Столь важные вопросы исторического изучения, как вопрос о «справедливой» и «несправедливой» войне, применительно к истории XVIII в. и др., вовсе не нашли освещения в работах М. Н. Покровского.

С. К. БУШУЕВ

ИСКАЖЕНИЕ ОБРАЗА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В РАБОТАХ М. Н. ПОКРОВСКОГО

Эпоха 60-х гг. XIX в. представлена в дореволюционных работах Покровского как эпоха господства пресловутого торгового капитала и победившего якобы «промышленного империализма». В факте «падения крепостного права» Покровский усматривал только в высшей степени любопытный социологический конфликт между «экономикой» и «политикой», между тем как «Положение 19 февраля есть один из *эпизодов* смены крепостнического (или феодального) способа производства буржуазным (капиталистическим)».[1] Крайне бледно изобразил Покровский революционную ситуацию конца 50-х — начала 60-х годов. Он рассматривает эту эпоху не как марксист, а как типичный представитель «вульгарного социологизма» и «экономического материализма», объясняя действия виднейших представителей различных общественных групп и политических течений узкими, повседневными, мелочными их интересами и потребностями.

Не поняв основного содержания новой эпохи, Покровский не сумел дать правильную характеристику и выдающихся ее деятелей и в первую очередь — роли и значения Н. Г. Чернышевского в истории освободительного движения того времени, которое Ленин называл «эпохой Чернышевского».

В. И. Ленин с исключительной точностью определил историческое место Н. Г. Чернышевского в развитии революционного движения и передовой общественной мысли в России. «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».[2]

Покровский в своих основных исторических работах, написанных до Октябрьской революции, прошел мимо ленинской оценки Н. Г. Чер-

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 93.
[2] Там же, XIII, 295.

нышевского как великого русского революционера, демократа и просветителя. Покровский игнорирует основные изменения, которые произошли в освободительном движении в эпоху 60-х гг. по сравнению с первым этапом этого движения в обстановке крепостной России. Он не видел качественного различия между декабристами и разночинцами, подчеркивая, что все они защищали свои узкие классовые интересы. Покровский, например, особо останавливается на том, что Чернышевский «много зарабатывал — до 10 тыс. в год (до 20 тыс. золотом на теперешние деньги)».[1]

Вместо показа Н. Г. Чернышевского как «величайшего деятеля своего времени» Покровский снижает роль и значение вождя разночинцев, боевого и последовательного демократа, имя которого так дорого было основоположникам марксизма-ленинизма.

В 1923 г., на лекциях по истории революционного движения в России, Покровский приписал Н. Г. Чернышевскому «меньшевистскую тактику».[2] Это утверждение, находящееся в вопиющем противоречии с историческими фактами, является последовательным продолжением высказываний Покровского о Н. Г. Чернышевском в 1911 г., когда он говорил, что как Герцен, так и Чернышевский «не прочь были поиграть (?!) на идее народного восстания».[3]

Вплоть до 1928 г. Покровский в своих литературных работах расценивал Н. Г. Чернышевского как представителя «мирной», «либеральной» и «меньшевистской тактики», «как одного из представителей тогдашнего либерального лагеря».Отдельные замечания о положительной роли Н. Г. Чернышевского тонули у Покровского среди множества глубоко ошибочных антиленинских высказываний. Только в 1928 г., во время столетнего юбилея со дня рождения Н. Г. Чернышевского, Покровский несколько ближе (но не до конца) подошел к ленинской оценке Н. Г. Чернышевского.[4]

Как и во многих других аналогичных случаях, Покровский начинает характеристику 60-х годов XIX в. с указания на «быстрый рост хлебных цен», «быстрый рост хлебного вывоза»,[5] а затем, совершенно неожиданно для читателя, устанавливает в этой полосе господства крепостного права наличие «промышленного империализма»,[6]

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 132.
[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России, стр. 53.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 139.
[4] Н. Г. Чернышевский как историк (Историк-марксист, 8, 1928); Н. Г. Чернышевский и крестьянское движение конца 1850-х гг. (Историк-марксист, 10, 1928); Н. Г. Чернышевский. Тезисы, согласованные с АППО МК ВКП(б), 1928; выступления 4 мая 1928 г. в прениях по докладу Ю. М. Стеклова «Чернышевский и его политические воззрения» на торжественном заседании Общества историков-марксистов, посвященном столетию со дня рождения Н. Г. Чернышевского (Историк-марксист, 8, 1928).
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 17.
[6] Там же, 53.

хотя всем известно, что эпоха империализма в России начинается не раньше конца XIX в., а отнюдь не с первой половины XIX в.

Характеризуя первую половину XIX в., Покровский говорит о победе промышленного капитала, но с перевесом торгового капитала к моменту освобождения крестьян.[1] Путано и противоречиво объясняет Покровский предпосылки реформ 60-х гг. XIX в. в России, обстановку, в которой они проводились, и умалчивает о революционной ситуации в это время.

«Такая ситуация, — писал Ленин, — была в 1905 году в России и во все эпохи революции на Западе; но она была также и в 60-х годах прошлого века в Германии, в 1859—1861, в 1879—1880 годах в России, хотя революций в этих случаях не было. Почему? Потому, что не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективная, именно: присоединяется способность революционного *класса* на революционные массовые действия, достаточно *сильные*, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят».[2]

В работе «Гонители земства и аннибалы либерализма», опубликованной Лениным в 1901 г., дана замечательная характеристика событий в России и в Европе в эпоху 60-х гг. Покровский не мог не знать этой работы и тем не менее он ее игнорировал не только в «Русской истории с древнейших времен», но и во всех своих последующих работах о реформах 60-х гг. вообще и о Н. Г. Чернышевском в частности. Между тем, в указанной выше работе Ленин отводит Чернышевскому очень большое место и называет его великим русским социалистом домарксового периода, который своей могучей проповедью воспитал революционеров.

Характеризуя эпоху 60-х гг. XIX в., В. И. Ленин писал: «Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих *революционеров*, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови *заставлять* принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян-мировых посредников применять *такое* «Положение», студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной».[3]

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России, стр. 48, 1924.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 244—245.
[3] Там же, IV, 126.

Покровский прошел мимо этих указаний В. И. Ленина об эпохе 60-х гг. и не смог дать правильную характеристику революционного движения того времени и роли в нем Н. Г. Чернышевского.

Покровский не сумел показать, что: «Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности».[1] Уже в начале этого «разночинского» периода освободительного движения в России Н. Г. Чернышевский выступил как главный руководитель[2] того «согласия между крестьянами и мещанами», к которым могли присоединиться «молодые и немолодые люди, сочинители и приверженцы «Великорусса», «Молодой России» и пр., чего, как огня, боялся либеральный деятель Кошелев.[3]

По Покровскому, «тайные общества декабристов, при всей своей слабости и неорганизованности, были куда сильнее (?!) всех «кружков» 60-х годов».[4] Многочисленные документы о декабристах (изданные самим же Покровским) и разночинцах показывают, что движение последних было «опасностью весьма серьезной» для господствующих классов тогдашней России и что оно было первой крупной волной революционного прибоя. Самодержавие свирепо боролось с ним — стоит только вспомнить расправу с самим Чернышевским, которого продержали в сибирских тюрьмах и на поселении почти 20 лет. Бесспорно, что на этом втором этапе освободительного движения революционеры-разночинцы проявили больше стойкости и решимости в борьбе против крепостного права и самодержавия, чем их предшественники на первом этапе освободительного движения (1825—1861 гг.).

Не вскрыл Покровский и социального состава участников освободительного движения 60-х гг. На основании конкретных исторических данных Ленин указал, что главными участниками этого движения были разночинцы. «В период дворянский, крепостной (1827—1846) дворяне, составлявшие ничтожное меньшинство населения, дают громадное большинство (76%) «политических». В период народнический, разночинский (1884—1890 гг.; о 60-х и 70-х годах, к сожалению, нет подобных данных) дворяне отходят на второй план, но все же дают еще громадный процент (30.6%). Интеллигенция дает подавляющее большинство (73.2%) участников демократического движения».[5] По Покровскому же, разночинское движение это — «публика из зажиточных слоев общества».[6]

---

[1] Там же, XVII, 341.

[2] Шелгунов. Воспоминания, стр. 182.

[3] Кошелев. Конституция, самодержавие и земельная дума. Лейпциг, 1862.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 136.

[5] В. И. Ленин. Соч., XVII, 342.

[6] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 132.

Грубый экономический материализм привел Покровского к антиисторическому пониманию разночинского буржуазно-демократического движения как движения «зажиточной публики», руководители которой имели «аристократические дачи». В то же время, вместе с аристократической верхушкой русского дореволюционного общества Покровский в студенчестве видел «пролетариев» (он оговаривается — не в «социально-экономическом смысле, а в смысле бытовом»), для которых вопрос о добывании насущного хлеба был центральным вопросом существования».[1]

Здесь уместно указать, что Г. В. Плеханов такого рода упрощенчество называл «суздальской простотой» и уподоблял таких исследователей изображенной у Успенского старухе-чиновнице, которая виднейших представителей философской мысли Западной Европы обвиняла в том, что они прежде всего «норовят в карман». В этом случае, — писал Плеханов, — «получается что-то вроде пасквиля на человеческую мысль, — такого пасквиля, который мог бы вызвать много несправедливого негодования, если бы не отличался глубочайшим комизмом».[2] Ленин вскрывал классовые основы упрощенчества и указывал источник этого явления. Еще в 1897 г. он предостерегал от упрощенчества в понимании буржуазно-демократического движения, указывая на ошибки тех исследователей, которые всегда «без различия исторических эпох» со словом буржуа связывают «своекорыстную защиту интересов меньшинства».[3] Это замечание Ленина целиком относится и к дореволюционным работам Покровского об эпохе 60-х годов XIX в.

«Нельзя забывать, — писал Ленин, — что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относится к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, *все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного».[4]

Н. Г. Чернышевский верил в «общее благоденствие России», он призывал к работе для приближения «этого желанного праздника», «светлого дня на улице России». «Любите его, стремитесь к нему; работайте на него, приближайте его, перенесите из него в настоящее сколько можете перенести; настолько будет светла и добра, богата

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 133.
[2] Г. В. Плеханов. Соч., XVII, 145.
[3] В. И. Ленин. Соч., II, 315.
[4] Там же.

радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего», — писал он в своем знаменитом романе «Что делать».

Излагая взгляды Н. Г. Чернышевского — «великого русского ученого и критика»,[1] «великого русского гегельянца и материалиста»,[2] — Покровский допускает явно несостоятельные и друг друга исключающие утверждения. В своих работах он называет Н. Г. Чернышевского «славянофилом», «идеалистом в истории»,[3] «защитником своекорыстных интересов меньшинства»,[4] одним из представителей зажиточных слоев общества и даже «представителем меньшевистской тактики в аграрном вопросе».[5] Во всех этих утверждениях нет ни грана правды, нет и попытки проанализировать воззрения Н. Г. Чернышевского с позиций ленинизма. Больше того: Покровский становится на точку зрения буржуазного либерализма, для которого характерны заботливый обход социальных проблем, тщательное скрадывание у великих исторических деятелей революционных черт и традиций, фраза и обывательское славословие.

В своих оценках Н. Г. Чернышевского Покровский бросается из одной крайности в другую. То Чернышевский рисуется славянофилом, идеалистом в истории, защитником своекорыстных интересов меньшинства, либералом, представителем «меньшевистской тактики» и т. д., то он оказывается «близко подошедшим к Марксу, как никто из социалистов домарксового периода»,[6] и автором работ, которые «являются лучшими образчиками применения материалистического метода в русской исторической литературе до Плеханова».[7] В конце концов, Покровский оказался неспособным правильно определить сильные и слабые стороны Н. Г. Чернышевского.

Ни в «Русской истории с древнейших времен», ни в «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский почти совсем не говорит о том, как «русская действительность и отвратительные формы крепостного права» подействовали на формирование и последующее развитие мировоззрения «саратовского мечтателя». Если не считать отдельных замечаний, относящихся к 1928 г., Покровский не показал что «русские революционеры считали себя учениками и последователями известных корифеев буржуазно-революционной и марксистской мысли на Западе».[8] Непонимание Покровским развития революцион-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVII, 13.

[2] В. И. Ленин. Соч., XIII, 293.

[3] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 177, 182, 1933.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 172.

[5] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России, стр. 55.

[6] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 290.

[7] Там же, 191.

[8] Замечания тт. Сталина, Жданова, Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР.

ного движения в России и его классовой основы привело к тому, что он утверждал, будто Герцен был «на практике монархистом»,[1] а из Чернышевского он сделал сторонника «мирной политики», повторив при этом вздор буржуазных публицистов, который разоблачен Лениным, в частности — в статье «Памяти Герцена». «На помощь самих крестьян в деле, — писал Покровский, — можно было рассчитывать лишь для более или менее отдаленного будущего: при данном уровне крестьянской сознательности так легко было вместо демократии получить черносотенную пугачевщину, — и Чернышевский отлично это понимал, недаром он в своей прокламации наставляет помещичьих крестьян «покуда пора не пришла, силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать».[2]

Утверждение Покровского, что Чернышевский только играл на идее вооруженного восстания, стоит в вопиющем противоречии с фактами.

Еще задолго до падения крепостного права Н. Г. Чернышевский писал в своем дневнике (май 1848 г.): «Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. Если бы я только был уверен, что восторжествуют мои идеи, то даже не пожалел бы, что не увижу дня торжества и царства их. И сладко будет умереть, а не горько».[3] В том же самом дневнике Чернышевский в ожидании «настоящего дня» говорит, что он лично готов к участию в неизбежной, по его мнению, крестьянской революции. «Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков — все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это... Готова и искра.., Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю скорее. Я приму участие... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

Вместе со своим учеником Н. А. Добролюбовым Н. Г. Чернышевский пошел дальше Герцена. «Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма, несмотря на свой утопический социализм».[4] Как идейный руководитель «Современника», Чернышевский отстаивал интересы широких крестьянских масс. «Пока не начались реформы, — рассказывает в своих воспоминаниях Шелгунов, — «Современник» отдал свои силы популяризации

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 121.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 129—130. (С. Б.).

[3] Н. Г. Чернышевский. Литературное наследство, I (Дневник, май 1848 г.).

[4] В. И. Ленин. Соч., XVII, 342.

общих исторических понятий и первоначальных общих идей в области литературы. В это время, когда в жизнь пахнуло чем-то освежающим и свободным, читатели и писатели только готовились еще для будущего, которое их ждало и было впереди. Это будущее наступило вместе с первыми идеями реформы, и задачами реформ определились и задачи журналистики. Статьи «Современника», с которыми он выступил на разрешение выдвинувшихся вопросов, составляли действительно настолько замечательное и самостоятельное явление, что даже европейская экономическая литература, считавшая за собой никак не менее ста лет, не имела у себя ничего подобного. Я перечислю только некоторые из статей Чернышевского, посвященные крестьянскому вопросу. Статья по поводу «Русской беседы» об общинном владении, статья по поводу книги Гакстгаузена «О поземельной собственности»; «Критика философских предубеждений против общинного владения», «Экономическая деятельность и законодательство», «Суеверия и правила логики», «Труден ли выкуп земли», «О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадьбы», наконец, перевод политической экономии Стюарта Милля и примечания к нему».[1]

В рядах защитников интересов крестьянских масс, в рядах защитников «мужика» от дикого помещика и «подлых либералов» типа Кавелина Н. Г. Чернышевский занимал выдающееся место. Это признавали даже враги Чернышевского. Посылались десятки, сотни доносов, обвинявших Чернышевского в «якобинстве» и содержавших требование убрать Чернышевского, заточить его в крепость, заковать в кандалы. Он был великим борцом за дело освобождения народа от крепостного рабства. После того как был арестован Чернышевский, Маркс неоднократно указывал русским революционерам на необходимость его освобождения и устройства ему побега из Сибири. Для осуществления этого дела Маркс лично предпринял целый ряд мер — вплоть до выдачи Лопатину денег на организацию побега Чернышевского.

Ленин отмечает гениальность Чернышевского, когда говорит об оценке последним сути «крестьянской реформы». Высказывания Чернышевского о самодержавии, крепостничестве и либералах того времени Ленин называет «гениальными провидениями», «превосходным пониманием современной ему действительности».

В своей работе «Что такое друзья народа» Ленин наиболее полно и всесторонне осветил вопрос об отношении Н. Г. Чернышевского к крестьянской реформе 1861 г. Ленин указал на «превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности, понимание того, что такое крестьянские платежи, понимание антагонистичности русских общественных классов. Важно отметить также, что подобные чисто революционные идеи он умел излагать в подцензурной печати.

[1] Шелгунов. Воспоминания, стр. 181.

В нелегальных своих произведениях он писал то же самое, но только без обиняков».[1]

«Нужна была именно гениальность Чернышевского, — говорит Ленин в той же работе, — чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер, — чтобы понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприацию крестьянства. И при этом Чернышевский понимал, что существование правительства, прикрывающего наши антагонистические общественные отношения, является страшным злом, особенно ухудшающим положение трудящихся».[2]

«Чернышевский понимал, — пишет Ленин далее, — что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести «мерзость», жалкий компромисс интересов либералов (выкуп — та же покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой помещикам. И он протестовал, проклинал реофрму, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов».[3]

Н. Г. Чернышевский был последовательным революционным борцом против крепостничества, он всецело стоял на стороне крестьянских масс, требуя передачи помещичьей земли крестьянам без выкупа. В статьях по крестьянскому вопросу он отстаивал революционное решение аграрного вопроса — «Вся земля мужицкая, выкупа никакого! Убирайся, помещики, пока живы!».[4] Еще раньше, в 1859 г., в письме к Герцену Чернышевский вместе с Добролюбовым писал: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничего кроме топора не поможет. И пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат. К топору зовите Русь».[5] Чернышевский в эпоху реформы 1861 г. был лучшим революционным борцом за дело народа.

Чем же объяснить, что Покровский приписал Н. Г. Чернышевскому «меньшевистскую тактику» в аграрном вопросе? Причина этого кроется в том, что даже в освещении вопросов революционного движения в России Покровский как историк находился под влиянием буржуазной

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 178.
[2] Там же, 179.
[3] Там же, 179—180.
[4] Н. Г. Чернышевский. Пролог прологов.
[5] Н. Г. Чернышевский. Литературное наследство, II («Письмо русского человека» в «Колоколе»).

историографии и не всегда критически относился к этим работам, даже в тот период, когда уже считал себя марксистом. Некритическое отношение к буржуазным работам часто приводило Покровского к поразительным противоречиям, к «профессорской» эклектике и извращению исторических фактов. В своих последующих работах о Н. Г. Чернышевском Покровский не развернул большевистской критики своих неправильных воззрений, граничащих с фальсификацией истории революционного движения в России.

Некритически восприняв утверждение, что автором «Великорусса»[1] (прокламация тайного общества 1861 г., очень умеренного в своих политических требованиях) является Н. Г. Чернышевский, Покровский скоропалительно приходит к выводу, что раз Чернышевский — автор этой прокламации, то, следовательно, он является сторонником мирных методов борьбы. А дальше, комментируя воззвание «К барским крестьянам», он — уже в этом важнейшем документе эпохи 60-х гг., написанном Чернышевским, находит «меньшевизм», причем ссылается на следующее место воззвания: «Надо спокойствие сохранять и вида никакого не показывать» — место, которое, кстати сказать, совершенно не стоит ни в каком противоречии со всем контекстом воззвания и в котором автор воззвания указывает на необходимость более тщательной подготовки восстания, и только.

Лишь в дни столетнего юбилея со дня рождения Чернышевского Покровский вынужден был отказаться от извращающего историю революционного движения 60-х гг. утверждения, что Чернышевский был представителем меньшевистской тактики. Покровский не мог этого не сделать, потому что стали широко известны освещенные Лениным факты истории 60-х гг. — эпохи Чернышевского, неопровержимо доказывающие громадную историческую роль Н. Г. Чернышевского как боевого и последовательного демократа в борьбе за идею крестьянской революции, за идею свержения всех старых властей.

Чернышевский и Добролюбов всячески высмеивали так называемое «освобождение» крестьян, называя реформу бессовестнейшим грабежом, надувательством крестьян. Н. Г. Чернышевский никогда не был либералом, наоборот — он всегда, до конца своей жизни, боролся с либералами всех мастей.

В статье «Крестьянская реформа и пролетарски-крестьянская революция» Ленин показывает страх либералов перед революцией, перед движением масс и при этом подчеркивает громадную историческую роль Н. Г. Чернышевского в разоблачении «гг. либеральных освободителей». Именно Чернышевский презрительно третировал подлость либералов и их измену делу освобождения крестьян. «Он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьян-

---

[1] Базилевский В. Материалы по истории революционного движения в России 60-х гг. Прокламация 60-х гг.

ской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. «Крестьянскую реформу» 61-го года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он назвал *мерзостью,* ибо он ясно видел ее крепостнический характер, ясно видел, что крестьян обдирают гг. либеральные освободители, как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский называл «*болтунами, хвастунами* и *дурачьем*», ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими».[1]

У Покровского нет ни одного слова о том, что великий русский демократ, революционер-просветитель Н. Г. Чернышевский — гениальный сын великого русского народа, его украшение и гордость. Н. Г. Чернышевский считал себя «сыном родины». Ведя борьбу против крепостного права, он заботился о приближении «настоящего счастливого дня» для своего народа. Он «страстно, беспредельно желал блага родине», он хотел служить ей, как «истинный сын своей родины». «Существенная польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник посредством своей публичной деятельности, состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знания — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знания, лишь бы захотел, — но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще недостаточно распространена. В этом смысле лозунгом у нас должны быть слова поэта: «Ты вставай, во мраке спящий брат».[2]

Н. Г. Чернышевский верил в светлое будущее нашей страны, в прекрасное будущее великого русского народа. Ленин в своей статье «О национальной гордости великороссов» писал о Чернышевском как о «великорусском демократе», который отдавал свою жизнь делу революции, был преисполнен чувствами настоящей любви к родине.

«Мы помним, — писал Ленин в этой статье, — как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация *тоже* создала революционный класс, *тоже* доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами».[3]

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 144.
[2] Н. Г. Чернышевский. Соч., II, 405.
[3] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 81.

Действительными патриотами нашей родины были люди, прославившие русское имя чудесными творениями человеческой культуры, враги самодержавия и помещичье-капиталистического гнета, беззаветные борцы за дело трудящихся и эксплоатируемых масс. «Высокие патриотические чувства жили в сердцах Пушкина и Белинского, Добролюбова и Чернышевского, целой плеяды революционеров, людей, прокладывавших новые пути в общественной жизни, в науке и искусстве».[1] Чтобы понять это, надо прежде всего решительно осудить те неправильные взгляды, которые развивал Покровский в связи с этими великими именами и в том числе — с именем Н. Г. Чернышевского.

[1] Правда, № 99/7424, 10 апреля 1938.

А. Л. ПОПОВ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА САМОДЕРЖАВИЯ В XIX В. В «КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» М. Н. ПОКРОВСКОГО

ВВЕДЕНИЕ

Задача преодоления того вреда, который нанес Покровский развитию исторической науки, требует от нас самого внимательного, тщательного и всестороннего пересмотра его литературного наследства. Критический пересмотр развитых им концепций внешней политики царской России XIX и XX вв. представляет особенную важность в виду того монопольного положения, которое занимал Покровский на этом участке исторического фронта. Пересмотр этот представляет вместе с тем особенную трудность потому, что именно данная область истории царской России отличается сугубым отставанием в деле мобилизации исторических источников и вместе с тем сугубым отставанием в деле монографических разработок отдельных частных проблем; что именно в этой области на трудах историка-публициста сказывались с особой силой, с одной стороны, влияния его идеологических «предков», влияния старой публицистики народников и других мелкобуржуазных социалистов, с другой стороны — влияния западноевропейской буржуазной исторической и публицистической литературы. Чтобы лечить болезнь, надо знать историю этой болезни. Чтобы пересмотр ошибок, совершенных Покровским на данном участке исторического фронта, был плодотворен, нужно дать себе ясный отчет в происхождении этих ошибок.

Старая русская дворянская и буржуазно-дворянская историография вопросам внешней политики уделяла не мало места и внимания. Но это относится главным образом к ранним периодам истории до начала XIX в. включительно. Разработка вопросов внешней политики XIX в. прогрессивно замедляется и постепенно сходит на-нет.

Период царствования Александра I можно считать разработанным удовлетворительно. Николаевский период оказался уже в худшем положении, период Александра II — еще в более худшем. Внешняя политика Александра III освещалась только в отношении отдельных частных вопросов. Характерно, что русско-турецкая война 1877—1878 гг. так и осталась без своего историка. Был один вопрос — ближневосточный, который привлекал внимание историков, стремив-

шихся охватить проблему во всей ее полноте, на протяжении всего XIX в. Но вопрос этот трактовался исследователями преимущественно в плоскости юридической и публицистической. Труды военных историков, разрабатывавших отдельные вопросы из истории русской колониальной политики, были посвящены преимущественно стратегическим и тактическим операциям и отчасти методам колониальной экспансии — дипломатическую сторону дела они оставляли совершенно в стороне.

Все эти работы, при всей крупнейшей исторической ценности многих из них, не шли дальше накопления фактического материала. Общей концепции истории той международной борьбы, какую вела царская Россия на протяжении всего XIX в., дворянско-буржуазная историография, если не считать отдельных попыток, нам не оставила.

Те элементы концепции, какие прощупываются в этом старом историографическом наследстве, отличаются чертами классовой ограниченности. Актуальность тематики содействовала также тому, что буржуазно-дворянские историки, работавшие над вопросами внешней политики самодержавия XIX в., культивировали в своих трудах официальные легенды или ограничивались публицистическим подходом к вопросам.

У Богдановича Наполеону, отличающемуся «ненасытным властолюбием», «увлекаемому страстями» и стремящемуся «к преобладанию в Европе», противопоставляется Александр I как носитель «земного величия и небесной благодати», несущий народам Европы «слово мира».[1] У Соловьева вмешивающейся в европейские дела Франции противопоставляется Россия, которая «прямо выставляет свое начало и свою цель: действовать для блага человечества, общего спокойствия и независимости государств».[2] «Европа, — согласно Соловьеву, — была спасена неутомимой деятельностью Александра — Агамемнона среди царей».[3] То же положение доказывал и Татищев, дополняя его утверждением, что Николай I продолжал дело своего брата и что средством для осуществления его целей попрежнему являлся Священный союз.[4] Нужно сказать, что Татищев привносил новый момент в эту официальную концепцию, подчеркивая, что Николай I «считал своим правом независимо от них (своих союзников — *А. П.*) действовать» в восточном вопросе.[5] Татищев доказывал, что ошибка дипломатии Николая I заключалась в том, что слишком много было растрачено сил понапрасну на «спасение союзных нам государств от революционной за-

---

[1] М. Богданович. История отечественной войны 1812 г., I, 1—2, СПб., 1860.

[2] С. Соловьев. Император Александр I. Политика. Дипломатия, стр. 28. СПб., 1877.

[3] Там же, 560.

[4] С. Татищев. Внешняя политика Николая I, стр. 3—8, 37. СПб. 1887.

[5] Там же, 14.

разы, бывшей собственно для России опасностью призрачной»,[1] что в то же время не было проявлено достаточно энергии и твердости, чтобы защитить от «Европы» завоеванное Россией право преимущественного покровительства балканским христианам, то право, в существовании которого заключалось для России все значение восточного вопроса.[2] Отсюда же вытекало и даваемое тем же Татищевым определение русско-турецкой войны 1877 г. как войны, предпринятой «во имя человеколюбия, соображений высшего порядка, исключавших всякий своекорыстный расчет с нашей стороны».[3] Противопоставление злобной, своекорыстной, безнравственной, подверженной революционной заразе Европе — человеколюбивой, миролюбивой, носительницы высших нравственных начал России, какое свойственно концепции Татищева и его предшественников, было, как известно, возведено Данилевским в закон истории. Россия призвана, по Данилевскому, к разрешению восточного вопроса потому, что в вопросе этом проявляется борьба романо-германского или католического мира с миром грекославянским или православным.[4] Эта же концепция была усвоена Бухаровым и развита в его исследовании, посвященном истории русско-турецких отношений.[5]

Актуальность исторической тематики содействовала скорейшему превращению буржуазно-дворянских историков, работавших в области внешней политики самодержавия XIX в., в публицистов и их исторических построений в оправдание проводившейся самодержавием внешней политики. История завоевания Средней Азии — и согласно Терентьеву, и согласно Мартенсу — сводилась к вынужденной обороне от «дикарей», «не признающих ни международных и никаких прав, кроме права силы».[6] Романовский выводил историю среднеазиатских походов 60-х годов из необходимости оказать «помощь» киргизам, страдающим от «неурядиц в степи».[7]

Необходимо подчеркнуть, что в позднейшее время историки из лагеря кадетской партии, той партии, лидер которой считал работу в области внешней политики своим первым призванием и который упрекал русское общество в «равнодушии» к вопросам внешней политики,[8] не дали ничего в области систематического освещения внешней политики XIX в. Иллюстрацией может служить «Курс истории Рос-

---

[1] С. Татищев. Ук. соч., стр. 626.

[2] Там же, 629—639.

[3] С. Татищев. Дипломатические беседы о внешней политике России, стр. 29—30. СПб., 1890.

[4] Данилевский. Россия и Европа, стр. 330, 425, 426. СПб., 1889.

[5] Бухаров. Россия и Турция, 100. СПб., 1878.

[6] А. Терентьев. История завоевания Средней Азии. I. 6—7. СПб., 1906.

[7] Д. Романовский. Заметки по среднеазиатскому вопросу, стр. 18. СПб., 1868.

[8] П. Милюков. Балканский кризис и политика Извольского, стр. 55. СПб., 1910.

сии XIX в.» А. Корнилова. Корнилов исходит из положения о том, что, достигнув берегов Черного и Каспийского морей, царизм мог считать «формирование государственной территории великого царства» законченным и сосредоточить «главные силы и средства страны» «на удовлетворении нужд самого народа».[1] В виду этого вопросами внешней политики XIX в. Корнилов на протяжении всего курса занимается мало, и они появляются только в связи с войнами. Войны, таким образом, не связаны у Корнилова с общим ходом внешней политики царизма, они оказываются не продолжением политики, а случайно разразившимися событиями, приносящими стране ту или иную степень разорения. Поэтому стержневой вопрос внешней политики царской России — ближневосточный — из истории Корнилова выпадает совершенно. Под влиянием факторов случайного характера колеблющийся Александр I начинает завоевание Кавказа.[2] «Подчиняясь голосу народному», требовавшему защитить греков от турецкого насилия, колеблющийся Николай I предпринимает продвижение на Балканах.[3] Восточная война 1853—56 гг. рассматривается тоже как эпизод и только как война с Турцией, «осложнившаяся вмешательством» Англии, Франции и Сардинии.[4] Причины этого вмешательства историк ищет только в позиции Франции, причем оказывается, что Наполеон III осаждал Севастополь с «определенной практической целью» — «освобождения Польши».[5]

Назревание «восточного вопроса» относится, по Корнилову, только к периоду царствования Александра II. Только к этому времени в качестве враждебной России силы на турецком Востоке появляется Англия.[6] Англо-русская вражда возникает на страницах корниловского «курса» не на Ближнем Востоке, а в Средней Азии, и возникает потому, что «наши военные власти, особенно начальники пограничных войск, были постоянно обуреваемы стремлением так или иначе восстановить нарушенный престиж нашей армии» и «лично отличиться».[7] В том же плане происходило и присоединение Амурского и Уссурийского краев. Изложением событий войны 1877—1878 гг. Корнилов фактически заканчивает обзор внешней политики царской России.

Подвергая вопросы внутренней политики детальному изучению, автор «Курса» давал не только крайне поверхностную и лишенную какого-либо классового анализа, но и неверную историю внешней политики царской России, Лишив царскую Россию той системы внешней политики, которую проводило самодержавие, Корнилов провинциализировал всю историю России XIX в. и уже тем самым дал искаженную картину ее.

---

1 А. Корнилов. Курс истории России, I, 10—11, М., 1912.
2 Там же, 268.
3 Там же, II, 36.
4 Там же, 111.
5 Там же, 135.
6 Там же, III, 201.
7 Там же. 197 и 199.

Немногие строки «Курса», посвященные истории внешней политики, изобилуют многочисленными либеральными сентенциями, становящимися все более умеренными по мере приближения автора к концу XIX в. Наивное морализирование кадетского профессора по случайным поводам не помогло делу: никакой цельной концепции внешней политики царской России XIX в. в корниловском «Курсе истории России XIX в.» нет.

Было бы неправильно думать, что основные черты тех концепций внешней политики царской России XIX в., какие складывались в недрах буржуазно-дворянской историографии в разработке отдельных проблем, оставались без изменений. Достаточно указать на те сдвиги, какие заметны в трактовке дореволюционной историографией ближневосточной политики царской России. Тезис об исторической миссии России на Балканах, об идее преимущественного права покровительства балканским народам, как главном движущем факторе русской политики на Востоке, к началу XX в. эволюционирует в дворянско-буржуазной историографии применительно к реальной заинтересованности России в проливах. В исторической литературе, посвященной внешнеполитической тематике, давали себя знать известные «шаги» по пути буржуазного развития, хотя в этой области они неизбежно были гораздо менее значительны, чем в исторической литературе, посвященной вопросам внутренней политики царской России.

Взгляды мелкобуржуазной радикальной интеллигенции на вопросы внешней политики царской России XIX в. в дореволюционной исторической литературе не получили яркого отражения. Это приходится объяснять в значительной мере тем пониженным интересом, какой проявляла демократическая интеллигенция последней четверти XIX в. к вопросам внешней политики. Известно, что народничество 70-х годов (до образования «Народной воли», стояло на полуанархической точке зрения, было проникнуто отрицательным отношением к «политической революции и буржуазной политической свободе».[1] Землевольцы начисто выбрасывали из своего теоретического арсенала вопросы международной политики. Высказываний по интересующему нас вопросу в народнической печати 70-х годов крайне мало. Характерно, как подходил к вопросам внешней политики издававшийся в Женеве в 1875—1876 гг. орган анархистов-федералистов «Работник».

«Из-за чего воюют вот уже несколько лет в Туркестане? — читаем мы в журнале. — Мала Россия стала? Или губернатору да начальствам мест нехватило? Видно, начальство военное соскучилось, давно орденов не получало».[2]

Возвращаясь к той же теме в одном из последующих номеров, редакция журнала писала: «Завел Александр Николаевич грабеж в хи-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., VIII, 361.
[2] Работник, № 1, ст. «Солдатчина, налоги и земство», январь 1875 г.

винских, да бухарских степях... пишут во все концы о победах христолюбивого воинства, — а какие там к дьяволу победы... переводят порох во славу царскую».[1] Вопросы внешней политики играли в журнале чисто служебную роль, роль материала агитационного порядка; главное было в «уничтожении» «заклятого врага» — «государства».[2]

Известно, что события 1876 г. нашли некоторый отклик в народнических кругах. К вспыхнувшему в связи с боснийско-герцеговинским восстанием добровольческому движению цитированный нами «Работник» отнесся сочувственно, видя в этом стремление к участию в «бунте в славянских землях».[3] В том же 1876 г. редакцией «Вперед» издается «Славянский сборник». Постепенно приближавшийся к позициям народничества Драгоманов входит в нелегальный Славянский комитет в Киеве, Желябов — в Одесский комитет. Тогда же Драгоманов выступил в петербургской газете «Молва» с призывом к войне с Турцией и к изгнанию турок из Европы,[4] а на страницах «Отечественных записок» появляется ряд статей Елисеева и Мордовцева, призывавших «земскую народную Россию» к «русскому крестовому походу» для свержения турецкого владычества на Балканах.[5] С таким же призывом выступил Михайловский, известный до того своим скептическим отношением к славянофильским теориям. Он говорил теперь о славянах, как о «бессословном трудящемся люде, который не может донести до рта им самим изготовленного куска»: «донести кусок полностью до рта значит выгнать турку».[6] Кравчинский, Сажин, Клеменц поехали на Балканы добровольцами. Известно, что добровольчество не захлестнуло широких народнических кругов. Фроленко наотрез отказался ехать на Балканы, собираясь ехать в Чигирин и предпочитая иметь в Чигирине свою Герцоговину, вместо того чтобы в Герцоговине искать свой Чигирин.[7]

Поехавшие скоро вернулись разочарованные. Михайловский уже в конце 1876 г. признавался в своих увлечениях балканским вопросом, а в марте 1877 г. говорил об «элементе спекуляции» в публицистической литературе, посвященной событиям на Балканах.[8] В своем отношении к происходившим на Балканах событиям народническая мелкобуржуазная интеллигенция, как известно, раскололась на два

---

[1] Работник, № 13, январь 1876 г.

[2] Там же, № 8, август 1875 г.

[3] Там же, № 6, июнь 1875 г.

[4] В статье «Чистое дело требует чистых рук». См. Д. Заславский, М. Драгоманов, стр. 147.

[5] Отечественные записки, стр. 366—369, июнь 1876 г.; стр. 264—265, декабрь 1876 г.

[6] Отечественные записки, VII и X, 1876. См. Михайловский. Соч., III, 841 и сл.

[7] Голос минувшего, № 5—6, 1916. Е. Колосов. стр. 330. См. Сборн. «О минувшем», СПб., 1909. Воспоминания М. Фроленко, стр. 234—287.

[8] Отечественные записки, III, 151—152, 1877.

лагеря. Характерны надежды, какие связывались с событиями у той ее части, у которой временно возродились впитанные вместе с бакунизмом элементы панславизма и которая ориентировалась на «приятие» войны.

Заметим попутно, что Драгоманов, которого, как известно, приходится рассматривать только как временного попутчика народничества, еще в 1872 г. выступил на страницах «Вестника Европы» с попыткой дать анализ международной обстановки, складывавшейся на Ближнем востоке. В основе развитой им концепции лежала мысль о том, что антагонизм между Россией и Пруссией составляет ось всей международной политики на Ближнем Востоке; мысль эта приводила Драгоманова к теории борьбы между германством и славянством. Если Драгоманов, работавший специально над национальным вопросом, в своей попытке освещения одной из национальных проблем не понял международной обстановки и поставил ее своею трактовкою на голову русским народникам, выключавшим из своего теоретического арсенала не только вопросы международной политики, но и вовопросы национальные, тем труднее было дать правильный исторический анализ событий. Не поняв действительного характера национально-освободительного движения в Герцоговине, переоценив силу его, не видя той поддержки, какую оказывали этому движению правительства Австрии и России, не понимая действительного характера австро-русских отношений на Балканах, Михайловский отправлялся от мысли о том, что «выгнать турку значит решить социальный вопрос» на Балканах.[1]

Не менее характерны доводы, приводившиеся теми теоретиками народничества, которые заняли в период балканского кризиса диаметрально противоположную позицию.

«Страданиям масс, — писал Лавров, — не могут помочь войны, которые передадут территории из одного государства в другое...» «Всякое увлечение, — говорил он, — отвращающее внимание общества от экономической болезни, в нем существующей, есть вред для существующего дела...»[2]

«Южные славяне, — пояснял Лавров свои взгляды на национальное движение на Балканах, — подданные Милана или Франца-Иосифа, могут, независимо от границ, образовать для народной пропаганды и организации плодотворную почву, которая вызвала бы в надлежащую минуту народное движение в чисто социалистическом духе во всех юго-славянских землях».[3]

Заслуживают особого внимания взгляды, какие развивал по вопросу о русской политике на Балканах народнический публицист Кривенко, выступавший в 1878 г. с полемикой против Костомарова.

---

[1] Михайловский. Соч., III, 837—838.

[2] Вперед, № 42, октябрь 1876 г., ст. Лаврова «Русские перед южнославянским вопросом».

[3] Там же, № 44, октябрь — ноябрь 1876 г.

Считая, что войны, которые вел Николай I с Турцией, были лишены для России всякого «жизненного значения» и преследовали цели только идеологического порядка, Кривенко развивал мысль о том, что у болгар и сербов гораздо больше «духовного родства» с Австрией, нежели с Россией, что босняки — убежденные австрофилы и что «Австрия не может нанести никакого удара по самостоятельности» балканских народов. Кривенко доказывал, что разговоры о национальном гнете, какой испытывают балканские славяне от турецких властей, являются выдумкою и что болгарские и сербские крестьяне гораздо больше страдают от своих единоплеменных капиталистов, нежели от турецких властей. Кривенко приходил к выводу, что вопросы национальных движений балканских народов и вопросы международной борьбы на Балканах как «замедляющие поток истории», должны уступить место «внутренним вопросам», которые «гораздо более возвышенны и общи». Кривенко призывал своих соотечественников, оставив Балканы, обратиться лицом к русской «деревне».[1]

Как бы ни были значительны расхождения между представителями народничества в период балканского кризиса второй половины 70-х годов, для них было обще одно: 1) непонимание значения национальной проблемы, выражавшееся у одних в том, что буржуазно-демократическое движение принималось за социалистическую революцию, у других — в том, что национальная проблема сбрасывалась со счетов революционной стратегии; 2) непонимание значения вопросов международной борьбы, выражавшееся у одних в том, что акции секретной дипломатии европейских держав принимались за чистую монету, у других — в том, что акциям этим не придавалось никакого значения и все вопросы международной политики и международной борьбы выбрасывались за борт истории.

Не приходится удивляться тому, что ни по одному интересующему нас вопросу международной политики не высказалась публицистика чернопередельцев, которые, по словам Маркса, были уверены, что «Россия должна одним махом перескочить в анархистско-коммунистически-атеистический рай».[2]

Не много может предъявить по интересующему нас вопросу и народовольческая журналистика.

Можно даже сказать, что вопросы внешней политики приобретали в глазах мелкобуржуазных радикалов политически одиозный характер. В статье «Наша печать и ее грех перед народом», помещенной в одном из номеров легального «Русского богатства» за 1886 г., народнический публицист выражал сожаление о том, что

---

[1] Отечественные записки, апрель 1878 г., ст. С. Н. Кривенко «Г-н Костомаров об исторической задаче». См. С. Кривенко, Соч., I, 394—412. СПб., 1911.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXVII, 100.

печать уделяет внимание вопросам внешней политики, мало занимаясь тем, что делается «у нас под носом». «Вместо того чтобы заниматься Болгариями, — писал он, — занялись бы Опочками, Суджами и Царевококшайсками... Великое зло было бы предупреждено».[1] А когда мелкобуржуазным радикалам случалось высказываться о том или ином конкретном проявлении этого «зла» в области внешней политики, отношение их к царизму как носителю «зла» застилало перед ними конкретные вопросы той борьбы, какую вела Россия на международной арене, все вопросы международной политики. «Поведение России во всех своих видоизменениях оставалось всегда одинаково позорным», — заявлял в том же году нелегальный народовольческий орган,[2] определяя внешнюю политику царской России как универсальное абсолютное зло, не видя на международной арене никаких иных носителей «зла», кроме царизма, и обращаясь со словами поощрения к ставшему в Болгарии у власти министерству австрофильской ориентации, беспощадно расправлявшемуся со своими политическими противниками.

Известно, что в те годы, когда раскалывалась деревня, «вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму; с другой — выродившись в пошлый мещанский радикализм».[3] В области освещения вопросов внешней политики этот мещанский радикализм проявлялся, с одной стороны, в своеобразной царевококшайской ориентации, которая в дальнейшей своей эволюции вела к мелкобуржуазному пацифизму. Он готов был проявиться в те же 80-е годы в своеобразной теории Южакова об англо-русской борьбе как о борьбе русского «мужика» с «английским лендлордом».[4] В дальнейшем, в 90-х годах, он проявлялся у некоторых эпигонов народничества в историческом оправдании происходящего на Дальнем Востоке раздела Срединной империи.[5] А когда дела царизма вовне и внутри пошли хуже и на сцене появился японский империализм, мелкобуржуазные радикалы заметались между проповедью борьбы с «желтой опасностью»[6] и внешнеполитической ориентацией на Японию.

В этом же плане шло формирование внешнеполитической ориентации и в лагере меньшевизма. Ни одной работы по истории внешней политики царской России XIX в. от меньшевиков не осталось. Характерно, что Н. Рожков в последних двух томах своей 12-томной «Истории России», обнимающих 788 страниц и посвященных 80-летнему периоду русской истории, уделяет вопросам внешней политики не более 15 страничек, крайне бедных по содержанию.

---

[1] Русское богатство, 197—204, декабрь 1886 г.
[2] Листок народной воли, № 3, ноябрь 1886 г.
[3] В. И. Ленин. Соч., I, 165.
[4] С. Н. Южаков. Англо-русская распря. СПб., 1885.
[5] Русское богатство, № 2. 1898. С. Южаков. Политика, стр. 107—131.
[6] Там же, № 3, 1904. С. Южаков. Политика, стр. 125—136.

Не менее характерна в этом отношении и меньшевистская публицистика. В начале XX в., когда исторические события потребовали ответа по ряду международных вопросов и прежде всего по вопросу об отношении к русско-японской войне, меньшевики дали такой ответ. «Ни победа, ни поражение, а прекращение войны»... — писал Дан в июне 1904 г.[1] Лозунг «мира во что бы то ни стало» выставил Мартов в январе 1905 г.[2] За ним с лозунгом «мир и свобода» шел предатель Троцкий. Тогда же меньшевики начали становиться на позиции социал-шовинизма, который таким пышным цветом расцвел в период первой империалистической войны.

Павлович, бывший в ту пору меньшевиком, изображал японский империализм как «молодого птенчика», «беспомощного слабого Ниппона», выпорхнувшего из «теплого материнского гнездышка», чтобы сразиться с напавшим на него его «вековым притеснителем», «хищным русским орлом».[3]

Три года спустя, когда в противовес тройственному союзу сложилось тройственное согласие, Павлович, примиряясь с фактом создания тройственного союза, определял образование Антанты как «одно из самых мрачных явлений международной политики последних десятилетий»,[4] а юнкерской Германии приписывал «выдающуюся роль в успехе персидского революционного движения» и считал ее интересы «совпадающими» с интересами «пробуждающегося к новой жизни» и «стремящегося к политической и национальной независимости» мусульманства.[5]

В убогом теоретическом и политическом арсенале мелкобуржуазных радикалов на рубеже XX в. было много старого оружия, унаследованного от народнических предков. Известно, что народники вопросам экономического и социально-политического развития России давали такое решение, которое, по словам Ленина, оказалось «никуда негодным, основанным на отсталых теориях, давно уже выброшенных за борт Западной Европой, основанных на романтической и мелкобуржуазной критике капитализма, на игнорировании крупнейших фактов русской истории и действительности».[6]

К числу вопросов, которые игнорировались народнически настроенной мелкобуржуазной интеллигенцией, игнорировались принципиально, как идущие «от лукавого», принадлежали и вопросы внешней политики царской России XIX в. А когда жизнь заставляла давать ответы на эти вопросы, ответы давались «никуда негодные, основанные на отсталых теориях».

Недаром Энгельс в 1890 г. указывал на то, что «русские рево-

---

[1] «Искра» № 69, 10/VI 1904 г. Ст. «Дорогая цена».
[2] Там же, № 83, 7/I 1905. Ст. «На верном пути».
[3] М. Павлович. Русско-японская война, стр. 46, 1925.
[4] Общественное движение в России в начале XX в., IV, 248. СПб., 1910.
[5] Там же, 233.
[6] В. И. Ленин. Соч., II, 323.

люционеры подчас обнаруживают сравнительно очень слабое знакомство с этой стороной русской истории. Это объясняется, во-первых, тем, что в самой России на этот счет допускается только официальная легенда, а во-вторых, многие слишком презирают царское правительство, считая его по его ограниченности и продажности не способным ни на какие разумные действия. В области внутренней политики это, впрочем, и верно; тут бессилие царизма совершенно очевидно. Однако нужно знать не только слабые, но и сильные стороны противника. А внешняя политика — это безусловно та область, в которой царизм силен, очень силен...»[1]

Чтобы понять то положение, какое создалось в области изучения истории внешней политики царской России XIX в., надо иметь в виду, что на ряду с официальною легендою, какая творилась в этих вопросах в пределах царской России, наперекор этой легенде и направленная прямо против нее, в буржуазной западноевропейской историографии и публицистике творилась другая легенда, гораздо более искусная, богатая и импозантная. Заметим попутно, что русская буржуазно-дворянская археография в вопросах международной политики XIX в. не оказала историкам нужной поддержки. Так называемая «секретная» переписка, хранившаяся в русских дипломатических архивах, как правило, не публиковалась и, как правило же, становилась достоянием западноевропейских публицистов раньше, чем стать предметом изучения русских историков, громадное большинство которых доступа к архивным первоисточникам также не получало.[2]

В результате западноевропейская историография в лице Bapst, Hanotaux, Charles Roux, Schimann и др. могла претендовать даже на то, чтобы в таком коренном для русской внешней политики во-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 6.

[2] Богданович, Татищев, Зайончковский, отчасти А. Н. Попов (автор книги «Дипломатические сношения России перед войной 1812 г.») — вот и весь перечень историков внешней политики XIX в., имевших доступ к дипломатическим архивам. Директор гл. архива мин. ин. дел Горяинов и советник мин. ин. дел Ф. Мартенс, разумеется, этого доступа не могли не иметь. С. М. Соловьеву приходилось работать над иностранными источниками.

Публикации, предпринятые в. кн. Николаем Михайловичем по дипломатической истории александровского царствования, также основаны на материалах иностранных архивов. В то же время основная секретная дипломатическая переписка российского мин. ин. дел (главным образом по восточному вопросу), относящаяся к 20-м гг. XIX в., публиковалась в Лондоне английским публицистом Уркартом (в сборниках, издававшихся в 1836—1837 гг. под заглавием «The Portfolio a collection of State. Papers and other documents»). Дипломатическая переписка российского мин. ин. дел с прусским дипломатическим ведомством за период 1801—1808 гг. оказалась опубликованной в Берлине. Переписка министерства по греческому вопросу за период 1821—1830 гг. была опубликована в Вене. Переписка по вопросу об оккупации Болгарии 80-х гг. частично была опубликована в Софии.

просе, как ближневосточный, заменить собою русскую историческую науку. В результате даже советские историки вынуждены были одно время в качестве основного пособия по истории международных отношений рекомендовать вузовцам работу представителя английской буржуазной историографии Гуча.[1]

Необходимо подчеркнуть, что классовый характер многих работ представителей западноевропейской историографии до сих пор остается невскрытым и творимые в них «легенды» принимаются часто некритически, на веру. Казалось, что такой обстоятельный и относительно объективный английский историк, как Гуч, может допускать известные отступления от истины в области таких фактов английской колониальной политики, как подавление махдистского восстания в Египте в 80-х годах XIX в. Но очень мало подвергали сомнению правильность даваемого Гучем освещения таких основных вопросов международной политики, как ближневосточный или среднеазиатский. Не отдавали себе ясного отчета в том, что Гуч дает такую трактовку этих вопросов, которая представляет собою прямое историческое оправдание политики, проводившейся империалистической Англией. Так, когда Гуч факт аннексии о. Кипра объясняет необходимостью защиты Турции от России,[2] когда, согласно Гучу, Англия начинает войну с Афганистаном в результате «вызванных Россией затруднений, в какие попал афганистанский эмир», и целью этой войны оказывается «обеспечение научных границ Индийской империи»,[3] когда английская оккупация Египта изображается Гучем как простое «увеличение британского гарнизона», вызванное неосторожной политикой неопытного «юного хедива»,[4] — становится ясным, что здесь мы имеем дело не с объективным исследованием английского историка международных отношений, но с рядом явных фальсификаций и с официальными британскими легендами. Здесь мы имеем своего рода продолжение проводимой британским правительством политики средствами, находящимися в распоряжении британской буржуазной историографии.

То же в еще большей мере следует сказать о западноевропейской исторической литературе, появлявшейся в дореволюционный период, в частности, об английской исторической литературе периода, предшествующего заключению англо-русского соглашения. Возьмем в виде иллюстрации получившую в свое время широкое распространение и даже переведенную на русский язык работу проф. Паркера, посвященную истории Китая.[5] Знаменитая «опиумная война», эта первая вооруженная агрессия Англии в Китае, согласно Паркеру, была вызвана не чем иным, как «недоразумением по вопросу о торговле

---

[1] Г. Гуч. История современной Европы, пер. с англ. М., 1925.
[2] Там же, стр. 20.
[3] Там же, 23.
[4] Там же, 164.
[5] Э. Паркер. Китай, его история, политика и торговля, пер. с англ. СПб., 1903.

опиумом и отказом китайцев уплатить стоимость принятого ими от англичан опиума»; китайцы, по словам Паркера, «сами признают, что ответственность за первоначальное распространение этого продукта падает на них самих». Вторая и третья войны Англии с Китаем явились, согласно Паркеру, результатом «трений» и «натянутых отношений», создавшихся вследствие упорного нежелания вице-короля Кантона допускать торговлю английских купцов в туземной части города.[1] Интервенцию Франции, действовавшей в ту пору в союзе с Англией, Паркер объяснял необходимостью защиты находившихся в Китае христиан, причем «на своем обратном пути из Китая, по словам Паркера, начальник французской эскадры завоевал часть Кохинхины».[2] Обрисовав в таких идиллических красках захватническую политику английского и французского капитала и поставив вопрос о том, какая держава извлекла для себя выгоды из столкновения Китая с Англией и Францией, Паркер утверждал, что «выгоды эти извлекла для себя одна только Россия».[3]

Возьмем трактовку среднеазиатской проблемы в работе члена Лондонского королевского географического общества Гамильтона, посвященной афганскому вопросу.[4] Работа эта писалась в ту пору, когда англо-русское соперничество в Средней Азии смягчалось благодаря заключавшемуся в 1907 г. англо-русскому соглашению. В работе этой свойственное английским теоретикам среднеазиатской проблемы традиционное руссофобство должно было проявляться в смягченных чертах. Как обрисовал Гамильтон английскую политику в Средней Азии? Она рисуется им как бескорыстная, лойяльная по отношению к среднеазиатским народам, отличающаяся исключительной пассивностью, заслуживающая даже упрека в нерадивости. В противовес ей Россия ведет, по Гамильтону, такую агрессивную политику, что даже заражает агрессивными настроениями шаха, у которого пробуждаются притязания на Герат. Экспедиция Бернса в Афганистан — только акт законной самообороны Англии от «козней русской дипломатии». Англо-афганская война 1838—1842 гг., как и англо-персидская война за Герат 1857 г. и англо-афганская война 1878—1880 гг., — все это только ряд законных «актов самообороны» со стороны Англии. На всем протяжении XIX в. бескорыстной, лойяльной и беспечной Англии приходится беспрестанно систематически отбиваться в Средней Азии от «предательских», «бесчестных», «гнусных замыслов» русской дипломатии.[5]

Если так обстояло дело в английской историографии на рубеже XX в., — в работах предыдущих десятилетий политические мотивы

---

[1] Э. Паркер. Китай, его история, политика и торговля, пер. с англ. СПб., 1903, стр. 167—171.

[2] Там же, 185—186.

[3] Там же, 167—171.

[4] Agnus Hamilton. Afganistan. Имеется русское издание: А. Гамильтон. Афганистан. СПб., 1908.

[5] Там же, 1—9, 40, 41.

англо-русской борьбы должны были проявляться с еще большей резкостью.

В своей историко-публицистической работе, относящейся к 1889 г. и посвященной продвижению России в Средней Азии, с ярко выраженной антирусской концепцией выступал Керзон.[1] Еще более резко на ту же тему выступал в 1875 г. Раулинсон.

Раулинсон доказывал, что Россия, проводящая «политику погромов» в Средней Азии и «запустившая свои зубы дракона в Хорасан», угрожает вторжением в Персию, стремится к завоеванию Герата и Кабула, к захвату Египта и Индии. Раулинсон указывал на историческую ошибку, допущенную Англией, в 1854/55 г. своей пассивностью оттолкнувшею от себя Персию, надеявшуюся на то, что англичане пошлют свои индийские войска на кавказский театр, с тем чтобы поднять восстание в Грузии и Армении и соединиться с Шамилем. Раулинсон приходил к заключению о необходимости для Англии «выйти из летаргии» и во имя защиты Персии и Герата оккупировать Афганистан.[2]

В 1874 г. Маркхэм давал «историческое» обоснование английской гегемонии в Аравии и в Южном Иране.[3] Наконец, 30-е годы XIX в. отмечены кипучей историко-публицистической деятельностью Уркарта, который, как мы уже говорили, благодаря своим изданиям секретных документов из русских дипломатических архивов, явился своего рода заместителем бездействовавшей русской буржуазно-дворянской археографии. Издававшиеся им сборники, известные под именем «Portfolio», помимо специфически подобранных архивных документов, содержали также статьи историко-публицистического характера, преследовавшие ярко выраженные политические цели. Подбор документов был таков, что русская политика в Европе вырисовывалась как политика реакционная и агрессивная, стремящаяся к утверждению русского влияния в Германии, а политика Меттерниха противостояла ей как «истинно либеральная» и чуждая завоевательных стремлений. Русская политика в Азии вырисовывалась перед читателем как политика ярко наступательная, направленная против интересов Англии, а политика Англии противостояла ей как политика «законной самообороны» и «бескорыстной защиты» азиатских народов от русской опасности. Публикация документов ставила своей целью подорвать австро-русский союз, содействовать политической изоляции России в Европе, подготовить английское «общественное мнение» к борьбе с Россией.

В статье, посвященной вопросу об англо-русских торговых отношениях, редакция сборников била тревогу по поводу того, что Россия выпадает из рядов потребителей английской мануфактуры, что она сама стремится вырвать у Англии рынки Молдавии и Валахии,

[1] G. Curson. Russia in Central Asia. 1889.

[2] M. Rawlinson. England and Russia in the East, 5, 40, 49, 69—91, 327—381, 385—393, 1875.

[3] Markham. History of Persia. 1874.

Кавказа, Персии и даже Турции. Так как русская система запретительных тарифов направлена прямо против Англии, английское правительство должно увеличить пошлины на предметы русского вывоза, чтобы побудить русское дворянство направить политику царя в английское русло, напомнив ему о том, что вражда Павла к Англии стоила ему жизни.[1]

В статье, трактующей о русской политике на Ближнем Востоке, развивалась мысль о том, что Наполеон своим походом в Россию защищал интересы европейской цивилизации от русского «варварства» и что ошибка английских политиков заключалась в том, что они не вступили в коалицию с Наполеоном.

Воинствующие публицисты и «историки» из «Portfolio» предупреждали о тех политических последствиях, какие будет иметь дальнейшее усиление мощи России, блокирующейся с Пруссией. «По одному сигналу из Петербурга, повторенному в Константинополе, Берлине и Александрии, вся Восточная и Центральная Европа, вся Турция, Европейская и Азиатская, вся доступная для торговли часть Африки, Аравии и Персии окажутся для Англии и для Франции безнадежно запертыми на замок, ключ от которого будет находиться в Петербурге...» Поддержать Турцию и «отбросить московитов в их родные снега» — таков единственный выход из положения.[2]

Так как завоевание Кавказа является, по Уркарту, самым важным событием в истории России, открывая ей возможность господствовать на Каспийском и Черном морях и угрожать Турции и Ирану, Англия должна сделать все, чтобы помешать России в овладении Северным Кавказом и Дагестаном.[3]

Разоблачая русскую политику в Польше и «Черкесии», публицисты из «Portfolio» противопоставляли России как историческому угнетателю малых народов Англию как призванную историей к защите и турок, и молдаван, и валахов, и поляков, и черкесов, и иранцев. Чтобы защитить и себя и других от русского «варварства», Англии не остается ничего иного, как овладеть Дарданеллами.[4]

Организованное при содействии Пальмерстона историко-публицистическое предприятие Уркарта служило питательной базой не только для формирования политических настроений английского «общественного мнения», но и для создания внешнеполитических легенд в западноевропейской и особенно английской историографии. Недаром Энгельс, знакомый с силой влияния Уркарта, предупреждал: «Постоянные занятия русской дипломатией привели Уркарта к убеждению, что она... единственный активный фактор современной истории; все же другие правительства — лишь пассивные оружия в ее руках, так что, если бы не его столь же преувеличенная оценка

[1] «Portfolio» во франц. изд., II, № 10, 37—44, 1836.
[2] Там же, II, № 12, 113—118.
[3] Там же, I, 298—299 и 495—496.
[4] Там же, I, № 4, 8—12.

силы Турции, нельзя было бы понять, почему эта всемогущая русская дипломатия давно уже не захватила Константинополя». Уркарт, по мягкому выражению Энгельса, стал «в позу некоего восточного пророка, возвещающего, вместо простых исторических фактов, тайную мистическую доктрину на таинственном сверхдипломатическом языке, доктрину, исполненную намеков на мало известные и едва ли даже установленные факты». [1]

Пример историко-публицистической деятельности Уркарта как своего рода историка русской дипломатии, выступавшего в ту пору, когда Англия стремилась сбросить Россию с занятых ею на Ближнем Востоке позиций и готовила свое наступление в Средней Азии, дает лишнюю иллюстрацию той сугубо политической роли, какую играют внешнеполитические концепции в работах буржуазных историков. Пример Уркарта напоминает о том, что, работая в области истории международной политики, историки, отражая интересы определенного класса, становятся вместе с тем участниками и продолжателями той борьбы, какую ведет данное государство на международной арене. Пример Уркарта показывает, какие специфические трудности и опасности стояли перед русской историографией, вынужденной в вопросах истории международной политики полагаться в значительной мере на заграничные публикации. Недаром еще в 1887 г., выступая со своим исследованием, посвященным истории внешней политики Николая I, представитель русской дворянской историографии С. Татищев признавался, что чувствует себя в положении воина, «вооруженного дрекольем» и отправляющегося в поход против неприятеля, снабженного усовершенствованным оружием науки и техники. [2]

* * *

Накануне и в годы первой русской буржуазно-демократической революции вопросы внешней политики приобрели актуальный интерес и значение также и для рабочего класса России и его авангарда — партии большевиков. Подобно Марксу, зорко следившему и чутко откликавшемуся на события международной жизни, Ленин не выпускал этих вопросов из поля своего зрения. Еще в 1900 г. он написал известную статью, посвященную «китайской войне». [3] Уже тогда на конкретном примере Ленин показал, как следует подходить к фактам международной политики. Он ставил прежде всего вопрос о том, в интересах каких классов ведет царская Россия данную войну. Не ограничиваясь этим, он показал, какие международные силы участвуют в войне, и дал исторически обоснованный анализ международной обстановки, создавшейся вокруг Китая как объекта захватнической политики великих держав. Анализируя в 1901 г. надвинувшийся на Россию промышленный кризис, Ленин подчеркивал обост-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 5—6.
[2] С. Татищев. Внешняя политика Николая I, VII и VIII.
[3] В. И. Ленин. Китайская война. Соч., IV, 60—64.

рившуюся международную борьбу за раздел мира и раздел Китая, явившегося для империалистов лакомым куском, «который сразу ухватили зубами капиталисты Англии, Германии, Франции, России и даже Италии».[1] Во время русско-японской войны в своей знаменитой статье «Падение Порт-Артура»[2] Ленин увязывал такой факт международной политики, как крушение царского господства в Квантуне, с внутренним положением России, с гнилостью царизма и с перспективами русской революции. Исходя из интересов революции, Ленин и большевики высказались за поражение царского правительства в начавшейся войне с Японией.

Позиция, занятая большевистской партией в вопросе об отношении к русско-японской войне, с предельной ясностью сформулирована в «Кратком курсе истории ВКП(б)»: «Народные массы не хотели этой войны и сознавали ее вред для России. За отсталость царской России народ расплачивался дорогой ценой.

Большевики и меньшевики по-разному относились к этой войне.

Меньшевики, в том числе и Троцкий, скатывались на позиции оборончества, то-есть защиты «отечества» царя, помещиков и капиталистов.

Ленин и большевики, наоборот, считали, что поражение царского правительства в этой грабительской войне полезно, так как приведет к ослаблению царизма и усилению революции.

Поражения царских войск вскрывали перед самыми широкими массами народа гнилость царизма. Ненависть к царизму в народных массах с каждым днем росла. Падение Порт-Артура — начало падения самодержавия, — писал Ленин.

Царь хотел войной задушить революцию. Он добился обратного. Русско-японская война ускорила революцию».[3]

В ту пору капиталистический мир уже вступил в бурную империалистическую полосу своего развития, чреватую новыми войнами и революциями, а русский пролетариат сделался авангардом международного революционного пролетариата, и «центр революционного движения должен был переместиться в Россию».[4]

«В России подымалась величайшая народная революция, во главе которой стоял революционнейший в мире пролетариат, имевший в своем распоряжении такого серьезного союзника, как революционное крестьянство России. Нужно ли доказывать, что такая революция не могла остановиться на полдороге, что она в случае успеха должна была пойти дальше, подняв знамя восстания против империализма?».[5]

---

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 165.
[2] Там же, VII, 44—50.
[3] История ВКП(б), стр. 53—54. 1938.
[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 7, 11-е изд.
[5] Там же, 5.

Как класс, выступивший на арену активнейшей политической борьбы, пролетариат не мог быть безучастным зрителем той внешней политики, какую проводила тайная дипломатия помещиков и верхушки буржуазии. Он не мог быть безучастным зрителем этой политики не только потому, что благодаря связанным с этой политикой вопросам — территориальным, платежей по внешним займам, таможенных тарифов, импорта иностранных товаров, производства товаров на экспорт, наконец вопросам войн, участником которых он с неизбежностью становился, — он оказывался непосредственно уже вовлеченным в происходящую на международной арене борьбу. Он не мог быть безучастным зрителем проводимой господствующими классами внешней политики также и потому, что, борясь с последними, он боролся за овладение государственной властью, за овладение правом распоряжаться внешней политикой государства, а следовательно за непосредственное участие в международной борьбе, за возможность воздействовать на международную обстановку в интересах борьбы международного пролетариата. Перед пролетариатом вставала задача дать марксистское теоретическое обоснование своих позиций в вопросах международной политики. Это же приводило к постановке на очередь вопроса о создании марксистской концепции истории внешней политики России.

«Отечество, т. е. данная политическая, культурная и социальная среда, — писал Ленин в 1908 г., — является самым могущественным фактором в классовой борьбе пролетариата... Пролетариат не может относиться безразлично и равнодушно к политическим, социальным и культурным условиям своей борьбы, следовательно, ему не могут быть безразличны и судьбы его страны. Но судьбы страны его интересуют лишь *постольку,* поскольку это касается его классовой борьбы».[1] А позднее, в эпоху империалистической войны, давая отповедь «империалистическим экономистам», отрицавшим право нации на самоопределение, Ленин определял это отрицание как извращение марксизма, как «карикатуру на марксизм» «В *действительно*-национальной войне слова «защита отечества» *вовсе* не обман, и *мы вовсе не против нее»,* — писал Ленин, поясняя, как надо «отличать действительно национальную войну от империалистической, прикрываемой обманно-национальными лозунгами».[2] В империалистическую эпоху, при анализе империалистических войн, Ленин требовал оценки каждой данной войны в целом с точки зрения интересов мирового пролетариата.

При изучении войны Ленин требовал исходить прежде всего из правильной оценки эпохи, но не ограничиваться этим: «Эпоха потому и называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, так и нетипичных».[3]

[1] В. И. Ленин. Соч., XII, 314.
[2] Там же, XIX, 197.
[3] Там же, 202.

Ленин требовал поэтому конкретного классового анализа каждой конкретной войны: «Основной вопрос при обсуждении социалистами того, как следует оценивать войну и как следует относиться к ней, состоит в том, из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась».[1]

Ленин требовал вместе с тем подходить к каждой войне как к процессу, уметь рассматривать ее диалектически: «Основное положение марксистской диалектики состоит в том, что все грани в природе и обществе условны и подвижны, что нет *ни одного* явления, которое бы не могло при известных условиях превратиться в свою противоположность. Национальная война *может* превратиться в империалистическую *и обратно»*.[2]

При изучении всякой войны Ленин требовал также ясного понимания «политики европейских держав в целом». «Надо взять всю политику всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении, чтобы понять, каким образом из этой системы неуклонно и неизбежно вытекла данная война».[3] Ленин указывал, что война есть продолжение политики иными, именно насильственными средствами; он требовал поэтому изучения «исторической связи всякой войны с предшествовавшей ей политикой каждой страны, каждого класса, который господствовал перед войной и обеспечивал достижение своих целей так называемыми «мирными» средствами».[4] Ленин требовал, таким образом, углубленного изучения истории внешней политики, истории международной борьбы.

В настоящее время, когда на территории шестой части мира, где исторически сложилась старая Россия, руками того же русского народа и всех других населявших Россию народов построено под руководством товарища Сталина великое многонациональное социалистическое государство, этот «прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики»,[5] изучение истории борьбы русского народа не только со «своими», но и с «чужими» поработителями приобретает первостепенное научное и политическое значение, становится нашей неотложной задачей.

В эпоху первой революции, в эпоху «пролога» Великой Октябрьской Социалистической революции, речь могла итти, разумеется, только в плоскости первоначальной постановки вопроса и первых опытов, которые объективно могли претендовать только на значение расчистки и проторения путей.

Нужно было прежде всего критически пересмотреть старое буржуазно-дворянское историографическое наследство, но пересмотреть

---

[1] В. И. Ленин, XXX, 332.
[2] Там же, XIX, 181.
[3] Там же, XXX, 334.
[4] Там же.
[5] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, стр. 97, 1934.

так, чтобы, вскрыв классовые цели старых исторических построений, отбросив свойственную им лженаучную шелуху, сохранить зерна заключавшейся в них исторической правды. Нужно было, далее, заменить историографическое «дреколье» более усовершенствованным оружием и критически освоить работы западноевропейской историографии, но сделать это так, чтобы не оказаться в плену у присяжных историков «чужих» поработителей. Нужно было, наконец, — но это стало возможным только после победы социалистической революции, — овладеть всей полнотой дипломатических первоисточников. Разоблачая классовую ограниченность старой историографии, нужно было «охватить, изучить все его [предмета] стороны, все связи и «опосредствованияя».[1] Нужно было в то же время уметь выделить особо самое существенное и подвергнуть его самостоятельному анализу, не упуская из виду всей совокупности целого. Нужно было далее проявить «полную научную трезвость в анализе объективного положения вещей».[2] Нужно было, словом, дать объективную историю внешней политики в свете марксистско-ленинского учения, так как революционному пролетариату не страшна объективная историческая правда, как она была страшна «своим» и до сих пор ненавистна «чужим» угнетателям, — интересы революционного пролетариата и объективная истина совпадают.

* * *

Исторические работы Покровского, посвященные вопросам внешней политики царской России XIX в., представляют собою попытку противопоставить освещению этих вопросов старой буржуазно-дворянской историографией новое освещение. Известно, что Покровский как историк складывался в тот период, когда «широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым принижением теоретического уровня»,[3] ростом «легального марксизма».

Известно, что, по словам самого Покровского, это был «марксизм без революции», который «был вполне приемлем для левого крыла кадетов, многие из которых в теории мало отличались от правых меньшевиков».[4] Это был, по его собственным словам, «марксизм минус диалектика, марксизм минус революция».[5] Покровский, как мы знаем, не остановился на позициях «легального марксизма». Но он вошел в революцию без понимания марксистско-ленинской диалектики.

В «практике», как известно, это сказалось у Покровского в его

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXVI, 134.
[2] Там же, XII, 32.
[3] Там же, IV, 379.
[4] Историческая наука и борьба классов, в. I, стр. 92.
[5] Там же, в. 2, 267—268.

участии в период реакции в антипартийной группе «Вперед», членов которой Ленин называл «ликвидаторами слева», деятелями левой фразы и фактическими проводниками буржуазных влияний на пролетариат. В «практике» это проявилось в принадлежности Покровского к сложившейся после Октября предательской группировке «левых коммунистов». «Теория» была неразрывна с «практикой». Еще в 1904 г. Покровский выступал с критикой неокантианца Риккерта с махистских позиций, считая, что «в действительности существует только хаос первичных ощущений»,[1] что «преодолеть» этот хаос «можно только одним путем, упрощая его». «Из миллиона действительных и возможных впечатлений, — писал тогда Покровский, — мы берем два-три, которые нам нужны для практических целей ориентировки».[2] Ленинское требование о всестороннем объективном изучении предмета во всех его опосредствованиях тем самым Покровским отвергалось. Как богдановец и махист, Покровский еще тогда приходил к отрицанию объективности познания и объективности исторической науки. Отсюда, из этих антидиалектических, антиленинских методологических установок вытекало и пренебрежение к историческим фактам, стремление к построению безжизненных, абстрактных исторических схем, склонность к субъективизму в интерпретации исторического процесса. Отсюда вытекала опасность верхоглядства в историческом изучении, опасность вульгаризации истории как науки, превращения ее в «политику, опрокинутую в прошлое», в инструмент конъюнктурного назначения, из которого можно извлекать любые звуки и любые мотивы, словом — опасность полной фактической ликвидации истории как науки.

С таким теоретическим багажом выступил Покровский на арену русской историографии. Крупный изобразительный и литературный талант, живой полемический темперамент, большая работа, проделанная по овладению исторической литературой, в частности западноевропейской, помогли Покровскому занять одно из первых мест в рядах тех представителей крайнего левого крыла историков, которые находились под известным влиянием марксизма.

Тем настоятельнее необходимость критически пересмотреть все литературное наследство Покровского и всей его пресловутой «школы». Особого внимания заслуживают работы Покровского, посвященные внешней политике царской России XIX в. Именно в этой области, противопоставляя старым концепциям русской буржуазно-дворянской историографии свою, по видимости новую и оригинальную концепцию, Покровский внес в русскую историческую литературу такую концепцию, которая в действительности оказывалась не новой, не оригинальной, но была полна фактических ошибок, внутренних противоречий и антимарксистских извращений. Критическому раз-

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. 2, стр. 21.
[2] Там же, 23.

бору этих взглядов приходится уделять особое внимание еще и потому, что они дают ключ к пониманию внешнеполитической ориентации Покровского и как публициста и как учителя своих учеников, из которых многие оказались заклятыми врагами народа.

* * *

Взгляды Покровского на основные вопросы истории внешней политики царской России XIX в. неоднократно подвергались существенным изменениям. Политическая обстановка момента, круг источников, на основании которых Покровский делал свои построения, те общие антимарксистские исторические схемы, от которых он отправлялся на определенных этапах, — все эти моменты приводили к тому, что о единой стройной концепции истории внешней политики России в XIX в. у Покровского говорить не приходится. Можно говорить только о ряде концепций, относящихся к различным периодам, создававшимся в различных конъюнктурных условиях, применительно к различным задачам, стоявшим перед Покровским как историком-публицистом.

Самым простым, правильным и вместе с тем для данного круга вопросов единственно возможным подходом к рассмотрению взглядов Покровского на историю внешней политики царской России XIX в. является рассмотрение их в порядке их зарождения и появления в развернутом виде в печати.

Тем самым определяется и порядок нашего изложения. Прежде всего мы обратимся к рассмотрению той концепции, которая развита Покровским в ряде очерков, напечатанных в «Истории России в XIX в.», изд. Гранат, которая создавалась в период, непосредственно примыкающий к революции 1905—1907 гг. Работы эти, отличающиеся богатством фактического конкретно-исторического материала, были переизданы в подавляющей своей части в 1923 г. отдельной книгой.[1] Эти работы Покровского должны стать предметом особенно внимательного рассмотрения. Следуя намеченным путем, мы обратимся далее к рассмотрению той концепции Покровского, которая относится ко времени его пребывания в группе «Вперед» и развита им на страницах «Истории России с древнейших времен» и которая, сложившись под прямым влиянием богдановской «социологии», представляет собой определенную схему, втиснутую в общую схему истории России, развитую им в этом произведении.

Тот ряд очерков по истории внешней политики царизма, который Покровский дал в период империалистической войны и который был издан отдельным сборником в 1918 г.,[2] должен быть учтен нами постольку, поскольку очерки эти, отражая эволюцию политических и теоретических взглядов Покровского в период войны, вносят новые

---

[1] Дипломатия и войны царской России. Изд. Красная Новь, М. 1923.
[2] Внешняя политика. Изд. Денница. 1918 г.

моменты в концепцию, изложенную им в гранатовском издании. Наконец, необходимо рассмотреть особо те отдельные выступления Покровского по интересующему нас вопросу, которые относятся к послеоктябрьской эпохе и разбросаны в различных советских изданиях. Работы Покровского, относящиеся к этому периоду, представляют интерес в двух отношениях: во-первых, на них отражалось влияние нового, открытого революцией богатства дипломатических архивов, которое до того не могло быть известно историку и которое должно было бы оказать влияние на решительную перестройку его взглядов по самым основным вопросам внешней политики; во-вторых, на этих работах мы можем проследить, насколько правильно подошел Покровский к этой задаче и к каким результатам он пришел в этой области. В нашу задачу отнюдь не входит дать исчерпывающий всесторонний анализ всех работ Покровского по истории внешней политики царской России XIX в., дать всестороннюю оценку его работ и определение того места, какое они занимают в историографии. Мы имеем в виду ограничиться рассмотрением основных ошибок Покровского фактического и методологического порядка, которые отразились в его главнейших работах и определили его взгляды по вопросам истории внешней политики России в XIX в.

I. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ В «ИСТОРИИ РОССИИ В XIX ВЕКЕ»[1]

Период наполеоновских войн

В дни заключения Тильзитского мира французский военный агент в Петербурге Савари доносил своему императору о тех трудностях, какие он встречал, стремясь закрепить поворот во внешней политике Александра. Не жалея красок, он рисовал александровскую Россию, как страну, находящуюся в полной экономической и политической зависимости от Англии. Когда Савари составлял свои донесения, он мог надеяться на то, что они будут прочитаны Наполеоном и работа его будет оценена по заслугам. Но Савари не мог, конечно, предвидеть, что его донесения послужат основой для построения сто лет спустя исторической концепции внешней политики России XIX в.

Свою концепцию внешней политики России XIX в., развитую в девятитомной «Истории России в XIX в.», Покровский строил, отправляясь от убийства Павла I.

Событие это как бы заслонило собою в историческом построении Покровского всю внешнюю политику царской России предшествующего периода. Донесения Савари должны были помочь Покровскому

[1] Изд. Гранат. Ссылка на нумерацию страниц в тексте даются по сборнику «Дипломатия и войны царской России», поскольку статьи Покровского, напечатанные в гранатовском издании, вошли в этот сборник. Для статьи «Восточный вопрос», не вошедшей в сборник, нумерация страниц дается по II т. изд. Гранат.

разобраться во всей сложности международной обстановки первых дней александровского царствования. Покровский в эту пору начинал объяснять внешнюю политику России с позиций экономического материализма. Донесения Савари пришлись как нельзя более кстати. Вслед за Савари Покровский выводил внешнюю политику России того времени непосредственно из интересов русской внешней торговли, тесно связанной с Англией и шедшей в основном через Балтику. Покровский рисовал Россию того времени как страну, экономически и политически порабощенную Англией (стр. 3—7). Участие России в войне с Наполеоном Покровский рассматривал как «наем русских штыков на английскую службу» (стр. 8). Внешняя политика России в изображении Покровского — это политика страны, которая не имеет истории, которая является не более, как колонией Англии.

Оборвав у русской внешней политики XIX в. ее исторические корни, которые следует искать не на том коротком хронологическом отрезке, когда шла подготовка к убийству Павла, Покровский выбросил из своей истории все основные вопросы внешней политики, унаследованные Россией александровского царствования от предшествующего времени, разрешение которых продолжало составлять основное содержание той борьбы, какую вела Россия на международной арене, вступая в XIX век. Это были вопросы восточный и польский, а также конъюнктурно связанный с последним вопрос борьбы с революционной Францией.

Известно, что содержание восточной проблемы, возникшей еще в допетровскую эпоху в неразрывной связи с польской проблемой, в течение первых трех четвертей XVIII в. объективно составляла, с одной стороны, борьба России за окончательное укрепление связи с освободившимся от польского и турецкого гнета украинским народом, видевшим в восстановлении этой связи единственный путь своего национального спасения; с другой стороны — борьба России за выход к Черному морю, за свободное плавание на нем под русским флагом. Эту борьбу, встречавшую противодействие со стороны Франции и Австрии, Россия вела еще и в ту пору, когда размеры русской черноморской торговли были ничтожны. Эта борьба привела в качестве первого этапа к Кучук-Кайнарджийской победе,[1] открывшей русским торговым судам свободное плавание в Черном море и в проливах. Не ограничиваясь этим, царская Россия продолжала борьбу. Крымское побережье отторгалось от султана. Ставилась задача утверждения русского могущества на берегах Черного моря, превращения его из турецкого озера в русское. Стремившиеся к национальной независимости, покоренные Турцией народы рассматривались как союзники России в ее продвижении к проливам. Противодействие, испытываемое Россией со стороны Франции, боров-

---

[1] Мирный договор между Россией и Турцией, заключенный в Кучук-Кайнарджи 10/21 июля 1774 г.

шейся с Англией за укрепление своего влияния в России и за утверждение своего господства в Турции, готово было смениться франко-русской дружбою, подкрепленной сделкой с австрийцами за счет Турции. Греческий проект Екатерины исключал Англию из «сотрудничества» в восточном вопросе и отбрасывал ее в лагерь врагов. Между тем перспективы развития черноморской торговли приобретали реальные очертания: за трехлетие с 1776 г. по 1779 г. ввоз товаров в русские черноморские порты возрос в $4\frac{1}{2}$ раза (с 165 тыс. до 711 тыс. руб.); начинался вывоз из русских портов хлеба, доставлявшегося сначала из польских, а затем из русских поместий. Франция и Австрия добивались вслед за Россией признания за ними права навигации в Черном море. В Версальском кабинете зрел проект четверного австро-франко-русско-испанского союза. Проектируемым союзом Франция жертвовала Турцией в пользу России, отрывая последнюю от антипольского союза с Пруссией и сохраняя независимую Польшу для Франции. Союз этот должен был быть направлен против Англии.[1] Разразившаяся во Франции революция отбросила царскую Россию к антипольскому союзу с Пруссией и привела ее на почве борьбы против успехов революционного оружия Франции к тесному сближению с Англией и, далее, к совместной с Англией борьбе против гегемонии Франции не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Русский помещик охотно шел на закрепление своего традиционного союза с Англией, но в этом союзе уже зрели противоречия, заложенные восточным вопросом еще в прошлом столетии.

Известно, что 11 ноября 1801 г. Россия заключила с Францией конвенцию, по которой французы обязались начать мирные переговоры с Турцией при посредстве России.[2] А во время переговоров о коалиции против Наполеона, которые Новосильцев вел с англичанами в 1804 г., Питт и Гарроуби беспокоились больше всего о том, «нет ли у нас намерения взять что-нибудь у турок».[3]

Польский вопрос составлял вторую задачу, стоявшую перед екатерининской дипломатией. Это была борьба за политическое воссоединение территории Западной Руси, которая в условиях австро-русских и прусско-русских противоречий превращалась, однако, в борьбу за утверждение русского влияния в Польше и, далее, в проблему проводимых по берлинским планам разделов, превративших Царство Польское в ряд русских губерний, а его население в объект национального угнетения. Установившиеся между Россией и Пруссией отношения дружбы не могли погасить заложенных в «польском вопросе» противоречий, а наличие австрийского контрагента продолжало увязывать этот «польский вопрос» с вопросом восточным.

---

[1] Aragon. Le prince Charles Nassau-Siegen d'après sa correspondance originale inédite de 1784—1789, p. 282, Paris, 1893.
[2] С. Соловьев. Император Александр I, 28.
[3] Там же, 67—69.

Третья задача, которую унаследовала александровская политика от екатерининского времени, была задачей борьбы с революцией, которая означала в то же время борьбу с возрастающим могуществом Франции и непосредственно была связана с борьбой за Польшу.

Чтобы правильно объяснить политику русского царизма в первые десятилетия XIX в., необходимо учесть те реальные ее интересы, которые корнями своими уходили в прошлое и которые, связываясь в прошлом в единое целое, продолжали и теперь проявляться в неотрывном один от другого виде.

«Я ломаю себе голову, — говорила Екатерина еще в 1791 г.,— чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтобы они были заняты и мне не мешали».[1] Что следует разуметь под этими словами о «неоконченных предприятиях»? Это означало, прежде всего, закрепление за Россией Черноморского побережья от Днестра до Кубани, и это достигалось победоносной войной, которую вела тогда Россия с Турцией, и заключением 11 августа 1791 г. Ясского мира.

Нельзя забывать, что, несмотря на колебания в своей внешней политике, Павел продолжал строить планы раздела Турции совместно с Австрией и Францией.[2] Вступая в вооруженную борьбу с наполеоновской Францией, Александр I ополчался не только против носителя разрушительных идей, но и против нового грозного соперника России на Востоке, который, потеряв 50 годами раньше Индию, стремился теперь к утверждению своего господства на Средиземном море и стал тянуться к Египту. Если Наполеон, выступая в качестве защитника поляков, был заинтересован не столько в возрождении польской нации, сколько в создании польской армии, которая ему была нужна как военный форпост на востоке Европы,[3] Александр, поддерживая надежды польских патриотов, преследовал цель, угрозой польского восстания в области прусской Польши, побудить Фридриха-Вильгельма заключить с ним союз против Наполеона.[4]

Стержневым вопросом русской политики после польских разделов становился восточный вопрос. Известно, что именно первые годы XIX в. отмечаются особенно бурным ростом вывоза русского хлеба из черноморских портов. Разумеется, этот вывоз был еще незначителен по сравнению с тем, который продолжал связывать Россию с Англией через Балтику. Но циркулярной депешей от 27 июля 1805 г. Талейран ставил в известность французских дипломатических представителей за границей о той опасности, какую несет с собой русская политика в Турции, направленная на поддержку в ней

[1] Мартенс. Собрание трактатов и конвенций, II, 196.
[2] «Русский архив», I, 103, 1878.
[3] Вандаль. Наполеон и Александр, I, 96.
[4] А. Корнилов. Русская политика в Польше со времен разделов, стр. 17. Пгр., 1915.

мятежей и восстаний: «русские эскадры снуют по оттоманским морям и стараются снабжать все побережье оружием, вербовщиками, деятелями волнений и мятежа».[1]

Еще задолго до Тильзитского мира, в октябре 1806 г., Россия идет на разрыв с Турцией, и генерал Михельсон получает приказ вступить с войсками в Молдавию.[2]

После заключения Тильзитского мира французский посол в Петербурге Коленкур мог убедиться в том, насколько тверда и непреклонна позиция петербургского кабинета в вопросе о разделе Турции. «Этот город (Константинополь), — говорил граф Румянцев Коленкуру во время беседы в первых числах марта 1808 г., — в силу своего положения, в силу нашего положения, в силу наших торговых интересов, ключ которых у Босфора и Дарданелл, должен принадлежать нам, как и обширная территория, заключающая эти пункты».[3]

По Покровскому, Наполеон впервые открыл глаза Александру, когда в феврале 1802 г. он писал ему о том, что реальные интересы России требуют направить ее хлебную торговлю через Черное и Средиземное моря и что Марсель и другие французские порты примут деятельное участие в торговых сношениях. «Александр, — замечает Покровский, — повидимому, был очень заинтересован этим проектом» (стр. 5). Повидимому, Александр скоро об этом забыл и только в период Тильзита он снова, по Покровскому, проявил известный интерес к обещаниям Наполеона уступить России «кусок Турции» и эвакуировать Польшу (стр. 26—27). В главе, посвященной «Восточной политике Николая I», Покровский, возвращаясь к этой теме, дает поведению Александра следующее объяснение: Наполеон смотрел на Александра, «как на большого ребенка, которому нужно было дать какую-нибудь игрушку, чтобы он не мешал взрослым. Одна игрушка скоро нашлась — то была Финляндия»; в качестве другой Наполеон выбрал Турцию; у союзника Наполеона был «пунктик»; он «с радостью ухватился» за подсунутую ему «игрушку»: перед ним «мелькнула надежда с честью отделаться от бесславной памяти двух первых коалиций». «И Константинополь на целых полтора года не сходит с поля зрения императора Александра».

Эта «игрушечная» теория восточного вопроса, акцентирующая природную глупость и кретинизм русской дипломатии, ничего общего не имеет с марксизмом. «В политике Екатерины, — писал Энгельс в 1890 г., — уже отчетливо намечены все существенные черты современной политики России... За Аустерлицем последовали прусско-русский союз, Иена, Эйлау, Фридланд и Тильзитский мир 1807 г.... Побитая в двух коалициях, она [Россия] приобрела новые области

---

[1] Сборн. Русск. истор. общества, стр. 82, 103—104.
[2] С. Горяинов. Босфор и Дарданеллы, 8. СПб., 1907.
[3] В. кн. Николай Михайлович. Дипломатические сношения России и Франции, 1808—1812, I, 199—200. СПб., 1905.

за счет своих вчерашних союзников и заключила союз с Наполеоном для раздела мира: Наполеону — запад, Александру — восток... Финляндия была только прелюдией. Целью Александра, как всегда, оставался все тот же Царьград».[1]

То же имел в виду Маркс, когда он говорил о «традиционной политике России», продиктованной «ее историческим прошлым, ее географическими условиями и необходимостью иметь открытые гавани в Архипелаге и Балтийском море».[2]

Если, по Покровскому, Россия как колония Англии ведет английскую внешнюю политику, а русская дипломатия под руководством Александра занимается детскими забавами, — разумеется, не приходится искать правильного отражения сложившейся в изучаемую эпоху расстановки сил на международной арене. Приходится констатировать, что анализ международной конъюнктуры отсутствует у Покровского вовсе, что мотивы участвующих в международной борьбе сил не вскрываются. Действия Пруссии и Австрии носят эпизодический характер. Положение германских государств не освещается. Италии и Швеции почти не заметно. Голландии нет и в помине. Испания представлена случайно взбунтовавшимися «мужиками» (стр. 25). Утверждается, что «союз с Австрией был традицией для русской дипломатии еще с первой половины XVIII в.» (стр. 6), хотя известно, что традиция эта с начала царствования Екатерины II была нарушена системой «северного аккорда» и возобновлена только в 1787 г.

Континентальная блокада, которая, несомненно, могла форсировать капиталистическое развитие ряда стран, но которой не могла выдержать ни Россия, ни Пруссия, — по Покровскому, «опиралась на вполне реальные потребности континентального капитализма» (стр. 31).

Обращает на себя внимание ход мыслей Покровского в связи с блокадой; ход мыслей этот интересен не своею логичностью, но своей целеустремленностью: «переломить» введением трианонского тарифа «экономическое развитие России было безумием»; попытки Наполеона эксплоатировать русское сырье были безрезультатны; в то же время вопрос о континентальной блокаде был «вопросом жизни или смерти для империи Наполеона»; «отказ России от блокады должен был заставить Наполеона воевать, хотел он этого или нет» (стр. 33—34). Отсюда, повидимому, следует, что «спор о том, кто был виновником войны 1812 года, является совершенно праздным». Но тут же Покровский заявляет, что указ Александра I от 18/XII 1810 г., вводивший новый тариф, «был формальным нарушением Тильзитского договора» (стр. 35). Русская дипломатия является, таким образом, в этот период нарушительницей трактатов. Мало того, она питала «замыслы» в польских делах, и замыслы эти заключались в том, чтобы

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 16, 19.
[2] Там же, IX, 439.

воспрепятствовать возрождению «исторической» Польши, т. е. присоединению к последней непринадлежавших ей литовских и белорусских земель (стр. 37). Все это приводит Покровского к заключению, что Наполеону с войной «надо было спешить, не теряя ни минуты» (стр. 38); все это должно подготовить читателя к выводу, что войны Наполеона были войнами оборонительными, что «виновницей» войны 1812 г. была Россия, что война эта была оборонительной и освободительной для Франции и наступательной для России.

Антиисторический подход Покровского к вопросу о происхождении и значении войны 1812 г. заслуживает специального изучения.[1] Остановимся только на изображении Покровским хода военных действий. И в русской и в западноевропейской исторической литературе кампания 1812 г. давно уже всесторонне освещена. Известны высказывания по этому вопросу основоположников марксизма, самого Наполеона и такого специалиста военного дела, как Клаузевиц. Фактическая сторона дела во многом ясна. Никто не сомневается, например, в том, что у русских план отступления был составлен Барклаем задолго до начала войны 1812 г.,[2] что на Бородинских позициях русское командование решило дать французам генеральное сражение, что, заняв их, французы вынуждены были потом их оставить, отойдя за реку Колочу. Не вызывает сомнений тот факт, что командование русской армией принадлежало Кутузову, что сопротивление, которое встретила наступающая французская армия, было оказано ей русскими солдатами и что проявленные ими упорство и храбрость изумили Наполеона. Можно считать установленным также и то, что больше всего пострадала от трудностей похода наполеоновская армия, растянувшая свою коммуникационную линию, лишенная в чужой стране ресурсов для пополнения своей численности, зараженная мародерством, и что в результате кампании погибла именно французская армия. Недаром Энгельс говорил о том, что слабая «в наступлении» Россия была сильна «и почти неприступна в обороне».[3]

Покровский по поводу войны 1812 г. рассказал о том, чего по существу не было. Вот как он изображает события.

Обороняющаяся армия Наполеона наступает на Россию. Русская армия, кое-как руководимая Барклаем, начинает быстро (еще с момента постройки Динабургской крепости, т. е. за два года до наступления наполеоновской армии) разлагаться (стр. 47) и предаваться мародерству и грабежам. Никакого плана ведения войны у русского командования не было. Даже план прусского генерала Фуля — и тот был испорчен русскими. Никаких элементов отступательной тактики у русских не было. В первую половину кампании был отчасти хаос,

---

[1] См. ст. В. И. Пичета «Покровский о войне 1812 г.» в сб. «Против исторической концепции Покровского» I, 276—302. М. — Л., 1939.

[2] Богданович. История Отечественной войны 1812 г., стр. 94.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 9.

отчасти беспорядочное бегство. «С назначением Кутузова... армия лишилась всякого центрального руководства» (стр. 54). С этих пор, повидимому, все пошло кувырком. Бородино — случайный эпизод, который едва не стоил русским поражения и который, как и все неудачи французов, должен быть, по мнению Покровского, объяснен не политическими, не стратегическими и на этот раз даже не экономическими моментами, а метеорологическими. Население Москвы, в полном соответствии с теоретическими установками Покровского, настраивается почти пораженчески и не скрывает своего резко отрицательного отношения к раненым и убитым солдатам русской армии (стр. 56). При таких условиях московская полиция вынуждена сжечь Москву. Создавшийся в городе хаос действует деморализующе даже на наполеоновские войска, которые начинают следовать примеру русских и предаваться мародерству. Последнее обстоятельство больно бьет русское население по карману, благодаря чему в русской буржуазно-дворянской историографии зарождается легенда о пробуждающемся в массах патриотизме (стр. 56). «Тем временем Наполеон должен был ... убедиться», что Москва представляла собою город, где «производительные классы населения составляли ничтожное меньшинство», и что, коль скоро помещики, составлявшие главный контингент «потребителей», покинули город, последний не может быть обеспечен пищевыми продуктами (стр. 58).

Основываясь на правильном экономическом анализе создавшегося положения, Наполеон разрабатывает новый блестящий план кампании, благодаря которому он «бил русские силы по частям» (стр. 59). «По странной случайности обе армии (и французская и русская, находившаяся, как мы видели, в безнадежно хаотическом состоянии) пришли одновременно в движение» (стр. 59). Дальше снова ряд не менее странных «случайностей»: случайное поражение французов при р. Черешне, случайное «столкновение» при Малоярославце, которое можно не считать сражением потому, что Наполеон решил сражения «не принимать». Дальше упрощать картину Покровскому не приходится потому, что сама «война упростилась до последней степени»: почему-то теперь «французы бежали, как только хватало сил» (стр. 60). Русские в полном беспорядке бегут за ними. В этом своеобразном кроссе Наполеон вышел победителем — он первый прибежал к границе. Деморализованный Кутузов, растеряв по дороге армию, прибежал последним. Сохранив «кадры» своей армии, Наполеон победоносно вступил на территорию сопредельных с Россией владений. На Кутузова легла вся тяжесть ответственности за последующие кровопролитные войны (стр. 61).

Таково изображение войны 1812 г., данное Покровским в I томе гранатовского издания. Концепция эта только на первый взгляд кажется «новой» и «оригинальной». Корни ее можно найти не только во французской дипломатической переписке наполеоновского периода, но и во французской воинствующей публицистике того времени. Тео-

рия английского происхождения войны объясняла в ту пору, в частности даже пожар Москвы, полученной из Лондона соответствующей директивой.[1] Элементы той же концепции можно найти и в германской юнкерской историографии. В частности, мысль о том, что никакого плана отступательной войны у русского командования не было, развивал немецкий военный писатель бар. Вольцоген,[2] а данная Покровским трактовка войны 1812 г. как поражения России во многом совпадает со взглядами, высказанными по этому поводу известным своим шовинизмом и своей антирусской агрессивной политической ориентацией проф. Шиманом, на исследования которого не раз полагался Покровский.[3]

Священный союз

Переходим к истории Священного союза, основание которому было положено на Венском конгрессе. На этом конгрессе происходил, по словам Гентца, «дележ между победителями имущества побежденного».[4] Но это был не только дележ добычи, но и борьба между победителями, дипломатическая борьба, в которую чуть не с первых же дней вступил также и побежденный. Напомним те основные линии, по которым шла эта борьба. Англия стремится к расширению своих колониальных владений за счет Испании, Португалии и Нидерландов; она не может примириться ни с ростом морского могущества Франции, ни с успехами русской политики на Востоке. Поэтому она готова поддержать Нидерланды против Франции и усилить Пруссию польскими территориями против оттесняемой за Вислу России. Поэтому она мирится с усилением влияния Австрии в Италии в противовес Франции. Австрия стремится к тому, чтобы вытеснить французское влияние из Италии, она хочет противопоставить Франции Нидерланды и федеративную Германию. Австрия охраняет от притязаний России Дунай; она боится возможного воссоединения Польши. В то же время она пытается удержать в должных границах рост могущества Пруссии и прежде всего оградить от прусских притязаний Саксонию. Она готова вместе с тем согласиться на некоторое усиление Пруссии в бассейне Рейна, чтобы приковать там пруссаков к Франции. В этой же связи она ставит ставку на Баварию и поддерживает партикуляризм отдельных германских владений. Пруссия начинает борьбу за гегемонию в Германии. Она борется прежде всего за Рейн и Саксонию. Готовая поступиться своими интересами в Польше, она ориентируется на земельные приращения в Вестфалии и Померании. Преследуя цели

---

[1] Theodor Schimann. Kaiser Alexander I und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit, S. 82—84. Berlin, 1904.

[2] L. Fr. Wollzogen. Memoiren des Königl. Preuss. Generals der Infanterie. Erste Beilage V—XVI.

[3] T. Schimann, op. cit.

[4] Mémoires de Metternich, II, 474.

вытеснения австрийского влияния в Германии, она противится осуществлению планов Баварии.

Наконец, Россия держит курс на воссоединение под своею эгидою Польши и поддерживает в этой связи территориальные и политические притязания Пруссии против Австрии. Создание направленной против Австрии прусской угрозы для России было особенно важно потому, что с австрийскими притязаниями ей приходилось считаться на Дунае, а Дунай ей был нужен для ее политики на Востоке. В восточном вопросе, стержневом вопросе ее политики, ей приходилось сталкиваться прежде всего с интересами Англии и в этой же связи отнюдь не пренебрегать Францией и во всяком случае использовать англо-французские противоречия.

Что касается самой побежденной Франции, — перед ней прежде всего стояла задача выйти из изоляции, ускорив процесс распада охватившего ее кольца политической блокады, процесс, который начался с первых же дней конгресса. В этом плане она ориентируется на поддержку второстепенных государств. Она поддерживает Саксонию против Пруссии, Баварию против Австрии и оказывает сопротивление России в польских делах. Поддерживая в Германии Австрию против Пруссии, она борется с австрийским влиянием в Италии и Швейцарии. Выжидая первых крупных разногласий между бывшими союзниками, она держит курс на сближение с Англией.

Уже одного перечня отмеченных выше моментов, получивших неплохое освещение в западноевропейской буржуазной историографии, видно, насколько сложен был тот клубок противоречий, какой создался на Венском конгрессе, насколько сложны и многообразны были и те пути, какими эти противоречия должны были разрешаться. Не приходится пояснять, что без анализа реальных интересов участников конгресса, без анализа вытекавших из них противоречий нельзя понять всего последующего периода, известного под именем эпохи Священного союза. Анализ этого вопроса, данный Покровским, нельзя признать ни обстоятельным, ни объективным. «Расхождение во внешней политике было так велико, что державы-союзницы чуть ли не на другой же день после изгнания Бонапарта из Франции едва не начали между собой войны» (стр. 73). Вот и весь анализ Покровского. Это положение, высказанное в голословной и вульгаризированной форме, Покровский, однако, скоро снимает. Чтобы предотвратить войну, нужно было, очевидно, найти почву для единения: «Связующее начало было, однако же, найдено, — пишет Покровский, — и оно оказалось достаточно прочным, чтобы превратить коалицию в некоторое подобие постоянного учреждения, известного под именем «Священного союза». «Оно было найдено, — поясняет дальше Покровский, — не в области международных отношений... его основой были общие интересы союзных правительств в их внутренней политике», т. е. интересы борьбы с революцией (стр. 74).

То значение, какое в планах вдохновителя и организатора Свя-

щенного союза могла и должна была иметь идея борьбы с революцией, не подлежит никакому сомнению. Но это, во-первых, не освобождает историка от необходимости изучения международной обстановки эпохи. А, во-вторых, известно также и то, что Священный союз выдвигал в качестве руководящего начала международной политики также принцип политического равновесия.[1] Это означало, что для Александра, только что сокрушившего мощь наполеоновской Франции и достигшего положения гегемона, Священный союз являлся также орудием сохранения выгодной для него расстановки сил в Европе. Нельзя также пройти и мимо того обстоятельства, что, конституируя Священный союз как союз «христианских» государей, Александр стремился исключить Турцию из концерта европейских держав, открывая вместе с тем для себя возможность вмешательства в ее дела.[2] Отсюда следует, что для Александра Священный союз имел вполне определенный политический смысл и в плане разрешения восточного вопроса. Этим же определялась и та позиция, какую по отношению к Священному союзу должна была занять Англия. Какова же история Союза в изображении Покровского? Так как изложение идет в плане внешней политики, ему приходится касаться международной конъюнктуры того времени и свойственных ей противоречий. Из всего многообразия фактов он выбрал два: 1) стремление Англии к овладению американскими колониями Испании и 2) стремление России к воссоединению Польши.

Даже эти два факта, случайно выхваченные из всего многообразия исторической действительности, говорят о противоречиях, заложенных в системе Священного союза, противоречиях, которые с неизбежностью вели к его разложению: Англия отказывается возвратить американские колонии их старому «законному» владельцу и даже мирится с торжеством в них республиканских принципов; сам основоположник Священного союза Александр I действует в польском вопросе в духе, противоречащем принципам дипломатической реставрации. Какие выводы делает отсюда Покровский? По существу — никаких. О первом факте он в дальнейшем изложении забывает. Вопросом же о Польше, в частности описанием того трагикомического положения, в какое попал саксонский король, Покровский пользуется для характеристики «вотчинной» психологии участников Священного союза. Пересказав содержание деклараций Аахенского, Троппауского и Лайбахского конгрессов и позабыв о Веронском, Покровский приходит к выводу о том, что контрреволюционная организация Священного союза была уничтожена только революцией 1848 г. (стр. 83). «Подобие постоянного учреждения» благополучно и мирно просуществова-

[1] Градовский. Государственное право важнейших европейских держав. СПб., 1886, стр. 522—523. Даневский. Системы политического равновесия и легитимизма. СПб., 1882, стр. 150—158.

[2] Жигарев. Русская политика в восточном вопросе, I. 289—290. СПб., 1896.

вало, таким образом, по Покровскому, с 1815 по 1848 г. Правда, в одной из своих следующих статей, напечатанной в том же издании, Покровский вносит в нарисованную им картину поправку, говоря, что «июльская революция и провозглашение бельгийской независимости были наглядным подтверждением того факта, что Священный союз перестал существовать» (стр. 110). Приходится признать, что подлинно научной марксистской истории Священного союза Покровский не дал. Борьбы тех противоречий, которые существовали в недрах Священного союза и которые с неизбежностью вытекали из сложившегося в 1815 г. на международной арене соотношения сил, он не показал. Не сказать о том, что после Аахенского конгресса на почве англо-русских и австро-русских противоречий завязывается русско-французская дружба, что на Лайбахском конгрессе Франция вступает в лоно Священного союза, «позабыть» о том, что решения Троппауского конгресса ни Англией, ни Францией подписаны не были, пройти мимо роста революционного движения в Германии в период 1818—1820 гг., вызывавшего активизацию австрийской политики и приводившего к австро-прусскому сближению и мобилизации русской армии, не учесть международного значения Неаполитанской революции, пройти мимо англо-русской борьбы за влияние во Франции и, наконец, позабыть самое главное — англо-русскую борьбу в греческом вопросе — значит представить Европу 1816—1830 гг. в образе тихого семейства, значит безнадежно вульгаризировать и исказить действительную историю эпохи Священного союза.

То интересное, что можно найти в рассматриваемой работе Покровского, может относиться единственно к описанию политической психологии деятелей Священного союза и прежде всего Александра. Но и это допущение приходится принимать с большой оговоркой. Во-первых, нельзя дать правильной характеристики Александра как главы Священного союза, не выяснив той роли, какая в делах Союза в значительной степени принадлежала и Меттерниху. Покровский не только замалчивает на всем протяжении своего изложения активную роль Меттерниха, но даже выгораживает его, ссылаясь на брошенную им однажды фразу о том, что Акт Священного союза был «наиболее звучным и пустым документом эпохи конгрессов» (стр. 81). Не учитывая того, что фразеология Меттерниха была лишь политической маскировкой, не понимая того, что смысл Священного союза нужно искать не в юридической фикции и мистической фразеологии акта, а в тех решениях и договорах, которые принимались и подписывались державами в последующие годы, Покровский дает положительную оценку политической проницательности Меттерниха. Меттерниха, одного из столпов феодальной реакции, Покровский превращает в политического мудреца, искажая вместе с тем в своей характеристике действительную природу шедшего с ним в одном дышле Александра I.

Во-вторых, нельзя ничего понять в политической линии Александра, если вместе с Покровским рассматривать его политику только

16*

как борьбу «за восстановление старого порядка», как борьбу за принципы легитимизма (стр. 83). Известно, что в условиях водворившегося мира, когда все державы уже сократили свои воинские контингенты, Александр продолжал держать свою армию на военном положении. Известно, что в 1816 г. царь отправляет нового посла (Строганова) в Турцию с суровыми требованиями; что бывший руководитель Сербского восстания Кара-Георгий тогда же (1816—1817 гг.) посещает Петербург и оттуда отправляется снова в Турцию для организации повторного восстания; что на русской территории под покровительством русских властей в ту пору (1814—1818 гг.) развивает свою деятельность греческая повстанческая организация. К этому времени относятся ламентации Меттерниха по поводу антиавстрийской агитации, которую ведут русские агенты в Италии. В это же время правители Бадена, Вюртемберга и Саксен-Веймара под личным влиянием Александра собираются ввести в своих владениях конституционный образ правления. Меттерниху удалось удержать царя от войны с Турцией. Но в августе 1825 г. всякие переговоры с Веной и Лондоном по ближневосточным делам были прекращены, и война с Турцией была решена.

Энгельс рассматривал Священный союз как «расширение русско-австро-прусского союза до степени заговора всех европейских государей против их народов под председательством русского царя».[1] Но Энгельс считал в то же время, что в этой связи для царской дипломатии «все дело заключалось лишь в том, чтобы использовать достигнутую в Европе гегемонию для дальнейшего продвижения к Царьграду».[2] Энгельс напоминал, что царская дипломатия в ту пору, пуская в ход «рычаги» греческого, румынского и сербского национального движения, одновременно сеяла внутренние раздоры у своих легитимных союзников, поддерживая движение карбонариев и другие инсуррекции на Западе. «Все это, — говорит Энгельс, — нисколько не мешало просвещенному царю Александру на конгрессах в Аахене, Троппау, Лайбахе, Вероне призывать своих легитимных коллег к самым энергичным действиям против их мятежных подданных и для подавления революции посылать в 1821 г. австрийцев в Италию, а французов в 1823 г. — в Испанию; для виду он осуждал даже восстание греков, разжигая в то же время это восстание... монархам и реакционерам царизм проповедывал легитимность, либеральным филистерам — освобождение народов и просвещение».[3]

Следуя за английским публицистом Уркартом, противопоставлявшим реакционной России «либеральную» Австрию, исключив Меттерниха из Священного союза и вступив на путь психологического анализа, не вооруженный ни фактами, ни диалектическим методом, Покровский дал англо-австрийскую трактовку «главы» Священного союза

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 21—22.
[2] Там же.
[3] Там же, 23.

и в своем психологическом анализе не мог выйти за пределы вульгарного психологизма.

Восточная политика Николая I

Мы видели, что по концепции, развитой Покровским на страницах «История России в XIX в.», восточный вопрос был подброшен Александру Наполеоном в качестве игрушки в Тильзите и что, поиграв с нею до разрыва континентальной блокады, дитя потом позабыло о ней и занималось до конца своего царствования вопросами укрепления принципов легитимизма в Европе. Мало того, после Бухарестского мира (16 мая 1812 г.) Александр I, по словам Покровского, всякие мысли о войне с Турцией «всегда старался поскорее отогнать от себя» (т. II, стр. 587). Это понятно: всякие разговоры о стремлении русских царей к Константинополю и проливам, стремлении, проявляющемся «немедленно вслед за превращением Черного моря в русское озеро», являются, по словам Покровского, повторением «старомосковских легенд о православном царе всего христианства»; большие проблемы легитимитета, к разрешению которых призывался Александр, не имели, по мнению Покровского, никакой внутренней связи с «отдельными дипломатическими районами», «где преследовались некоторые специальные цели» (стр. 583). Это тем более должно быть понятно, если учесть то обстоятельство, что все те «обширные льготы для русской торговли на турецком востоке», которые были выговорены в результате ряда предшествующих войн с Турцией, по толкованию Покровского, оказывались нужными только для греческой буржуазии: «русские торговые суда, — говорит Покровский, — составляли здесь совершенно ничтожную величину»; «в девяти случаях на десять русский флаг прикрывал грека... под покровом русского флага развивалась греческая буржуазия» (стр. 588).

Так как восточный вопрос по существу оказывался, таким образом, вопросом греческим и в разрешении его были заинтересованы преимущественно греки и так как Николай I с первых дней своего царствования занимался так же, как и его предшественник, только проблемами легитимизма, восточным делам, естественно, не было места в программе внешней политики николаевского царствования. Вопрос этот, правда, возник, но, как объясняет Покровский, по совершенно независящим от царского правительства обстоятельствам. Тот же греческий вопрос, который был так ненавистен царю, потому что «традиции Священного союза не допускали и мысли об открытом союзе с мятежниками» (стр. 591), привлекает внимание Англии. Английская дипломатия, чтобы использовать в своих целях военную мощь России, вовлекает последнюю в военное вмешательство в греко-турецкую распрю (стр. 592), последствием чего оказывается Наваринская битва 8/20 октября 1827 г. Под впечатлением этого батального зрелища в Николае совершается психологический переворот: «Жажда новых территориальных приобретений, — говорит Покровский, — заставила молчать на

время его легитимизм. Несомненно, что с этого именно времени в его мозгу воскресает идея раздела Турции» (стр. 593).

Трудно представить, как могла зародиться у историка мысль объяснить происхождение восточного вопроса Наваринской битвой. У нас нет никаких оснований думать, что Николай лгал, когда вскоре после восшествия на престол, обращаясь к французскому посланнику графу Сен-При, говорил: «Брат мой завещал мне крайне важные дела и самое важное из всех дел восточное дело».[1]

Аккерманскую конвенцию (26 сентября 1826 г.), подтверждавшую постановления Бухарестского трактата и предоставлявшую Молдавии, Валахии и Сербии новые льготы, Николай заключал во всяком случае до Наваринской битвы.

Нарушение турками Аккерманской конвенции приводило к русско-турецкой войне, которую Николай начинал, имея на руках готовый текст будущего мирного договора.

Русский посол в Лондоне кн. Ливен не задавался целью сбить с толку своего министра иностранных дел Нессельроде, когда в июне 1829 г. по поводу условий будущего русско-турецкого мирного договора писал: «Что касается гарантии свободного прохода через Босфор, то это является одной из необходимых для нас вещей, так как свободная навигация в Босфоре и благоденствие части владений императора связаны между собою неразрывной цепью. Мы не можем допустить, чтобы каприз какого-нибудь визиря или любой фаворитки султана задерживал, когда им захочется, движение торговли, все развитие общественной и частной промышленности в громадном количестве наших провинций...»[2]

Пальмерстон был слишком изощренным и крупным политиком, чтобы ошибаться в своем ответе австрийскому дипломату гр. Фикельмонту, уверявшему в 1844 г. своего собеседника в том, что русское правительство не может стремиться к распространению своих владений на юге потому, что большинство русских дворян и русская торговая буржуазия живут на севере: «Утверждать, что Россия не думает о распространении к югу, — записывал Пальмерстон содержание этого разговора в своем дневнике, — значит отрицать уроки истории».[3]

Мы говорили уже о том, какое значение придавал Энгельс этим «урокам истории» применительно к александровскому царствованию. Переходя в своем историческом обзоре внешней политики русского царизма к политике Николая I и устанавливая ее преемственную связь с александровской, Энгельс замечал: «Теперь стали действовать более решительно, и война с Турцией была предпринята, не вызвав никакого вмешательства со стороны Европы».[4]

---

[1] См. С. Татищев. Внешняя политика Николая I, 137.
[2] «Portfolio» во франц. издании, т. I, № 4, pp. 15—24.
[3] С. Татищев. Ук. соч., 557—558.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 24.

Концепция Покровского о происхождении восточного вопроса оказывается построенной не только наперекор «старой московской легенде», которую ему так хотелось разрушить, но и наперекор всем «урокам истории». Мы видели, что народнический публицист Кривенко решительно отрицал «жизненные интересы» царской России на Ближнем Востоке. Нужно думать, что здесь на Покровском сказалось и влияние исторической публицистики Уркарта, основная политическая идея которой — о необходимости «отбросить московитов в их родные снега» и превратить Россию в хозяйственный придаток Англии — требовала соответствующего исторического обоснования и, следовательно, не могла мириться с признанием наличия у царской России реальных интересов на Ближнем Востоке.

Ненаучная и антимарксистская концепция Покровского граничит с прямой анекдотичностью. Внимательно следя за дальнейшим развитием мысли Покровского, мы убеждаемся, как из ложных исходных предпосылок вырастают новые и новые ошибки.

Мы оставили Николая I в тот момент, когда он, по мнению Покровского, только что оказался охваченным «жаждой» новых завоеваний. Он бросается на Турцию. Война заканчивается Адрианопольским миром, который, по Покровскому, «не создавал ничего нового» (стр. 595). Европейские державы настояли на том, чтобы в адрианопольский трактат был включен пункт, касающийся докучливого греческого вопроса. Николай против воли снова втягивается в греческие дела. Вместе с Меттернихом он проводит на новый греческий престол кандидатуру несовершеннолетнего баварского принца Оттона. Но баварцы были «вовсе не склонны жертвовать популярностью Оттона предрассудкам императора Николая» (стр. 598).

Дело Николая в Греции проиграно. А так как каких-либо внешнеполитических установок у Николая, как мы видели, не было, а была только «жажда» завоеваний, то «отсюда, — рассуждает Покровский, — был один шаг до мысли, что нашими естественными союзниками на Балканском полуострове... являются сами турки». «Около этой идеи,— говорит Покровский, — и вертится восточная политика императора Николая во втором фазисе ее развития» (стр. 598). Колебания Николая, связанные с вопросом о том, итти ли в союзе с Турцией или с Грецией, скоро кончились. Завязывается русско-турецкая дружба (стр. 599), которая укрепляется во время борьбы султана со своим египетским вассалом. Так как восставший против Султана Мехмет-Али был мятежник, так как Николай красноречиво и резко порицал действия этого мятежника, определяя их как «последствие возмутительного духа», и так как «России предстояло бороться в лице египетского паши не более, не менее как с всемирной революцией», — «это вполне объясняло, — заключает Покровский, — энергические меры, пущенные в ход: черноморский флот вошел в Босфор...» (стр. 600).

Как повествует далее Покровский, в инструкции начальнику русского десантного отряда между строк предписывалось занять Кон-

стантинополь. Воспитанный на теории легитимизма, генерал оказывается не в состоянии понять инструкцию или не находит в себе решимости привести ее в исполнение (стр. 601).

Предприятие проваливается. «Оставалось прикрыть свою неудачу пышными фразами» и «барабанным боем». В этом заключалось назначение Ункиар-Искелеесского трактата, лишенного, по разъяснению Покровского, всякого реального содержания. Осознав свои ошибки, Николай I вступает в союз с Англией (стр. 602). «Он становится союзником Пальмерстона». Последний мог выступить теперь против Франции. «Россия, — заключает свое изложение Покровский, — поступала на службу Англии не менее добросовестно, чем это было в дни первой коалиции против Наполеона» (стр. 605).

Невероятно, но Покровский утверждает, что это факт: вместо англо-русской борьбы за влияние в Греции шла какая-то русско-баварская борьба; вместо вел. кн. Константина противником русской активной внешней политики на Востоке выступал сам проводивший ее Николай; соглашение с Турцией заключалось по соображениям идеологического порядка; Турция из объекта захватнических стремлений превращалась в объект идеальной любви; царским генералам предписывалось захватить этот объект военною силою; даваемая генералам секретная инструкция для действий составлялась на никому не понятном эзоповском языке; Адрианопольский трактат, который, как известно, широко открывал двери русской торговле и укреплял русские позиции на Балканах, предоставляя автономию Сербии, а также Молдавии и Валахии, не давал ничего «существенно нового»; Ункиар-Искелесский трактат, который являлся кульминационным пунктом успехов русской политики в ближневосточном вопросе, который, по словам Гизо,[1] превращал Черное море в «русское озеро» с султаном в роли русского сторожа при проливах, означал неудачу и даже полный провал николаевской политики. И, наконец, легендарный англо-русский союз, которого, как до сих пор в том все были уверены, со времени противонаполеоновских коалиций в течение всего XIX в. никогда не было.

Верно то, что Ункиар-Искелесский трактат вызвал бурю протестов со стороны Англии и Франции. Еще во время русско-турецкой войны 1828/29 г., по мере успехов русского оружия, «общественное мнение» Англии становилось все более враждебным России. Ункиар-Искелесский трактат, создававший для России командное положение в проливах, усилил начавшееся ранее англо-французское сближение и привел к сильному дипломатическому англо-австро-французскому нажиму на Россию. Он форсировал ту длительную борьбу между Россией и заинтересованными в ближневосточных делах западноевропейскими державами, которая шла в течение 30-х, 40-х и первой половины 50-х гг. вплоть до Крымской войны. Эта затяжная

[1] Guizot. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, IV, 49.

дипломатическая борьба приводила к постепенному вытеснению России с занятых ею на Ближнем Востоке позиций. Отступая, русская дипломатия искала союзников, вступала в конъюнктурные соглашения, делала попытки разбить фронт своих противников. В Мюнхенгреце (конвенция 6 и 7 сентября 1833 г.) она нашла себе временную союзницу в западных и восточных делах не только в лице Пруссии, но и в лице социально-политически родственной феодальной автократической Австрии. Ход событий и на Востоке и на Западе приводил к постепенному назреванию заложенных в этом союзе противоречий и расшатывал основы союза. Того же нельзя сказать об отношениях России и Англии, если учесть всю совокупность с каждым днем углублявшихся англо-русских противоречий и на Ближнем и на Среднем Востоке. Англо-французское соперничество в африканских и ближневосточных делах открывало перед Россией перспективу раскола англо-французского блока. В этом плане была предпринята в 1839 г. поездка Бруннова в Лондон. Россия шла на конъюнктурные соглашения с Англией, поступаясь занятыми ею ранее позициями на Ближнем Востоке.

Если Лондонская конвенция от 3/15 июля 1840 г. об оказании совместной помощи Турции могла еще рассматриваться русской дипломатией как некоторый дипломатический успех, так как она была заключена помимо Франции и вопреки ей, заключенная 1/13 июля 1841 г. в том же Лондоне конвенция о проливах, подписанная всеми пятью державами, означала для России решительную потерю ункиар-искелесских достижений. Поездка Николая I в Лондон в 1844 г. была последней попыткою России договориться с Англией о ближневосточных делах. Эта попытка была основана на переоценке Николаем роли и значения его консервативных друзей в системе английской политической жизни. Попытка эта осталась безрезультатной. Единственно о чем на словах договорились тогда — это о том, что в случае падения Оттоманской империи Россия и Англия не предпримут ничего иначе, как по взаимному соглашению. Англо-русская борьба продолжалась. Она продолжалась в условиях роста политического, экономического и военно-морского могущества Англии, в условиях обнаруживавшейся неспособности крепостнической России удержаться на ранее занятых ею позициях. Зрели предпосылки Крымской войны. События 1848—1849 гг. ускорили это созревание.

Не установив исторической преемственности между внешней политикой Николая I и внешней политикой предшествующего царствования, тем самым не дав развернутого анализа внешней политики Николая I, — Покровский шел к неправильному изображению той роли, какую, начиная с екатерининского времени в течение всей первой половины XIX в., играла царская Россия как жандарм Европы. Маркс и Энгельс, как известно, неоднократно подчеркивали то контрреволюционное значение, какое приобретало стремление русского царизма установить свою гегемонию в Западной

Европе. В этой связи, в частности, расценивали они и значение польского восстания 1830—1831 г.: «В 1830 г., когда император Николай и прусский король готовы были осуществить свой план с тем, чтобы нападением на Францию восстановить легитимную монархию — в это время польская революция... заградила им путь».[1] В этой же связи вырисовывается реакционное значение и тех конвенций, которые Николай I заключал со своими феодальными соседями в 1833 г. Не дав анализа мотивов европейской политики Николая I, ограничившись анализом мотивов его политики в турецко-египетском вопросе и изобразив на примере борьбы царя с восставшим правителем Египта восточную политику Николая, как борьбу с «всемирной революцией». Покровский дал на страницах своей истории искаженное изображение роли царизма как международного жандарма.

В концепции о восточной политике Николая I, Покровский во II томе «Истории России в XIX в.» внес столько вымысла, что при переиздании своих старых работ по внешней политике, предпринятом в 1923 г., сам автор не нашел возможным включить эту статью в новый сборник. Но влияние этих ошибок сказалось на той трактовке, какую дал Покровский в рассматриваемую пору и событиям 1848 г., и событиям Крымской войны.

1848—1855 гг.

Проблему «жандарма Европы» Покровский связывал только с событиями 1848—1849 гг. Такая суженная постановка вопроса уже таила в себе опасность того, что на страницах истории появится фигура человека, «не помнящего родства». Подходя к изучению событий 1848—1849 гг., Покровский отправляется от положения о том, что «основной задачей русской дипломатии» издавна являлась «борьба с революционными идеями» (стр. 106). Так как Николай I «завоевал себе корону в личной схватке, грудь с грудью, с духом времени» и так как он «все время чувствовал себя на вулкане», вопрос о борьбе с революцией был для него «вопросом самосохранения» (стр. 107—108). Это альфа и омега всей его внешней политики. Легитимист по убеждению, всю вторую половину своего царствования Николай посвятил «попыткам воскресить Шомонский договор 1814 г.», т. е. союз четырех держав — России, Австрии, Пруссии и Англии против Франции (стр. 110). «Первой мыслью Николая при известии об июльской революции во Франции, — пишет Покровский, — было вооруженное вмешательство» (стр. 109). Прусский король и Меттерних удержали царя-идеолога от этого безрассудного шага. Между тем и Германия и Австрия сами становились для него потенциальным «театром войны с духом времени» (стр. 111). Как легитимист, Николай не мог примириться и с «чересчур либеральным» отношением турец-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Т. XV, стр. 548.

ких властей к революционному движению в Молдавии и Валахии и для установления в них «порядка» посылает оккупационные войска.

Россия противостояла, таким образом, всей Европе с Турцией включительно. Объединенная монолитная Европа (с Турцией включительно) выступала в качестве носительницы «духа времени», т. е. революции. Как легитимисту, Николаю в соответствии с пунктами берлинской конвенции 1833 г. пришлось долго томиться в ожидании приглашения к вмешательству в австрийские дела (стр. 112—113). Ему было тем труднее сдерживать свой порыв, что в рядах венгерских революционеров сражались поляки, бывшие уже ранее «мятежниками» и заслуживавшие законной кары. Однако Николай ждал, так как «покорно шел на поводу у своих союзников» (стр. 109). Легитимистские настроения и «воинственные чувства императора» получили скоро удовлетворение. Встал вопрос о «реставрации германского союза, созданного конгрессом 1815 г.» (стр. 115). Это была в полном смысле слова борьба за принципы легитимизма: Шлезвиг-голштинское дело, т. е. вопрос о проливах Балтийского моря, имело «третьестепенное значение» (стр. 113). В результате мечта о «восстановлении старого порядка во всей его неприкосновенности» становилась действительностью. Царь-идеолог, посвятивший всю свою жизнь борьбе с «духом времени», торжествовал. Но это было временное торжество. Николай I не понимал ни «Европы», ни «духа времени», ни революции. «Революция была для него страшна именно потому, что она была ему совершенно не понятна. И, когда он убедился, что это таинственное чудовище сильнее его,— он умер: больше ему ничего не оставалось» (стр. 108).

В той мистической концепции событий 1848—1849 гг., какую развил Покровский на страницах «Истории России в XIX в.», нет, строго говоря, ни международной обстановки, ни внешней политики России, ни революции. Изображение действительного хода событий, анализ их подменяется характеристикой идеологии Николая I и его психологического habitus. Ни идеологические, ни психологические предпосылки контрреволюционного выступления царизма, разумеется, не могут получить правильного освещения без учета реальной обстановки, в какой они создавались. О том, что Николай I чтил принципы легитимизма и ненавидел революцию, писал еще и Татищев. Известно, что еще в 1830 г. Николай хотел разрыва с июльской монархией и посылал в Берлин Дибича для переговоров о согласованных действиях. Известно и то, что признание правительства Луи Филиппа стоило Николаю, по его собственным словам, «самых тяжких усилий» [1] и что пошел он на это, понукаемый Нессельроде и подталкиваемый прусским королем. Мало того, Николай порывался вмешаться и в бельгийскую революцию, чтобы «положить военною силою предел революции, всем угрожающей». [2] Нужно только иметь в виду,

[1] Мартенс. Собрание трактатов и конвенций, XV.
[2] Там же, VIII.

что и Меттерних находил, что принцип невмешательства в бельгийские дела могут защищать лишь «разбойники, отвергающие полицию, и поджигатели, протестующие против пожарных». Нужно иметь в виду также и то, что Меттерних в эти дела не вмешался, как не вмешался в них и Николай ни в 1830 г., ни даже в 1832 г., когда французы начинали военные действия против Антверпена, а Фридрих Вильгельм двинул против них свои войска в надежде, что Николай поддержит его.

Вспомнив по поводу 1848 года о 1830, Покровский не показал, чем отличалась конкретная ситуация 1848 г. от ситуации, имевшей место за 18 лет до этого. Он не показал этой ситуации ни в аспекте внутренней, ни в аспекте международной политики и, следовательно, не объяснил, почему именно теперь порыв Николая стал действенным и жандарм Европы оказался в силах выполнить свою контрреволюционную миссию. Не придав значения пограничному с Австрией положению Польши, позабыв о том, что рядом с мятежной дворянской Польшей была расположена еще более грозная крестьянская Россия, которая, как еще за 10 лет до этого говорил Бенкендорф, стала превращаться в «пороховой погреб под государством», Покровский не показал реальных оснований для контрреволюционного выступления царизма.

Заставив Николая бросить войска в Молдавию только из ненависти к молдавской революции, Покровский упустил из виду восточную политику Николая, а элиминировав стоявший перед царизмом вопрос борьбы с революцией от вопроса восточного, он пришел ко взглядам, ничего общего не имеющим со взглядами Маркса, который указывал на ту опасность, какую для надвигающейся буржуазно-демократической революции на Западе несли с собою в ту пору успехи ближневосточной политики царизма, как решающего на данном этапе звена в системе европейской контрреволюции. «Если Россия овладеет Турцией, — писал Маркс, — ее силы увеличатся почти вдвое, и она окажется сильнее всей остальной Европы вместе взятой».[1]

Известно, что активное контрреволюционное выступление Николая I в 1848—1849 гг. определилось не непосредственно революцией во Франции, — предложенный России Ламартином в марте 1848 г. союз не был ею отвергнут,[2] — а распространением революционного движения в пограничной Австрии и в дунайских княжествах. Говоря о росте этого движения в Австрии, об угрожающем последней распаде и касаясь распространения революционного движения в Галиции, Николай I писал Паскевичу о том, что он не может допустить одного, — чтобы возродилось «отдельное самостоятельное царство в Галиции под именем польского или славянского...» «Ибо край сей может быть или австрийским или русским, иного не могу допустить

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 386.
[2] Nesselrode. Lettres et papiers du Chamcolier, IX, 95.

никогда во что бы то ни стало».[1] Страх за русскую Польшу побудил Николая сосредоточить на западной границе 420-тысячную армию. Одновременно Николай оккупировал своими войсками дунайские княжества. Совершенно очевидно, что это было сделано не только во имя торжества в мятежных княжествах идеи «порядка», но что это была очередная попытка сделать шаг в направлении к проливам, что это была борьба за потерянные ункиар-искелесские позиции.

Николай помогал австрийскому императору словом и делом не только потому, что ему нужно было погасить опасное для Польши революционное пламя, но и потому, что дружественная Австрия ему была нужна в системе его политики — и восточной и западной. Он поддерживал Австрию против Пруссии не только из любви к старым трактатам, но и потому, что объединение Германии под эгидою усиливающейся Пруссии отнюдь не входило в его расчеты. Возникшее в этом плане Шлезвиг-голштинское дело отнюдь не было «третьестепенным» делом, потому что речь здесь шла о том, в чьих руках будет выход из Балтийского моря, — у слабой ли Дании или относительно могущественной Пруссии. Предпринятая же царизмом интервенция в Венгрии разрешала целый ряд стоявших перед ним задач: она парализовала попытки объединения Германии, она сохраняла Австрию как гегемона германских владений и предполагаемого союзника в восточных делах, она укрепляла русские позиции на подступах к проливам, она гарантировала status quo в польском вопросе. Стремление безоговорочно противопоставить в событиях 1848 г. Россию Европе приводит к упрощению и искажению исторической действительности. Почему Николай I не встретил никаких международных препятствий ни тогда, когда он оккупировал Молдавию и Валахию, ни тогда, когда он вторгался со своими войсками в Венгрию? Не только потому, что руки Англии были связаны подъемом чартизма и ирландским вопросом, но и потому, что подавление революции в дунайских княжествах изолировало революционное движение в Венгрии, ослабление же Австрии вовсе не было в интересах Англии, нуждавшейся в континентальном союзнике. «Только кончайте поскорее», — сказал Пальмерстон в ответ на сообщение Бруннова о вступлении русских войск в Венгрию. «Старайтесь действовать массами, — давал со своей стороны совет Веллингтон, — достаточными для подавления смуты одним ударом».[2] «Если бы Австрии не было, ее нужно было бы создать», — говорил тогда же Пальмерстон венгерскому послу в Лондоне.[3] Преследуя цели, прямо противоположные тем, какие стояли перед царской Россией, Англия не мешала ей действовать. Николай I выступал при дружественном нейтралитете Англии. Недаром Маркс и Энгельс называли Англию «скалою, о ко-

[1] С. Щербаков. Ген.-фельдмаршал кн. Паскевич, VI, 227.
[2] Мартенс. Собрание трактатов и конвенций, XII, 255.
[3] Franz Pulszky. Meine Zeit, mein Leben, II, 322.

торую разбиваются революционные волны».[1] Получив свободу действий в Италии, позицию нейтралитета заняла также и Франция. Нессельроде уверял даже русского посла в Вене Фонтона, что «единственный, кто мог бы произвести чудо восстановления порядка и спокойствия, — это Луи Бонапарт».[2] Николай I действовал в обстановке, которую Маркс охарактеризовал словами: «Русский медведь... способен на все, в особенности, когда он знает, что другие звери ни на что не способны».[3] Революцию 1848 г. царская Россия, по словам Энгельса, «могла приветствовать как чрезвычайно благоприятное для нее событие». «Если революция, перекинувшись в Вену, не только устранила главного противника России, Меттерниха, но и пробудила от спячки австрийских славян, этих вероятных союзников царизма; если она проникла в Берлин и тем самым исцелила на все готового, но ни на что не способного Фридриха-Вильгельма IV от его жажды независимости от России, — то можно ли было желать большего? Россия была обеспечена от всякой заразы, а Польша оккупирована так крепко, что не могла и шевельнуться. А как только революция распространилась и на Дунайские княжества, русская дипломатия получила то, чего хотела, — предлог для нового вторжения в Молдавию и Валахию, чтобы восстановить порядок и еще более укрепить там русское владычество».[4]

Однако события 1848—1849 гг. вместе с тем оказывались для царизма, по словам Энгельса, и «первым ударом похоронного колокола».[5]

Что это значит? Это значит, что роль царизма как вершителя судеб Европы подходила к концу.

Период 1848—1849 гг. был исходным пунктом той новой расстановки сил на международной арене, которою определилось происхождение и исход Крымской войны. Этого «удара похоронного колокола» Покровский в своей истории 1848—1849 гг. не показал.

Когда венгерский очаг революции был погашен и сохранность Австрии была обеспечена, терпеть возрастающее русское могущество на Востоке для Англии больше не было смысла. «Англия, — писал Энгельс в 1853 г., анализируя экономические корни англо-русского конфликта, — не может согласиться, чтобы Россия завладела Дарданеллами и Босфором. Это событие нанесло бы и в торговом и в политическом отношении крупный, если не смертельный, удар британской мощи».[6]

Не юридический вопрос о «праве убежища», а вопрос о фактическом влиянии в Турции, в Азии, вопрос об охране подступов к Индии волновал английскую буржуазию. «Возможно, — запугивал свою

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., VII, 103.
[2] Nesselrode. Op. cit., IX, 215.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 416.
[4] Там же, XVI, ч. 2, 26—27.
[5] Там же, 27.
[6] Там же. Соч., IX, 382.

аудиторию Осборн на одном из митингов, организованных фритредерами в Лондоне в июле 1849 г., — что Россия, завладев устьями Дуная и Константинополем, расширит свои завоевания, и граждане Лондона доживут до того времени, когда они будут читать русские бюллетени при свете собственных пылающих домов». Англия оставляет позицию дружественного нейтралитета в русско-турецком конфликте по вопросу о выдаче «мятежников»-эмигрантов и решительно и демонстративно становится на сторону Турции. Английский флот входит в Дарданеллы. Произносится слово «война». Входя в конфликт с Австрией по итальянским делам, Франция, не желая уступать Англии пальму первенства в восточных делах, присоединяется к ней.

В русско-прусских отношениях в обстановке 1848 г. уже обозначилась серьезная трещина. Австрия, тесно связанная последними событиями с царской Россией, еще держится с нею рядом. Но австрийская буржуазия смотрит опасливо на своего слишком сильного феодального соседа и сама укрепляется на ближневосточных позициях в устьях Дуная.

Русско-турецкий конфликт по вопросу о польских эмигрантах был ликвидирован дипломатическими средствами. Войны удалось избежать. Но семена ее быстро зрели.

Николай I продолжал свой натиск на Турцию. Он не сомневался в действенной дружбе прусского короля. Он был уверен в дружественном нейтралитете Австрии. Он был уверен даже и в том, что Англия в лице стоявших у власти его консервативных «друзей», если и не войдет с ним в сделку о разделе Турции, то во всяком случае не будет противодействовать его политике на Ближнем Востоке. Производя свой очередной нажим на Турцию, Николай в то же время стремился возглавить в Европе «крестовый поход» монархов против Луи Наполеона как нового «узурпатора» тронов. Поставленный перед опасностью восстановления коалиции 1813 г., Наполеон III стремился разбить эту коалицию. Поднявшийся к власти на плечах армии, Наполеон нуждался в агрессивной внешней политике и строил планы перекройки карты Европы. По его собственным словам, он «смеялся» над восточным вопросом, но, наметив Сирию в качестве своей будущей жертвы, готов был выступить «в защиту» Турции от натиска царской России. Чтобы не только разбить угрозу коалиции, но и обратить ее против России, он не мог найти лучшего района для своих действий, как турецкий Восток. В этом плане перед ним открывалась перспектива самому стать «вершителем судеб Европы», «взобраться на самую вершину старых наследственных монархий, использовав при этом в качестве лестницы Турцию».[1]

Но это было то самое, что нужно было Англии, нуждавшейся в континентальном союзнике, чтобы сбросить Россию с занятых ею на Ближнем Востоке позиций. Англо-французское сближение быстро

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 575.

созрело. Русский нажим на Турцию оказался бесплодным, русские угрозы — недействительными. Действительностью стала война. Силу притяжения англо-французского блока скоро почувствовала Австрия. Началась война царской России с англо-франко-турецкой коалицией при необеспеченном тыле со стороны Австрии. Началась война царской России с небывалой по своей мощности европейской коалицией, в рядах которой стояли две сильнейшие державы Европы, окруженные ореолом борьбы с блюстителем феодальных порядков и врагом буржуазных революций. Началась борьба, в которой «русский способ войны», основанный на отсталой экономике и подневольном труде крестьянства, столкнулся лицом к лицу с «европейским способом».[1]

Вместо Константинополя царизм пришел к Севастополю. «Мы сдались, — писал Самарин, — не перед внешними силами западного союза, а перед нашим внутренним бессилием».[2] Севастополь должен был пасть, по словам Аксакова, «чтобы явилось в нем обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа».[3]

Парижский мир, отбросивший, по словам французского историка восточного вопроса (Рене Пинона), Россию «на целое столетие», «изгнавший ее со двора своего собственного дома», явился сокрушительным ударом по всей системе проводившейся Николаем I политики — внешней и внутренней. Военно-дипломатическое поражение царизма ускоряло нарастание «революционной ситуации» и прокладывало путь к новому этапу в развитии производительных сил, к новому этапу в развитии классовой борьбы.

Выкинув за борт своей истории восточный вопрос и поднимавшуюся на его дрожжах англо-русскую борьбу, пытаясь вывести 1855 г. непосредственно из событий 1849 г., Покровский не мог дать и правильного объяснения происхождения Крымской войны.

Здесь Покровский рисует дело так. Потерпев неудачу в вопросе о выдаче эмигрантов и «не чувствуя себя готовым к войне с морскими державами», «русский деспот» затаил злобу и решил при первой возможности «отомстить» (стр. 118). В это самое время Наполеон III также решает «избавиться от Николая», учитывая то обстоятельство, что «буржуазное общество не могло терпеть занесенного над ним кулака феодальной России» (стр. 121). Столкновение этих двух волевых актов, казалось, должно было привести к войне. Начался «спор о ключах». Но дело, оказывается, было не так просто: «Николай всего меньше желал навязать себе на шею войну с Францией» (стр. 119). В то же время «президент французской республики вовсе не имел в виду серьезного столкновения, а тем более войны с Россией из-за палестинских дел» (стр. 119). Мало того: «французская дипломатия

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., X, 209.
[2] Самарин. Соч., II, 17.
[3] Аксаков. Соч., III, 180.

надеялась столковаться по этому вопросу непосредственно с Россией, не подвергая Турцию риску войны» (стр. 122). Предъявляя ультиматум Турции, царское правительство, в свою очередь, «было уверено, что стоит хорошенько припугнуть турецких министров, и они на все согласятся» (стр. 122). В то же время оно понимало, что «оккупация княжеств означала войну — почти наверное с Турцией и очень вероятно с Францией» (стр. 123). Правильно рассчитавший, «где надо искать уязвимую сторону русского самодержца» (стр. 121), Наполеон против своего явно выраженного желания провоцирует последнего на войну. Давая себе ясный отчет в создающемся положении, Николай, вопреки своему явно выраженному желанию, сознательно поддается на провокацию. Анализ душевного состояния спорящих «о ключах» монархов оказывается неубедительным. К тому же он и не полон. Покровский проглядел основное — Англию, стоявшую за спиною наполеоновской Франции. Он проглядел импозантную фигуру «великого посла» Стратфорда Каннинга, становившегося в Константинополе полновластным хозяином и превращавшего Турцию в провинцию, управляемую английским проконсулом. Первоначальный план Николая — придать войне «освободительный» характер, провозгласив независимость подвластных Турции христианских народов, также выпадает из поля зрения Покровского.

«Мы провозгласим, — проектировал Николай,[1] — желание действительной независимости молдо-валахов, сербов, болгар, босняков и греков, с тем чтобы каждый из этих народов вступил в обладание страной, в которой живет уже целые века, и управлялся бы лицом, избранным ими самими из своих же соотечественников».

Нессельроде отклонил этот план, как слишком демонстративное нарушение принципов легитимизма. Однако предложение царя «отправить немедленно на места способных людей» министром отклонено не было. Тем более, что «способные люди» посылались в эти места неоднократно и раньше. Агенты Азиатского департамента — Фонтон, Ковалевский и другие — развертывали работу среди подвластных туркам народов, пытаясь поднять их против власти султана.

Известно, что в начале 1854 г. вспыхнуло восстание в Эпире. Русское правительство поощряло греческого короля Оттона на оказание вооруженной помощи повстанцам. Движение охватило Македонию и Фессалию. В г. Пете было образовано временное правительство. В то время как посланные в Эпир египетские войска захватили Пету, французская дивизия заняла Пирей. В апреле 1854 г. вспыхнувшее среди греков национально-освободительное движение было подавлено при помощи вооруженной силы англичан и французов.[2]

В мае 1854 г. в одном из номеров французского журнала «Siècle» развивалась мысль о том, что франко-русская война на Ближнем

[1] Зайончковский. Ук. соч., II, 633—634.
[2] E. Driault. La Question d'Orient. Paris, 1921, p. 173.

Востоке, которая должна, в частности, привести к освобождению Польши и поставить Россию в границы допетровских времен, явится в то же время «великолепной дуэлью между цивилизацией и варварством, между принципами добра и зла, между светом и тьмою: с Францией и Англией на одной стороне и Россией и ее рабами — на другой, с Европой в качестве свидетеля и богом — в качестве арбитра и судьи».[1]

Становясь на точку зрения французской публицистики и французской историографии, Покровский утверждает, что Наполеон III, «при всей его сдержанности», «не мог» «не выручить Турцию, терпевшую все злоключения из-за него» (стр. 131).[2] Входя в положение англичан, Покровский говорит о том, что разгром турецкого флота при Синопе, «после того как Англия формально поручилась за неприкосновенность турецких портов», явился «пощечиной, которой английское общество не могло перенести» (стр. 136). Покровский считает, что именно это загнало Англию в лагерь врагов России, что ошибка русского правительства заключалась в том, что при Синопе русский флот не потерпел поражения.

Покровский не может отрицать того факта, что агенты российского правительства вели инсуррекционную работу среди балканских народов: «Глава европейского легитимизма, — говорит он, — быстро входил в новую роль революционного агитатора на Балканском полуострове» (стр. 140—141). Но так как, согласно концепции Покровского, Россия «и на Дунае ...продолжала бороться с европейской революцией», он, становясь на точку зрения турецких политиков, утверждает, что «сербы давно уже избавились от непосредственного угнетения турок», что черногорцы были охвачены «лойяльными» настроениями, молдавы и валахи оказывались прямыми туркофилами, что действительным выразителем настроений и чаяний «райи» являлся в тот момент продажный константинопольский патриарх, который «нашел возможным поднести султану верноподданнический адрес с изъявлением своей преданности» (стр. 141—142).

Не поняв роли и значения восточного вопроса в системе внешней политики самодержавия, построив «синопскую» теорию происхождения англо-русской борьбы, выводя генезис Крымской войны непосредственно из событий 1848—1849 гг., рассматривая всю внешнюю политику Николая как политику дон-Кихота, борющегося с ветряными мельницами «духа времени», недоучитывая реальных интересов западноевропейских держав и роста их агрессии на Востоке, игнорируя национально-освободительное движение среди балканских

---

[1] Статья Хр. Островского, польского эмигранта, работавшего во французской публицистике. См. Ch. Ostrowsky, Lettres Slaves, 1833—1857, 3-me édit., 230—231, 240, Paris, 1857.

[2] Согласно G. Hanotaux (Histoire de la France contemporaine, t. IV, p. 86, Paris, 1908), в 1853 г. Николаю I «казалось, что груша (т. е. восточный вопрос. — *А. П.*) созрела и что ее остается только снять».

народов, Покровский дал своеобразную трактовку Крымской войны, которую можно назвать трактовкой английской, французской или турецкой, но которая весьма далека от научного марксистского объяснения войны.

Обращает на себя внимание и та ограниченность, которой страдают у Покровского его батальные картины. Выступая в качестве обличителя неспособного и бездарного царского командования, Покровский не выходит за пределы характеристики стратегических действий и настроений придворных кругов. Та «райя» николаевской монархии, которая была брошена на войну, которая несла на себе всю тяжесть защиты плохо укрепленного Севастополя и в течение 11 месяцев героически сдерживала напор соединенных сил Англии, Франции, Сардинии и Турции, выпала из поля зрения историка. Внимание его останавливается только на комическом виде ополченцев, которые собирались правительством в последние дни кампании и служили предметом насмешек для офицеров николаевской армии...

В заключение еще одно замечание по поводу данной Покровским концепции Крымской войны. Та «Европа», которая вела войну с Россией под Севастополем и вынудила царскую дипломатию на подписание «унизительного» Парижского мира, выступает у Покровского в виде единого монолитного целого, носителя революционного «духа времени», в виде «легиона общественного мнения», перед которым капитулирует русская «дворянская, барско-капиталистическая идеология» (стр. 174—179). Все это верно только постольку, поскольку дает нам представление о том, как воспринимались события Погодиным, его корреспонденткой из Дрездена Смирновой, отдельными министрами и сановниками Николая I (Блудов). Все это является, однако, упрощением и искажением исторической действительности, поскольку Покровский игнорирует те внутренние противоречия, которые «были заложены в пределах «Европы», ту внутреннюю классовую борьбу, которою действия этой «Европы» определились и ограничивались.

Войну 1853/56 г. Маркс и Энгельс включали в систему своего революционного стратегического плана.

В русском абсолютизме Маркс видел злейшего врага европейской революции. Но разрешение восточного «кризиса» он искал не в сохранении status quo на Балканах, не в борьбе за целость европейских владений Турции. «Полуостров, называемый просто Европейской Турцией, — писал Маркс в апреле 1853 г., — представляет естественный наследственный удел южно-славянской расы».[1] Образование независимого славянского государства на месте «одряхлевшей прогнившей Порты», по мнению Маркса, не только не должно было привести к утверждению могущества русского царя на Балканском полуострове, — наоборот, оно должно было оттеснить на задний план прямое русское влияние на турецких славян. «Общеизвестно, —

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 395.

писал Маркс тогда-же, — что в каждом государстве на территории Турции, достигавшем полной или частичной независимости, тотчас же вырастала сильная антирусская партия».[1] Вместе с тем, однако, в октябре 1854 г. Маркс предупреждал: «Все дело в том, что ныне правящие англичане — ни Чатамы, ни Питты младшие и ни даже Веллингтоны — не думают серьезно об уничтожении даже морских сил России и русского влияния в Турции, Персии и на Кавказе».[2] Выдвигая задачу революционной войны против царской России, Маркс вместе с тем указывал на стоящую перед английским рабочим классом задачу революционной борьбы против правящего класса Англии: «чтобы дать отпор притязаниям царя, нужно прежде всего свергнуть бесславное господство этих низких раболепных и подлых обожателей золотого тельца».[3] О том, как смотрели Маркс и Энгельс на «Европу» того времени, видно из того, на какую «державу» они ориентировались в своей стратегии. Именно к этому времени относится их указание: «в Европе существует еще одна шестая держава, которая в известные моменты подчиняет себе все пять так называемых «великих держав» и каждую из них заставляет дрожать. Держава эта — революция».[4]

Надежды Маркса и Энгельса на то, что в условиях Крымской войны эта шестая держава явится «с мечом в руке... и опрокинет все расчеты на равновесие держав», не сбылись.

«Ни политический, ни социальный уклад Европы не поколеблен в результате войны. Все эти громадные расходы и потоки пролитой крови ничего не дали народу»,[5] — говорили они. Крымскую войну, эту «скучную войну», Энгельс, однако, считал все же полезной, так как она воочию обнаружила бессилие не только царской России, но и бонопартистской Франции и буржуазной Англии.[6] А когда война кончилась и была утрачена возможность свержения «русского абсолютизма» «европейской демократией», Маркс и Энгельс заговорили об «официальном банкротстве Европы» и указывали на Францию, где должен рухнуть «бонапартистский карточный домик» и откуда можно ждать толчка для дальнейшего развития революции.[7]

«Европа»-победительница Покровского сильно отличается от «обанкротившейся» Европы Маркса и Энгельса.

От Крымской войны до Лондонской конвенции о проливах

Крымская война разбила те политические силы, определенное сочетание которых поддерживало Европу Венского конгресса: была

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, стр. 394.
[2] Там же, XXII, 58.
[3] Там же, IX, 474.
[4] Там же, IX, 608.
[5] Там же, X, 596.
[6] Там же, 142—147.
[7] Там же, XXII, 112.

парализована военная мощь николаевской монархии, главной опоры «охранительных» начал; распался союз трех континентальных держав; погасла англо-французская дружба, и Англия осталась снова без континентального союзника; в роли вершительницы судеб Европы выступала наполеоновская Франция, стремившаяся к перекройке карты Европы и в своей борьбе с Австрией, как старым гегемоном центральной Европы, ставившая ставку на рост национального движения в Италии и Германии.

«Война, — говорит Ленин, — есть продолжение средствами насилия той политики, которую вели господствующие классы воюющих держав задолго до войны. Мир есть продолжение *той же* политики с *записью* тех изменений в отношении между силами противников, которые созданы военными действиями. Война сама по себе не изменяет того направления, в котором развивалась политика до войны, а лишь *ускоряет* это развитие».[1] Борьба за выход к Черному морю и за проливы была главной задачей внешней политики царской России, начиная с последней четверти XVIII в. Этой борьбой определялась для царизма и необходимость Восточной войны, а также политика царизма и после Севастополя.

Англо-русские противоречия, основные противоречия предшествующей эпохи, продолжая оставаться в силе, принимали иные формы и локализовались в иных районах действия.

Внешняя политика страны с помещичьей властью, после сделанного ею «первого шага по пути буржуазного развития», была политикой, рассчитанной на консервацию пережитков крепостничества, а следовательно на развитие капитализма вширь.

«Развитие капитализма вглубь, — писал Ленин, — в старой, издавна заселенной, территории задерживается вследствие колонизации окраин. Разрешение свойственных капитализму и порождаемых им противоречий временно отсрочивается вследствие того, что капитализм легко может развиваться вширь... Возможность искать и находить рынок в колонизуемых окраинах (для фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьянина) ослабляет остроту этого противоречия и замедляет его разрешение».[2] Но, предпринимая свое наступление в направлении наименьшего сопротивления на Дальнем и Среднем Востоке, царская Россия неизбежно сталкивалась с тем наступлением, которое в этих районах вела Англия. Англо-русские противоречия получали новую питательную базу. В этих условиях ослабленная войной царская Россия вынуждалась к поискам союзника на международной арене, с помощью которого она могла бы продолжать свою борьбу за проливы. Этот союзник должен был помочь царскому правительству в разрешении и другой, стоявшей перед ним задачи — охраны «порохового погреба империи»

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 50.
[2] Там же, III, 465.

от тех революционных искр, которые могли быть занесены с Запада на территорию Российской империи. «Наша политика не может не быть монархической и антипольской» — таково было политическое завещание последнего министра николаевского царствования. Борьба за обеспечение «порядка и спокойствия» в пограничной, легко воспламеняющейся Польше, являвшаяся второй задачей внешней политики николаевского царствования, оставалась в системе внешнеполитических установок русского царизма и после Крымской войны.

Царизм приступал к разрешению стоявших перед ним задач с учетом «записи тех изменений», какие внесла война в расстановку сил на международной арене.

Общие линии той международной борьбы, в которой после Крымской войны принимала участие царская Россия, в общих чертах можно определить так. Ослабленная и утратившая свои качества гегемона Европы, царская Россия стремилась к тому, чтобы без войны добиться отмены ограничительных пунктов Парижского трактата. Ради этого она шла на сближение с наполеоновской Францией. Стремившийся к перекройке карты Европы Наполеон за поддержку своих агрессивных планов в Европе обещал Александру II содействие в ближневосточных делах. Так как в плане европейской агрессии Наполеона стоял вопрос о Польше, начавшееся франко-русское сближение не могло быть длительным. Вспыхнувшее в 1863 г. в Польше восстание привело Наполеона к попытке дипломатического вмешательства в русско-польские отношения. Попытка эта кончилась неудачей, так как Францию не поддержала Англия, которая не была заинтересована в превращении Польши в государство, вассальное Франции. На почве подавления польского восстания царская Россия сблизилась с Пруссией. Вступая в войну с Австрией за преобладающую роль в Германии, Пруссия заручилась непротиводействием со стороны России, пообещав последней поддержку в вопросе о проливах. Во время франко-прусской войны, за обещанную поддержку в тех же ближневосточных делах, царская Россия соблюдала дружественный по отношению к Пруссии нейтралитет. Вместе с бисмарковской Германией она поддерживала французскую буржуазию в подавлении Парижской коммуны. Опираясь на поддержку Бисмарка, Горчаков заявил об отказе России признавать для себя обязательность ограничительных пунктов Парижского трактата. Противодействие, оказанное Англией и Австрией выступлению Горчакова, привело к заключению компромиссной Лондонской конвенции, объявившей проливы закрытыми для военных судов всех наций. Не оставляя ни на минуту работы по укреплению своего влияния среди балканских народов, царская Россия на данном этапе связывала осуществление своих задач на Ближнем Востоке с поддержкой Германии и шла в этой связи к соглашению трех императоров.

По Покровскому, вся внешняя политика царской России первой половины XIX в. «была лишь проекцией русского режима на Западе»

(стр. 177). Никаких интересов на Востоке, в проливах, царская Россия не имела, и под Севастополем русские войска сражались только с «духом времени». Не удивительно, что результаты такой войны с призраками могли быть только призрачными. Никаких изменений в международной обстановке в результате войны Покровский не ищет. Никакого падения международного удельного веса царской России в результате войны Покровский не находит. Никакого ущерба, нанесенного войной тому значению, какое имел царизм как блюститель принципов легитимизма, Покровский не видит.

В своей характеристике внешнеполитической линии царской России за период от Крымской войны до Берлинского конгресса Покровский исходит из положения, что Александр II в своей внешней политике еще более, чем во внутренней, «являлся верным сыном своего отца и продолжателем его системы». Сущность этой системы сводилась, по мнению Покровского, к тому, что царская Россия попрежнему считала себя «присяжной противницей духа времени», призванной к борьбе с «партией всесветной революции» (стр. 230). Покровский доказывает это ссылкой на отношение правящих кругов царской России к неаполитанской революции, на разрыв дипломатических сношений России с Сардинией, на декларацию российского министерства иностранных дел, осуждавшую сардинцев за захват чужой территории. В своей оценке этого документа, заключавшего в себе заведомую официальную ложь, Покровский исходит не из выяснения тех реальных интересов, которые определяли позицию правительства в данном конкретном вопросе, а из тех же априорных соображений о природе русской внешней политики, из презумпции о ее борьбе с «всесветной революцией» (стр. 231). Даже тот официальный историк двух царствований, на которого опирается в значительной части своего изложения Покровский и который к борьбе с буржуазными революционными движениями на Западе относится с нескрываемым сочувствием, считает необходимым определить те реальные интересы, которые лежали в основе политики царя. Он указывает на то, что французский посланник в Петербурге Морни верно разгадал причину сближения Петербурга с Веною, заметив, что речь шла о том, «как бы распространение революционного движения в Венгрии не отразилось на Польше».[1]

К этому надо добавить: разрыв дипломатических сношений России с Сардинией относится к сентябрю-октябрю 1860 г. Весь предшествовавший четырехлетний период был периодом франко-русской дружбы, в течение которой Россия поддерживала Наполеона в его борьбе против Австрии. Борьба Наполеона против Австрии была в то же время борьбой против гегемонии Австрии в Италии, стремившейся к свержению австрийского гнета и к воссоединению своих

---

[1] С. Татищев. Император Александр II, его жизнь и царствование, I, 267. СПб., 1903.

областей вокруг королевства Сардинии. В апреле 1859 г. началась австро-франко-итальянская война. А в марте 1859 г.[1] между Россией и Францией был заключен договор, согласно которому Россия продвинула на время войны к австрийской границе 160-тысячную армию с целью оттянуть силы австрийцев. Царская Россия не имела никаких реальных интересов в Италии. Но, конечно, Александр поддерживал Наполеона не из симпатий к национально-освободительному движению в Италии. Александр поддерживал франко-сардинскую коалицию в надежде получить от Наполеона поддержку в ближневосточных делах и прежде всего в вопросе об отмене ограничительных пунктов Парижского трактата.[2]

До этого момента царская Россия и наполеоновская Франция действовали дружно и в деле объединения дунайских княжеств (1857 г.), и в Черногорском вопросе (1858 г.), и в вопросе о борьбе с австрийским влиянием в Сербии (1858 г.).

После того как в середине 1859 г. Наполеон III, получивший Савойю и Ниццу, заключил с Австрией мир, не предупредив своего союзника, франко-русские отношения стали расстраиваться. События в Италии форсировали национально-освободительное движение на Балканах: в конце 1859 — начале 1860 г. начались волнения в Боснии и Герцоговине, в Болгарии и Македонии, в Фессалии и Эпире. Турки жестоко подавляли их. Создавалась угроза поголовного восстания турецких христиан. Перед царским правительством открывалась перспектива овладеть вновь тем «рычагом» покровительства балканским христианам, который им был утерян в 1856 г. Сделать это царизм мог, только опираясь на поддержку Франции. Но Франция на этот раз не оказала поддержки. Начатые в феврале 1860 г. Киселевым в Париже переговоры о соглашении по восточным делам затянулись. Циркуляр Горчакова от 20 мая 1860 г., предлагавшего выработку понудительных мер против Турции, поддержан Францией не был. Франция шла в эту пору на сближение с Англией и в июле 1860 г. в связи с происшедшей в Сирии резней христиан послала с согласия Англии в Сирию 7-тысячный оккупационный корпус. Повторная попытка Горчакова поднять вопрос о положении балканских христиан снова потерпела фиаско. Царское правительство не могло быть довольно таким исходом дел. Оно стояло перед фактом революции, бушующей на Аппенинском полуострове, которая легко могла переброситься в Венгрию и Галицию и которая поддерживалась с его собственного ведома его собственным союзником. К тому же революционная волна нарастала в Польше. Союзник получил все выговоренные им ранее территориальные компенсации. Россия же, не получив ничего, осталась при всей совокупности унизительных пунктов ненавистного трактата.

---

[1] Красный архив, 88, 182—255.

[2] Goriainoff. Révue de Paris, III, 531, 1912. См. также Charles Roux, op. cit. p. 240—256.

Когда революционное движение охватило Неаполь, и пьемонтская армия двинулась к неаполитанской границе, чтобы пожать плоды побед Гарибальди и присоединить брошенный королем Неаполь к Пьемонту, царское правительство протестовало против нарушения Пьемонтом «вечных законов» права и отозвало своего посланника из Турина (сентябрь — октябрь 1860 г.). Тогда же Александр II переписывался со своим прусским дядей (принцем-регентом) о необходимости охранить «общественный» порядок в Европе. Тогда же Александр II выезжал на свидание с Францем-Иосифом и принцем-регентом прусским в Варшаву. На свидании речь шла о сохранении мира в Европе, о мерах борьбы с революцией, о польских делах. Когда прибывший в Варшаву Киселев представил царю записку «о пользе оборонительного союза с Францией...», царь сделал помету: «против кого»?[1] В русских военных кругах считали своевременным начать передвижение войск в направлении к польской границе.

Как видим, вопрос о разрыве дипломатических сношений с Сардинией объясняется не так просто, как это хотел представить Покровский, сводивший все дело к наследственному характеру идеологии Александра II.

Игнорируя те основные изменения, какие происходили в этот период в расстановке сил на международной арене — ослабление России и стремительное выдвижение Пруссии, Покровский дает искаженное изображение русско-прусских отношений. Россия не протестует против занятия в 1864 г. Шлезвиг-Голштинии саксонскими и ганноверскими войсками не только потому, что она видит в этом, как отмечает Покровский, меру охранительного порядка (стр. 231), но и потому, что она считает нужным поддержать Пруссию против Англии. Такую же поддержку Пруссия получила и со стороны Франции, позиция которой едва ли могла определяться принципами легитимизма.[2]

Когда Пруссия, разгромив Австрию и низложив ряд мелких немецких династий, своими энергичными действиями вызвала беспокойство в Петербурге, дело не ограничилось тем, что Бисмарк обещал Александру проявлять твердость в отношении германского рейхстага, после чего, как утверждает Покровский, «русское правительство успокоилось»; чтобы успокоить Александра, Бисмарк тогда же послал в Петербург ген. Мантейфеля, который заверил царя в том, что Пруссия не будет возражать против отмены Россией стеснительных для нее обязательств 1856 г.[3]

То изображение, которое стремится дать Покровский внешней политике Александра II как политике «царя-идеолога», требует весьма существенных коррективов. Вульгарный психологизм, на который сбил-

[1] С. Татищев. Ук. соч., стр. 269.
[2] Там же, II, 45—80.
[3] Там же, I, 477—498.

ся, как мы видели, Покровский в трактовке внешней политики Николая I, является и здесь прямою угрозой правильному изложению событий. Трактовка Покровским этих событий находится в решительном противоречии с той характеристикой, какую давал Маркс внешней политике александровского царствования: «Эта политика, — писал он, — не является ни легитимистской, ни революционной, но с одинаковой легкостью использует все возможности территориального расширения — безразлично, должно ли оно быть достигнуто присоединением к восставшим народам или к борющимся монархам».[1] Это положение Маркса получает полное подтверждение во внешней политике царизма на протяжении пятнадцатилетия, следующего за Крымской войной. Но обратимся сначала к ходу мысли Покровского. По Покровскому, дружба царизма с Францией Наполеона III разладилась из-за итальянского вопроса: царизм не мог «преодолеть свою социальную природу» и выступил против воссоединения Италии. Дополнительным моментом явилось то обстоятельство, что Наполеон III «чувствовал для себя морально невозможным не вмешаться в пользу поляков». «Забота о торжестве охранительных начал на Западе» привела Александра к союзу с Пруссией и Австрией (стр. 234). «Как и в первую половину столетия, общий тон политики отражался и на восточных делах» (стр. 231). «Одновременно с этим выступления России на Балканском полуострове начинают вдохновляться тем же консервативным настроением» (стр. 236). Доказательством этого положения, по мнению Покровского, должна служить позиция, занятая Россией в момент критского восстания.

Если говорить о «социальной природе» царизма, определявшей его внешнюю политику в рассматриваемый период, следовало бы, разумеется, прежде всего вспомнить о польском вопросе, который дал знать о себе, как известно, с первых дней Крымской войны, когда в Добрудже был сформирован польский легион под начальством Чайковского и когда Адам Чарторыйский давал Наполеону III совет перенести войну к границам польских губерний.[2] Согласно Покровскому, разъединил Россию и Францию не столько польский, сколько итальянский вопрос, и только благодаря особым «моральным» качествам Наполеона III в систему франко-русских отношений вошел также и вопрос о Польше. Согласно Покровскому, в основу русско-прусского союза легла отвлеченная идея о торжестве охранительных начал в Европе: как будто русско-прусская конвенция, подписанная 27 января — 8 февраля 1863 г. Горчаковым и Альвенслебеном и открывшая новую полосу в русско-прусских отношениях, была заключена не по такому весьма конкретному вопросу как польский вопрос и не в разгар польского восстания; как будто Бисмарк в своем разговоре с вице-президентом прусской палаты не произнес

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, в. 2, 152.
[2] Корнилов. Ук. соч., 44—45.

тогда хорошо известных Покровскому слов: «Польский вопрос может быть разрешен только двумя способами: или надо быстро подавить восстание в согласии с Россией и предупредить западные державы совершившимся фактом или же дать положению развиться и ухудшиться, ждать, пока русские будут выгнаны из царства или вынуждены просить помощи — и тогда смело действовать и занять царство за счет Пруссии».[1]

Если говорить о «социальной природе» царизма, определявшей его внешнюю политику, следует также вспомнить относящееся к 1860 г. указание Маркса на то, что после Крымской войны царская Россия не имела возможности выбраться из внутренних противоречий иначе, как при помощи внешней агрессии. «Ясно, — писал Маркс, — что самодержец Франции и самодержец России, подвергаясь давлению одной и той же повелительной необходимости трубить в трубы войны, действуют во взаимном согласии».[2]

Известно, что Александру II удалось в те годы добиться военных успехов на Кавказе, занять левый берег Амура и начать победоносное военное продвижение в Средней Азии. Что касается вопроса о проливах, то здесь царизм стоял теперь перед необходимостью преодолеть ряд крупных препятствий и проделать большую подготовительную работу. Дело было не только в падении удельного веса России на Балканах, как говорит Покровский, но и в падении удельного веса России в Европе, а отсюда и в растущем влиянии на Балканах Австрии и Франции. Дело было также и в развивавшемся национальном движении среди балканских народов. Значение Парижского конгресса заключалось не в том только, что «грандиозное предприятие императора Николая, — как говорит Покровский, — потерпело полное крушение». Во-первых, это не было «предприятие», обязанное инициативе одного Николая, а во-вторых — царизм, вынужденный конгрессом к временному отступлению, вовсе не считал «предприятие» погибшим. Именно 60-е годы являются тем временем, когда царизм занят деятельной подготовкой к новому продвижению в направлении к проливам. В чем же заключалась эта работа? По Покровскому, — в совместной работе с Турцией против восставших критян. Если, касаясь трактовки Покровским русской политики на Западе, мы можем сказать, что Покровский неправильно акцентировал на итальянских делах в ущерб польским, приняв фразеологию царских дипломатов по виллафранкскому делу за чистую монету и позабыв, что фразеология эта имела польскую подкладку, — трактовка Покровским русской политики на Востоке рассматриваемого десятилетия находится в полном разладе с фактами и внутренней и внешней политики.

Еще в ноябре 1858 г., касаясь вопроса о русской внешней политике после Севастополя, Маркс писал: «Еще более расшатать Турцию

---

[1] С. Татищев. Ук. соч., I, 477—498.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, ч. 2, III.

и установить свой протекторат над ее христианскими подданными — таковы были цели, к которым Россия стремилась в начале войны...» Констатируя далее факт «обессиления Турции» в результате войны, Маркс приходил к выводу, что в этом отношении Россия по окончании войны все же «оказалась в круглом выигрыше».[1] Перед царской Россией, ни на минуту не оставлявшей мысли о проливах, стоял вопрос о том, как пустить в предпринимаемое ею дело реванша на Балканах этот нажитый на чужой беде капитал.

В период бурного роста национального движения на Балканах идеология издавна агрессивно настроенной, издавна предрасположенной к ближневосточной агрессии дворянской группировки, известной под именем славянофилов, этих «миссионеров славянского дела», становилась для царизма орудием крупного политического значения. Укрепив себя успешной внутренней «сделкой», царизм держал курс на новую большую агрессию под развернутым знаменем «всеславянства». Недаром Маркс в 1865 г. писал об опасности «панславизма», отмечая, что «это не только движение в пользу национальной независимости», но движение, которое грозит «смести с карты Европы Турцию, Венгрию и половину Германии»...[2] Именно на период 1861—1867 гг. приходится развертывание славянофилами своей агитационной и организационной работы, когда филиалы Петербургского славянского комитета открываются в Киеве и Одессе, когда Погодин пишет свои «окружные послания к славянам», когда производится переброска из одного места в другое вывезенной из Праги части руки св. Кирилла, когда на устроенную в Москве этнографическую выставку (1867 г.) съезжаются представители славянских народов.[3]

Та пропаганда, какая велась славянофилами в период указанного семилетия, пропаганда, требовавшая расширения восточного вопроса до пределов вопроса всеславянского, приобретала значение широкого идеологического прикрытия той конкретной политической работы, какую именно в этот период проводила царская дипломатия на путях ее продвижения к проливам. Предоставляя идеологам славянофильства разработку проблемы во всей ее полноте, царское правительство в лице своего органа, Азиатского департамента министерства иностранных дел, ограничивалось минимальным вариантом «панславизма» — идеей союза балканских славян.

Царская дипломатия ищет прежде всего реальную точку опоры на Балканах. К началу 60-х годов княжества Молдавия и Валахия, собранные теперь в единое княжество Румынию, служившие прежде предметом «покровительства» царской России, подпадая под влияние сначала французское, а затем австро-германское, теряли для царизма то значение, какое они имели для него прежде в качестве одного из

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 368.
[2] Там же, X, 389.
[3] М. Погодин. Собрание статей, писем и речей, стр. 61—78.

«рычагов» разрешения восточного вопроса, в качестве плацдарма, удобного для продвижения к проливам. Румыния становилась, по словам аксаковского «Дня», «чуждым» политическим телом, лежащим «между нами и славянами поперек дороги в Царьград».[1]

Весьма мало пригодны для дела были и греки, о которых вспоминает Покровский. Получив от Англии Ионические острова (в 1862 г.), Греция так научилась ценить английскую дружбу, что без пререканий принимала от англичан одного за другим кандидатов на греческий престол. Оставались сербы, болгары и черногорцы. Сербы были по тому времени особенно сильны. Правящие сербские группы начинали проникаться великосербскими настроениями. Династия Обреновичей, только что получившая власть из рук царской России (1858 г.), еще не растеряла старых воспоминаний. К тому же уже заставлял говорить о себе увеличивавшийся импорт товаров из соседней Австрии. «Сербия в силу обстоятельств и вследствие своего исключительного положения, — значится в инструкции министерства иностранных дел русскому консулу в Белграде от 27 ноября 1860 г., — сделалась как бы центром и точкой опоры прочих славянских областей Турции».[2] «Нам необходимо стараться сгруппировать, — говорится в другой инструкции того же министерства от мая 1866 г., — все разнородные элементы славян в Турции около Сербии как около центра, из которого впоследствии, при благоприятных обстоятельствах, должно возникнуть главное движение, поддерживаемое в совокупности всеми славянами».[3] Царское правительство начинает финансировать сербского князя и сколачивать сербо-черногорско-болгарский союз под эгидою Сербии. Царское правительство не пренебрегало и соглашением с вождем Герцоговины Лукой Вуколовичем. Царское правительство пыталось привлечь к делу органы болгарского национального движения, а когда это не удалось, в противовес «Тайному болгарскому Национальному комитету» западнической ориентации, создает на территории Румынии параллельный «Явный болгарский Центральный комитет». Царскому правительству удалось привлечь к союзу с сербами и греческие гетерии. Не были позабыты даже албанцы. К 1867 г. Балканский союз можно было считать формально сложившимся.

Но созданное орудие оказывалось мало пригодным для действий в усложнявшейся обстановке. Это был период, когда быстро росла не только греческая, но и сербская буржуазия, когда, в условиях укреплявшегося австро-французского сближения и среди греческой и среди сербской буржуазии стремительно росла западная ориентация, когда, несмотря на пролитый царизмом золотой дождь, катастрофически падало русское влияние в Сербии, когда ставленник

[1] День от 19/I 1887 г.

[2] МИД, Гл. архив, П. О., д. 240, Белград, 1860.

[3] МИД, Гл. архив, П. О., д. 6. Болгария. Революционные комитеты, 1866.

России сербский князь Михаил был убит (1868 г.) и ставшее у трона новое правительство несовершеннолетнего Милана обнаруживало готовность подчиняться директивам из Вены. В это время на происходившем в Вене (1869 г.) совещании русского посла бар. Икскюля с прибывшим к нему из Константинополя Игнатьевым говорилось о желательности «добиться того, чтобы отсрочить поднятие балканских народов против Турции до того момента, когда мы были бы в состоянии нейтрализовать австрийские силы или до возникновения первого международного конфликта, могущего послужить диверсией для предполагаемого восстания».[1]

Нельзя ни на минуту упускать из виду также и то, что это было время, когда сцементированная польскими делами русско-прусская дружба окрепла настолько, что Бисмарк мог поставить в повестку дня вопрос о войне с Францией и об аннексии Эльзаса и Лотарингии, и для царского правительства стало возможно говорить о пересмотре Парижского трактата и рассчитывать в этом деле на прямую поддержку Берлина.

В этом плане становится понятным то равнодушие, какое проявлял царизм во время критского восстания в 1867 г., в тот год, когда было прекращено финансирование Балканского союза, надолго закрыты славянофильские газеты и прекращена «панславистская» агитация. В этом плане становится понятным и появление циркуляра Горчакова о необходимости покончить с «революционной фразеологией и инструкциями, чуждыми и навязанными ей [власти] в силу необходимости». Но в этом же плане становится понятной и ошибочность даваемой Покровским трактовки внешней политики царизма за рассматриваемый период.

Не поняв реальных внешнеполитических интересов царизма, рассматривая продвижение царизма на Балканах не как стержневую задачу царской дипломатии в XIX в., а как случайное «предприятие» Николая I, руководившегося идеологическими мотивами по преимуществу, видя в Александре II выразителя все той же николаевской «идеологии», Покровский принял фразеологию Горчакова за единственный реальный мотив того внешнеполитического курса, какой был взят царизмом во 2-й половине 60-х годов в балканском вопросе и который выразился, по словам Покровского, в «предательстве опекаемых им интересов балканских славян» (стр. 237).

Покровский оказывается не одиноким в том тупике, в какой он зашел в объяснении этого вопроса. По существу он повторяет лишь то недоумение и ту критику деятельности царской дипломатии, какая развивалась на страницах либерального «Вестника Европы», в робких выражениях обвинявшего правительство в небрежении «правым делом» восставших греков и указывавшего на вредные последствия занятой царской дипломатией позиции.[2] В том же 1867 г. лучше

[1] МИД, Гл. архив, П. О., д. 150, л. 139, Константинополь, 1868.
[2] Вестник Европы. Иностр. обозр., 442—444, март 1869.

информированный Аксаков в своем органе предупреждал: «Как ни велика наша симпатия к грекам, мы не можем и не должны приносить им в жертву ни наших братьев славян, ни интересов России».[1] А два года спустя, говоря о трудностях, выраставших перед Россией на Балканах и отражавшихся прежде всего на положении турецких христиан в лице «братьев-критян», катковский полуофициоз так утешал пострадавших: «Нужно выждать время, чтобы приготовить себе возможность обойти их (препятствия. — *А. П.*), а иногда требуется даже отступить, именно для того, чтобы отважным и сильным движением перескочить через них».[2]

Бросая созданный ею Балканский союз как мало пригодное в данных условиях орудие, царская Россия готовилась к тому, чтобы сделать новый прыжок к водам Босфора. Прыжок этот, как известно, ей удалось сделать не сразу. Но в следующем же году она начала движение в направлении к проливам, избрав путь в Константинополь через Берлин и Вену. На этом пути царское правительство поддерживало бисмарковскую Германию против Франции Луи-Наполеона и, далее, правительство Третьей республики против Коммуны. На этом пути ему представлялось возможным добиться отмены тех статей Парижского трактата, которые устанавливали нейтрализацию Черного моря и запрещали России иметь черноморский военный флот. Дело началось с известной декларации кн. Горчакова, где речь шла об уничтожении односторонним заявлением России одного из постановлений международного договора. В рассматриваемое десятилетие это был третий по счету факт одностороннего нарушения международных трактатов: в 1864 г. это сделали Австрия и Пруссия в датском вопросе, в 1866 г. нарушила международные трактаты 1815 г. Пруссия, уничтожив Германский союз.[3]

Нота Горчакова встретила решительный протест со стороны Англии, которая ни в 1864, ни в 1866 г. протестов не заявляла. Протестуя против формы разрешения данного вопроса, английская дипломатия настояла на перенесении вопроса на международную конференцию. Царизм имел на своей стороне Германию. Отсутствие на сцене занятой войной Франции усиливало шансы царской дипломатии. После упорной трехмесячной дипломатической борьбы царская Россия добилась своего. Правда, в течение ближайших лет Россия не сумела воспользоваться открывшимися ей в 1871 г. возможностями и не создала сколько-нибудь серьезной военной силы в черноморских водах. Но нельзя пройти мимо слов, сказанных Александром II своему сыну еще в 1861 г., цитированных в другой связи самим Покровским: «Я не умру спокойно, пока не увижу его (черноморский флот) возрожденным».[4] Нельзя в этой же связи пройти мимо того, что

[1] День от 19/I 1867 г.
[2] Московские ведомости № 16 от 19/I 1869 г.
[3] С. Горянинов. Босфор и Дарданеллы, стр. 151.
[4] БСЭ, II, ст. М. Покровского «Александр II», стр. 158.

именно этою мерою — завоеванием права на флот — правительство стремилось поднять свой престиж, пошатнувшийся в период франко-прусской войны: «Никогда еще, — по словам современника, — наше правительство не находилось в таком разъединении с общественным мнением, как во время разгрома Франции немецкими полчищами».[1] Достижением в вопросе о проливах правительство надеялось засыпать эту трещину. Дипломатический успех царизма вызвал поток приветственных телеграмм от дворянских собраний, городских и земских управ. Он легализовал и оправдывал в глазах «общественного мнения» тот новый путь разрешения восточного вопроса, который был теперь избран.

Не поняв значения восточного вопроса в системе внешней политики Александра II, не учтя тех сдвигов, какие происходили в ту пору в расстановке международных сил, не определив обусловленности внешней политики Александра его политикой внутренней, Покровский дал неправильное освещение всей его внешней политике и, в частности, вопросу о борьбе за отмену Парижского трактата. Исторический анализ этого вопроса он сузил рамками юридического анализа действовавших трактатов, с одной стороны, анализа индивидуальной психологии Александра — с другой: последнему, по словам Покровского, «нужно было загладить свою «трусость», воспоминания о которой так угнетали его, — загладить каким-нибудь смелым поступком» (стр. 238). Все действия Александра II иного объяснения у Покровского не находят. Касаясь же самого факта отмены Парижского трактата, Покровский ограничивается тем, что дает читателю сильно запоздавшую историческую публицистику, упрекая Александра и Горчакова, которые раньше выступали с протестами против нарушения договоров, в нелогичности. Он противопоставляет им «сильных своей логикой» англичан (стр. 240). В своей запоздалой полемике с Горчаковым Покровский ссылается на Бисмарка, на данную им однажды нелестную характеристику царской дипломатии (стр. 239), хотя Покровскому не могло не быть известно, что именно в данном вопросе Бисмарк оказал царской дипломатии безоговорочную поддержку.[2]

В своем анализе юридической природы факта нарушения Парижского трактата Покровский приходит к выводу о том, что перед «Европой», представленной западноевропейской дипломатией, стояла задача «призвать ее [Россию] к порядку перед лицом всего цивилизованного мира за ту форму, в какой она принялась за это дело» (стр. 240). Позиция, занятая Покровским в этом вопросе, и вся развиваемая им юридическая аргументация в данном случае всецело покрывается той позицией, которую занимал, и теми доводами, какие развивал на Лондонской конференции статс-секретарь по иностранным

[1] Феоктистов. Воспоминания, стр. 111.

[2] С. Горяинов. Босфор и Дарданеллы, стр. 149. См. также «Grosse Politik», II, № 222.

делам Великобритании лорд Гранвиль.[1] Этой английской концепцией борьбы царской России за отмену Парижского трактата, концепцией, определявшейся в конечном счете тем, что Англия еще не успела подойти вплотную к реализации своих собственных захватнических планов на Ближнем Востоке и была попрежнему заинтересована в поддержании Турции в состоянии политико-хозяйственной прострации, Покровский подменяет подлинно научное марксистское освещение вопроса.

Война 1877—1878 гг.

Покровский переходит к выяснению генезиса русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Позабыв о том, что совсем недавно (на стр. 241) он охарактеризовал Лондонскую конвенцию о проливах (1871 г.) как «демонстрацию неловкости и трусости» русской дипломатии, теперь (на стр. 243), исходя из мысли о том, что «раз сделанный удачный шаг всегда побуждает к следующему», он приходит к выводу, что эта удача должна была поставить перед царизмом вопрос о возвращении Бессарабии. «Из-за вопроса о Бессарабии,—говорит он, — понемногу стал выплывать вопрос о Балканском полуострове, а затем и о Константинополе» (стр. 244). Упустив из виду, что молдаво-валашский вопрос в рассматриваемую пору уже не мог играть для царизма той роли, какую он играл в 20—40-х годах, и установив «бессарабское» происхождение русско-турецкой войны, Покровский утверждает, что Бисмарку «было в высшей степени неприятно видеть, как Александр II пытается подражать своему отцу в роли вершителя судеб Западной Европы» (стр. 245). Бисмарк, который, действительно, боялся франко-русского сближения (1875 г.), который, как известно, страдал от «кошмаров коалиций» и основной задачей своей политики ставил изоляцию Франции, вырисовывается у Покровского человеком, туго разбиравшимся в сложившейся после Крымской войны международной конъюнктуре, когда царизм уже не мог играть роль «вершителя судеб Европы».

Отмеченная неприятность произошла с Бисмарком только потому, что условий новой конъюнктуры не понял Покровский. Недаром в конъюнктуре второй половины 70-х годов он находит черты, напоминающие ему конъюнктуру 1854 г.: только Франция, «загипнотизированная, — по словам Покровского, — германской опасностью», не могла принять активное участие во враждебной России коалиции. Позиция Англии, согласно Покровскому, была и теперь позицией необходимой самообороны от русской опасности: русская агрессия в Средней Азии «самым серьезным образом беспокоила английскую дипломатию», и Англия «имела все основания проявлять гораздо больше активности», чем раньше (стр. 256).

Нужно еще раз оговориться: Покровский не только не имел намерений развенчивать Бисмарка, но под влиянием французского

[1] С. Горянинов. Ук. соч., 152 и сл.

историка Hanotaux[1], приписал ему даже много такого, чего тот вовсе не заслужил. Мы знаем, что Бисмарк положил не мало усилий на создание союза трех императоров. Мы знаем также, что в задачи Бисмарка входило ослабление своего наиболее сильного и наименее надежного союзника — России путем поддержки активной русской политики на Балканах. В то же время известно, что, поступаясь своим взглядом на Австрию как на прирожденного антагониста России на Балканах и рассчитывая найти в Берлине заветные «ключи» от своего дома, Александр II после Севастополя ни на минуту не оставлял Балкан в беспризорном состоянии. В 1873 г., в год подписания русско-германского и русско-австрийского соглашения, российское министерство иностранных дел рассылало своим консулам на Востоке инструкцию, обязывавшую их собирать и доставлять всевозможные сведения о военном положении Турции, включая сюда и информацию о месте расквартирования отдельных полков и даже рот. А в период боснийско-герцоговинского восстания, в тревожные дни нараставшего вновь восточного кризиса, царское правительство предпринимает даже попытку воскресить ликвидированный им «Балканский союз», избирая теперь, в условиях намечающегося австро-русского сотрудничества, точкой опоры уже не Сербию, а маленькую «дружественную» Черногорию.[2]

В изображении Покровского никакой активной политики на Балканах в рассматриваемое время Россия не ведет. По Покровскому, ни на международной арене, ни, в частности, на Балканах никаких признаков присутствия «вершителя судеб Европы» не заметно. Все дела вершит один Бисмарк. Он организует при помощи своих австрийских агентов восстания в Боснии и Герцоговине, он же заставляет царя совершить «крутой поворот» в своей восточной политике (стр. 254). И так как Бисмарк хочет лучше договориться с царем, а последний оказывается на страницах истории Покровского существом трудноуловимым, Бисмарк через посредство принца Александра Гессенского заключает соглашение со славянофилами. «Соглашением этих двух сил, — говорит Покровский, — и объясняется прежде всего дальнейший ход дипломатической кампании» (стр. 254—255). Классового анализа этого нового союзника Бисмарка Покровский нам не дает. Известно, что «славянофильство», бывшее в половине XIX в. идеологией одной из временно приблизившихся к власти фрондировавших помещичьих группировок, в дальнейшем превратилось в удобное орудие Азиатского департамента. Покровский изображает «славянофильство» как курьезную, болтавшуюся

[1] Hanotaux (op. cit., 91—94, 108, 133—134) был склонен рассматривать Горчакова как бессознательное, но послушное орудие Бисмарка. Согласно Hanotaux, в 1876 г. нити войны и мира были в руках Бисмарка; Бисмарк же толкнул Россию на войну.

[2] МИД, Гл. архив, П. О., д. 267, л. 259, Белград, 1876.

в пределах империи «силу», случайно открытую Бисмарком (стр. 246) и пошедшую «на поводу у Германии» (стр. 244). «Помощь, оказанная этим неожиданным союзником видам германской политики, — пишет Покровский, — была самая существенная: без нее правительство Александра II едва ли зашло бы так далеко, пытаясь реставрировать планы Николая Павловича» (стр. 246).

Как же выглядели теперь эти планы конкретно? Так как Александр II являлся продолжателем дела Николая I, который до конца своих дней, как объявил раньше Покровский, был специалистом по делам Священного союза, планы Александра II исчерпываются формулой борьбы с «духом времени». Покровский оговаривается: «Но поле битвы с врагом постепенно суживалось. В начале века Священный союз брал на себя защиту «вечных начал нравственности и порядка» на всем протяжении Европы... Николаю Павловичу в 1848 г. пришлось ограничиваться приведением в порядок только Восточной Европы. Арена его продолжателей была еще менее широка» (стр. 249). «Только Балканский полуостров, — поясняет Покровский, — населенный наиболее отсталыми славянскими народами, представлял еще сколько-нибудь годную почву для схватки с Европой» (стр. 250).

Борьба за идеи Священного союза на Балканах — так определяет Покровский конкретные политические планы правительства Александра II, перелицовывая архаический тезис Данилевского.[1] Славянофильство в данный период Покровский рассматривает не как орудие, удобное для Азиатского департамента в борьбе за проливы, а как выразителя новой стадии борьбы с «Европой» на Балканах. Заслуга Бисмарка в этом деле заключается в том, что ту войну, какую в течение десятилетий вела царская Россия со всем «цивилизованным миром», со всей «революционной Европой», он сумел превратить в войну локализованную.

Может быть, мы неправильно понимаем Покровского? Может быть, он имел в виду указать на то, что, начиная войну с Турцией, царизм руководствовался задачей подавления нараставших в стране революционных сил? При объяснении происхождения войны 1877 г. этого момента нельзя не учитывать. Голодающая деревня, на которую, по словам статс-секретаря Половцева, нельзя было возлагать надежд как на «элемент порядка»,[2] пришедшая в замешательство от надвигавшегося с запада экономического кризиса торгово-промышленная буржуазия, переходящие к нелегальной деятельности либеральные земцы-помещики, быстро охватывающаяся «крамольными» настроениями городская мелкобуржуазная интеллигенция, придававшая работе полицейского аппарата характер Сизифова труда, — такова была картина

[1] Данилевский. Россия и Европа, стр. 330, 425—426. Россия согласно Данилевскому, призвана к разрешению восточного вопроса потому, что в вопросе этом проявляется борьба греко-славянского, православного мира с миром романо-германским, католическим.

[2] Красный архив, 33. Дневник Половцева, стр. 188.

состояния царской России в рассматриваемую пору, дававшая идеологу крепостнической реакции Победоносцеву основания предупреждать наследника о том, что «состояние умов очень опасно», что «силы, поднимающиеся теперь во всех слоях русского общества, таковы, что правительству необходимо решиться на что-нибудь», что «минута теперь очень важная не для внешней только политики».[1]

Недаром Энгельс еще в 1875 г. писал, что Россия «находится накануне революции».[2] Маркс в 1877 г. также отмечал, что Россия «находится накануне переворота» и что «все необходимые элементы для этого уже готовы».[3] А в своей статье «Европейские рабочие в 1877 г.», анализируя внутреннее положение России со времени 1861 г., Энгельс приходил к заключению: «Для русского правительства оставался только один путь спасения — путь, открывающийся перед всяким правительством, оказавшимся лицом к лицу с непреодолимым сопротивлением народа, — внешняя война. И оно решилось на внешнюю войну».[4]

Покровский высказывает по этому вопросу диаметрально противоположные взгляды. «Русское правительство, — говорит он, — так думали многие, хотело одновременно и отвлечь внимание общества от внутренней политики и помириться с ним возможно дешевой ценой... В настоящее время не может быть сомнения, что решили дело не эти соображения внутренней политики, а нечто другое» (стр. 254). Что же именно? Покровский поясняет, что решило вопрос именно указанное выше «соглашение» принца Александра Гессенского со славянофилами (стр. 254—255), т. е. решило вопрос, в конечном счете, искусство Бисмарка, сумевшего переключить внимание императора с «Европы» на Турцию.

Покровский не интересуется расстановкой классовых сил к началу войны и не дает развернутого анализа расстановки сил на международной арене. Что касается положения на самом Балканском полуострове, то здесь никаких национальных движений среди народов полуострова он не видит: болгары в его изображении мечтают только о том, как бы остаться подольше под турецким владычеством (стр. 251): герцоговинцы способны только на аграрный бунт, возникающий при явной поддержке австрийцев; сербы не думают ни о чем другом, как о скотоводстве и хлебопашестве (стр. 261). Смешивая понятие национальности с понятием расы, Покровский приходит к такой мысли: «Надо иметь в виду, что никакого националистического славянского движения в 1876 г. на Балканском полуострове не было. Существовала, правда, революционная националистическая организация («Омладина») — нечто вроде греческой гетерии начала столетия, но она по значению и влиянию далеко не могла равняться с послед-

[1] Письма Победоносцева к Александру III, 1, 48—50.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XV, 263.
[3] Там же, XXVI, 480.
[4] Там же, XV, 409.

ней» (стр. 258). А на ряду с этим читаем: «начавшееся» летом 1875 г. в Боснии и Герцоговине «движение» привело сначала к сербо-турецкой, а затем и к русско-турецкой войне» (стр. 252). Что это было за движение — «националистическое», «славянское» или «революционное» — и как оно могло привести к войне, бессарабское происхождение которой было ранее установлено, — Покровский не поясняет.

Это значит, что, подобно народникам и меньшевикам, Покровский не понял того, что «основным объективным содержанием исторических явлений во время войн не только 1855, 1859, 1864, 1866, 1870, но и 1877 (русско-турецкая) и 1896—1898 гг. (война Турции с Грецией и армянские волнения) были буржуазно-национальные движения, или «судороги» освобождающегося от разных видов феодализма буржуазного общества».[1]

Известны сказанные Александром II наследнику в октябре 1876 г. слова о том, что «без войны мы ничего не добьемся» и что необходимо найти только «положительный повод» для ее объявления.[2]

Это были дни, когда австро-венгерское правительство в своих затянувшихся переговорах с Россией настаивало на том, чтобы в случае русско-турецкой войны Австрии была предоставлена не только Босния, как о том было условлено в Рейхштадте, но и Герцоговина.[3]

Царское правительство именно в эти предвоенные дни преисполнено у Покровского нерешительности и погрязает в пассивности и безинициативности. Оставленный Бисмарком, «на поводу» у которого он шел до сих пор, царь-идеолог посылает Игнатьева в круговую поездку по европейским дворам хлопотать о вмешательстве (стр. 263). Хлопоты затянулись. А так как «содержание нескольких сот тысяч человек на военной ноге в финансовом отношении почти стоило войны» (стр. 264), то царь во избежание дальнейших расходов подписал манифест о войне. Как увязать эту интендантскую теорию происхождения войны с перечисленными выше бессарабской и боснийско-герцоговинской, — Покровский не поясняет. Круг противоречий и небылиц в лицах, из которых соткана история происхождения русско-турецкой войны, замыкается. Война начинается. Покровский исказил историческую действительность не только тем, что вслед за Hanotaux лишил царское правительство всякой самостоятельности преследуемых им политических целей на Балканах. Он исказил ее, упустив из виду и те политические планы, какие преследовала бисмарковская Германия, действительно провоцировавшая Россию на военное выступление, предлагавшая в это самое время Англии заключение наступательно-оборонительного союза против Франции[4] и толкавшая Австрию к участию в разделе Турции. Он исказил историческую действитель-

[1] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 109.

[2] Слова эти цитирует сам Покровский в своей статье «Александр III» в т. II БСЭ, 162. См. также Charles Roux, op. cit. 240—256.

[3] С. Горянинов. Ук. соч., стр. 284 и сл.

[4] Там же, 310—311.

ность также и потому, что прошел мимо тех изменений, какие происходили в ту пору в установках английской восточной политики: теряя прежний интерес к сохранению неприкосновенности Турецкой империи, Англия сама начинала стремиться теперь к ее разделу, к захвату Кипра, Египта и к овладению Дарданеллами.[1] Еще с апреля 1877 г. Англия вела с Портой переговоры об английском протекторате над Египтом, и премьер-министр Египта Нубар-паша дважды приезжал в Лондон для обсуждения этого вопроса.[2] Недаром германский посол в Лондоне отмечал в ту пору, что в политике английского правительства назревает поворот к активному участию в дележе турецкого наследства.[3] Это были сигналы назревания новой империалистической эры. Но Покровский не заметил этих фактов, и это предопределило его дальнейшие крупнейшие ошибки в трактовке исторических событий новейшей эпохи.

Ход русско-турецкой войны изображается Покровским по усвоенной им для батальных сюжетов традиции. Тщательно собираются факты, характеризующие стратегические ошибки русского командования. Тщательно выискиваются случаи симуляции среди солдат русской армии. Все это заключается положением о том, что в первую половину кампании «руководимая этим живым хаосом армия не могла, разумеется, выполнять никакого определенного плана» (стр. 279) и что в следующей фазе военная кампания «превращается в сплошную авантюру» (стр. 280). А когда после взятия Плевны дело подходит к тому, что «турецкая армия как организованное целое перестала существовать», факт этот объясняется тем, что «турки дали себя разбить» (стр. 291). Не больше «объективности» проявляет Покровский в изображении той дипломатической борьбы, какая завязалась на исходе войны между Россией, с одной стороны, и Англией и Австрией — с другой.

Еще в первые дни войны (май 1877 г.) Горчаков давал Шувалову вполне определенную установку в вопросе о начавшихся тогда же в Лондоне дипломатических переговорах по турецким делам. Центр тяжести русских требований, согласно инструкции Горчакова, должен был лежать в вопросе о проливах. Горчаков требовал пересмотра «политического положения проливов», по которому Черное море, закрытое во время мира, открывается, в случае войны, всем флотам, враждебным России. «Россия, — писал он, — хотя замкнутая в Черном море, не пользуется никаким обеспечением безопасности, тогда как это море, принадлежа двум береговым владельцам, по справедливости, должно быть равным образом открыто им обоим».[4] Поручая Шувалову заверить державы в том, что Россия не заинтересована в обладании Константинополем, Горчаков предупреждал его, вместе

[1] С. Горянинов. Ук. соч., 310—311.
[2] «Grosse Politik», № 275, в. II.
[3] Там же, № 289, 290, 295.
[4] С. Горянинов. Ук. соч., стр. 317.

с тем, не давать обязательства, что русские войска временно его не займут. В процессе войны англо-русские переговоры приняли, как известно, настолько острый характер, что английское правительство в качестве решающего аргумента сосредоточило, в нарушение трактатов, свой флот в Дарданеллах. «Я знаю своих товарищей по кабинету, — говорил тогда же лорд Дерби Шувалову, — они не хотят войны, но желают удовлетворить свою партию демонстрациями. Вознаградите их чем-нибудь... какою-нибудь морскою станциею вне Мраморного моря и Дарданелл — и вы достигнете непосредственного соглашения с ними».[1] Добившись от России отказа от своих требований в вопросе о проливах, англичане сами вознаградили себя Кипром, а через 7 лет — и Египтом. В процессе тех же переговоров заявили и австрийцы свои притязания на Новобазарский санджак и получили право на проведение в нем военных и торговых дорог и учреждение в нем военных постов.[2]

Согласно Покровскому, все дело до подписания Сан-Стефанского договора сводилось к тому, что снедаемый честолюбием русский главнокомандующий с отрядом босоногих, израсходовавших все свои патроны солдат «непременно хотел завладеть Константинополем» (стр. 291).

Лорд Дерби в изображении Покровского стоит на страже законности и соблюдения трактатов и, так как временное занятие Константинополя русскими войсками могло вызвать «неудовольствие» в английском «народе», «принимает весьма естественную меру предосторожности» (стр. 292—293), посылая к Константинополю свой флот. Выше всякой похвалы оказывается и позиция Австрии, которая, согласно Покровскому, зорко следит за точным соблюдением австро-русской конвенции от 3 января 1877 г. (стр. 294), а когда настал конец ее долготерпению, «заняла то положение, которое давно предписывалось ей общественным мнением, и вступила в соглашение с Англией» (стр. 297). Преклоняясь перед авторитетом австрийского «общественного мнения», отдавая дань уважения голосу английского «народа», Покровский считает себя свободным от необходимости дать анализ реальных интересов и Англии и Австрии и от описания действительной дипломатической борьбы отвлекается изображением психологического состояния вел. кн. Николая Николаевича. Даваемый Покровским анализ формальных противоречий между так называемым Порадимским проектом (1878 г.) трактата и австро-русским соглашением 1877 г. сам страдает внутренним «противоречием»; определив (на стр. 295) Сан-Стефанский трактат как «некоторого рода комедию», которую играла русская дипломатия, не обманывавшая себя иллюзией возможности обойтись без международного конгресса и действовавшая по принципу «запрос в карман не лезет» (стр. 294),

---

[1] С. Горяинов. Ук. соч., 341.
[2] Там же, 347.

Покровский утверждает далее (на стр. 298), что дело ликвидации Сан-Стефанского трактата принесло царскому правительству «мучения Тантала» и внесло в его ряды «смятение умов». Увлекшись констатацией «явных и грубых противоречий» между сан-стефанскими условиями мира и «формально данными Австрии» (в Рейхштадте в 1876 г.) обещаниями, Покровский прошел мимо действительного содержания Сан-Стефанского договора. Сан-Стефанский прелиминарный договор, как известно, намечал радикальные изменения в политической карте Балканского полуострова, приводившие к созданию на Балканах не только Великой Болгарии, но и сплошного ряда независимых от Турции сильных славянских государств. Покровский прошел также мимо действительного содержания пунктов Берлинского трактата. Берлинский трактат явился, как известно, торжеством поддерживаемой Бисмарком англо-австрийской дипломатии, которая, ревизуя сан-стефанские условия, сделала все, чтобы поставить пределы свободному развитию и усилению новых славянских государств Балканского полуострова, чтобы сохранить здесь льготы и привилегии, завоеванные раньше европейской торговлей у Порты, чтобы создать из этих районов базу для австро-германской экспансии на Востоке. О том, что в этих условиях прелиминарный Сан-Стефанский договор приобретал значение политической демонстрации, Покровский ничего не сказал. Рассматривая вопрос о последствиях русско-турецкой войны, Покровский прошел также мимо того кардинального факта, что, подтвердив соответствующие статьи Парижского и Лондонского договора, Берлинский трактат оставил вопрос о проливах в том положении, в каком он находился до русско-турецкой войны, что основной вопрос для политики царской России на Балканах война не разрешила — Россия не была допущена к проливам.

Тот вывод, к какому приходил Покровский в своем исследовании вопроса о русско-турецкой войне, звучит как сентенция, заимствованная из арсенала радикальной публицистики. «Если крепостной режим не хотел отказаться от самого себя, ему оставалось только тщательно воздержаться от всякого вмешательства в дела Европы, заботясь только о том, чтобы и она в его дела не мешалась» (стр. 301).

Рассматривая вопрос о значении русско-турецкой войны с типичных для русского мелкобуржуазного радикала позиций, Покровский не сумел преодолеть той ограниченности, какая была свойственна мелкобуржуазной публицистике в понимании фактов международной борьбы, и, констатировав военную «неспособность» царизма, не увидел того, что дипломатический исход войны являлся показателем падения удельного веса царизма на международной арене и изменений в расстановке борющихся на ней сил.

В 1877 г. Бисмарк, как изображал дело Покровский, сумел отвратить от «революционной» Европы меч, занесенный над нею царской Россией, заставив последнюю повернуть на Балканы и растра-

тить там свои силы в бесплодной войне. Заслуга Бисмарка очевидна. Не менее очевидна заслуга лорда Дерби и графа Андраши, стоявших, согласно Покровскому, во все время войны на страже «законности». Война была удачна для «Европы» в лице Турции и кончилась неудачею для России. Но дело было еще далеко до своего завершения. Гидра была жива и продолжала шевелиться в Болгарии. Ход исторических событий ставил Покровского перед проблемой: «Главное, — говорит он, — заключалось в судьбе русского влияния в Болгарии. Станет ли эта страна тем, о чем мечтали славянофилы, или передастся «Европе» и, в конце концов, станет одним из тормозов для распространения истинно русской идеологии?»

Энгельс подходил к вопросу иначе. Признавая значительность успехов русской политики на Балканах, Энгельс вместе с тем ограничивал значение этих успехов фактом происшедшей после 1878 г. перегруппировки международных сил: «Если эльзас-лотарингский вопрос,— писал он, — толкнул Францию в объятия России, то поход на Константинополь и Берлинский договор толкнули Австрию в объятия Бисмарка. А тем самым все положение опять изменилось. Крупные военные державы континента разделились на два больших, угрожающих друг другу лагеря: Россия и Франция, с одной стороны, Германия и Австрия — с другой... Но это значит, что русский царизм не может сделать последнего решающего шага, не может действительно овладеть Константинополем без мировой войны с приблизительно равными шансами, войны, исход которой будет, вероятно, зависеть не от той или другой вступившей в борьбу страны, а от Англии».[1]

«Вообще, именно, после 1878 г., — продолжал Энгельс, подчеркивая падение удельного веса царской России на международной арене, — обнаруживается, как сильно ухудшилось положение русской дипломатии с тех пор, как народы все чаще стали позволять себе тоже вмешиваться в дело, и притом вмешиваться с успехом. Даже на Балканском полуострове, где Россия специально выступает как освободительница народов, уже ничего не выходит».[2]

Политика царизма в Болгарии в 80-х годах

После Берлинского конгресса русский царизм, как известно, пытался закрепить свои позиции в Болгарии. При отсутствии черноморского флота для него было особенно важно приблизить свои военные силы к проливам.

Русскую политику в Болгарии 80-х годов Покровский как типичный представитель «экономического материализма» выводит из заинтересованности русских «железозаводчиков и железнодорожников» в

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2, 33.
[2] Там же, 35.

обладании своей «колонией» (стр. 345). Покровский считает, что война 1877—1878 гг. — война «русского феодализма» с «Европой» — была проиграна Россией потому, что ей пришлось примириться с введением в Болгарии конституционного строя (стр. 345): последний стал препятствием к завоеванию болгарского рынка русской металлургией. В связи с этим царское правительство организует «преврат» (переворот) 1881 г. (стр. 346). В результате русская дипломатия получает возможность расчистить пути для русского промышленного капитала: последний в лице Полякова и Гинзбурга появляется в Болгарии. Одновременно болгарским рынком стремится овладеть и русский купеческий капитал, и московское купечество снаряжает в Болгарию торговую экспедицию (стр. 349). Стоящая у власти в Болгарии партия консерваторов стремится захватить железнодорожное строительство в свои руки и оказывает русской железнодорожной политике решительное сопротивление. Начинается борьба за направление будущих железнодорожных линий. Русские металлурги борются с австрийскими: Гинзбург и Поляков — с Гиршем (стр. 349—352). Болгарский князь становится на сторону австрийцев. Русская железнодорожная политика терпит фиаско. «Это было начало конца» (стр. 354). Русское правительство теряет под ногами всякую почву в Болгарии. Единственным выходом для него является новая оккупация. «Европа» становится на защиту Болгарии от русской агрессии (стр. 355).

Можно ли согласиться с изложенной концепцией русско-болгарских отношений 80-х годов?

Полная недомолвок, неточностей, неверных фактических данных, ошибочная в своих отправных положениях, эта концепция должна быть отвергнута целиком. Она основана на неправильном понимании генезиса русско-турецкой войны и лежит своими корнями в глубоко ошибочном игнорировании роли и значения вопроса о проливах в системе внешней политики царской России. Не видя этого основного движущего фактора русской внешней политики, Покровский начинает искать базу, которую можно было бы подвести под политику русского царизма в Болгарии в 80-х годах. Он ищет ее в экономике и находит по видимости твердую и надежную базу — металлургическую. Аргументом в пользу этого положения должна служить, по Покровскому, деятельность в Болгарии Гинзбурга и Полякова и их борьба с Гиршем. Необходимо заметить, что сам по себе факт этот еще ничего не доказывает кроме того, что после экономического кризиса 70-х годов интернациональные биржевые дельцы снова пришли в движение. В борьбе за железнодорожные концессии в Болгарии приняли участие не только русские и австрийцы, но и представители французского капитала. Сами Гинзбург и Поляков были в большей мере связаны с Парижем, чем с Петербургом. Гирш, в свою очередь, был связан с англичанами. И деятельность Гинзбурга, и деятельность Полякова едва ли в настоящем случае может быть рассматриваема как деятельность типичных представителей русского промыш-

ленного капитала, ибо слишком трудно было проложить грань, где кончался Гинзбург и где начинался Гирш.[1]

Но дело не только в этом и не столько в этом. К этому же времени относится появление в Болгарии в качестве соискателя концессий русского капиталиста Губонина. Последний не проявил должной активности и упустил концессию, не внеся своевременно установленного залога[2]. Известно, что к этому же времени относится появление русских капиталистов в качестве соискателей железнодорожных концессий в Персии, но речь там шла не столько о том, чтобы строить железные дороги, сколько о том, чтобы они никем не были построены[3].

Разумеется, русские металлурги получили бы выгоды, если бы царизм стал строить железные дороги в Болгарии. Но, вступая в борьбу за железнодорожные концессии в Болгарии, царское правительство меньше всего думало об интересах русских концессионеров. Свои концессионеры царскому правительству были нужны, но они были нужны прежде всего для того, чтобы железнодорожное строительство в Болгарии пошло по нужному для царизма пути: поскольку Болгария являлась в данный момент форпостом на путях русского продвижения к проливам, постольку болгарский железнодорожный вопрос приобретал для царизма прежде всего значение стратегическое. Поэтому-то вся борьба за концессии вылилась в борьбу за направление будущих железнодорожных линий. И поэтому «русское» меридиональное направление должно было уступить место австрийскому, основанному на более твердой экономической базе. Борьба за железные дороги в Болгарии, оказавшаяся для всего дела утверждения русского влияния в Болгарии чреватой крупнейшими политическими последствиями, является эпизодом в истории поступательного движения России к проливам. Сводить русскую политику в Болгарии к заинтересованности русских металлургов в создании нового рынка сбыта значит выдавать явление производного порядка за главный определяющий фактор.

Приводимая Покровским ссылка на факт отправления в Болгарию московским купечеством торговой экспедиции не только не помогает укреплению концепции о непосредственной экономической заинтересованности царской России в Болгарии, как в рынке, но окончательно разрушает эту концепцию.

Еще в 1859 г. журнал «Вестник промышленности» вынужден был признать, что «в Турции и Леванте, куда прежде отпускалось гораздо большее количество русского железа, оно стало заменяться

---

[1] С. Д. Сказкин. Конец союза трех императоров, стр. 256—272.

[2] Историк-марксист, № 3, 13, 1934.

[3] Новый Восток, № 12, 1926. «Англо-русское соперничество на иранских путях». Международная жизнь, № 4—5, 1924. «Страница из истории русской политики в Персии».

английским»,[1] что, с другой стороны, та же Турция «сделалась любимою мыслью австрийских экспортеров», «естественным местом» для сбыта австрийских товаров.[2]

В период ближневосточного кризиса 70-х годов экономическая связь русской промышленности с турецким и балканским рынками стала совсем призрачной. На одном из заседаний «Общества для содействия русской промышленности и торговле» в 1875 г. рассматривалась составленная в русском посольстве в Константинополе записка, где констатировалось, что вывоз русских промышленно-фабричных изделий стал почти равен нулю.[3] Выделенная обществом для изучения вопроса специальная комиссия скоро прекратила свои работы. Общество перешло к излюбленным им темам завоевания рынков среднеазиатского, персидского и китайского. В декабре 1881 г., по инициативе славянофильских кругов в Москве, были действительно созваны совещания крупнейших фабрикантов и торговцев для обсуждения проекта учреждения общества торговли с балканскими странами. На собраниях присутствовал И. Аксаков и даже Скобелев, уговаривавший Т. С. Морозова. Результатом этих совещаний была снаряженная в Болгарию экспедиция, о которой рассказывает Покровский. Но каковы были результаты этой экспедиции? Она вернулась в следующем году с печальной информацией о безнадежности борьбы на балканских рынках с иностранными конкурентами.[4] В те же годы определилась участь Черноморско-дунайского пароходства, основанного еще в 1881 г. по частной инициативе кн. Гагарина. Проволочив жалкое существование в течение 5 лет, растратив все свои капиталы и не дождавшись ответа на свои обращения к капиталистам Москвы, Петербурга и Одессы, Гагарин был вынужден ликвидировать предприятие, уступив дорогу австрийцам. Проект учреждения Восточного банка с центральным правлением в Одессе, так же как и проект учреждения Русско-болгарского страхового общества, остался только на бумаге.[5]

Русский капитал в Болгарию не шел следом за русскими генералами, как это бывало в других местах. Продолжаемое царским правительством на Балканах наступление носило ярко выраженный военно-феодальный характер. Напомним, что руководителей этой политики Энгельс называл «императорскими русскими действительными тайными динамитными советниками».[6] Недаром даже в недрах министерства иностранных дел проявлялась характерная двойствен-

[1] Вестник промышленности, № 8, III, 149—156; также № 2, I, отд. 1, 141—161, 1859.

[2] Там же, № 4, т. II, отд. 1, 43—54.

[3] Труды Общества для содействия русской промышленности и торговле, IX, 11—13, 1876.

[4] Московские ведомости, № 13 от 12/I 1883; Новости, № 32 от 4/I 1883 г.

[5] Биржевые ведомости, № 254 от 24/X 1881 г.

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1, 191.

ность: не склонный к активизации русской политики в болгарском вопросе министр иностранных дел Гирс весьма часто не был в курсе тех начинаний, которые предпринимались в Болгарии агентами Азиатского департамента, а тем более военного министерства и министерства внутренних дел. Но царь был в курсе всех этих начинаний, увязывавшихся единой целью. «По-моему»,— определял эти цели Александр III в своем письме от 12 сентября 1885 г. к начальнику главного штаба ген. Обручеву,— у нас должна быть одна главная цель: это занятие Константинополя, чтобы раз навсегда утвердиться в проливах и знать, что они будут постоянно в наших руках. Это в интересах России, и это должно быть наше стремление; все остальное, происходящее на Балканском полуострове, для нас второстепенно. Довольно популярничать в ущерб истинным интересам России. Славяне должны теперь сослужить службу России, а не мы им». [1]

То ударение, которое Александр III делал на необходимости перестать «популярничать», следует рассматривать в плане его борьбы с «паршивым либерализмом» как наследием предыдущего царствования. В болгарском вопросе это означало решительный отказ от милютинской политики, основанной на учете национального движения в балканских странах. По примеру народников игнорируя факт национального движения на Балканах вообще и в Болгарии в частности, не учитывая того, что дававшуюся в 40-х годах Марксом и Энгельсом оценку национального движения среди чехов и южных славян как движения, усиливавшего николаевское самодержавие и потому реакционного, нельзя переносить на движения 70-х годов, Покровский не мог понять и слов Маркса, который уже в 50-х годах говорил: «Та самая дипломатическая система (status quo на Балканах.— *А. П.*), которая изобретена специально для предотвращения русских захватов в Турции, вынуждает десять миллионов греческих христиан в Европейской Турции обращаться к России за помощью и защитой». [2] Эта первая ошибка Покровского, которая была допущена им в трактовке истории русско-турецкой войны, повлекла за собою вторую ошибку, относящуюся непосредственно к вопросу о русской политике в Болгарии в послевоенный период. Нельзя отрицать того факта, что непосредственным результатом русско-турецкой войны 1877—1878 гг. явилось ускорение процесса консолидаций Болгарии как независимого государства. Несомненно также и то, что в своем стремлении сделать Болгарию русским форпостом на Балканах и привязать Болгарию к России правительство Александра II ориентировалось на поддержку национального движения в Болгарии. Но недаром Маркс еще в 1853 г. указывал на то, что «в каждом государстве на территории Турции, достигавшем полной или частичной независимости, тотчас же вырастала сильная антирусская

---

[1] Красный архив, 46, 180—181 примеч.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 393.

партия. И, если это имело место тогда, когда русская помощь являлась единственным прибежищем от турецкого угнетения, чего же мы можем ожидать, когда исчезнет страх этого угнетения».[1] Совершенно очевидно, что образование независимого княжества Болгарии должно было явиться предпосылкой и для роста болгаро-русских противоречий в послевоенный период. Но историк не может пройти также и мимо того факта, что с воцарением Александра III, с решительным курсом его на разрыв с «паршивым либерализмом» во внутренних и внешних делах, процесс этот должен был форсироваться и обостряться. Не выяснив объективной роли России в деле развязывания болгарского национального движения, упустив из виду связь внешней политики царизма с его политикой внутренней, Покровский не сумел показать того, как царская Россия, до известной поры объективно благоприятствовавшая развитию национальной самостоятельности славян, с известного времени становится помехой для их национальной свободы; он дал унифицированную и потому искаженную картину русско-болгарских отношений. Унифицировав русскую политику в болгарском вопросе и не вдвинув ее в международные рамки, Покровский оставил без внимания и другой, весьма важный вопрос — о германской и австрийской политике на Балканах.

Известно, что, стремясь к локализованной войне с Францией, Бисмарк толкал и даже прямо провоцировал царское правительство на агрессию в Болгарии, ни на минуту не забывая об интересах своего главного союзника — Австрии. Что касается австрийской политики на Балканах, то она на известном этапе проводилась под лозунгом «экономическая аннексия без политической». В этом плане она ставила перед собой задачи железнодорожного строительства и заключения торговых договоров. Но уже Рейхштадт и позиция Австрии в русско-турецкую войну показали, что приближается пора, когда характер этой политики должен коренным образом измениться.

«Австрия, заняв Боснию, — писал Энгельс, — стала сообщницей в разделе Турции».[2] Босния стала «постоянным кровопусканием для Австрии, яблоком раздора между Венгрией и западной Австрией и, кроме того, *доказательством для Турции,* что австрийцы и русские готовят ей судьбу Польши».[3] В то же время движение славян в Австрии, сопровождавшееся требованием расширения избирательного права, стало приобретать теперь для австро-венгерской монархии явно революционный характер. Та политическая роль, какую в 70-х годах продолжала играть Австрия на Балканах как сила, противоборствующая военно-политической агрессии русского царизма, приобретала в условиях растущего Drang nach Osten объединенного австро-германского капитала все более реакционный характер: в Болгарии

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 394.
[2] Там же, XVI, ч. 2, 33.
[3] Там же, ч. 1, 260.

Австрия собиралась сыграть ту же роль, какую она уже сыграла в отношении Сербии.

Перенося некритически и недиалектически понятия и фразеологию из эпохи 40-х и первой половины 50-х годов на 80-е годы, когда в политике европейских держав стали звучать новые империалистические мотивы, когда царизм потерял свое прежнее значение «гегемона Европы», Покровский противопоставляет затеянной Александром III новой авантюре на Балканах традиционную «охранительную» и «освободительную» миссию Австрии, отождествляя последнюю с «Европой», как символом «революции», противостоящей русской реакции.

Эта ошибка Покровского была чревата для него и прямой опасностью подменить псевдомарксистской, по существу архаической радикальной фразеологией подлинный марксистско-ленинский анализ назревавших империалистических противоречий на Балканах и, в конце концов, притти, как он это сделал впоследствии, к оправданию проводившейся там австро-германским капиталом империалистической политики.

Франко-русский союз

Образование франко-русского союза было, как известно, одной из основных вех на пути к перегруппировке международных сил, которая после организации Тройственного союза в 1882 г. происходила в последней четверти XIX в., в эпоху перехода капитализма к монополистической фазе своего развития, и вылилась в конечном счете в распадении мира на две враждебные империалистические коалиции. Образование этого союза требует поэтому от историка особенно внимательного изучения «политики всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении»,[1] умения охватить факты внешней и внутренней политики того времени во всем их конкретном многообразии.

Английская оккупация Египта, захват Бирмы и других территорий, завоевание французами Туниса и Аннама, выступление Италии в Африке, продвижение России в Средней Азии и присоединение туркменских степей, активизация русской политики на Дальнем Востоке, появление Германии на Тихом океане и создание германской «африканской империи», усиливающийся нажим Австрии на Балканах — все это показатели происходящего в 80-х годах бурными темпами процесса раздела мира между крупнейшими капиталистическими державами. Новое, что несла с собой эпоха, заключалось прежде всего в том, что переживавшая бурное промышленное развитие Германия, усиленная полученной от Франции контрибуцией, выходила из старых границ своей континентальной политики и, стремясь стать морской державой, брала курс на экспансию, на агрессию, на участие в дележе мира,

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXX, 334.

что, в частности, соединенные силы германского и австрийского капитала начинали развивать свой «Drang nach Osten».

То новое, что несла с собой эпоха, заключалось в том, что и Германия, и Италия, запоздавшие с выходом на колониальную арену, готовы были придать и придали своей внешней политике особую агрессивность, что Германия, о которой Энгельс еще в 1875 г. говорил как об «истинной представительнице милитаризма», «раздувающей» систему милитаризма «сверх всякой меры»,[1] готовилась к тому, чтобы открыть гонку вооружений. То новое, что несла с собою эпоха, заключалось также и в том, что в политике ведущих капиталистических держав — Англии и Франции прежде всего — уже проявлялись симптомы перехода домонополистического капитализма в стадию империализма и финансового капитала, что их политика направлялась теперь не только интересами торгового баланса и вывоза товаров, но и начинавшими выдвигаться на первое место интересами вывоза капитала.

В условиях наступающей новой эпохи империализма создавались и те основные, ведущие противоречия между державами, которые впоследствии определили всю расстановку международных сил: именно в этот период появились зачатки будущих англо-германских противоречий, быстро нарастал русско-германский антагонизм и углублялась и обострялась франко-германская вражда. Но это был длительный исторический процесс. Расстановка сил на международной арене далеко не сразу его отразила.

В развернутой форме все эти противоречия сказались лишь в начале XX в., когда особенно обострилась борьба за новый передел мира.

В рассматриваемое время англо-германские отношения оставались еще в стадии, позволявшей Берлину и Лондону строить различные комбинации возможных союзов и соглашений. Еще казались возможными попытки расширения тройственного союза до пределов четверного с участием Англии и образования англо-австро-итальянской средиземноморской Антанты. Еще не были изжиты англо-русские трения по всему восточному фронту, и на почве африканских дел длинной вереницей тянулись дипломатические конфликты между Францией и Англией. Еще Франция оставалась политически изолированной, а Россия была попрежнему связана дружбой с двумя императорами. Эта дружба была самым крупным фактом, унаследованным Европой от прошлого, живым свидетельством того, что старая система союзов не утратила еще своей силы. Эта дружба была живуча потому, что это был союз монархических государств, заинтересованных в общности действий, в борьбе с революционным движением; потому, что для Германии, по словам Энгельса, «революция в России означала бы падение бисмарковского режима»; потому, что «без России, этой

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XV, 212—213.

огромной резервной армии реакции, господство прусского юнкерства не просуществовало бы ни одного дня».[1]

Эта дружба была живуча и потому, что русский помещичий хлеб продолжал в своей значительной части попрежнему вывозиться в Германию, а среди импортируемых в Россию промышленных товаров главное место продолжали еще занимать товары германские. Эта дружба была живуча также и потому, что свою политику ближневосточной агрессии царь строил при поддержке Бисмарка и что эту политику он проводил, опираясь на берлинскую биржу.

Но время подтачивало незыблемость устоев старой дружбы. Тот союз двух императоров, который Бисмарк создал в системе союза трех императоров, приводил к исключению третьего. Перед Россией выростал — и это проявлялось на болгарском плацдарме особенно явственно — единый австро-германский фронт. Соединившись с Австрией, Германия готовилась заместить Англию в Константинополе и на Ближнем Востоке. Drang nach Osten начинал давать себя знать. Вместе с тем, если Николай I в свое время считал необходимым оказывать развивающемуся промышленному капиталу поддержку введением протекционных тарифов, тем более должен был это делать Александр III, которому, после «первого шага по пути буржуазного развития», приходилось думать не столько о «выращивании новой буржуазии»,[2] сколько об удержании ее в должных границах. Царская Россия не останавливается перед фактом своей финансовой зависимости от берлинской биржи; она находит в себе силы преодолеть свои политические предубеждения против Франции как исконного очага революции. Это ей тем легче сделать, что вступая в стадию империализма, который нес с собою «реакцию по всей линии при всяких политических порядках»,[3] сама Франция все более утрачивала свои старые качества очага революции. Не без внутренней борьбы, не без политических колебаний — это выразилось прежде всего в переговорах о возобновлении договора 1887 г. — она порывала с Германией. Заинтересованная в создании военно-политического противовеса тройственному союзу, нуждаясь в иностранных капиталах, готовая к тому, чтобы стать поставщиком военной силы и «величайшим резервом западного империализма»,[4] царская Россия искала себе друга в лице Франции.

Входя в полосу ожесточенной борьбы с Германией, стремившейся к тому, чтобы в локализованной войне обессилить свою соперницу на несколько десятков лет, изолированная политически и нуждающаяся в военном союзнике, Франция не могла больше оставаться в одиночестве и шла России навстречу. Испытывая неприятные трения с Англией и Италией в Африке, только что лишившаяся итальян-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1, 263.
[2] Там же, ч. 2, 30—31.
[3] Ленин. Соч., т. XIX, 169.
[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 5, 11-е изд.

ских рынков для своих капиталов и заинтересованная в удобном и надежном месте их приложения, Франция ускоряла шаги. Таков был, как известно, тот общий политический фон, на котором вырисовывался процесс франко-русского сближения, на котором должны получить свое объяснение и все перипетии на несколько лет затянувшихся франко-русских переговоров.

Не поняв ленинской теории империализма, Покровский не дал и не мог дать действительно научного объяснения происхождения франко-русского союза. Образование этого союза Покровский объясняет следующими моментами: 1) русско-германскими трениями в болгарском вопросе; 2) благожелательной позицией, занятой в 1887 г. Францией в вопросе о русской политике в Болгарии (стр. 302—304 и 311); 3) стратегическим положением Франции после 1871 г. (стр. 308); 4) неудачами колониальной политики Жюля Ферри (стр. 310—311).

Неудачи тонкинской экспедиции, хотя и стоившие Ферри политической карьеры, носили временный характер и не могут расцениваться как существенный фактор в деле франко-русского сближения. Хотя Ферри и был вынужден выйти в отставку, французы в конечном счете в своей борьбе с китайцами достигли победы, увенчанной трактатом 1885 г. Рядом военных операций, продолжавшихся с 1885 по 1887 гг., они округлили свои тонкинские владения, завоевали Лаос и начали проникновение в пределы Сиама. Трактаты 1885, 1886 и 1887 гг. не только признавали французский протекторат над китайскими территориями, но и понижали ввозные пошлины и создавали предпосылки для участия французского капитала в предстоявшей постройке китайских железных дорог.[1] Если уж искать стимулов финансового порядка для Франции, их гораздо легче можно найти в ее торговом конфликте с Италией, который закрыл Италию для французских капиталов и совпал по времени с антигерманской полемикой в русской прессе.[2]

Если попытка объяснить происхождение франко-русского союза ссылкой на тонкинскую экспедицию не может быть признана удачной, должна быть также подвергнута сомнению попытка объяснить дело болгарским кризисом: совершенно очевидно, что ответ, данный французами в январе 1887 г. болгарской депутации, и позиция, занятая в этот момент Францией в болгарском вопросе, были лишь следствием изменений французского внешнеполитического курса, лишь симптомом этих изменений, а отнюдь не причиной их. Болгарский кризис содействовал распаду союза трех императоров, ускоряя формирование позиции России. Но позицию, занятую французами в январе 1887 г., нельзя ставить на одну доску с таким фактом, как стратегическое положение Франции, создавшееся после 1871 г. Ограничиться

[1] П. Т. Мун. Империализм и мировая политика, стр. 213—224. Гиз, 1928.

[2] С. Фей. Происхождение мировой войны, стр. 82, Огиз, 1934. См. также Débidour. Histoire diplomatique de l'Europe, 1876—1916, I, 130. Paris, 1917.

в то же время этим стратегическим моментом и игнорировать момент политической изоляции Франции значит, в свою очередь, дать неполное, половинчатое объяснение нового политического курса Франции.

Выбрасывая из своей схемы вопрос о назревающих русско-германских противоречиях на Востоке, игнорируя, далее, вопрос о русско-германской таможенной войне и о внешнеполитической ориентации различных общественных групп царской России, в частности, о той борьбе, какая шла между сторонником германской ориентации, министром иностранных дел Гирсом, с одной стороны, и проповедывавшим союз с Францией Катковым — с другой, Покровский неизбежно приходит к неправильному освещению происхождения франко-русского союза.

Покровский проявляет интерес, главным образом, к вопросу о том, «почему для окончательной формулировки отношений понадобилось еще 3 года времени довольно томительных переговоров» (стр. 313). Вопрос этот стал в центре исследований Покровского далеко не случайно. Поскольку Покровский не дал анализа международной конъюнктуры 80-х годов, поскольку он прошел мимо тех нароставших империалистических противоречий, которые определялись внутренним развитием отдельных стран и которые в этой конъюнктуре были заложены, поскольку из его поля зрения выпал такой кардинального значения факт, как продолжавшееся до 1890 г. действие русско-германского договора и длительные переговоры о его возобновлении, постольку Покровскому остался непонятным и затяжной характер процесса оформления новой дипломатической комбинации. Какое же объяснение дает этой затяжке Покровский? Так как, по его мнению, союз был нужен больше Франции, чем России, «республика должна была представить [царизму] своего рода свидетельство о благонадежности» (стр. 305). Право убежища, которым пользовались во Франции Гартман и Кропоткин, создавали почву для трений между Парижем и Петербургом в течение 80-х годов. Когда русскому послу в Париже Моренгейму стало известно о подготовлявшемся на территории Франции заговоре русских нигилистов, он стал требовать от французских властей выдачи заговорщиков. Французская полиция хотела захватить заговорщиков с поличным, но для этого требовалось время. 29 мая 1890 г. заговорщики были арестованы и преданы суду. «День ареста русских «нигилистов», — пишет Покровский, — сделался одной из самых знаменательных дат в истории русско-французского союза; только с этой минуты окончательно была признана возможной прочная дружба с Францией». Нельзя, разумеется, игнорировать трений, происходивших между Россией и Францией в связи с вопросом о праве убежища, трений, вносивших, несомненно, некоторое охлаждение в новую дружбу. Но сводить затяжной характер переговоров к одному этому факту значит допускать существенное искажение всей истории вопроса, скатываясь к вульгарному, упрощенному пониманию исторического процесса. Зачем понадобилось это Покровскому?

Фиксируя внимание читателя на розыскных операциях французской политической полиции, Покровский показывает контактный образ действий ее с Рачковским и другими агентами охранного отделения. Новый внешнеполитический курс Франции приобретает в этом аспекте значение «измены» принципам 1792 г., принципам революции (стр. 318). Создающийся на чисто полицейской подкладке франко-русский союз вырисовывается перед читателем как реакционная сила.

Других реакционных сил, действующих на международной арене, в своей истории франко-русского союза Покровский нам не дает. Франция же из старой схемы прогрессивной и революционной «Европы» выпала безвозвратно.

Не понимая характера новой эпохи, упуская из виду, что империалистическая, агрессивная австро-германская коалиция не могла быть выразительницей ни «Европы», ни революции, продолжая жить в мире политических понятий и образов первой половины XIX в., Покровский неизбежно шел к историческому оправданию политики одной из тех коалиций, на которые распадался капиталистический мир. Это же толкало его на дальнейшее заведомое искажение исторической действительности.

Не поняв социально-политического смысла эпохи начавшегося процесса перехода домонополистического капитализма в стадию империализма и финансового капитала, извратив характер внешней политики царизма, пройдя мимо тех процессов, которые происходили в эту пору в стране, Покровский вместе с тем не мог понять и того, что финансово-политическая связь царской России с капиталистической Францией не только усиливала приток иностранных капиталов в русскую промышленность, не только содействовала укреплению мощи царизма, но и устанавливала для царской России известную степень зависимости от стран-заимодавцев, создавая предпосылки для превращения ее в полуколонию западноевропейского капитала. Как показал товарищ Сталин, тем самым «интересы царизма и западного империализма сплетались между собой», и царская Россия, где «всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма», становилась «величайшим резервом западного империализма»[1] и вместе с тем «могучим оплотом не только европейской, но и азиатской реакции».[2]

Развитая Покровским концепция истории франко-русского союза с особою выразительностью обнаруживает всю методологическую несостоятельность его исторических построений. По-махистски расправившись с историческими фактами, не отделив главного от второстепенного, он дал искаженное изображение истории союза и извращенное изображение целой эпохи. Покровский писал историю франко-русского союза тогда, когда ленинская теория империализма, как

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 4—5, изд. 11-е.
[2] В. И. Ленин. Соч., IV, 382.

высшей стадии капитализма, капитализма загнивающего и умирающего, еще не была окончательно выработана. Но и тогда, когда эта теория окончательно сложилась, когда правильность этой теории получила свою поверку на практике, и когда развитая Покровским концепция стала выглядеть как каррикатура на историю, — Покровский без всяких изменений включил написанный им 15 лет назад очерк в сборник, претендовавший на то, чтобы дать марксистскую историю внешней политики царской России. Непонимание марксова учения об общественно-экономических формациях, непонимание ленинского учения об империализме как высшей стадии капитализма отрезало Покровскому всякий путь к правильному пониманию важнейшего этапа мировой истории.

Царская Россия на Дальнем Востоке

Та роль, которую Дальний Восток играл в системе внешней политики царской России во второй половине XIX в., существенно отличалась от роли Ближнего Востока.

Китайский рынок в своем западном секторе был давно известен русской промышленности и русской торговле. К 40-м — 50-м годам 60% всего русского вывоза по азиатской границе падало на долю Китая,[1] а $^2/_3$ ценности всего русского вывоза в Китай приходилось на долю русских фабричных изделий.[2]

В течение всей первой половины XIX в. русско-китайская торговля шла через пограничную Кяхту, известную русским купцам еще с 1728 г. С конца 30-х годов, с исчезновением польских сукон с кяхтинского рынка, русские сукна занимают там монопольное положение, русское суконное производство начинает жить кяхтинским рынком.

В те же годы начал расти сбыт через Кяхту и русских хлопчатобумажных тканей в Китае. В июне 1842 г. начальник русской духовной миссии в Пекине, предупреждая о растущем ввозе английской и американской мануфактуры в Китай, подчеркивал, что китайский рынок обладает такой емкостью, что спрос на русскую мануфактуру здесь обеспечен.[3]

«Кяхтинская торговля, по своим теперешним оборотам, всеобщему потреблению и обширному развитию, может почесться полезнейшею в России, — писал «Москвитянин» в 1841 г. — Едва ли какая другая торговля россиян может сравняться с нею».[4] «Сношения наши с Китаем учреждены на таком прочном основании, — читаем

[1] Г. Небольсин. Статистическое обозрение внешней торговли, II, 464—465. СПб., 1858.

[2] Краткий очерк возникновения, развития и теперешнего состояния наших торговых с Китаем сношений через Кяхту, стр. 49—50, изд. Кяхтинского купечества, М., 1896.

[3] МИД, Гл. архив, 1—9, № 16, лл. 30—42, 1840. Донесение архим. Поликарпа от 1/VI 1842 г.

[4] Москвитянин, 5, 330—334. 1841.

в одном из номеров «Северной пчелы» за 1839 г., — и взаимные выгоды так уравновешены, что мы никогда не можем ожидать разрыва торговых связей...»[1] Русское правительство, заинтересованное также и крупными таможенными доходами, придавало исключительное значение кяхтинской торговле и окружало торговцев возможными льготами. А когда, в 1839 г., в Петербурге были получены сведения о том, что в Кяхте появился в продаже опиум, привозимый русскими купцами, местным властям была дана директива принять строжайшие меры к искоренению этой торговли, дабы не повторилось то, что случилось в Кантоне с англичанами.[2]

Русско-китайские отношения с начала XIX в. отличались мирным характером. Вопрос о плавании русских по Амуру, неоднократно возникавший в 20-х и 30-х годах, дипломатическим ведомством систематически снимался. Русская военная сила на Дальнем Востоке ограничивалась пятьюстами морских чинов и двумястами казаков в Охотске и на Камчатке.[3]

Но благополучию кяхтинской торговли скоро наступил конец, как наступил конец и миру на Дальнем Востоке. Вывоз английских и американских товаров в Китай возрастал и возрастал темпами, во много раз превышавшими русские. Хотя вывоз этот шел только через Кантон, единственный открытый для европейской торговли порт, он с 825 тыс. франков в годы 1827—1829 поднимается до 22 800 тыс. франков в годы 1837—1839, т. е. за десятилетие увеличивается в 27 раз.[4]

Сбрасывая с себя тесные путы полуфеодальной монополии Ост-Индской компании (1833—1834 гг.), английский капитал стремится пробить широкую брешь в стенах Китая и утвердить в нем свое колониальное господство. Предлог для войны был найден, и в 1839 г. начинается так называемая «опиумная» война, которая, по словам Энгельса, «велась англичанами с зверской жестокостью, вполне соответствовавшей породившей ее контрабандистской жадности».[5]

Нанкинским трактатом 1842 г. и дополнительным соглашением 1843 г. были открыты пять китайских портов для английской торговли, остров Гонконг был превращен в английскую базу в Китае, и было положено начало экстерриториальности иностранцев.

Тотчас после заключения Нанкинского трактата командор американской флотилии в китайских водах по собственной инициативе добился от китайских властей признания за Америкой прав наибольшего благоприятствования. Тогда же, в ноябре 1842 г., французский

---

[1] Северная Пчела, № 225, от 6/X 1839 г.

[2] МИД, Гл. архив, II—3, №, лл. 15—16, 1839—1844.

[3] Русское слово, 329—388, июнь 1859, ст. Д. Романова «Присоединение Амура к России».

[4] Журнал мануфактур и торговли, № 4—5, 270—376, апрель — май 1844 г.

[5] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 160.

министр иностранных дел Гизо говорил Киселеву о том, что Франция также намерена устроить морскую станцию в китайских водах.[1]

Европейский и американский капитал потянулся в разгромленную феодальную империю. Китай становился ареной международной борьбы. Хотя русская крепостническая печать принципиально оправдывала английскую агрессию, характеризуя ее как борьбу цивилизации с «азиатской формой правления»,[2] для русской торговли в Китае эта агрессия несла с собою угрозу предстоящего соперничества и борьбы, каких Россия не знала до этого на Дальнем Востоке. Уже в июне 1843 г. московский гражданский губернатор бил тревогу по поводу приостановки размена товаров на Кяхте во время англо-китайской войны. Он напоминал министру внутренних дел: «Благосостояние Сибирского края и нашей мануфактурной промышленности, в особенности московской, ею (кяхтинской торговлей) преимущественно поддержаны... В таком положении одной из главнейших отраслей нашей торговли я не могу оставаться безмолвным».[3] Тогда же правительство решило ассигновать средства для поддержания кяхтинского купечества, и был учрежден особый комитет по делам русской торговли с Китаем. Меры эти не могли отвратить нависшей опасности. Кяхтинская торговля стала постепенно хиреть. В течение 50-х годов русский вывоз через Кяхту еще держался на уровне 7 млн. руб., к концу же 60-х годов он упал до 2 млн.[4] Иностранные товары прибывали со всех сторон. Они уже появились в Кашгаре. В этом плане еще в середине 40-х годов правительство принимало меры по организации торговой разведки в Кульдже и Чугучаке. В 1844 г. туда был послан чиновник Азиатского департамента Любимов с образцами товаров. Ему пришлось ехать под чужим паспортом в азиатском платье. Он нашел в Кульдже множество мелочных торговцев из Средней Азии, определил рынок Восточного Туркестана как рынок с большими возможностями в будущем, но существующие условия торговли — как неблагоприятные для ее развития: кульджинский амбань советовал ему в европейском платье в Кульджу не приезжать.[5] В 1851 г. в Кульдже и Чугучаке были учреждены русские консульства, и началась небольшая систематическая торговля в этом районе.

Но становилось очевидным, что после большой войны, которую вели морские державы против Китая, ограничиться мероприятиями в области традиционной сухопутной торговли было нельзя. Китай вырастал в крупную международную проблему, разрешение которой требовало активности, мобилизации сил и разнообразия действий.

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 3, лл. 123—124, 1840—1842.

[2] Москвитянин, ч. V, № 9, 247—248, 1842 и № 1, 326, 1843.

[3] МИД, Гл. архив, II—3, № 10, лл. 18—39, 1843. Он предлагал министру принять ряд экстренных мер и, в частности, обязать московских купцов явкой каждые две недели на совещания по вопросу о русско-китайской торговле.

[4] «Краткий очерк...», стр. 72—74.

[5] МИД, Гл. архив, II—3, № 5, лл. 80—92, 1844—1846.

Приходилось думать о рыболовах и китобоях, работавших в районе Берингова и Охотского морей и Камчатского побережья; вспоминать о тех территориях, которые некогда были заняты русскими, затем покинуты по Нерчинскому договору (1689 г.) и теперь могли бы быть полезны в деле приближения к Тихому океану, к тому району, где разгоралась международная борьба; привлекать к делу морского министра; снаряжать (еще в апреле 1843 г.) морскую экспедицию контр-адмирала Путятина в Китай; в 1845/46 г. посылать судно Русско-американской компании к устьям Амура и в 1849—1850 гг. туда же отправлять экспедицию под начальством Невельского и основывать пост Николаевск.[1]

В июне 1852 г. Бруннов писал из Лондона, что англичане проявляют крайнюю подозрительность и беспокойство в связи с экспедицией Путятина и что английское общественное мнение уже живет мыслью о предстоящем падении Китайской империи. «Протяженность этой империи, — успокаивал Бруннов петербургские сферы, — настолько громадна, что всякому есть взять из чего».[2]

Опиумная война, потрясшая до основания Китайскую империю и выявившая всю ее слабость, привела к восстанию китайских крестьянских масс против китайской бюрократии. Начиналась длительная и затяжная гражданская война. Обнаруживалась возможность отпадения Монголии и Манчжурии. Европейские державы заняли выжидательную позицию, с тем чтобы в удобный момент сразу покончить и с революцией и с Китаем как независимой страной. В январе 1854 г. Особый комитет по делам ген.-губернатора Восточной Сибири принял решение завязать тесную дружбу с монголами, сблизиться с манчжурами, не порывая в то же время отношений со старым китайским правительством. Тогда же был утвержден проект Муравьева о посылке водным путем отряда в 700 чел. к устьям Амура и снова снаряжалась миссия Путятина.[3]

Все это представлялось тем более необходимым, что приходилось серьезно думать о возможном нападении на русские дальневосточные владения со стороны Англии, готовившей уже нападение на Черноморское побережье.

Опасения не заставили себя долго ждать, и английский флот скоро, в августе 1854 г., бомбардировал порт Петропавловский. Нападение было отбито. Десант был сброшен в море. Адмирал Прайс застрелился. Но в мае 1855 г. английская эскадра снова появилась у Петропавловска и снова бомбардировала его.[4]

Война, которую вели англичане на Ближнем Востоке, скоро

---

[1] Русское слово, № 6, 329—388; № 7, 93—136 и № 8, 1007—171, 1859.

[2] МИД, Гл. архив, 1—9, № 17, лл. 31—54, 1852—1856. Письмо Бруннова от 23/VI 1852 г.

[3] Там же, № 7 лл. 1—36, 1854.

[4] Русский архив, № 8, 393—425, 1878. П. Шумахер. Оборона Камчатки и Восточной Сибири.

кончилась. Но война, которую они начали в 1840 г. на Дальнем Востоке, после некоторого перерыва продолжалась. Она была возобновлена Англией, на этот раз в союзе с Францией, в 1858 г. и повторена в 1860 г. Она закончилась разгромом императорского дворца в Пекине, согласием Китая на доступ в Пекин дипломатических представителей всех иностранных держав и на открытие Китая для иностранной торговли. Борьбу англичан за свободу иностранной торговли в Китае Маркс определял так: «Всякий раз, когда мы пристально присматриваемся к природе британской свободной торговли, в основе ее «свободы» мы почти повсюду видим монополию».[1]

Англия брала на себя роль вершителя судеб Китая. Для царской России, как экономически более слабой и географически более близкой к Китаю, это было чревато особенно крупными последствиями. Действуя своими военно-феодальными методами, используя свое географическое положение, она старалась поспеть за другими. В течение тех нескольких лет, пока державы вели войну с официальным Китаем, они соблюдали нейтралитет по отношению к тайпинам, продолжавшим свою борьбу с манчжурской династией. Но, когда победа над официальным Китаем была одержана и нужные договоры подписаны, державы решили покончить с тайпинами, сменив свой нейтралитет на неприкрытую интервенцию.

Царское правительство шло следом за другими, хотя в первое время ему иногда удавалось опередить своих спутников. В 1856 г. оно входит с китайским правительством в переговоры о посылке в Пекин инструкторов для организации защиты города от инсургентов; за оказание этой услуги Китай должен был сделать уступки в «амурском вопросе.[2] Уже были отправлены 10 тыс. ружей через Кяхту, готовились к отправке 50 пушек большого калибра, и капитан Балюзек с 4 офицерскими чинами был на пути из Нижнего в Иркутск. В марте 1859 г. миссию вернули с пути. Балюзек приехал в Пекин один и там принял участие в переговорах, которые вел Игнатьев с правительством богдыхана. В ноябре 1860 г. обещанные уступки от китайского правительства были получены. Россия получала также все те права, какие уже приобрели европейцы в Китае по договорам, заключенным в 1858 г. в Тяньцзине. Для русской торговли открывался Кашгар и, с некоторыми ограничениями, Урга и Калган. В апреле 1869 г. царское правительство, как известно, произвело временную оккупацию Илийской провинции, которая была впоследствии возвращена Китаю за соответствующие компенсации в области сухопутной торговли.

Еще в марте 1862 г., когда на заседании Особого комитета рассматривался вопрос о совместных действиях русской эскадры с иностранными, было решено в этих действиях участие принимать, но

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 352.
[2] МИД, Гл. архив, 1—9, № 100, 1856.

«иметь в виду, что интересы наши в Китае в большей части случаев совершенно противоречат видам западноевропейских держав, в особенности Англии».[1]

Противоречия были, разумеется, также и между прочими иностранными державами, хотя первоначально они в вопросах раздела Китая работали дружно. В 1862—1863 гг. Франция отрывает от Китая его вассальные владения в Индо-Китае (Кохинхину, Камбоджу). В 1867 г. США приобретают у России Аляску, создавая тем самым для себя опорный пункт на Тихом океане. В 1874 г. Франция устанавливает свой протекторат над Аннамом, в 1883—1885 гг. отвоевывает у Китая провинцию Тонкин и округляет свои владения завоеванием Лаоса. В 1886 г. Англия объявляет вассальное Китаю королевство Бирму присоединенным к Британской Индии. Казалось, Бруннов был прав, говоря о том, что в Китае «всякому есть взять из чего».

Раздел Китая проходил в ту пору без больших споров. Участники дележа относительно мирно уживались друг с другом. 70-е и 80-е годы для иностранных держав были годами освоения добытого и использования Китая как рынка сбыта для своих изделий и как рынка сырья и колониальных товаров. Но именно в этой области царская Россия отставала сильнее других. Это проявлялось не только в том скромном положении, какое занимала Россия в китайском товарообороте в 80-х годах и в продолжающемся ухудшении этого положения по мере приближения к 90-м годам.[2] Это проявлялось и в том «жалком», по выражению Победоносцева,[3] экономическом состоянии, в каком оставались вновь приобретенные территории, в слабой заселенности не только новых, но и старых дальневосточных окраин России. Это проявлялось также и в том, что в обострявшейся между державами борьбе за политическое влияние в Китае и его вассальных владениях царской России приходилось уступать место другим. Нуждавшейся в незамерзающем порте, ей пришлось примириться с тем, что в 1885 г. англичане перехватили у нее остров Гамильтон в Корейских водах. В борьбе за протекторат над богатой портами Кореей пришлось уступить дорогу маленькой соседней Японии. К концу 80-х годов российское министерство иностранных дел пришло к заключению о невозможности проводить успешную активную политику на Дальнем Востоке в виду недостаточности «средств, которыми мы располагаем для обороны наших окраин на Тихом океане».[4] «Положение наше на прибрежье Тихого океана не на-

---

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, лл. 136—138, 1852. Протокол Особого комитета от 8/III 1862 г.

[2] Э. Паркер. Китай, его история, политика и торговля, 238. СПб., 1903; см. также Историк-марксист, № 3, 25, 1934.

[3] Письма Победоносцева к Александру III, I, 248.

[4] Историк-марксист, № 3, 21, 1934. Инструкция Веберу от 25/IV 1885 г.

столько еще обеспечено, чтобы мы могли рассчитывать здесь на какой-либо успех», — писал Гирс русскому поверенному в делах в Сеуле 16 января 1886 г.[1] Вопрос укрепления экономических и политических позиций России на Дальнем Востоке упирался прежде всего в вопрос о преодолении географической оторванности колонии от метрополии. В русских торгово-промышленных кругах били по этому поводу тревогу еще с конца 50-х годов: на страницах журнала «Вестник промышленности» ставится вопрос об организации постоянных морских торговых сношений с Китаем, об организации судоходства по Амуру, о развитии производительных сил Сибири, о систематическом заселении Амурского края и, наконец, о большой русской железной дороге в Китай и к Тихому океану.[2]

Тогда же появляются первые проекты постройки Сибирской ж. д. (1856 г.). После русско-турецкой войны настояния торгово-промышленных кругов становятся особенно сильными. В 1880 г. купечество, торгующее на Нижегородской ярмарке, поддержанное Казанью, Сарапулом, Ирбитом, ходатайствует перед царем о скорейшем сооружении дороги.[3] В 1881 г. Общество для содействия русской промышленности и торговле ходатайствует перед всеми заинтересованными ведомствами о постройке Сибирской ж. д., которая должна быть «базисом» всей сети железных дорог, охватывающей и дальневосточные рынки, от которой должны итти ответвления к Китаю и к Средней Азии.[4] Вопрос о поднятии производительных сил Дальневосточного края, о связи новой колонии с метрополией не сходит со страниц буржуазно-либеральной печати в течение 80-х годов. Помещичьи интересы определяли, как известно, ближневосточную ориентацию внешней политики царизма до конца 80-х годов; в этом же плане шло и железнодорожное строительство в течение предыдущих десятилетий. Экспансия царизма в среднеазиатском направлении равным образом задерживала постановку дальневосточной проблемы в развернутом виде.

Создание Добровольного флота, последовавшее непосредственно после русско-турецкой войны, актуализировавшее вопрос о морских базах на Дальнем Востоке, не разрешало проблемы и только обостряло англо-русскую борьбу. Когда царское правительство приступило к постройке Сибирской ж. д., Япония, с которой оно уже успело в 80-х годах столкнуться в Корее, выходила на путь широкой экспансии на азиатском материке. Японская военная программа уже тогда связывалась с идеей «великой» Японии, которая должна была включить в свой состав и Курильские острова, и Филиппины, и Сахалин, и

---

[1] Там же, 22.

[2] Вестник промышленности, I, 116—117; II, 48—58; III, 33—63; IV, 41—83, 1859.

[3] Материалы к истории вопроса о Сибирской ж. д., 57—62. СПб., 1896. 87—99.

[4] Труды Общества для содействия промышл. и торговле, XII, 87—99.

Камчатку, и Корею, и Манчжурию, и Монголию, и бо́льшую часть Восточной Сибири. В программу эту уже тогда входил план грандиозного железнодорожного строительства по Корейской и Манчжурской территории вплоть до Пекина. Программа эта уже тогда намечала для Японии «монополию военной силы» в Китае, создавая вместе с тем и необходимые предпосылки для дальнейшего «удобства грабежа». Спровоцировав Китай на конфликт, арестовав корейского короля и заставив 80-летнего отца короля объявить Китаю войну, Япония с 70-тысячной армией выступила на «защиту» Кореи и в восьмимесячный срок заставила Китай признать ее притязания не только на Корею, но и на Южную Манчжурию, на Формозу и на Пескадорские острова.

Характерно, что п. 4 ст. VI Симоносекского договора 1895 г. предусматривал право Японии на создание в открытых портах промышленных предприятий. Это было новостью в истории договорных отношений Китая с иностранными государствами, и это свидетельствовало о новых мотивах колониальной экспансии. Характерно, что японская агрессия встретила теперь решительный отпор со стороны России, Франции и Германии, объединившихся в деле ликвидации Симоносекского договора. «Свободно-захватная» политика, которая осуществлялась в прошлые десятилетия в плане «мирного» сотрудничества между агрессорами, приводила теперь к обострению противоречий между ними. Известно, что Ленин обратил на этот момент особенное внимание, заметив, что «капиталисты Англии, Германии, Франции, России и даже Италии» «сразу ухватили зубами» тот «лакомый кусок», который приготовила себе в Китае Япония.[1] Это было симптомом заканчивавшегося раздела азиатского материка. Это было симптомом того, что совершался «переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на не захваченные ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца».[2] «Будущее расчленение Китая, — писал российский посланник в Японии 8 марта 1895 г., — представляется мне неминуемым последствием нынешних событий; после нынешнего разгрома своего едва ли за Китаем удержится возможность дальнейшего существования».[3]

Перспектива раздела Китая вела к небывалому обострению противоречий между агрессорами. Подготовка раздела шла, как известно, в порядке «аренд» и прямых аннексий, в порядке железнодорожного концессионного строительства, в порядке займов и финансирования Китая. Тотчас за заключением Симоносекского договора был заключен первый крупный заем Китая — франко-русский на сумму 400 млн. франков. С 1896 г. начинается так называемая «битва за концессии», в результате которой Китай был вынужден выдать ино-

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 165.
[2] Там же, XIX, 142.
[3] МИД, Пол. архив Китая, ст. д. № 900.

странцам концессию на постройку 19 железнодорожных линий, общей протяженностью в 6420 миль: 9 дорог строили англичане, 3 — русские, 3 — французы, 2 — немцы и по одной бельгийцы и американцы. На первом месте по длине линий стояли английские дороги, на втором — русские.[1] В феврале 1897 г. Англия исправляет границы Бирмы за счет Китая и получает от последнего обязательства не отчуждать пограничного района третьей державе. В марте того же года Франция добивается от Китая обязательства о неотчуждении острова Хайнаня. В ноябре 1897 г. Германия захватывает бухту Киао-Чао, причем, приобретая концессию на проведение железной дороги Цзинь-дао — Цзинаньфу, вовсе не оговаривает перехода в будущем дороги к Китаю. В феврале 1898 г. Англия получает от Китая обязательство о неотчуждении долины Янцзы.

В марте 1898 г. Китай заключает договор об аренде Германией Киао-чао, тогда же — соглашение об аренде Россией Квантунского полуострова и о проведении Южно-Манчжурской ж. д. Далее Китай заключает ряд последовательных соглашений: в апреле 1898 г. с Францией — о неотчуждении пограничного с Тонкином района и постройке французами Юньнаньской ж. д.; тогда же с Японией — о неотчуждении провинции Фуцзяны; в мае 1898 г. с Францией — об аренде Гуаньчжоу-Вана; в июле 1898 г. с Англией — об аренде Кулуна и Вейхайвея. В апреле 1898 г. Япония заключает соглашение с Россией, которым Корея признается сферой экономического влияния Японии. Наконец, в феврале 1898 г. пробует выступить со своими притязаниями Италия, и в марте того же года расширяется территория международного сеттльмента в Шанхае.

Не приходится пояснять, что борьба за железнодорожные концессии была борьбою за вывоз капитала, что борьба за обязательства о неотчуждении территорий была борьбою за сферы влияния, что борьба за аренды была борьбою за опорные пункты утверждения монопольного господства, что борьба за займы была продолжением той же борьбы за территории и борьбой за влияние в Пекине.

Создававшаяся в Китае обстановка борьбы свидетельствовала о том, что эра свободной конкуренции миновала, что мир вступал в новую эру господства монополии, что происходила смена старого «мирного капитализма» «немирным воинствующим катастрофическим империализмом». Царская Россия входила в эту борьбу на Дальнем Востоке подкрепленная французскими капиталами, но с недостроенной Сибирской дорогой, с относительно незначительными морскими силами, с удаленною на несколько тысяч верст военной базой.

Продолжая стремиться к овладению портами корейского побережья, главною целью своей она ставила утверждение своего монопольного господства в Манчжурии. Непосредственным противником ее и в корейском и в манчжурском вопросе была Япония. Диплома-

[1] Mongton. The railwat problems in China, p. 39.

тическое поражение Японии в дни Симоносекского мира и вынужденный отказ от достижений войны не изменили соотношения классовых сил внутри страны. Представители политики «монополии военной силы» продолжали оставаться у власти. Пережитые неудачи вызывали настроения реванша в среде господствующих классов и укрепляли военно-захватнические тенденции в политике Японии. Доставшаяся Японии после войны с Китаем контрибуция послужила базой для повышения боевых сил страны. В 1895 г. была принята программа вооружений на сумму в 500 млн. иен. Программа должна была быть реализована в семилетний срок. Государственный бюджет стал военным в полном смысле этого слова. В короткое время японский военный флот стал сильнейшим в водах Тихого океана. Япония доводит численность своей армии до 700 тыс. чел., она создает армию, которая, по словам японского журналиста Шимаде, далеко превосходила потребности защиты японской территории. Армия эта являлась в то же время «английской пехотой» с островов Восходящего солнца. Укреплявшаяся в районе Янцзы Англия не хотела мириться с экспансией России в сторону Манчжурии и с ее приближением к Великой Китайской стене. После японо-китайской войны Англия ставила в своей борьбе с Россией ставку на Японию. Видевший в Манчжурии удобный для себя рынок и расчищавший в Китае пути для своей собственной монополистической политики американский капитал занимал по отношению к русской политике в Манчжурии явно враждебную позицию. Временно в 1900 г. державы объединились для подавления боксерского восстания — стихийного движения китайских народных масс, направленного своим острием против иностранного империализма. Действовавший в Китае концерт иностранных держав скоро распался. Россия выходила из него, чтобы закрепиться в Манчжурии. Относительно благоприятная для России международная конъюнктура на Дальнем Востоке стала к этому времени значительно изменяться к худшему. Англия выходила из бурской войны и развязывала себе руки. Заинтересованная в том, чтобы ослабить силы франко-русского союза, Германия, провокационно толкавшая Россию на Дальний Восток, выступает вместе с тем застрельщиком в деле заключения англо-японского союза, направленного против России. Политика Витте, стремившегося утвердиться в Манчжурии «средствами министерства финансов», встречала решительный отпор со стороны прочих держав и терпела фиаско. Шедшая ей на смену политика Безобразова, политика бутафорской агрессивности на Дальнем Востоке в условиях военной неготовности России, быстро обанкротилась. «Английская пехота» с островов Восходящего солнца готовилась к наступлению.

Таков в общих чертах тот путь, каким в течение второй половины XIX в. шел русский царизм к осуществлению своих целей на Дальнем Востоке, и такова та международная обстановка, в условиях которой он пришел к войне и к военному поражению.

У Покровского вопрос этот получает следующее освещение. От-

крытие дальневосточной проблемы принадлежит ген.-губернатору Восточной Сибири Н. Муравьеву. Дело началось с «завоевания» последним Амура в 1858 г., «хронологически совпавшего», по мнению Покровского, со второй экспедицией Перовского (стр. 356). Завоеванные земли были оставлены Россией в заброшенном состоянии, отчего пришли скоро в мерзость и запустение (стр. 357). В Китае все оставалось по-старому. Он продолжал жить своей самостоятельной жизнью нации-отшельника. Россия, не подозревая о существовании Кяхты, в ту пору «имела дело с Китаем только посредственно, поскольку он являлся соседом со стороны только что завоеванного Туркестана» (стр. 357).

Кульджинский вопрос впервые непосредственно свел царскую дипломатию с Китаем. Но царское правительство не спешило, оставляя китайскую «грушу» «зреть» и «терпеливо дожидаясь, пока она не упадет» (стр. 360). События, решившие участь Китая, начались только в конце 80-х годов. Так как русский капитал потерпел на Балканах фиаско и так как «Европа» сбросила Россию с Балкан, а русское продвижение в Средней Азии после Мерва также было задержано «Европою в образе Англии» (стр. 355), «нужно было выбирать противника по силам». В 1887 г. царское правительство решает предпринять «военно-коммерческую экспедицию» против Китая (стр. 356), т. е. экспедицию, организуемую по типу тех, какие предпринимались в эпоху первоначального накопления. Ряд моментов благоприятствовал первоначально русской агрессии в Китае. К числу этих моментов Покровский относит следующие: 1) «провербиальное отвращение», какое питал китайский народ к войне и насилию (стр. 356); 2) деятельность русских генералов, в прошлом «между собой не сговаривавшихся», действовавших спонтанейно и «бессознательно», но объективно работавших в интересах «крупнокапиталистического предпринимательства» (например, занятие Муравьевым левого берега Амура) (стр. 356—357); 3) отсутствие у России соперников в Китае, поскольку до 80-х годов «Европа», по мнению Покровского, была представлена в Китае только Японией, осуществлявшей там чисто культуртрегерскую миссию (стр. 368).

Япония была главным и единственным препятствием на пути продвижения России в Китае, а главным объектом русско-японской борьбы служила, по мнению Покровского, Корея. Успехи японской политики в Корее Покровский объясняет следующими обстоятельствами: 1) «историческими воспоминаниями о когда-то, триста лет назад, имевшем место завоевании Кореи японцами» и тем фактом, что Япония «первая открыла Корейский полуостров для международной торговли» (стр. 368); 2) «дикостью» корейского населения, питавшего предрассудок о «непобедимости» Кореи, каковой «предрассудок суждено было рассеять японцам» (стр. 368); 3) твердой и решительной позицией японского правительства, для которого «корейский вопрос стал вопросом жизни и смерти» и которое нашло

в себе силы «покончить раз навсегда с юридической фикцией зависимости Кореи от Китая» (стр. 369). Вспыхивающее в 80-х годах в Корее национально-освободительное движение, направленное против Японии, объясняемое Покровским «наивностью и слабой подготовленностью преобразователей», дает возможность русской дипломатии дважды «похитить» у японцев «из-под носу» «плоды их трудов» (стр. 369—370). В противоположность Японии Россия ведет в Китае политику агрессивную и авантюрную. Это явствует, как показывает Покровский, из того, что русская торговля с Китаем носила «ужасающе пассивный характер» (стр. 372). Ведущая, по словам Покровского, борьбу за то, чтобы сделать Манчжурию «крепостным рынком», стремящаяся к насаждению в Китае крепостничества (стр. 373), Россия, при помощи Франции, разыгрывает в 1895 г. в Китае «сцену» из истории Ункиар-Искелесского договора 1833 г. и «в третий раз» лишает японцев «плодов» их «трудов» (стр. 360—361). Преступления, совершавшиеся Россией против японского, корейского и манчжурского народов, долгое время оставались ненаказанными. Только после того, как русско-французский союз, предоставив Китаю 400-миллионный заем, приведший к заключению контракта на постройку КВЖД, показал себя «перед светом» во всей своей «драстической форме» (стр. 362), на сцене появляется возмущенное «общественное мнение европейских колоний Дальнего Востока», справедливо опасающееся, «что дело далеко не ограничивалось железнодорожной концессией» (стр. 363). В связи с этим Германия, — пишет Покровский, — «правильно рассуждая, что немецкие коммерческие интересы в Китае во много раз крупнее русских», «завладела Киао-Чао в свою пользу и после нескольких месяцев воплей со стороны Китая о полном попрании немцами международного права и всех дипломатических приличий, добилась от пекинского правительства арендного договора на Киао-Чао» (стр. 365). Указанные «вопли» представляли собою, согласно Покровскому, не более, как комедию, разыгранную китайскими правящими классами, ибо, по словам Покровского, само «китайское население Шаньдуна... ничего не имело бы против того, чтобы попасть под управление немецкого ген.-губернатора» (стр. 374). После занятия русскими Порт-Артура на сцене появляется Англия, энергично протестующая против паспортной системы, вводимой русскими властями на Квантунском полуострове (стр. 366). Англия, а с нею вместе и США «усваивают себе линию поведения, классическую для буржуазного государства: не стремясь к захвату ни клочка территории... требовать доступа всюду для своих товаров...» (стр. 367). В этом плане, чтобы предохранить Китай от дальнейшей русской агрессии, она занимает Вейхайвей. Франция, согласно Покровскому, не вела активной концессионной политики на юге Китая, и вся роль ее сводилась к тому, что она «стояла за спиной России» (стр. 367). Россия, снова встречающаяся в своей дальневосточной политике с действующей единым фронтом «Европой», как повествует

Покровский, совместно с правительством богдыхана и отчасти при содействии Франции инсценирует «боксерское» восстание, направленное против «иностранных дьяволов» (стр. 374—375). С этой целью в марте 1900 г. между Россией и Китаем заключается специальная конвенция. Натравив китайские народные массы на иностранцев, русская дипломатия проявила всю свою «посредственность» и глупость (стр. 375), не понимая, что ярость китайских народных масс может обрушиться и на русских в Манчжурии. А когда это случилось, она воспользовалась этим для «азиатского завоевания» Манчжурии (стр. 377).

Даже для не искушенного в истории вопроса читателя должно быть ясно, что вся нарисованная Покровским историческая картина представляет собою чудовищное извращение исторической действительности, что изложенную Покровским концепцию не приходится принимать всерьез, что не приходится даже затрачивать время на критику отдельных ее положений. Внимание читателя, проявляющего специальный интерес к вопросам дальневосточной политики царизма, может привлечь только одно указание Покровского — ссылка на заключенную в марте 1900 г. между Китаем и Россией конвенцию по вопросу о совместной организации боксерского восстания против иностранцев.

Необходимо отметить, что утверждение свое Покровский основывает на утверждении А. Улара, автора вышедшей в 1903 г. в Париже книги «Un empire russo-chinoise». Улар, весьма неразборчивый в источниках, в свою очередь основывает свое утверждение на имевшемся в его распоряжении документе неизвестного авторства и неизвестного происхождения. Ни в исторической литературе, ни в архивах ничего даже напоминающего о возможности существования конвенции, подобной той, о которой говорит Улар, найти невозможно. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело либо с заведомою фальшивкой, либо с неправильным истолкованием одной из попыток сепаратного соглашения России с Китаем о Манчжурии, предпринимавшихся царской дипломатией в годы, последовавшие за ликвидацией боксерского движения.

Развернутая Покровским концепция дальневосточной политики царской России искажает историческую действительность не только потому, что она исходит из ложных предпосылок о том, что агрессия иностранного капитала на Китай началась только в конце 80-х годов и что до того времени в качестве агрессора спорадически выступала только Россия. Концепция эта извращает историческую действительность также и потому, что она исходит из ложной презумпции об отсутствии каких-либо изменений в структуре капитализма на протяжении изучаемого столетия. Продолжая оперировать статистикой торгового баланса и категорией революционной «Европы», не видя новой завязывающейся борьбы за концессии, не понимая смысла и значения новой политики вывоза капитала, закрывая глаза

на входящую в свою последнюю фазу на Дальнем Востоке ожесточенную борьбу за раздел мира и начинающийся его передел, не различая в лице выступающих на дальневосточной арене «великих» держав, типичных для новой эпохи империалистических агрессоров, фиксируя все свое внимание на изобличении методов политики царской России, Покровский приходит к антинаучной, антимарксистской, антиленинской концепции.

Развитая Покровским в гранатовском издании концепция русской политики на Дальнем Востоке не имеет вполне законченного характера. Но та расстановка сил на Дальнем Востоке, какую намечает Покровский, и та политическая оценка, какую он дает сложившимся группировкам, заслуживают того, чтобы обратить на эту сторону дела особое внимание.

Агрессивная Россия вместе со стоящей за ее спиной Францией, с одной стороны, культуртрегерская Япония, олицетворяющая собою «Европу», борющаяся с русским варварством, раскрепощающая Китай, — с другой, помогающие ей в ее борьбе «классически буржуазные» Англия и США и, наконец, по праву действующая, столь желанная для китайских народных масс Германия!.. Старая, заимствованная из эпохи 40-х годов схема, противопоставляющая Россию «революционной Европе», благополучно дожила до 90-х годов и бережно перенесена в отдаленную область Тихого океана. Перенесенная в условия 90-х годов, схема эта, лишенная какого бы то ни было научного значения, объективно приобретает значение оправдания политики японского и германского империализма на Дальнем Востоке.

Завоевание Кавказа

В концепции русской внешней политики XIX в., которую Покровский развил на страницах «Истории России в XIX в.», уделено также некоторое, хотя и очень незначительное место вопросам колониальной политики России в Средней Азии и на Кавказе. Эта политика освещается Покровским в полном отрыве от всей системы внешней политики царизма и от международных отношений эпохи. Главы, посвященные этим вопросам, оказываются органически неувязанными со всем прочим контекстом его истории. Пройти мимо них, конечно, нельзя. Но рассматривать их приходится отдельно, как некоторое дополнение к развитой Покровским концепции.

Завоевание Кавказа Покровский рассматривает как продолжение русских походов в Персию начала XIX в., как вспомогательную стратегическую операцию, предпринятую русским военным командованием в плане русско-персидской вооруженной борьбы (стр. 179). Ставя в центр своего исследования Персию, какою она сложилась к началу XIX в., исследователь тем самым стоит перед задачей дать правильное освещение персидской проблемы в рассматриваемый период. Персия Покровского живет в эту эпоху самостоятельной, изолированной от

внешнего мира жизнью. Шахи Каджарской династии в изображении Покровского знают только одну страну, имеющую с ними внешние сношения, — Россию; они видят только одного агрессора — Россию. Шахи Каджарской династии видят и в лице Англии и в лице Франции только силы, которые привлекаются Персией для помощи в ее борьбе против России. Верны ли эти исходные положения Покровского, основанные на игнорировании международной обстановки, сложившейся к началу XIX в. вокруг персидской проблемы? Нет, не верны.

Известно, что еще задолго до Гудовича и до Цицианова персидским вопросом вплотную интересовались и французы и англичане. Когда Екатерине II, переходившей на ближневосточном театре от обороны к наступлению, удалось в 1783 г. заключить с грузинским царем Ираклием II договор о протекторате, договор этот привел в такое возбуждение французскую дипломатию, что она стала поощрять шаха Ага-Могамеда на реванш, а после разгрома шахскими войсками Тбилиси (в 1795 г.) стала добиваться заключения тесного союза с Ираном. С дипломатическим успехом России в Грузии, как и с активностью французов в Иране, не хотела мириться Англия, недавно утвердившая свое владычество в Индии и стремившаяся к утверждению своего влияния во всех тех районах, которые могли рассматриваться как пути и подступы к Индии. В конце 1799 г. в Иран прибыла миссия Ост-Индской компании под начальством кап. Малькольма, который добился (в начале 1801 г.) заключения с шахом военно-оборонительного союза, направленного прежде всего против Франции.[1] Верно то, что в известный момент шах обратился к Англии за помощью против наступавшей России. Но верно также и то, что Англия потребовала за эту помощь уступки всего побережья Персидского залива, права укрепления Бендер-Бушира, передачи англичанам командования персидскими войсками и крупной контрибуции.[2] Когда в персидских правящих кругах снова возобладала французская ориентация, и Наполеон отправил в Персию свое первое посольство Жобера, последний по прибытии в Баязет был схвачен действовавшими по наущению англичан местными властями и арестован. По франко-персидскому договору 4 мая 1807 г. не только Наполеон обязался содействовать возвращению шаху отошедших от него при Цицианове Грузии и ханств Карабагского, Шекинского и Ширванского, но и Фетх-Али-шах давал, с своей стороны, обязательство прекратить все политические и торговые сношения с Англией и объявить ей немедленно войну, подняв также на войну против Англии и афганцев; шах обязался вместе с тем, в случае похода французских

---

[1] Русский Вестник, т. 131, ст. Венюкова «Россия и Англия», 462, 1877. См. также П. Риттих, Политико-статистический очерк Персии, 222—224, СПб., 1896.

[2] Lacoin de Vilmorin. La politique étrangère en Perse, 9, 1894.

войск против Индии, пропустить их через свою территорию и открыть для французской эскадры все порты Персидского залива.[1] Заметим, что торговый договор, заключенный между Францией и Персией в следующем, 1808 г., содержит в себе статьи, во многом напоминающие содержание Особого акта Туркменчайского трактата и стремящиеся к утверждению в Персии капитуляционного режима.[2] А после Гюлистанского мира в ноябре 1814 г. Англия заключила с Персией договор, по которому шах обязался объявить уничтоженными все союзы, заключенные с государствами, враждебными Англии, и оказывать вооруженное сопротивление всякой державе, которая будет стремиться к вторжению в Индию через Хиву и Бухару.[3]

Рассматривать русско-иранские отношения начала XIX в. в полном отрыве от русско-турецких отношений того времени, рассматривать русскую политику на Кавказе в полном отрыве от русской ближневосточной политики, от борьбы России за утверждение в водах Черного моря и в проливах и от связанной с нею русско-французской и англо-русской борьбы значит безнадежно сузить проблему, исказить весь тот исторический фон, на котором должен вырисовываться процесс завоевания Кавказа. Известно, какую оценку давал Маркс этому последнему факту. «Эти два дела, — писал он в 1863 г., — подавление польского восстания и завоевание Кавказа — я считаю самыми серьезными историческими событиями со времени 1815 г.[4] Этими словами Маркс напоминал о том, что русскую экспансию в Закавказье следует рассматривать как определенное звено во взаимоотношениях России с европейскими державами. Что же остается от этого вопроса в истории Покровского? «Значение» Кавказской войны было, как мы уже слышали от Покровского, «чисто стратегическое», она «непосредственно вытекала из персидских походов». Горские племена угрожали тылу русской армии, сражавшейся на берегах Аракса. С этими племенами можно было бы войти в соглашение, «столковаться»; препятствием явилась «психология военных людей, действовавших в Закавказье»: «раз дело было начато, честь мундира требовала его окончить» (стр. 180). Верно то, что «Закавказье завоевывала не буржуазная, а еще дворянская Россия» (стр. 184), но что остается от правильного положения, если оно «доказывается» и иллюстрируется фактами, ничего не доказывающими. Ермолов разрабатывает проект присоединения ханства и для ослабления Персии хочет разжечь борьбу вокруг вопроса о престолонаследии (стр. 185). Заметим попутно, что в 1809 г. командующий эскадрой «буржуазной» Англии сэр Джон, приближаясь к берегам

---

[1] Lacoin de Vilmorin. La politique étrangère en Perse, 9, 1894.

[2] А. Зонненштраль-Пискорский. Международные торговые договоры Персии, 61, М., 1931.

[3] Юзефович. Договоры с Востоком, см. 208. См. также State Papers, I, 261.

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXIII, 188.

Персии с целью изгнания из страны французов, держал на борту своего корабля одного из потомков ранее царствовавшей династии, чтобы, в случае надобности, сделать его орудием борьбы с франкофильским шахским правительством.[1] Смерть хана шекинского дает главнокомандующему основания ввести в ханстве русское управление. Путем провокации поступает в собственность русской казны «выморочное достояние Карабагской династии» (стр. 187). Солдаты русской армии строят своим генералам усадьбы и дома. Все это факты бесспорные. Но все это свидетельствует о том, что Покровский смешивает «феодальные» цели войны с «феодальными» методами завоевания и описанием явлений производного порядка подменяет анализ реальных интересов и основных целей, какие преследовала царская Россия на Кавказе. Отсюда и вульгаризация в трактовке вопроса. Ограничиваясь описанием этих методов, Покровский игнорирует действительный ход событий. Изображение военных действий приобретает у него характер вампуки.

В социально-политической характеристике Персии и Турции как сюзеренов кавказских народностей Покровский не менее безнадежно запутался: жители отошедших к России ханств, находившихся ранее в вассальной зависимости от шаха, «не могли дождаться, когда же, наконец, оставшиеся свободными братья придут освободить их из русской неволи». Это было в 1817 г. Об этом Покровский рассказывает на стр. 188. Когда персы перешли русскую границу, население этих ханств «встречало их с распростертыми объятиями». Это было в июле 1826 г. Об этом Покровский пишет на стр. 190. А жители Эривани не оказали русским никакого сопротивления. «Не более упорное сопротивление встретили русские войска и в коренных областях Персии, в самом Азербайджане, куда после занятия Эриванского ханства были перенесены военные действия». Это было в летние месяцы 1827 г. И это рассказывается на стр. 193. Мало того — оказывается, что даже коренное население Персии ненавидело Каджарскую династию за ее «грабительскую политику». Что же касается Турции, то Покровский разрешает этот вопрос еще проще: «племенам армянского нагорья в сущности было все равно, кого признать своим сюзереном — турецкого султана или русского императора» (стр. 195). Отмеченные выше вопросы, равно как и то, что азербайджанские армяне были настроены особенно руссофильски, что курды, как и туркмены, не считали себя подданными Персии, что завершившееся в результате русско-персидской войны 1826/27 г. отторжение Эриванского и Нахичеванского ханств от Ирана все же означало создание более благоприятных условий для существования и развития армянского народа, — все эти вопросы об отношении находившихся в зависимости от Персии народов к своему сюзерену Покровский оставляет неосвещенными, спешно прокладывая мостки, — но мостки, сло-

---

[1] Lacoin de Vilmorin. Op. cit., 17.

женные из гнилых бревен, — к мнимому объяснению вопроса о завоевании Кавказа.

Останавливаясь специально на вопросе о завоевании Северного Кавказа, Покровский не охватывает и этого вопроса во всем его многообразии, не умеет подойти к нему, как к факту определенного международного значения. И здесь также политика царской России сводится в конечном счете к одному моменту — интересам «военной карьеры, везде в других местах закрытой [для царских генералов — *А. П.*] после наполеоновских войн» (стр. 205). Упустив из виду тот факт, что в течение всей русско-персидской войны Англия уплачивала шаху субсидию в 200 тыс. ф. ст., Покровский проглядел и то, что, не говоря уже о Турции, та же Англия не оставалась безучастной свидетельницей действий, развертывавшихся на Северном Кавказе.

Известно, что в 1836 г. на северо-западном Кавказе появляются английские агенты, обещающие горцам помощь английского короля и египетского паши (Логгворт, Белль и др.), что в 1837 г. капитан Маррин и лейтенант Иддо привозят черкесам военные припасы на английском купеческом корабле прямо из Англии. «Когда на Пшаде,— доносил Раевский, — ген. Вельяминов строил укрепление, англичане, окруженные горцами, осматривали с высоты окрестных гор наши работы». За поимку Белля еще в 1837 г. было назначено 3 тыс. рублей. Недаром Головин предлагал в 1838 г. объявить этих английских агентов «вне права народного», и из Петербурга тогда же пришло разрешение «возвысить по ближайшему усмотрению г.-л. Раевского, но не более как до 1000 черв., назначенную за выдачу английских эмиссаров цену, если их представят живыми».[1] То значение, какое имело западное побережье Кавказа в качестве плацдарма для царской России, стремившейся к утверждению своего могущества на Черном море и к овладению проливами, та роль, какую начинало играть восточное побережье Кавказа в плане русской экспансии в Средней Азии, то положение, какое занимал кавказский вопрос в системе англо-русских противоречий, наконец, то значение, какое с известного времени Кавказ приобретал для России как рынок сырья и рынок сбыта, — все это из концепции Покровского выпадает. Что же остается в ней? Построенная не на всестороннем охвате исторической действительности, взятой во всем ее многообразии, а на произвольно выхваченных из этого многообразия фактах второстепенного значения, истолкованных в духе русских анархистов-федералистов середины 70-х годов, концепция эта в конечном счете может быть сведена к следующим положениям: ни в Персии, ни на Кавказе, ни у царской России, ни у каких-либо иных держав никаких реальных интересов не было; страны эти до известного времени представляли собою tabula rasa в международном отношении; открытая царизмом

---

[1] Акты Кавк. арх. ком., IX, 454—457.

Персия становится объектом его военной агрессии; в качестве защитницы Персии от русской агрессии выступает Англия, играющая роль «Европы» на данном участке; попытка англичан защитить Персию окончилась неудачей, а участь Кавказа решили карьеризм и моральная распущенность русских генералов.

Завоевание Средней Азии

Касаясь однажды вопроса о колониальной политике, проводившейся царской Россией во вторую половину XIX в., Покровский заметил, что «непосредственной целью русской колониальной политики» в эту пору «было то же, что было целью для португальцев и голландцев XVIII в., — простой грабеж». Такая «установка», предрасполагающая исследователя рассматривать историю колониальной политики России как курьезный анахронизм, не могла, естественно, благоприятствовать углубленному изучению политико-экономической экспансии царской России в Средней Азии, исторических корней русской среднеазиатской политики, классового характера ее, тех международных условий, в которых она протекала.

Средней Азии как объекта англо-русской борьбы для Покровского не существует. Не существует для него Средней Азии как арены, где происходила ожесточенная борьба между народами, ее населявшими. Средняя Азия Покровского — это только «географическое понятие», это территория, никому не ведомая и открытая впервые царскими дипломатами, территория, куда в известный момент попали царские генералы, совершившие там ряд уголовно наказуемых деяний. История вопроса в изображении Покровского, в данном случае шедшего в значительной мере по следам представителей английской буржуазной историографии, в кратких чертах такова. В течение всего XIX в. среднеазиатские «рынки прямо брались приступом: покупатель сливался с военнопленным, и боевые генералы непосредственно являлись представителями национального капитализма» (стр. 321). «Военные операции 30-х годов XIX в. были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов» (стр. 324). Такую же цель преследовал, в частности, поход Перовского, который был проведен под флагом «научной» экспедиции (стр. 324). Далее следует длинный ряд походов и экспедиций, которые тянутся, «как звенья одной цепи» (стр. 322). «Основные мотивы, общая обстановка, ближайшие цели у всех экспедиций этого периода вполне аналогичны. Меняется время от времени только интенсивность движения» (стр. 322). После 1839 г. Хива выпала из сферы действий русских генералов, так как до нее «оказывалось трудно добраться» (стр. 325). «Оставалось попробовать» предпринять поход против Коканда. Это было сделано в 1853 г. (стр. 325). Крымская война прервала завоевание Коканда. В 1864 г. походы возобновляются. В результате после взятия Хивы в 1873 г. русская торговля торжествует по всей среднеазиатской территории. Затем следует небольшой

перерыв, и продвижение продолжается. Мотивы продвижения, по Покровскому, теперь несколько меняются. Моменты, связанные с интересами русской торговли, отпадают, и продвижение совершается спонтанно. «Если мы вспомним историю кавказской войны времен Николая Павловича, — поясняет Покровский, —мы не найдем во всем этом ничего нового» (стр. 331). Движущей силой последующего продвижения были «карьерные интересы» русского офицерства, жажда «подвигов». Дело не всегда шло гладко. Скобелев, предпринимающий Ахал-текинскую экспедицию с целью утоления этой жажды, попадает в критическое положение и «охватывается большим беспокойством», когда текинцы собираются выселиться из Денгиль-Тепе — укрепления, которое должно было быть взято приступом русскими. Скобелеву «помогли» «английские агенты», убедившие текинцев «остаться в насиженных ими местах» (стр. 331). Англичане, вообще мало интересовавшиеся русской политикой в Средней Азии и потому проявлявшие исключительное безразличие (кроме небольшой кучки англо-индийского офицерства) в среднеазиатском вопросе, сыграли, однако, в истории вопроса во всех отношениях положительную роль. Они не только «помогали» русскому офицерству в достижении военных наград, но и сумели завоевать такие симпатии к себе среди туземцев, что последние, относившиеся к русским «с нескрываемым неудовольствием и подозрительностью», на англичан смотрели «с нескрываемым сочувствием» (стр. 332). Вообще трудно представить себе, когда была бы утолена, наконец, «жажда» подвигов, которой страдали русские генералы, и когда закончилась бы длинная цепь русских походов и экспедиций, если бы англичане после взятия Мерва, оказав помощь афганцам, не положили бы предела этому ярко выраженному безумию (стр. 334).

Трудно отыскать зерна истины в концепции, основывающейся на неправильных фактических данных и на материалах анекдотического порядка. Ограничимся несколькими замечаниями. То обстоятельство, что русское правительство издавна проявляло, как говорит Покровский, «заботу об охране торговых караванов», свидетельствует о том, что караванная торговля имела место до завоеваний, когда ни среднеазиатские покупатели, ни среднеазиатские продавцы отнюдь не могли быть в положении военнопленных. Бывали случаи, когда заезжавшие в Среднюю Азию русские торговцы действительно оказывались военнопленными, но в таком положении они оставались обычно недолго, и такие случаи были редки, тем более что торговлю вели преимущественно сами туземцы или нанимавшиеся русскими торговыми фирмами татары и казахи в качестве приказчиков. Это объяснялось отчасти тем, что торговцы-мусульмане по закону облагались в среднеазиатских ханствах пошлиной в $2\frac{1}{2}$%, торговцы же христиане — в два раза большей. Заметим попутно, что на деле пошлинные платежи часто удваивались, утраивались, а иногда и учетверялись.

Известно, что по ценности ввоза русских промышленных товаров в 30—40-х годах Средняя Азия стояла на втором месте после Китая. Что касается русских хлопчатобумажных изделий, то именно Средняя Азия вместе с «Киргизской степью» была главным потребителем их.[1] Чтобы покончить с вопросом о положении покупателей как военнопленных, напомним дополнительно, что за 25-летний период, 1835—1860 гг., товарооборот России со Средней Азией увеличился в 3½ раза. За десятилетие же, 1857—1867 гг., ввоз в Россию из Средней Азии возрос почти в 4.4 раза, а вывоз из нее в среднюю Азию — в 2.14 раза. Это относится к периоду, когда русская торговля в Средней Азии еще не получила «особо привилегированного» положения, и это объяснялось сокращением русского вывоза в Турцию и Персию. Но это же доказывает, что никакого особого «своеобразия» в процессе экономической экспансии России в Средней Азии, принципиально отличавшейся, как это подчеркивает Покровский, от экспансии других капиталистических государств, не было. Констатируя значение среднеазиатского рынка для русской мануфактуры, можем ли мы удовлетвориться объяснением, которое дает Покровский экспедициям царского правительства в Среднюю Азию в период 30—50-х годов? Можем ли мы свести их роль к охране караванов и торговых путей? Нет, не можем. Особый комитет, рассматривавший 11 марта 1839 г. «предположения оренбургского губернатора о поиске на Хиву» и определявший цели, какие должна преследовать проектируемая экспедиция, — на ряду с гарантированием безопасности караванов и освобождением пленных — как особую «важнейшую» цель, намечал: «восстановить и утвердить значение России в Средней Азии, ослабленное долговременной ненаказанностью хивинцев и, в особенности, тем постоянством, с которым английское правительство, во вред нашей промышленности и торговле, стремится к распространению своего господства в тех краях».[2] Реальна ли была угроза распространения английского политического влияния и английской торговли в Средней Азии? Это была вполне реальная угроза, нависшая над Афганистаном еще с начала 30-х годов. Что с этой опасностью царское правительство считалось, явствует из того, что, в ответ на двукратное посещение Кабула (в 1830 и 1836 гг.) Александром Бёрнсом, оно тогда же, в 1836 г., послало для переговоров с Дост-Магомедом прапорщика Виткевича, которому временно удалось повернуть ориентацию Доста в сторону России. Того же порядка явление — участие полковника русской службы Бларамберга в организации предпринятой персами осады Герата и участие полковника английской службы Поттинджера в защите Герата.

---

[1] См. «Гос. русская торговля в разных ее видах» за 1830—1832 гг.; см. также Н е б о л ь с и н, Статистическое обозрение внешней торговли России, II, 465—467.

[2] С е р е б р е н н и к о в. История завоевания Средней Азии, I, 33—37, 1908.

Однако, когда в 1833 г. оренбургский ген.-губернатор Перовский забил тревогу по поводу начавшегося проникновения английской мануфактуры в Бухару, Нессельроде отнесся к этому делу спокойно и выразил уверенность в том, что рост русского мануфактурного производства является гарантией того, что со временем английские товары будут вытеснены из Бухары.[1] Значит ли это, что дипломатическое ведомство пренебрегало интересами русской торговли? Нет, не значит. В своем отношении Канкрину от 14 апреля 1839 г. Нессельроде между прочим писал: «Споспешествование торговле вообще составляет одну из главных целей наших политических действий в отношении ко всем сим странам и народам Средней Азии», ибо, полагал министр, «торговля сия составляет основу всей нашей азиатской политики».[2]

Заботы о развитии русской среднеазиатской торговли входили составной частью в систему среднеазиатской политики царизма; торговля служила в то же время удобной формой и прикрытием этой политики, но не покрывала собой всех ее целей. Среднеазиатская политика царизма входила составной частью в систему всей его внешней политики. Являлась ли среднеазиатская политика царизма главным и определяющим фактором всей системы его внешней политики? Нет, таким фактором она не являлась. Недаром Бруннов в своей записке, составленной в 1838 г. с целью ввести наследника в круг основных вопросов русской внешней политики, подчеркивал, что турецкий вопрос — «самый важный вопрос европейской политики».[3]

В конце 1838 г. ожесточенная англо-русская борьба в Средней Азии, завязавшаяся вокруг гератского вопроса, заканчивается поспешным отступлением России. Это отступление нельзя не поставить в связь прежде всего с той конъюнктурой, которая складывалась в эту пору на Ближнем Востоке, где Россия под натиском западноевропейских держав теряла свои ункиар-искелесские позиции и где в то же время обострение англо-французских противоречий открывало перед царской дипломатией перспективу создания англо-австро-русского фронта, направленного против Франции. Царское правительство отзывает слишком инициативного Симонича из Тегерана, заменяя его известным своею умеренностью Дюгамелем. Последний склоняет шаха к максимальной уступчивости по отношению к англичанам. Николай I в октябре 1838 г. заверяет Кларендона в том, что русская политика в Средней Азии ни в малейшей степени не направлена против Индии. Англия, готовясь к решительной ликвидации могущества Мехмета-али, ставшего на путях в Индию, и к нажиму на поддерживавшую его Францию, обнаруживает готовность разрешить турецкий вопрос путем сделки с Россией, но для укрепле-

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 6, 1833. Отношение Перовского Родофиникину от 17/VIII 1883 г. и отн. Нессельроде Перовскому от 11/IX 1883 г.

[2] Там же, № 3. 1839.

[3] А. Зайончковский. Восточная война 1853—1856 гг., I, Приложения, стр. 26—111.

ния своих среднеазиатских позиций предпринимает в то же время военную экспедицию в Афганистан. Экспедиция Перовского была ответным шагом царской России на английскую агрессию. Экспедицию эту Особый комитет признавал возможной лишь постольку, поскольку у англичан руки оказывались связанными в афганских делах. В период этих двух встречных экспедиций дипломатические отношения России и Англии, как известно, не прерывались, и дружественные переговоры по ближневосточным делам не прекращались. Экспедиция Перовского оборвалась в начале следующего 1840 г. От первоначальной мысли повторить экспедицию в следующем году Николай I в скором времени отказался. Ход и исход английской экспедиции достаточно ослабили позиции Англии в Средней Азии. России же приходилось спешить с подписанием соглашения по ближневосточным делам, так как создавалась угроза возможности англо-французского сговора. 3/15 июля 1840 г. Россия совместно с Англией и Австрией подписала конвенцию об оказании помощи Турции. Но прежде чем России пришлось подписать конвенцию о проливах (1/13 июля 1841 г.), т. е. окончательно и бесповоротно отказаться от ункиар-искелесских позиций, по инициативе Англии начались переговоры о разграничении сфер влияния в Средней Азии, причем Хива и Бухара рассматривались англичанами как желательная буферная территория.[1]

Из сказанного ясно, что среднеазиатскую политику царизма нельзя понять в отрыве от всей системы его внешней политики. Ясна и порочность отправных позиций Покровского, изображающего Среднюю Азию как область, где царские генералы действовали в полном одиночестве. Правильно ли утверждение Покровского о том, что военная экспедиция Перовского маскировалась флагом научной экспедиции? Это фактически неверно. Прежде чем было принято решение об экспедиции против Хивы, действительно подготовлялась экспедиция с участием представителей Академии Наук к берегам Аральского моря.[2] Правда, экспедиция эта организовывалась также наподобие военной. Но, когда созрело решение предпринять военный «поиск на Хиву», реализация этого решения проводилась не только открыто, но даже имелось в виду придать всему предприятию характер грозной демонстрации. Эта небольшая фактическая ошибка Покровского сигнализирует об одном весьма существенном моменте, им упущенном.

Еще в феврале 1839 г., т. е. за девять месяцев до своего выступления в поход, Перовский выражал надежду на то, что, услышав о подготовляющемся походе, казахи и туркмены поднимутся и сами «разграбят Хиву прежде, чем отряд наш успеет туда дойти».[3]

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 14, 1839. Депеша Бруннова, лл. 169—185, 24/XI 1840 г.

[2] Серебренников. Ук. соч., I, 48, 90—97.

[3] Там же, 11—29.

Надежды Перовского были основаны на соображениях о той междунациональной и междуплеменной борьбе, которая развертывалась в ту пору в Средней Азии. Известно, что к концу правления Мохамед-Рахима Хива сбросила с себя зависимость от Бухары и консолидировалась в одно политическое целое, управлявшееся единою властью хана.[1] Тогда же дает о себе знать и военно-политическая экспансия Хивы. В 1832 г. она завоевывает Мерв, подчиняет своему влиянию часть прикаспийских туркмен, а также усть-уртских и сыр-дарьинских «киргиз», ставя им от себя ханов и устраивая на Сыр-дарье крепости. Хивинский хан не довольствуется этим, он хочет расширить пределы своего государства до Эмбы и ведет работу среди киргизов, кочующих к северу от Мугоджар.[2] Аналогичный процесс консолидации переживает Кокандское ханство. В это же время Персия, слабеющая и постепенно теряющая свои старые политические позиции в Средней Азии, продолжает рассматривать освобождающиеся от ее зависимости соседние народы как ей подвластные, но находящиеся «в состоянии мятежа».[3] Она предпринимает карательные экспедиции для укрощения беспокойных туркмен. Казахам приходилось терпеть не только эксплоатацию со стороны русского капитала и органов русской государственной власти: им приходилось сталкиваться и с хивинскими зякетчиками («малоордынцам»), с кокандскими чиновниками («среднеордынцам») и с китайскими амбанями («большеордынцам»). В этих условиях родовая казахская аристократия, получая долю участия во власти и усиливая эксплоатацию широких масс, становилась часто податлива к сделкам с царизмом. То же наблюдалось и у туркмен. Известия о неоднократных, отмечающихся с 60-х годов XVIII в., попытках представителей феодально-родовой туркменской верхушки вступить со своими родами в русское подданство вовсе не относятся к области официальных легенд. Известно, что туркменские роды, которые жили в районе Балханского залива, находились в экономической зависимости от Хивы, получая от нее хлеб, а приатрекские туркмены экономически и политически были связаны с Персией (продажа соли и нефти на персидских рынках, кочевание по обоим берегам Аракса). Недаром Бларамберг, посетивший в 1836 г. вместе с Карелиным восточное побережье Каспийского моря, отмечал, что те налоги и повинности, которыми стремился облагать хивинский хан балханских туркмен, те пограничные трения и конфликты с персами, которые учащались у приатрекских туркмен, приводили к тому, что первые «злобствовали на хана»,

---

[1] Записки Русского географического общества, V, 280. СПб., 1851. Пояснительная записка к карте Аральского моря Я. В. Ханыкова.

[2] МИД, Гл. архив, I—9, № 12, лл. 1—29, 1840. Записка Я. В. Ханыкова, 1840.

[3] Там же, № 7, лл. 18б—64, 1834—1844. Записка о Персии в т. II БСЭ, стр. 162.

а вторые «питали врожденную ненависть к персам».[1] Характерен в этой связи и такой факт, как отпадение мервских туркмен от Бухары в 1822 г. и добровольное подчинение их Хиве, которая в дальнейшем неоднократно использовала их в своей борьбе с Персией.[2] Несомненно, что использование ряда туркменских и казахских родов должно было входить в систему и агрессивной политики царизма. Совершенно очевидно, что при игнорировании междунациональной конъюнктуры, складывавшейся в Средней Азии, история завоевания последней не может получить правильного освещения. Правильно ли утверждение Покровского, что после 1839 г. следует длинный ряд походов и экспедиций, причем «основные мотивы, общая обстановка, ближайшие цели» у всех этих экспедиций «вполне аналогичны»? Нет, не правильно. В течение 40-х годов мы имеем ряд небольших военных экспедиций, отправляемых в казахские степи и имеющих своим назначением борьбу с национально-освободительным движением среди казахов. Мы имеем, кроме того, три экспедиции дипломатического характера: Никифорова и Данилевского в 1841 и 1842/43 гг. и Бутенева в 1841 г., причем первые две имели своим назначением Хиву, а последняя — Бухару.

В одинаковой ли обстановке протекали военная экспедиция против Хивы в 1839 г. и дипломатические — 1841 и 1842 гг.? В период экспедиции Перовского английские агенты Шекспир и Аббот были в Хиве господами положения и демонстративно хлопотали перед ханом об освобождении русских пленных. Вместе с тем в ту пору англо-русские отношения в Тегеране достигли крайнего напряжения. В 1842 г. начальник русской миссии Данилевский поддерживает дружественные отношения с английским агентом Томсоном, прибывшим из Тегерана в Хиву, и они вместе хлопочут перед ханом об освобождении персидских пленных.[3] В 1841 г. английские агенты Стоддарт и Конолли содержатся в Бухаре в глубоком колодце, и Бутенев тщетно старается выхлопотать у эмира им жизнь. В то время как русская экспедиция 1842 г. в Хиву увенчалась успехом, и между Россией и Хивой завязались оживленные торговые сношения, русская экспедиция 1841 г. в Бухару окончилась разрывом русско-бухарских сношений на несколько лет, и начальнику миссии Бутеневу приходилось утешать себя мыслью о том, что агрессивные настроения эмира послужат в конечном счете России на пользу, поскольку эмиру удастся разрушить военное могущество Коканда.[4]

Походу на Ак-Мечеть 1853 г. предшествовала энергичная подготовка кокандцев к наступлению на русские укрепления по Сыр-дарье, приезд в Бухару турецких эмиссаров и распространение воззваний

---

[1] Там же, № 3, лл. 130—135, 1835—1839, рапорт Бларамберга от 31/XII 1836 г.

[2] В. Бартольд. К истории орошения Туркестана, стр. 20.

[3] МИД, Гл. архив, 1—5, № 2, лл. 1—378, 1842.

[4] Там же, 1—5, № 3, лл. 1—507, 1840—1846.

турецкого происхождения с призывом к войне против России.[1] В июне 1854 г. хивинский хан предлагает эмиру бухарскому образование направленного против России тройственного союза под главенством эмира. Предложение это не имело успеха, так как эмир был занят войной с Шахризябсом, а сама Хива отвлекалась туркменским вопросом.[2]

В 50-х годах мы имеем не только поход на Ак-Мечеть, но и военную экспедицию Дандевиля в 1859 г. к юго-восточным берегам Каспийского моря с целью основания там военно-торговой фактории. Проект этой экспедиции особенно поддерживался кавказским начальством, считавшим, что «усиленная деятельность англичан» настоятельно требует «поддержания русского господства на Каспийском море».[3] Специфика конъюнктуры сказывалась и в Тегеране, где Аничков отклонял просьбу шаха о русской помощи в замышляемых им действиях против Герата, status quo которого считалось возможным теперь отстаивать при содействии французского посланника.[4] А в 1857 г., в год восстания сипаев в Индии, в год англо-персидской войны, вызывался в Петербург русский военный агент в Лондоне Игнатьев, который в одной из своих записок по среднеазиатским делам развивал мысль о том, что Средняя Азия является районом, наиболее удобным для действий против Англии.[5] В следующем году Игнатьев был уже во главе посольства в Хиве и затем проследовал в Бухару. Именно, в эту пору (1858 г.), касаясь вопроса о русской агрессии в Средней Азии, Энгельс писал: «С военной точки зрения огромная ценность этих завоеваний заключается в их значении как ядра наступательной оперативной базы против Индии».[6] В 1859 г. Хива стала ареной гражданской войны, и казахи, каракалпаки и туркмены осаждали Кунград. Далее приходили известия об осаде Ташкента «дикокаменными» киргизами и о движении бухарцев к Ходженту (1862 г.).[7] Начиналась бухаро-кокандская война, создававшая исключительно благоприятные условия для агрессии царской России. Словом, и в междунациональном и в международном отношениях Средняя Азия совсем не походила на то серое пятно, каким она вырисовывается у Покровского. Не учтя этих моментов, Покровский не может понять последовательности в военных операциях царской России. Поэтому он отделывается такими общими фразами: «До Хивы оказывалось трудно до-

---

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 8, лл. 15—17 и 22. 1852—1868.

[2] Там же, 56—58, ч. 1 лл. 56—58, 1852—1868.

[3] Там же, № 12, лл. 2—31. Донесение Барятинского Милютину 10/XII 1858 г.

[4] Там же, I—1, № 97, лл. 31—38 и 119—122, 1856. Всепродд. докл. мин. ин. дел от 20/III 1856 г. и 1/IX 1856 г.

[5] Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. фл.-ад. полк. Н. Игнатьева. стр. 1—3. СПб., 1897.

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XI, ч. 1, 366.

[7] МИД, Гл. архив, I—9, № 8, ч. II, лл. 1—237, 1852—1868.

браться — оставалось попробовать, не окажется ли доступнее другое из среднеазиатских ханств — Коканд» (стр. 325). На заседании Особого комитета 23 февраля 1863 г. директор Азиатского департамента Ковалевский мотивировал проект движения на Коканд именно сложившейся в Коканде благоприятно для России внутренней обстановкой.[1] Неправильно утверждение, что у бухарского эмира было «созерцательное» отношение к Коканду и что он встрепенулся только после русских побед под Ташкентом (стр. 326). Старый антагонист Коканда, он издавна наступал на Коканд. Не верно и то, будто русское наступление развивалось по принципу случайности, и с Ташкентом не знали, что делать (стр. 347). Временно колебались в вопросе о формах управления Ташкентом. Но еще на записке Катенина от 22 сентября 1858 г., где развивалась мысль о необходимости взятия Ташкента и отправления оттуда «военной экспедиции в самое сердце бухарских владений», Александр II сделал помету: «Я совершенно разделяю его взгляд».[2]

Разумеется, чтобы понять завоевательную политику царизма в Средней Азии в 60-х годах, надо учитывать также и внутреннюю конъюнктуру, складывавшуюся к этому времени в самой царской России, предрасполагавшую военно-феодальные элементы «трубить в трубы войны». Характерна в этом смысле записка, составленная одним из участников среднеазиатских походов ген. Циммерманом в 1861 г., которая, как гласит сделанная на ее полях помета, «произвела в свое время много шуму в военном министерстве». Свои рассуждения, посвященные мысли о необходимости для России продолжать продвижение в Среднюю Азию, автор заключал так: «Беру смелость сделать несколько возражений против мнения, что России не следует делать новых территориальных приобретений. Мнение, что Россия слишком велика пространством, не так уж основательно, как полагают... Если бы при царе Иване Васильевиче IV рассуждали так, что Россия слишком велика и ей не следует расширяться, то Волга и теперь была бы в руках мусульман, и отечество наше было бы маленьким Московским государством, если бы еще успело сохранить свою самостоятельность. Завоевательная политика и постоянное стремление расширить торговые сношения создала величие и могущество Англии. Средняя Азия... непременно оживилась бы после большой экспедиции в Коканд так, как оживится теперь торговля англичан и французов с Китаем после пекинской экспедиции».[3]

В своей истории завоевания Средней Азии Покровский не осветил ни внутренней, ни международной политики, ни тех отношений, какие существовали между среднеазиатскими ханствами.

Если в системе мотивов среднеазиатской агрессии царизма 60-х годов можно нащупывать моменты, связанные с революционной си-

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 26, лл. 14—16, 37—43, 1863.
[2] Там же, № 8 ч. 1, лл. 2400—262, 1852—1868.
[3] Там же, № 40, лл. 1—18, 1861.

туацией, создававшейся в стране, то и в агрессии, начинающейся с конца 70-х годов, стратегически непосредственно увязывающейся с последствиями русско-турецкой войны, моменты эти дают также себя знать. Недаром И. Аксаков еще в январе 1881 г., после занятия Ахал-Текинского оазиса, отмечая «злорадство» иностранной печати по поводу поднимающейся в России революционной волны, восклицал: «Но... гулом гудит слава русской победы над ахал-текинцами... великое ему (Скобелеву) спасибо за радость, победа была нужна нам — так давно не испытывали мы радостных ощущений».[1] В то время как царская политика на Балканах не выводила русские торгово-промышленные круги из равнодушия, продвижение царизма в Среднюю Азию вызывало в этих кругах целую гамму бурных и радостных переживаний. Это получало свое отражение не только в протоколах участившихся заседаний «Общества для содействия русской промышленности и торговле», не только в появлении на завоевываемых территориях многочисленных фигур предпринимателей, но и в той позиции, какую заняли в этом вопросе известные круги мелкобуржуазной интеллигенции. Декларируя о перемещении восточного вопроса с Балканского полуострова в центральную Азию,[2] они готовы были теперь, в середине 80-х годов, обосновать проводимую в условиях англо-русской борьбы среднеазиатскую агрессию теорией, по которой англо-русская борьба являлась «борьбой между лендлордом и капиталистом, с одной стороны, и русским мужиком — с другой».[3]

Несомненно во всяком случае то, что среднеазиатские завоевания укрепляли царизм политически, так как они шли навстречу интересам русской торгово-промышленной буржуазии, завоевывавшей после 1861 г. новые позиции. Не приходится, разумеется, напоминать о том, что изменение структуры капитала центральной России должно было отражаться на изменении всей системы связей России со среднеазиатскими землями, что продвижение царизма в Среднюю Азию приобретало теперь ярко выраженный характер борьбы за хлопковую базу. Сводя происхождение среднеазиатских походов 80-х годов к карьерным побуждениям, которыми руководилась царская военщина, Покровский не дает по существу никакой истории среднеазиатской политики царизма периода 80-х годов. Анализ мотивов этой политики Покровский подменяет описанием методов завоевания и колониальной эксплоатации, ограничиваясь и здесь задачей «разрушения сантиментального предания», утверждавшего, будто в завоевании русскими Средней Азии «были одни лишь светлые стороны, одно сплошное торжество цивилизации над дикостью» (стр. 329). Мы видели, что в своей трактовке дальневосточного вопроса Покровский особенно подчеркивал цивилизаторскую роль японской агрессии в Корее, характеризуя ее как борьбу японцев с корейской «дикостью». Известны

[1] Русь, № 12 от 31 января 1881 г.
[2] Неделя, № 7, за 1885 г., № 8 и 51 за 1882 г.
[3] С. Южаков. Англо-русская распря. СПб., 1885.

относящиеся еще к 1851 г. слова Энгельса о том, что «господство России играет цивилизующую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии».[1]

Покровский несомненно считался с этим положением Энгельса, когда в заключительной части своего изложения признавал, что русский капитал нашел в Средней Азии «еще более примитивные формы экономического быта, чем он сам, и постольку явился в Туркестане прогрессивной силой» (стр. 344—345). Русский капитализм, хотя и в грубых насильственных формах разрушал господствовавшие в средне-азиатских странах средне-вековые общественные отношения, патриархальную замкнутость и втягивал их в мировое товарное обращение.[2]

Известно, что вместе с тем шел процесс превращения Средней Азии в сырьевую базу царской России. Известно, что площадь плантаций американского хлопка Туркестана, насчитывавшая в 1884 г. 300 десятин, расширяется к 1887 г. до 17 тыс. десятин. Вместо 10 тыс. пудов американского хлопчатника, вывезенного из Сыр-дарьинской области в 1884 г., через 4 года, в 1888 г., было вывезено оттуда 250 тыс. пуд., т. е. в 25 раз больше.[3] Вопросы развития производительных сил края, вопрос о возрастающем значении его для метрополии, вопросы национально-освободительных движений средне-азиатских народов Покровский оставляет без внимания. Забывая о выставленном им самим тезисе о «прогрессивности», главное ударение он делает совсем на другом.

Русский колониальный режим — режим «крови и железа», — говорит Покровский (стр. 338); он превосходит все то, что дала британская политика в Индии (стр. 321); в то же время режим этот приводит, по Покровскому же, к росту производительных сил эксплоатируемого края. Покровский оставляет эти противоречия неразрешенными — они не интересуют его. Мало того, он готов даже подвергнуть сомнению положение о том, что «среднеазиатские народы были экономически и политически слабее русского» (стр. 320). Но главная цель — развенчание старой официальной легенды — казалась достигнутой... Представители русского капитализма пригвождены к позорному столбу олицетворяющими «Европу» представителями капиталистической Англии, перед которыми туземное население не может скрыть охватывающих его восхищения и «сочувствия» (стр. 332).

* * *

История внешней политики царской России XIX в., изложенная Покровским на страницах гранатовского издания, представляет собою ряд отдельных очерков, посвященных отдельным конкретным вопросам

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXI, 211.
[2] Ленин, Соч., III, 464.
[3] Русский вестник, 334—337, апрель 1890 г.

этой политики. Слабость внутренней органической связи между этими очерками затрудняет выяснение общего характера развитой здесь Покровским концепции. Каждый из этих очерков заключает в себе большой исторический материал и не менее значительную долю элементов фантастики. Каждый из этих очерков, фиксируя внимание читателя на методах действий старой русской дипломатии и на методах действий старой русской военщины, в качестве своего лейтмотива имеет одну общую тему — тему о глупости и ограниченности этой дипломатии и о порочности и бездарности этой военщины. Ни подлинной дипломатической, ни подлинной военной борьбы, какую вела царская Россия на международной арене, Покровский читателю не дает. Покровский забывает и о том, что часто на полях битв невежество и бездарность царских генералов искупались стойкостью и героизмом русских солдат. Покровский забывает и о том, что русская дипломатия, по словам Энгельса, «сделала больше, чем все русские армии, чтобы расширить границы России», что «это она сделала Россию великой, могущественной, внушающей страх, и открыла ей путь к мировому господству».[1] Ненаучным описанием методов внешней политики царской России Покровский подменяет в своих очерках научное марксистское объяснение этой политики.

Взятые в совокупности, все эти очерки, посвященные истории внешней политики России XIX в., т. е. тому периоду, в течение которого территория царской России увеличилась на целую треть, написаны, в конечном счете, на тему о том, как в результате своего дипломатического и военного бессилия Россия превратилась в $^1/_6$ часть мира. Отмеченные выше формальные особенности данной работы Покровского дают основания заключать о парадоксальности всей концепции Покровского, парадоксальности, коренящейся в его методологических установках. Парадоксальность эта является следствием недиалектического, антимарксистского, антиленинского подхода Покровского к объекту своего исследования. Трудно говорить об определенном методе исследования, последовательно проводимом Покровским на протяжении всей работы. Элементы экономического материализма (например, в трактовке наполеоновской войны, болгарской политики) переплетаются здесь с элементами вульгарного психологизма (например, в трактовке эпохи Священного союза, войны 1853—1856 гг., персидских и среднеазиатских походов), с элементами идеалистического толкования исторических фактов (например, в трактовке восточной политики Николая I, 1848 г., периода 1856—1877 гг.). Не вооруженный марксистско-ленинской методологией, не освоивший в достаточной мере того конкретного исторического материала, который должен был стать объектом его работы, Покровский не вышел в своих очерках за пределы обличительной исторической публицистики, мелкобуржуазной по своей классовой сущности. Не раз мы

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, XVI, ч. 2, 7.

имели случай убедиться в том, как Покровский отправляется от положений, развивавшихся в старой мелкобуржуазной публицистике, подменяя ими научный анализ вопроса. Не легко определить степень влияния буржуазной западно-европейской историографии на отдельные стороны концепции Покровского, поскольку он не имеет обыкновения ссылаться на источники. Однако мы не раз имели случай убедиться и в том, как Покровский некритически воспроизводит концепции, заимствованные из буржуазной западноевропейской историографии и публицистики. Влияние это особенно заметно проявляется в трактовке 1812 г., Священного союза, происхождения крымской войны, истории Лондонской конвенции 1871 г., войны 1877—1878 гг., дальневосточной и среднеазиатской политики царской России.

Попытаемся, насколько это возможно в отношении ряда не связанных достаточно крепкой внутренней связью историко-публицистических очерков, определить заключающиеся в них основные элементы концепции Покровского, его общих взглядов на историю внешней политики царской России XIX в. Сделаем это путем резюмирования основных положений отдельных очерков.

Порвавшая со своим историческим прошлым и о нем позабывшая, Россия Александра I, как колония Англии, в качестве английской наемницы, предпринимает, по мнению Покровского, наступательную войну против обороняющегося методом вторжения на русскую территорию Наполеона и далее становится «вершительницей судеб Европы». Носительница принципов феодальной реакции, Россия последовательно проводит политику легитимизма наперекор всей «Европе», действующей единым фронтом с участием Меттерниха, в некоторых случаях также турецкого султана и его египетского вассала. Бессильная бороться с русским агрессором, «революционная Европа», с Меттернихом включительно, попадает в систему Священного союза и, примирившись с новыми бытовыми условиями, начинает жить жизнью тихого семейства и этот образ жизни продолжает вести вплоть до 1848 г. По временам (Тильзит, греческие дела, Наварин) «Европе» удается отвлечь русскую реакцию «игрушкой» восточного вопроса, но обычно Россия скоро бросает «игрушку» и возвращается к борьбе за принципы легитимизма. Во второй половине 30-х годов Англия сумела настолько удачно подбросить России игрушку восточного вопроса, что Россия, приступив к разрешению его в союзе с Англией, снова превратилась в колонию последней.

К 1848—1849 г. Россия возвращается к своим старым занятиям, вступая снова в борьбу с «Европой» en bloc. Благодаря ряду случайностей и взаимных непониманий, главным же образом благодаря мстительному характеру Николая I, вспыхивает Крымская война. Несмотря на последовавшее в результате войны полное истощение сил, царская Россия и во второй половине XIX в. продолжает играть

роль подобия гегемона Европы, борющегося за принципы легитимизма. Бисмарку, действующему в тайном союзе со славянофилами, удается отвлечь от Европы нависшую над ней русскую опасность и увлечь царскую Россию турецким вопросом. Отвлекшись, вопреки своему желанию, к этому участку, царская Россия и здесь попрежнему продолжает свою борьбу за принципы легитимизма. Начатая в связи с традиционным бессарабским вопросом война с Турцией в результате ряда понесенных царизмом поражений заканчивается ликвидацией турецкой армии, после чего царская Россия временно задерживается в Болгарии. Русские металлурги не дают царизму возможности выбраться из болгарского тупика. Царизм продолжает, однако, и здесь вести борьбу с революционной «Европой», выступающей в лице соединенных сил Австрии и Германии. После болгарских неудач царизм заключает полицейский союз с Францией, совершающей измену принципам революции и выпадающей из системы «Европы». Русско-французская реакция продолжает борьбу с «революционной Европой» в лице Японии и союзной с ней Англией на Дальнем Востоке.

Время от времени на территориях, выходящих из поля зрения «революционной Европы» (Персия, Кавказ, Средняя Азия), русские генералы по соображениям карьеры предпринимают военные действия. Они действуют вразброд и наудачу, занимаясь преимущественно грабежами. Царская Россия входит, таким образом, в XX век разросшейся до пределов $1/_6$ части земного шара. Борьба с «революционной Европой» продолжается, принимая формы борьбы с австро-италогерманской коалицией на Западе и с Японией на Дальнем Востоке.

Таков скелет концепции Покровского. Быть может, он выражен нами в несколько гротескной форме. Трудно, однако, дать иное выражение существу концепции, которая основана на упрощенческом, вульгаризаторском подходе к исторической действительности.

Мы уже говорили, что, касаясь вопроса о том, как марксист должен подходить к изучению войны, Ленин требовал — и это требование приложимо к изучению всех фактов международной борьбы — умения определить, «из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась».[1] Не ограничиваясь этим, Ленин требовал рассматривать данную войну как «продолжение средствами насилия той политики, которую вели господствующие классы воюющих держав задолго до войны».[2] Наконец, Ленин требовал подходить к каждому конкретному факту международной борьбы, отдавая себе ясный отчет в том, какова «политика европейских держав в целом», отдавая себе ясный отчет во «всей политике всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении».[3] «Действительная политика обеих групп величайших капиталистических гигантов..., — писал Ленин по поводу изучения империали-

[1] В. И. Ленин. Соч., XXX, 332.
[2] Там же, XIX, 50.
[3] Там же, XXX, 334.

стической войны, — эта политика за целый ряд десятилетий до войны должна быть изучена и понята в ее целом. Если бы мы этого не сделали, мы не только бы забыли основное требование научного социализма и всякой общественной науки вообще, — мы лишили бы себя возможности понять что бы то ни было в современной войне». [1]

Покровский строил свою концепцию внешней политики царской России XIX в. без учета реальных классовых интересов царского правительства. Покровский подходил к фактам международной борьбы без изучения исторических корней этой борьбы. Покровский давал историю внешней политики царской России, не вскрывая классового характера политики ее контрагентов, пренебрегая анализом международной конъюнктуры. Поэтому из поля зрения Покровского выпал основной стержневой вопрос царской внешней политики — восточный вопрос. Поэтому из его поля зрения выпало значение польского вопроса в системе контрреволюционной политики царизма. Поэтому царская Россия в первой половине XIX в. из действительного «жандарма Европы» превратилась у Покровского в ряженого жандарма. Не учтя классового характера политики держав, которые составляли «Европу», не поняв классовой ограниченности их политики, сбросив со счетов роль Меттерниха как одного из вождей феодальной реакции, Покровский дал в своем историческом построении не реальную Европу, переживавшую процесс буржуазных революций, но полную внутренних противоречий, а Европу призрачную, наделив ее мнимыми качествами. Вся международная арена первой половины XIX в. от Венского конгресса до Севастополя превращена Покровским в цирковую арену, где ряженый жандарм борется с призраком революции, получая пощечины как доказательство своей глупости.

Ленин требовал при подходе к каждому конкретному факту международной борьбы исходить из правильного понимания данной эпохи. «Чтобы понять, — писал он, — почему между великими державами, многие из которых стояли в 1789—1871 гг. во главе борьбы за демократию, могла и должна была возникнуть империалистская война, т. е. по ее политическому значению самая реакционная, антидемократическая, чтобы понять это, надо понять общие условия империалистской эпохи, т. е. превращения капитализма передовых стран в империализм». [2]

Не поняв тех структурных изменений, какие происходили в системе мирового капитализма в последней четверти XIX в., не поняв социально-экономического характера наступающей новой эры — империализма, не поняв действительных мотивов внешней и внутренней политики капиталистических государств в эту эпоху, Покровский продолжал архаический образ «Европы» противопоставлять царской России, которая уже была накануне революции. Не понимая того, что наступление новой империалистической эры чревато пролетарскими

[1] Там же, 335.
[2] Там же, XIX, 201—202.

революциями, продолжая играть старыми понятиями и образами, не видя в России ничего, кроме царя с его одряхлевшими дипломатами, упуская из виду поднимающийся новый класс, ведущий за собой крестьянство и порабощенные народы, — Покровский приходил к историческому оправданию всякой агрессии, идущей со стороны всех тех стран, которые в тот или иной момент в том или иной районе сталкивались с царской Россией. Покровский приходил тем самым к утверждению тезиса об исторической прогрессивности империалистической австро-итало-германской коалиции, об исторической прогрессивности империалистической политики Японии на Дальнем Востоке.

Ненаучная, антимарксистская историческая концепция Покровского, развитая на страницах гранатовского издания, построенная частью на повторении архаических положений идеологов русского мелкобуржуазного радикализма, частью на некритическом воспроизведении старых руссофобских положений западноевропейской буржуазной историографии, является не только ошибочной и вредной теоретически, но и ошибочной и вредной политически.

II. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ В „ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН“[1]

Внешняя политика первой половины XIX в.

В своей «Истории России с древнейших времен» Покровский не дает внешней политики царской России. Он преследует здесь цель — «охарактеризовать» эту политику «экономически» (стр. 303).

Фактического конкретно-исторического материала здесь не много. Такие узловые моменты русской внешней политики XIX в., как образование Священного союза и подавление венгерской революции в 1849 г., выпадают из истории Покровского. Действия живых людей мало интересуют Покровского. Деятельность же тех немногих из них, которые появляются на страницах его истории, носит случайный и несамостоятельный характер. Александр I в своих польских делах оказывается подражателем Зубатова, а во всей внешней политике первых годов своего царствования — орудием в руках Чарторыйского (стр. 164—169). Когда Чарторыйский сходит со сцены, внешняя политика России быстро свертывается. События начинают развиваться только в плоскости экономики. Уже зародившийся в начале столетия англо-русский союз являлся «экономической необходимостью». Это выражалось в том, что англичане подкупали русских сановников и добились успеха. На смену этому союзу является Тильзит: он был

[1] Для высказываний Покровского, относящихся к периоду александровского царствования, указываются страницы III тома его «Истории России с древнейших времен» (изд. 1933 г.). Для высказываний, относящихся к последующим периодам, — страницы V тома «Истории России с древнейших времен» (2-е изд. Тов. «Мир»).

вызван тем, что своим русским наемникам англичане перестали «платить». Далее наступает разрыв России с наполеоновской Францией: это происходит вследствие недовольства дворянства, так как русские «офицеры на время походов освобождались от обязанности платить долги» (там же).

Внешняя политика России того времени развивалась у Покровского не только в результате столкновения подобного рода карманных интересов различных групп населения. В качестве движущих сил исторического процесса скоро появляются экономические категории. История становится борьбой экономических категорий. Это случилось уже во время выхода России из континентальной блокады.

Касаясь вопроса о социально-экономическом характере проектов Сперанского, Покровский писал: «Суть дела была прямо во внешней политике — дружба или, напротив, разрыв с Наполеоном, а косвенно — в экономических отношениях. Спор шел между промышленным и аграрным капитализмом: первому блокада была на руку, для второго в ней заключалась гибель. Сперанский был на стороне первого...» (стр. 180). Цитата чрезвычайно важная, дающая объяснение всему. Становится ясным: проблема русско-французской борьбы сводилась к проблеме борьбы русского «промышленного капитализма» с русским «аграрным капитализмом».

Победа «промышленного капитализма» привела Россию к Тильзиту; победа «аграрного капитализма» вывела ее из Тильзита. В результате этих же последовательных побед и поражений на историческом экране появляется и исчезает тень Сперанского, совершается поворот внешней политики Александра, и по существу происходят все те исторические события, какие имели место в изучаемый период.

Пущенные Покровским в действие экономические категории призваны объяснить все. Проверим их действие на конкретном примере. Как объяснить ими такой факт экономической политики, как выработку таможенного тарифа 1810 г.? Согласно Покровскому, тариф был выработан представителем «промышленного капитализма» Сперанским; тариф означал, по словам Покровского, объявление таможенной войны Франции, следовательно вел к разрыву с нею, следовательно, отвечая, согласно Покровскому, интересам русского «аграрного капитализма», противоречил интересам русского «промышленного капитализма». Одно из двух — скажет читатель: или требует каких-то коррективов утверждение, что Сперанский был представителем «промышленного капитализма», или требует каких-то коррективов положение о том, что тариф преследовал цель разрыва с Францией в интересах «аграрного капитализма». Несомненно, что требуют определенных коррективов оба положения: политика Сперанского не только в известных своих проявлениях объективно отвечала интересам нарождавшегося промышленного капитала, но и должна была находиться в соответствии с интересами бюрократического аппарата самодержавия и в основном шла навстречу интересам определенных кругов

прогрессивного дворянства. Тариф вводился не по особому настоянию представителей «аграрного капитализма» и не преследовал специальной цели удовлетворения интересов «промышленного капитализма», а призван был прежде всего служить интересам фиска и повышению торгового баланса.

Можно ли доказывать, как это делает Покровский, ссылкой на действия русского «промышленного капитализма», выпускаемого им в 1810 г. на мировую арену, тезис об «оборонительном» для наполеоновской Франции характере войны 1812 г., тезис, основанный на игнорировании захватнического характера наполеоновских войн и отрицающий факт «нашествия» Наполеона на Россию (стр. 188—190)? Разумеется, было бы только желание, — аргументы найдутся. И этот тезис можно выдвигать с таким же успехом, с каким можно было бы утверждать, что во время покушения на Павла I не последний защищался от нападавших на него заговорщиков, а ущемленные в своих классовых интересах дворяне-заговорщики оборонялись от Павла, и что не Александр сослал в восточные губернии Сперанского, а Сперанский как представитель развивавшего свое наступление (тариф 1810 г.!) русского промышленного капитала сделал Александра узником промышленного капитала Англии.

Первый опыт объяснения исторических явлений ссылкой на борьбу экономических категорий, первая попытка свести факты внешней политики непосредственно к экономике оказались не слишком удачными. Постараемся выяснить, к каким результатам приходит Покровский в процессе дальнейшего применения тех же опытов.

Уже на первых страницах истории Покровского, изложенной в гранатовском издании, Россия, как мы видели, вступила в борьбу с Наполеоном, как колония Англии. На Венском конгрессе, как мы знаем, Александр уже выступает в роли «вершителя судеб Европы». Выход России из положения колониальной страны и превращение ее в «гегемона» Европы совершается, таким образом, с исключительной быстротой — приблизительно на протяжении одного года. Явление это не получает у Покровского исчерпывающего объяснения также и на страницах его «Истории России с древнейших времен». Только теперь становится ясным, что свой тезис о России начала XIX в. как колонии Англии Покровский основывал исключительно на том положении, какое занимала тогда Англия в системе русской внешней торговли.

Статистика русского ввоза и вывоза с неопровержимостью устанавливает тот факт, что в период екатерининского и павловского царствований из России вывозилось преимущественно сырье и отчасти полуобработанные изделия, что вывозимые льняные и пеньковые изделия составляли лишь половину товарного льняного и пенькового сырья, что о вывозе из России хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей не могло быть речи и что они ввозились в Россию. Те же данные говорят нам о том, что русский вывоз в пре-

обладающей своей части шел в Англию, а ввоз в Россию—из Англии.[1] Эти статистические данные, сохранившие свою силу к началу александровского царствования, и привели Покровского ко взгляду на Россию того времени как на колонию Англии.

Известно, что экономическая отсталость страны и создающаяся на этой основе возможность эксплоатации ее как рынка сырья другой страной, экономически более развитой, является часто встречающейся предпосылкой для превращения данной страны в положение колонии. Известно, что это — условие, благоприятное для такого превращения, но не единственное и даже не всегда необходимое. Англия превращала в свою колонию Индию, насильственно убивая в ней развивавшуюся промышленность посредством запрета ввоза машин, обложения высокою пошлиной орудий производства, посредством системы налогов, приводившей страну к обнищанию. В середине XVIII в. в своих торговых сношениях с Китаем Россия выступала, главным образом, как поставщик «мягкой рухляди», а покупала в Китае шелковые и бумажные ткани.[2] Колонией Китая Россия, однако, не была. Губернии Царства Польского из всех губерний царской России являлись наиболее развитыми в индустриальном отношении, но само Царство не приобретало от того значения метрополии для России. В течение XVIII в. экономическая связь России с Англией была так же сильна, как и в начале XIX в. При Екатерине, когда на целый ряд индустриальных товаров были введены высокие пошлины, англичанам были предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, и они сохранили за собою преобладающее положение во внешней торговле России. Но в период англо-американской войны и охлаждения англо-русской дружбы Россия заключала торговые договоры с Австрией, Францией и Данией; англо-русский торговый договор 1767 г. по истечении 20-летнего срока возобновлен не был, и такое положение продолжалось до 29 марта 1793 г., когда Екатерина запретила вывоз продовольственных товаров в революционную Францию.[3]

Известно, что в первой четверти XIX в. русский крестьянин умел обходиться без хлопчатобумажных тканей, в то время как Англия и США без ввозимых из России льняных и пеньковых тканей обойтись не могли; в результате вывоз их из России составлял солидную по тому времени цифру, 3.1 млн. руб. серебром, и только к концу 40-х годов, когда страны-импортеры стали выделывать у себя полотна и равендук, вывоз этот упал до 1.5 млн.[4] Но было бы бессмыслицей, если бы мы, следуя методу Покровского, стали на этом основании говорить об освобождении в конце 40-х годов Англии

[1] В. Покровский. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России, т. I, стр. XXVI—XXVIII. СПб., 1902.

[2] Семенов. Изучение российской внешней торговли и промышленности, III, 199.

[3] В. Покровский. Ук. соч., т. I, стр. XXVI—XXVIII.

[4] Там же.

и США от колониальной зависимости от России. В 1814—1815 гг. привоз мануфактурных изделий в Россию определялся цифрой 1.4 млн. руб. сер., а вывоз их — цифрой в 6.1 млн.; в 1820—1825 гг. привоз мануфактурных товаров в Россию возрос до 16.6 млн., а вывоз их снизился до 4 млн. Но было бы бессмыслицей, если бы, следуя методу Покровского, мы стали на этом основании говорить о том, что Агамемнон Европы опускался во второй половине 20-х годов до положения колониального раба. Впрочем, об этом не говорит и Покровский, у которого Агамемнон вскоре после Венского конгресса превращается в царя промышленной буржуазии.

К историческим фактам Ленин требовал подходить с «точным учетом исторически-конкретной и прежде всего экономической обстановки».[1] К фактам войны Ленин требовал подходить с учетом «совокупности данных об основах хозяйственной жизни всех воюющих держав и всего мира». Он требовал, как известно, «анализа объективного положения командующих классов во всех воюющих державах», подчеркивая необходимость брать «не примеры и не отдельные данные», — ибо «при громадной сложности явлений общественной жизни можно всегда подыскать любое количество примеров или отдельных данных в подтверждение любого положения», — а непременно исходить из совокупности этих данных.[2] Несомненно, что это требование Ленина сохраняет свою силу при изучении всех фактов внешней политики.

В вопросе об определении характера англо-русских отношений начала XIX в. у Покровского наметилась, как мы видели, тенденция сводить факты внешней политики непосредственно к экономической основе, причем роль этой «основы» играло у него положение товарооборота двух стран в данный момент. Такая тенденция заключала в себе опасность свести объяснение исторических событий к игре понятиями и терминами. Выдвинутый Покровским тезис о колониальной зависимости России от Англии ему пришлось дополнить далее тезисом о головокружительном превращении Агамемнона из колониального раба в царя промышленного капитала и в империалистического агрессора.

Как мыслил себе Покровский процесс этого превращения и какие выводы делал он из этого факта?

Ход мысли Покровского был таков.

Падение хлебных цен в Западной Европе в 20-х годах вызывает катастрофу на русском хлебном рынке и «застойность русского сельского хозяйства». Из этого факта, «в силу неотвратимых объективных условий», вытекал «катастрофический» подъем в русской прядильной и ткацкой промышленности и «появление промышленного капитализма в России» (стр. 8—11).[3] Последнее «дало тотчас отражение во

[1] В. И. Ленин. Соч., XXV, 286.
[2] Там же, XIX, 74.
[3] «История России с древнейших времен», изд. 2-е, т. V.

внешней политике» (стр. 11). «Крупное землевладение» в лице Николая I «нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией». Николай I «начинает «ласкать» купечество» (стр. 13). Союз буржуазии с царской монархией получает свое выражение еще при Александре I в протекционном тарифе 1822 г. Тариф не коснулся Закавказья, но это было только «подарком местной, преимущественно армянской буржуазии» (стр. 21). Завязавшаяся вокруг вопроса о закавказском тарифе борьба была борьбой русского торгового капитала с промышленным, причем в качестве представителей первого выступали одесские и кавказские власти, а в качестве делегата промышленной буржуазии — глава финансового ведомства (стр. 23). «В междуведомственной борьбе победа осталась за капиталом промышленным». «В борьбе международной результат получился иной»: русская внешняя политика, проводившаяся в интересах промышленного капитала, привела к «Севастополю», иными словами — к торжеству торгового капитала. Внешнеполитические акции промышленного капитала таковы: война с Персией 1826/28 г., война с Турцией 1828/29 г., политика царизма в Румынии, Сербии, Черногории, Греции, Египте, заключение Ункиар-Искелесского договора (стр. 24—25), русская экспансия в Персии (стр. 21), борьба за побережье северо-востока и северо-запада Кавказа, появление русских в Афганистане, военная агрессия в Средней Азии (стр. 30) и, наконец, подготовка новой «опиумной» войны с Англией на Дальнем Востоке (стр. 30).

Поскольку вся внешняя политика царской России оказывалась, таким образом, делом рук русского промышленного капитала, последний не мог не притти в столкновение с английским. Низкие цены на хлеб благоприятствовали твердости позиций Англии, не нуждающейся больше в русском хлебе (стр. 30). Начало англо-русской борьбы Покровский относит к 1833 г. Это была «неожиданная ссора двух держав, дружба которых была недавно скреплена совместной работой в греческих делах» (стр. 27). Англия не может примириться ни с перспективой покорения Египта Россией, ни с русским промышленным протекционизмом на побережье северо-западного Кавказа, ни с намерением России захватить Трапезунд. Она не может равнодушно смотреть на подготовляемое Россией покушение на целость и неприкосновенность Индии, на появление русских в Афганистане и на поход Перовского. «С этой поры и до самого Севастополя война носится в воздухе». Повсюду, по всему фронту международной борьбы, «в роли наступающей стороны являлась Россия, англичане лишь отстаивали [свои] позиции...» (стр. 30). Россия деятельно готовится к войне. Проводимое в английском флоте техническое усовершенствование (пароходный винт) предрешило исход конфликта. Прежде чем войти в вооруженный конфликт с Россией, Англия ищет континентального союзника (стр. 33). Франция, офицеры которой создали флот и армию Мехмета-Али, оказывается желанной союзницей. Но это стало возможным только после того, как интересы

французских мануфактуристов перестали господствовать во французской внешней политике и «французский капитализм нашел себе новое поприще». «Новым поприщем» для французского капитала стала работа по перевозке английских товаров на кораблях французского торгового флота. Такая переквалификация французского капитала явилась результатом введения на французских судах парового двигателя (стр. 34). Дальнейшим последствием технического прогресса в области кораблестроения было то, что «Восток с его портами вдруг стал особенно интересен для французского правительства» и оно начало «спор о ключах» (стр. 35). «Втянувшись в игру» также и на Дунае, Франция потянула за собой Австрию, которая также боролась с таможенной политикой русского промышленного капитала. «Тройственный союз Англии, Франции и Австрии, — заключает Покровский, — подготовила промышленная политика России в первой половине XIX в.» (стр. 35). После Севастополя русский аграрный капитал вышел из подполья, в котором он вынужден был скрываться в период николаевского царствования: появился фритредерский тариф 1857 г.

Развитая Покровским новая концепция внешней политики царской России во многих отношениях отличается от его старой концепции: он не отрицает теперь международного значения таких фактов ближневосточной политики царизма, как Адрианопольский мир и Ункиар-Искелесский договор, он пытается вставить персидскую и среднеазиатскую проблемы в международные рамки, он отказывается, наконец, от легенды об англо-русском союзе 40-х годов и от своего старого тезиса о колониальной зависимости от Англии, в какую в порядке рецидива попадает в эту пору Россия.

В этом новом историческом построении Покровского можно встретить ряд фактических неточностей и ошибочных утверждений. Не верно утверждение, что 1833 год стал первой трещиной в англо-русских отношениях, «неожиданной ссорой» Англии и России, как не верно и то, что старая англо-русская дружба основывалась на общности интересов этих двух стран в греческих делах: 1833 год принес сильнейшее углубление и обострение англо-русских противоречий, назревавших еще раньше и до того локализовавшихся, в частности — в греческих делах. «Преувеличениями» в стиле Уркарта являются указания на русские агрессивные замыслы в отношении Египта и Сирии, на попытки России овладеть Трапезундом и перешагнуть индийскую границу. Не правильно говорить о первых русских агентах в Афганистане как о пионерах в деле превращения афганского вопроса в вопрос англо-русской борьбы, как и рисовать поход Перовского в качестве предпосылки английской экспедиции в Афганистан: русские агенты появились в Афганистане после английских, с опозданием на 6 лет; поход Перовского был предпринят после начала английской экспедиции, как ответ на нее. Не приходится говорить о неудовлетворительности «кораблестроительной» теории исхода

Крымской войны: участие Франции в войне в качестве «континентального союзника» Англии указывает на необходимость, даже ограничиваясь рамками военной техники, не суживать вопроса до пределов навальных. Не приходится также говорить о несостоятельности развиваемых Покровским положений о том, как представители французской буржуазии из мануфактуристов превращаются в работников водного транспорта и как Франция в 50-х годах впервые будто бы заинтересовывается восточным вопросом. В середине XIX в. французский капитал устремляется не только в дело водного транспорта, но и в железнодорожное строительство и в предприятия по прорытию каналов и не ограничивается пределами Старого света, но ищет применения также на территориях Центральной Америки. Планы Наполеона III относительно Сирии, египетская политика Франции предыдущих десятилетий — не исторический мираж, проекты раздела Турции были знакомы еще Людовику XIV.

Не будем останавливаться на ошибках фактического порядка. Даваемое Покровским новое историческое построение заключает сравнительно не много таких ошибок уже по одному тому, что оно не много содержит и фактического конкретно-исторического материала. В новом историческом построении Покровского интерес представляют моменты методологического порядка и прежде всего три выдвигаемые Покровским положения: во-первых, что внешняя политика николаевского царствования определялась в конечном счете хлебными ценами; во-вторых, что эта политика определялась непосредственно ростом бумагопрядильного дела и являлась выражением интересов промышленного капитала; в-третьих, что это была политика борьбы русского промышленного капитала с промышленным капиталом английским, политика наступательная для первого и оборонительная для второго.

Можно ли согласиться с исходным положением Покровского о катастрофическом влиянии падения хлебных цен в Европе на состояние русского хлебного рынка после 1821 г.?

Ответим на этот вопрос вопросом: какое место занимал в 20-х годах в русской внешней торговле вывоз хлеба? В течение всей первой половины XIX в. (до 1847 г.) хлеб не играл доминирующей роли в системе русского экспорта. Лен, пенька, сало стояли в первых рядах. Для двадцатилетия 1824—1843 гг. ценность вывозимого хлеба составляла 15% всего русского отпуска по европейской торговле.[1] В 1840 г. она составляла 17%, а в 1825 г. — всего лишь 7% русского вывоза.[2] Так как с 30-х годов цены на хлеб на иностранных рынках уже стали расти, говорить о катастрофическом влиянии возникшего в 20-х годах в Западной Европе кризиса хлебных цен на русское сельское хозяйство не приходится. Основной экономический факт, к которому, согласно Покровскому, в конечном счете сводилась внеш-

[1] Небольсин. Статистическое обозрение внешней торговли России, I, 11.

[2] В. Покровский. Ук. соч., I, XXVI—XXVIII.

няя политика николаевского царствования, оказывается призрачным, а исходное положение развиваемой Покровским концепции — ошибочным. Но допустим, что «в силу неотвратимых объективных условий» ближайшая экономическая основа внешней политики — хлопчатобумажное производство — вытекла из иных фактических предпосылок, и последуем за Покровским. Мы стоим перед фактом бурного подъема хлопчатобумажного производства в России. Факт этот вне сомнения. Можно даже добавить, что уже во второй половине XVIII в. темпы развития русской бумаготкацкой промышленности были значительны и за период 1768—1799 гг., когда цифр вывоза ее продукции во внешней торговой статистике России мы еще не встречаем, выработка бумажных тканей возросла в 97 раз.[1] 30-е годы XIX в. дают по сравнению с 20-ми годами дальнейшее повышение выработки; особенный же рост ее приходится на 40-е годы, когда (после 1842 г.) был разрешен вывоз машин из Англии и повышена пошлина на иностранную пряжу.[2] Какой же вывод можно сделать из факта этого подъема, от которого теперь отправляется Покровский и который он иллюстрирует таблицей с шести- и семизначными цифрами?

Чтобы связать факт случившейся в русском бумагопрядильном деле «катастрофы» с той цепью явлений, какую мы относим к области внешней политики, надо прежде всего отдать себе, как того требовал Ленин, ясный отчет в том, какое место занимала данная отрасль производства во всей системе народного хозяйства страны и, в частности, в системе всего русского экспорта. Надо, во-вторых, отдать себе, как того требовал Ленин, ясный отчет в экономическом положении стран, выступавших в качестве контрагентов той страны, внешнюю политику которой мы изучаем. Нужно, наконец, как того требовал Ленин, отдать себе ясный отчет в том, какие изменения вносил данный экономический факт в «объективное положение командующих классов», в какой мере он мог влиять на характер государственной власти и проводимую ею политику.

Ответа на первый из этих вопросов Покровский нам не дал. Он не говорит о том, каков был удельный вес русской индустрии в системе народного хозяйства России в 20-х годах: в России на долю земледелия и скотоводства приходилось 70% всего производства, на долю добывающей промышленности — 20%, на долю обрабатывающей — 10%. Он не напоминает, что в 30-х годах вывозная торговля России росла вдвое быстрее, чем в 20-х, но что, в то время как во втором десятилетии фабрикаты составляли 13% всего вывоза, в третьем — они составляли только 9%.[3] Покровский не считает нужным выяснить абсолютные цифры русского вывоза хлопчатобумажных тканей за вторую четверть XIX в., — а они поднялись с

[1] Семенов. Ук. соч., III, 225—226.
[2] Там же, 269.
[3] Тенгоборгский. О производительных силах России, II, ч. 2, 300—317, М., 1855.

600 тыс. руб. всего лишь до 2.3 млн. руб.[1] Он пренебрегает указанием на то, что в половине XIX в. ценность русского хлопчатобумажного вывоза составляла только 4% ценности всей хлопчатобумажной продукции,[2] что тогда же в Россию ввозилось хлопчатобумажных изделий на 3.6 млн. руб. сер. и что ценность русского хлопчатобумажного производства была вдвое меньше ценности производства льняного и пенькового.[3]

Известно, что, выступая на европейских рынках в качестве земледельческой страны, царская Россия являлась на Востоке в роли страны промышленной: в 40-х годах вывоз хлеба, сырья и полуобработанных материалов по европейской торговле составлял 96%, тогда как в азиатской торговле промышленные изделия составляли уже тогда почти $^{3}/_{5}$ или 60% всего вывоза. Но известно также и то, что русский вывоз по азиатской границе составлял только $^{1}/_{10}$ часть всего русского вывоза.

Мы имеем полное право сказать, что русская индустрия обнаруживала жизнеспособность; мы должны сказать, что в период николаевского царствования она (и прежде всего хлопчатобумажная промышленность) сделала значительный шаг вперед, но мы обязаны подчеркнуть тот факт, что перевес земледелия именно в эту пору становился значительнее, внося по мере приближения к середине XIX в. в русскую внешнюю торговлю новую черту, заключавшуюся в том, что хлеб среди земледельческих продуктов стал занимать теперь первое место. Сосредоточив свое внимание на бумагопрядении и ограничившись абсолютными, хотя и многозначными цифрами хлопчатобумажной продукции, Покровский в конечном счете не доказал даже своего положения о бурном росте хлопчатобумажного производства. Говоря об этом производстве и только о нем, не определив его удельного веса в системе русского народного хозяйства, рассматривая последнее с точки зрения жаккардова станка, не дав дифференцированного анализа русского вывоза, Покровский упустил из поля своего зрения факт возрастающего перевеса земледелия в экономике николаевской России, перевеса его в русской внешней торговле и тем внес первое искажение в обрисовку русской экономики, в зависимости от которой определялись социальная природа николаевского самодержавия и характер его внешней политики.

Учел ли Покровский экономические корни той внешней политики, какую вели контрагенты царской России? Нет. Он оставил этот вопрос без внимания. В результате факт бурного подъема русской мануфактурной промышленности превратился в истории Покровского в факт локального значения, в факт, представляющий собою специфику русского экономического развития. Из истории Покровского выпало то весьма важное для понимания эпохи обстоятельство, что

---

[1] Там же, Ук. соч., 340.
[2] Там же, 349.
[3] Там же, 579.

аналогичный подъем, с некоторыми вариантами в темпах и сроках, переживали в ту эпоху все европейские страны. Как можно судить о темпах развития русской индустрии, не имея материала для сравнения их с темпами индустриального развития других стран? Известно, что темпы развития русской хлопчатобумажной промышленности росли гораздо быстрее французских, но отставали от австрийских и германских, что во вторую четверть XIX в. ввоз хлопка в Россию увеличился в 24 раза, тогда как в Англию ввоз хлопка за первую половину XIX в. возрос в 17 раз.[1] Нельзя, однако, пройти и мимо абсолютных цифр вывоза. Нужно иметь в виду, что в 1848 г., когда Россия вывозила хлопчатобумажных тканей на 2.3 млн. руб. сер., Германия вывозила их на 11.4 млн., Франция — на 15 млн., а Англия — на 155 млн.[2]

Родоначальница тех технических усовершенствований, которые создали «катастрофический» рост хлопчатобумажного производства в ряде стран, Англия пережила этот скачок раньше других: в 1780 г., когда механическая прялка была уже изобретена, но не вошла в общее употребление, в Англии вырабатывалось хлопчатобумажных изделий приблизительно на сумму 2 млн. руб. сер., т. е. столько, сколько в России сорок лет спустя. Тогда же Англия вывозила бумажных тканей на сумму около 130 тыс. руб. К 1813 г. в Англии входит в употребление механический ткацкий станок, затем упраздняется ручной труд прядильщика, старые формы промышленности исчезают, применение парового двигателя наносит по ним последний удар. К середине 20-х годов, когда Россия вывозила хлопчатобумажных тканей на сумму около полумиллиона рублей серебром, Англия вывозит их на 20 млн., т. е. с конца 70-х годов увеличивает свой вывоз в 150 раз. К середине же XIX в., когда Россия вырабатывала на сумму около 60 млн. руб. и вывозила на 2.5 млн., Англия вырабатывала на 300 млн. и вывозила на 180 млн.[3]

Таким образом, в области вывоза хлопчатобумажных изделий английский промышленный капитал оказывался исполином по сравнению с русским. Как ни была мала емкость внутреннего русского рынка, форсировавшая экспансионные тенденции русской мануфактуры, — а русский внутренний рынок обнаруживал тенденции роста, душевое же потребление хлопчатобумажных тканей в России оставалось еще в 9 раз ниже потребления в Англии,[4] — с силою экспансии английской мануфактуры они не могли итти ни в какое сравнение. Игнорируя тенденции экономического развития стран, с которыми сталкивалась царская Россия на международной арене, рассматривая события и оценивая обстановку под углом зрения шуйских фабри-

[1] Тенгоборгский. Ук. соч., стр. 300—317.
[2] Там же, 332—336.
[3] Гиббинс. Промышленная история Англии, 151—153. Семенов. Ук. соч., III, 225—260. Тенгоборгский. Ук. соч., II, ч. 2, 340. «Журнал мануфактур и торговли», № 1—2, 1850.
[4] Тенгоборгский. Указ. соч., II, ч. 2, 338.

кантов, Покровский вносил дополнительное искажение в характеристику экономических рамок эпохи.

Как обосновал Покровский данное им определение политики николаевского самодержавия как политики промышленного капитала? Он обосновал это ссылкою на распространенную в публицистической литературе того времени пропаганду идеи промышленного призвания России, ссылкой на заботы правительства о правовом положении купечества и о процветании отечественных мануфактур, ссылкой на торжество протекционной политики, наконец ссылкой на проводимую царизмом линию во внешней политике. Едва ли кто может сомневаться в том, что развитие промышленности для дворянского самодержавия Николая I было делом первостепенной жизненной важности. В роли истребителя фабричных машин трудно представить себе не только Николая I, но и Александра I, при котором в период наполеоновских войн промышленные занятия признавались патриотическим делом. Верно то, что Николай I «ласкал» буржуазию, но эти «ласки» не были чужды и Александру I, издавшему два охранительных тарифа (1810 и 1822 гг.) и закон (1818 г.) о предоставлении крестьянам права основывать мануфактуры, как они не были чужды и Екатерине, причастной не только к либеральным, но и к охранительным тарифам, к отмене сборов с фабрик и заводов и к расширению прав торгового сословия. «Лаская» купечество и давая ему ценный подарок в виде закона 1832 г. о почетном гражданстве, Николай I ни на минуту не забывал о дворянских верхах и, приспособляясь к развитию капиталистических отношений, в целях укрепления дворянских верхов проводил закон 1831 г. об участии в дворянских собраниях. Считаясь с развитием капиталистических отношений в деревне, Николай держал курс на консервацию крепостничества и на такое кабинетное «обсуждение» реформ, которое не должно было завершаться их «осуществлением».[1] Вопреки противодействию ряда сановников и, в частности, министра финансов Канкрина, Николай приступал к строительству железных дорог, но шел на это, как признает и Покровский, прежде всего ради интересов военного дела: соседние государства их уже строили. Николай с большой пышностью совершил поездку на Нижегородскую ярмарку, но ему пришлось совершить также поездку в Варшаву, обставив ее еще большей пышностью. В известной, часто цитируемой беседе Николая I с Рыбниковым[2] последний касался только таможенных пошлин, а о необходимости для русского купечества выйти на внешние рынки говорил Николай. Тогда же, — а это было в 1833 г., — Николай обещал Рыбникову, что тарифы будут пересмотрены, но обещал в данном случае сделать то, что по существу уже было сделано, и не столько ради интересов российских промышленников, сколько ради интересов государственного казначейства. В 1836 и 1838 гг. он их пересматривал, не слишком сообразуясь с надеж-

[1] Сборн. Русск. истор. общ., 98, 237.

[2] «Русская старина», стр. 575—582, сентябрь 1886 г.

дами своего бывшего собеседника, а еще через восемь лет он стал их пересматривать в направлении, прямо противоположном пожеланиям Рыбникова.

В проводившейся николаевским самодержавием системе запретительных тарифов Покровский видит непосредственную акцию промышленного капитала, притом акцию, уникальную по своей одиозности, способную вооружить против себя весь цивилизованный мир. Известно, что, проводя систему высоких таможенных пошлин, правительство защищало не только и не столько интересы промышленного капитала, сколько интересы фиска, стремясь к созданию благоприятного торгового баланса, к приливу в страну драгоценных металлов, к поднятию курса падавшего ассигнационного рубля. Вместе с тем нельзя забывать о том, что Англия допустила ввоз бумажных изделий только с 1846 г. с пошлиной 10%, а раньше облагала их 37½, 50 и 67½%, что во Франции и в Австрии тариф на бумажные изделия был еще более строгий, чем в России,[1] что ввоз шерстяных изделий в Англию оставался обложенным в 15—20%, что ввоз этих изделий в Австрию допускался лишь по особым лицензиям, что ввоз этих изделий во Францию был совсем запрещен.[2]

Был ли закавказский транзит подарком в пользу армянской буржуазии и являлись ли Воронцов с Розеном, с одной стороны, и Канкрин, с другой, представителями торгового капитала и капитала промышленного, ведшими между собою борьбу по таможенному вопросу? Посмотрим, о чем говорят документы и факты. Хотя Канкрин участвовал в выработке тарифа 1822 г., он не разделял его запретительных тенденций и впоследствии не раз высказывался против огульного повышения пошлин. Ему приходилось отступать в этом вопросе перед настояниями самого Николая, который руководился прежде всего фискальными соображениями, проявившимися уже в связи с русско-турецкой войной и позже в связи с подавлением польского восстания.[3] Сторонник закрытия закавказского транзита, Канкрин первоначально (в 1827 г.) встретил противодействие со стороны Нессельроде и провел закрытие транзита только после окончания русско-турецкой войны и подавления польского восстания. И после закрытия транзита в бюрократическом аппарате продолжалась полемика, связанная с этим вопросом. Начальник черноморской береговой линии ген.-адъютант Анреп, сторонник запретительных мер, считал, что при разрешении вопроса о закавказском транзите следует исходить из задач, стоящих перед русским правительством в той борьбе, какую оно вело за «экономическое освобождение» горцев Кавказа от турецкой зависимости. Командированный на Кавказ для изучения вопроса на месте чиновник министерства финансов Гагемейстер, заявивший

---

[1] Небольсин. Ук. соч., II, 355—373.
[2] Там же, 385.
[3] Полиевктов. Николай I, 270—271.

себя сторонником свободной торговли, мотивировал необходимость предлагавшихся им мероприятий так: «Торговля должна служить единственным способом к укрощению нрава горцев... правительство должно стремиться к тому, чтобы снабжать горцев нужными им предметами за полцены и платить сколько возможно дороже за их произведения». Правительство, по мнению Гагемейстера, должно стремиться к тому, «чтобы отторгнуть закавказские свои владения от тесной связи с Турцией и Персией и сблизить их с Россией».[1]

Следует отметить, что сторонники запрета, как Анреп и Будберг, считали, что русская мануфактурная промышленность еще не достигла достаточного развития и в условиях свободы транзита окажется не в силах бороться с иностранными товарами. Гагемейстер и его единомышленники исходили, напротив, из мысли о достаточной зрелости русской бумажной мануфактуры, способной одолеть иностранную конкуренцию. Но и те и другие, предлагая различные методы действия, стремились к достижению одной цели — к политическому и экономическому отвоеванию горцев от турок, к цели, которая оказывается весьма сходной с той, какую ставило себе царское правительство в Средней Азии, стремясь, несмотря на ничтожное значение туркменского рынка, оторвать экономически туркмен от Хивы. В проводившихся царским правительством мероприятиях по вопросу о закавказском транзите, в различное время различных, но преследовавших в конечном счете цели превращения Кавказа в колонию царской России, можно говорить об их большем или меньшем соответствии или несоответствии с интересами русской промышленности или с интересами русской торговли, но интерпретировать их и завязавшуюся вокруг них борьбу как борьбу между партиями промышленного и торгового капитала значит исказить картину работы царского бюрократического аппарата, изобразив ее в тонах буржуазного парламентаризма. Обращают на себя внимание соображения, которые высказывал по вопросу о транзите Вронченко, преемник Канкрина на посту министра финансов и сторонник запретительной системы. Анализируя цифры русского вывоза в Персию и в Азиатскую Турцию в период действия запрета на транзит, Вронченко приходил к заключению, что, хотя общая цифра русского вывоза за десятилетие 1833—1843 гг. снизилась с 845 тыс. руб. сер. до 778 тыс., действовавшую запретительную систему нужно признать достигшей своей цели, так как «отпускная торговля наша с Персией и Турцией... не упала, но, напротив того, усилилась...» Как мог Вронченко с такими неутешительными цифрами, какие были в его распоряжении, притти к такому оптимистическому выводу? Основания к тому у него были: из суммы общего русского вывоза в Персию и Турцию за 1833 г. он отнял сумму, приходившуюся на долю вывезенной туда русской

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 14, лл. 6—54, 1844. Записка, составл. в канцелярии управления Закавк. краем Нейдгардта. Не датирована. Относится к 1844 г.

мануфактуры и выражавшуюся во внушительной цифре 317 тыс. руб.; равным образом от суммы общего русского вывоза в Персию и Турцию за 1843 г. он отнял стоимость вывезенной туда за этот год мануфактуры, определявшуюся всего лишь 34 тыс. руб. Пренебрегая вывозом русской мануфактуры, как безнадежно потерявшей свои позиции в борьбе с иностранной конкуренцией на персидском и турецком рынках, министр финансов по прочим статьям русского вывоза получил безусловный прирост в размере 213 тыс. руб.[1]

При обсуждении вопроса о закавказском транзите руководитель финансового ведомства и преемник Канкрина считал, как видим, возможным сбросить вовсе со счетов интересы русской мануфактуры. Этими вычислениями Вронченко занимался осенью 1846 г., а в декабре того же года закавказский транзит был открыт.

Покровительство, какое оказывало царское министерство финансов русской промышленности, не дает нам оснований считать его политику политикой промышленного капитала, а его руководство — агентурой промышленного капитала.

Фридрих-Вильгельм Прусский был известен своей борьбой со среднепоместным дворянством (земскими чинами) и своим покровительством мануфактуре. Кольбер, министр финансов Людовика XIV, покровительствовал отечественной мануфактуре, снабжая предпринимателей беспроцентными ссудами и рабочей силой и доводя свой протекционизм до пределов мелочной опеки и принуждения. Английский король Карл II проявлял такую заботу об интересах развития отечественной мануфактуры, что издал закон, предписывавший хоронить умерших в шерстяных костюмах и класть их в обитые шерстью гробы. Однако у нас нет никаких оснований считать, что Карл II, Людовик XIV или Фридрих-Вильгельм проводили политику промышленного капитала. Нет у нас никаких оснований утверждать то же и относительно монархии Николая I и проводившейся им политики поощрения отечественной мануфактуры.

Протекционная система сама по себе не была, как показал Маркс, системой капиталистической. Она выступала лишь в роли ускорителя процесса перехода к капиталистическому способу производства. Объективно протекционизм расчищал путь к капитализму. Но самый факт существования протекционной системы в России в первой четверти XIX в. еще не означал отказа от феодального способа производства и не дает никаких оснований говорить о каких-либо изменениях в социальном строе крепостнического государства.

Обратимся теперь к фактам, ближайшим образом связанным с внешней политикой царизма, которую Покровский считает политикой промышленного капитала.

Борьба за завоевание рынков сбыта русской хлопчатобумажной

---

[1] МИД, Гл. архив, 1—9, № 14, л. 31, 6—372. Записка Вронченко не датирована, препровождена в мин. ин. дел при отношении от 5/X 1846 г.

промышленности составляла, по Покровскому, экономическое содержание всей внешней политики николаевского царствования. Стремление удовлетворить мануфактурную буржуазию новыми рынками и тем превратить ее в союзника власти, ведущей борьбу с среднепоместным дворянством, составляло, по Покровскому, политическое содержание всех акций, предпринимавшихся царизмом на международной арене.

Вскоре после восстания декабристов сенатор Дивов, останавливаясь на результатах политики Александра I, записывал в своем дневнике: «Проследив все события этого царствования, что мы видим? Полное расстройство внутреннего управления, утрату Россией ее влияния в сфере международных сношений и отсутствие каких-либо существенных приобретений для государства в будущем».[1]

В марте 1828 г., когда обсуждался вопрос о войне с Турцией, хорошо знакомый с «состоянием умов» А. Х. Бенкендорф писал Воронцову: «Если это не понравится некоторым кабинетам, зато народы будут рукоплескать этому, а последнее имеет большое значение в делах нашего времени».[2]

Есть много указаний на то, что во второй половине 30-х годов, когда ставился вопрос о военном продвижении в Среднюю Азию, для царизма и во внутренних и во внешних делах складывалось неблагоприятное положение: Англия и Австрия теснили Россию на Ближнем Востоке; в Сербии не удавалось справиться с конституционным движением, и англичане утвердили там свое консульство раньше русских; Прусия даже в близком ей польском вопросе проявляла двойственность. Побывавший за границей в начале 1839 г. Погодин приходил к заключению, что царская Россия «решительно не имеет доброжелателей между европейскими государствами».[3]

Слабая результативность кавказских экспедиций, затянувшееся «замирение» Польского края приводили к тому, что даже в великосветских кругах говорили о том, что на теле России создались две труднюизлечимых «язвы» — Кавказ и Польша.[4]

Кризис барщинного хозяйства, приводивший к возрастающей задолженности помещиков и к росту оппозиционных настроений среди мелкопоместного дворянства, давал себя остро чувствовать; усиление губернаторской власти, разделение страны на 5 жандармских округов, ссылка и каторга не улучшили создавшейся во внутренних губерниях обстановки.

Посетивший в 1832 г. Варшаву киевский ген.-губернатор Бибиков на обеде у Паскевича с представителями польской знати утверждал, что «легче справиться с 12 польскими губерниями, чем с одной чисто русской».[5]

---

[1] Цитируем по Шильдеру: «Император Николай I», 296.

[2] Архив Воронцова, кн. 35, стр. 275.

[3] Барсуков. Жизнь и труды Погодина, V, 334.

[4] Русская старина, № 69, Дневник Гагерна, стр. 20, 1891.

[5] Кн. Щербатов. Ген.-фельдмаршал кн. Паскевич, его жизнь деятельность, V, 37, СПб., 1888—1899.

Прибывший в 1839 г. в Россию офицер голландской службы Гагерн записывал в своем дневнике сказанные одним из русских сановников слова: «Да, конечно, прогресс есть, но есть также и недовольство. Пружины слишком натягиваются, это же их изнашивает; может кончиться тем, что они лопнут».[1]

Среди мотивов русско-турецкой войны 1828 г., среднеазиатского похода 1839 г. и тем более венгерского похода 1849 г. мотивы внутреннеполитические прощупываются с достаточной отчетливостью.

Ощущавшаяся царизмом потребность поднятия своего престижа вовне и внутри страны путем блестящих военных или дипломатических (Ункиар-Искелесси) достижений входила существенным звеном в ту совокупность мотивов, которой определялась его внешнеполитическая линия. Но у нас нет никаких оснований утверждать, что это звено было буржуазного происхождения. Для этого надо было бы доказать, что русско-персидская война, которая началась неожиданным вторжением шахских войск в русские колониальные владения (Карабах и Ленкорань) и к которой Николай I оказался совершенно не подготовленным, была задумана Николаем для укрепления союза с буржуазией. Для этого надо было бы доказать, что война с Турцией была предпринята с целью укрепления союза с буржуазией, что балканские и турецкие рынки были нужны именно для сбыта русских фабрикатов, или убедиться в том, что овладение проливами было необходимо для вывоза русских фабрикатов в Европу. Для этого надо было бы доказать, что план второго хивинского похода после неудачи первого не был реализован в 1841 г. не потому, что этого не позволили интересы ближневосточной политики царизма, а потому, что это не соответствовало задачам укрепления союза с промышленной буржуазией. Для этого надо было бы, наконец, доказать, что подавление венгерского восстания могло бы повести к укреплению союза самодержавия с русской мануфактурной буржуазией.

Доказать всего этого нельзя, и Покровский оставляет свое положение недоказанным, а 1849 г. просто выбрасывает за борт своей истории, но продолжает утверждать, что внешняя политика правительства Николая I была политикой промышленного капитала. Он говорит прежде всего о первоначальных успехах деятельности торгового дома Посылиных в Персии.

Верно то, что Туркменчайский мир создал исключительно благоприятные политические предпосылки для экономического завоевания персидского рынка. Но, насколько успешно шло это завоевание и какую политику проводило в этом вопросе царское правительство? Как известно и как это признает и Покровский, торговые операции Посылиных скоро прекратились «по их безвыгодности», так как немецкая и английская мануфактуры вытеснили русскую из Персии (стр. 22). Еще в 1830 г., на другой год после Туркменчая и за год до закры-

[1] Русская старина, там же, 15.

тия закавказского транзита, англичане начинают форсировать вывоз своих товаров через Трапезунд и тогда же выбрасывают через этот путь в Персию своих товаров на 900 тыс. руб. асс.[1] В тот же год русский отпуск в Тавриз стоял еще на уровне 4.8 млн. Даже в 1833 г. начальство закавказских таможен продолжало смотреть с надеждой на перспективы борьбы с английской конкуренцией.[2] Но в том же 1833 г. ввоз русских товаров в Тавриз спустился до 1.7 млн.,[3] и Симонич начинал уже бить тревогу по поводу угрозы, создавшейся для русской торговли в северной Персии.[4] В 1834 г. Симонич писал уже о «грозящем нашей торговле разорении».

В сферах, близких к торгово-промышленным кругам, обсуждаются мероприятия по укреплению русской торговли в Персии. Но ни Канкрин, ни Нессельроде не проявляют интереса к вопросу. Русская торговля на рынках северной Персии продолжает хиреть, работающие в Персии русские подданные — армянские и греческие купцы — привозят товары не столько из России, сколько из Константинополя.

В 1835 г. размеры русского импорта в Тавриз падают до 600 тыс. руб. асс. Русское правительство приходит к заключению о невозможности преодолеть иностранную конкуренцию в сухопутной торговле с Тавризом и ориентируется на морской путь к Астрабаду. В 1836 г. Канкрин уже говорит о необходимости учредить в Астрабаде факторию по примеру английской в Бендер-Бушире. Нессельроде в основном разделяет астрабадскую ориентацию Канкрина.

В феврале 1836 г. в Особом комитете уже обсуждается проект организации русской торговой фактории в Астрабаде.[5] После двух предварительных опытов с экспортом русских товаров в Астрабад (экспедиции Эривандова 1839 и 1841 гг.) и министерство финансов и министерство иностранных дел свое главное внимание решительно направляют в эту сторону. Еще в мае 1836 г. они примирились с тем, что Англия добилась права на обложение ввозимых в Персию английских товаров 5%-ной пошлиной.[6]

В 1841 г., когда под нажимом держав заключалось соглашение о проливах, русское правительство не только не противодействует, но даже содействует заключению англо-персидского торгового договора, по которому Англия учреждала свои консульства в Бушире и Тавризе. В 1842 г., когда Англия возбуждает вопрос о приравнении английских купцов к русским в деле удовлетворения долговых исков, русское правительство, идя англичанам навстречу, отказывается от

---

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 8, лл. 12—27, 1831. Донесение Безака из Тавриза от 15/IV 1831 г. № 26.

[2] Там же, лл. 111—112. Дон. нач. Закавк. тамож. окр. от 27/IV 1833 г.

[3] Там же, лл. 73—91. Дон. Кодинца от 2/II 1834 г.

[4] Там же, лл. 120—124. Дон. Симонича от 1/XI 1833 г.

[5] МИД, Гл. архив, II—3, № 5, л. 2, 1836. Отношение Канкрина Нессельроде от 27/II 1836 г., № 6 и 20, лл. 5—7. Отн. Родофиникина Канкрину от 27/VIII 1837 г. № 2054.

[6] British and Foreign state papers», 1835—1836, XXIV, 70. London, 1853.

привилегий, полученных ранее русскими купцами.[1] Примиряясь с английскими успехами в северной Персии, примиряясь с потерей рынков северной Персии для русской мануфактуры, царское правительство сосредоточивает главное свое внимание на Астрабаде, несмотря на то, что, как показал опыт эривандовских экспедиций, здесь нельзя было рассчитывать на сбыт русской мануфактуры и приходилось продавать преимущественно тяжелый железный товар. Царское правительство твердо решило не пускать англичан в Астрабад. В 1845 г. оно добивается фирмана, дающего русским купцам право торговли в Астрабаде. В 1846 г. там учреждается русское консульство. Возникает вопрос о проложении путей для русской торговли к Мешеду, как коридору, ведущему в Среднюю Азию.[2] Астрабад был важен для царского правительства как база военного и торгового продвижения в Среднюю Азию. Интересы русских мануфактуристов в Персии должны были подчиниться той политике, какую проводило царское правительство в Средней Азии.

Хотя среднеазиатские независимые ханства не представляли емкого рынка для русских промышленных изделий, но потенциальные возможности, заключавшиеся в этих рынках не только как рынках сбыта, но и как рынках сырья, отсутствие иностранной конкуренции и ставшее уже реальностью значение «киргизских степей» для сбыта русской мануфактуры создавали для среднеазиатской политики царизма если не более прочную в настоящий момент, то более перспективную экономическую основу по сравнению с той, какая прощупывалась в русской политике в Персии. Разумеется, не только эти перспективы и не столько они заставляли царизм в рассматриваемую пору особенно дорожить Средней Азией: она являлась одним из наиболее пригодных плацдармов, чтобы, по выражению авторов многочисленных проектов походов на Индию, в нужную минуту «потрясти» могущество Англии. Уступая в начале 40-х годов Англии свои позиции в Персии и идя ей навстречу соглашением по турецким делам, царское правительство рассчитывало взять реванш в Средней Азии.

Средняя Азия являлась одним из плацдармов англо-русской борьбы, исторические корни которой лежали на Ближнем Востоке в проливах. Среднеазиатская политика царизма в решительные минуты всегда подчинялась ближневосточной политике его. Покровский считает, что и на Ближнем Востоке — в Турции и на Балканах — русская политика была делом рук промышленного капитала. Несостоятельность этого положения для второй половины XIX в. уже обнаружилась перед нами достаточно явственно при рассмотрении концепции Покровского в гранатовском издании.

На чем основывает Покровский это свое положение для 20—30-х годов? Он ссылается на мнение проф. Шимана и высказывание

---

[1] МИД. К. Тегеран, № 211, лл. 362—396, 629, 1842.

[2] Там же, № 133, лл. 752—758, 1846. Инструкция Долгорукова Черняеву от 9/X 1846 г.

Уркарта. Уркарт говорил о вытеснении Россией английской торговли с рынков Балкан, Азиатской Турции, Персии и Кавказа. Высказываниями Уркарта, природа которых нам известна, можно было бы пренебречь. Но их повторяет проф. Шиман, повествующий об «исключающем почти всякую конкуренцию [русском] влиянии в Румынии, Сербии, Черногории, Греции». Аргументы эти нельзя оставить совсем без внимания.

Молдавия и Валахия относились к тем подвластным Турции территориям, где русское влияние в рассматриваемое время можно было считать особенно прочным. Обратимся к показаниям русских консулов в Молдавии и Валахии начала 30-х годов. В 1832 г. в Молдавию было ввезено товаров: из России на 600 тыс. левов, из Турции на 3.8 млн. и из Австрии на 8.7 млн. левов. Какие товары ввозились в Молдавию из России? На первом месте стояли железо, воск, сало, меха, кожи, мука. Сообщая о положении русской торговли в Молдавии, русский консул Тимковский не хотел лишить русское купечество всяких надежд, но считал нужным предупредить, что, направляясь в Молдавию, оно «должно отваживаться, подкрепясь единодушной предприимчивостью на соперничество с торговцами австрийскими, кои с великими для себя барышами снабжают Молдавию из своего отечества и других стран Западной Европы всеми товарами не только для одежды и обуви, но и для самой утонченной роскоши» [1].

Не лучше обстояло дело в Валахии. В 1831 г. туда было привезено товаров из Австрии на 16.4 млн. турецких пиастров, из Турции на 4.4 млн., а из России на 800 тыс. пиастров.

По своему составу русский экспорт в Валахию ничем не отличался от экспорта в Молдавию. Пребывание в стране русских войск временно оживило, по словам русского консула в Валахии Минчаки, русскую торговлю в Валахии. «Но промышленники наши не находили никаких выгод умножить торговлю свою важнейшими предметами русских мануфактурных изделий». «Сбыт русских изделий, — заключал свое донесение Минчаки, — незначителен». «При таковом ограниченном ходе русской торговли... встречается совершенная невозможность определить степень успеха сбыту высших достоинств наших шерстяных, бумажных, шелковых и металлических изделий». [2]

Не более утешительная информация шла из Греции. В том же 1833 г. русский поверенный в делах в Греции Кюстер сообщал, что русский хлеб имел сбыт в Греции лишь в период революционного движения, и теперь рассчитывать приходится только на железо. «Может быть, это покажется удивительным, — добавлял Кюстер, — что такие

---

[1] МИД, Гл. архив, II—3, № 2, лл. 4—19, 1834. Записка Тимковского, пересланная в мин. ин. дел при отношении от 14/X 1833 г. за № 1636.

[2] Там же, лл. 22—27, 1834. Записка Минчаки, пересланная в мин. ин. дел при отношении от 5/XI 1834 г., за № 89.

удаленные страны, как Швеция и Англия, продают свое железо по более выгодным ценам, чем привозимое из России»...[1]

Что касается Сербии и Черногории, никакой торговой информации оттуда не получалось и никаких дипломатических представителей царское правительство в ту пору там не имело. Сведения же из Константинополя и из Азиатской Турции также не говорили о крупных достижениях. Турецкий рынок предъявлял большой спрос на сукна. В 1832 г. русское правительство проделало опыт продажи в Константинополе серальских сукон, специально для того изготовленных московским фабрикантом Тарасенковым, «дабы там открыть новую ветвь промышленности и торговли для наших мануфактуристов». Сукна эти не выдержали испытания, и от дальнейших попыток обслуживания турецкого суконного рынка пришлось отказаться.[2]

Как отмечал директор Азиатского департамента Родофиникин, в 1835 г. в Константинополе спрос на суконный товар уже покрывался привозом из Западной Европы, и русским суконным изделиям пришлось бы завоевывать уже занятый рынок особым понижением цены и особым повышением качества товара.[3]

По данным 1839 г., в Константинопольский порт прибыло свыше 6000 торговых судов. Суда, привезшие товары из России, составляли лишь $^1/_{28}$ часть тоннажа всех прибывших судов; в то время как на английских судах были привезены сукна и хлопчатобумажные товары, русские привезли хлеб, сало и кожи.[4]

Не отличалась устойчивостью и русская торговля на рынках Малой Азии. В 1834 г. из Трапезунда сообщалось, что торговые сношения русских черноморских портов с малоазиатскими «почти ничтожны», что «берега Дуная доставляют в Трапезунд и другие порты более хлеба, нежели Крым и Таганрог. Да и самая торговля железом, составлявшая доныне главную статью, приметно теряет свою важность; ибо англичане изыскивают все средства к распространению сбыта своего железа».[5]

Положение русской торговли в Малой Азии было настолько неудовлетворительно, что автор одной из поданных в 30-х годах в министерство иностранных дел записок намечал в качестве единственного пути для поднятия торговли в Малой Азии мероприятия внеэкономического порядка — организацию греческого и армянского населения, «преданного торговле и готового покориться влиянию чужих правительств».[6] Сороковые годы принесли дальнейшее понижение кривой

---

[1] МИД, Гл. архив, лл. 33—75. Записка Кюстера от 21/I 1833 г.

[2] Журнал мануфактур и торговли, № 3, стр. 36—40, 1832.

[3] МИД, Гл. архив, II—3, № 2, лл. 2—3, 1834. Отношение Родофиникина в департ. мануфактур и торговли от 8/I 1835 г.

[4] Журнал мануфактур и торговли, № 5, 326—328, 1841.

[5] Там же, № 5, стр. 92—98, 1834.

[6] МИД, Гл. архив, I—9, № 10, лл. 1—7, 1836. Записка бар. Р. Вольфа, представленная в мин. ин. дел 1/V 1836 г.

вывоза русского железа и в Европейскую и в Азиатскую Турцию,[1] сократили вдвое вывоз туда русских изделий[2] и свели на-нет сбыт русских сукон.[3]

В русской публицистике того времени, и особенно в специальном органе министерства финансов, можно найти не мало написанных в бравурных тонах статей на тему об успехах русской внешней торговли, о возможности завоевания новых рынков. Там можно найти цитируемые иногда в нашей исторической литературе высказывания о том, что «вся Азия должна быть целью нашей мануфактурной и торговой деятельности».[4] Там можно встретить даже проповедь завоевания русской мануфактурой рынков Бразилии.[5] Высказываемые поборниками русской мануфактурной промышленности пожелания и надежды не приходится, разумеется, принимать за реальные достижения русской мануфактуры и русской промышленности в деле завоевания внешних рынков, ни даже за реальные возможности будущих достижений. Как мы видели, именно в Турции и на Балканах этих реальных достижений и объективных возможностей было меньше всего. Но русская политика в Турции была стержневой в системе всей внешней политики царизма, турецкий участок — определяющим и самым боевым. Движущей силой русской активной политики и в Турции и на Балканах являлись не интересы промышленного капитала: ни Турция, ни Балканы (ни как рынки сбыта, ни как рынки сырья) не были для него районами первостепенного значения.

Турция играла в системе внешней политики царизма значение боевого участка прежде всего потому, что держала в своих руках выход в Средиземное море; Балканы — прежде всего потому, что являлись подступами к этому выходу. Если уже вслед за Покровским искать экономической основы русской ближневосточной политики того времени, ее нужно искать не в сфере интересов обрабатывающей промышленности, а в сфере интересов сельского хозяйства и отчасти промышленности добывающей, не в вывозе фабрикатов, а в вывозе сельскохозяйственного сырья и полуобработанных изделий.

Ради этого вывоза в Адрианопольский договор включалась 7-я статья, предусматривавшая свободу плавания через проливы «российских судов под купеческим флагом». Но до Адрианополя были и Кучук-Кайнарджи и Яссы, а 7-я статья Адрианопольского трактата, как известно, не разрешила всех стоявших перед царской Россией на Ближнем Востоке задач. Поэтому в том же трактате речь шла также о Сербии и о Молдавии и Валахии, которые могли стать полезным орудием для достижений основной главной цели. В 1833 г. царская Россия приблизилась к этой цели, возложив на султана функции охраны черноморских вод от иностранных военных судов. На-

[1] Небольсин. Ук. соч., 2, 429—439.
[2] Там же, 370—372.
[3] Там же, 374—397.
[4] «Журнал мануфактур и торговли», № 4, ч. II, отд. III, 6—9, 1835.
[5] Там же, стр. 14—24; также № 1, ч. II, 291—305, 1840.

сколько не прочна была эта дипломатическая постройка, основанная на передоверии самого важного дела султану, показали последующие события.

В 1841 г. Англии удалось запереть русский военный флот в Черном море, в 1856 г. — уничтожить право России на этот флот. Утверждение русского военного могущества в черноморских водах и в проливах для царской России означало также уничтожение тыла у кавказских народов, боровшихся за свою независимость; это облегчало овладение Кавказом и утверждение там власти царизма. Это способствовало, следовательно, и созданию базы для продвижения в Персии и Средней Азии. В этом плане интересы промышленного капитала смыкались с той политикой, какую помещичье самодержавие проводило на Ближнем Востоке. Развитие промышленности и тяга к выходу на внешние рынки, разумеется, приводили и к пополнению основных статей русского вывоза через проливы. Но для рассматриваемого времени это было лишь музыкой недавнего, но весьма краткого прошлого и отдаленного и только проблематичного будущего. В рассматриваемый период политика царской России на Ближнем Востоке не была и не могла быть политикой промышленного капитала.

В системе той политики, какую царизм проводил в Азии, был участок — китайский, — где можно было бы говорить об особенной заинтересованности русского промышленного капитала и об исключительно широких экспортных перспективах: во всей сумме русского отпуска по азиатской границе Кяхта занимала первое место; на долю ее приходилось $^3/_5$ всего русского азиатского вывоза, причем к середине XIX в. на первом месте стояло сукно и на второе начинали выходить бумажные ткани.[1] Несмотря на столь солидную промышленную базу, китайская политика царизма была настолько тихим участком в системе его внешней политики, что Покровский прошел мимо него. Он это сделал, правда, исходя из мысли о том, что в России в 40-х годах не было развито производство опиума, и русский промышленный капитал «не мог вытеснить с китайского рынка английский опиум» (стр. 30).

Согласно концепции Покровского, это был единственный район, где английский промышленный капитал удерживал еще свои позиции. Во всех прочих районах, всюду, по всему фронту международной борьбы, «в роли наступающей стороны являлась Россия», а «англичане лишь отстаивали [свои] позиции».

Мы видели, что в Персии англичане так успешно «отстаивали» свои позиции, что через 8 лет после Туркменчая вытеснили русскую мануфактуру с персидского рынка. Мы видели, что в Турции англичане «защищались» так успешно, что вскоре после Адрианополя не только вытеснили с турецкого рынка русские легкие мануфактурные изделия, но стали вытеснять даже тяжелое полосовое железо. В 30-х

[1] Небольсин. Ук. соч., II, 337—338, 376—397, 467.

годах английская мануфактура становится твердой ногой в Афганистане. Далее начинаются ее разведки в Кашгаре. Не следует думать, что этот «обороняющийся» гигант пренебрегал методами внеэкономической борьбы. Еще в 20-х годах он начал успешно применять эти методы в своих «оборонительных» работах в Персидском заливе, где, «защищаясь» от «пиратов», стал успешно истреблять арабский торговый флот. Со второй половины 30-х годов, «обороняясь» от роста русского политического влияния в Персии, Англия, как мы видели, скоро не только добивается равновесия, но к концу 40-х годов достигает в Тегеране явно выигрышного политического положения. Еще в 1838 г., в плане той же «обороны», Англия начинает превентивную войну в Афганистане, оккупирует остров Каракки и объявляет все южное побережье Персидского залива владениями своего вассала имама Маскатского. Объявив превентивную войну Афганистану и застраховавшись против всяких неожиданностей, могущих нарушить политическое положение Персии, в начале 40-х годов, превентивно «защищая» свой опиум от опасности возникновения опиумной промышленности в России, Англия производит разгром Китая. Особенно успешной оказывается ее «защита» от русской опасности в Индии. Эту «оборону» она начинает еще в 1748 г., когда русская пограничная линия шла по Уралу, а Оренбург был маленьким пограничным укреплением. Прервав свою «оборону» в 1765 г., Англия заканчивает так называемый первый период завоеваний. Она продолжает эту «оборону» рядом войн, которые велись Уэлсли и Гастингсом с 1798 по 1820 г. и составили так называемый второй период завоеваний. Допустив снова некоторый перерыв, словно для того, чтобы ввести в заблуждение будущих историков, английский промышленный капитал с 1838 г. переходит к третьему периоду «обороны», продолжавшемуся до восстания 1857 г. За этот период были присоединены к английским владениям северо-западная часть Индии, Пенджаб, Синд и Ауд.[1] От английской «обороны» больше всего потерпела царская Россия на ближневосточном фронте. Положение, какое создавалось для царской России в Персии, можно иллюстрировать двумя донесениями русского посланника в Тегеране Аничкова.

В 1841 г., касаясь, между прочим, своих взаимоотношений со вновь назначенным правителем Азербайджана, Аничков отмечал: «У Фетх-Али-хана нет для нас ничего невозможного. Со времени его вступления в управление Азербайджаном здесь уже не консульство российское, а верховная власть. Нет власти, кроме русской».[2]

Ровно через 10 лет, в 1851 г., касаясь вопроса о росте враждебных России иностранных влияний на политику тегеранского кабинета, тот же Аничков писал: «Наше пребывание в Персии превращается в какую-то непрестанную оборону себя и своего госу-

[1] Сили. Расширение Англии. Перев. с англ., 209—224, СПб., 1903.

[2] МИД, Гл. архив, II—3, № 2, лл. 179—203, 1899. Донесение Аничкова от января 1841 г., без номера.

дарства, в нескончаемую явную и тайную борьбу за интересы русского правительства и за его законное влияние».[1]

Известно, что бурный «катастрофический» рост английской мануфактурной промышленности заканчивался к 20-м годам. К этому времени она настолько крепко стала на ноги, что скоро начала переходить к системе свободы торговли. «Теория свободы торговли, — писал Энгельс,—основывалась лишь на одном предположении — на том, что Англия должна стать единственным крупным центром земледельческого мира. На самом деле это предположение оказалось совершенно несостоятельным. Условия современной промышленности, паровая сила и машина могут быть созданы везде, где есть топливо, в особенности уголь, а уголь есть не только в Англии, но и в других странах: во Франции, Бельгии, Германии, Америке, даже в России. И жители этих стран не видели никакого интереса в том, чтобы превратиться в голодных ирландских арендаторов, только ради вящшей славы и обогащения английских капиталистов».[2] Известно, что промышленная монополия Англии оказалась подорванной только в последней четверти XIX в. Говорить о том, что Англия первой половины XIX в. была способна только на то, чтобы «отстаивать (свои) позиции», значит ставить историческую действительность на голову.

Развитую Покровским на страницах «Русской истории с древнейших времен» концепцию внешней политики царской России первой половины XIX в. следует рассматривать как результат предпринятой им попытки выделить существенное и главное в этой политике, наметить основные тенденции ее развития. Покровский полагал, что цель будет достигнута, если будет дана «экономическая характеристика» этой политики. Покровский считал, следовательно, возможным объяснять всю внешнюю политику самодержавия непосредственно экономикой. Покровский шел, следовательно, по антидиалектическому пути искажения исторической действительности.

Не учтя основных тенденций в развитии экономики царской России первой половины XIX в., приняв за основу экономической жизни царской России основу прядильную, приписав нарождающейся промышленной буржуазии несвойственную ее возрасту роль демиурга внешней политики, превратив самодержавие Николая I в агентуру промышленного капитала, не овладев всем многообразием фактов внешней политики николаевского царствования, дав искаженное изображение международной борьбы, — Покровский пытался заключить конкретную историческую действительность в построенную им антимарксистскую схему. Действительность осталась вне этой схемы.

---

[1] МИД, Гл. архив, лл. 13—60. Донесение Аничкова от янв. 1851 г., без номера.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1, 198.

Внешняя политика второй половины XIX в.

Переходим к рассмотрению «экономической характеристики», которую Покровский дает внешней политике царской России второй половины XIX в.

В борьбе, которую, согласно Покровскому, русский промышленный капитал вел с капиталом аграрным, последний восторжествовал и после Крымской войны на 20-летний срок занял господствующее положение. Это доказывают, по Покровскому, таможенные тарифы 1857—1868 гг. Они же являются показателем и того, что на 20 лет «исчез со сцены империализм николаевской эпохи» (стр. 289). В связи с изменениями, происходившими в экономике, должна была измениться «вся система дружбы и вражды», т. е. вся внешняя политика России (стр. 290): франко-русская вражда должна была смениться франко-русской дружбой; то же должно было произойти и в области англо-русских отношений. Однако, как признает сам Покровский, новая франко-русская дружба оказалась непродолжительной, и без видимых «экономических» оснований на смену ей в 1863 г. пришел русско-прусский союз. Почему дружба с Пруссией стала необходимой,— Покровский ничего не говорит. Он ограничивается только указанием на то, что она стала возможной. Но и для этого ему приходится прибегнуть к исторической аналогии — англо-русской дружбе начала XIX в. Почему в течение 20—50-х годов Россия могла обходиться без всякой дружбы с мануфактурной державой, а теперь это стало для нее жизненной необходимостью, — также остается загадкой. «Русско-прусский союз 60-х — 70-х годов, — декларирует Покровский, — до смешного напоминает русско-английский начала XIX в». (стр. 290—291).

Отсюда же, из союза с мануфактурной Пруссией, Покровский выводит и рецидив русского «империализма» в Средней Азии в 60 годах.

Так как открытый Покровским для 30-х годов русский «империализм» развертывался, как известно, в условиях вражды, а не дружбы с мануфактурной Англией, а повторное открытие этого «империализма» для 60-х годов должно быть объяснено моментами не вражды, а дружбы с мануфактурной Пруссией, то все основанное на аналогиях объяснение Покровского становится внутренне противоречивым и неубедительным. Поэтому от исторических аналогий Покровский спешит перейти к географическим, сравнивая русско-прусский союз с земной «осью» и заставляя все прочие события внешней политики рассматриваемого периода вращаться вокруг этой оси (стр. 291). Так как эта ось, согласно Покровскому, происхождения чисто экономического (союз с мануфактурной державой), вращение вокруг нее всей внешнеполитической действительности должно демонстрировать перед читателем возможность сведения всей «политики» непосредственно к экономической «основе», объяснения «политики» этой

«основой». Покровский строит свою концепцию на конкретных примерах из истории русской политики в Средней Азии. Познакомимся с тем конкретным материалом, которым оперирует Покровский.

Можем ли мы утверждать вместе с Покровским, что активная политика царизма в Средней Азии, прервавшись в 1853 г., возобновляется только в 1863 г., после подписания так называемой «альвенслебенской» русско-прусской конвенции? Обратимся к фактам, детальный анализ которых приобретает в настоящей связи особый интерес. Заметим, прежде всего, что прерванные накануне Крымской войны (1853 г.) русско-персидские переговоры о военном союзе возобновляются в январе 1855 г. и что непосредственно после возобновления этих переговоров шах предпринял поход на Герат. В январе 1856 г. оренбургский ген.-губернатор Перовский проектировал занятие хивинского укрепления Ходжа-Ниаз на Куван-дарье, имевшего для Хивы значение опорного пункта в ее операциях по сбору зякета. Царь утвердил проект Перовского, и укрепление было занято царскими войсками.[1] В октябре 1857 г. по докладу Горчакова Александр II утвердил проект отправки русского посольства в Хиву и Бухару. Следует ли этот факт рассматривать в плане отказа от проводившейся ранее царизмом активной политики в Средней Азии? Одним из доводов в пользу отправки посольства служила ссылка на появление в среднеазиатских ханствах английских агентов, действовавших во вред интересам России.[2] На посольство возлагалась обязанность исследовать русло Аму-дарьи и пути, ведущие к Балху и Афганистану. Посольство должно было добиться заключения выгодных торгово-политических договоров с Хивой и Бухарой.[3] Посольство с флигель-адъютантом полковником Игнатьевым во главе снаряжалось в ту пору, когда шла англо-персидская война и Индия была объята восстанием. В своем докладе военному министру Милютину Игнатьев писал: «В случае разрыва с Англией только в Азии можем мы вступить в борьбу с нею с некоторою вероятностью успеха и повредить существованию Англии».[4]

В сентябре 1858 г. оренбургский ген.-губернатор Катенин настаивал на необходимости активизировать русскую политику в Средней Азии, принявшую во время Крымской войны застойный характер. Катенин проектировал продолжить сыр-дарьинскую линию вверх по реке «до самого Ташкента с занятием этого города». Движение, по мысли Катенина, должно было начаться весною 1859 г. занятием Джулека, после же занятия Ташкента имелось в виду предпринять военную экспедицию в Бухару. На донесении Катенина, излагав-

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 3, лл. 2—5, 11, 1856/57.

[2] ЦВИА, ВУА, Департ. III отд., № 37585, л. 1.

[3] МИД, Гл. архив, I—1, № 99, лл. 158—160, 1857.

[4] Посольство выехало из Петербурга в апреле 1858 г. См. «Миссия в Хиву и Бухару в 1858 г. фл.-ад. полк. Н. Игнатьева», СПб., 1897.

шем этот проект, Александр II сделал помету: «согласен».[1] Вопросы дальнейшего продвижения в Среднюю Азию обсуждались на заседаниях Особого совещания 2, 9 и 24 января 1859 г. Реализацию планов Катенина о завоевании Коканда, Туркестана и Ташкента было решено отложить в виду недостатка средств. Было признано, однако, необходимым наметить на 1859 г. следующие мероприятия: постройку укрепления на Яны-дарье, овладение кокандской крепостью Пишпеком в верховьях р. Чу и усиление средств Аральской флотилии. Вместе с тем было принято решение об учреждении военно-торговой фактории на юго-восточном берегу Каспийского моря.[2]

В начале 1859 г. к берегам Балханского залива была послана военная экспедиция под начальством полковника Дандевиля. Результаты ее оказались неудачными в виду слишком большой активности, проявленной Дандевилем, и слишком широкой огласки, какую приняло дело о столкновении и расправе Дандевиля с прибрежными туркменами; опасались, что английские агенты используют инцидент в своих интересах.[3] Посольство Игнатьева, потерпев неудачу в Хиве возвращалось с известными достижениями из Бухары — эмир подписал договор. В то же время возвращался из Афганистана Ханыков, ездивший туда для возобновления сношений с Кабулом, Гератом и Кандагаром и для изучения возможной арены военного столкновения с Англией.[4] В своем письме Бруннову от 24 января 1859 г. Горчаков указывал, что в течение последних лет (т. е. в период Крымской войны) английское влияние в Средней Азии заметно выросло за счет русского. Горчаков подчеркивал настоятельную необходимость для России «выйти из инертности». Министр проектировал, воспользовавшись возвращением бухарского посла из России, отвезти последнего на родину водным путем и попутно стать твердой ногой в устьях Аму-дарьи.[5] Тогда же начальнику Аральской флотилии Бутакову была дана директива ехать с десантом к Кунграду, «не взирая ни на какие препятствия», и «употребить в случае надобности силу оружия».[6] Операция Бутакова не принесла желательных результатов, так как в Кунграде, временно отложившемся от Хивы, произошел контрпереворот и была восстановлена власть хана.

В течение последующих 1860 и 1861 гг. царское дипломатическое ведомство жило в постоянной тревоге в связи с поступавшей из Средней Азии информацией об активизации английской политики. Английские агенты свободно орудовали в Афганистане. Афганские военные инструктора появились в Коканде. Поддерживаемый

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 8, лл. 240—262, 1852—1862. Донесение Катенина 22/IX 1858 г.

[2] Там же, I—9, № 12, лл. 35—47, 48—51, 1858—1860.

[3] Там же, лл. 246—248. Журн. Ос. сов., 31/X 1859.

[4] Там же, № 99, лл. 202—210, 1857.

[5] Там же, I—1, № 83, лл. 275—276, 1841—1870.

[6] ЦВИА, Оп. 287, св. 159, № 5, лл. 2—3, 1859.

англичанами правитель Кабула, заняв Кандагар своими вооруженными силами, угрожал Герату.[1] На заседании Особого совещания 3 марта 1862 г. обсуждался проект оренбургского ген.-губернатора Безака о соединении Сыр-дарьинской и Сибирской линий путем одновременного движения войск обоих корпусов. План Безака, поддержанный директором Азиатского департамента Ковалевским, был рассчитан на два года и предусматривал завоевание Туркестана и Ташкента. Ген.-губернатор Западной Сибири Дюгамель возражал против этого плана, указывая на крупные расходы, связанные с его реализацией, на неизбежность активизации в связи с этим китайцев и, наконец, на возможность фактического овладения Ташкентом без военных действий, путем объявления его независимым владением под протекторатом России. Особое совещание склонилось на сторону Дюгамеля, но разрешило Безаку предпринять военную рекогносцировку Туркестана, а Дюгамелю — занять г. Пишпек и в следующем году — г. Аулиэ-Ата.[2] В течение 1862 г. и Безак и Дюгамель проводят намеченные операции. Последний сам ставит теперь вопрос о дальнейшем развитии военных операций против Коканда, о «прочном занятии Заčуйского края» и о снаряжении экспедиции на Кашгар. Вопросы дальнейшего продвижения в Средней Азии обсуждаются снова на заседании Особого совещания 2 марта 1863 г. Военный министр поддерживал план Дюгамеля; он говорил о том, что занятие Сыр-дарьи стало «историческим фактом», с которым нужно считаться и который влечет за собой превращение Ташкента в независимое владение. Безак и Ковалевский высказываются в пользу скорейшего наступления на Коканд и завоевания Ташкента и Туркестана. С возражениями против обоих проектов выступал министр финансов Рейтерн. Он указывал, что, несмотря на благоприятную международную конъюнктуру, «на время следует воздержаться от наступательных действий в Средней Азии», так как «необходимо сосредоточить деятельность и денежные средства на жизненных вопросах внутренней и внешней политики», что для данного момента «отвлечение сил от сердца России к такой отдаленной окраине вовсе не желательно».

Горчаков, только что подписавший «альвенслебенскую» конвенцию с Пруссией, поддержал Рейтерна. Особый комитет постановил реализацию плана Кашгарской экспедиции, равно как и «осуществление соединения линий, как оно ни желательно», «пока отложить», ограничившись рекогносцировочными действиями обоих губернаторов.[3] В июне 1863 г. Безак, порицая образ действий Черняева, сообщал, что отряд последнего, выступивший с целью рекогносцировки, «во-

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 8, ч. II, лл. 6—8, 32—33, 119—120, 1852—1868.
[2] Там же, № 15, ч. I, лл. 12—23, 1862—1864.
[3] Там же, № 26, лл. 37—43, 1863.

влеченный» в столкновение с кокандцами, овладел Сузаком.[1] На действия отряда Черняева особых средств первоначально затрачивать не приходилось. Продвижение это, протекавшее в условиях бухарской агрессии на Коканд, развивалось успешно. В своем отношении к Милютину от 16 июля 1863 г. Горчаков приходил к заключению, что «в настоящее время положение вопроса существенно изменилось... Успешные действия полковника Черняева без особых расходов и пожертвований значительно приблизили нас к цели...»[2] Министр имел в виду соединение линий и овладение Ташкентом и Туркестаном. В ту же пору Милютин писал Безаку о временном характере новой пограничной черты и о том, что при благоприятных обстоятельствах следует занять Туркестан.[3] К концу 1864 г. перед русским дипломатическим ведомством во всей своей остроте стояла не только общая проблема овладения Кокандом, но и специальный вопрос о занятии Ташкента.[4]

Сказанного достаточно, чтобы убедиться в том, что, во-первых, на всем протяжении того периода, который Покровский определяет как период не только франко-русской, но и англо-русской (стр. 303) дружбы, англо-русская борьба в Средней Азии не прерывалась ни на минуту; во-вторых, можно и нужно говорить не только о снижении активности царизма в Средней Азии в период Крымской войны, но и о некотором снижении ее в годы реформ и в период польского восстания; в-третьих, снижение этой активности отнюдь не означало отказа от агрессии в Средней Азии или перерыва в последней. Положение Покровского, утверждающего, что до 1863 г. «и речи быть не могло о продолжении дела, начатого Перовским» (стр. 292), что период «франко-русской дружбы» (1858—1863 гг.) был периодом затухания англо-русской вражды в Средней Азии и отказа царского правительства от активной среднеазиатской политики, возрождающейся лишь после заключения Россией союза с Пруссией в 1863 г., совершенно не обосновано.

Можно ли далее объяснять вместе с Покровским присоединение Ташкента к России австро-прусским договором о мире, заключенным 23 августа 1866 г. в Праге в результате прусских побед над австрийцами? Известно, что Черняев начал движение к Ташкенту в двадцатых числах сентября 1864 г., т. е. почти за два года до Пражского договора. В Петербурге придерживались тогда еще плана Дюгамеля, и Черняеву санкции на взятие Ташкента не дали. Однако уже в начале 1865 г. царское правительство изменило свой взгляд в связи с успехами эмира бухарского в Коканде (взятие Ходжента). В двадцатых числах апреля 1865 г. Черняев берет крепость Ниаз-

---

[1] Там же, № 15, ч. I, лл. 70—77, 1862—1864. Рапорт Безака от 11/VI 1863 г.

[2] Там же, лл. 85—88.

[3] Там же, лл. 178—180. Отношение Милютина Безаку от 19/IV 1864 г.

[4] Там же, лл. 196—228.

бек, питавшую водой Ташкент. Отрезав Ташкент от Бухары, Черняев блокирует его и 17 января 1865 г. берет штурмом. Вопрос об организации управления Ташкентом в течение долгого времени оставался открытым. Между тем военные действия против Бухары продолжались. Были взяты Ура-Тюбе, Джизак и Яны-Курган. В создававшейся новой обстановке царское правительство считало уже целесообразным присоединить Ташкент к русским владениям. Это решение было принято 20 июня 1866 г., т. е. до окончания австро-прусской войны.[1] А в ноябре 1866 г., когда австро-прусский мирный договор был уже подписан и ратифицирован, Милютин писал Крыжановскому о необходимости сокращения «издержек государственного казначейства».[2] Вопрос о Ташкенте, так же как и вопрос о замене Черняева Крыжановским, а Крыжановского Кауфманом, следует рассматривать в непосредственной связи с рядом других вопросов: в связи с бухарской агрессией на Коканд, с русско-китайскими трениями в Кашгаре, с ростом английского влияния в Афганистане, с русско-персидскими отношениями, определявшимися, в свою очередь, степенью успехов русской политики в Средней Азии. Можно, разумеется, сказать, что русско-прусский союз, обеспечивая спокойный тыл царской России на Западе, развязывал ей руки для энергичных действий в различных районах Востока. Но объяснять вместе с Покровским конкретные вопросы русской активной политики в Средней Азии фактами из истории русско-прусских отношений или из истории австро-прусских военных операций значит строить теорию, по своей вздорности ничем не отличающуюся от теории влияния солнечных пятен на историю.

Что представляет собою даваемое Покровским объяснение факта завоевания Хивы в 1873 г. поражениями французов в войне 1870/71 г. и подписанием русско-германской военной конвенции 24 апреля 1873 г.? Как отмечал министр иностранных дел еще в своем докладе в 1863 г., Бухара из всех среднеазиатских владений была самым важным «по своему положению и по непосредственному влиянию, которое она имеет на дела Коканда и Хивы».[3] Такую же мысль позднее (в начале 70-х годов) развивал директор Азиатского департамента Стремоухов в своем письме к Кауфману, добавляя, что торговля России с Хивой, крайне незначительная по своим размерам, разовьется после того, как Россия утвердится в Красноводске.[4] Годы 1864—1868 были посвящены, как известно, завоеванию и освоению кокандских и бухарских земель. Это важнейшее на среднеазиатском участке дело было, таким образом, закончено в основном до поражения французов и до заключения русско-германского союза.

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 31, лл. 3—8, 1868.

[2] Там же, I—9, № 11, лл. 137—138, 1865—1867. Письмо Милютина Крыжановскому от 1/XI 1866 г.

[3] Там же, I—9, № 6, лл. 2—7, 1863—1865. Всеп. докл. 17/III 1863 г.

[4] ГИМ, Архив Гродекова, 544/28. Письмо Стремоухова к Кауфману от 6/III 1870 г.

Проектировавшееся на 1866 г. занятие Красноводского залива было решено отложить, покончив сперва с бухарскими и кокандскими вопросами и урегулировав отношения с Персией, приобретавшие особо важное значение в связи с событиями в Афганистане.[1] Афганский эмир Шир-Али, ставленник Англии, укрепив свою власть в Кабуле и Герате, явственно покушался на бухарские (Балх) и персидские (Сеистан) владения и создавал для англичан удобный мост для экспансии в направлении Восточного Туркестана. Утвердившийся в Кашгаре Якуб-бек преследовал русских купцов и проявлял резко выраженные англофильские настроения.[2] Кашгарские дела доставляли русскому министерству иностранных дел особенно много хлопот и закончились, как известно, временной оккупацией Илийского края в 1871 г. Поскольку, однако, бассейн реки Аму-дарьи становился объектом агрессии Шир-Али и уже приходили известия о предстоящем учреждении английской фактории на Аму-дарье,[3] поскольку вместе с тем все больше давала себя знать активизация политики Хивы, поддерживавшей оппозиционные настроения «киргизов-адаевцев» и вступавшей в переговоры с туркменами-текинцами и джафарбайцами о совместных действиях против царских войск,[4] постольку приходилось особенно думать о безотлагательном утверждении на юго-восточном побережье Каспийского моря и о рекогносцировках в направлении к хивинскому оазису. В октябре 1869 г., т. е. не только до разгрома французов пруссаками, но и до начала франко-прусской войны, русские войска заняли Красноводский залив, и в конце того же года полковник Столетов начал рекогносцировку в Балханских горах. Отдаленность Хивы от побережья и внутреннее положение ханства препятствовали быстрому развитию операций в этом районе. Стремоухов высказывал при этом уверенность, что Хива находится «в таком отчаянно хилом положении», что «не окажется надобности ни в каких заграничных экспедициях» и что во всяком случае нужно предварительно хорошо договориться с Персией.[5] Такие взгляды господствовали в министерстве в течение всего 1869 г. Экспедиция против Хивы была, однако, назначена царем на весну 1870 г.[6] К весне 1870 г. нужные подготовительные мероприятия закончены не были — выяснялась необходимость доставки свежих пополнений действовавшим на побережье отрядам и заготовки верблюдов. И именно в этот момент пришлось заняться оккупацией Илийского края. К тому же, как и прежде, казалось, что время

---

[1] МИД, Гл. архив, I—9, № 11, лл. 20—23, 31—35, 1864.

[2] ЦВИА, ВУА, № 6810, лл. 10—16, 27—30.

[3] МИД, Гл. архив, I—9, № 15, лл. 11—17, 1868—1873. Письмо Струве 7/VIII 1869 г.

[4] ЦВИА, ВУА, № 6819, лл. 254—259.

[5] ГИМ, Архив Гродекова, № 4/23 Письмо Стремоухова к Кауфману 31/V 1869 г.

[6] Там же, 544/23—25, л. 3.

работает против Хивы и что можно еще оторвать от нее туркмен экономическими мерами. В марте 1871 г. Кауфман сообщал, что с экономическим отрывом туркмен от Хивы дело не продвигается, что Хива не только не идет навстречу требованиям туркестанских властей, но преследует русских купцов и демонстративно подчеркивает свою враждебность к России. Кауфман приходил к заключению о необходимости прибегнуть к решительным мерам.[1]

На фоне успехов царского правительства на бухарском и кокандском участках, которым не сумела помешать Англия, факт существования слабой, но непокорной Хивы представлял собою своего рода «аномалию», и можно было только удивляться, как эта «аномалия» просуществовала до 1873 г. В июле 1871 г., напоминая о необходимости скорейшего нанесения удара по Хиве, Кауфман вместе с тем выражал готовность снова отложить это дело в связи с обострением кашгарского вопроса и оккупацией Илийского края.[2] Возможно, что кунктаторская политика царизма в хивинском вопросе, именно в 1870—1871 гг., была обусловлена его выступлением на Ближнем Востоке, выразившимся в циркулярной депеше Горчакова и в вынужденном участии Бруннова в Лондонской конференции о проливах. Такое предположение было бы вполне допустимо. Имеющиеся в нашем распоряжении документальные данные говорят только о том, что темпы разрешения хивинского вопроса обусловливались необходимостью предварительного урегулирования, с одной стороны, русско-китайских отношений в Кашгаре, с другой — русско-персидских отношений и, кроме того, необходимостью подготовительных работ для преодоления технических трудностей, связанных с дальним походом, который можно было предпринять только весной.

Попытка Покровского объяснить политику России в хивинском вопросе фактами из истории франко-прусской войны и русско-прусских отношений является попыткой подменить конкретно-исторический анализ изучаемых явлений беспочвенными и ложными историческими сопоставлениями.

Проводя активную политику в Средней Азии, царская Россия не ограничилась, как известно, завоеванием Хивы: далее последовало окончательное включение Коканда в пределы империи, а в результате ряда экспедиций были присоединены туркменские степи. Так как объяснять эти события различными перипетиями из истории русско-прусского союза становилось уже невозможным, Покровский вспомнил о факте недавно открытой им англо-русской «дружбы». Начиная с половины 70-х годов, эта «дружба» должна была смениться, согласно Покровскому, враждой в связи с переходом России к системе протекционных тарифов (стр. 303). На среднеазиатских делах мы убедились, что Англия не была «другом» России еще и в

[1] ЦВИА, ВУА, Доп. 2 отд., № 42—492, лл. 262—263.
[2] МИД, Гл. архив, I—9, № 16, лл. 57—62, 1867.

ту пору, когда протекционных тарифов не было и в помине. Совершенно очевидно, что очередное обострение англо-русских отношений в конце 60-х годов было связано с успехами России в бухарском вопросе. Тогда же Англией был снова поднят вопрос о создании буферной зоны. Известно также, что к середине 80-х годов локализовавшийся в Средней Азии англо-русский конфликт можно было считать временно улаженным, хотя русские таможенные тарифы в эту пору продолжали расти.

Объясняя дипломатическую историю последней четверти XIX в. той же универсальной теорией таможенных тарифов, какой он оперировал раньше, при анализе событий 30-х годов, Покровский повторил теперь и все свои старые ошибки: в повышении пошлин он видел только мероприятия протекционистского характера, в вопросе о таможенных пошлинах — только таможенное наступление России, не понимая того, что речь здесь шла о международной таможенной борьбе. «Что она [Россия], — писал Энгельс, — окружала себя оградой покровительственных пошлин, это должно считаться слишком естественным, так как английское соперничество принудило к такой политике почти все великие страны».[1]

Защищаемое Покровским положение о том, что в экономической и политической борьбе, какую вела Россия сначала против Англии, а затем и против Германии, «роль наступающего неизменно принадлежала России» (стр. 311), приходится признать совершенно необоснованным. Говорить о наступательном характере русской политики в условиях Берлинского конгресса, разумеется, невозможно. Начатое в апреле 1878 г. продвижение малочисленных русских отрядов из Самарканда и Красноводска в восточном направлении носило характер небольшой, в военном отношении совершенно не подготовленной, демонстрации и было скоро приостановлено. В связи с подписанием Берлинского трактата миссия Столетова была отозвана из Кабула. Можно ли в качестве иллюстрации русской агрессии, направленной против Англии, приводить, как то делает Покровский, относящийся к 1877 г. скобелевский проект похода на Индию? Нельзя, во-первых, потому, что история проектов похода на Индию вовсе не начинается в 1876 г., как утверждает Покровский. Аналогичные проекты появлялись во множестве всякий раз, когда обострялись англо-русские противоречия: они появлялись в эпоху Тильзита, в середине 30-х годов в период Крымской войны и реставрировались в 60-х годах. Во-вторых, как признает сам Покровский, проект Скобелева, подобно предшествующим проектам, утвержден правительством не был. Поэтому, вопреки Покровскому, приходится утверждать, что вопрос о походе на Индию и в 1877 г. не «вдвинулся в сферу практических возможностей». Предпринятую в июле 1879 г. царским правитель-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма к Николай — ону, стр. 64. СПб., 1908.

ством военную экспедицию вглубь туркменских степей приходится рассматривать не только как продолжение среднеазиатских походов 60-х гг., но и в связи с военной агрессией, какую с ноября 1878 г. англичане повели в направлении Афганистана (сначала Кабула, а затем и Герата). Неудача первой ахал-текинской экспедиции, обусловленная в значительной мере неподготовленностью обеспеченного тыла со стороны Персии, показала вместе с тем, как далеко в рассматриваемое время стояла царская Россия от тех практических возможностей похода на Индию, о которых говорит Покровский.

Какое значение придавал проекту похода на Индию сам автор его?

«Как бы счастливо ни велась кампания в Европе и Азиатской Турции, — цитирует Покровский Скобелева, — на этих театрах трудно искать решения восточного вопроса» (стр. 323). Из этих слов следует только то, что в понимании Скобелева среднеазиатский вопрос имел чисто подчиненное значение. Мало того, Скобелев говорил о том, что «всю Среднюю Азию можно было бы отдать за серьезный и прибыльный союз с Англией» (стр. 325). Эти цитаты, в которых выражается готовность отказаться от англо-русской вражды, выросшей, согласно Покровскому, на основе таможенной борьбы, кроме разоблачения концепции Покровского ничего не дают.

Покровскому приходится выключить Англию из сферы своих построений и направить свои рассуждения в плоскость русско-германских отношений двух последних десятилетий XIX в. Ему нужно объяснить превращение русско-прусской дружбы в русско-германскую вражду. Через всю историческую арену протягивается бревно русских таможенных тарифов второй половины 70-х годов, заостренное против Германии, которым русские помещики и фабриканты начинают бить германских.

Покровский прежде всего упустил из виду, что проведенное русским правительством в 1876 г. повышение пошлин путем взимания их в золотой валюте было продиктовано не политикой протекционизма, а исключительно соображениями о сокращении утечки металлических денег за границу и о повышении платежного баланса, т. е. преследовало чисто фискальные цели, имевшие связь с предстоящим военным выступлением на Балканах. Последующие повышения русских таможенных ставок имели в значительной своей части протекционистский характер, но в известной мере сохраняли характер фискальный (это относится прежде всего к тарифам 1878 и 1880 гг. и отчасти к тарифам 1884 и 1887 гг.).

Покровский упустил из виду, что кульминационным пунктом фритредерской политики в Германии, Австрии и Франции был 1873 год. Разразившийся в этом году в Германии жестокий экономический кризис вызвал среди германских горнопромышленников, металлургов и хлопчатобумажных фабрикантов широкое движение в пользу протекционных тарифов.

Создавшийся в 1875 г. «Центральный союз германских промыш-

леnников», принявший ярко протекционистское направление, выработал в 1877 г. проект таможенного тарифа, который был принят правительством при составлении проекта таможенного закона 1879 г.[1] После 1875 г. к промышленному кризису в Германии присоединился аграрный кризис: сельские хозяева переставали быть фритредерами и заражались протекционистскими настроениями. Изданием покровительственного таможенного тарифа 1879 г. Бисмарк связал интересы консервативных аграриев с интересами промышленников. Недаром еще на заседании рейхстага 16 мая 1879 г. Ведель-Мальхов говорил о том, что «защита железа и ржи — одинаково необходима для блага отечества».[2] Покровский упустил из виду, что в том же 1879 г., вводя пошлины на хлеб, Бисмарк запретил ввоз русского скота в Германию, чем вызвал острое недовольство русских помещиков.

Покровский упустил из виду, что Бисмарк проводил эти мероприятия в ту пору, когда, в связи с вопросами территориальных разграничений между балканскими государствами, усилились австро-русские трения, а англо-русские противоречия достигли высокого напряжения. Покровский упустил из виду, что своим нажимом на Россию Бисмарк в тот момент добивался от нее обязательств нейтралитета в готовившейся им войне против Франции и что он добился этого образованием в 1881 г. союза трех императоров. Покровский упустил из виду, что возобновлением этого союза в 1884 г., в период апогея англо-русской борьбы в Средней Азии, Бисмарк, дав России обещание гарантировать закрытие проливов, предотвратил этим англо-русский вооруженный конфликт и поощрил русскую экспансию на Ближнем Востоке. Спор русского и германского помещиков, возникший в 1879 г., не поколебал существенно русско-германской дружбы, которая просуществовала до середины 80-х годов.

Тезис Покровского о «соперничестве русского и прусского помещиков на хлебном рынке» как об «основном смысле» русско-германского конфликта тем более нельзя считать доказанным, что Германия только недавно выступала у него в качестве «мануфактурной державы», а русский протекционизм, согласно Покровскому же, был делом рук русского промышленного капитала, снова поднимавшего голову в 70-х годах. Но, касаясь этого последнего вопроса, Покровский прошел мимо той перегруппировки социально-политических сил, какая происходила в России в течение 80-х годов. Германская ориентация русской внешней политики 70-х и 80-х годов определялась не только интересами помещиков и не только династическими связями, но также интересами петербургских банковских и биржевых кругов и связанных с ними представителей железнодорожного грюндерства, заинтересованных в импорте дешевого угля, дешевых рельсов, вагонов и паро-

---

[1] Соболев. История русско-германского торгового договора, 33—36. Птгр., 1915.

[2] Там же, 45—46.

возов. В 80-х годах происходит интенсивный рост русской текстильной промышленности, концентрация тяжелой индустрии, выдвижение на первые места промышленности юга России. Новые социальные группы, имевшие глашатаем своих интересов Каткова, которого Покровский ошибочно считал представителем аграриев, требовали новой экономической политики и протекционных тарифов прежде всего. «Экономическая основа» русско-германской дружбы ослабевала. Бисмарковская Германия, стоявшая в 1886 г. на пороге войны с Францией, сумела продлить дружбу с Россией до 1887 г., когда был заключен русско-германский договор о перестраховке. Но, не получив от России всего, что ему было нужно, — безусловного нейтралитета России в случае франко-германской войны, Бисмарк начал поход против русского кредита и тем самым ускорил франко-русское сближение. Экономическая основа назревавшей русско-германской вражды должна быть определена достаточно четко и ясно. Но было бы ошибочно думать, что эволюцию русско-германских отношений можно непосредственно свести к этой базе. Мы не можем этого сделать уже по одному тому, что к рассматриваемому времени наиболее влиятельной силой в Турции и на Балканах становилась Германия со своим австрийским сателлитом и что именно Германия отказалась от продления договора 1887 г. из нежелания ослабить этим австро-германскую дружбу и прежде всего австро-германское сотрудничество на Ближнем Востоке.

Нельзя считать также доказанным и тот вывод, какой делал Покровский из своего недоказанного и недоказуемого положения о борьбе двух помещиков, — о том, что франко-русский союз явился результатом русско-прусского соперничества на хлебном рынке (стр. 325). Нельзя считать также доказанным и последний вывод, делавшийся Покровским из этих недоказанных и недоказуемых положений, хотя и излагавшийся им в завуалированной форме, — о том, что результатом русской тарифной агрессии,— вызвавшей русско-германскую таможенную войну, приведшей к франко-русскому союзу и к превращению России в индустриальную державу, угрожавшую судьбам германского капитализма,— явилась мировая война (стр. 325—326).

Сводя всю историю русско-германских отношений к драке, затеянной русским помещиком у германской таможенной заставы, рассматривая события с точки зрения интересов прусских таможен, Покровский давал неправильную и ложную характеристику «экономических рамок» эпохи. О том времени, когда в России в пореформенных условиях, по словам Энгельса, происходило развитие промышленного капитализма «по масштабу, достойному великой страны»,[1] Покровский говорил как о периоде победы аграрного капитала над промышленным. О том времени, когда после промышленного переворота, происшед-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма к Николай—ону, стр. 64. СПб., 1908.

шего в области легкой индустрии, не только начиналось бурное развитие тяжелой промышленности, но в результате ускорявшегося процесса увеличения товарности сельского хозяйства крестьянская рожь потянулась на внешний рынок, и русский хлебный экспорт, в дореформенное время составлявший 35% всего вывоза, стал подходить к 60%, Покровский говорил только как о периоде нового расцвета русского протекционизма, упуская вместе с тем из виду политическое значение сопутствовавшего процессу концентрации производства срастания банков с промышленностью.

Говоря о русско-германских отношениях и не учтя тех изменений, какие происходили в экономике царской России, Покровский равным образом не разобрался и в изменениях, происходивших в экономическом и политическом положении Германии. Он не увидел выдвижения Германии в первые ряды великих держав и возникновения и роста сначала экономического, а затем и политического ее соперничества с Англией. Известно, что занимавшая в 1860 г. четвертое место по производству металла Германия к 70-м годам переходит на третье место, а к концу столетия утверждается на втором. Догоняя Англию по добыче каменного угля, Германия опережает ее по производству чугуна и вытесняет английские товары с европейского рынка. Переживая бурное промышленное развитие, Германия, в отличие от Англии первой четверти XIX в., не сокращает своей земледельческой продукции: в то время как Англия могла питаться своим собственным хлебом только 2½ месяца в году, Германия целиком покрывала собственным производством свою потребность во ржи, и только пшеницы и ячменя ей нехватало на ⅓ ее потребности.

Русско-германская таможенная борьба входила существенным звеном в систему русско-германских противоречий, но не была звеном всеопределяющего значения и единственным.

Еще в 1879 г. в Русском обществе для содействия промышленности и торговле отмечалось то обстоятельство, что Германия являлась не столько потребительницей русского хлеба, сколько перепродавцом его, отправляя в другие страны не менее 70% привозимых из России сельскохозяйственных товаров. Из этого факта делался вывод чисто практического значения — о возможности и необходимости организации непосредственной связи русского рынка с потребителями русских товаров.[1] В том же 1879 г. «Московские ведомости», говоря об угрожавшей России перспективе оказаться «в крепостной зависимости» от Германии, ударение делали не столько на экспорте товаров, сколько на внешних займах России, реализовавшихся в Германии, и на зависимости русских бумаг от берлинской биржи.[2] В 1885 г. Витте в тех же «Московских ведомостях» развивал

[1] Труды Общества для содействия русской промышленности и торговле, XII, 259—269. Доклад Познанского, читанный 2/V 1879 г.

[2] Московские ведомости, № 66 от 12/III 1879 г. и № 69 от 15/III 1879 г.

мысль о том, что для России выгоднее ввозить нужные ей фабрикаты из Англии.[1] Именно в эту пору, в период 1881—1890 гг., несмотря на продолжавшийся англо-русский конфликт в Средней Азии, возрастает вывоз русских товаров в Англию, а к середине 90-х годов, когда русские таможенные тарифы поднялись до своего протекционистского максимума, повышается, вопреки теории Покровского, и ввоз товаров в Россию из Англии.[2] Недаром в 1888 г., ссылаясь на появившиеся в германской прессе[3] статьи на тему о том, что русский рубль повысится и мир будет обеспечен, если Россия не будет вмешиваться в балканские дела, «Новости» задорно заявляли: «Нам говорят: дальнейшее понижение русской валюты или капитуляция! Мы должны ответить: повышение русской валюты или война!»[4] Вопрос о выходе России из финансовой зависимости от Германии разрешился, как известно, в том же 1888 г. без всякой войны, хотя и без возобновления в дальнейшем договора о перестраховке. Вопросы таможенные получили компромиссное разрешение в торговом договоре 29 января — 10 февраля 1894 г. Но русско-германские противоречия тем самым исчерпаны не были — они углублялись и обострялись, локализуясь прежде всего на Ближнем Востоке. Покровский выбросил за борт своей «истории» все основные факты политической жизни Европы последней четверти XIX в. Вместе с тем он не выяснил тех мотивов, которые руководили политикой Бисмарка в Европе и на Ближнем Востоке. Мы знаем, что перед Бисмарком стояла задача изоляции Франции, отвлечения России от сближения с нею, поддержки Австрии против России, компенсации Австрии приобретениями на Балканах, отвлечения Австрии от сближения с Англией,[5] — все это приводило не только к образованию союза трех императоров, но и к образованию внутри его, направленного против России, союза двух императоров, становившегося осью германской политики, к образованию тройственного австро-германо-итальянского союза (1882 г.) и к образованию австро-румынского союза (1883 г.).

Еще в августе 1870 г. Маркс писал о том, что захват Пруссией Эльзаса и Лотарингии превратит угрозу франко-германской войны в «европейскую институцию» и увековечит «в обновленной Германии военный деспотизм».[6]

«Я вспоминаю, — говорил товарищ Сталин на XIV съезде ВКП(б), — факты из истории франко-прусской войны, когда Германия оказалась победительницей, когда Франция оказалась побежденной, когда Бисмарк всячески старался сохранить «статус кво», т. е.

---

[1] Там же, № 52 от 21/II 1885 г.
[2] Гулишамбаров. Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России. СПб, 1898.
[3] National-Zeitung.
[4] Новости, № 48 от 17/II 1888. г.
[5] Grosse Politik, II, № 31.
[6] Архив Маркса и Энгельса, I (VI), 377.

тот порядок, который создался после победоносной войны Германии с Францией... Вот, в этот период, когда все говорили о мире, а фальшивые певцы воспевали мирные намерения Бисмарка, Германия и Австрия заключили соглашение, совершенно мирное и совершенно пацифистское соглашение, которое послужило потом одной из основ будущей империалистической войны. Я говорю о соглашении между Австрией и Германией в 1879 г. Против кого было направлено это соглашение? Против России и Франции... Последствием этого соглашения о мире в Европе, а на деле о войне в Европе, послужило другое соглашение, соглашение России и Франции в 1891—1893 гг.» Австро-германское соглашение 1879 г., которое трактовалось как «союз мира», «послужило прямой подготовкой к империалистической войне 1914 г.»[1]

Покровский прошел, далее, и мимо того факта, что преемник Бисмарка Каприви переставал «жонглировать с пятью шарами», с тем чтобы впоследствии решительно взять новый курс на Константинополь и Багдад, что этот новый курс уже означал политику, направленную на разрыв с Россией. Но Покровский не понял еще более существенного и важного и в «экономических рамках» новой эпохи, и в международной обстановке ее. Покровский не понял того, что Германия, как соперница Англии в борьбе за мировое господство, выступала в период заканчивавшегося раздела мира, что в условиях неравномерного развития капитализма она становилась на путь лихорадочных вооружений, колониальных захватов и вывоза капитала. Не довольствуясь своими тихоокеанскими, африканскими и дальневосточными приобретениями, Германия в 90-х годах стремится взять реванш и на Ближнем Востоке. В эти годы начинается «мирное проникновение» германского капитала в Турцию, рассматриваемую им уже как его будущая полуколония.[2] Германия приступает к реорганизации турецкой армии, и еще в 1884 г. турецкие военные заказы переходят от Армстронга к Круппу и Маузеру. В 1888 г. основанное Германским банком («Deutsche Bank») «Немецкое общество Анатолийских железных дорог» получает согласие Порты на передачу германским капиталистам, согласно старому проекту германского инженера Пресселя, концессии на постройку железной дороги от берега Мраморного моря, через Сивас, к Багдаду и с выходом к Персидскому заливу. К 1893 г. дорога была продолжена до Ангоры, но дальше Германия натолкнулась на противодействие России, охранявшей свою кавказскую границу. Немцы были вынуждены повернуть сооружаемую железную дорогу на Конию, и в 1898/99 г. Германия получила концессию на линию Кония — Багдад.

Русско-германские противоречия в 90-х годах зрели и с каждым днем все явственнее прощупывались, хотя старая дружба монархов

---

[1] XIV съезд ВКП(б). Стеногр. отчет, 15, 1926.
[2] Rorbach. Deutschland unter den Weltvölkern.

еще поддерживалась. Превращение традиционной русско-германской дружбы в ожесточенную затяжную вражду не может быть понято без учета и таких узловых моментов последующей дипломатической истории, как англо-французское соглашение 1904 г. и вступление России в Антанту в 1907 г. Это значит вместе с тем, что русско-германские противоречия зрели и углублялись в более широкой и глубокой колее англо-германских противоречий. В 1896 г. бывший английский премьер лорд Розбери в одной из своих речей говорил: «Нам угрожает страшный противник, который теснит нас так же, как волны морские теснят неукрепленные песчаные берега. Я говорю о Германии. Торговля Великобритании не перестает уменьшаться, и все то, что мы теряем, в главной своей части достигается Германией». «С того момента, — говорил Бюлов, — как Германия, выполнив свою задачу в области континентальной политики, обеспечив свое положение в Европе, дала понять, что она не согласна отказываться от политики мировой, Германия неизбежно становится на пути Англии».

Еще англо-русские противоречия давали знать о себе, еще Англия поддерживала, в противовес России, концессионную политику Германии в Азиатской Турции, и Сольсбери строил планы (1895 г.) раздела Турции между Англией, Германией и Австро-Венгрией. Еще подписывалось (16 октября 1900 г.) направленное против России англо-германское соглашение о сферах влияния в Китае. Еще Англия заключала с Японией (1902 г.) «военно-оборонительный» союз против России...

Но английские планы раздела Турции решительно отклонялись Германией.[1] Англо-германское соглашение от 30 августа 1898 г. о португальских колониях повисло в воздухе. Соглашение по дальневосточным делам саботировалось Германией, толковавшей его ограничительно, с исключением Манчжурии в пользу России. Англо-бурская война вызывала взрыв англофобских настроений в Германии. Предложенный Чемберленом во время боксерского восстания англо-германо-японский союз против России отклонялся Германией, не нуждавшейся в данный момент в союзе с Англией.

Превращение Германии не только в промышленную страну, вытеснявшую Англию с европейских рынков, но и в страну финансового капитала, в могучую морскую державу, угрожавшую связи Великобритании с колониями и ее мировой гегемонии, решало все. В плане углублявшихся англо-германских противоречий совсем иное значение приобретали для Англии и проливы: вместо возможной русской опасности здесь вырисовывалась вполне реальная опасность в лице немецкой стальной змеи, которая начинала ползти по Малой Азии к югу и своим жалом была обращена к Персидскому заливу. Англия окончательно оставляла свою традиционную для первой по-

[1] Grosse Politik, XIV, 193—199, 212—216.

ловины XIX в. политику в турецком вопросе, шедшую под лозунгом «Integrity of Turkey» и сводившуюся к поддержанию Турции в состоянии постоянной политико-экономической прострации. «Защитницей» неприкосновенности Турции становилась теперь Германия, стремившаяся к «сохранению» Турции с целью политико-экономического порабощения ее.

Не поняв социально-экономического характера новой эпохи, создав мнимую экономическую «основу» для объяснения фактов внешней политики, не учтя всего многообразия этих фактов, игнорируя важнейшие и существеннейшие из них, Покровский пытался свести к мнимой «основе» случайно выхваченные им факты. Получилось мнимое объяснение мнимых фактов мнимой экономической «основой».

* * *

Если в «Истории России в XIX в.» у Покровского отмечается некоторый эклектизм в подходе к историческим фактам и рядом с концепциями, построенными в духе «экономического материализма», уживается ничем не прикрытая идеалистическая трактовка исторических фактов, — «История России с древнейших времен» написана в плане последовательно проведенного «экономического материализма». Свою «Историю России с древнейших времен» Покровский начал писать в тот период, когда он глубоко увяз в болоте реакционной махистско-богдановской философии, которая представляла собой сочетание субъективизма махистского толка с «экономическим материализмом», основывавшимся на механистическом понимании роли экономики в истории, которая отрицала возможность существования объективной науки и в истории готова была видеть попытку «упрощения» «хаоса первичных ощущений» и «политику, опрокинутую в прошлое».

Развитая Покровским в «Истории с древнейших времен» концепция внешней политики России является попыткой применения ненаучного, антимарксистского метода экономического материализма в области изучения фактов международной борьбы. В своей «экономической характеристике» русской внешней политики Покровский, пытаясь свести факты внешней политики непосредственно к их экономической основе, пришел к извращению «экономики» и полному упразднению «политики».

Отправляясь от неверного изображения экономики царской России, подменяя происходившую в стране конкретную борьбу классов и общественных групп абстрактной борьбой «экономических категорий», — Покровский приходил к искажению классовой природы внешней политики самодержавия. Не случайно, что со страниц «Истории России с древнейших времен» выпали такие крупные и характерные для классовой природы самодержавия исторические факты, как образование Священного союза или интервенция 1849 г. В своей «Истории России с древнейших времен» Покровский игнорировал вместе с тем и классовый характер внешней политики тех стран,

с которыми сталкивалась Россия на международной арене. Тем самым он давал искаженное изображение фактов международной борьбы, пресекая всякую возможность их научного объяснения.

Действия экономических категорий — единственных сил, которые Покровский оставляет на исторической сцене, отличаются автоматизмом. События развиваются в плане экономического фатума, над историческими событиями тяготеет экономический рок.

Но это только видимость автоматизма, видимость исторической неизбежности или, как говорил сам Покровский, «совершенно объективной неотвратимой» необходимости. В «Русской истории с древнейших времен» есть элементы «политики», есть и одно живое, обладающее волей и действующее лицо. Живое лицо — это сам автор, приводящий экономические категории в действие, направляющий их движение. Политика, которую мы находим в «Русской истории с древнейших времен», — не та «политика», которая вступает во взаимодействие с «экономикой» и вместе с последней призвана объяснять историческую действительность. Политика в «Русской истории с древнейших времен» — это политика Покровского, борющегося с концепциями старой историографии путем их перелицевания, это политика мелкобуржуазного радикала, продолжающего смотреть на вопросы внешней политики как на нечто идущее от лукавого, а к фактам международной борьбы относиться как к дьявольскому навождению, не умеющего свою борьбу с царизмом поднять на высшую ступень и продолжающего отождествлять судьбы царизма с историческими судьбами страны. Экономические категории являются в данном случае только орудием этой политики. Деятельность русского промышленного капитала у Покровского такова, что вследствие тарифа 1810 г. Россия вооружает против себя Францию и оказывается «виновницей» войны 1812 г. Деятельность русского промышленного капитала у Покровского такова, что благодаря запретительному тарифу 1822 г., благодаря всей своей восточной политике Россия вооружает против себя Англию и остальную Европу и оказывается единственной «виновницей» войны 1855/56 г. А когда русский промышленный капитал временно сходит со сцены, для его замещения на поприще исторической агрессии Покровским призывается аграрный капитал. Во второй половине 70-х годов аграрный капитал при помощи тех же таможенных тарифов начинает у Покровского агрессию, направленную против Германии. На этот раз промышленный капитал действует в согласии с ним, и соединенными силами они так дружно обрушиваются на Германию, что в скором времени Россия у Покровского оказывается главной «виновницей» мировой войны.

Выбросив из своей истории ту «политику», которая, по выражению Энгельса, оказывает «обратное действие» на экономику[1] и по-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, стр. 381, Соцэкгиз.

махистски «опрокинув в прошлое» свою политику мелкобуржуазного радикала, Покровский построил антимарксистскую концепцию, извращающую всю конкретную историческую действительность.

III. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ XIX В. В ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЬЯХ М. Н. ПОКРОВСКОГО (1914—1930 гг.)

Статьи дореволюционного периода

В годы империалистической войны, в ту пору, когда писалась еще «Русская история с древнейших времен», Покровский напечатал в различных повременных изданиях ряд статей, которые следует рассматривать отчасти как поправки, вносимые им к высказанным ранее взглядам, отчасти как дополнения к ним. Из тех семи статей, которые относятся к этому времени,[1] две посвящены польскому вопросу и две — восточному.

В статьях этих он подверг резкой критике многие из тех положений, которые, будучи унаследованы им от мелкобуржуазной радикальной публицистики, развивались на страницах гранатовского издания.

В статье «Польша и Европа после Венского конгресса» обращает на себя внимание то обстоятельство, что Покровский расстается с игнорированием восточного вопроса как вопроса стержневого в системе внешней политики царизма, определявшего в течение длительного исторического периода развитие англо-русских противоречий: «Англо-русское обострение, — пишет теперь Покровский, — было связано ближайшим образом с дальнейшей интенсификацией наметившегося еще при Александре I и не ликвидированного Адрианопольским миром стремления России к Царьграду и проливам: в 1833 г. и тот и другие едва не перешли фактически в русские руки» (стр. 69). Весьма существенно и важно также двукратное отречение Покровского[2] от той наивно-идеалистической характеристики, какую он прежде давал внешней политике царизма периода, предшествовавшего Крымской войне, как политике, направленной исключительно к поддержанию принципов легитимизма, к отстаиванию старых трактатов, к борьбе с «духом времени», с «духом всесветной революции», где бы он ни проявлялся, безотносительно к тому, являлся ли он в данный момент реальной угрозой для поддержания «старого порядка» внутри страны. «Пруссия, как и император Николай, — пишет теперь Покровский, — руководилась вовсе не отвлеченными представлениями о «легитимизме» и революции; у ее политики были свои реальные задачи». Покровский имеет в виду политику обоих государств в поль-

---

[1] Были напечатаны в сборнике «Внешняя политика», изд. 1918—1919 гг. К этому сборнику относятся дальнейшие ссылки на страницы.

[2] В статьях: «1863 г. ...» и «Россия и Пруссия перед Крымской войной».

ском вопросе, причем подчеркивает множественность мотивов этой политики, хотя и не совсем правильно определяет их: Пруссия искала здесь, в частности, страховки от франко-русского союза (стр. 146), Россия — трамплина для прыжка в Европу (стр. 59). Покровский высмеивает теперь старое, «обычное» историографическое «клише», согласно которому «борьба с революционным пожаром» была главной из задач, доставшихся в наследство Николаю от его предшественника, согласно которому интересы царской России в датско-прусском споре определялись не такими реальными мотивами, как борьба за определенное разрешение вопроса о балтийских проливах, а такими идеальными, как борьба за законные права датского короля, которым угрожали голштинские бунтовщики (стр. 94). Покровский правильно подчеркивал при этом тот факт, что Николай уже в мае 1848 г. готов был действовать в союзе с французской республикой против своего шурина, угрожавшего балтийским проливам.

Однако Покровский не только вносил поправки в свои схемы, но дополнял и углублял свои старые ошибки. Исправляя старое историографическое «клише», он проводил его исправление с позиций экономического материализма. Поэтому «жандарм Европы», который раньше, на страницах гранатовского издания, фигурировал у Покровского в роли уркартовского горохового чучела и отсутствие которого на страницах «Русской истории с древнейших времен» можно объяснить спецификой тематики данной работы и отсутствием в ней всякой истории внешней политики, — убирается теперь Покровским вовсе с исторической сцены, на которой утверждают свое безраздельное господство появлявшиеся уже на страницах «Русской истории с древнейших времен» призраки из области экономики с аттрибутами «совершенно объективной, неотвратимой» необходимости (стр. 15). Исправляя, в частности, свою старую схему русско-прусских отношений 30—50-х годов как отношений, скреплявшихся общностью интересов в борьбе с «духом времени», Покровский вгоняет теперь эти отношения в новую, извлеченную из арсенала экономического материализма схему: таможенный вопрос, говорит он, был «скелетом в доме русско-прусских отношений в течение всего николаевского царствования» (стр. 102).

В статьях, о которых идет речь, у Покровского проявляется определенная, ярко выраженная тенденция углубить и универсализировать «таможенную» концепцию внешней политики царской России. Только что признав права гражданства за восточным вопросом, этой «таможенной» концепцией Покровский сводит это признание на-нет. Оказывается: «Восток был только театром конфликта, главным же антагонистом николаевской России была самая западная из европейских держав — Англия, столкновение с которой могло так же удобно произойти по поводу Афганистана, как и по поводу Турции... Восточная политика Николая Павловича была лишь одним из аспектов его экономической политики, которая давала одинаковые результаты

всюду, где она применялась: на берегах Вислы и Немана точно так же, как и на берегах Дуная или Черного моря...» (стр. 87—93).

Сведя сущность англо-русских противоречий к промышленному соперничеству двух стран и превратив это соперничество в универсальную причину причин, а англо-русские противоречия в беспредметные противоречия «вообще», выхолостив снова и снова упразднив восточный вопрос как самостоятельную проблему международной политики, Покровский рассматривает теперь восточную политику только как отражение той экономической «вещи в себе», какой оказываются у него таможенные тарифы. Та же восточная проблема снималась Покровским и в результате ряда других соображений, развивавшихся с тех же позиций экономического материализма: цифры, определявшие тоннаж проходивших через проливы торговых судов различных наций, снова приводили Покровского к абсурдной мысли о том, что вопрос о проливах был вопросом греческим. Но Покровский писал теперь об этом вопросе в условиях, когда царская Россия участвовала в войне, считая для себя «главным призом» ее проливы, когда крупнейшая партия русской либеральной буржуазии задачу овладения проливами включала в программу своей внешней политики, а имя ее лидера язвительно украшалось политическими его противниками эпитетом «дарданелльский». Игнорировать при таких условиях восточный вопрос было бы не только исторической ошибкой, но и просто политической слепотой. Если в довоенный период оперирование доводами от экономического материализма, уводившими историка в область господства экономического фатума, могло кое-как сойти с рук, то теперь, как говорит сам Покровский, приходилось «все чаще и чаще вспоминать слова Энгельса, что экономика объясняет историю лишь в конечном счете» (стр. 6), и искать в истории также и политические корни такого крупного фактора международной политики, как тяги России к проливам.

Покровский преодолевал стоявшую перед ним как перед историком задачу при помощи Ф. М. Достоевского. Известно, что Достоевский, повторяя Данилевского, считал, что переход Константинополя в руки России являлся бы для нее лишь частью ее программы борьбы с революцией. Выше мы убедились в том, что, по существу, таких же взглядов раньше, в свой довпередовский период, придерживался и сам Покровский, переворачивая только тезис Данилевского — Достоевского вверх ногами. Теперь, закончив первый цикл идеалистического и второй цикл вульгарно-экономического объяснения внешней политики, Покровский старался своей первоначальной идеалистической трактовке придать «марксистский» характер, углубив ее анализом классового характера власти и ее внутренней политики. Покровский не отрицает помещичьего характера царского самодержавия; но, исходя из того, что классовая борьба, какую ему приходилось вести внутри страны, определяла его внешнюю политику, — Покровский готов выбросить из поля своего зрения всю арену международной

борьбы: «Устремления к Царьграду, — говорит он, — тесно связаны не только с международной обстановкой своего времени, но, пожалуй, еще теснее и больше с внутренним состоянием России в данный момент» (стр. 15). Этим общим положением объясняет теперь Покровский все внешнеполитические акции царской России, направленные к утверждению на Черном море и в проливах: это проявилось, по его словам, и в эпоху Екатерины, и при Николае I, и при Александре II в 70-х годах и, наконец, при Николае II в 1914 г. Во всех этих случаях, по мнению Покровского, царское правительство стремилось «к одной цели»: к «поддержанию устаревшего типа народного хозяйства», к поддержанию «всяческого застоя» в стране, к поддержанию крепостничества.

Может ли нас удовлетворить это объяснение Покровского?

Исследуя процесс образования рынка для капитализма, Ленин писал: «Если бы русскому капитализму некуда было расширяться за пределы территории, занятой уже в начале пореформенного периода, то это противоречие между капиталистической крупной индустрией и архаическими учреждениями в сельской жизни (прикрепление крестьян к земле и проч.) должно было бы быстро привести к полной отмене этих учреждений, к полному расчищению пути для земледельческого капитализма в России. Но возможность искать и находить рынок в колонизуемых окраинах (для фабриканта), возможность уйти на новые земли (для крестьянина) ослабляют остроту этого противоречия и замедляют его развитие».[1] К такому выводу приходил Ленин в результате выяснения общего вопроса о процессе образования рынка для капитализма. Это положение Ленина помогает нам вскрыть основные классовые мотивы колониальной политики царизма 60-х — 90-х годов. Это положение, из которого историк должен исходить при изучении фактов внешней политики царской России, отнюдь не освобождает его от анализа той конкретной исторической действительности, которая является непосредственным предметом его исследования. Оперируя этим положением применительно к событиям различных эпох, не стремясь к тому, чтобы в каждом отдельном случае наполнить его конкретным содержанием применительно к данной исторической обстановке, претендуя вместе с тем на то, чтобы объяснить все, — Покровский повторяет положение, уже доказанное, но сам не доказывает и не объясняет ничего.

Правильное положение о необходимости увязывать внешнюю политику с внутренней нельзя упрощать и доводить до абсурда путем сведения внешней политики исключительно к политике внутренней. Указывая на необходимость увязывать внешнюю политику с политикой внутренней, Ленин с неменьшей настойчивостью указывал также на необходимость изучения расстановки сил на международной арене и классового анализа этих сил.[1]

---

[1] В. И. Ленин. Соч., III, 465.

Не следует забывать, что русско-японскую войну, самый яркий в истории внешней политики случай, когда мы имеем документальное свидетельство руководящих политических деятелей о необходимости войной подавить революцию, — что и этот случай нельзя понять из фактов одной внутренней политики, потому что этой войны ждали и к этой войне готовились не только русские господствующие классы, но и японские. Мы не можем признать утверждение Покровского правильным, во-первых, потому, что предлагаемый им метод сведения, давая только половинчатое и потому ложное объяснение исторических явлений, ведет к ликвидации истории внешней политики и в результате — к искаженному освещению исторической действительности. Во-вторых, мы не можем признать утверждение Покровского правильным также и потому, что, увязывая внутреннюю политику с внешней, пытаясь дать анализ классовой борьбы внутри данной страны, Покровский исходит лишь из анализа борьбы верхушечных групп или фракций господствующих классов.

Не приходится говорить о том, что эти группы и фракции, наделяемые мнимыми свойствами, оказываются на страницах истории Покровского далеко не всегда вполне реальными величинами. Как мы уже говорили, согласно Покровскому, и Екатерина в период кризиса помещичьего хозяйства 60-х годов XVIII в., и Николай I в период аграрного кризиса 30-х годов, и Александр II во второй половине 70-х годов, когда появилось «чувство недомогания» в «буржуазных кругах», — все они, начиная агрессию на Ближнем Востоке, действуя по одной формуле и преследуя одну цель — сохранить крепостничество, стремятся сделать нечто приятное промышленной буржуазии и отвратить ее недовольство (стр. 18—20).

Нам уже приходилось указывать на то, что теория Покровского о промышленно-капиталистическом происхождении ближневосточной политики царизма в корне ошибочна и ложна. Несомненно в то же время, что вопросы укрепления престижа власти не только вовне, но и внутри входили в систему мотивов и николаевского и александровского правительств в те моменты, когда они приступали к своей военной агрессии на турецком Востоке. Нам приходилось уже указывать и на ту ошибку, какую допускал Покровский на страницах гранатовского издания, когда он объяснял происхождение войны 1877 г., игнорируя вовсе внутреннюю конъюнктуру страны. Развернутый классовый анализ этой конъюнктуры показал бы нам, что правительство стояло тогда перед фактом не только недовольства промышленной буржуазии, но и значительно более глубоких и сильных оппозиционных настроений известных кругов земцев-помещиков и прямо революционных настроений мелкой буржуазии города. Где, на каких внешних рынках лежали в эти годы преимущественные интересы русской промышленной буржуазии? Главным образом — на среднеазиатском и персидском, отчасти на китайском рынках. Предпринимает ли царизм военную агрессию на этих фронтах? Известно, что военная агрессия

в Средней Азии была предпринята царизмом еще в 60-х годах, в ту пору, когда, согласно Покровскому, были в силе фритредерские тарифы и, следовательно, промышленный капитал не выходил из рамок повиновения власти. Военную же агрессию царизм тогда развил такую, что Покровскому пришлось объяснять ее русско-прусскими и австро-прусскими отношениями. В конце же 70-х годов среднеазиатские походы были продолжены только после неудач турецкой войны и вызваны были в значительной мере внешнеполитическими и стратегическими соображениями.

Но была и внутреннеполитическая необходимость этих походов, и Иван Аксаков в дни взятия Ахал-текинского оазиса на этой стороне вопроса делал, как мы видели, особое ударение. Известно, что завоевание окруженного бесплодными песками Ахал-текинского оазиса само по себе непосредственных выгод для русской промышленной буржуазии не несло, а целесообразность проведения Закаспийской железной дороги даже оспаривалась Обществом содействия для русской промышленности и торговли.[1] Среднеазиатская проблема в целом интересам русской промышленной буржуазии была в ту пору несравненно ближе турецкой, вызывая у буржуазии целую гамму планов, надежд и чаяний. Достаточно просмотреть протоколы заседаний того же общества, устраивавшихся в 80-х годах, чтобы убедиться в этом. Здесь, в плане рассуждений о новых завоеванных рынках, мы встретим и критику теорий Тенгоборгского о земледельческом призвании России, и критику экономической политики самодержавия с ее ориентировкой на максимальный вывоз русского хлеба, и критику господствовавшей в царской России системы железнодорожного строительства, проводившейся в интересах помещичьего капитала, и критику увлечений царских дипломатов проливами, критику той внешней политики царизма, которая, по словам критиковавших, превращала Россию в своего рода «колонию», в «нечто вроде английской Индии и французского Алжира всей Европы». Здесь мы найдем ворох планов превращения России в промышленную страну, увязывавшихся с экономическим завоеванием среднеазиатских рынков. «Азиатский же рынок, — всегда твердили представители торгово-промышленных кругов, — есть единственный рынок, куда Россия может сбывать свои обработанные произведения».[2] Значение приобретенных среднеазиатских владений не ограничивалось для русской промышленности значением их как рынков сбыта. Выше мы уже видели, как после завоевания среднеазиатских ханств расширялась к концу 80-х годов площадь хлопковых плантаций Туркестана и какое значение они начинали приобретать для русской текстильной промышленности.[3] Новое хозяйство становилось если еще не рентабельным, то во всяком

---

[1] Историк-марксист, № 3, стр. 9, 1934.

[2] Труды Общества содействия русской промышленности и торговле, XIII, 53—59, 264—312.

[3] Русский вестник, 334—337, апрель 1890 г.

случае перспективным. Мимо открывавшихся перспектив не могли пройти равнодушно не только фабриканты и заводчики, но и землевладельцы, заинтересованные в образовании колонизационного фонда.[1] Даже городская мелкобуржуазная интеллигенция готова была увлечься «поступательным движением» России в Средней Азии, декларируя перемещение восточного вопроса с Балканского полуострова в центральную Азию.[2] Покровский прошел мимо отношения различных общественных групп к среднеазиатской и ближневосточной политике царизма. Не обратил он внимания и на то, как и почему в различное время различные участки международной борьбы приобретали различное значение для хозяйственной жизни России и, в частности, для развития русской промышленности. Но, став перед проблемой Константинополя и проливов и заговорив о них, Покровский утратил способность различать другие предметы. В частности, Покровский прошел мимо того факта, что персидский рынок, потерянный для России со второй половины 30-х годов, после русско-турецкой войны 1877—1878 гг., вследствие парализованного состояния закавказского и трапезундского транзита, отвоевывался обратно, и кривая русско-персидского товарооборота резко шла на повышение.[3]

Тогда же и перед русским помещиком замаячили перспективы приобретения «какого-либо пункта на берегу океана в широтах, свободных ото льда, например в Персидском заливе», и перед тяжелой промышленностью и банковскими кругами выдвинулась пока еще непосильная проблема трансперсидской железной дороги.[4]

Проблема железнодорожного строительства в Персии оказалась для царской России чреватой слишком большими трудностями, связанными с ее разрешением, — не только экономическими, но и политическими, и временно была разрешена царским категорическим «вето». Проблема завоевания персидского рынка сужалась до пределов азербайджанской проблемы и ущерблялась проникавшей на север Персии иностранной конкуренцией. Но во всяком случае можно сказать, что среднеазиатская агрессия царского правительства не только принесла ему «гул славы», о которой мечтал Аксаков, и новые рынки сбыта и сырья, но и расширила стратегический плацдарм, важный для дальнейших действий царизма и в западнокитайском, и в персидском, и даже в ближневосточном направлениях.

С такой же небрежностью отнесся Покровский к эволюции дальневосточной проблемы в системе внешней политики самодержавия, к вопросу о значении дальневосточного фронта для всей системы

[1] Вестник Европы, 377—397, май 1879 г.

[2] Неделя, № 7, 1885; № 51, 1889.

[3] С. Остапенко. Персидский рынок и его значение для России, 68, Киев, 1913.

[4] Неделя, № 16, 1885; Новости, № 331, 332, 335, 348, 1888; Гражданин, № 9, 1888. См. Международная жизнь, № 3—4. 1924 и Новый Восток. № 12, 1926

хозяйственной жизни царской России. Совершенно ясно, что без анализа этого вопроса ничего нельзя понять в ближневосточной политике царизма с конца 80-х годов. Без учета дальневосточной политики нельзя правильно ответить и на вопрос о связи тех или иных политических акций царской России со стремлением царизма к поддержанию крепостничества. Известно, что китайский вопрос, давно переросший рамки вопроса кяхтинского, превращался, в связи с агрессией иностранного капитала в Китае, в большую дальневосточную проблему, в которой оказывались одинаково заинтересованными и русский промышленный капитал, в лице представителей самых разнообразных отраслей промышленности, и русские помещики, думавшие об организации переселения крестьян, и, наконец, представители купеческого капитала, давно знакомые с китайским рынком по опыту старой караванной торговли.

В стенах того же Общества для содействия русской промышленности и торговле, где хоронились в ту пору планы использования ближневосточных рынков, к дальневосточным делам проявлялся такой повышенный интерес и внимание, что царское правительство не могло поспеть за планами своих буржуазных советчиков-доброжелателей. В 1881 г. Общество ходатайствует перед заинтересованными ведомствами об ускорении постройки Сибирской железной дороги, причем сторонники этого плана исходят из положения о том, что «в Европе нам делать нечего», что Закаспийская железная дорога не дала русской промышленности ничего, что Сибирская, соединив два океана, получит «мировое значение».[1] На торжественном заседании общества, посвященном 300-летию завоевания Сибири, ставится вопрос о колонизации Сибири в ее дальневосточной части, в частности и для того, чтобы лучше противостоять на этом участке натиску иностранного капитала на Китай.[2] В числе докладов, зачитанных в обществе в 1880 г., был даже доклад на тему «об исправлении русско-китайской границы», трактовавший о необходимости расширения русской границы за счет верховьев р. Онона, побережья оз. Далай-Нор и соляных озер, а также о желательности присоединения к России части северной Манчжурии.[3]

В течение 80-х годов тихоокеанская проблема становится одной из излюбленных тем русской буржуазной печати, ждущей от правительства решительного и энергичного выступления на дальневосточной арене. Выступление это должно было выразиться в приобретении незамерзающего порта, с одной стороны, в проложении сибирской магистрали — с другой. Известно, что занятое своими ближневосточными делами царское правительство активизирует свою дальневосточную политику только в последнем десятилетии XIX в. Политика эта

---

1 Труды Общества..., XV, 1—69.
2 Там же, XIV, 3—36.
3 Там же, XII, 58—81.

проводится теперь уже в новой, империалистической обстановке, новыми, империалистическими методами и заканчивается военной дискредитацией царизма как одного из претендентов на наследство дальневосточного «больного человека».

Происходящий в условиях внутреннего кризиса крах дальневосточной политики царизма входит новым ингредиентом в систему внешней политики царской России. В результате временного выпадения дальневосточного участка как участка активной политики царизма, в результате затухания англо-русских противоречий в Средней Азии на первый план выдвигается вновь проблема ближневосточная и отчасти персидская.

Покровский прошел мимо этого факта, как не понял и того возрастающего значения, какое с течением времени приобретала ближневосточная проблема для царской России. Известно, что в течение первого десятилетия XX в. центр русской хозяйственной жизни настолько решительно переместился на юг, что более одной трети русского вывоза пошло теперь через черноморские проливы. Нужно иметь в то же время в виду, что к 1913 г. из всего вывозимого из России хлеба 80% экспортировалось через проливы. Вывозила же в эти годы Россия, в среднем, 30.1% своей продукции пшеницы, 45.3% ячменя и 47.7% кукурузы.[1] Проливы приобретали жизненное значение не только для помещичьего хозяйства, но и для крестьянского, в лице хозяйства его верхнего кулацкого слоя.

Проливы приобретали возрастающее значение не только для русского сельского хозяйства, но и для русской промышленности. Каменный уголь и железная руда Донецкого бассейна, кавказская нефть, грузинский марганец были теперь заинтересованы в проливах значительно сильнее, чем двумя десятилетиями раньше. Они были заинтересованы теперь не только в средиземноморских, но и в балканских и турецких рынках. В 1912 г. донецкий каменноугольный синдикат заключает договор о крупной поставке угля для Восточноанатолийской и болгарских железных дорог; тогда же он заключает договор с газовыми заводами Румынии; иными словами, Донецкий бассейн готовился к решающей роли на внешнем рынке, конкурируя с английским и немецким углем.[2]

Дело было, разумеется, не только в вывозе товаров. Нужно было готовиться и к тому, чтобы суметь противостоять на Ближнем Востоке странам, начинавшим экспортировать туда свои капиталы. А это означало, что Ближний Восток приобретал теперь исключительно важное значение и в отношении политическом. Нужно было прежде всего суметь противостоять железнодорожной агрессии Германии, нужно было предотвратить превращение Черного моря из моря

---

[1] Max Hoschiller. L'Europe devant Constantinople. См. сборн. «Проливы», 63. М., 1924.

[2] Там же, 68.

русско-турецкого в море, на котором получала возможность утверждения своей гегемонии Германия, через посредство дружественной ей Болгарии, колеблющейся и торгующей своей нейтральностью Румынии и, наконец, через посредство главного стража проливов — султана, руками германских военных инженеров превращавшего укрепления на проливах в неприступные позиции.

От перелицованного Данилевского к таможенным тарифам и от таможенных тарифов к поставленному на голову Достоевскому — таков тот теоретический путь, какой проделал Покровский в дореволюционный период в разработке стержневых вопросов внешней политики царской России XIX в. Это был порочный круг, составленный из методологических извращений, фактических ошибок, из фантасмагорий, вымыслов и небылиц. Он замыкался определенным политическим выводом. Вывод этот формулировался в двух статьях Покровского, относящихся к рассматриваемому периоду: одна из них была написана накануне войны на тему «Русский империализм в прошлом и настоящем»,[1] другая — в мае 1915 г. и отвечала на вопрос о «виновниках войны».[2]

Присмотримся к этим выводам Покровского. Внешняя политика России царствования Николая I, согласно Покровскому, — политика «ситцевого империализма». Тем же «ситцевым империализмом» является внешняя политика России царствования Николая II, относящаяся к 1910—1914 гг. Первое положение он доказывает тем, — и об этом-то в свое время и говорил Уркарт, — что тогда Англия выполняла исторически прогрессивную миссию, борясь с русской экспансией: «поперек дороги Англии, — пишет Покровский, — стоял русский империализм, а воплощением его был русский протекционизм, таможенная стена, отгораживающая Россию от капиталистического мира» (стр. 388).

Второе положение Покровский доказывает тем, что Россия к рассматриваемому времени снова отгородилась таможенной стеной от капиталистического мира. Только разбить эту стену была призвана теперь не Англия, которая «из страны, вывозящей товары, стала страной, вывозящей капиталы» (стр. 387), а Германия, больше всех страдавшая от русского империализма: «Добрых $^3/_4$ миллиарда, — пишет Покровский, — честный Михель приплачивает России ежегодно из своего кармана, и те миллиарды золота, которыми так любят похвастать русские министры финансов..., накоплены на немецкий счет» (стр. 388).

Это означало, согласно Покровскому, что и в начале XX в. Россия осуществляла свое историческое призвание империалистического агрессора, как она осуществляла его в начале XIX в. Роль защитника западноевропейского «капиталистического мира» от этого агрессора, роль защитника «прогрессивной», «революционной» Европы от

[1] См. сборн. «Дипломатия и войны царской России», стр. 379—389 и сборн. «Внешняя политика», стр. 153—161.

[2] См. сборн. «Внешняя политика», 162—191.

русских варваров перешла теперь от Англии к Германии. «Как видит читатель, —заключает Покровский,—сходство ситуаций начала XX в. и середины XIX поразительное: поставить на место «Англии» «Германию» — и статьи Уркарта будут самой «животрепещущей современностью». От Германии, по мнению Покровского, можно даже ждать большего: «Тогда Англии пришлось дожидаться, пока у нее найдется союзница в лице Франции... Германия имеет возможность действовать прямее и не хочет ждать» (стр. 389).

Исторически оправдав империалистическую Германию в ее борьбе с Россией, Покровский стоял, однако, еще перед вопросом оправдания Германии в ее борьбе с Антантой в целом. С Францией Покровский, как мы знаем, покончил еще на страницах гранатовского издания: она изменила «Европе» и «революции», вступив в полицейский союз с Россией. В империалистической войне она приняла участие, не будучи в состоянии, по разъяснению Покровского, внеэкономическими мерами бороться с ввозом в страну игрушек германского производства (стр. 178).

Труднее всего для Покровского было разрешить проблему противопоставления Германии Англии. Первоначально (до возникновения войны) он объявил Англию вне мирового конфликта, сведя последний к конфликту русско-германскому (стр. 388). Но, когда война началась, игнорировать Англию было больше нельзя. Характерно, что вывоз капитала как отличительную черту империалистической Англии Покровский не считал нужным принимать в расчет: империализм он определял как завоевательную политику, безотносительно к степени социально-экономического развития данной страны. Германия и Россия были уже определены Покровским как антиподы. Что же касается Англии, то, чтобы отнести и ее к категории антиподов Германии, Покровскому пришлось даже признаться в своих старых заблуждениях и ошибках: «Мы проглядели английского юнкера, — писал он, — потому что не видели в Англии того, без чего как будто нельзя себе представить юнкерства как социального явления»; между тем «в XVIII в. у Англии завелся огромный коллективный мужик, в лице цветного населения захваченных ею колоний» (стр. 182).

С наступлением войны в Англии растет дороговизна, понижается заработная плата, начинают играть роль военные элементы, русский эмигрант Адамович выдается русской политической полиции (стр. 183); фельдмаршал Китченер становится одной из самых популярных фигур в государстве; происходит «превращение британской демократии в Китченерию» (стр. 187). Англия вслед за Францией выпадала из системы «революционной Европы»: позиция Англии, Франции и России, вместе взятых и противостоящих юнкерской Германии, определялась одной целью — борьбой с «социализмом» (стр. 191).

Не приходится затрачивать время на критику исторической публицистики Покровского периода империалистической войны.

Все его рассуждения построены на непонимании характера новой эпохи, на непонимании принципиальных различий, существующих между эпохой домонополистического капитализма и его высшей и последней стадией — эпохой финансового капитала.

Напомним слова Ленина: «Колониальная политика и империализм существовали и до новейшей ступени капитализма и даже до капитализма. Рим, основанный на рабстве, вел колониальную политику и осуществлял империализм. Но «общие» рассуждения об империализме, забывающие или отодвигающие на задний план коренную разницу общественно-экономических формаций, превращаются неизбежно в пустейшие банальности или бахвальство, вроде сравнения «Великого Рима с великой Британией».[1]

Статьи пореволюционного периода

Покровский пришел к Октябрьской социалистической революции с целым рядом взаимнопротиворечивых, друг друга исключавших концепций внешней политики царской России.

Каким изменениям подверглись взгляды Покровского на внешнюю политику царской России в пореволюционный период? Для трудов Покровского, относящихся к этому периоду, характерно то, что именно в эту пору отчетливо выкристаллизовывается почерпнутая из той же богдановской социологии его теория о торгово-капиталистическом характере самодержавия, теория, основанная на непонимании учения Маркса об общественно-экономических формациях, теория, согласно которой «торговый капитал был настоящий царь, который стоял за коронованным... призраком или... манекеном, был настоящей руководящей силой, которая создала и русскую империю и крепостное право».[2]

Последовательно проводимая, эта теория социальной природы самодержавия должна была, разумеется, привести Покровского и к пересмотру его старых построений в области внешней политики царской России. Открывшиеся для Покровского возможности непосредственного знакомства со всей полнотой первоисточников дипломатической истории не могли в то же время не повести хотя бы к некоторому частичному пересмотру, если не исправлению, старых положений.

В предисловии к документам, подобранным на тему о русско-германских отношениях 1873—1914 гг. и опубликованным Центрархивом в 1922 г., Покровский, продолжая еще повторять свои старые положения о промышленном происхождении ближневосточной политики Николая I, признавал, однако, что восточный вопрос ни на минуту не терял значения важнейшего вопроса и в политике

---

[1] Ленин, соч., XIX, 137.

[2] Историческая наука и борьба классов, I, 28.

Александра II, и в политике его сына и его внука.[1] В своих статьях «Александр II» и «Александр III», написанных для II тома БСЭ, Покровский развивает приблизительно такие же взгляды. Большая статья в III томе БСЭ на тему «Восточный вопрос» указывает на ряд сдвигов, происходивших во взглядах Покровского. Характерно, что теперь он делает ударение не только и не столько на промышленном развитии России первого десятилетия XIX в., сколько на промышленном развитии Англии, причем последняя оказывается особенно заинтересованной в бассейне Средиземного моря. Николай I перед Крымской войной лишается у Покровского утрированных черт самонадеянного тупицы, каким он изображался на страницах гранатовского издания. Покровский вместе с тем правильно подчеркивает иллюзорность надежд, возлагавшихся Николаем на своих английских друзей. Теперь Покровский правильно отмечает вассальную зависимость Греции от Англии, как и правильно констатирует углубляющиеся после Крымской войны противоречия между Англией и Францией в вопросах Египта и Суэца. Здесь Покровский признает и самостоятельное значение за национальными движениями на Балканах; теперь он убедился и в том, что Австро-Венгрия стояла на пути национального развития Сербии.

Однако и в этой работе осталась неисправленной основная, важнейшая ошибка Покровского, свойственная его старым работам, — игнорирование вопроса о проливах. Восточный вопрос выводится попрежнему только из англо-русской экономической борьбы; англо-французская борьба 30—40-х годов у Покровского попрежнему выпадает; русский текстиль в эти десятилетия попрежнему безраздельно господствует в Турции и Персии; после Крымской войны Россия начинает готовиться к выступлению на Балканах только с 70-х годов.

Предпринятое Центрархивом опубликование переписки Вильгельма II с Николаем II, относящейся к 90-м и началу 900-х годов, привело Покровского к пересмотру его взглядов на дальневосточную проблему. Начатая им в этой области перестройка старой концепции не была, однако, доведена до конца: в результате мы встречаем теперь у Покровского, с одной стороны, становившийся стержневым русско-германский конфликт, выраставший попрежнему на почве борьбы за хлебные пошлины, с другой — «дальневосточную авантюру Романовых, загонявшую... Николая на колею англо-германского конфликта».[2]

К этому времени относится окончание и доработка впервые появившейся в печати в 1920 г. «Русской истории в самом сжатом очерке». История эта воспроизводит в основном концепцию, развитую Покровским в его «Русской истории с древнейших времен», но это повторяется здесь в утрированной и вульгаризованной форме,

---

[1] Красный архив, № 1, 1—9, 1922.

[2] Переписка Вильгельма II с Николаем II, 1894—1914, стр. IV—VI, изд. Центрархива.

обнажающей построенную Покровским схему во всей ее наготе. Если изложить сущность заключающейся в ней внешнеполитической концепции, то дело сведется в основном к следующему.

К началу XIX в. на исторической арене наблюдается деятельность трех «капиталов»: двух промышленных (французского и английского) и третьего — торгового (русского). Промышленные капиталы ведут между собою борьбу. Русский торговый деятельно помогает английскому промышленному. Вынужденный пойти на временную сделку с французским промышленным, он, в конце концов, «добивается своего»: армия французского промышленного капитала замерзает в снегах, принадлежащих русскому торговому капиталу (стр. 98—99).[1]

В тяжелые дни Тильзита, когда русский торговый капитал «совсем повесил голову» и раздавалось только его «глухое ворчание», мир обогатился новым промышленным капиталом — то был русский промышленный капитал. Ребенок рос так быстро, что скоро деятельность русского торгового капитала была им сведена на-нет, и от него на страницах истории Покровского почти ничего не осталось. Русский промышленный капитал не интересуется малорентабельным вмешательством в дела Западной Европы (1848 год в счет не идет), и открывает ряд завоевательных войн на Ближнем и Среднем Востоке, энергично наступая на зону влияния английского капитала. Последний оказывается вынужденным к самозащите; он отчаянно отбивается от превосходящего силами противника, но постепенно вытесняется со старых позиций.

Трудно отдать себе отчет в том, какая участь постигла бы английский промышленный капитал, если бы он не получил неожиданной поддержки от промышленного капитала французского. При этих условиях дело русского промышленного капитала оказалось безвозвратно проигранным.

После Крымской войны русский торговый капитал выходит из летаргии; он примиряется со своим старым противником, но не выпускает инициативы из своих рук. В результате внешняя политика царской России ознаменовывается двумя фактами: 1) завоеванием туркестанских узбеков и 2) мероприятиями по захвату Константинополя (стр. 165—167). Агрессия на Константинополь сталкивает русский торговый капитал с промышленным капиталом Англии и Австрии. Тогда он (русский торговый капитал) заключает союз с промышленным капиталом Пруссии и «обжуливает» австрийцев. «Общественное мнение русской буржуазии» (т. е. того же промышленного капитала) ему удалось обработать путем инсценировки боснийско-герцоговинского восстания, а также путем организации ряда болгарских восстаний и их подавления: турецкие власти, не разбиравшиеся в окру-

[1] Нумерация страниц дается по второму посмертному изданию 1932 г.

жающей обстановке, не подозревая ничего худого, устроили, по наущению русских, ряд болгарских и сербских погромов.

В то время, когда русский торговый капитал был занят этими проделками, английскому промышленному удалось поймать его с поличным и, вооружив турецкую армию, примерно наказать виновника войны 1877 г. Когда, в результате ряда поражений, понесенных русской армией, она стала угрожать Константинополю, на защиту последнего выступил победоносный английский промышленный капитал. «Игрушка», которую русский торговый капитал хотел подарить русскому промышленному, «оказалась», по словам Покровского, «сломанной и запачканной» (стр. 169). «Дитя ее не приняло, — пишет Покровский, — и еще больше надуло губы». Вскоре оно так рассердилось на приказчика торгового капитала, что убило его. Новый приказчик, поставленный торговым капиталом во главе государства,— Александр III — был тупица и пьяница. Придворная обстановка мешала ему пить как прежде «открыто», но он «напивался в одиночку».

В этой связи становится понятным, что проводить какую-либо внешнюю политику он решительно не был в состоянии. Однако «объективные условия» помогли ему. Снова понизились хлебные цены на мировом рынке. В связи с этим Россия из страны земледельческой стала снова превращаться в индустриальную (стр. 176—177). На сцене вновь появляется промышленный капитал. Он стремится к освоению оккупированной Болгарии, встречая противодействие со стороны болгарской буржуазии. Ее защитил прусский аграрный капитал. Началась борьба между двумя помещиками, причем русскому промышленному капиталу удалось временно остаться в стороне. «Прогнанный с берлинской биржи» Вышнеградский бежит в Париж, где находит себе убежище. Из Парижа Вышнеградскому удалось благополучно вернуться в Россию, но по его следам в Петербург приехали французские банкиры и генералы. Последние заставили злоупотреблявшего алкоголем царя подписать соглашение и, «потуже затянув на его шее веревочку», «повели» его и его невменяемого сына в Манчжурию. Русская внешняя политика вступает в новую стадию «первоначального накопления» и «торгашеского феодального колонизаторства» (стр. 316—323).

В своих «Очерках революционного движения XIX—XX вв.»[1] Покровский вносил в эту схему некоторые дополнительные моменты, в основном не нарушая ее. В «Очерках» русский «промышленный капитализм» и русский «торговый капитализм» не ограничиваются теми формами взаимной борьбы, какие, согласно Покровскому, были свойственны истории всех стран Западной Европы, кроме Англии; в России, торопясь догнать своих западноевропейских прототипов, «они сталкивались друг с другом более бесцеремонно», и «в этой спешке» «топтали и мяли друг друга» (стр. 14). Здесь же Покровский воз-

---

[1] Изд. 1924 г. (лекции, читанные в 1923—1924 гг.).

рождал таможенную теорию империализма. «Русский протекционизм,— говорил он, — в сравнении с германским — это тигр в сравнении с кошкой, а сравнительно с американским — тот же тигр в сравнении с рысью» (стр. 120). Отсюда — богатая территориальными приобретениями внешняя политика царской России второй половины XIX в. попадала у Покровского под определение «отчаянно империалистической».

Приведенную выше схему, в полном смысле слова чудовищную, последнюю схему Покровского, составленную в духе ярко выраженного и последовательно проведенного экономического материализма, он через два года сменил другой, которую вывел из окончательно к этому времени сложившейся теории «торгового капитализма». В 1925 г. Покровскому пришлось вступить в полемику с одним из своих учеников, разоблаченным впоследствии врагом народа Слепковым. Последний характеризовал самодержавие начала XX в. как власть промышленного капитала. Позабыв о своих собственных старых ошибках, Покровский, однако, правильно объявлял эту попытку троцкизмом.[1] Но он неправильно говорил о том, что «торговый капитал еще и в это время мог играть роль хозяина, а промышленный являлся как бы гостем, причем нельзя даже сказать, чтобы гостем почетным, а таким, которого пускают в комнаты по необходимости».[2]

«Русский абсолютизм, — по словам Покровского, — не только объективно был политически организованным торговым капитализмом, но и мыслил себя как таковой».[3]

Русский абсолютизм «выполнял», по разъяснению Покровского, «колоссальную внешнеполитическую работу» в интересах торгового капитала.[4]

Покровский находил, что «торгово-капиталистический смысл как завоевания Кавказа, так и Средней Азии» и русской политики на Дальнем Востоке не вызывает никаких сомнений».[5]

Он утверждал, что «в самом конце XIX в. в своей внешней политике империя Романовых осталась колониальной державой наиболее примитивного типа — аппаратом торгово-капиталистической эксплоатации малокультурных стран».[6] Он определял при этом Витте, Куропаткина и Ламздорфа, с одной стороны, и Николая II и Безобразова — с другой, как представителей торгового капитала «в двух его фазах». Это было время, когда Покровскому приходилось критиковать и другого своего ученика, также впоследствии разоблаченного врага народа Томсинского. Последний проповедывал теорию,

---

[1] Историческая наука и борьба классов, I, 207.
[2] Там же, 218.
[3] Там же, 215.
[4] Там же, 225.
[5] Там же, 235.
[6] Там же, 245—246.

согласно которой «вся внешняя политика Романовых определялась исключительно интересами промышленного капитала».

Напоминая своему ученику слова Энгельса об отсутствии автоматизма в области воздействия экономики на политику и о том, что «люди делают свою историю сами», Покровский доказывал законность «психологического метода» и говорил о важности изучения дипломатических документов эпохи.[1]

И в это же время решительно упраздняя свои старые схемы, Покровский подходил к постройке на базе теории торгового капитала новой схемы, в которую собирался уложить всю внешнюю политику и XIX и XX вв.

«На берегах Тихого океана, — приходил теперь к новому заключению Покровский, — продолжалась та же борьба за Константинополь, которую раньше вели на берегах Аму и Сыра».[2] «Вся наша внешняя политика, — продолжал он развивать ту же мысль в своих лекциях, читанных в следующем году в Свердловском университете, — была борьбой за торговые пути». «Со второй половины XVIII в., с Екатерины II до Николая II включительно, — это была борьба за Черное море и проливы, ведущие из Черного моря в Средиземное, борьба за южные торговые пути».[3]

Той проблеме, которую раньше Покровский трактовал как «старомосковскую легенду» и проблему мнимую, как «игрушку», подбрасывавшуюся царям для забавы, — этой проблеме, ограниченной при этом мотивами борьбы за торговые пути, он придает теперь значение не только главной, ведущей проблемы в системе внешней политики царизма (это было бы правильно), но и единственно реальной проблемы, к которой сводятся и перед которой бледнеют и исчезают (и здесь Покровский снова впадает в ошибку) все другие задачи внешней политики, стоявшие перед царской Россией. Из этой последней схемы Покровского теперь выпадает, в качестве политики, имеющей самостоятельное значение, вся среднеазиатская и вся дальневосточная политика царизма. Согласно этой схеме, до Крымской войны царизм был занят только проливами. После Крымской войны, вплоть до 1877 г., продолжалось то же самое. После окончания войны на Балканах война эта продолжалась в Средней Азии. Борьба за проливы привела к созданию Добровольного флота; она привела далее к постройке Сибирской железной дороги и к поискам незамерзающего порта на Дальнем Востоке. Словом, без черноморских проливов не было бы ни среднеазиатской, ни дальневосточной политики царской России, не было бы и дальневосточной «авантюры», которая, по разъяснению Покровского, зародилась именно в середине 80-х годов.

---

[1] Там же, 255.
[2] Там же, 262.
[3] Внешняя политика России в XX в., 11. М., 1926.

Построив попутно «авантюрную» теорию происхождения Сибирской железной дороги, установив, что на берегах Тихого океана царская Россия воевала за те же самые проливы,[1] Покровский попутно приходил и к новой теории происхождения революции: он утверждал, что «династию Романовых» «привела в Екатеринбург» именно внешняя политика.[2]

Превратив правильную мысль — о стержневом значении вопроса о проливах в системе внешней политики царской России — в мысль абсурдную, в мысль о всепоглощающем значении вопроса о проливах, Покровский на месте своих прежних ложных схем водрузил другую, не менее ложную.

Правильно отмечая, что для понимания происходивших на Дальнем Востоке событий нельзя ограничиться изучением политики одной страны и даже двух борющихся стран, что надо понять всю «систему империалистических противоречий, охвативших весь мир», Покровский в том же курсе лекций, читанных в Свердловском университете, приходил к новому ложному выводу о том, что на Дальнем Востоке Россия представляла интересы не только свои, но «в гораздо большей степени — германского империализма».[3]

Покровский шел, таким образом, по пути к очередной новой схеме, исходившей из мысли об отсутствии самостоятельных целей и интересов во внешней политике у царской России, исходившей из представления о России, как сателлите Германии. Только что упрекнув своего ученика в уклоне к троцкизму, намечавшейся новой схемой Покровский прокладывал новый прямой путь к нему.

Эта антиленинская схема истории русской внешней политики XIX в. осталась незавершенной, и о ней говорить не приходится.

Рассмотренная выше и вполне законченная схема Покровского об универсальном значении борьбы за южные торговые пути, за проливы, являясь схемой антиисторической, с достаточной убедительностью говорит нам о трагической судьбе всех усилий историка, который шел не марксистским путем: вся конкретная история внешней политики царской России оказалась ликвидированной, а та «старомосковская легенда», с которою в течение всей своей жизни, во всех своих работах по истории внешней политики царской России боролся Покровский, ожила под сенью надисторической категории «торгового капитала».

Методологическое банкротство Покровского с неизбежностью привело историка к теоретической капитуляции.

---

[1] Внешняя политика России в XX в., стр. 13—14.

[2] Красный архив, № 1, Русско-германские отношения. Предисловие М. Н. Покровского, стр. 6—9.

[3] Внешняя политика России в XX в., стр. 35.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своих работах по истории внешней политики царской России XIX в. Покровский дал ряд концепций этой политики, внутренне противоречивых и часто взаимно исключавших одна другую. Нередко приходится слышать: крупнейшая ошибка Покровского заключалась в том, что он игнорировал значение вопроса о проливах в истории внешней политики самодержавия. Иногда, наоборот, отмечается, что ошибка Покровского заключалась в том, что вопросу о проливах он придавал в системе русской внешней политики универсальное значение.

Верно и то и другое: на определенном этапе своей работы Покровский не видел реальной заинтересованности царской России в проливах и трактовал ближневосточный вопрос как вопрос, навязанный извне царизму; в другой раз он готов был сводить к нему все прочие вопросы внешней политики самодержавия. Некоторые указывают, что Покровский всю внешнюю политику царской России XIX в. ошибочно изображал как борьбу царей за «принципы легитимизма». Другие находят, что ошибка Покровского заключается в том, что он сбрасывал со счетов истории такие контрреволюционные акции царизма, как организацию «Священного союза» или интервенции 1849 г. И опять приходится повторить, что и то и другое замечание правильно, так как на различных этапах своей деятельности Покровский высказывал диаметрально противоречивые взгляды.

Взгляды Покровского на вопросы внешней политики царской России приходится рассматривать в их эволюции. Известно то теоретическое русло, по которому шло его развитие. Покровский «преодолевал» идеалистическое наследство буржуазно-дворянской историографии при помощи философской и социологической теории Богданова, в основе которой лежало по существу идеалистическое понимание истории. В ней уживался, с одной стороны, субъективизм махистского толка, отрицавший объективность научного знания, с другой,—экономический материализм, основывавшийся на механистическом, а не диалектическом понимании роли экономики и техники в истории.

Игнорируя основное положение марксизма, говорящее о том, что в основе каждой исторической формации лежит определенный способ производства, Покровский вслед за Богдановым шел к неправильному пониманию отношений обмена как определяющего фактора истории, к неправильной оценке роли хлебной торговли, хлебных цен и хлебного экспорта. Извратив роль обмена и производства, игнорируя конкретные классовые отношения, Покровский вслед за Богдановым дал неправильное понимание классовой природы самодержавия. В первых работах Покровского, вошедших в гранатовскую девятитомную «Историю России в XIX в.», царская власть попеременно опирается то на феодальную знать, то на среднее дворянство, то на промышленную буржуазию, то на блок дворянства с буржуазией. В «Русской истории с древнейших времен» власть эта попеременно вырисовывается

Покровским то как власть капитала «аграрного» или «торгового», то как власть капитала промышленного, то как агентура капитала «аграрного» или «торгового». В конце концов в своих последующих работах Покровский в полном соответствии с богдановской схемой нашел единую классовую базу самодержавия в лице торгового капитала. «Диктатура» торгового капитала, превращенная Покровским в надисторическую категорию, получила на страницах его истории роль универсального ключа, пригодного для объяснения исторических фактов самых разнообразных эпох.

Характерно, что, не понимая величайшего завоевания марксистской науки—Марксова учения об общественно-экономических формациях,— Покровский на всем протяжении своей деятельности не мог понять и ленинской теории империализма, как высшей фазы капитализма. В полном противоречии с ленинской теорией Покровский под империализмом понимал всякую захватническую политику. В годы империалистической войны он определял политику Николая I как политику «ситцевого империализма». А после Октябрьской Социалистической революции он отрицал империалистический характер русско-японской войны и объяснял (в 1926 г.) империалистическую войну как борьбу за господство в области океанского транспорта.[1]

Историческая концепция Покровского о роли торгового капитала в русской истории законченный характер получила не сразу.

Освещение фактов внешней политики царизма XIX в. с позиций теории торгового капитала, робкое и неуверенное в первых работах Покровского, последовательно и решительно проводится им только в его последних работах. Но антимарксистский, антидиалектический метод в изучении истории внешней политики царизма свойственен всем работам его.

В первых своих работах, посвященных дипломатии и войнам царской России XIX в., отличающихся особенным богатством конкретно-исторического материала, напечатанных в девятитомном издании Гранат, Покровский еще далек от того, чтобы рассматривать все внешнеполитические факты с позиций экономического материализма. С этих позиций он объяснял только те явления, которые легче поддавались этому мнимому объяснению. Все то, что Покровскому объяснить таким образом не представлялось возможным, им освещалось в чисто идеалистическом духе или объявлялось не реальным и вовсе не существующим.

В результате антимарксистского подхода к историческим фактам мы встречаем на страницах «Истории России в XIX в.» изображение александровской России как страны, находящейся в колониальной зависимости от Англии и не преследующей каких-либо самостоятельных внешнеполитических задач. Со страниц этой истории исчезает и вся та борьба, которую вела царская Россия за обеспечение свободного выхода в теплое море. Игнорируя значение восточного вопроса

[1] См. М. Н. Покровский. Империалистическая война, 1934, стр. 40.

в системе внешней политики царизма и не вскрывая анализа той классовой и международной обстановки, которая была характерна для Европы эпохи буржуазных революций, не видя на международной арене иных агрессивных сил, кроме царской России, Покровский приходил к вульгаризированному изображению как роли Священного союза, так и истории Крымской войны.

Не понимая того, что результаты Крымской войны лишили царскую Россию роли гегемона Европы, Покровский продолжал рассматривать всю внешнюю политику самодержавия всех последующих десятилетий только как борьбу этого гегемона за старые «принципы легитимизма» и противопоставлять реакционной царской России образ монолитной «революционной» Европы. Не отделяя существенное от второстепенного и определяющее от производного, Покровский подменял изучение основных мотивов колониальной политики самодержавия описанием методов этой политики и давал поверхностное, искаженное изображение ее.

В первой своей работе, посвященной истории внешней политики царизма, как и в ряде своих позднейших работ, Покровский выступал не только как историк, но и как публицист, на взглядах которого отражалось влияние народнической и меньшевистской публицистики. В борьбе с русской буржуазно-дворянской историографией он оказывался в плену у западноевропейской буржуазной историографии и публицистики. М. Покровский определял прогрессивность политики той или иной европейской страны по признаку антагонистичности в данный момент ее интересов интересам России.

Как Покровский впоследствии[1] сам признавался, он не сумел в своих первых работах преодолеть влияние идеологии II Интернационала и давал освещение международным отношениям «не столько с точки зрения реальных экономических интересов различных групп, сколько от идеологии этих групп».

В своей «Русской истории с древнейших времен» Покровский пытался исправить свои старые ошибки, но он исправлял их с позиций экономического материализма. В этом плане факты внешней политики должны были быть объясняемы непосредственно экономическими причинами, «автоматически» вытекать из экономики. Поэтому на почве кризиса хлебных цен и «катастрофического» подъема русской промышленности вырастала на страницах истории Покровского внешняя политика николаевского самодержавия как политика промышленного капитала. В этом плане запретительные тарифы приводили Россию с неизбежностью к столкновению с Англией, вынужденной обороняться от мнимой русской промышленной экспансии на Балканах и в Турции.

После крушения николаевской политики в Крымской войне под Севастополем в качестве решающего фактора появились на стра-

[1] В 1924 г. в «послесловии» к сборнику «Дипломатия и войны царской России XIX в.».

ницах истории Покровского фритредерские тарифы; это же должно было означать, что на смену внешней политики промышленного капитала приходила политика аграрного капитала, и вражда с Англией должна была на страницах Покровского смениться мнимой дружбой с нею. Протекционные тарифы конца 70-х — 80-х гг., начинавшие у Покровского угрожать судьбам германского капитализма, с неотвратимою неизбежностью приводили к русско-германскому конфликту и далее к мировой войне.

Строя свою историю внешней политики царской России в таком плане, Покровский оставлял за бортом своей истории такие факты, как образование Священного союза, подавление венгерской революции 1849 г., тем самым ликвидировалась проблема «европейского жандарма». Игнорируя английскую агрессию в Средней Азии, игнорируя завязывавшуюся в конце XIX в. империалистическую борьбу на Дальнем Востоке и начавшийся тогда бурный натиск австро-германского капитала на Ближнем Востоке, Покровский тем самым подсекал всякую возможность правильного понимания внешней политики царской России.

В годы империалистической войны и непосредственно за ними следующие, Покровский пришел к мысли о необходимости включить в свою концепцию внешней политики самодержавия позабытый им вопрос о борьбе за проливы. Применяя к фактам внешней политики свою антиисторическую, антимарксистскую теорию торгового капитала, Покровский заменил свое старое неправильное определение восточной политики самодержавия, как политики промышленного капитала, не менее ложным утверждением, что эта политика была политикой торгового капитала. В завоевании Кавказа, Средней Азии, в империалистической политике царизма на Дальнем Востоке Покровский усматривал только «торгово-капиталистический смысл». Вся внешняя политика царской России от Екатерины II до Николая II включительно объявлялась теперь Покровским борьбой за южные пути, за проливы.

Покровский пришел к безжизненной и бесплодной схеме, утверждавшей всемогущество и вездесущность торгового капитала с его извечной борьбой за торговые пути.

Антимарксистский, антиленинский путь, которым шел Покровский в изучении фактов внешней политики, неизбежно привел его к полной ликвидации конкретной истории внешней политики царской России.

А. В. ПЯСКОВСКИЙ

КРИТИКА АНТИЛЕНИНСКИХ ВЗГЛЯДОВ М. Н. ПОКРОВСКОГО НА БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В РОССИИ

I

Ни одному этапу русской истории Покровский не уделил в своих работах так много места и внимания, как буржуазно-демократической революции в России, в особенности — революции 1905—1907 гг., которой он посвятил больше половины книги «Русская история в самом сжатом очерке» и лекций: «Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв». Кроме этого, Покровский написал о революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года не менее двух десятков отдельных статей.[1]

Во всех этих работах Покровского отчетливо видна его особая концепция буржуазно-демократической революции в России — концепция антинаучная, весьма далекая от марксизма-ленинизма.

Сам Покровский, несомненно, чувствовал, что его «теории» весьма далеки от марксистско-ленинских положений, стремился порвать со своим антиленинским багажом и приблизиться к Ленину, неоднократно пытался пересмотреть свои взгляды, вносил отдельные поправки в свои, как он выражался, «схемы». Однако из этого ничего не выходило, и фактически до последних дней он оставался на антиленинских позициях.

Давая своим прежним работам весьма нелестные отзывы, Покровский все же откладывал их коренную переработку, внося в них лишь отдельные исправления и утешаясь мыслью о том, будто бы в основном его схема все-таки не является антиленинской.

---

[1] Укажем здесь только некоторые из них: «Значение революции 1905 года», ГИЗ, Л., 1925. «Два вооруженных восстания (1825—1905)», Под знаменем марксизма, № 12, 1925. «Роль рабочего класса в революции 1905 года» (обработ. стеногр. выступления на собр. актива Кр. Пресни 11/XII 1930 г., посвященном 25-летию революции 1905 г.). «Пролог Октябрьской революции», 1921. «12 марта 1917 года», 1924. «Два Октября», 1925. «Исторический смысл Февраля», 1927 г., «Буржуазная революция против буржуазии», 1927 (см. сб. статей М. Н. Покровского «Октябрьская революция») и др.

«Совершенно ясно писал Покровский в 1931 г. о своей «Русской истории в самом сжатом очерке», — что «в ряде отдельных формулировок (?), иногда очень важных, старые изложения этой концепции (т. е. общей концепции русской истории Покровского. — *А. П.*) звучали весьма не по-ленински, а иногда были попросту теоретически малограмотны». [1]

В предисловии к 4-му изданию третьей части «Русской истории в самом сжатом очерке», посвященной революции 1905—1907 гг., Покровский прямо заявляет: «Текст третьего издания третьей части «Сжатого очерка», казавшийся автору в 1927 г. более или менее прочно отстоявшимся, теперь самого автора уже не совсем удовлетворяет. С его теперешними взглядами на первую нашу революцию скорее можно познакомиться из его брошюры о 1905 г.». [2] И несмотря на заявление, что его самого более не удовлетворяют изложенные в книге взгляды на революцию 1905—1907 гг., Покровский все же находит возможным снова переиздавать «Сжатый очерк» без коренной его переработки.

Покровский неоднократно перекраивал свою схему, исправлял отдельные части, переделывал отдельные места и все-таки даже сам никогда не был уверен в том, что его схема свободна от ошибок. «Свободна ли эта «окончательная» схема от ошибок? — писал Покровский в 1931 г. — Никак не могу этого обещать. Она свободна от тех ошибок, которые я успел заметить и исправить, но могут быть ошибки, которых я еще не заметил». [3]

Впрочем, было бы неправильно сделать общий вывод о том, что Покровский полностью осознал ошибочность своих взглядов и стал целиком на ленинско-сталинские позиции. Этого как раз и не было. Беда Покровского заключалась в том, что он до последних дней считал свою схему в основном все-таки ленинской, [4] яростно отстаивал ее и признавал наличие лишь отдельных ошибок, антиленинских положений, неверных формулировок и т. д., тогда как в действительности его концепция именно в *основном* ничего общего с ленинизмом не имела и не имеет.

---

[1] М. Н. Покровский. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России (см. прилож. к «Русской истории в самом сжатом очерке», стр. 491, Партиздат, М., 1933).

[2] М. Н. Покровский. Предисловие к 4-му изданию 3-й части «Русской истории в самом сжатом очерке», стр. 233. Партиздат, 1933. Брошюра, на которую ссылается здесь Покровский, — это его выступление на собрании актива Кр. Пресни 11/XII 1930 г. «Роль рабочего класса в революции 1905 года». Положения этой брошюры мало чем отличаются от других высказываний М. Н. Покровского о революции 1905—1907 гг.

[3] М. Н. Покровский. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России, стр. 493.

[4] «Та концепция русской истории, — писал М. Н. Покровский, — которую я выше назвал марксистской, в *основном*, конечно, никогда не расходилась с ленинской»... (подчеркнуто Покровским). «Русская история в самом сжатом очерке», стр. 491, Партиздат, 1933.

Покровский не понимал того, что марксизм-ленинизм можно принять лишь *целиком,* а не по частям.

Вот почему все попытки Покровского подновить, частично подправить свои антиленинские взгляды на буржуазно-демократическую революцию в России без коренной их переработки создавали лишь бесчисленные противоречия в его работах и нагромождали новые ошибки.

Особенно много путаницы, оппортунистических извращений, намеренных искажений и клеветы имеется в литературе по истории революции 1905—1907 гг. Здесь в свое время подвизались меньшевистские литераторы (напр., авторы меньшевистского пятитомника), эсеры, предатель Троцкий и его приспешники. Тем более необходимо дать критический анализ антиленинских взглядов Покровского на нашу первую революцию,[1] опирающихся в основном на эти антинаучные писания.

Клеветой является утверждение Покровского, будто наша партия не имела и не имеет никакого своего руководства по истории революции 1905—1907 гг., в то время как меньшевики такое свое руководство будто бы имели. Этим заявлением Покровский отбрасывает гениальные труды Ленина и Сталина по истории революции 1905—1907 гг. Впрочем, в 1929 г. Покровский «признал» за Лениным разработку одного из вопросов революции 1905—1907 гг., вопроса о массовом движении. Он писал: «...у него (у Ленина. — *А. П.*) великолепно разработано *только* массовое движение эпохи первой революции, с 1901, примерно, по 1907 г.».[2]

То же самое Покровский утверждал и в отношении февральской революции 1917 года. «С пролетарским периодом русской революции,[3] — писал он, — грозит повториться то, что уже случилось с демократическим периодом. Историю движения 1905—1907 гг. описали не те, кто делал тогда революцию, а те, кто мешал ее делать. У нас есть меньшевистская история первого восстания русской народной массы против романовского режима, есть попытки кадетской истории, — а со стороны большевиков не было даже попыток, сколько-нибудь выдержанных и последовательных».[4]

Таким бесцеремонным образом разделался М. Н. Покровский с величайшими историками современности — В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

Отбросив работы величайших классиков марксизма-ленинизма

---

[1] Эти работы частично подвергались критике тов. Ем. Ярославского. См., например, его статью в № 2 журн. «Историк-марксист» за 1936 г., 3—8; «Об одной неверной оценке революции 1905 г.».

[2] М. Н. Покровский. Ленинизм и русская история. Пролетарская революция, № 1 (84), 13, 1929. (Подчеркнуто мною. — *А. П*).

[3] Как мы увидим ниже, февральскую революцию 1917 г. Покровский считал пролетарской революцией.

[4] М. Н. Покровский. Сб. «Октябрьская революция», 115, изд. Комакадемии, 1929.

Ленина и Сталина, как «не историков», Покровский, излагает историю революции 1905—1907 гг. под сильным влиянием меньшевистско-троцкистских «пособий». Под влиянием этих «пособий» у него и выработалась «особая» концепция революции 1905—1907 гг.

Не случайно поэтому, что так называемая «историческая школа Покровского» стала прибежищем врагов народа, диверсантов и шпионов. Антиленинские концепции Покровского служили прикрытием для контрабандного протаскивания в нашу историческую науку троцкистской и иной завали. Хотя сам Покровский и полемизировал с Троцким и бухаринскими приспешниками, выступая против их отдельных положений, однако эта полемика являлась только ширмой для его «учеников», нагло протаскивавших в историческую науку всевозможные вредительские «теории» и «теорийки».

II

Как оценивали буржуазно-демократическую революцию в России Ленин и Сталин?

В своем «Докладе о революции 1905 года», прочитанном в Цюрихе в январе 1917 г., незадолго до своего возвращения в Россию, Ленин говорил: «...самое важное в революции: ее классовый характер, ее движущие силы, ее средства борьбы...»[1] Без рассмотрения этих вопросов нельзя правильно подойти к оценке любой революции — на это неоднократно указывали Ленин и Сталин. «Чтобы оценить революцию действительно по-марксистски, с точки зрения диалектического материализма, — писал Ленин в статье «К оценке русской революции», — надо оценить ее, как борьбу живых общественных сил, поставленных в такие-то объективные условия, действующих так-то и применяющих с большим или меньшим успехом такие-то формы борьбы».[2]

Итак, для правильной, марксистско-ленинской оценки революции необходимо рассмотрение, по крайней мере, следующих важнейших данных: 1) когда и где происходила революция и, следовательно, при каких объективных условиях она протекала; 2) каково социально-экономическое содержание данной революции, ее классовый характер; 3) каково соотношение классовых сил в революции и какие классы являются ее движущими силами, какой класс—руководитель (гегемон) революции; 4) какие методы борьбы применялись в революции.

Посмотрим, как Ленин и Сталин отвечали на эти вопросы в отношении русской революции 1905—1907 гг.

Ленин и Сталин неустанно подчеркивали своеобразие и весьма существенные особенности русской буржуазной революции 1905—1907 гг., вытекавшие из совершенно иных условий, в которых про-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 356.
[2] В. И. Ленин. Соч., XII, 208.

текала эта революция по сравнению с буржуазными революциями на Западе (XVIII—XIX вв.). Именно этого никогда не понимали и не могли понять меньшевики. Они механически переносили на русскую революцию 1905—1907 гг. все те положения, которые были правильны в свое время для буржуазных революций на Западе, протекавших в совершенно других условиях.

«Русская буржуазно-демократическая революция (1905 г.), — писал товарищ Сталин, — протекала при условиях, отличных от условий на Западе во время революционных переворотов, например, во Франции и в Германии».[1]

Каковы же были эти условия в царской России накануне революции 1905—1907 гг.?

Во-первых, русская революция 1905—1907 гг. была одной из последних буржуазных революций в Европе. Это была запоздалая буржуазная революция. И вместе с тем она была первой буржуазной революцией эпохи империализма. Другими словами, русская буржуазная революция 1905—1907 гг. произошла не в период подъема развития капиталистической системы, когда капитализм в целом шел еще по восходящей линии своего развития, как это имело место во время революций на Западе, а в период умирания, загнивания этой системы, когда капитализм в целом шел уже по нисходящей линии своего развития, когда старый «свободный» капитализм превратился уже в империализм; она произошла на закате дней капитализма, когда в двери истории властно стучался уже новый класс — могильщик капитализма — пролетариат.

Во-вторых, Россия в начале XX в. была уже страной сравнительно высоко развитого капитализма. Ее промышленная продукция накануне революции 1905—1907 гг. значительно превосходила промышленную продукцию таких стран, как Германия или Франция в середине XIX в., т. е. в эпоху буржуазных революций в этих странах. Например, выплавка чугуна в 1848 г. составляла в Германии 205 тыс. тонн, во Франции в 1850 г. — 406 тыс. тонн, а в России накануне революции 1905 г. (в 1901 г.) — 2870 тыс. тонн, т. е. ровно в 14 раз больше, чем в Германии и в 7 раз больше, чем во Франции. Добыча угля в те же годы составляла в Германии 5800 тыс. тонн, во Франции — 4434 тыс. тонн, а в России — 16 541 тыс. тонн, т. е. почти в 3 раза больше, чем в Германии и почти в 4 раза больше, чем во Франции[2], и т. д. «В то время как революция на Западе разыгралась, — писал тов. Сталин, — в условиях мануфактурного периода... в России, наоборот, революция началась (1905 г.) в условиях машинного периода»...[3] О сравнительно высоком развитии капитализма в России говорит «небывалая концентрация русской промыш-

---

[1] И. В. Сталин. О Ленине, стр. 7, Партиздат, 1937.

[2] Цифры взяты из работы «Мировые экономические кризисы 1848—1936 гг.», Соцэкгиз, 1937.

[3] И. В. Сталин. О Ленине, стр. 7. Партиздат, 1937.

ленности накануне революции». К 1905 году в России имел уже место монополистический капитализм (империализм). Об этом свидетельствует, например, тот факт, что уже в 1902—1904 гг. был организован в русской промышленности целый ряд капиталистических объединений (в металлургической, каменноугольной, текстильной, сахарной, цементной и других отраслях). Росту этих объединений дал толчок экономический кризис 1900—1903 гг., после которого был организован ряд синдикатов — «Продуголь», «Продамет», «Общество по продаже чугунолитейных труб» и т. д.

В-третьих, накануне революции 1905 г. в России имела место весьма высокая концентрация русского пролетариата, связанная с высокой концентрацией производства. По степени концентрации пролетариата русская промышленность превосходила в то время промышленность даже крупнейших капиталистических стран, например США. Для иллюстрации этого положения товарищ Сталин приводил следующий пример: в то время, как в России в 1902 г. на предприятиях, имеющих свыше 500 рабочих, было занято всего 54% от общего числа рабочих, в это самое время в США на аналогичных предприятиях работало только 33% всех рабочих. Эта высокая концентрация русской промышленности и русского пролетариата уже накануне революции 1905 г. имела огромное значение в том смысле, что создавала благоприятные условия для организации сил пролетариата на борьбу против царизма и капитализма.

Сравнивая условия, в которых началась русская буржуазная революция, с условиями, в которых происходили буржуазные революции на Западе, товарищ Сталин указывал на тот факт, что в России накануне революции 1905 г. был уже «сравнительно многочисленный и сплоченный капитализмом русский пролетариат», в то время как на Западе во время буржуазных революций «пролетариат был слаб и малочислен».[1]

В-четвертых, накануне революции 1905 г. в России пролетариат уже «имел свою партию, более сплоченную, чем буржуазная, имел свои классовые требования»; во время же буржуазных революций на Западе пролетариат «не имел своей собственной партии, могущей формулировать его требования». Это обстоятельство сыграло, конечно, огромную роль с точки зрения особенностей и своеобразия русской буржуазной революции.

В-пятых, буржуазные революции на Западе разыгрались «в условиях... неразвитой классовой борьбы». Наоборот, буржуазная революция 1905 г. в России началась «в условиях... развитой классовой борьбы, когда сравнительно многочисленный и сплоченный капитализмом русский пролетариат имел уже ряд боев с буржуазией».[2] Классовую борьбу в России обостряли к тому же безобразнейшая

[1] И. В. Сталин. О Ленине, стр. 7. Партиздат, 1937.
[2] Там же.

эксплоатация и полицейский гнет. По этому поводу товарищ Сталин писал: «Безобразные формы эксплоатации на предприятиях плюс нестерпимый полицейский режим царских опричников, — обстоятельство, превращавшее каждую серьезную стачку рабочих в громадный политический акт и закалявшее рабочий класс как силу, до конца революционную».[1]

В-шестых, совершенно иной была буржуазия накануне и в ходе революции 1905—1907 гг. по сравнению с буржуазией во время буржуазных революций на Западе. Товарищ Сталин писал о ней: «политическая дряблость русской буржуазии, превратившаяся после революции 1905 г. в прислужничество к царизму и прямую контрреволюционность, объясняемую не только революционностью русского пролетариата, отбросившего русскую буржуазию в объятия царизма, но и прямой зависимостью этой буржуазии от казенных заказов».[2] Наоборот, во время буржуазных революций на Западе, «буржуазия была достаточно революционна для того, чтобы внушить рабочим и крестьянам доверие к себе и вывести их на борьбу с аристократией».[3]

В-седьмых, в русской деревне до самой революции 1905 года сохранились пережитки крепостнических порядков, причем главной экономической основой этих пережитков было помещичье землевладение. Реформа 1861 года не только не подорвала крупного помещичьего землевладения, но, наоборот, «освободила», как известно, крестьянство от части их лучших земель в пользу помещика. В результате, к 1905 году земельный фонд в царской России распределялся следующим образом: 30 тыс. помещиков владели в общей сложности 70 млн. десятин земли, в то время как $10^1/_2$ млн. мелких крестьянских хозяйств имели примерно столько же земли (75 млн. десятин). Это составляло в среднем на одно помещичье владение 2333 десятины, на крестьянское же хозяйство — 7 десятин. В числе помещичьих владений имелось около 700 (699) крупнейших латифундий, которым в общей сложности принадлежало около 20 млн. десятин, что составляло в среднем почти 30 тыс. десятин на одно владение. Отдельные помещичьи латифундии достигали колоссальнейших размеров (до 200 тыс. десятин на одно владение). Наряду с этими грандиознейшими владениями в деревне существовало около 3 млн. мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, которым принадлежало от 1 до 5 десятин на отдельное хозяйство.[4]

Мелкие крестьянские хозяйства попрежнему оставались связанными тысячами нитей с помещичьим хозяйством, крестьянство попрежнему оставалось в огромной экономической и политической зави-

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 11-е изд., стр. 38.
[2] Там же.
[3] И. В. Сталин. О Ленине, стр. 7. Партиздат, 1937.
[4] Цифры взяты из работы Ленина «Аграрная программа с.-д. в первой русской революции 1905—07 гг.» Соч., XI, 334—342.

симости от помещика. Пережитки крепостнических отношений довлели над деревней. Ленин это прекрасно показал в своей замечательной работе «Развитие капитализма в России».

Сам царизм также являлся не чем иным, как основным пережитком крепостничества в политическом строе дореволюционной России. Это противоречие между отсталым землевладением и передовым капитализмом Ленин неоднократно подчеркивал. Он говорил: «...*без ломки* старых земельных порядков *не может быть выхода* из того противоречия, которое глубже всего объясняет русскую революцию: самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!».[1]

Эти противоречия в социально-экономическом и политическом строе дореволюционной России резко бросаются в глаза.

В-восьмых, результаты реформы 1861 года, поставившей крестьянство в России на грань между жизнью и смертью, многочисленные и весьма тягостные для крестьянина пережитки крепостнических отношений в деревне превратили русского крестьянина в могучую революционную силу. Это положение неоднократно и настойчиво подчеркивали классики марксизма.

Энгельс еще в 1878 г. определенно указывал на это. Он писал: «...Крестьянство было доведено до такого положения (реформой 1861 года — *А. П.*), при котором невозможно ни жить, ни умереть. Великий освободительный акт, столь единодушно превознесенный и прославленный либеральной прессой Европы, создал не что иное, как лишь твердое основание и абсолютную необходимость будущей революции».[2] Еще раньше (в 1875 г.) Энгельс писал также определенно, «что положение русских крестьян со времени освобождения от крепостной зависимости стало невыносимым, что долго это удержаться не может, что уже по этой причине революция в России приближается, — это ясно».[3]

Так же определенно ставили этот вопрос Ленин и Сталин. Ленин писал: «...Громадные остатки барщинного хозяйства и всевозможные пережитки крепостного права при невиданном обнищании и разорении крестьянской бедноты вполне объясняют глубокие источники революционного крестьянского движения, глубокие корни революционности крестьянства, как массы».[4]

Так же ставит вопрос и товарищ Сталин: «Наличие самых безобразных и самых нестерпимых пережитков крепостнических порядков в деревне, — говорил он, — дополняемых всевластием помещика, — обстоятельство, бросившее крестьянство в объятия революции».[5]

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XII, 124.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XV, 408.
[3] Там же, 256.
[4] В. И. Ленин. Соч., III, 11.
[5] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 38—39.

Итак, революционность русского крестьянства как массы обусловлена наличием «самых безобразных и самых нестерпимых пережитков крепостнических порядков в деревне», а также фактом принадлежности огромного количества земель и притом лучшего качества помещичьим средневековым латифундиям.

Это дало Ленину основание писать: «Аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России и *обусловливает собой национальную особенность этой революции.*

Сущность этого вопроса составляет борьба крестьянства за уничтожение помещичьего землевладения и остатков крепостничества в земледельческом строе России, а, следовательно, и во всех социальных и политических учреждениях ее».[1]

Наличие в России неограниченной власти царизма усиливало во много раз гнет и произвол капиталиста и помещика, которые спокойно орудовали под защитой царя-самодержца и его полицейско-чиновничьего аппарата. К произволу и гнету капиталиста и помещика присоединялись безудержный произвол и дикое угнетение рабочих и крестьян со стороны самого царизма. Товарищ Сталин совершенно отчетливо указал на этот факт как на одну из особенностей той обстановки, в условиях которой, в отличие от буржуазных революций на Западе, началась буржуазная революция в России. Товарищ Сталин говорил: «Царизм, давивший все живое и усугублявший своим произволом гнет капиталиста и помещика, — обстоятельство, соединившее борьбу рабочих и крестьян в единый революционный поток».[2]

Таковы отличные «от условий на Западе во время революционных переворотов (например, во Франции и в Германии)» условия, в которых началась и протекала первая буржуазно-демократическая революция в России 1905—1907 гг. и которые определили особенность и своеобразие этой революции.

Основной экономической причиной революции 1905—1907 гг. в России было *противоречие* между существовавшими пережитками крепостнических порядков и наличием средневековых форм землевладения, с одной стороны, и передовым промышленным и финансовым капитализмом, *который был уже налицо в России,*—с другой. Неправильно выводить причину революции 1905 г. в России только из наличия отсталых крепостнических отношений. Если бы к началу XX в. в России не было уже достаточно развитого капитализма, революция не могла бы совершиться.

Ленин неоднократно подчеркивал это. «Капиталистическое развитие России, — писал он, — сделало уже такой шаг вперед за последние полвека, что сохранение крепостничества в земледелии стало абсолютно невозможным, устранение его приняло формы насильствен-

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 492. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*).
[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 39.

ного кризиса, общенациональной революции»[1]. «Буржуазное развитие России к 1905 году, — писал он Скворцову-Степанову, — было уже вполне зрело для того, чтобы требовать немедленной ломки устаревшей надстройки — устаревшего, средневекового землевладения»[2] и т. д.

Эти противоречия значительно обострились к 1905 году в связи с тяжелым экономическим кризисом, который разразился в 1900—1903 гг. и глубоко потряс всю экономику царской России. Новая грабительская авантюра, предпринятая в это время царизмом на Дальнем Востоке и закончившаяся империалистической русско-японской войной 1904—1905 гг., еще более обострила положение. Военный разгром царской России в результате этой войны вызвал всеобщее недовольство и ускорил революцию.

Таким образом, экономический кризис и русско-японская война, увеличив во много раз страдания и гнет рабочих масс и крестьянства (голод, безработица и пр.), приблизили революцию, ускорили ее начало.

«Тот факт, — писал товарищ Сталин, — что русская революция вспыхнула в результате военных неудач на полях Манчжурии, — этот факт лишь форсировал события, ничего, однако, не меняя в существе дела».[3]

Точно так же и мировая война 1914—1918 гг., в результате которой в России вспыхнула февральская буржуазная революция 1917 г., явилась лишь ускорителем этой революции и придала этой революции «невероятную силу натиска» (Сталин). Товарищ Сталин указывает на этот момент, как на одно из обстоятельств, определивших своеобразие русской буржуазной революции. Он писал: «Империалистская война, слившая все эти противоречия политической жизни России в глубокий революционный кризис и придавшая революции невероятную силу натиска»,[4] явилась одним из обстоятельств, определивших своеобразие этой революции.

III

Русская революция 1905—1907 гг. по своему характеру, по своему социальному содержанию была, как на это указывали Ленин и Сталин, *буржуазной* революцией. «Это была буржуазная революция, — писал Ленин о русской революции 1905 г., — ибо ее непосредственной задачей было свержение царского самодержавия, царской монархии и

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 492—493.
[2] Там же, XIV, 215.
[3] И. В. Сталин. О Ленине, стр. 7. Партиздат, 1937.
[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 39.

разрушение помещичьего землевладения, а не свержение господства буржуазии».[1]

Однако делать вывод из этого положения (как это делали меньшевики), будто руководящая роль в этой революции должна принадлежать буржуазии, абсолютно неправильно. Положение марксистско-ленинской теории о буржуазном характере русской революции «надо уметь применять. Конкретный анализ положения и интересов различных классов должен служить для определения точного значения этой истины в ее применении к тому или иному вопросу. Обратный же способ рассуждения, нередко встречающийся у социал-демократов правого крыла с Плехановым во главе их, — т. е. стремление искать ответов на конкретные вопросы в простом логическом развитии общей истины об основном характере нашей революции, есть опошление марксизма и сплошная насмешка над диалектическим материализмом». [2]

Корнем всех зол, тормозивших дальнейшее развитие производительных сил России, являлись прежде всего пережитки крепостничества в деревне. Они были питательной средой для всего отсталого, средневекового и опорой для самого крупного пережитка средневековья — русского самодержавия.

Надо было, следовательно, разбить в первую очередь русский царизм и уничтожить крепостнические пережитки в деревне, на которые царизм опирался. Это и было основной задачей буржуазной революции в России в 1905 году.

«Гвоздь русской революции, — писал Ленин, — *аграрный* (земельный) вопрос». [3] На это же указывал неоднократно и товарищ Сталин. «Ленин признавал в нашей революции два этапа, — говорил товарищ Сталин на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК 1 августа 1927 г., — первый этап — буржуазно-демократическая революция с аграрным движением как ее главной осью; второй этап — Октябрьская революция с захватом власти пролетариатом как ее главной осью». [4]

Итак, уже перед революцией 1905 года стало совершенно очевидным, что дальнейшее капиталистическое развитие царской России упиралось в пережитки крепостнических порядков. «Необходимо «очистить» всю землю от всего средневекового хлама». [5] Это ясно видели и на своей собственной спине ощущали прежде всего и ярче всего рабочие и крестьяне. Это ясно видели и ощущали неудобство такого положения вещей либеральная буржуазия и обуржуазившиеся помещики, это, наконец, поняли в ходе революции

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 401.
[2] Там же, III, 12. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*).
[3] Там же, X, 197.
[4] И. В. Сталин. Сб. «Марксизм и национально-колониальный вопрос», стр. 176.
[5] В. И. Ленин. Соч., XI, 495.

1905 года даже крепостники-помещики и черносотенное самодержавие. Они поняли, что без ломки средневековых форм землевладения они дольше удержаться не смогут, они вынуждены были поэтому, по выражению Ленина, «спасать, что можно».[1] Таким образом, в ходе революции 1905 года перед всеми классами царской России встал вопрос о насильственной ломке крепостнических пережитков в деревне. Однако различные классы пытались разрешить этот вопрос по-разному.

Ленин в своей «Аграрной программе с.-д. в первой русской революции» указывал на возможность либо «помещичьей чистки земель для капитализма», либо «крестьянской» чистки земли» для капитализма».[2] Отсюда вытекали два возможных вида «буржуазного аграрного переворота в России» — «помещичье-буржуазный», либо «крестьянски-буржуазный».[3]

Ленин называет эти два пути — «прусским» («помещичье-буржуазный») и «американским» («крестьянско-буржуазный») путями развития капитализма в сельском хозяйстве. «В первом случае крепостническое помещичье хозяйство медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной экспроприации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства «гроссбауэров» («крупных крестьян»). Во втором случае помещичьего хозяйства нет или оно разбивается революцией, которая конфискует и раздробляет феодальные поместья. Крестьянин преобладает в таком случае, становясь исключительным агентом земледелия и эволюционизируя в капиталистического фермера. В первом случае основным содержанием эволюции является перерастание крепостничества в кабалу и капиталистическую эксплоатацию на землях феодалов — помещиков-юнкеров. Во втором случае основной фон — перерастание патриархального крестьянина в буржуазного фермера».[4]

Таковы были два объективно возможных, как говорил Ленин, пути устранения крепостничества и развития капитализма в сельском хозяйстве.

Оба эти пути (американский и прусский) наметились в России уже задолго до революции 1905 года. Они совершенно явственно обнаруживаются в экономической истории России, как это показал Ленин в своих работах,[5] на всем протяжении с 1861 до 1905 и дальше — до 1917 года. Революция 1905—1907 гг. лишь ускорила это развитие.

«Это развитие (развитие капитализма в сельском хозяйстве — *А. П.*) идет в России давно, — писал Ленин. — Революция ускорила его. Весь вопрос в том, пойдет ли оно по типу, так сказать, прусскому... или по типу американскому... *Это основной вопрос всей нашей*

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 421.
[2] Там же, 378.
[3] Там же.
[4] Там же, 348—349.
[5] Там же, 349—351; XII, 278 и др.

буржуазно-демократической революции, вопрос ее поражения или победы».[1]

Если бы в результате победы революции удалось очистить землю от средневекового «хлама», разбить латифундии и осуществить национализацию земли — тогда буржуазная революция в России была бы доведена до конца. Если бы это не удалось, если очистка обветшалого аграрного строя России и развитие капитализма в сельском хозяйстве пошли бы путем реформ, при сохранении помещичьего землевладения, путем медленного перерастания крепостнических латифундий в буржуазные помещичьи хозяйства, то развитие пошло бы по прусскому пути, и тогда буржуазная революция в России осталась бы неоконченной.

Конкретный анализ интересов различных классов и их отношения к этим двум путям развития (революционный и контрреволюционный) дал возможность партии Ленина — Сталина заранее безошибочно определить, по какую сторону баррикад окажутся в конце концов те или иные классы. Анализ коренных интересов и положения этих классов приводил к выводу, что крестьянство в целом окажется в ходе буржуазной революции на стороне пролетариата и его партии большевиков, буржуазия же рано или поздно изменит революции и очутится на стороне самодержавия и черносотенных помещиков. В действительности так оно и получилось. Либеральная буржуазия после октября 1905 г. резко повернула вправо, пошла на соглашение, на сделку с царизмом, открыто перейдя в лагерь контрреволюции. Крестьянство же, после известных колебаний между пролетариатом и либеральной буржуазией, пошло в конце концов в 1917 (т. е. к концу буржуазно-демократического этапа) за пролетариатом, заключив с ним крепкий союз. Этого прочного союза рабочих и крестьян против царизма не удалось создать в революции 1905—1907 гг., что явилось одной из главных причин поражения этой революции. Опыт четырех Дум, контрреволюционная политика кадетов и проч. толкнули крестьянство в сторону пролетариата, и в конце концов (к 1917 г.) был создан прочный союз рабочего класса и крестьянства.

Так создавались два враждебных лагеря в ходе буржуазной революции в России: с одной стороны, соглашение между самодержавием, помещиками и буржуазией, которые тянули на путь реформ, на путь ликвидации революции посредством тех или иных уступок крестьянству, на прусский путь развития, с другой стороны, — союз рабочего класса и крестьянства, который стоял за национализацию земли, за революцию, доведенную до конца.

Наиболее последовательными классами, имевшими совершенно четкую и ясную самостоятельную линию поведения в русской буржуазной революции, были два класса: *пролетариат, руководимый партией большевиков,* и *черносотенные помещики с царизмом во главе.* Эти

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 188. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*)

два класса знали прекрасно, чего они хотят, чего они могут добиться, на какие силы могут рассчитывать в борьбе. И эти два класса и явились в действительности руководящими силами в соответствующих блоках.

Товарищ Сталин писал по этому вопросу в своей брошюре «Текущий момент и объединительный съезд рабочей партии» (1906 г.). «И чем дальше, тем резче страна делится на два враждебных лагеря: лагерь революции и лагерь контрреволюции; тем более грозно противопоставляются друг другу два главаря двух лагерей — пролетариат и царское правительство, и тем более становится ясным, что между ними сожжены все мосты».[1]

Черносотенные помещики и царизм для того, чтобы удержать свою власть, раздавить революцию и подновить фундамент пошатнувшегося самодержавия, пошли на уступки либеральной буржуазии, благодаря чему быстро перетянули ее на свою сторону. Они рассчитывали затем при помощи либеральной буржуазии перетянуть на свою сторону и крестьянство посредством создания в деревне слоя кулаков, которым отдать на «поток и разграбление» полуфеодальную общину. Такова была программа черносотенного самодержавия и помещиков-крепостников в русской буржуазной революции.

Пролетариат, в лице большевистской партии, занимал ясную и определенную классовую позицию: «вместе со всем крестьянством, против царя и помещиков при нейтрализации буржуазии, за победу буржуазно-демократической революции»...[2]

Эти задачи революционного пролетариата и большевистской партии в русской буржуазной революции с предельной ясностью и четкостью сформулированы тов. Сталиным в его работе «Об основах ленинизма»: «Цель — свалить царизм, ликвидировать полностью пережитки средневековья. Основная сила революции — пролетариат. Ближайший резерв — крестьянство. Направление основного удара: изоляция либерально-монархической буржуазии, старающейся овладеть крестьянством и ликвидировать революцию путем *соглашения* с царизмом. План расположения сил: союз рабочего класса с крестьянством».[3]

Таковы были совершенно четкие и ясные программы действия в буржуазной революции двух противоположных сил, двух лагерей. И только борьба могла решить исторический вопрос о том, какой же из этих лагерей в конце концов победит.

Обе противоположные силы — пролетариат и черносотенцы — для обеспечения своей победы ставили основную ставку на крестьянство, которое проявляло известную неустойчивость и колебалось между буржуазией и пролетариатом. В самом деле, только крестьянство, ко-

[1] Цитир. по кн. Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, 4-е изд., стр. 105.

[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 157.

[3] Там же, стр. 54.

торое составляло подавляющую массу населения в царской России, могло решить исход революции. Один пролетариат был не в силах победить, так как составлял меньшинство населения. Черносотенные помещики одни также ничего не могли сделать. «Исход нашей революции, — писал Ленин в статье «Кризис меньшевизма» (1906 г.), — действительно зависит больше всего от устойчивости в борьбе многомиллионной массы крестьянства. Буржуазия крупная у нас боится больше революции, чем реакции. Пролетариат один победить не в силах. Городская беднота не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней, не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы».[1]

Таким образом, на чьей стороне в ходе буржуазной революции окажется крестьянство — тот и победит. Поэтому борьба за крестьянство между либеральной буржуазией и пролетариатом являлась важнейшим вопросом всей буржуазной революции в России и заполняла собой весь период с 1905 года по февраль 1917 года. «История этого периода (т. е. с 1905 г. по февраль 1917 г. — *А. П.*), — говорит товарищ Сталин, — есть история борьбы кадетов (либеральная буржуазия) и большевиков (пролетариат) за крестьянство».[2] Эта борьба за крестьянство была борьбой за гегемонию в буржуазной революции.

В этой борьбе за крестьянство буржуазия и пролетариат, однако, имели далеко не равные шансы. Коренные интересы крестьянства в целом толкали его на союз с пролетариатом в буржуазной революции.

Единственной ставкой у буржуазии в борьбе за крестьянство был обман, который мог быть основан лишь на отсталости, распыленности, неустойчивости крестьянства и непонимании им зачастую своих же собственных задач.

Естественно, что этот обман долго продолжаться не мог. Годы революции быстро просвещали крестьянские массы, и в течение первого этапа русской революции (буржуазно-демократическая революция) с 1905 года по февраль 1917 года крестьянство окончательно переходит на сторону пролетариата, заключив с ним крепкий союз. «Характерной чертой этого периода (1905 — февраль 1917 г. — *А. П.*), — говорит товарищ Сталин, — является высвобождение крестьянства из-под влияния либеральной буржуазии, *отход* крестьянства от кадетов, *поворот* крестьянства в сторону пролетариата, в сторону партии большевиков. История этого периода есть история борьбы кадетов (либеральная буржуазия) и большевиков (пролетариата) за крестьянство. Судьбу этой борьбы (т. е. борьбы за крестьянство между либеральной буржуазией и пролетариатом — *А. П.*) решил думский период, ибо период четырех Дум послужил предметным уроком

---

[1] В. И. Ленин. Соч., X, 179.
[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 37.

для крестьянства, а этот урок воочию показал крестьянам, что им не получить из рук кадетов ни земли, ни воли, что царь всецело за помещиков, а кадеты поддерживают царя, что единственная сила, на помощь которой можно рассчитывать, — это городские рабочие, пролетариат. Империалистская война лишь подтвердила урок думского периода, завершив отход крестьянства от буржуазии, завершив изоляцию либеральной буржуазии, ибо годы войны показали всю тщетность, всю обманчивость надежд получить мир от царя и его буржуазных союзников».[1]

Вот почему пролетариат (большевики), борясь за крестьянство в буржуазной революции, должен был в первую голову изолировать, нейтрализовать именно либеральную буржуазию, обезвредить ее влияние на массы, направить свои стрелы в первую очередь против кадетов.

IV

Мы уже говорили о том, что Ленин и Сталин определяли русскую революцию по ее характеру и социальному содержанию как революцию *буржуазную*. Это определение, несомненно, правильное, но его надо применять умеючи, ибо в противном случае можно сбиться на меньшевистскую трактовку вопроса. «Понятие буржуазной революции, — писал Ленин в статье «К оценке русской революции» (1908), — недостаточно еще определяет те силы, которые могут одержать победу в такой революции... Победа буржуазной революции у нас невозможна, *как победа буржуазии*. Это кажется парадоксальным, но это факт. Преобладание крестьянского населения, страшная придавленность его крепостническим (на половину) крупным землевладением, сила и сознательность организованного уже в социалистическую партию пролетариата, — все эти обстоятельства придают *нашей* буржуазной революции *особый* характер. Эта особенность не устраняет буржуазного характера революции»... [2]

Что же это за особый характер русской буржуазной революции?

Мы видели выше, что русский буржуа вовсе не был заинтересован в полной победе *буржуазной* революции — его вполне устраивали незначительные реформы. Наоборот, он даже боялся революции больше, чем реакции.

Русский пролетариат был кровно заинтересован в победе буржуазно-демократической революции, потому что доведение ее до конца, решительная победа в этой революции давала ему возможность начать свою собственную, социалистическую революцию, которая только и могла дать ему действительное освобождение от всякой эксплоатации.

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 37.
[2] В. И. Ленин. Соч., XII, 209.

В статье «Сила и слабость русской революции» Ленин указывал на то, что только при доведении буржуазно-демократической революции до конца пролетариат скорее всего «избавится от неизбежно падающих на него теперь буржуазно-демократических задач и *всецело* отдастся своим собственным, действительно классовым, т. е. социалистическим задачам».[1] В победе революции, кроме пролетариата, было заинтересовано крестьянство. Русская буржуазная революция была, по существу, *крестьянской* революцией. «Крестьянин, — писал Ленин в «Аграрной программе», — делает сейчас, немедленно свою, буржуазную революцию...» И дальше: «...Рабочий, не сливая себя ни с каким другим классом, должен со всей энергией помочь крестьянину довести до конца эту буржуазную революцию».[2]

Ленин неоднократно и настойчиво подчеркивал в своих работах, например в статье, посвященной Л. Н. Толстому (1910 г.), этот особый характер русской буржуазной революции, называя ее крестьянско-буржуазной революцией. «И это была *крестьянская буржуазная* революция, ибо объективные условия выдвинули на первую очередь вопрос об изменении коренных условий жизни крестьянства, о ломке старого средневекового землевладения, о «расчистке земли» для капитализма, объективные условия выдвинули на арену более или менее самостоятельного исторического действия крестьянские массы».[3]

Ленин неоднократно подчеркивал, что большевики выделили «понятие крестьянской революции как одного из видов буржуазной революции».[4] Ленин ясно указывал на это *соотношение* между буржуазной и буржуазно-крестьянской революциями.

В непонимании соотношения между буржуазной революцией вообще и крестьянской буржуазной революцией Ленин видит «основной источник неверности всей тактической линии Плеханова и шедших за ним меньшевиков в первый период русской революции».[5] Можно было бы привести чрезвычайно много высказываний Ленина, подтверждающих эту постановку вопроса о *крестьянской буржуазной революции.*

Однако тот факт, что русская революция 1905—1907 гг. была революцией крестьянской, не устранял буржуазного характера революции, придавая ей лишь демократические черты. До тех пор, пока пролетариат шел в революции вместе со всем крестьянством, революция оставалась по своему характеру буржуазной.

Итак, русская революция 1905—1907 гг. по своему социальному содержанию, по своему характеру была *одним из видов буржуазной революции,* совершившейся в иную эпоху и при иных условиях,

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 189.
[2] Там же, 475.
[3] Там же, XIV, 401. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*)
[4] Там же, XI, 438.
[5] Там же.

отличных от условий, которые существовали в эпоху буржуазных революций на Западе. *Это была крестьянско-буржуазная или буржуазно-демократическая революция.*

Однако и эта характеристика революции 1905—1907 гг. не является еще исчерпывающей характеристикой, потому что в ней не отражена роль пролетариата.

Пролетариат начал революцию 1905 года своим выступлением 9 января («Кровавое воскресенье»). «Он поставил себе задачей завоевание 8-часового рабочего дня революционным путем» (Ленин). Он поднял своим движением на борьбу крестьянские массы. Он был в действительности руководителем революции. Он с большим успехом организовал в октябре 1905 года всеобщую стачку, которая перерастала в некоторых местах в вооруженное восстание. Он организовал «своеобразные массовые организации» (Ленин) — Советы Рабочих Депутатов, собрания делегатов от всех фабрик, которые «начинали играть роль органов и руководителей восстаний» (Ленин). Он первым пошел на вооруженное восстание (напр., в Москве) и т. д.

Весьма характерным явлением в революции 1905—1907 гг. была массовая политическая стачка, которая в соединении с экономической стачкой придавала движению огромную силу.

Таким образом, важнейшей особенностью русской революции 1905—1907 гг. был тот факт, что пролетариат выступил в этой революции в качестве ее инициатора и руководителя, впервые в истории применяя в революции чисто пролетарские методы борьбы.

Вот почему Ленин называл революцию 1905—1907 гг. *по средствам борьбы* пролетарской революцией, хотя *по своему социальному содержанию* она, конечно, пролетарской, социалистической революцией не была.

Ленин неоднократно предостерегал от «смешения «общего характера» революции, в смысле *ее общественно-экономического содержания,* с вопросом о движущих силах революции»... «Марксисты,—писал он,— не могут смешивать этих вопросов, не могут *непосредственно* выводить ответ на второй вопрос из ответа на первый без особого конкретного анализа»,[1] как это делали, например, меньшевики, эсеры и др.

Наша партия, Ленин и Сталин считали движущими силами революции те классы, которые не только принимали участие в революции, но были кровно заинтересованы в коренной ломке старого, в решительной победе революции, в доведении ее до конца. Такими движущими силами в русской буржуазно-демократической революции могли быть и в действительности были только пролетариат и крестьянство. Буржуазия же, хотя и принимала вначале некоторое участие в революции, не могла быть и не была в действительности движущей силой революции (она была силой, тормозящей революцию, *силой контрреволюционной*).

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 48.

Главной движущей силой революции, ее руководителем, гегемоном был пролетариат, так как только под его руководством революция могла победить в новых условиях. Ни буржуазия, которая претендовала на эту роль для того, чтобы сорвать революцию, ни крестьянство вследствие своего классового положения — не были способны стать гегемоном революции.

Однако руководство в революции само собой, самотеком притти не могло. Если бы пролетариат устранился от руководства в революции, как это предлагали меньшевики, если бы он добровольно передал это руководство либеральной буржуазии, последняя, несомненно, воспользовалась бы этим для того, чтобы как можно скорей ликвидировать революцию. Ленин и Сталин указывали пролетариату другой путь: «Марксизм, — писал Ленин в «Двух тактиках» летом 1905 года, — учит пролетария не отстранению от буржуазной революции, не безучастию к ней, не предоставлению руководства в ней буржуазии, а, напротив, самому энергичному участию, самой решительной борьбе за последовательный пролетарский демократизм, за доведение революции до конца».[1]

И пролетариат в России под руководством партии большевиков, вопреки меньшевистским нашептываниям о передаче руководства буржуазии, в огне революционной борьбы завоевал себе это руководство.

Таким образом, уже первая буржуазно-демократическая революция 1905—1907 гг. в России обнаружила руководящую роль пролетариата и поставила его на верный путь.

Однако во время революции 1905—1907 гг. еще не было прочного, окончательно сложившегося союза рабочих и крестьян против царизма. Этот союз окончательно сложился, как мы видели, лишь к концу буржуазно-демократического этапа в России, т. е. к 1917 г. В революции же 1905—1907 гг. союз рабочих и крестьян начал только складываться. «Этот союз был, — по словам Ленина, — стихиен, неоформлен, часто не осознан».[2]

«Не было еще в революции (1905—1907 гг. — *А. П.*) прочного союза рабочих и крестьян против царизма, — читаем мы в «Кратком курсе истории ВКП(б)». — Крестьяне поднялись на борьбу против помещиков и они шли на союз с рабочими против помещиков. Но они еще не понимали, что без свержения царя невозможно свергнуть помещиков, они не понимали, что царь действует заодно с помещиками, и значительная часть крестьян еще верила царю и возлагала надежду на царскую Государственную думу. Поэтому многие крестьяне не хотели итти на союз с рабочими для свержения царизма».[3] И это послужило, между прочим, одной из основных причин поражения революции 1905—1907 гг.

[1] В. И. Ленин. Соч., VIII, 58.
[2] Там же, XIV, 15.
[3] История ВКП(б), стр. 88.

Итак, русская революция 1905—1907 гг. по своему характеру, по своему социальному содержанию была крестьянско-буржуазной, буржуазно-демократической, а по методам борьбы — пролетарской революцией. Движущими силами этой революции были пролетариат и крестьянство. В этом смысле Ленин и Сталин называли русскую революцию 1905—1907 гг. народной революцией. Главной движущей силой, гегемоном революции был пролетариат.

V

Ленин и Сталин неоднократно указывали, что рабочий класс должен принять в буржуазной революции самое энергичное участие, должен возглавить революцию, руководить ею, отстранив от этого руководства контрреволюционную либеральную буржуазию; рабочий класс должен всемерно помочь крестьянству в его борьбе с царизмом. Он должен приложить все усилия для того, чтобы довести буржуазную революцию до конца, т. е. полностью смести с лица земли пережитки крепостничества и в том числе самодержавие. Так учили и вели по этому пути русский пролетариат партия большевиков, Ленин и Сталин.

Совершенно понятно, что партия большевиков звала рабочий класс на активную борьбу в буржуазной революции не для того, чтобы, одержав совместно с крестьянством победу, передать затем завоеванную власть буржуазии, как это предлагали меньшевики, и что им удалось сделать обманным путем после февральской революции 1917 года.

Только господа типа замаскировавшегося меньшевика и предателя Каменева могли в свое время утверждать, будто «Ленин понимал размах русской революции, как левый буржуазный революционер или как реформист типа социал-демократов, по мнению которых революция буржуазная не должна перерасти в революцию социалистическую, по мнению которых между революцией буржуазной и революцией социалистической должен существовать длительный исторический интервал, длительный перерыв, промежуток, по крайней мере в несколько десятков лет, в продолжение которого капитализм будет процветать, а пролетариат будет прозябать».[1]

Провокационный смысл этого заявления Каменева тов. Сталин прекрасно разобрал в своем заключительном слове на XV Всесоюзной конференции ВКП(б), показав всю лживость и наглость этого клеветнического утверждения.

Партия большевиков, Ленин и Сталин звали пролетариат России на борьбу за доведение буржуазной революции до конца для того, чтобы рабочий класс *тем легче, тем скорее мог* «избавиться от неизбежно падающих на него теперь буржуазно-демократических задач и *всецело* отдаться своим собственным, действительно классовым, т. е.

[1] И. В. Сталин. Сб. «Об оппозиции», стр. 390, 1928.

социалистическим задачам»,[1] для создания наиболее благоприятных условий для дальнейшего осуществления рабочим классом его настоящей и коренной задачи социалистического переустройства общества. Ибо непосредственными, настоящими задачами пролетариата как угнетенного класса *капиталистического* общества были задачи социалистические, задачи победы в социалистической революции, т. е. в революции, направленной против капитализма.

Эта установка партии большевиков, ленинская установка, данная еще в 1905 г., на немедленный переход пролетариата в России после победы буржуазной революции к борьбе за социалистическую революцию, установка на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую — целиком вытекала из особенностей запоздалой буржуазной революции в России, происходившей в эпоху империализма.

«...Едва ли нужно доказывать, — говорил тов. Сталин, — что буржуазно-демократическая революция, в более или менее развитой стране, *должна сближаться при таких условиях* (т. е. новых условиях периода империализма (Подчеркнуто мною. — *А. П.*) *с революцией пролетарской,* что первая *должна перерастать* во вторую. История революции в России с очевидностью доказала правильность и неоспоримость этого положения».[2]

Итак, к началу XX в. в России сблизились две революции — буржуазно-демократическая и социалистическая.

Это и дало основание Ленину развить свою *идею перерастания* буржуазно-демократической революции в социалистическую, которую он вывел из марксовой теории перманентной революции.[3]

Таким образом в обстановке империализма между революцией буржуазно-демократической и революцией социалистической вовсе не существует никакой резкой грани, пропасти, китайской стены, которая разделяла бы эти две революции, как это утверждали меньшевики. «Едва ли нужно доказывать, — говорил тов. Сталин, — что эта «теория» китайской стены лишена всякого научного смысла в обстановке империализма, что она является, и не может не являться, лишь прикрытием, скрашиванием контрреволюционных вожделений буржуазии».[4]

Ленин и Сталин рассматривали в обстановке империализма, — в тех особых условиях, о которых мы говорили выше, — революцию буржуазно-демократическую и революцию социалистическую не как две изолированные, самостоятельные революции, а как два звена

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 189.

[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 21. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*)

[3] «...идея перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, данная Лениным еще в 1905 г., есть одна из форм воплощения марксовой теории перманентной революции» (И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 110).

[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 20.

одной цепи, как два этапа единого революционного процесса. «Ленин еще в 1905 году, — говорил тов. Сталин, — накануне первой русской революции, в своей брошюре «Две тактики» рисовал буржуазно-демократическую революцию и социалистический переворот как два звена одной цепи, как единую и цельную картину размаха русской революции». [1]

Почему же пролетариат в России, — если его непосредственной действительно классовой задачей было совершение социалистической революции, — не перешел сразу ко второму этапу революции, т. е. к революции социалистической, почему он должен был сначала принять активнейшее участие в буржуазно-демократической революции?

Несомненно, что, если бы пролетариат попытался совершить такую революцию, как это предлагал Троцкий («без царя, а правительство рабочее»), то эта авантюра, это «перепрыгивание через крестьянское движение», эта «игра в захват власти», как говорили Ленин и Сталин, кончилась бы неминуемым крахом. «Такая революция, — говорил тов. Сталин на пленуме фракции ВЦСПС (1924 г.), — если бы ее попытались осуществить, кончилась бы неминуемым крахом, ибо она оторвала бы от русского пролетариата его союзника, т. е. маломощное крестьянство». [2]

В самом деле, пролетариат в России составляет значительное меньшинство населения. Поэтому один, без помощи других классов, победить в революции он был не в состоянии. «Пролетариат один победить не в силах», — писал Ленин. [3]

Победить в предстоявшей тогда (в начале XX в.) революции в России пролетариат мог только в союзе с крестьянством. Поэтому пролетариату надо было использовать сначала в интересах развития революции революционное настроение крестьянства, направленное против помещика и самодержавия, а потом уже звать бедноту на дальнейшую борьбу с капиталистическим угнетателем (кулак, спекулянт и пр.).

Полная и решительная победа пролетариата и руководимого им крестьянства в буржуазно-демократической революции, решительная победа над царизмом была сформулирована Лениным как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства.

Идея революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства указывала на то *соотношение классов* в русской буржуазно-демократической революции, которое только и могло обеспечить полную победу этой революции и отстоять в дальнейшем ее завоевания. Лозунг революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства указывал именно лишь на это соотношение классов в буржуазной революции, а не на конкретное политическое

---

[1] И. В. Сталин. «Вопросы ленинизма». 11-е изд., стр. 21.
[2] И. В. Сталин. Сб. «Об оппозиции», стр. 119, 1928.
[3] В. И. Ленин, Соч., X, 179.

учреждение, не на состав нового правительства, как это думал Троцкий и другие меньшевики.

Эта победа революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, осуществление «самодержавия народа» (Ленин), которое должно было сменить самодержавие крепостников, как раз и давало возможность дальнейшей борьбы за перерастание революции. Ленин это прекрасно показал в «Двух тактиках» (1905 г.). Он писал: «Лозунг «демократической» диктатуры и *выражает* исторически-ограниченный характер теперешней революции и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплуатации. Другими словами: когда демократическая буржуазия или мелкая буржуазия (т. е. крестьянство. — *А. П.*) поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции, — тогда мы *«подменим»*... лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, т. е. полного социалистического переворота».[1]

Таким образом, идея революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, помимо указания на соотношение классов в борьбе за победоносную буржуазно-демократическую революцию, четко выражала вместе с тем необходимость новой борьбы за перерастание этой революции в социалистическую.

«Осуществление демократической республики в России, — писал Ленин в резолюции III Съезда РСДРП, — возможно лишь в результате победоносного народного восстания, органом которого явится временное революционное правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации и созвать... Учредительное собрание, действительно выражающее волю народа».[2]

Временное революционное правительство, по мысли Ленина, должно было возникнуть в процессе победоносного народного восстания и, являясь органом этого восстания, довести его до полной победы над царизмом, отстоять затем эту победу и провести необходимые демократические преобразования (т. е. довести буржуазно-демократическую революцию до конца) для того, чтобы тем легче перейти к новой борьбе за социалистический переворот.

Во время революции 1905—1907 гг. были попытки создания такого временного революционного правительства. «В огне борьбы, — говорил Ленин в своем «Докладе о революции 1905 года», — образовалась своеобразная массовая организация: «знаменитые *Советы Рабочих Депутатов,* собрания делегатов от всех фабрик. Эти *Советы Рабочих Депутатов* в нескольких городах России все более и более начинали играть роль временного революционного правительства, роль органов и руководителей восстаний. Были сделаны попытки органи-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., VIII, 118—119. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*)
[2] См. «ВКП(б) в резолюциях», стр. 46, Партиздат, 1933.

зовать Советы Солдатских и Матросских Депутатов и соединить их с Советами Рабочих Депутатов».[1]

Таким образом, советы, которые возникали стихийно или создавались партией большевиков в ходе революционной борьбы, в ходе отдельных восстаний, и являлись конкретными попытками и формами создания временного революционного правительства. Известно, что это временное революционное правительство так и не было создано в революцию 1905—1907 гг., потому что эта революция потерпела поражение. Товарищ Сталин указывал на это совершенно четко: «В 1905 году, — говорил он, — русские коммунисты... пытались превратить существовавшие тогда советы в ядро будущей революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Однако эта попытка также не удалась тогда, в виду неблагоприятного соотношения классовых сил, в виду того, что царизм и феодалы оказались сильнее, чем революция».[2]

Взгляды Ленина и Сталина на буржуазно-демократическую революцию следующим образом подытожены в «Кратком курсе Истории ВКП(б)»: «Это была новая установка по вопросу о соотношении между буржуазной и социалистической революциями, новая теория перегруппировки сил вокруг пролетариата к концу буржуазной революции для прямого перехода к социалистической революции, — теория *перерастания* буржуазно-демократической революции в социалистическую».[3] Таков был ленинский стратегический план в революции 1905—1907 гг., план участия пролетариата в буржуазно-демократической революции в России для того, чтобы приблизить и облегчить социалистическую революцию. «План этот, — писал тов. Сталин, — замечателен не только в том отношении, что он правильно учитывал движущие силы революции, но и в том отношении, что он содержал в себе в зародыше идею диктатуры пролетариата (гегемония пролетариата), он гениально предвидел следующую высшую фазу революции в России и облегчал переход к ней».[4]

Весь ход революции в России (революция 1905—1907 гг., февральская революция 1917 г. и Октябрьская Социалистическая революция) самым блестящим образом подтвердил большевистские лозунги, большевистскую стратегию и тактику.

Уже в ноябре 1918 г., подводя итоги, Ленин писал: «Вышло именно так, как мы говорили».[5]

VI

Несомненно, что русский пролетариат не смог бы выполнить роль гегемона в буржуазно-демократической революции, не смог бы

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 353.
[2] И. В. Сталин. Сб. «Об оппозиции», стр. 687, 1928.
[3] История ВКП(б), Краткий курс, стр. 71.
[4] И. В. Сталин. Об Октябрьской революции, стр. 45.
[5] В. И. Ленин. Соч., XXIII, 391.

победить в союзе с беднейшим крестьянством в социалистической революции без боевой партии совершенно нового типа, которая сменила «старые социал-демократические партии, воспитанные в мирных условиях парламентаризма» (Сталин), без большевистской партии Ленина — Сталина.

Анализируя роль партии в победоносной революции, тов. Сталин указывал на «необходимость новой партии, партии боевой, партии революционной, достаточно смелой для того, чтобы повести пролетариат на борьбу за власть, достаточно опытной для того, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки, и достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели».[1]

Вот почему Ленин и Сталин много внимания уделяли созданию именно такой партии, которая была бы вождем рабочего класса, которая «должна вести за собой пролетариат, а не тащиться в хвосте за стихийностью»,[2] как проповедывали оппортунисты из II Интернационала, — такой организованной партии, которая была бы спаяна железной дисциплиной, единством программы и тактики, была бы тесно связана с массами и являлась бы передовым организованным отрядом рабочего класса, боевым штабом пролетариата.

И такая партия, партия Ленина — Сталина была действительно создана к началу революции 1905—1907 гг. «Весной 1905 г., — писал Ленин, — наша партия была союзом подпольных кружков; осенью она стала партией миллионов пролетариата». Еще до революции 1905 года (так же, как и позже) партия вела самую непримиримую борьбу с оппортунистами всех оттенков, — экономистами, меньшевиками, троцкистами и т. д. Известно, что уже в 1903 г. на II Съезде РСДРП от партии откололось правое оппортунистическое крыло. В учебнике «Истории ВКП(б)» так охарактеризовано положение дел в партии во время революции: «РСДРП оказалась на деле расколотой на две партии, партию большевиков и партию меньшевиков».[3] В революции 1905—1907 гг. партия большевиков выступила как единственная последовательно революционная пролетарская партия, руководящая массовыми революционными действиями пролетариата как гегемона революции и его союзника-крестьянства.

Одной из важнейших задач партии в течение всего периода подготовки социалистической революции (1903 г. — октябрь 1917 г.), т. е. во время буржуазно-демократического этапа, была борьба партии с развращающим влиянием на рабочий класс со стороны всевозможных мелкобуржуазных партий (меньшевики, эсеры и др.), борьба за полное и окончательное завоевание рабочего класса на сторону большевистской партии.

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 11-е изд., стр. 65.
[2] Там же.
[3] Краткий курс истории ВКП(б), стр. 90.

В течение революции 1905—1907 гг. шла ожесточенная борьба внутри РСДРП между большевиками и меньшевиками за влияние на рабочий класс.

«Две линии боролись в РСДРП во время революции, линия большевиков и линия меньшевиков, — читаем мы в «Кратком курсе Истории ВКП(б)». — Большевики держали курс на развертывание революции, на свержение царизма путем вооруженного восстания, на гегемонию рабочего класса, на изоляцию кадетской буржуазии, на союз с крестьянством, на создание временного революционного правительства из представителей рабочих и крестьян, на доведение революции до победного конца. Меньшевики, наоборот, держали курс на свертывание революции. Вместо свержения царизма путем восстания, они предлагали его реформирование и «улучшение», вместо гегемонии пролетариата — гегемонию либеральной буржуазии, вместо союза с крестьянством — союз с кадетской буржуазией, вместо временного революционного правительства — Государственную думу как центр «революционных сил» страны».[1]

Известно, что революция 1905—1907 гг. потерпела поражение. «Меньшевики говорили тогда, что в поражении революции 1905 г. повинна крайняя революционная тактика большевиков».[2] Неоднократно нашу партию, Ленина и Сталина всевозможные контрреволюционные элементы и мелкобуржуазные партии обвиняли в том, что революция 1905—1907 гг. потерпела поражение вследствие якобы неправильной политики партии большевиков. Товарищ Сталин прекрасно ответил на все эти обвинения. «Только люди, — писал он в «Заметках на современные темы» в 1927 г., — порвавшие с марксизмом, могут требовать, чтобы правильная политика вела всегда и обязательно к *непосредственной* победе над противником. Была ли политика большевиков правильной в революции 1905 года? Да, была. Почему же революция 1905 г. потерпела поражение, несмотря на существование советов, несмотря на правильную политику большевиков? Потому, что феодальные пережитки и самодержавие оказались тогда сильнее, чем революционное движение рабочих».[3]

Несмотря на то, что революция 1905—1907 гг. потерпела поражение, что она, следовательно, не разрешила задач буржуазно-демократической революции — ее значение для последующей революционной борьбы было настолько серьезным, что дало Ленину возможность заявить: «Без «генеральной репетиции» 1905 года победа Октябрьской революции 1917 года была бы невозможна».[4]

Итак, царскому самодержавию и черносотенным помещикам уда-

---

[1] История ВКП(б), стр. 90.

[2] И. В. Сталин. Сб. «Марксизм и национально-колониальный вопрос», стр. 187, 1934.

[3] И. В. Сталин. Сб. «Об оппозиции», стр. 624, 1928.

[4] В. И. Ленин. Соч., XXV, 176.

лось подавить народную революцию, удалось перетянуть на свою сторону колеблющуюся буржуазию. Точно так же и кулак в 1906 г. колебнулся в сторону самодержавия под влиянием столыпинских реформ, отдавших общину на «поток и разграбление» кулаку.

Столыпинское законодательство, по словам Ленина, представляло собой второй крупный шаг по прусскому пути развития капитализма. Первым шагом в этом направлении была крестьянская реформа 1861 года. Столыпинское законодательство таким образом вовсе не означало полной победы прусского пути. «*Пока* Столыпин только запутал и обострил старое положение, не создав нового, — писал Ленин в декабре 1909 г. — Столыпин «ставит ставку на сильных» и просит «20 лет мира и покоя» для «реформирования» (читай ограбления) России помещиками». [1]

Итак, в результате революции 1905—1907 гг. не победил ни один из двух возможных путей капиталистической «очистки» обветшалого аграрного строя России — ни американский, ни прусский. «Еще не победил, — писал Ленин Скворцову-Степанову в декабре 1909 г., — ни один из двух аграрных путей». [2]

Если бы новая аграрная политика самодержавия была доведена до конца (и, следовательно, победил бы «прусский» путь развития), тогда вопрос о буржуазно-демократической революции в России (и, следовательно, об «американском» пути развития) был бы снят, и Россия стояла бы непосредственно перед революцией социалистической. «Судьбы буржуазной революции в России — не только настоящей революции (т. е. революции 1905—1907 гг. — *А. П.*), но и возможных в дальнейшем демократических революций, — зависят *больше всего* от успеха или неуспеха этой политики», [3] — писал Ленин. Он предсказывал крах столыпинской политики, он вел партию и рабочий класс на борьбу против этой политики и против самодержавия. Ленин и Сталин прекрасно видели, что революционная роль крестьянства в целом еще не была исчерпана.

Анализируя положение вещей в России в начале 1911 г., Ленин писал Скворцову-Степанову: «У нас при всяком кризисе *нашей* эпохи (1905—1909—19?? гг.) *выступит,* обязательно выступит «*обще*-демократическое» движение «мужичка», и игнорирование этого было бы коренной ошибкой, *на деле* приводящей к меньшевизму»... [4]

Это предсказание Ленина, основанное на точном анализе обстановки в России после революции 1905—1907 гг., полностью оправдалось: после ряда приливов и отливов — буржуазно-демократическая революция в России в конце концов победила, свергнув самодержавие в феврале 1917 года.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 202.
[2] Там же, 215.
[3] Там же, XII, 134—135.
[4] Там же, XIV, 215—216. (Подчеркнуто Лениным. — *А. П.*)

Товарищ Сталин прекрасно охарактеризовал весь период после поражения революции 1905—1907 гг. в своем докладе «К итогам работы XIV конференции РКП(б)» в 1925 г.: «Мы имели потом отлив, — говорил он, — длившийся целый ряд лет (1907—1912 гг.). Мы имели дальше новый прилив, открывшийся ленскими событиями (1912), сменившийся потом новым отливом во время войны. 1917 год (февраль) открыл новый прилив, увенчавшийся победой народа над царизмом, победой буржуазно-демократической революции. После каждого отлива ликвидаторы уверяли, что с революцией кончено. Однако революция, пройдя ряд отливов и приливов, привела к победе в феврале 1917 года».[1]

Итак, февральская революция 1917 года, коротким ударом (всего лишь 8 дней) сбросившая самодержавие, была лишь последним звеном, заключительным аккордом всего первого этапа (буржуазно-демократического этапа) русской революции.

Характеристика революции 1905—1907 гг., ее движущих сил и пр. в основном относится и к февральской революции 1917 года. Здесь налицо тот же характер революции, те же движущие силы, гегемония пролетариата и т. д. Однако обстановка накануне революции 1917 г. значительно отличалась уже от обстановки накануне революции 1905—1907 гг. И это, конечно, не могло не отразиться на постановке по-иному ряда кардинальных вопросов.

Если ускорителем революции 1905 года была русско-японская война, носившая более или менее местный характер, то ускорителем революции 1917 года была мировая империалистическая война. Это придало революции 1917 года чрезвычайно мощный размах. На это указывали Ленин и Сталин.

В 1905 году, — говорил товарищ Сталин, — «размах русской революции не был и не мог быть таким мощным, каким он стал впоследствии, в результате империалистической войны, к февралю 1917 г.».[2]

Свергнув самодержавие, февральская революция 1917 года в силу ряда причин не разрешила задач буржуазно-демократической революции. «Разве неизвестно, — говорил товарищ Сталин, — что первый этап нашей революции не разрешил полностью своей задачи завершения аграрной революции, а передал эту задачу следующему этапу революции, Октябрьской революции, которая и разрешила целиком и полностью задачу искоренения феодальных пережитков».[3] Основной причиной этого был тот факт, что осуществившаяся после февральской революции «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» — «Совет Рабочих и Солдатских Депутатов», состоявший преимущественно из меньшевиков и эсеров, — в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, в силу

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 9-е изд., 109, 1933.

[2] И. В. Сталин. Сб. «Об оппозиции», стр. 391, 1928.

[3] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос, 1934, стр. 183.

того, что мелкобуржуазная волна захлестнула после февраля 1917 года даже часть пролетариата, — добровольно передал власть в руки буржуазии, которая, конечно, постаралась не осуществить ни одной задачи буржуазно-демократической революции. Однако рассмотрение всех этих вопросов выходит уже за рамки настоящей статьи.

VII

В своей оценке революции 1905—1907 гг. Покровский исходит вовсе не из изложенного выше учения классиков марксизма-ленинизма, а из антинаучной богдановской «теории» о том, что русское самодержавие «не было вовсе остатком седой феодальной старины, а было созданием торгового капитализма, т. е. предыдущей стадии капиталистического же развития».[1] Он отвергает марксистско-ленинское положение о том, что «царская монархия есть средоточие... банды черносотенных помещиков (от них же первый — Романов),[2] что «старая царская власть» представляла собой «только кучку крепостных помещиков, командующую всей государственной машиной (армией, полицией, чиновничеством)»,[3] что государственный строй России до революции был «крепостническим государственным строем»,[4] что он «был насквозь пропитан крепостничеством»[5] и т. д.

Покровский отвергает эти единственно правильные марксистско-ленинские положения. Он рассматривает «самодержавие как политически организованный торговый капитализм»,[6] а в помещике видит только «агента торгового капитала».[7] Другими словами, Покровский отождествляет русское самодержавие с господством торговой буржуазии, против чего как раз предостерегал Ленин.[8]

В России, по словам Покровского, огромную расчистку крепостнических остатков произвел торговый капитал в лице самодержавия. «Прежде всего, — писал он, — стояли ли у нас на пути развития капитализма те же препятствия, что в старой дореволюционной Франции? Стояли, но гораздо меньшие... Русский торговый капитал тут широко расчистил дорогу своему младшему брату — капиталу промышленному».[9]

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 126, 2-е изд., 1927.

[2] В. И. Ленин, Соч., XV, 247.

[3] В. И. Ленин. Соч., XX, 111.

[4] Там же, XVI, 449.

[5] Там же, XIV, 404.

[6] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 10.

[7] Там же, 172.

[8] В своем письме к Северному союзу (1902 г.) Ленин писал «...у нас сильно распространено нелепое отождествление русского самодержавия с господством буржуазии» (Соч., V, 125).

[9] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 240. Партиздат, 1933.

Основным пережитком крепостничества в дореволюционной России Покровский считал «поземельную общину с ее круговой порукой». Торговый капитал (т. е. самодержавие) еще в 1861 году путем реформ уничтожил крепостное право. Осталась после этого лишь поземельная община с ее круговой порукой, которая только и мешала дальнейшему развитию промышленного капитала. Покровский так и заявляет: «Как там, во Франции, на дороге к развитию промышленного капитализма стояли привилегии, и их нужно было смести, так и у нас на дороге к этому стояла поземельная община».[1] Но и этот последний, по заявлению Покровского, остаток крепостничества в России торговый капитал также уничтожает путем реформ. «Сметает ее (т. е. общину — *А. П.*), — писал Покровский, — реакционное правительство Столыпина, царское правительство».[2]

Итак, выходит, что все пережитки крепостничества в России уничтожает *путем реформ* само царское самодержавие, являвшееся властью буржуазной (торговый капитал). Но ведь буржуазная революция является такой революцией, которая направлена к уничтожению именно крепостнических порядков, мешающих капиталистическому развитию. Нужна ли буржуазная революция в России, если остатки крепостнических порядков сметаются самим царизмом *путем реформ?* И Покровский вынужден, став на богдановскую точку зрения в основном вопросе, неизбежно притти к нелепому реакционному выводу о том, что буржуазно-демократическая революция в России не нужна, что она не имеет под собой почвы. «Таким образом, — писал Покровский, — для развития промышленного капитализма как такового у нас не было надобности в насильственном взрыве, хотя я не стану отрицать того, что массовое движение 1905—1907 гг., поскольку оно явилось грозным напоминанием, в значительной степени ускоряло этот процесс. В 1903 г. пришли к отмене круговой поруки, а в 1906 г. приступили уже к реальной фактической ликвидации поземельной общины, и поскольку эта ликвидация производилась царским правительством, для этого не нужна была революция, а достаточно было реформы».[3]

Таков вывод Покровского. В действительности, основным пережитком крепостничества в социальном и экономическом строе царской России была вовсе не поземельная община, а само царское самодержавие, опиравшееся на огромные крепостнические латифундии. Покровский же, как мы знаем, объявлял царское самодержавие буржуазным учреждением и не понимал значения крепостнических латифундий как опоры самодержавия.

Однако Покровскому надо было как-то объяснить развитие рево-

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 125—126.
[2] Там же, 126.
[3] Там же, 125—126.

люционного движения в России, которое в действительности имело место и было направлено против самодержавия (восстание декабристов, революция 1905—1907 гг.). Как же это объяснить, если самодержавие было не остатком крепостничества, а буржуазным учреждением и буржуазная революция не могла быть, очевидно, направлена против буржуазного учреждения?

Предоставим слово самому Покровскому: «Нужно некоторое усилие фантазии, — писал он, — чтобы представить себе, что в образе этой борьбы за свободу против самодержавия, в сущности, шла ожесточенная борьба двух форм капитализма, борьба торгового капитала с промышленным капиталом, борьба, происходившая всюду».[1]

Вот эту антимарксистскую, механистическую концепцию борьбы двух форм капитала[2] Покровский и объявляет «стержнем русской истории» и «доказывает», что в основном его концепция русской истории... «никогда не расходилась с ленинской». Заметим, кстати, что Покровский совершенно механически отделяет китайской стеной торговый и промышленный капиталы и наделяет их совершенно противоположными интересами.

Правда, торговый капитал, по Покровскому, был некоторым образом заинтересован в развитии промышленности, а следовательно, и в развитии промышленного капитала — отсюда отеческое отношение торгового капитала (т. е. самодержавия, по терминологии Покровского) к промышленному, некоторая лойяльность, уступки (правда, иногда под большим давлением) промышленному капиталу, выражавшиеся в постепенной ликвидации крепостнических остатков и т. д. Зато отношение промышленного капитала к торговому было, по концепции Покровского, куда более агрессивным. Это вытекало из того обстоятельства, что промышленный капитал будто бы совершенно не был заинтересован во внеэкономическом принуждении,[3] осуществляемом самодержавием. Это «делало его (т. е. промышленный капитал. — *А. П.*), — заявляет Покровский, — великим смертельным врагом самодержавия не только в России, но и во всех странах».[4]

Эту борьбу между торговым и промышленным капиталом Покровский ставил во главу угла не только русской, но и всемирной истории. «Это явление мировое, а вовсе не специальное русское», — заявлял он. Оказывается, и французская буржуазная революция 1789 г., и германская революция 1848 года и т. д. — все это не более,

---

[1] Там же, стр. 8.

[2] Покровский с гордостью заявлял, что именно он «открыл роль торгового капитала в истории России».

[3] Это — явный абсурд, ибо промышленная буржуазия была заинтересована в царской полиции, казаках и т. п. для борьбы с рабочим классом. Это было как раз одной из причин, почему русская буржуазия пошла на соглашение с крепостническим самодержавием.

[4] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 11.

как эпизоды метафизической борьбы двух капиталов. Только Англии удалось избегнуть этой участи, потому что там торговый капитал, оказывается, перебрался в колонии, а промышленный остался в метрополии.

Именно этой борьбой двух форм капитала Покровский объясняет своеобразие русской революции 1905—1907 гг., ее остроту и т. д. «Наиболее острыми, — утверждает Покровский, — они (т. е. столкновения между промышленным и торговым капиталами. — *А. П.*) были в России, потому что оба капитализма, и торговый и промышленный, явились в Россию очень поздно и спешили догнать своих западноевропейских родоначальников и прототипов, и в этой спешке они топтали друг друга, мяли друг друга, сталкивались друг с другом более бесцеремонно, чем в Западной Европе».[1] Вот и все объяснение своеобразия русской революции 1905 г.

Эта борьба между промышленным капитализмом и торговым шла, по заявлению Покровского, на протяжении десятков лет с переменным успехом: то брал верх промышленный капитал, то торговый, то они кончали дело компромиссом. Однако по «теории» Покровского побеждал преимущественно торговый капитал, потому что «торговый капитал у нас был главным, если можно так выразиться, содержателем романовского государства».[2]

Например, в 90-х годах XIX века, по концепции Покровского, «у нас утвердилась временно в лице Витте гегемония промышленного капитала», которая, однако, скоро сменилась снова гегемонией торгового капитала (в 1903 г.). В 1861 году («освобождение» крестьян) драка между двумя капиталами кончилась компромиссом, «причем львиная доля добычи досталась именно торговому капиталу» и т. д.

Покровский выводит эти колебания в успехах между торговым и промышленным капиталами из непосредственных колебаний... в ценах на хлеб. Понижаются хлебные цены — берет верх и «ходит гоголем», по выражению Покровского, промышленный капитал; повышаются цены — верх берет торговый капитал. Таким образом, исход борьбы между двумя капиталами, которая происходила непрерывно, то усиливаясь, то затихая, решался в каждый данный момент непосредственными изменениями в экономической конъюнктуре.

Революцию 1905—1907 гг. и февральскую революцию 1917 года Покровский также рассматривает, как эпизоды все той же метафизической борьбы за власть между промышленным и торговым капиталом. «Взрыв в 1905 году, — писал Покровский, — был очень облегчен той трещиной, которая образовалась в русском правящем классе, благодаря антагонизму интересов промышленного и торгового капитала... Однако этот антагонизм был не очень глубоким, и... не глубок он был, благодаря тому, что оба капитала слишком хорошо чувствовали

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 9.

[2] Там же, 104.

опасность, которая им грозила со стороны массы. Поэтому они не разодрались между собой до конца, а покончили компромиссом».[1]

В 1917 году «мы... имеем, — писал Покровский, — последнюю дуэль тех двух противников, борьба которых составляет фон всей русской истории XIX и начала XX века, все тех же самых двух видов капитализма, интересы которых не могли вполне примириться на русской почве».[2] «В начале войны (1914 г. — *А. П.*) доминировал торговый капитал».[3] К концу войны их роли переменились: «промышленный капитал чем дальше, тем больше втягивался в войну, торговый капитал чем дальше, тем больше начал скучать и горько осуждать войну».[4] Поэтому торговый капитал (т. е. самодержавие, по терминологии Покровского) хотел заключить сепаратный мир, а промышленному капиталу это было не выгодно. Поэтому — делает общий вывод Покровский — «торговый капитал должен был снова, как это было в 1905 г., столкнуться с промышленным капиталом. Повторяю, тогда они не додрались до конца, потому что учитывали массовое движение. Сейчас они (т. е. к 1917 году. — *А. П.*) о нем случайным образом позабыли и потому решили до конца додраться».[5]

Таков в концепции Покровского «основной фон», таково социально-экономическое содержание буржуазно-демократической революции (революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 г.) в России. И вот эти антимарксистские измышления Покровский и выдает за якобы действительно марксистско-ленинские положения. Совершенно очевидно, что в этих антинаучных взглядах Покровского нет ни грана марксизма-ленинизма. Своими идейными истоками концепция Покровского уходит в дебри богдановщины и «экономического материализма».

Покровский во всех своих работах совершенно обходит вопрос о двух путях капиталистического развития в сельском хозяйстве. Впрочем, это и не удивительно: его механистическая концепция борьбы двух капиталов, которую он противопоставляет марксистско-ленинскому положению о необходимости уничтожения феодальных пережитков; его голословное утверждение о том, что помещик и помещичье хозяйство в России суть категории капиталистического (торговый капитализм), а не феодального порядка; его утверждение, что к 1905 г. в деревне в качестве пережитка феодализма осталась только община и т. д. — все эти его установки, естественно, противоречат ленинскому учению о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве. Это учение осталось для Покровского истиной за семью печатями. В своих работах Покровский рассматривает лишь столыпинское аграрное законодательство. Впрочем, и это законодательство он вовсе не оценивает как попытку помещиков и буржуазии произвести

---

[1] Там же, 171.
[2] Там же, 172.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] Там же, 176—177.

капиталистическую очистку обветшалого аграрного строя России на путях прусского развития капитализма в сельском хозяйстве.

Что же представляла собой столыпинщина по понятиям Покровского? Исходя все из той же пресловутой концепции борьбы двух капиталов, Покровский приходит к выводу, что столыпинщина явилась крупной уступкой промышленному капиталу со стороны торгового, «была весьма удачной попыткой раскрыть перед промышленным капитализмом в России последнюю дверь, которая еще оставалась закрытой, причем дверь была распахнута настежь».[1] По мнению Покровского, это произошло благодаря тому, что промышленный капитализм в 1905 г. сильно нажал на торговый капитал. Однако в 1905—1907 гг. дело не дошло все-таки до полной победы промышленного капитала («капиталы не разодрались до конца» — по выражению Покровского), так как «для торжества промышленного капитала у нас, как бы это сказать, было недостаточно пороха, чтобы дело дошло до революции».[2] А что же это за порох, который был необходим для торжества промышленного капитала (т. е. для революции — по концепции Покровского)? Оказывается — это все те же злополучные хлебные цены. Торговый капитал, пишет Покровский, «в то время (т. е. в начале XX века. — *А. П.*) все продолжал господствовать благодаря тому, что хлебные цены все продолжали ползти кверху... Соответственно с этим держался и примат торгового капитала, его перевес и по отношению к капиталу промышленному. Речь могла итти только об уступках, о компромиссе».[3] Другими словами, в 1905—1907 гг., по Покровскому, объективно должен был выйти победителем торговый капитал (самодержавие), ибо уровень хлебных цен в то время благоприятствовал господству именно торгового капитала.

Революция 1905—1907 гг. потерпела поражение. Столыпинское аграрное законодательство было лишь шагом по прусскому пути развития капитализма в земледелии, оно означало грабеж крестьянской общины кулаками, неисчислимые бедствия и разорение основных масс крестьянства. Поэтому Ленин призывал массы бороться за американский путь развития, бороться против столыпинщины, призывал массы «помешать столыпинскому методу «обновления» России». А Покровский, исходя из своей неверной концепции, приходил к прямо противоположным выводам.

«Это (т. е. столыпинское законодательство. — *А. П.*) — писал он — не было победой массового движения как такового, это было, по существу, победой промышленного капитала»; в революции 1905—1907 гг. «формально победил торговый капитал»; а революция все же «пошла на пользу промышленного капитала, так что в конечном итоге этого переплета одержал верх промышленный капитал».[4]

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 118.

[2] Там же, 125.

[3] Там же, 128.

[4] Там же, 120 и 126.

Он упрекает партию большевиков в том, что большевики будто бы не заметили прогрессивной роли столыпинского аграрного законодательства и зря, мол, ругали Столыпина.

Ленин неоднократно повторял, что столыпинское аграрное законодательство было прогрессивным в экономическом смысле,[1] поскольку оно шло по линии капиталистического развития России. Однако этот путь обеспечивал сохранение власти и доходов черносотенных помещиков. Он был рассчитан на эволюцию помещичьего хозяйства в капиталистическое, на разорение большинства крестьянства, на создание слоя кулаков, которые должны были стать опорой буржуазной монархии. Ленин призывал бороться с самодержавием за другой путь развития, за американский путь, за революционное разрешение аграрного вопроса — за путь, менее тягостный для масс. А Покровский, игнорируя высказывания Ленина, заявляет: «кадеты в значительной степени исказили облик истории, а от них заразились этим искажением и мы» (здесь Покровский имеет в виду партию большевиков. — *А. П.*).[2] «Мы им вторили», — продолжает он. И дальше: «При свете той условной лжи, в которую облекала столыпинщину кадетская пресса, мы, грешным делом, прозевали в значительной степени самый крупный момент этой столыпинской социальной политики, именно его аграрное законодательство»[3] и т. д.

Это является клеветой на Ленина и нашу партию.

Покровский выводит рабочее и крестьянское движение, так же, как и борьбу между промышленным и торговым капиталами, непосредственно из колебаний хлебных цен.

Падение хлебных цен, имевшее место в 1880 г. и продолжавшееся до второй половины 90-х годов, положило будто бы начало пролетарскому движению в России. Последующее затем повышение хлебных цен (со второй половины 90-х годов и до 1914 г.) явилось причиной «обострения противоречий между крестьянином и помещиком». А отсюда, по мнению Покровского, — крестьянские восстания 1905—1906 гг. Что здесь нет ни грана марксизма-ленинизма — совершенно ясно.

Итак, параллельно с борьбой между промышленным и торговым капиталами возникают массовое рабочее и крестьянское движения. Эти движения, по утверждению Покровского, преследуют цели борьбы лишь за «пятачковые интересы» массы, т. е. цели чисто экономической борьбы (рабочего с хозяином и крестьянина с помещиком). Рабочие (не говоря уже о крестьянах) во время революции 1905—1907 гг., заявляет Покровский, «не сознавали еще конечных результатов своего революционного движения и воображали, что это движение может

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XI, 351—352.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 115.

[3] Там же, 117—118.

остановиться на победе над хозяином, тогда как надо было итти дальше и сбить царя. Этого они еще не сознавали».[1]

Покровский совершенно неверно рисует облик русского рабочего во время революции 1905—1907 гг. Мы знаем, что русский рабочий накануне революции 1905 года в своей массе был действительно еще недостаточно сознателен, однако революция в несколько месяцев просветила его, и уже в декабре 1905 г. он пошел на штурм твердынь самодержавия. Покровский же рисует русских рабочих вплоть до 1912 г. как совершенно несознательную массу, «готовую пойти за кем попало.[2] Вопреки фактам он даже объявляет русского рабочего не только не сознательным, но и... малореволюционным. Он заявляет, что русский рабочий «был чрезвычайно мало революционен сознательно... а в 1905 г. он не был еще готов к революции».[3] А отсюда Покровский делает вывод: «Революция 1905 года не была доведена до конца, потому что восставшая масса не была до конца революционной».[4] Рабочему классу нужно было потерпеть поражение в первой революции для того, чтобы стать сознательно революционным».[5] Итак, по концепции Покровского, массы просвещает не революция, а только поражение в революции. Из этой «пораженческой теории» Покровского вытекает его голословное утверждение о том, что революционную сознательность русский рабочий приобрел только после окончания революции 1905—1907 гг. «Именно благодаря разгрому рабочего движения 1905—1907 гг., — писал Покровский, — среди рабочих слоев, сначала среди меньшинства, появляется определенно сознательный слой, — слой, который на своих плечах выносит большевистскую партию; начиная с 1912 г., он в 1914 г. в лице питерского пролетариата доводит дело почти что до революции... и совершает, наконец, революцию 1917 г., причем в 1917 г. роль масс, сознательно революционных масс чрезвычайно ярка».[6]

Известно, что Ленин и Сталин, как раз наоборот, учили, что массы быстро просвещают именно годы революции, а вовсе не поражение в революции. «Всякая революция, — писал Ленин, — означает крутой перелом в жизни громадных масс народа... И как всякий перелом в жизни любого человека многому его учит, заставляет его многое пережить и перечувствовать, так и революция дает всему народу в короткое время самые содержательные и ценные уроки.

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 125.

[2] «Эту относительную революционность [рабочего], — заявляет Покровский, — можно повернуть во всех направлениях». («Очерки», стр. 89).

[3] М. Н. Покровский. Очерки революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 88.

[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 421.

[5] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 89.

[6] Там же, 89—90.

За время революции миллионы и десятки миллионов людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной, сонной жизни».[1]

Неправильную оценку дает Покровский и крестьянству. В представлении Покровского крестьянство это какая-то инертная, совершенно не революционная масса. Впрочем, Покровский все же находит кое-какие революционные элементы и среди крестьянства. Оказывается, это были кулаки. Кулаки это «слой наиболее демократический, в деревне», который «мог бы быть опорой политической революции».[2] «Кулак, — писал Покровский, — был первым либералом в деревне... он был наиболее политически сознательным (не в смысле пролетарском, конечно, а в смысле крестьянской классовой сознательности)».[3]

Что же собой представляла остальная основная масса деревни? Оказывается, эта крестьянская масса «было пауперизована», «эту массу составляли не пролетарии, а именно пауперы». А «паупер, — писал Покровский, — был совершенно не восприимчив к социалистической пропаганде, потому что он был ниже всякой политики». Поэтому в деревне, по Покровскому, помимо кулака, «не было революционных элементов вовсе».[4] Так характеризовал Покровский основные массы русского крестьянства, т. е. бедноту и середняков, в 70-х годах XIX века. Однако эта характеристика по существу остается у Покровского в силе и для периода революции 1905—1907 гг. Покровский, во-первых, объявляет крестьянскую массу даже в 1905 г. совершенно не революционной; во-вторых, он говорит о еще большем разорении крестьянства в 80-х и 90-х гг. в связи с низкими ценами на хлеб; в-третьих, Покровский и для 1905—1907 гг. повторял свой тезис о том, что «кулак был первым либералом в деревне» и «определенным союзником пролетариата в борьбе с самодержавием»; в-четвертых, это вытекает из всей его концепции крестьянской революции, которая являлась будто бы результатом конкуренции на хлебном рынке между кулаком и помещиком.

Итак, по концепции Покровского, в конце XIX и начале XX веков, наряду с борьбой промышленного капитала против торгового, которая составляет «основной фон» революции, возникают параллельно рабочее и крестьянское движения. Однако эти движения были стихийны, преследовали, по крайней мере в революции 1905—1907 гг., чисто экономические цели, и их можно было «повернуть во всех направлениях».

И вот промышленный капитал, т. е. буржуазия, решает использовать эти движения в своей борьбе против торгового капитала. Посредством рабочей революции промышленный капитал в своих целях пытается нажать на торговый капитал. «Уже в 1903—1904 гг., —

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXI, 67.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 59.

[3] Там же, 95.

[4] Там же, 60—61.

заявляет Покровский, — русская буржуазия начинает играть на повышение революции, начинает ту игру, которая заканчивается только после декабрьского восстания 1905 года».[1] Русская буржуазия «поддерживала в известной степени революцию, даже в октябре месяце (1905. — *А. П.*), в период октябрьской забастовки, питерские предприниматели аккуратно платили рабочим за забастовочные дни. Администрации заводов давали казенные пароходы депутатам для поездок в Совет».[2] И все это делалось будто бы не под нажимом революции, а по собственному желанию буржуазии. Так, промышленный капитал якобы пытался установить смычку с рабочим для того, чтобы использовать его в своей борьбе с торговым капиталом.

Однако в 1905 г. промышленному капиталу не удалось установить эту смычку с рабочим движением. Этому помешала новая сила, которая вклинивается между рабочим и буржуазией. Этой силой был «открытый» Покровским новый самостоятельный «класс» русского общества — интеллигенция.

Покровский в своих работах рассматривает интеллигенцию скорее даже не как особый самостоятельный класс со своими особыми классовыми интересами, а как какую-то надклассовую величину, специализировавшуюся на выработке идеологий. Он говорит об «интеллигенции как аппарате, который вырабатывал идеологию».[3] Вся история интеллигенции — это поиски массы. Покровский делит эту историю на периоды. «Первый период, — говорит он, — с 20-х до 80-х годов XIX века — можно охарактеризовать так: интеллигенция в поисках массы. Она ищет эту массу сначала среди крестьянства, потом среди рабочих, даже среди буржуазии, офицерства и т. д. Она ищет массу и не находит ее. Второй период будет с 80-х годов и приблизительно до начала второго десятилетия XX века, когда интеллигенция нашла массу».[4] И вот часть этой интеллигенции в лице профессоров, врачей с хорошей практикой, инженеров и т. д. находит себе массу в виде промышленной буржуазии и для нее вырабатывает идеологию (кадеты), другая часть интеллигенции находит себе массу сначала в лице студенчества и так называемого «третьего элемента» (статистики, агрономы, учителя), а потом в лице крестьянства, преимущественно в его зажиточной части. Эта часть интеллигенции — эсеры. Наконец, третья часть интеллигенции находит себе массу в лице рабочего класса. Но здесь есть, с одной стороны, не-революционная интеллигенция (меньшевики), а с другой, — революционная (большевики).

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 110—111.

[2] «Кадеты [т. е. идеологи промышленного капитала, по терминологии Покровского] смотрели на революционеров как на свое войско» (Очерки революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 110—111).

[3] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 88.

[4] Там же, 86—87.

И вот эта революционная интеллигенция (т. е. большевики) прилагает все силы к тому, чтобы помешать промышленному капиталу установить смычку с рабочим, ибо эта «смычка» между рабочим классом и буржуазией означала бы потерю для интеллигенции той массы, которую она, наконец, нашла.

Таким образом, по концепции Покровского, у партии большевиков, т. е. у революционной интеллигенции, в 1905—1907 гг. была чуть ли не единственная задача — сорвать революцию буржуазии. И это ей удается. Он так и пишет: «Эта классовая рабочая партия (т. е. партия большевиков. — *А. П.*), не давая массам пролетариата, тем массам, которые уже были охвачены революционным движением, стать орудием в руках буржуазии, тем самым, несомненно, расколола и подорвала это самое буржуазное оппозиционное движение, движение промышленного капитала и слоев, с ним связанных, так что в смысле, так сказать, буквального соответствия фактам эти люди были правы, когда ругали большевиков, говорили о них с пеной у рта, говорили, что это они сорвали революцию. Да, их революцию мы действительно сорвали, создав классовую рабочую партию... Мы, конечно, сорвали игру буржуазии, поскольку буржуазия играла на массовое движение».[1] И дальше: «В 1905 году... благодаря сознательной политике большевистской партии, буржуазная игра не удалась, и буржуазия действительно проиграла свою революцию, не добилась того, к чему она стремилась, не добилась «приличной» буржуазной монархии прусского или австрийского типа. Не добилась благодаря тому, что у нас существовала классовая рабочая партия, что у нас была сознательная верхушка рабочего класса, которая не позволила буржуазии сделать из этого рабочего класса свое орудие, как это было в 1848 г. в Германии и во Франции».[2]

Таким образом, попытка промышленного капитала нажать на торговый капитал, использовать для этого массовое рабочее движение, которое именно в это время развернулось (1905—1907 гг.), оказалась сорванной усилиями большевиков. Что же делать дальше? И промышленный капитал быстро находится — он идет на компромисс с торговым капиталом, сиречь самодержавием. «Что их (т. е. кадетов — идеологов промышленного капитала. — *А. П.*) толкнуло к этому»? — спрашивает Покровский. И отвечает: «Декабрьские баррикады и их неудача». «Таким образом, — пишет Покровский, — политика промышленного капитала вовсе не была такой глупой и вздорной, как могло бы показаться с первого взгляда. Ставка была сделана (т. е. ставка на рабочее движение. — *А. П.*). Правда, первая ставка была бита. Что делать? Буржуазия нашлась, — она пошла быстро направо, а друзья слева (т. е. рабочие. — *А. П.*) превратились в ослов слева».[3]

---

[1] Там же, стр. 114—115.
[2] Там же.
[3] Там же, 111.

Итак, «рабочая революция» 1905 г., по терминологии Покровского, потерпела поражение. Промышленный капитал успел извлечь некоторую пользу для себя и из массового рабочего и из крестьянского движений в 1905—1907 гг. Эти движения, по концепции Покровского, сыграли роль «ускорителя» в деле ликвидации поземельной общины, которая мешала развитию промышленного капитала. Торговый капитал был все же напуган этими движениями и тем легче пошел на компромисс с промышленным капиталом, после того, как этот последний повернул в сторону самодержавия. Покровский так и пишет: «крестьянское и рабочее движение 1905 года в этом случае сыграло роль ускорителя».[1]

Однако, несмотря на эти успехи промышленного капитала в борьбе с торговым, все же в 1905—1907 гг. «формально победил торговый капитал», была только заключена сделка (компромисс) между торговым и промышленным капиталами, а у власти остался торговый капитал (т. е. самодержавие). Это не могло удовлетворить полностью промышленный капитал, и, таким образом, борьба промышленного капитала против торгового (т. е. борьба за власть, за буржуазную монархию) не была, по концепции Покровского, окончательно снята, а должна была в будущем снова разгореться. Новым предлогом для борьбы послужила мировая война. Снова разгорелась, таким образом, ожесточенная борьба, «последняя дуэль», как говорил Покровский, между промышленным капиталом и торговым, начавшаяся с 1915 г.

И вот снова повторяется та же история, что и в 1905—1907 гг., однако с другими результатами. Промышленный капитал снова «пытается опереться на массы», «старается привлечь на свою сторону рабочую массу», чтобы покончить с самодержавием. И на этот раз промышленному капиталу, по уверениям Покровского, удается его «игра на массовое движение». Промышленный капитал устанавливает, вопреки партии большевиков, смычку с рабочими, празднует реванш после 1905 г. и садится, наконец, в феврале 1917 года в министерские кресла.

Покровский видит осуществление смычки между промышленным капиталом и рабочими во вхождении меньшевиков-рабочих во время войны в военно-промышленные комитеты, созданные буржуазией. Правда, ему невдомек, что в эти комитеты входила лишь весьма незначительная группа меньшевистски настроенных рабочих.

Почему же промышленному капиталу удается на этот раз установить «смычку» с рабочими и в результате сесть в министерские кресла? Покровский объясняет это тем, что на этот раз на сцене отсутствовала революционная интеллигенция в лице партии большевиков. «В 1917 году, — пишет Покровский, — случилось иначе, главным образом потому, что в решительный момент, в феврале 1917 года,

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 126.

большевики на сцене отсутствовали, их не было. Т. е. они были, но в таком незначительном числе, что они не могли играть большой политической роли. Когда Ленин приехал в начале апреля старого стиля 1917 года, дело было уже сделано, правительство Львова — Милюкова уже сидело в седле, нужно было его выкорчевывать, что нам в конце концов и удалось, как вы знаете. Но это была операция обратного характера, а помешать им в марте сесть в седло мы не могли».[1]

И еще: «Буржуазия, таким образом, вопреки настроениям рабочей партии, можно сказать, через ее труп, — потому что рабочая партия в это время в лице своей думской фракции была арестована и должна была готовиться к расстрелу, — осуществила ту смычку с рабочими, о которой она мечтала в 1905 г. По отношению к самодержавию и рабочему классу буржуазия торжествовала реванш после 1905 г.» [2]

Такова антиленинская концепция буржуазной революции Покровского, — концепция, глубоко враждебная основам марксизма-ленинизма. Для Покровского революция — это лишь сумма отдельных случайно совпавших, самостоятельных революций, которые проводятся теми или иными классами: буржуазия проводит свою буржуазную революцию, пролетариат — свою пролетарскую или рабочую революцию, крестьянин — крестьянскую или деревенскую революцию.

Итак, по концепции Покровского, — «основным фоном», социальным содержанием революционной борьбы на всем протяжении XIX и начала XX вв. была борьба между промышленным и торговым капиталами. Эта борьба долгое время протекала с переменным успехом, что находилось в прямой зависимости от уровня хлебных цен. Однако в начале XX в. (как раз в это время политическая организация торгового капитала, или самодержавие, стала особенно стеснительным для промышленного капитала) начинается параллельно другое движение, которое имеет свои собственные задачи — именно революционное рабочее движение. И вот промышленный капитал решает воспользоваться начавшейся рабочей революцией для того, чтобы покончить с самодержавием. Несмотря на первую неудачу в 1905—1907 гг. (которая явилась результатом поражения массового рабочего движения), промышленному капиталу в конце концов удается это осуществить в 1917 г. Промышленный капитал ликвидирует при помощи рабочей революции самодержавие и садится в министерские кресла. Такова в самых общих чертах антиленинская схема буржуазно-демократической революции в изображении Покровского. Эту свою схему Покровский выразил следующим образом: «В начале XX века, — писал он, — оказалась ненужной промышленному капитализму и политическая организация торгового капитала. Она стала для него крайне стеснительной: он восстал против нее и, опираясь на начавшуюся рабочую революцию,

---

[1] Там же, стр. 114—115.
[2] Там же, 163.

он ликвидирует самодержавие с 1905 по 1917 г., но что, ликвидируя самодержавие при помощи рабочей революции, он в то же время предпринимает ликвидацию самого себя, — этого русскому промышленному капиталу в голову не пришло».[1]

VIII

Перейдем теперь к рассмотрению так называемой «рабочей революции», которая, по Покровскому, происходит параллельно и одновременно с «буржуазной революцией».

Оказывается, рабочая революция — это борьба рабочего класса за захват власти. Всякое участие рабочего класса в любой революции и в любое время — это и есть рабочая (пролетарская, социалистическая) революция. Следовательно, единственным признаком рабочей революции у Покровского является лишь участие рабочего класса в революции, а единственной задачей рабочего класса в любой революции (и в любое время) есть лишь задача завоевания власти рабочим классом. Значит, если рабочий класс борется в революции, то он борется непосредственно за социалистическую революцию.

Покровский смешивает здесь вопрос об «общем характере революции в смысле ее общественно-экономического содержания с вопросом о движущих силах революции» (Ленин), против чего неоднократно и решительно предостерегали классики марксизма-ленинизма.

В буржуазно-демократических революциях XX в. рабочий класс России был не только движущей силой революции, но и руководителем (гегемоном) революции; в революции против самодержавия он принес и применял пролетарские методы борьбы и т. д. Несмотря на это, революция оставалась по своему общему характеру вовсе не пролетарской, а буржуазно-демократической революцией, ибо ее непосредственной задачей было не свержение буржуазии, а ликвидация феодальных пережитков, и в первую очередь — самодержавия.

Именно этого не понимал Покровский. Он вообще целиком отрицал буржуазно-демократический этап революции в том виде, как его понимают большевики. Не случайно поэтому Покровский никогда даже не употреблял выражения: «буржуазно-демократическая революция», а всегда — «буржуазная революция», причем употреблял его в своем специфическом понимании.

Самодержавие у Покровского это не феодальный пережиток, а политическая организация торгового капитала, т. е. организация одной из прослоек той же буржуазии. Следовательно, борьба рабочего класса и против самодержавия (торгового капитала) — это борьба против буржуазии, т. е. борьба за социалистическую революцию.

Рабочая революция по Покровскому — это самостоятельная рево-

---

[1] М. Н. Покровский, Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 11—18.

люционная борьба рабочего класса за власть, которая происходит параллельно и одновременно с буржуазной революцией. Промышленный капитал борется с торговым (с самодержавием) за власть для себя, а рабочий класс — за власть для себя.

По понятиям Покровского, в стране не существует единого революционного процесса, имеющего тот или иной общий характер в смысле общественно-экономического содержания. Есть лишь ряд параллельных революционных движений, совершаемых отдельными классами в интересах собственной борьбы за власть. Эти отдельные революционные движения и революции находятся между собой лишь во внешнем взаимодействии: те или иные классы пытаются, если это им выгодно в интересах собственной борьбы, использовать эти революционные движения и революции для себя, могут заключать блоки и т. д.

Вот почему у Покровского нет общего определения революции 1905 года и февральской революции 1917 года. Он называет, например, революцию 1905 года то буржуазной, то рабочей, то рабоче-крестьянской, причем эти понятия у Покровского отражают, как мы видели, не характер революции, а движущие силы.

Как же излагает Покровский историю рабочей революции в России?

Рабочее движение началось в России, по словам Покровского, в 80-х гг. XIX века. Это было тогда исключительно экономическим движением рабочего класса за свои «пятачковые интересы». Таковым движением оно оставалось по существу и позднее, вплоть до 1912 г. Русский рабочий до 1912 г. будто был способен только на экономическую борьбу с хозяином, боролся только «за права, а не за власть» и т. д.[1] Правда, все эти утверждения явно противоречат фактам, таким, например, фактам, как массовые политические забастовки, вооруженные восстания, которые, как известно, имели место в 1905—1907 гг., но это, видимо, мало смущает Покровского, которому нужно было протащить свою надуманную схему.

Мы уже видели выше, что по Покровскому, в качестве няньки рабочего класса — благодетельницы, взявшей на себя миссию уберечь «беспомощный» рабочий класс России, готовый «итти за кем попало», от посягательств промышленного капитала, — выступила интеллигенция. От этой опеки рабочий класс, по уверению Покровского, избавляется только после 1912 г. «Переломным моментом, — пишет он, — с моей точки зрения является Лена, ленские события апреля 1912 г. С этого момента можно датировать у нас сознательность революционного рабочего движения, уже не внушенного интеллигенцией».[2]

[1] Покровский так и пишет: «Этот экономизм, в котором еще приходится обвинять нашу рабочую массу в 1905 г.»... и т. д. (Очерки революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 116).

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 89.

Перелом этот у Покровского получается весьма просто: «Когда им (т. е. рабочим. — *А. П.*), — говорит он, — показали на некоторых наглядных фактах, что невозможно бороться с хозяевами, не повалив сначала царя, тогда они все пошли по революционной дороге, и в результате получился февраль 1917 года».[1]

В 1905—1907 гг., по концепции Покровского, в России не было объективных предпосылок для перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Покровский думал, что Россия «созрела» к 1905 году только для «торжества промышленного капитала», для буржуазной монархии (или республики), для создания условий, облегчающих дальнейшее капиталистическое развитие. В статье «Два октября» (1925 г.) Покровский приписывал Ленину эти меньшевистские взгляды, прямо заявляя, будто Ленин ожидал, что «после революции... Россия станет Европой», т. е. буржуазной Европой. «А по всем этим странам (т. е. европейским странам. — *А. П.*), — писал Покровский, — прошла революция. Что же она оставила? А вот — не осталось царей, или, если остались, когти у них сильно обрезаны. Есть всякие свободы — печати, собраний, совести». И дальше: «Словом, ясно было, что от революции не получится ничего больше «упорядочения буржуазного общежития», при котором можно будет, осторожно выбирая выражения, проповедывать «открыто» социализм. Вот и все. Конечно, ходить в православную церковь, да и вообще в какую бы то ни было церковь будет необязательно. Конечно, можно будет вдосталь ругать начальство, но что начальство будет чужое, буржуазное, «синее», на этот счет не было никаких сомнений. И когда Ленин стал писать о национализации земли как ближайшей задаче русской революции, это, не будем греха таить, смутило многих и очень многих большевиков».[2]

Итак, Покровский в вопросе о революции 1905—1907 гг. оставался фактически на антиленинских позициях. Применяя в России совсем в иную эпоху — в период империализма, шаблон «буржуазной революции», ожидая механистически от революции в России тех же результатов, которые получились в странах Запада за полстолетия или за столетие ранее, не замечая особенностей обстановки царской России в период империализма, Покровский естественно не видел объективных предпосылок в России в 1905—1907 гг. для перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Он видел лишь то, что было на Западе «в результате буржуазной революции — именно использование буржуазией рабочих и крестьянских движений в интересах капитала. Он и для России XX века строил такую же концепцию: промышленный капитал использовал «рабочую революцию» (т. е. рабочий класс) в борьбе с торговым капиталом, т. е. самодержавием за свое политическое господство.

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 116.

[2] Сб. «Октябрьская революция, стр. 91—92, изд. Комакадемии, 1929.

Поэтому у него и получилось, что «рабочая революция» в 1905—1907 гг. (т. е. участие рабочего класса в буржуазно-демократической революции) — выдуманная интеллигенцией революция, на которую приходилось тащить рабочих чуть ли не силой. «В масштабе всей страны, — писал Покровский, — рабочее движение развертывалось все же довольно медленно... Гораздо быстрее, хотя зато и поверхностнее, был отклик на начавшуюся революцию в среде интеллигенции и отчасти буржуазии».[1]

В этом свете чрезвычайно характерна оценка Покровским московского вооруженного восстания в декабре 1905 г. В самом деле, как же объяснить, например, московское вооруженное восстание, если рабочий класс не был готов к революции в 1905—1907 гг., если до 1912 г. он был совершенно несознательным и вообще недостаточно революционным? Известно, что и буржуазия и меньшевики обвиняли большевиков в том, что они будто бы искусственно вызвали декабрьское восстание, чуть ли не инсценировали его. На этой же точке зрения фактически стоит и Покровский. Известно, что Ленин и Сталин рассматривали декабрьское вооруженное восстание в Москве в 1905 г. как величайшее движение пролетариата после Парижской коммуны. «Мы должны заявить открыто и во всеуслышание, — писал Ленин в 1908 г., — в поучение колеблющихся и падающих духом, в посрамление ренегатствующих и отходящих от социализма, что рабочая партия видит в непосредственно революционной борьбе масс, в октябрьской и декабрьской борьбе 1905 года, величайшие движения пролетариата после Коммуны, что только в развитии таких форм борьбы лежит залог грядущих успехов революции, что эти образцы борьбы должны служить нам маяком в деле воспитания новых поколений борцов».[2]

А Покровский фактически повторяет меньшевистско-либеральные зады. «Что и мы (т. е. большевики. — *А. П.*) в сущности не отказались от партизанских действий, — говорил Покровский, — показывает опыт того же 1905 года. Что такое было декабрьское восстание 1905 года? Ряд партизанских действий несколько иного стиля, чем народовольческие выступления, потому что тут было в руках большее количество вооруженных сил, но это все-таки была чистейшая партизанщина».[3] Так «оценивает» Покровский это величайшее движение пролетариата. Покровский вслед за меньшевиками видит в этом восстании лишь «затею» большевиков, не имеющую будто бы корней в массах. «Нет никакого сомнения, — писал он, — что сознания безусловной неизбежности вооруженной борьбы у широких масс Москвы в декабре 1905 г. еще не было, иначе эти массы сумели бы достать оружие и увлечь за собой солдат — словом, вели бы себя, как вели они себя в Петер-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 325.

[2] В. И. Ленин. Соч., XII, 213.

[3] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 72—73.

бурге в феврале 1917 г. и в Москве в октябре 1917 г., а не так, как они вели себя в 1905 г.»[1]

Для чего же тогда нужно было большевикам поднимать восстание, если для него налицо не было соответствующих условий, как это «доказывает» Покровский? Объяснение Покровского просто смехотворно. Оказывается, «если бы московские и ряда других центров рабочие не выступили в декабре с оружием в руках, говорить о *революции* 1905 г. было бы очень трудно». И дальше: «Не призывать к оружию в декабре — значило бы повторить и удвоить ошибку... После этого меньшевистские контрреволюционные настроения весьма легко овладели бы массами... Массы *хотели* дать отпор царизму, но не знали, как это сделать. Большевики показали им, как это делается... Но если бы и большевики не сумели этого показать, это значило бы, что революционного руководства у русского пролетариата нет».[2]

Так объясняет Покровский декабрьское вооруженное восстание в Москве.

Эта «схема» Покровского находится в явном противоречии с фактической историей декабрьского восстания пролетариата и с марксистско-ленинской теорией революции.

Но почему же тогда декабрьское вооруженное восстание потерпело поражение? Вот как отвечает на этот вопрос тов. Сталин: «Почему же революция 1905 г., — писал он в «Заметках на современные темы», — потерпела поражение, несмотря на существование советов, несмотря на правильную политику большевиков? Потому, что феодальные пережитки и самодержавие оказались тогда сильнее, чем революционное движение рабочих».[3]

А у Покровского революция («рабочая революция» в 1905—1907 гг.) была по существу преждевременной революцией, так как социально-экономических корней для этой революции будто бы не было. Поэтому она и потерпела поражение. «Революция 1905 года, — заявляет Покровский, — не была доведена до конца потому, что восставшая масса не была до конца революционной».[4]

Только после ленских событий, по мнению Покровского, произошел перелом в рабочем классе России, который выходит на самостоятельную революционную дорогу. Уже в феврале 1917 года он приходит к «настоящей» пролетарской революции. А интеллигенция, указав правильный путь рабочему классу, в 1917 году «от них (т. е. от рабочих — *А. П.*) отстает значительно».[5] Интеллигенты петуш-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 401.

[2] Там же.

[3] И. В. Сталин. Сб. «Об оппозиции», стр. 624.

[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 421.

[5] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 90.

ком, петушком бегут за рабочим движением, но не могут его догнать.[1] «Большевики в то время (т. е. к 1917 г. — *А. П.*) не были на местах, были в ссылке или за границей, в эмиграции, а интеллигенция, которая оказалась налицо — меньшевики и эсеры, — несомненно, шла ниже уровня рабочего движения. Рабочие требовали республики, а интеллигенция требовала лишь, чтобы только не провозглашали монархии»,[2] т. е. как будто тоже стояла за республику.

В результате всего этого промышленному капиталу удалось то, что не удалось ему в 1905 г.: опугать рабочий класс, установить с ним смычку и при его помощи «сесть в министерские кресла».

Здесь весьма наглядно видно, как у Покровского не увязываются концы с концами в его концепциях. В самом деле, с одной стороны, рабочий класс после 1912 г. становится сознательно революционным классом, прекрасно видит свои конечные цели и в своей революционной сознательности далеко обгоняет даже интеллигенцию. А с другой стороны, у того же Покровского получается, что промышленный капитал, воспользовавшись в 1917 году «отсутствием» на сцене революционной интеллигенции, т. е. большевиков, — которые, следовательно не могли помешать промышленному капиталу, — устанавливает смычку с рабочим классом и ведет его за собой. Но где же здесь тогда революционная сознательность рабочего класса?

Но были ли глубокие социально-экономические условия внутри царской России накануне 1917 г. для того, чтобы могла произойти в 1917 г. социалистическая революция? Оказывается, по концепции Покровского, во внутренней обстановке царской России не было таких условий. На очереди еще стояла объективно, по Покровскому, борьба с торговым капиталом за торжество промышленного капитала, следовательно, предстояли еще долгие годы развития и процветания в России промышленного капитализма. Поэтому Покровский заявлял, повторяя слова меньшевиков, что «к социализму в 1917 г. русский рабочий класс в целом готов не был». И дальше: «И в этом смысле (т. е. в смысле умения сознательно осуществить социализм. — *А. П.*), в смысле средств организованности, необходимой и т. д. русский рабочий класс в 1917 г. не был готов для перехода на социалистическое хозяйство. Это не подлежит никакому сомнению».[3]

Итак, накануне 1917 г., по мнению Покровского, никаких оснований, никаких внутренних социально-экономических предпосылок для социалистической революции в России не было. Но почему же тогда в феврале 1917 г. в России произошла все-таки революция. Покровский видит корни этой революции исключительно во внешних при-

---

[1] Там же.

[2] Там же, 84—85.

[3] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 90.

чинах, именно в мировой войне, причем даже называет февральскую революцию 1917 года антивоенной революцией.[1]

Конечно, мировая война (так же, как и русско-японская война по отношению к революции 1905 г.) ускорила революцию 1917 г., потому что принесла новые бедствия массам, обострила уже имевшиеся налицо внутренние противоречия, создала ряд новых трудностей самодержавию, облегчила пролетариату и крестьянству (благодаря, например, наличию оружия на руках у масс) борьбу с царизмом и т. д. Однако в самом существе дела она ничего не меняла, потому что социально-экономические основания революции коренились глубоко в недрах самой царской России.

Ленин и Сталин называли войну лишь «ускорителем», «всесильным режиссером» революции. А Покровский в противовес этим ленинско-сталинским положениям видел фактически в войне основную причину революции, которая разразилась в России, несмотря на мнимое отсутствие соответствующих оснований и условий внутри страны. Правда, Покровский прямо не отрицает наличия между определенными классами внутри общества противоречий, которые могут в конце концов привести к революции, но по существу он их дезавуирует, заявляя, что момент революции всегда может быть отодвинут «в мирное» время на неопределенное количество лет и что подобная революция неизбежна лишь «в общей перспективе». «Этот взрыв (т. е. революция. — *А. П.*), — писал Покровский, — той или другой политикой правящих классов мог быть отодвинут на неопределенное почти количество лет».[2]

Для того, чтобы вспыхнула революция, по «теории» Покровского, мало еще наличия «классов-взрывателей», — как он выражается. Нужен еще «толчок, искра... непосредственно вызвавшая взрыв».[3] И этим толчком может быть, по Покровскому, только война. Следовательно, без войны не могла бы быть и революция.

Он заявляет, что «взрывателем» революции 1905—1907 гг. послужила японская война,[4] «взрывателем» (а не «ускорителем») революции 1917 года явилась мировая война.

Итак, Покровский видит причины, вызвавшие революцию 1917 года, не во внутренних, а во внешних условиях, причем в февральской революции 1917 года, так же, как и в Октябрьской революции, он видит настоящую рабочую, т. е. социалистическую революцию, в противовес революции 1905—1907 гг., которая, как мы уже знаем, была, по Покровскому, не «настоящей» революцией. «В марте 1917 г., —

---

[1] Как увидим ниже, для Покровского февральская и Октябрьская революции 1917 года — однотипные, социалистические революции.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 96—97.

[3] Там же, 97.

[4] Там же.

писал Покровский, — победила революция, несомненно, настоящая рабочая революция»,[1] революция, не внушенная интеллигенцией.

Но как же получилось, что уже в феврале 1917 года произошла в России социалистическая революция, если, по Покровскому, Россия еще «не созрела» для социалистической революции?

Покровский рассуждает примерно так: война, которая была результатом внешней политики царизма, привела, с одной стороны, к новой вспышке борьбы между промышленным и торговым капиталами и к стремлению промышленного капитализма произвести дворцовый переворот, а с другой стороны, она вызвала колоссальную хозяйственную разруху промышленности, транспорта, продовольственный кризис (кстати, этот последний Покровский считает «той апельсиновой коркой, на которой поскользнулась династия Романовых в феврале 1917 г.»,[2] и т. д.). Словом, «русское народное хозяйство», по словам Покровского, к 1917 г. в результате войны оказалось на краю гибели, на краю полного краха. Надо было во что бы то ни стало спасать это хозяйство, а для этого в первую очередь надо было прекратить войну как источник разрухи. «Нужно было спасти русское народное хозяйство, — писал Покровский, — и на это спасение вступил русский пролетариат. В этом, употребляя старомодное выражение, — его великая историческая миссия в русской революции. И он его действительно спас. Только диктатура пролетариата это и могла осуществить».[3]

Итак, по концепции Покровского, русский пролетариат совершил в феврале 1917 г. революцию потому, что необходимо было заключить мир и спасти от гибели русское народное хозяйство. Таковы были предпосылки революции 1917 года, вытекавшие в конечном итоге из внешнего фактора, — войны.

Но почему же эта «антивоенная» революция оказалась революцией социалистической? Ответ на этот вопрос мы находим в статье Покровского «Семь лет пролетарской диктатуры». Оказывается, «у нас (у большевиков. — *А. П.*) была незамечавшаяся нами, но чрезвычайно ценная монополия — монополия на заключение мира потому, что только мы, поднявшие еще в Циммервальде и Кинтале знамя восстания против мирового империализма, только мы могли разорвать империалистическую цепь и заключить мир. Никто другой этого сделать не мог — вот почему никакое другое правительство, кроме большевистского, было немыслимо осенью 1917 г. Никакое другое правительство в 1917 г. было просто немыслимо». И большевикам пришлось поэтому взять власть в свои руки. А раз власть оказалась в руках большевиков, то им ничего не оставалось делать, как итти к социа-

---

[1] Там же, 111.
[2] Там же, 165.
[3] Там же, 184.

лизму: «Ничего другого мы не могли сделать» — заявляет Покровский. Это оригинальное объяснение происхождения социалистической революции в России наглядно характеризует всю антиленинскую концепцию Покровского, пытающуюся «объяснить» и сочетать происхождение социалистической революции в России в 1917 г. с меньшевистским тезисом о том, что по своему внутреннему развитию Россия к 1917 г. еще «не созрела» для социалистической революции. То, что произошло, было, по Покровскому, только лишь «совпадением нашей социалистической программы с тем, чего объективно требовал момент»,[1] т. е. спасения русского народного хозяйства и заключения мира.

Поэтому Февральская революция 1917 года, проделанная рабочими и солдатскими массами, должна была носить социалистический характер. И Покровский категорически утверждает это. «Таким образом,— пишет он, — февральская революция была не только рабочей революцией, не только пролетарской революцией, по социальному составу той массы, которая низвергла самодержавие и фактически стала у власти, но неизбежно была и социалистической революцией совершенно объективно».[2]

В другом месте Покровский утверждает, что «Диктатура пролетариата «де-факто» была уже налицо в Петербурге 12 марта 1917 года. Ей восемь месяцев понадобилось, чтобы завоевать себе «де-юре» и подчинить себе всю страну».[3] Это он подчеркивает неоднократно и совершенно категорически. Даже одну из своих статей, посвященную февральской и октябрьской революциям 1917 года, он назвал «Два октября». Итак, Покровский не видит никакой принципиальной разницы между февральской буржуазно-демократической и Октябрьской Социалистической революциями. Для него обе эти революции — социалистические, и если бы не случайность — отсутствие в Петрограде в феврале 1917 года Ленина и партии большевиков, — то уже в феврале, по Покровскому, было бы то, что произошло в октябре 1917 года. «Благодаря тому, — пишет он, — что в первый момент этой партии (партии большевиков. — *А. П.*) на сцене не оказалось, получилась длинная восьмимесячная агония старого режима..., сделавшая необходимой вторую операцию, ...операцию, которая могла бы быть, конечно, сбережена». «Можно было бы, — говорится дальше, — сберечь русскому народу вторую революцию, Октябрьскую революцию, которая все же стоила довольно много пролетарской крови, и сразу установить тот режим, который установился у нас после Октября 1917 года».[4]

---

[1] М. Н. Покровский. Семь лет пролетарской диктатуры, стр. 19. ГИЗ, Москва.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 191.

[3] М. Н. Покровский. 12 марта 1917 г. Сб. «Октябрьская революция», 1928, стр. 90.

[4] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 170 и 183.

Такова общая концепция «рабочей революции» Покровского, которая, по его словам, развивалась с 1905 по 1917 год параллельно с «буржуазной революцией».

На ряду с этими двумя революциями и в это же самое время происходила, по Покровскому, крестьянская революция в деревне.

IX

Концепция «крестьянской революции» у Покровского в общем такова: в течение более 300 лет (с XVI по начало XX века) мелкое крестьянское хозяйство боролось с крупным помещичьим хозяйством «за право своего существования». На этом фоне «развертывается... длинный ряд крестьянских революций. Смутное время, революция Хмельницкого на Украине, восстание Степана Разина и, наконец, Пугачевский бунт к концу XVIII века». «В начале XX века, — заявляет Покровский, — опять в крестьянине вспыхнула та же жадность земли, опять он полез на помещика и на этот раз, пользуясь тем, что в стране начало происходить рабочее движение, полез с бо́льшим успехом, чем раньше. В 1917 году он добился своего: помещик-паразит был разбит, помещичья земля перешла в руки крестьян».[1]

Но почему же в 1905 — 1907 гг. крестьянин снова «полез на помещика»? Причиной этого, по уверениям Покровского, явилось повышение хлебных цен на рынке и борьба на этом рынке между крестьянином и помещиком. «Обострение отношений этих двух сил на хлебном рынке — крестьян и помещиков, — писал Покровский, — должно было столкнуть их лбами совершенно неизбежно».[2] Отсюда у Покровского естественно вытекало, что эта борьба с помещиком относилась прежде всего к кулаку, который из среды крестьян в первую очередь выступал на рынке в качестве продавца хлеба. Вот почему в концепции Покровского именно кулак являлся основной революционной силой в борьбе против помещика, раз основой этой борьбы являлось столкновение на хлебном рынке конкурентов — крестьянина и помещика. «Вы поймете, — писал Покровский, — что в этой растущей крестьянской буржуазии возникал чрезвычайно случайный, правда, и не на далекое расстояние, но несомненный союзник пролетариата против самодержавия. Нужно было только, чтобы отношения этого союзника и той силы, на которую опиралось самодержавие, т. е. помещики, особенно обострились. Этого обострения было достаточно для того, чтобы перетянуть эти силы (кулака. — *А. П.*) окончательно на сторону революции, сделать эти силы антипомещичьими в настоящем смысле этого слова и, значит, сделать его определенным союзником пролетариата в борьбе с самодержавием. Этого и достигло изменение в конъюнктуре хлебного рынка во второй половине 90-х годов».[3]

---

[1] Там же, 5.
[2] Там же, 95.
[3] Там же.

Такова концепция Покровского: крестьянская революция в деревне в 1905—1907 гг. началась под влиянием изменения в конъюнктуре хлебного рынка, причем это изменение в конъюнктуре в качестве революционной силы выдвинуло на первый план кулака — этого «присяжного», по выражению Покровского, «первого либерала в деревне». Кулак явился руководителем крестьянской революции в деревне, вел за собою все, политически инертное крестьянство. Вот почему, по Покровскому, кулак являлся основным союзником пролетариата в борьбе с самодержавием. Впрочем, уже в «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский несколько видоизменяет свою точку зрения на «крестьянскую революцию». Ему пришлось отступить в этом вопросе, потому что слишком уж резко выпирали факты, свидетельствовавшие о том, что крестьянским движением руководил фактически вовсе не кулак, а рабочий, который опирался не на зажиточные слои, а на пролетарские и полупролетарские элементы деревни. Вот почему Покровский вынужден был, ломая свою схему, признать это в «Русской истории в самом сжатом очерке». «Выключая случаи — довольно редкие, — писал он, — когда организаторами деревенского движения являлись деревенские демократы в лице зажиточного крестьянства, это движение толкалось вперед именно рабочим движением». И дальше: «Распропагандированный в городе рабочий, став безработным, нес пропаганду к себе, в родную деревню... «Итак, первой общественной группой, руководившей деревенским движением, были рабочие, опиравшиеся на пролетарские и полупролетарские элементы деревни». [1]

Впрочем, в ряде случаев, в этом же «Сжатом очерке» он фактически смазывает эти свои признания о руководящей роли рабочего и о бедноте как наиболее активной части движения.

Под видом «доказательств», что «крестьянская революция» начала XX века была «движением всего крестьянства в целом», Покровский фактически силится отрицать участие в революции бедноты в качестве наиболее активной части крестьянского движения. Он приводит в качестве примера крестьянское восстание в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г., в котором особенно ярко выразилось участие беднейшего крестьянства. Как же он трактует это восстание? «Главную массу восставших составляло беднейшее крестьянство... Это наводит на искушение изобразить и все крестьянское восстание в Полтавской и Харьковской губ. в марте — апреле 1902 г. как восстание деревенской бедноты. Но это было бы верно лишь немногим более, нежели изображение всего движения как голодного бунта». [2] Приводя затем целый ворох рассуждений на тему о бедноте, Покровский в конце концов приходит к выводу, что «это были, таким образом, начавшие разоряться типичные *средняки*, а вовсе не беднота». [3]

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 406, 407 и 409.
[2] Там же, стр. 278.
[3] Там же.

Затем он находит, что «целый ряд сельских старост и сотских (мелкая полицейская должность. — *А. П.*) даже руководили местами движением»,[1] т. е. полтавско-харьковским восстанием 1902 года, и тут же доказывает, что этих «руководителей» движением едва ли можно отнести к бедноте. Но так было, по словам Покровского, не только на Полтавщине и Харьковщине. «И еще больше этот факт, — пишет он, — станет перед нами во всей ясности, когда мы перейдем к крестьянскому движению в других местностях».[2] Он «доказывает», что и в этих местностях наиболее активная роль в движениях принадлежала вовсе не бедноте, а руководителями и агитаторами выступали мелкие лавочники, кулаки, старосты, даже судьи и т. д. Так Покровский по существу смазывает свои же правильные заявления о рабочем как об основном руководителе движения.

Во всех работах Покровского явно сквозит недооценка роли крестьянства в революции. Крестьянским движениям он придает исключительно местное внутридеревенское значение: они носили, по его словам, лишь чисто «экономический» характер борьбы крестьянина с помещиком. Основные массы крестьянства (эту «инертную», по его «теории», массу), и даже пролетарские и полупролетарские слои деревни, приходилось специально раскачивать, тащить чуть ли не на аркане на революцию. Поэтому Покровский категорически отрицает стихийность крестьянского движения — этот несомненный признак глубины движения в массах.[3] По его словам, крестьянское движение в 1905—1907 гг. было поверхностным движением, поэтому он объявляет тщетными надежды некоторых (т. е. большевиков, конечно) на глубокое массовое стихийное восстание в деревне, которое поддержало бы рабочее движение в городе. «Деревня, — пишет он, — даже в лице ее пролетариата, была настроена еще более «экономистски», чем город, тогда как и город, мы видели, был еще в лице своих широких слоев в достаточной степени «экономистом». И дальше: «Но в 1905 г. у нас многие переоценивали значение *стихийности* в революции. С этим и связаны были надежды, которые многими возлагались на *крестьянство*». «Представление о стихийности деревенского движения было ошибкой не только некоторой части большевиков, но и еще больше — легендой»...[4]

Так писал Покровский. А Ленин, как раз наоборот, неоднократно говорил о стихийности крестьянского движения в 1905—1907 гг. как о показателе глубины этого движения, которому, однако, партия должна была придать сознательный, организованный характер. Например, в феврале 1907 г. в статье «Вторая Дума и вторая

[1] Там же, стр. 279.

[2] Там же.

[3] Ленин писал: «Что стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости, это несомненно» (Соч., XXI, 202).

[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке 405—406.

волна революции» Ленин писал: «Мы с восторгом приветствуем приближающуюся волну стихийного народного гнева. Но сделаем все, от нас зависящее, чтобы новая борьба была как можно менее стихийной, как можно более сознательной, выдержанной, стойкой».[1]

Недооценка роли крестьянства в революции сказывается у Покровского достаточно ярко на протяжении всех его работ, посвященных русской революции. В своих работах он в общем чрезвычайно мало уделяет места крестьянскому движению, середняк у него совершенно выпадает (он говорит только о кулаке и бедноте).

X

Перейдем теперь к некоторым общим выводам и оценкам Покровского, которые он дает революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года, т. е. буржуазно-демократическому этапу революции.

Концепция русского исторического процесса, ошибочные методологические взгляды Покровского, ничего общего не имеющие с марксистско-ленинскими, мешают Покровскому правильно оценить характер и движущие силы буржуазно-демократической революции в России. Покровский не понимает и не может понять нашей революции и ее особенностей. Он механистически разрывает единый революционный процесс в России на ряд параллельных самостоятельных революций, совершаемых различными классами для себя, причем эти отдельные параллельные революции («буржуазная», «рабочая», «крестьянская» и др.) находятся лишь в некотором внешнем взаимодействии между собой.

Концепция Покровского фактически приводит к отрицанию буржуазно-демократического этапа русской революции. Известно, что социальным содержанием буржуазно-демократической революции является борьба против крепостнических остатков, мешающих дальнейшему свободному развитию производительных сил. Покровский же вырывает самую основу буржуазно-демократической революции, объявляя важнейшие остатки крепостничества — помещичье землевладение и самодержавие — буржуазными учреждениями (торговый капитализм). У него получается, что только земельная община и верхушка самодержавной власти мешают дальнейшему развитию промышленного капитализма в России. А отсюда — задачи буржуазной революции в России сводятся у него к задачам устранения общины в деревне и персональной смены монарха и его правительства (замены представителей торгового капитала представителями промышленного). Но общину устраняет само царское правительство (торговый капитал), правда, под некоторым нажимом капитала промышленного. Для смены же монарха и его правительства достаточен

[1] В. И. Ленин. Соч., X, 370—371.

дворцовый переворот. Так что в сущности, по концепции Покровского, буржуазная революция была вовсе не нужна, о чем он прямо и заявляет. Выполнение этих задач и было бы торжеством промышленного капитала и завершением его борьбы против торгового.

Покровский почти нигде не употребляет даже термина «буржуазно-демократическая революция» и ограничивается термином «буржуазная революция», которую понимает как борьбу за установление господства «промышленного капитала».

Это видно, напр., из следующих его слов во введении к 3-й части «Русской истории в самом сжатом очерке»: «Термин «буржуазная революция», — писал Покровский, — можно понимать двояко: или это означает революцию, создающую условия, необходимые для существования буржуазного, капиталистического строя, или это означает революцию, которою руководит буржуазия». «В первом смысле, — заявляет далее Покровский, выдавая свою неверную точку зрения за взгляды партии, — понималось название «буржуазная революция» в 1905—1907 гг. преимущественно нами, большевиками. Во втором смысле понимали его меньшевики и в особенности Плеханов...» [1]

Но с борьбой между промышленным и торговым капиталами («буржуазная революция») совпало в конце XIX и начале XX века начинавшееся рабочее движение, которое в 1905 г. усилиями интеллигенции вылилось в «рабочую революцию» (правда, еще не в «настоящую» рабочую революцию с социалистическими задачами). Вместе с тем, более или менее случайно, в это же время (1905—1907 гг.) снова «полез на помещика» крестьянин для удовлетворения своей многовековой жажды земли («крестьянская революция»).

Вот этими начинавшимися параллельно революциями и решил тогда воспользоваться промышленный капитал для своей более успешной борьбы с торговым капиталом, причем промышленному капиталу пришлось прибегнуть к помощи рабочей революции потому, что это время — начало XX века — было объективно не совсем благоприятно для промышленного капитала, ибо хлебные цены ползли тогда кверху, и «ходил гоголем» торговый капитал. Но промышленному капиталу этот маневр не удался благодаря вмешательству третьей силы — интеллигенции. В результате, вместо помощи, промышленный капитал получил от «рабочей революции» совсем не то, чего ожидал: «рабочая революция» в 1905 г. сорвала революцию промышленного капитала (т. е. «буржуазную революцию»), однако, в выигрыше все-таки оказался промышленный капитал, несмотря на свое поражение: само самодержавие ликвидирует в угоду промышленному капиталу поземельную общину.

Во время мировой войны промышленный капитал опять столкнул-

[1] М. Н. Покровский. «Русская история в самом сжатом очерке», стр. 238.

ся с торговым. В своей борьбе он снова, как и в 1905—1907 гг., пытается опереться на массовое движение. И на этот раз это ему вполне удается по случайной причине: из-за отсутствия на сцене революционной интеллигенции (т. е. большевиков). А когда эта интеллигенция подоспела, было уже поздно: промышленный капитал уже успел установить смычку с рабочим движением и усесться в министерские кресла. Казалось, что промышленный капитал торжествует свою победу, но тут появилось совершенно непредвиденное обстоятельство. Оказывается, мировая война совершенно неожиданно создает предпосылки для социалистической революции в России, которые отсутствовали внутри страны. И пролетариат, при помощи которого промышленный капитал пришел к власти, неожиданно для всех уже в феврале 1917 года совершает настоящую рабочую революцию, т. е. социалистическую революцию, причем совершает ее уже без помощи интеллигенции.

«Буржуазия,—писал Покровский,—и в особенности говорившая от ее лица интеллигенция, надеявшиеся вступить в царство божье свободы, налетели со всего маху на пролетарскую диктатуру. Это до такой степени не входило во все их расчеты, до такой степени было странно, нелепо и дико для них, что они взвыли, как вы знаете, возопили, отреклись от этой революции, заявили, что она «не настоящая».[1]

О крестьянской революции Покровский говорит лишь в отношении 1905—1907 гг. В феврале же 1917 года «крестьянская революция», т. е. крестьянство, отсутствует совершенно. Участие солдата (т. е. крестьянина в солдатской шинели) в этой революции он рассматривает с совершенно иной точки зрения: солдат для него только участник антивоенной революции, т. е. революции, направленной исключительно против затянувшейся войны. «Крестьянская революция» 1905—1907 гг. стоит у Покровского несколько особняком, преследуя лишь свои местные специфические задачи («жажда крестьянина на землю»). Хотя Покровский и говорит о союзе между «рабочей» и «крестьянской» революциями, однако эти слова остаются у него висеть в воздухе. В 1917 году крестьянин получает, наконец, долгожданную землю из рук пролетариата.

Итак, объективными задачами революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года, по концепции Покровского, были задачи, связанные с необходимостью установления буржуазного строя в России. Именно только эти задачи, вытекавшие из внутренней обстановки царской России, объективно стояли на очереди дня. Хотя для разрешения этих задач и не требовалась революция, однако, поскольку в это время происходило рабочее движение, превращенное усилиями революционной интеллигенции в революцию, эта «рабочая революция» сыграла объективно роль ускорителя в разрешении стоявших

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 7.

на очереди дня буржуазных задач. Вот именно только в этом смысле и понимает Покровский термин «буржуазная революция».

«Рабочая революция», по Покровскому, не имела в 1905—1907 гг. никаких задач, объективно стоявших в то время на очереди дальнейшего развития России. По его концепции, это было, точно так же, как и крестьянское движение, только обычным движением экономического порядка, т. е. обычной борьбой «за права» — экономической борьбой рабочего с хозяином и крестьянина с помещиком. Даже революционная интеллигенция, которая, как мы видели, превратила (или, вернее, пыталась превратить) это экономическое движение в революцию, не смогла выдвинуть перед этой революцией никаких положительных задач в интересах пролетариата. До социалистической революции пролетариат России еще, мол, «не созрел», а объективно стоявшие на очереди дня задачи борьбы за установление буржуазного строя были в интересах буржуазии, а не пролетариата (пролетариату было все равно, какая буржуазия стояла у власти — торговая или промышленная). Именно поэтому революционная интеллигенция и ставила перед «рабочей революцией» задачи негативного порядка — помешать промышленной буржуазии использовать пролетариат в своей борьбе с торговой, т. е. сорвать буржуазную революцию. Если же и стояли перед «рабочей революцией» кое-какие положительные задачи, то разве только необходимость показать рабочему на будущее время, «как это делается». Накануне 1917 г. «рабочая революция», по концепции Покровского, в сущности тоже не имела никаких перспектив, вытекавших из внутренних условий царской России. Объективно на очереди дня продолжала стоять, как утверждал Покровский, все та же борьба за установление буржуазного строя в России. И только случайно и неожиданно для всех в Россию к 1917 году буквально свалились извне предпосылки социалистической революции.

Итак, по Покровскому, революцию 1905—1907 гг. делали рабочие и отчасти крестьянские массы; буржуазия же, не принимавшая непосредственного участия в революции, рассчитывала лишь воспользоваться результатами этой революции. Вот почему Покровский и считает в общем революцию 1905—1907 гг. *рабочей пролетарской революцией.* Но участие в этой революции интеллигенции как руководящего начала («сверху») и параллельная революция в деревне («снизу») превращали эту рабочую революцию в не настоящую революцию. «Эта идеологическая комбинация (т. е. «присутствие революционной интеллигентской группы». — *А. П.*), — пишет Покровский,—не дает возможности рассматривать первую русскую революцию... как чисто пролетарскую революцию».[1] Не только присутствие революционной интеллигенции делало, по Покровскому, революцию 1905—1907 гг. не чисто пролетарской, но и участие в ней крестьянства. «Но если мы будем рассматривать движение

[1] Там же, 90—91.

снизу, то опять-таки найдем здесь непролетарские элементы. Этим непролетарским элементом было крестьянство».[1] Покровский склонен даже на этом основании считать революцию 1905—1907 гг. *рабоче-крестьянской революцией,* хотя гораздо чаще называет ее *рабочей, пролетарской* революцией, а иногда и *буржуазной* в том специфическом понимании, о котором мы говорили выше, т. е. как борьбу промышленного капитала с торговым. «Была ли наша революция 1905 года чисто пролетарской, — спрашивает Покровский, — или же она была пролетарско-крестьянской, рабоче-крестьянской?» и сам же отвечает: «Я считаю, что она была рабоче-крестьянской революцией».[2]

Зато февральскую революцию 1917 года Покровский считает уже «настоящей рабочей революцией». «В марте 1917 г., — пишет он, — «победила революция, несомненно, настоящая рабочая революция».[3] И вовсе не потому он считает ее настоящей рабочей революцией, что на ее долю «свалились» извне социалистические задачи, а потому, что в ней якобы уже не принимали участия ни крестьянские массы, ни интеллигенция.

Мы уже говорили о том, что своей концепцией Покровский по существу отрицает буржуазно-демократический этап русской революции, перепрыгивает через незавершенную в то время буржуазно-демократическую революцию прямо к революции социалистической. «У нас в России в 1917 г., — писал он, — могла быть или социалистическая революция или никакой».[4] «Так или иначе, уже в 1914 г. друг против друга стояли две международные силы — буржуазия на одной стороне, пролетариат — на другой. Взрыв мог произойти всюду, и всюду *немедленно он отлился бы в форму социалистической революции.* В России и Германии — отчасти и в Италии — мы имеем уже фактические доказательства этого. Но почему дело началось в России?».[5] Даже в 1905 г. могла бы сразу произойти, по мнению Покровского, социалистическая революция в России. «Если бы мы сумели, — пишет он, — использовать ростовцев и саперов, которые шли нам в руки..., не будет чересчур смелым предположить, что февраль 1906 года оказался бы похожим на февраль 1917 г.»,[6] а февраль 1917 г. у Покровского, как мы видели, — это социалистическая революция.

Итак, по концепции Покровского выходит, что в 1906 г., 1914, 1917 гг. (февраль) Россия стояла уже непосредственно перед социалистической революцией, а не перед неизбежным, может быть, весьма кратковременным, этапом буржуазно-демократической революции.

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 90—91.

[2] Там же, 86.

[3] Там же, 111.

[4] М. Н. Покровский. 7 лет пролетарской диктатуры, стр. 14, ГИЗ М.

[5] М. Н. Покровский. Сб. «Октябрьская революция», стр. 77, 1929. (Подчеркнуто мною. — *А. П.*).

[6] М. Н. Покровский. Два вооруженных восстания (1825—1905). Журн. Под знаменем марксизма, № 12, 15, 1925.

XI

Остановимся теперь на том, как Покровский изображает партию большевиков, партию Ленина — Сталина в революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года. Оказывается, даже в 1917 году, по утверждению Покровского, «большевики были крайним левым крылом ...интеллигенции» [1] — не больше. Он повторяет клевету меньшевика Аксельрода о том, будто наша партия в 1905 г. была «партией студентов и курсисток». Покровский прямо так и заявляет: «Аксельрод не без некоторого основания называл партию этого периода партией студентов и курсисток». Он заявляет, будто в 1905—1907 гг. существовала лишь «проблема рабочей партии» и будто эта партия еще только формировалась. И только в 1912 г. «появляется определенно сознательный слой» рабочих, который и «выносит на своих плечах большевистскую партию». [2] Совершенно очевидно, что это клевета на партию большевиков, гениально руководившую на всем протяжении русской революции боями пролетариата и трудящегося крестьянства сначала против самодержавия и крепостников, а потом против буржуазии.

Великую борьбу большевистской партии против меньшевиков и других мелкобуржуазных течений до 1917 г. Покровский изображает как... «склоку», «грызню», которая будто бы лишь ослабляла партию. «Главное было то, — пишет он, например, в своей «Русской истории в самом сжатом очерке», — что «склока» большевиков с меньшевиками лишала тех и других доверия в глазах рабочей массы... Беспартийные... рабочие просто недоумевали, о чем спорят между собою товарищи-интеллигенты, и, в отчаянии от отсутствия единого партийного руководства, готовы были пойти за кем попало». [3] Оказывается, революция 1905—1907 гг. в Петербурге, по «изысканиям» Покровского, «терпела одну неудачу за другой прежде всего благодаря той «склоке» трех революционных организаций — соц.-демократического большинства, соц.-демократического меньшинства и эсеров, о которой уже говорилось», [4] и т. д. Так безответственно искажает Покровский ту великую борьбу партии Ленина — Сталина, благодаря которой только и стала возможной организация партии нового типа — партии боевой, революционной, смелой, сплоченной, дисциплинированной, «достаточно опытной, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки, и достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни на пути к цели» (Сталин). Товарищ Сталин говорил: «Если нашей партии удалось создать в себе внутреннее единство и небывалую сплоченность своих рядов, то

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 183.

[2] Там же, 89, 90.

[2] Там же, 89, 90.

[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 312.

[4] Там же, 371.

это, прежде всего, потому, что она сумела во-время очиститься от скверны оппортунизма, она сумела изгнать вон из партии ликвидаторов и меньшевиков».[1] А. Покровский считает, что эта великая борьба лишь... ослабляла партию.

Совершенно неправильно утверждение Покровского, будто в феврале 1917 г. «большевики в числе других... были захвачены этой революцией совсем внезапно»,[2] будто «в это время (т. е. перед февралем 1917 г. — *А. П.*) даже петербургские большевики были в десяти верстах от вооруженного восстания».[3] Чтобы показать, насколько здесь Покровский, мягко выражаясь, неправ, приведем только одну выдержку из статьи Ленина «Поражение России и революционный кризис», написанной в сентябре-октябре 1915 г. после известного поражения России на западном фронте, т. е. задолго до февраля 1917 г. «Все видят теперь, — писал Ленин в этой статье, — что революционный кризис в России налицо, но не все правильно понимают его значение и вытекающие из него задачи пролетариата. История как бы повторяется: снова война, как и в 1905 г. ...снова поражение в войне и ускоренный им революционный кризис»...[4] и т. д. И дальше Ленин гениально указывает на задачи пролетариата и его партии в будущей революции (т. е. революции 1917 г.), которую он предвидел задолго до самой революции. Таковы утверждения Покровского и таковы упрямые факты.

Совершенно неверно утверждение Покровского, будто Ленин в апреле 1917 г. (подумать только, — в апреле 1917 г.!) «ехал в Россию с убеждением, что социалистическая революция в России невозможна».[5] Обвинить Ленина, обвинить партию большевиков, гениально разработавших еще до 1905 г. на ряду с «демократической программой-минимум» уже «социалистическую программу-максимум», звавших уже в 1905 г. рабочий класс России на буржуазно-демократическую революцию с тем, чтобы немедленно начать борьбу за социалистическую революцию (теория перерастания), — обвинить партию Ленина — Сталина и самого Ленина, вся борьба которых была направлена в конечном счете на торжество социалистической революции в России, в том, будто они были убеждены в невозможности социалистической революции в России, будто лозунг социалистической революции был выдвинут чуть ли не случайно, вопреки программе большевиков — большей клеветы придумать нельзя.

Оказывается, по утверждению Покровского, для Ленина, когда он приехал в Петербург в апреле 1917 г., «достаточно было по-

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 74—75.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 183.

[3] Там же, 180.

[4] В. И. Ленин. Соч., XXX, 236.

[5] М. Н. Покровский. Ленин в русской революции. Вестник Комакадемии, VII, 18, 1924.

смотреть некоторое время на Питер, чтобы увидеть, до какого красного каления дошла атмосфера, чтобы понять, что только лозунгом социалистической революции можно удовлетворить массы. На это нужно итти, если вообще хочешь сделать какую бы то ни было революцию, а не хочешь остаться в хвосте, как это случилось с меньшевиками и эсерами. Он сразу в течение нескольких дней перестроил свой план».[1] Таким образом, у Покровского выходит, будто Ленин в апреле 1917 г. еще не думал о социалистической революции, что он думал лишь о демократической революции, и только ход вещей заставил Ленина и нашу партию «взяться, вопреки воле, за осуществление социалистического переворота», чтобы не остаться в хвосте и совершить хоть какую-нибудь революцию.

Таким образом, Покровский повторяет здесь троцкистский тезис о «перевооружении» Ленина в 1917 году.

Еще в 1905 г., как будто специально для Покровского, Ленин писал по этому поводу следующее: «Это рассуждение основано на смешении демократического и социалистического переворотов... Пытаясь немедленно поставить своей целью социалистический переворот, социал-демократия действительно лишь осрамила бы себя. ...Именно поэтому настаивала она всегда на буржуазном характере предстоящей России революции, именно поэтому строго требовала отделения демократической программы-минимум от социалистической программы-максимум. Забыть все это могут во время переворота отдельные социал-демократы, склонные пасовать перед стихийностью, но не партия в целом. Сторонники этого ошибочного мнения впадают в преклонение перед стихийностью, думая, что ход вещей заставит социал-демократию, в таком положении, взяться вопреки ее воле за осуществление социалистического переворота. Если бы это было так, тогда, значит, неверна была бы наша программа, тогда она не соответствовала бы «ходу вещей»: преклоняющиеся перед стихийностью люди как раз и боятся этого, боятся за верность нашей программы. Но их боязнь... неосновательна до последней степени. Наша программа верна. Именно ход вещей подтвердит ее непременно, и чем дальше, тем больше».[2] Так писал Ленин в начале 1905 г., и весь ход революции 1905—1907 гг., весь ход февральской и затем Октябрьской Социалистической революции 1917 года блестяще подтвердили эти слова Ильича. Вышло именно так, как говорил Ленин. В феврале 1917 г. была закончена демократическая революция, о которой говорил Ленин. Немедленно, вслед за этим, т. е. после февраля 1917 г., Лениным был выдвинут лозунг борьбы за следующий этап революции, т. е. за социалистическую революцию. Следовательно, вовсе не стихийность массы, которую увидел Ленин по приезде в Петроград, якобы заставила нашу партию «взяться вопреки ее воле за осуществление социалистического переворота», а лозунг борьбы за социалистический

[1] Там же, стр. 18—19.
[2] В. И. Ленин. Соч., VII, 197.

переворот был выдвинут как непосредственная задача после февраля 1917 г. в точном соответствии с программой партии Ленина — Сталина, основанной на железной логике марксистско-ленинской теории.

Еще в «Письмах из далека», написанных Ильичем в Швейцарии, т. е. еще до его приезда в Россию, Ленин совершенно отчетливо писал: «...Мы покажем, в чем своеобразие текущего момента — *перехода* от первого к второму этапу революции, почему лозунгом, «задачей дня» в *этот* момент должно быть: *рабочие, вы проявили чудеса пролетарского, народного героизма в гражданской войне против царизма, вы должны проявить чудеса пролетарской и общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции».*[1]

Больше мы не будем останавливаться на концепции революции Покровского и его мертвых схемах. Теперь отчетливо видно, что его концепция революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 г. является причудливым сочетанием антиленинских положений, заимствованных у меньшевиков и в других подозрительных источниках. У меньшевиков, например, он взял оценку роли буржуазии в революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года, их «теорию» о неизбежности длительного периода господства буржуазии после революции, оценку столыпинщины, декабрьского вооруженного восстания, оценку русского рабочего класса как «не созревшего» для социалистической революции и т. п.; у Иуды-Троцкого он взял перепрыгивание через незавершенный буржуазно-демократический этап революции, недооценку роли крестьянства в революции и пр.; у Богданова — «теорию» торгового капитализма и его борьбы с промышленным капиталом, механистическую методологию (ряд параллельных революций и пр.).

При разборе концепции Покровского мы остановились только на ее узловых моментах, так как невозможно в одной статье охватить всю сумму его ошибок в оценке революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года. Многочисленные ошибки Покровского, на которых мы не останавливались из-за недостатка места, — например, оценка советов, роль расстрела рабочих 9 января 1905 г., причины, по которым не состоялось вооруженное восстание в Петрограде в 1905 г. и т. д. — эти ошибки неизбежно вытекают из основных установок его антиленинской концепции. Совершенно естественно, что для Покровского с его антиленинской концепцией навсегда остались за семью печатями такие вопросы, как, например, вопрос о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, вопрос о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, о которых он даже совсем не упоминает, и т. д.

---

[1] Ленин. Соч., XX, 19.

XII

Мы уже говорили о том, что Покровского чрезвычайно трудно критиковать в виду бесчисленных противоречий в его работах, а также вследствие того, что он, излагая свою антиленинскую концепцию, вдруг, неожиданно, как бы невзначай, бросает и правильные ленинско-сталинские положения, которые совершенно не вяжутся с его общей мертвой схемой. Например, он кое-где неожиданно заявляет, что революция 1905—1907 гг. и февральская революция 1917 года — буржуазные революции, что февральская революция 1917 года — не социалистическая революция, что аграрный вопрос является стержнем досоциалистической революции, что гегемоном революции 1905—1907 гг. был рабочий класс, ведущий за собой крестьянство, и т. п. Правда, подобные заявления не часты и остаются висеть в воздухе, что особенно ясно заметно при внимательном изучении всех работ Покровского, однако они все же затрудняют критику Покровского, а при беглом ознакомлении с его работами могут даже создать иллюзию, что Покровский стоит на ленинских позициях и допускает лишь отдельные антиленинские ошибки, от которых он, мол, постепенно и отказывается. Что это не так, мы видели выше.

Впрочем, примерно к 1930 г. Покровский начинает более серьезно пересматривать свои взгляды, делает кое-какие попытки приблизиться к Ленину и Сталину в оценке революции 1905—1907 гг. и февральской революции 1917 года. Правда, так как он до конца своих дней считал все-таки свою схему в основном не расходящейся с ленинской и исправлял лишь отдельные ее положения, то у него из этого пересмотра ничего не могло получиться, кроме нагромождения новых противоречий и новых ошибок. В одном месте он исправлял, в другом нагромождал новые ошибки, а концепция в целом оставалась антимарксистской.

Уже 3-я часть «Русской истории в самом сжатом очерке» (см. 4-е изд., перераб. в 1930 г.) содержит в себе значительно меньше ошибок, нежели его «Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв.» (лекции, прочитанные в 1923—1924 гг. Его доклад «Роль рабочего класса в революции 1905 г.» является дальнейшим шагом к исправлению антиленинских ошибок, новым шагом по пути к Ленину — Сталину.

Для того, чтобы показать, как М. Н. Покровский исправлял свои антиленинские ошибки, мы коротко остановимся на его работе, вышедшей после 1930 г. Это — обработанная стенограмма его выступления на собрании актива Красной Пресни 11 декабря 1930 г., посвященном 25-летию революции 1905 г. Эта стенограмма под заголовком «Роль рабочего класса в революции 1905 года» приложена к «Русской истории в самом сжатом очерке» как работа, в которой, по его собственному заявлению, отражены «его теперешние взгляды на первую нашу революцию».

В этой работе Покровский вносит ряд отдельных исправлений

в свою схему революции 1905—1907 гг. Во-первых, Покровский заявляет, что «социализм был выставлен нами (большевиками. — *А. П.*) как лозунг уже в 1905 г.»,[1] во-вторых, что он считает ошибкой проводимую им идею, «что во главе крестьянского движения шла сельская буржуазия, шел кулак».[2] Он признает, что в крестьянском движении накануне революции 1905 г. решающую роль играли середняки и бедняки, что это движение было связано с ленинской «Искрой» и с рабочим движением городов. Поэтому еще накануне решающих схваток 1905 года — «Пролетариат является таким образом гегемоном революции».[3] Январские события 1905 года вызвали «Колоссальное эхо в других классах» и прежде всего в крестьянстве.[4] Он даже показывает фальсификацию документов, которые якобы доказывали, что кулаки наиболее активный элемент в борьбе крестьянства против помещиков и царя. «В XX в. крестьянское движение руководилось рабочими». В другом месте он пишет, что настроение крестьянства изменилось «под воздействием рабочего движения... Мыслить нельзя крестьянскую революцию 1905 г. без пролетариата как вождя».[5] Далее, он исправляет свою ошибку в отношении «крестьянской революции», когда он рассматривал «нашу деревенскую революцию, как что-то такое самостоятельно крестьянское, руководимое верхними слоями крестьянства»,[6] и правильно ставит вопрос о «гегемонии пролетариата в буржуазной революции».

Покровский пытается исправить свои неверные установки в оценке декабрьского вооруженного восстания в Москве. Мы видели выше, что Покровский считал это восстание «чистейшей партизанщиной», «восстанием, искусственно вызванным большевиками», и т. д. Теперь Покровский объявляет эти установки меньшевистскими, но при этом шарахается в другую крайность, заявляя, что «на самом деле массы подходили к восстанию, а значение большевиков было в том, что они предвидели это».[7] Итак, Покровский ударяется здесь в другую крайность, сводит на-нет организующую роль большевиков в этом восстании и объявляет, что они будто лишь предвидели это восстание (но никаких мер к его организации не приняли). В действительности же, как известно, декабрьское восстание в Москве было организовано большевиками и проведено под их руководством, но оно было не искусственно вызвано, а опиралось на действительно суще-

[1] М. Н. Покровский. Роль рабочего класса в революции 1905 г., см. «Русская история в самом сжатом очерке», стр. 506.
[2] Там же, 513.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, часть 3, Учпедгиз, 1934, стр. 266.
[4] Там же, стр. 269.
[5] Там же, стр. 272.
[6] Там же, 525.
[7] М. Н. Покровский. Роль рабочего класса в революции 1905 г., см. «Русская история в самом сжатом очерке», стр. 526.

ствовавшую в то время революционную ситуацию. Здесь же, по вопросу вооруженного московского восстания, Покровский попутно допускает еще одну серьезную ошибку. Он заявляет, что «надо было бить эту гадину (самодержавие. — *А. П.*) в голову, а голова была в Питере».[1] Отсюда может получиться вывод, что не нужно было в Москве браться за оружие, что московское восстание все равно было обречено на разгром, и если бы оно победило во всей Москве, то было бы еще хуже, ибо «вместо одной Пресни была бы разгромлена вся Москва».[2] Другими словами, у Покровского выходит, что начинать восстание в Москве было ошибкой, а величайший стратег революции Ленин, как мы знаем, заявлял, что все равно, где начать восстание — в Петербурге или в Москве, ибо удачное восстание в Москве, поддержанное Питером и другими городами, привело бы к победе. Сидеть же в Москве при наличии революционной ситуации и пассивно ждать восстания в Петрограде, как считал это правильным Покровский, было бы равносильно измене революции.

Несомненно, что доклад о революции 1905 г. показывает серьезное желание со стороны Покровского покончить со своими ошибками в оценке революции 1905 года и усвоить ленинско-сталинскую концепцию. Однако полностью исправить свои ошибки Покровскому не удалось. Дело упиралось в необходимость пересмотра коренным образом основ своего мировоззрения и всей его исторической концепции, чего Покровский не сделал. Поэтому в той же работе о революции 1905 года имеется ряд неточных, а иногда и прямо ошибочных формулировок, показывающих, что Покровский далеко еще не овладел учением Ленина — Сталина о революции. Он затрагивает, например, вопрос о «перманентной революции» Троцкого и о ленинской идее перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Известно, как тов. Сталин характеризовал «перманентную» революцию Троцкого: «...ошибка русских «перманентников»,—писал тов. Сталин,—состояла не только в недооценке роли крестьянства, но и в недооценке сил и способностей пролетариата повести за собой крестьянство, в неверии в идею гегемонии пролетариата...[3] А вот как Покровский характеризует «перманентку» Троцкого. «Он (Троцкий. — *А. П.*) себе построил такую теорию, конечно, отвечавшую меньшевистскому нутру: если русская революция дойдет до конца, на чем настаивал Ленин, т. е. до полного низвержения самодержавия, изгнания помещиков, национализации земли и т. п., то она неизбежно должна будет немедленно перейти в социалистическую революцию. Вы скажете: что же, так и говорят, и думают, и пишут, и Ленин писал о перерастании демократической революции в социалистическую, — Троцкий только, может быть, немножко торопился.

[1] Там же, 521.
[2] Там же.
[3] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 11-е изд., стр. 110.

В действительности «перманентная революция» Троцкого имела совсем иной смысл».[1] Какой же был другой смысл у Троцкого? Оказывается, весь этот другой «смысл» состоял в том, что Троцкий, мол, приходил к выводу, что «не нужно доводить до конца демократическую революцию в России».[2] Чем же она, в таком случае, отличалась от ленинской идеи перерастания, если отбросить этот последний вывод? Оказывается, «теория непрерывной революции отлично была известна и Ленину, только Ленин не делал из нее пугала, как Троцкий».[3] В этом, по утверждению Покровского, и заключается все «отличие». Совершенно ясно, что Покровский не понимал идеи Ленина о перерастании, которую он характеризовал так: «Ленин прямо говорил, что на другой день после победы демократической революции мы немедленно перейдем к социалистической революции».[4] Совершенно очевидно, что Покровский, который заявлял ранее, будто Ленин еще в 1917 г. не верил в возможность социалистической революции в России, здесь бросился в противоположную сторону. Известно, что Ленин никогда не говорил и не мог говорить о том, что *на другой день* после демократической революции мы немедленно перейдем к социалистической революции. Это, конечно, абсурд: можно немедленно перейти к борьбе за социалистическую революцию, но не к самой революции.

В этой статье-стенограмме Покровский дал еще, например, неверную оценку результатов французской буржуазной революции 1789 г., неправильные установки о Петербургском совете в 1905 г., о германской фашистской партии и т. д. и т. п.

Так «исправлял» Покровский после 1930 г. свои отдельные ошибки. Фактически он до конца дней своих оставался верен своей антиленинской концепции.

---

[1] М. Н. Покровский. Роль рабочего класса в революции 1905 г., см. «Русская история в самом сжатом очерке», стр. 519.
[2] Там же, 525.
[3] Там же, 519.
[4] Там же, 525.

Е. А. ЛУЦКИЙ

ИЗВРАЩЕНИЕ М. Н. ПОКРОВСКИМ ИСТОРИИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СССР (1918—1920)

Большевистская партия всегда придавала большое значение изучению истории гражданской войны. Еще не отгремели на фронтах пушки, как В. И. Ленин поставил вопрос о необходимости создания истории гражданской войны. 6 апреля 1920 г. Ленин писал В. В. Адоратскому: «...можете ли собрать материалы для истории гражданской войны и истории Советской республики?

Можно ли вообще собрать в Казани эти материалы? Могу ли я помочь?» [1]

По инициативе А. М. Горького, ЦК ВКП(б) в 1931 г. принял постановление об издании истории гражданской войны. Под руководством и при непосредственном участии великого вождя народов товарища Сталина развернулась работа над созданием многотомной истории гражданской войны.

Покровский и его «школа» не выполнили указаний Ленина и партии о создании научной истории гражданской войны. Покровский не понял насущной необходимости всестороннего марксистского освещения этой славной полосы в жизни нашего народа. Больше того, Покровский извратил основные вопросы истории иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР в 1918—1920 гг.

I

Для понимания извращений, допущенных Покровским в истории интервенции и гражданской войны, необходимо сказать о его взглядах на Великую Октябрьскую Социалистическую революцию.

В 1922 г. в статье «Что установил процесс так называемых «эсеров»», Покровский писал:

«Что дал процесс эсеров нового для того, казалось бы, хорошо известного события, как пролетарская революция в России в октябре 1917 г.?

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXIX, 436.

Как это ни странно, очень многое, если не по количеству, то по их значимости. Только теперь мы можем, опираясь не на личные впечатления, которые можно оспаривать, а на бесспорные документы, сказать: да, это была пролетарская революция в подлинном смысле слова, борьба рабочих против буржуазии». [1]

Мы оставляем в стороне такую, по меньшей мере странную для историка постановку вопроса, что для определения характера Октябрьской революции нужны были какие-то документы, появившиеся только в 1922 г. Как будто недостаточно было таких документов, как великие декреты Октябрьской Социалистической революции и все последовавшие практические мероприятия Советской власти? Странно и определение социалистической революции только как «борьбы рабочих против буржуазии»: последнее вполне возможно и в борьбе за буржуазно-демократическую революцию.

Приведенная цитата — это не случайная фраза, брошенная сгоряча. Вплоть до 1924 г. Покровский стоял на троцкистско-бухаринской позиции отрицания возможности победы социализма в России и отрицал, по существу, социалистический характер Октябрьской революции.

Враг социализма иуда-Троцкий, чтобы сорвать победу социалистической революции в России, пытался протащить положение о невозможности победы социалистической революции в одной стране, так как-де одна революционная страна не могла бы устоять перед лицом консервативной Европы. Покровский был полностью согласен с этим контрреволюционным положением и защищал его вопреки ленинскому учению о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране, сформулированному В. И. Лениным в 1915 г. в работе «О лозунге Соединенных Штатов Европы».

В момент октябрьского вооруженного восстания мы встречаем в статье Покровского «Европа и вторая революция» такие капитулянтские строки: «Раз началась пролетарская революция, — она должна «развертываться во всеевропейском масштабе, или она падет и в России. Окруженная империалистическими «державами», русская пролетарская крестьянская республика не может существовать. Такого чуда «Европа» не допустит!» [2]

Покровский не понял ленинского учения об империализме. Он не видел, что в царской России, вступившей в стадию империализма на рубеже XX в., имелись все экономические предпосылки для социалистической революции. Отрицая наличие в России настоящего развитого империализма как высшей стадии капитализма, Покровский считал, что для победы социализма в России нет экономической базы. Отсюда и вытекало его антиленинское утверждение, сделанное в 1928 г. на Всесоюзной конференции историков-марксистов о том, что «при

[1] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 297, 1929.

[2] «Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов», № 199, 28 октября (10 ноября) 1917 г.

чисто экономическом объяснении, при апелляции исключительно к законам экономики, игнорируя все остальное, нельзя было бы предсказать того, что действительно случилось — что мы прорвемся к социализму сквозь всякие законы наперекор узко экономическим законам».[1] Выходит, что наша страна пришла к социализму не в согласии с учением марксизма-ленинизма о законах развития и гибели капитализма, а «прорвалась», вопреки всяким законам.

В то же время, в борьбе партии с троцкистской оппозицией Покровский защищал линию партии, выступая против агента империализма, шпиона иуды-Троцкого, пытавшегося сорвать социалистическое строительство. Но полностью, до конца, Покровский так и не овладел учением ленинизма о пролетарской революции и социалистическом строительстве. Он признавал, что экономические мероприятия советской власти имели социалистический характер, что в СССР идет социалистическое строительство, но не понимал, что движение нашей страны к социализму было не стихийным процессом, а результатом сознательной борьбы большевистской партии, вооруженной учением марксизма-ленинизма о законах общественного развития. Покровский не сумел показать великой руководящей и организующей роли большевистской партии, которая смело вела нашу родину к социализму, наперекор всяким бурям. По Покровскому, к социализму нас несла стихия и случайно не погубила, а выбросила на берег.

Не понимая возможности полной победы социализма в нашей стране, Покровский естественно в своих первых исторических работах после 1917 г. вплоть до 1922—1924 гг. прямо смазывал социалистический характер Октябрьской революции.

Вместе со своим «учеником» троцкистско-меньшевистским агентом Пионтковским и ему подобными, Покровский утверждал, что в октябре 1917 г. в России произошли сразу две революции, шедшие параллельно. Первая — это «рабочая революция», по терминологии Покровского. Корней в России она не имела, ибо «сама по себе рабочая революция России была частью мировой рабочей революции, эпизодом интернационального рабочего движения, и только в этой связи может быть понята».[2] Вторая революция — это крестьянская, которая единственно и имела корни в России. Как пишет Покровский, «если мы будем отыскивать национальные корни русской революции, то нам придется взять, конечно, не революцию рабочую, которая, повторяю, является фактом международным, а не национальным, а придется взять революцию крестьянскую, придется взять переход земли в руки крестьян».[3]

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, в. II, 269, М. — Л., 1933.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории русского революционного движения XIX—XX вв., стр. 7, М., 1924.

[3] Там же.

Победа крестьянской революции в 1917 г. создала в России, по Покровскому, такую базу для развития капитализма, которой прежде не было. Извращая ленинские взгляды, Покровский писал, что, якобы по Ленину, капитализм в сельском хозяйстве мог развиваться только опираясь на русское фермерство, на русского мелкого производителя. Покровский не понял и игнорировал учение Ленина о возможности развития капитализма в сельском хозяйстве по «прусскому» пути, т. е. на основе эволюции крепостнического, помещичьего хозяйства в буржуазное, юнкерское. Как раз этот путь и отстаивал стоявший у власти класс помещиков с самодержавием во главе. По мнению же Покровского, пока крестьянин не стал вполне свободным мелким сельским производителем, до тех пор в России не могло быть почвы для развития капитализма в туземных условиях. Без этого, как утверждал Покровский, «наш капитализм всегда будет до известной степени наносным явлением».[1] Неправильно используя работы Ленина, характеризующие период буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг., и искажая его взгляды, Покровский пытается обосновать ими свою буржуазную концепцию Октябрьской Социалистической революции. Он писал о крестьянской революции, о победе крестьянина: «В 1917 году он добился своего: помещик-паразит был разбит, помещичьи земли перешли в руки крестьян, и та база для русского натурального, туземного мужичьего капитализма, о которой говорил тов. Ленин в 1905-6 году, была, наконец, найдена».[2]

Покровский рассматривал крестьянство как силу, враждебную социализму. «...С самого начала должно было быть ясно, — писал Покровский, — что массовый враг коммунизма имеется и что этот враг по своей свирепости и непримиримости может, пожалуй, оставить за флагом даже фабрикантов и помещиков. Относительно свирепого собственничества французского крестьянина, утопившего в море крови два рабочих восстания, на этот счет ни у кого не было ни малейших иллюзий. Но вот, так сильны умственные привычки, это как-то забывалось, когда речь шла о крестьянине русском. Тут вся четкость представления моментально стиралась, в воображении вставал старый народнический мужичок, мужичок-труженик, мужичок-пахарь, и мы как-то удивительно легко забывали, что ведь и французский мужичок тоже и труженик, и пахарь».[3] Правда, русский крестьянин делал свою революцию «идя по следам пролетариата». Но это, по Покровскому, вело только к тому, что «русский крестьянин мог быть одновременно и реакционным по отношению к социализму, и революционным по отношению к царизму».[4] Таким образом, По-

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории русского революционного движения XIX—XX вв., стр. 7, М., 1924.
[2] Там же, 9.
[3] М. Н. Покровский. Контрреволюция за 4 года, стр. 5—6, М., 1922.
[4] Там же, 6.

кровский защищает враждебную большевизму троцкистскую «теорию» о реакционности крестьянства. Покровский выступает против положения ленинизма, что пролетариат сделал Октябрьскую Социалистическую революцию вместе с деревенской беднотой, представлявшей ко времени революции большинство всего крестьянства страны. Он выступает против исторических фактов, говорящих о том, что после упрочения советской власти и среднее крестьянство повернуло к союзу с рабочим классом, почему и мог во время гражданской войны сложиться *«военно-политический»* союз пролетариата и крестьянства.

И вот победа этой «реакционной силы» — крестьянства, по Покровскому, и произошла в октябре 1917 г. Оказывается, что национальной революцией, корни которой имелись в самой России, была буржуазная революция. Это как раз и есть то, что пытались доказать все враги социалистической революции от троцкистов и международного социал-оппортунизма до сменовеховской буржуазии и кадетов, от иуды-Троцкого, Каутского и Отто Бауэра до Устрялова и Милюкова!

Трудящиеся всего мира смотрели на Октябрьскую революцию в России с надеждой. Мировая буржуазия и ее прислужники старались всячески очернить, оклеветать Октябрьскую Социалистическую революцию, чтобы парализовать порыв рабочего класса своих стран к социализму. Выполняя заказ буржуазии, Каутский в 1918 г. состряпал клеветническую брошюрку «Диктатура пролетариата», в которой писал об Октябрьской революции как о буржуазной революции. В своем пасквиле Каутский «предсказывал» укрепление почвы в России «с одной стороны, для капиталистического хозяйства, а с другой стороны, для растущего антагонизма между крестьянами и пролетариями».[1]

Русская буржуазия, потерпев поражение в Октябрьской революции, разгромленная в гражданской войне, готова была в лице своих наиболее умных представителей пожертвовать помещичьей землей. Она надеялась использовать нэп и, примирясь, до поры до времени, с переходом земли к крестьянам, опереться на кулачество и добиться реставрации капитализма. В 1921 г. Милюков заговорил о «коллективной народной мудрости», о том, что хотя-де Россия и разорена, но народ решил для себя «бесповоротно свой главный жизненный вопрос — вопрос о земле». Сменовеховец Устрялов писал о России «крепкого мужичка», он лелеял надежду, что с нэпом подымется и придет «созидательная буржуазия, выдвинутая и закаленная революцией» и, в первую голову, конечно, — этот «крепкий мужичок».

Конечно, крестьянский вопрос играл большую роль в нашей революции, ибо февральская буржуазно-демократическая революция не разрешила аграрного вопроса. Но разве этот вопрос был главным в Октябрьской Социалистической революции? Ленин писал: «Мы решали вопросы буржуазно-демократической революции походя, мимо-

---

[1] K. Kautsky. Die Diktatur des Proletariats, 52. Wien, 1918.

ходом, как «побочный продукт» нашей главной и настоящей *пролетарски*-революционной, социалистической работы».[1]

Задача социалистической переделки мелкого крестьянского хозяйства была труднейшей задачей социалистической революции. Пока существовало мелкое раздробленное товарное хозяйство, в нашей стране оставалась база для капитализма. Партия всегда видела эти трудности, связанные с социалистической переделкой сельского хозяйства, но она никогда не сомневалась в возможности разрешения этой задачи. И эта задача была разрешена. Под гениальным руководством товарища Сталина партия перешла в 1929 г. к политике ликвидации кулачества как класса.

Покровский же, не понимая ленинского учения об империализме, не видел предпосылок для победы социалистической революции в России. В оценке характера Октябрьской революции Покровский скатывался к трактовке ее, вслед за Каутским, Бауэром, Устряловым и др., как буржуазной крестьянской революции, рассматривая по-троцкистски самое крестьянство недифференцированно как реакционную силу, составлявшую базу для буржуазной контрреволюции.

II

Исходя из своего антиленинского понимания Октябрьской Социалистической революции, Покровский не мог правильно разрешить вопрос об экономической политике периода гражданской войны, о военном коммунизме.

Он согласен признать мероприятия советской власти 1917—1918 гг. — национализацию банков, транспорта, промышленности и т. д. — социалистическими мероприятиями. Но он не понял, что эти мероприятия проводились сознательно большевистской партией и советской властью, опиравшимися на рабочий класс и беднейшее крестьянство.

По Покровскому, «проводился этот первоначальный социализм вовсе не военными приказами сверху, а под нажимом рабочей массы. Плановое хозяйство складывалось довольно стихийно и разрозненно и отвечало необходимости как-нибудь увязать лишенную банковского руководства промышленность, — словом тут все шло от *экономики*, а не от *политики*».[2]

Покровский противопоставляет приказы сверху, т. е. руководство партии и советской власти, интересам и требованиям рабочего класса. Оказывается, плановое хозяйство складывалось у нас не потому, что партия сознательно ставила перед собой задачу планирования народного хозяйства, а стихийно, чтобы хоть как-нибудь заменить руководящую роль банков.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXVII, 26.

[2] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 376, 1929.

Не менее далеко от марксизма-ленинизма стоит противопоставление экономики и политики. Покровский не понял руководящей роли диктатуры пролетариата, преобразующей капиталистическую экономику в социалистическую. Покровский повторяет в этом отношении враждебные марксизму высказывания реставратора капитализма — предателя Бухарина. Разоблачая троцкистскую и бухаринскую платформу в дискуссии о профсоюзах 1920—1921 гг., Ленин говорил:

«Политика есть концентрированное выражение экономики — повторил я в своей речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сообразный, в устах марксиста совсем недопустимый, упрек за мой «политический» подход. Политика не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе — значит забывать азбуку марксизма».[1]

Непонимание Покровским соотношения экономики и политики особенно сказалось на его оценке военного коммунизма.

Когда развернулась интервенция и гражданская война, партия организовала оборону Советской республики. «...большевики стали усиленно готовиться к длительной войне, решив поставить весь тыл на службу фронту. Советское правительство ввело военный коммунизм».[2] Была введена трудовая повинность. Национализация охватила не только крупную, но и среднюю, и, отчасти, мелкую промышленность. Управление промышленностью было централизовано («главкизм» и «центризм»). Была введена монополия хлебной торговли и запрещена частная торговля хлебом, а затем и другими продуктами, на которые была объявлена государственная монополия. Снабжение населения проходило централизованно, по карточкам. Крестьяне должны были сдавать хлебные излишки, была установлена система продовольственной разверстки. Вся эта система мероприятий, вызванных исключительно трудными условиями обороны страны и разорением народного хозяйства войной, навязанной нам интервентами, и была военным коммунизмом. Военный коммунизм был временной, вынужденной мерой. Без нее победить многочисленных врагов в условиях крайнего разорения страны было невозможно. Эта экономическая политика была поддержана не только рабочим классом, но и трудящимся крестьянством. В политике военного коммунизма выражался союз рабочего класса и крестьянства: «Крестьянин получил от рабочего государства всю землю и защиту от помещика, от кулака; рабочие получали от крестьян продовольствие в ссуду до восстановления крупной промышленности».[3]

Покровский видел в военном коммунизме только голое военное принуждение, насилие над экономикой. По его словам «характерной особенностью подлинного военного коммунизма 1920 года и было то,

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXVI, 126.
[2] История ВКП(б). Краткий курс, стр. 219.
[3] В. И. Ленин. Соч., XXVI, 430.

что в нем экономика должна была плясать под дудку политики».[1] Не видя других возможностей, Покровский сам в те годы по-троцкистски считал, что социалистическое строительство только и возможно путем применения военных методов. Он сам требовал их применения даже в такой неподходящей области, как народное просвещение. В начале 1920 г. Покровский выступил с чисто троцкистским по замыслу проектом милитаризации высшей школы.[2]

Извращая действительную сущность военного коммунизма, Покровский совершенно необоснованно приписывал партии уверенность, что «применение красноармейских приемов приказа сверху годится везде — и в народном просвещении, и в народном хозяйстве».[3]

Покровский не понял сущности военного коммунизма и его величайшего значения для победоносного исхода гражданской войны. По мнению Покровского, военный коммунизм был целиком ошибочен и привел якобы только к отрицательным результатам и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Так, в 1924 г. Покровский писал:

«Дороже всего нам обошлось применение военных методов управления промышленностью после 1919 года». Это была, по мнению Покровского, ошибка. Именно она привела к падению промышленности в 1920 г. «Попытка приказывать экономике оказалась неудачной».[4]

Своей оценкой военного коммунизма Покровский объективно играл на руку врагам социализма — Троцкому, Каутскому, Бауэру.

Прикрываясь Покровским, троцкистские контрабандисты в своих писаниях извращали историю социалистического строительства в нашей стране. Некоторые из них изображали военный коммунизм как политику государственного регулирования хозяйства, которую проводили все капиталистические государства во время империалистической войны. Троцкистский контрабандист Волосевич пытался доказать, что мероприятия военного коммунизма были «экономически нецелесообразны», что военный коммунизм «отдалял нас от социализма вместо того, чтобы приближать к нему».

Неудивительно, что, исходя из своей оценки военного коммунизма, Покровский и переход к нэпу, и его сущность трактовал не по-ленински, заявляя, что нэп был компромиссом диктатуры пролетариата с «мужицким капитализмом».[5]

Партия всегда смотрела на военный коммунизм как на временную меру. «Центральному Комитету партии, его ленинскому большинству было ясно, что после ликвидации войны и перехода на мирное хозяйственное строительство нет больше оснований сохранять жесткий

---

[1] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 375, 1929.

[2] М. Н. Покровский. Задачи высшей школы в настоящий момент. «Народное просвещение» № 18—20, 1920.

[3] М. Н. Покровский. 7 лет пролетарской диктатуры, стр. 8, М., 1924.

[4] Там же, 18.

[5] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 8, М., 1924.

режим военного коммунизма, созданный обстановкой войны и блокады».[1]

Покровский трактовал переход к нэпу, как капитуляцию перед контрреволюционными мятежами начала 1921 года, кулацкими мятежами в Сибири, на Украине (махновщина), в Тамбовской губернии (антоновщина), кронштадтским мятежом. Известно, что вся буржуазия, троцкисты и зиновьевцы рассматривали нэп только как отступление большевиков. «Такое толкование было им выгодно, потому что они вели линию на восстановление капитализма».[2]

Они не видели и не хотели видеть, что это было временное отступление, которое обеспечило прочный экономический союз рабочего класса и крестьянства для строительства социализма.

III

Наиболее вредными и опасными являются извращения, допущенные Покровским в освещении иностранной военной интервенции в 1918—1920 гг.

Победа Великой Октябрьской Социалистической революции нанесла могучий удар мировому империализму. Мир разделился на две непримиримые системы: капиталистическую и социалистическую. Но Октябрьская революция началась в такой момент, когда империалистическая война была еще в разгаре. Война связывала силы борющихся коалиций империалистических держав — Антанты и Германии с ее союзниками — и не давала возможности сразу активно выступить против социалистической революции в России. Русская буржуазия и помещики были разбиты. Партия большевиков в борьбе за социалистическую революцию сумела объединить в один общий мощный революционный поток, решивший судьбу капитализма в России, «такие различные революционные движения, как общедемократическое движение за мир, крестьянско-демократическое движение за захват помещичьих земель, национально-освободительное движение угнетенных народов за национальное равноправие и социалистическое движение пролетариата за свержение буржуазии, за установление диктатуры пролетариата».[3]

Все это создало такую великую силу социалистической революции, против которой русские капиталисты и помещики оказались бессильны. Контрреволюционные попытки свергнутых эксплоататорских классов были быстро разбиты. Уже к весне 1918 года Советская власть разгромила банды Каледина и Корнилова на Дону, Дутова — на Урале, Семенова — на Дальнем Востоке. Украинские рабочие и крестьяне сбросили власть белогвардейской Украинской центральной рады и

---

[1] История ВКП(б). Краткий курс, стр. 240.
[2] Там же, 245.
[3] Там же, 204.

установили у себя Советскую власть. Партия и Советское правительство, заключив Брестский мир, вывели страну, вопреки троцкистско-бухаринским провокаторам войны, из-под ударов германского империализма. Партия завоевала передышку и приступила к развертыванию социалистического строительства.

Как раз в этот период Ленин говорил в своей речи на заседании Московского совета 23 апреля 1918 г.

«Ведя широкую борьбу с отечественной контрреволюцией по всем фронтам, мы воспользовались заминкой международной буржуазии и нанесли во-время мощный удар по телу раздавленной ныне контрреволюции. Можно с уверенностью сказать, что гражданская война в основном закончена. Конечно, отдельные стычки будут, в некоторых городах вспыхнут кое-где на улицах перестрелки, вызванные частичными попытками реакционеров опрокинуть силу революции — Советскую власть, но нет сомнения, что на внутреннем фронте реакция бесповоротно убита усилиями восставшего народа».[1]

Ленин был совершенно прав в этой оценке соотношения классовых сил внутри страны. Социалистическая революция имела такую прочную базу в России, что быстро разгромила попытки сопротивления русских капиталистов и помещиков.

Гражданская война снова развернулась в 1918 г. и терзала нашу родину три года только потому, что против социалистического советского государства выступили империалисты сильнейших держав мира, организовавшие военную интервенцию в Советскую республику.

Иностранная военная интервенция была поддержана контрреволюционными мятежами врагов советской власти внутри России. Иностранная военная интервенция объединилась с внутренней контрреволюцией. Внутренняя контрреволюция ожила только благодаря помощи интервентов. Это значение иностранной интервенции в гражданской войне 1918—1920 гг. всегда подчеркивали Ленин и Сталин. Товарищ Сталин говорил об иностранной интервенции:

«Борьбу Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля против революции в России империалисты склонны были изображать как борьбу исключительно внутреннюю. Но мы все знали, и не только мы, но и весь мир знал, что за спиной этих контрреволюционных русских генералов стояли империалисты Англии и Америки, Франции и Японии, без поддержки которых серьезная гражданская война в России была бы совершенно невозможна».[2]

Державы Антанты начали готовить интервенцию в Россию еще в конце 1917 г. Развернулась интервенция летом 1918 г. Причины интервенции держав Антанты в России сжато и четко изложены в сталинской Истории ВКП(б) «Краткий курс».

«Империалисты Антанты опасались, что заключение мира между

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXII, 431.
[2] И. В. Сталин. Об оппозиции, стр. 425, 1928.

Германией и Россией может облегчить военное положение Германии и соответственно затруднить положение войск Антанты на фронте. Они опасались, далее, что установление мира между Россией и Германией может усилить тягу к миру во всех странах, на всех фронтах и тем подорвать дело войны, дело империалистов. Они опасались, наконец, что существование Советской власти на территории громадной страны и ее успехи в стране, последовавшие после свержения там власти буржуазии, могут послужить заразительным примером для рабочих и солдат Запада, охваченных глубоким недовольством затянувшейся войной и могущих — по примеру русских — повернуть штыки против своих господ и угнетателей. В виду этого правительства Антанты решили начать военную интервенцию (вмешательство) в России с тем, чтобы свергнуть Советскую власть и поставить буржуазную власть, которая восстановила бы в стране буржуазные порядки, отменила бы мирный договор с немцами и воссоздала бы военный фронт против Германии и Австрии».[1]

Задушить социалистическую советскую республику—очаг мировой пролетарской революции — вот главная цель империалистов. «У них одна мысль: как бы искры нашего пожара не перепали на их крыши», — говорил Ленин.[2]

Заодно империалисты стремились превратить Россию в свою колонию, хищнически эксплоатировать ее богатства.

Разумеется, руководители империалистических правительств всячески старались скрыть эти действительные мотивы интервенции от широких масс трудящихся Англии, Франции, Америки и других капиталистических стран.

Рабочие капиталистических стран, несмотря на всю клевету буржуазной печати о Советской России, тянулись к ней, видели в ней свою надежду. Заправилам империалистических правительств надо было выставить интервенцию в самом благовидном свете: — Мы не вмешиваемся во внутренние дела России, мы помогаем России против немцев — так заявляли руководители империалистических правительств. Тогдашний премьер-министр Англии Ллойд-Джордж даже в своих недавно изданных мемуарах пытается именно так объяснить интервенцию: «Мы не собирались свергнуть большевистское правительство в Москве... Мы считали важным восстановить антигерманский фронт в России, пока война еще продолжается».[3]

Более дальновидный американский президент Вильсон понимал, как трудно выдать интервенцию в России за борьбу с немцами и возражал некоторое время против посылки войск в Россию, тем более, что войск у Америки не было, а пускать Японию одну на Дальний Восток и в Сибирь американское правительство не хотело ни в коем

---

[1] История ВКП(б). Краткий курс, стр. 215.

[2] В. И. Ленин. Соч., XXII, 249.

[3] Д. Ллойд Джордж. Военные мемуары. VI, 91, 92, М., 1937.

случае. Империалисты решили использовать для борьбы с советской властью чехословацкий корпус, находившийся на территории Советской республики. Под руководством военных миссий Антанты еще в конце 1917 г. началась подготовка корпуса к выступлению. Мятеж чехо-словаков начался для них удачно. В мае-июле 1918 г. чехо-словаки заняли Поволжье, Урал и Сибирь. Тем самым был создан новый повод для посылки войск в Россию — «помочь» чехо-словакам уехать из России. Вскоре интервенция началась на всех окраинах нашей страны.

Американское правительство, начиная интервенцию меморандумом 17 июля 1918 года, заявляло, что «оно предлагает всем державам, участвующим в настоящем действии, выступить с совместными заверениями русского народа в самой торжественной и наиболее гласной форме, что ни одно из правительств, принимающих участие в операциях в Сибири или на севере России, не имеет в виду интервенцию, направленную против политического суверенитета России и не стремится к вмешательству во внутренние дела России или к нарушению ее территориальной цельности как теперь, так и в дальнейшем»...[1]

В меморандуме говорилось, что «правительство Соединенных штатов считает, что военные действия в России допустимы только для того, чтобы помочь чехо-словакам консолидировать свои силы и вступить в успешное сотрудничество с родственными ей славянами, а также для того, чтобы упрочить усилия русских, направленные к установлению самоуправления или защите, поскольку сами русские будут выражать желание принять эту помощь».[2]

С подобными фальшивыми декларациями выступили все державы, принявшие участие в интервенции: Соединенные Штаты, Англия, Франция и Япония.

Теперь посмотрим, как освещает Покровский причины и цели иностранной военной интервенции, значение интервенции для развертывания гражданской войны в СССР в 1918—1920 гг. Рассмотрим в хронологическом порядке основные высказывания Покровского по истории интервенции и гражданской войны. Вот как он понимал в 1922 г. роль внешних и внутренних причин гражданской войны:

«Одураченная историей буржуазия и тут, однако же, не поняла, что настоящую опору против социалистической республики она может найти скорее *внутри* страны, чем *вне* ее. Приверженность к *внешним* средствам борьбы оставалась для нее характерной еще два года, и еще два года она спасала нас, рубя тот сук, на котором могла усесться. Со свободой совести, изумительной для наивных читателей буржуазных газет времен «Великой войны», от немцев буржуазия кинулась в объятия англичан, водивших ее, как теперь документально доказано, за нос, или французов, которые (мы говорим, разумеется,

---

[1] Грэвс. Американская авантюра в Сибири (1918—1920), стр. 9, М., 1932.
[2] Там же, 8.

о французской буржуазии) по части политического тупоумия вполне могли соперничать с русской буржуазией. Англичане *не хотели* помочь, французы — *не могли*, и, в конце концов, единственной реальностью оказывалась свора диких помещиков в генеральских и полковничьих погонах, одно появление которых на горизонте заставляло русского крестьянина стать таким яркокрасным революционером, что на минуту он становился подлинным родным братом пролетария».[1]

Если поверить Покровскому, интервенции, собственно, и не было. Англичане «не хотели» помогать русской буржуазии, французы «не могли». Почему же тогда была гражданская война? На кого же опиралась буржуазно-помещичья контрреволюция, если не на интервентов?

База для контрреволюции была «внутри» страны, утверждает Покровский. Буржуазия только сделала ошибку, что не использовала ее. По Покровскому, крестьянство было силой, враждебной социалистической революции, и во время гражданской войны могло стать базой для буржуазной контрреволюции. Он утверждал, что если бы русская крупная буржуазия надела узду на дикого помещика, то крестьянство пошло бы не за пролетариатом, а за буржуазией. Если бы, — пишет Покровский, — эта связь собственнических вожделений мелкобуржуазных масс с интересами крупной буржуазии была схвачена этой последней достаточно рано, положение пролетарской революции в России было бы куда круче и труднее, чем оно оказалось на самом деле».[2] Конечно, колебания крестьянства в сторону буржуазии имели место. Но Покровский не понял, что в конкретных исторических условиях 1917—1920 гг. русская буржуазия не могла действовать по отношению к помещикам иначе, чем она действовала. Антиленинское понимание истории России, особенно эпохи капитализма и империализма, привело Покровского к непониманию того положения, что само историческое развитие России, с одной стороны, создало условия для союза пролетариата и крестьянства, а с другой, — вело к союзу буржуазии и помещиков. В своих последующих работах Покровский отмечал революционность крестьянства, пошедшего в гражданской войне за пролетариатом. Однако это не позволяет нам забыть о грубейших отмеченных выше ошибках Покровского, ибо эти ошибки были не случайны, к ним вела вся методология Покровского: непонимание им ленинского учения о развитии капитализма в России, ленинского учения о союзе пролетариата и крестьянства.

В 1922 г. Покровский принимал активное участие в процессе правых эсеров. Процесс имел большое значение. Он хорошо показал контрреволюционное лицо эсеров. Однако тогда не удалось распутать весь клубок шпионажа, убийств, помощи интервентам и других неисчислимых преступлений, участниками которых были эсеры. Не удалось,

---

[1] М. Н. Покровский. Контрреволюция за 4 года, стр. 8, М., 1922.
[2] Там же, 6, М., 1922.

в частности, вскрыть связи правых эсеров с контрреволюционным заговором троцкистов, «левых коммунистов» и «левых» эсеров. Покровский выступал на процессе в качестве обвинителя. Он написал ряд статей о процессе, разоблачая контрреволюционную работу эсеров.

После мятежа чехословацкого корпуса, начавшегося в мае 1918 года, эсеры, под защитой чехословацких штыков, создали в Самаре свое «правительство» — «Комитет членов Учредительного собрания» (Комуч). На Волге создался восточный фронт. Эсеры называли этот фронт борьбы с Советской властью «антигерманским фронтом». Покровский правильно указывает, что этот фронт создавался эсерами для борьбы с Советской властью, но он не вскрыл руководящей роли империалистов Антанты в этом деле. Вот, например, как он описывает непрочное положение эсеровского «правительства» и его отношения с Антантой:

«Нехватало одного — войск Антанты, не разбрасывавшей своих вооруженных сил по таким местам земного шара, где немцев нельзя было найти днем с огнем и, несмотря на все клеветы эсеров, не рассматривавшей Красной армии как один из германских корпусов... И напрасны были все усилия самарского правительства добиться фактической интервенции союзников на востоке России... Никакие комплименты американцам не могли привлечь на берега Волги ни одного антантовского солдата. Эсерам было оставлено несколько тысяч чехо-словаков, и, в смысле интервенции, они должны были этим удовольствоваться».[1]

Покровский неправильно придает самостоятельное значение эсерам и их «правительству»: на самом деле последнее не могло бы и дня продержаться без помощи интервентов. Сама интервенция сводится к «нескольким тысячам чехо-словаков». Покровский забыл об интервенции на севере, в Закавказье, в Средней Азии, на Дальнем Востоке, о мятеже по приказу Антанты целого чехословацкого корпуса. Все эти факты интервенции имели место еще до образования «правительства» Комуча. Покровский не понял, что империалисты Антанты, конечно, хотели восстановить восточный фронт против Германии, но рассчитывали создать его путем свержения Советской власти и установлением буржуазной власти в России, которая находилась бы в зависимости от Антанты.

Из приведенной выше цитаты следует также, что Антанта готова была драться только с немцами, но отнюдь не с Красной армией. По Покровскому так оно и было. Вот как он трактовал историю интервенции в своих лекциях о внешней политике России в XX веке, прочитанных в 1925—1926 гг.

«Интервенцию можно разделить, — говорил Покровский, — на две больших главы, — первую из которых можно назвать попытками

[1] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 311, 1929.

возрождения восточного фронта, а вторую — борьбой с большевизмом. Собственно, совершенно отчетливо борьба с большевизмом как задача ставится Антантой — Англией, Францией, Америкой и т. д. только в этот второй период... Первая глава интервенции, которую я назвал попыткой восстановления восточного фронта, в свою очередь распадается на два отдела, из них первый отдел может носить название, которое, конечно, вас удивит, — попытки восстановить восточный фронт в союзе с большевиками»...[1]

Итак, не борьба с большевиками, а «союз с большевиками»! Покровский ссылается на переговоры, которые вели представители Антанты — Робинс, Локкарт, Лаверн и др. с советским правительством в период Брестского мира, когда Антанта предлагала свою «помощь» для борьбы с немцами. Особенно большое значение придает Покровский приветственной телеграмме американского президента Вильсона IV Всероссийскому съезду Советов, которую-де не поняли большевики.

Троцкистско-бухаринские предатели из кожи лезли, чтобы втянуть Советскую страну в войну с Германией. Ведь недаром «эти господа состояли в шпионах иностранной разведки и вели заговорщическую деятельность уже в первые дни Октябрьской революции».[2]

Мы знаем о подлой предательской работе в те дни иуды-Троцкого. По сообщению американского посла в России Фрэнсиса, Троцкий заявил главе американской миссии Красного Креста Робинсу, что ни правительство, ни русский народ, якобы, ничего не имеют против американского наблюдения над всеми отправками товаров из Владивостока в Россию, а равно и не возражают против фактического контроля над Сибирской железной дорогой.

Предатель Троцкий делал все, что мог, чтобы облегчить империалистам начало интервенции. 14 марта 1918 года Троцкий дал Мурманскому совету преступную директиву: принять всякое содействие союзных миссий. На другой же день троцкистское руководство Мурманского совета заключило с представителями англо-французской военной миссии соглашение о принятии от англо-французов военной помощи «для борьбы с немцами». Ленин и Сталин принимали меры, чтобы выправить линию Мурманского совета и предотвратить оккупацию Мурманска англичанами. В конце апреля 1918 г. Ленин телеграфировал председателю Мурманского Совета Юрьеву: «Если Вам до сих пор не угодно понять советскую политику, равно враждебную и англичанам, и немцам, то пеняйте на себя... С англичанами мы будем воевать, если они будут продолжать свою политику грабежа».[3]

Но предательство уже было совершено, и англичане, на осно-

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистическая война, стр. 434, 435, 1934.
[2] И. В. Сталин. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б), стр. 51, Госполитиздат, 1939.
[3] «Правда» № 5, 21 февраля 1935.

вании «соглашения», подписанного с Мурманским советом, оккупировали Мурманск, а затем и Архангельск.

Троцкий помог японской интервенции на Дальнем Востоке. По свидетельству Черчилля, «28 марта Троцкий сообщил Локкарту, нашему представителю в Москве, что он не возражает против вступления в Россию японских сил для противодействия германскому натиску, если только в этом выступлении будут участвовать другие союзники и дадут, со своей стороны, некоторые гарантии. Он просил, чтобы Великобритания назначила британскую морскую комиссию для реорганизации русского черноморского флота и выделила британского офицера для контроля над русскими железными дорогами». [1]

Ленин тогда же вскрыл истинный смысл предложений представителей Антанты о «помощи». В статье «О революционной фразе», напечатанной в «Правде» 21 февраля 1918 г., он писал:

«Взгляните на *факты* относительно поведения англо-французской буржуазии. Она всячески втягивает нас теперь в войну с Германией, обещает нам миллионы благ, сапоги, картошку, снаряды, паровозы (в кредит... это не «кабала», не бойтесь! это «только» кредит!). Она хочет, чтобы мы *теперь* воевали с Германией.

Понятно, почему она должна хотеть этого: потому, что, во-первых, мы оттянули бы часть германских сил. Потому, во-вторых, что Советская власть могла бы крахнуть легче всего от несвоевременной военной схватки с германским империализмом.

Англо-французская буржуазия ставит нам западню: идите-ка, любезные, воевать *теперь*, мы от этого великолепно выиграем. Германцы вас ограбят, «заработают» на Востоке, дешевле уступят на Западе, а кстати Советская власть полетит... Воюйте, любезные «союзные» большевики, — мы вам поможем!» [2]

Разумеется, никакого «союза» не получилось. Казалось бы, Покровский должен был бы видеть подлинные цели интервенции Антанты летом 1918 г. Покровский признавал наличие интервенции, но, говорил, что эта интервенция не имела своей основной задачей борьбу с большевиками, т. е. с социалистической революцией, а была предпринята только с целью восстановить восточный фронт против Германии, с которой Антанта продолжала вести войну.

Как раз это и доказывали на все лады империалисты: никакой интервенции в России они не устраивали, во внутренние дела России не вмешивались. Правда, в Россию посылались войска, но посылались они «только» для восстановления восточного фронта.

Трудящиеся СССР хорошо узнали, что означало «невмешательство» империалистов: восстановление капитализма в занятых интервентами районах, зверская расправа с революционными рабочими и крестьянами, разорение хозяйства, колониальный грабеж интервентами богатств нашей родины.

---

[1] В. Черчилль. Мировой кризис, стр. 51, М. — Л., 1932.
[2] В. И. Ленин. Соч., XXII, 268.

В секретных официальных документах заправилы империалистических правительств и в то время откровенно признавали, что эти декларации о «невмешательстве» выполняться не будут. Так, английский министр иностранных дел Бальфур в меморандуме 16 июля 1918 г., критикуя американскую позицию, писал, что «как бы сильно и искренне ни было наше желание не вмешиваться в русские дела, практически будет почти невозможно, чтобы интервенция не имела некоторого (а, может быть, и большого) влияния на русские партии. Интервенты должны будут, в силу необходимости, сотрудничать с теми, кто согласен с ними сотрудничать».[1]

В буржуазной печати можно было встретить еще более откровенные заявления. Французская буржуазная газета «Echo de Paris» писала: «Союзники заявили о своем твердом намерении не вмешиваться во внутренние дела России. Абсурдное заявление. Мы идем в Россию, чтобы сломить власть большевиков. Хотят этого или нет, но это означает вмешательство во внутренние дела России».[2]

Английская либеральная буржуазная газета «The Manchester Guardian» в своей передовой признавалась: «Мы часто говорили, что не имеем никакого намерения вмешиваться во внутренние дела России. Однако это было одно притворство, ибо повсюду, куда проникали союзные войска, советы уничтожались, и вместо них устанавливалась более или менее реакционная власть».[3]

О том, что эти войска направлялись для борьбы с социалистической революцией, против большевиков, теперь пишут откровенно почти все организаторы и руководители интервенции. Интересные признания мы находим, например, в мемуарах Грэвса, бывшего начальника американского экспедиционного корпуса на Дальнем Востоке. Сперва Грэвс принимал за чистую монету американский меморандум о целях интервенции. Практика показала ему иное. «Я никогда не мог, — пишет Грэвс, — примирить заявления представителей союзников по вопросу об интервенции в России с действиями их представителей в Сибири».[4] Грэвс вынужден был признаться:

«Всякий, кто находился в Сибири во время интервенции и знал закулисные стороны этого дела, может притти к единственному логическому выводу, что основной мотив для интервенции не был сообщен широкой публике.

Поведение представителей союзников так же, как и генерального консула Соединенных Штатов, создает полную уверенность в том, что союзные и присоединившиеся нации, отправляя войска в Россию, стремились положить предел распространению коммунизма».[5]

---

[1] Д. Ллойд Джордж. Военные мемуары, VI, 96, М., 1937.
[2] «Echo de Paris», 9 сентября 1918.
[3] The Manchester Guardian», № 23 (530), 23 октября 1918.
[4] Грэвс. Американская авантюра в Сибири (1918—1920 гг.), стр. 55—56, М. — Л., 1932.
[5] Там же, 142.

После разгрома Германии Антанта усилила борьбу с Советской республикой. В ноябре 1918 г. началась англо-французская интервенция на Черном море, в Сибири Англия поставила у власти своего агента, адмирала Колчака, в качестве «верховного правителя всей России». Колчак и Деникин получили огромное количество оружия, обмундирования и т. д. Теперь уже империалистические правительства не могли скрыть, что война идет с большевиками. С этим соглашается и Покровский: «Тут дело идет уже не о восстановлении восточного фронта, а о том, чтобы раздавить большевиков». Однако он никак не может расстаться со своей старой идеей. Рассказывая с серьезным видом о проекте конференции на Принцевых островах с участием всех правительств России, в том числе и Советского правительства, о миссии Буллита в Москве, Покровский указывает, что «это была попытка Антанты столковаться с большевиками». [1]

Покровский не понял, что это был маневр Антанты с целью задержать разгром контрреволюции Красной армией, которая одержала к началу 1919 г. большие успехи, освободила Украину, Белоруссию, Поволжье, разгромила Краснова и отогнала Колчака до Урала. Антанта бешено готовила поход против Советской республики, усиленно вооружая Колчака, и не думала в действительности «столковаться» с большевиками. Навязчивая идея Покровского о стремлении Антанты к миру с большевиками доводит его до того, что уход французских интервентов из Одессы в апреле 1919 года он объясняет (в той же работе) тем, что Антанта начала выполнять свой проект о прекращении борьбы с большевиками.

Империалист Черчилль куда лучше и правильнее объяснил причину ухода французов из Одессы.

«Сами французские войска, — пишет он, — были затронуты коммунистической пропагандой, и вскоре возмущение охватило почти весь французский флот. Для чего им нужно еще сражаться теперь, когда война уже кончилась? Почему им не позволяют вернуться домой? Почему им не оказать поддержку русскому движению, которое стремится к всеобщему уравнению и мирному государству, управляемому солдатами, матросами и рабочими? Послушное орудие, действовавшее почти без осечки во всех самых напряженных схватках воюющих друг с другом наций, теперь неожиданно сломилось в руках тех, кто направил его на новое дело. Восстание во французском флоте было подавлено, и его лидеры уже давно находились в тюрьме. Но для правительства в Париже это было неожиданным ударом, который заставил быстро ликвидировать все предприятие. 6 апреля французы эвакуировали Одессу». [2]

Революционные волнения начались и в войсках других интервентов. Несомненно, что открытый антисоветский характер интервенции

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистическая война, стр. 440, 1934.
[2] В. Черчилль. Мировой кризис, стр. 106—107, М. — Л., 1932.

после разгрома Германии очень помог солдатам армий интервентов разобраться в том, кто их настоящий враг. Антанта вынуждена была в 1919 году увести свои войска почти из всех оккупированных районов, кроме Дальнего Востока. Тактика интервентов изменилась. Не прекращая, а, наоборот, усиливая борьбу с советской властью, Антанта начала усиленно вооружать Колчака, Деникина, Юденича, армии буржуазных государств, пограничных с Россией.

Необходимо отметить, что только в своих последних работах Покровский подошел к правильному пониманию интервенции. Например, в одной статье 1930 г. он, используя мемуары Черчилля, правильно пишет, что так называемый «восточный фронт» в 1918 году был на деле концентрацией белогвардейских сил против большевиков вокруг военного ядра войск Антанты. Он правильно показал, что Колчак, Деникин и К° были приняты на службу Англии, Франции и Соединенных Штатов и выполняли порученную Антантой задачу подавления русской революции.[1]

Приходится только сожалеть, что Покровский так поздно «открыл» эту истину. Как будто без мемуаров Черчилля не было документов, а главное — исторических фактов 1918—1920 гг., чтобы дать правильное освещение истории интервенции.

Остановимся еще особо на освещении Покровским германской и японской интервенции.

Покровский не дал развернутой оценки японской интервенции. В лекциях, посвященных интервенции, он говорит о действиях Японии лишь мимоходом. Однако и здесь не обошлось без ошибок. «Пока речь шла о восстановлении восточного фронта, — говорит Покровский, — японцев допускали высаживать сколько угодно солдат на сибирском континенте. Но как только рухнула Германия, американский министр иностранных дел запрашивает японцев: что означает семидесятитысячная японская армия в Сибири и на каком основании японцы туда пришли? Японцы говорят: мы воюем против большевизма. Да, но 70 тысяч солдат зачем, достаточно и 8 тыс. В конце концов, японцы должны были ограничиться одной дивизией. Но этого было еле-еле достаточно, чтобы удержать Владивосток и его окрестности».[2] В этом наивном изложении кровавая пятилетняя японская интервенция на Дальнем Востоке выглядит, как безобидная прогулка в окрестности Владивостока за незабудками! Меньше всего японские империалисты думали о восстановлении восточного фронта, и вообще о войне с Германией. Задушить социалистическую революцию в России, захватить и превратить в свою колонию Сибирь и Дальний Восток — вот о чем мечтали японские империалисты. Именно для этого послало японское правительство 120 000 солдат на советский Дальний Восток. Только руки оказались коротки! Под руководством

---

[1] М. Н. Покровский. Кто был Колчак? «Правда»», № 178, 30 июня 1930

[2] М. Н. Покровский. Империалистическая война, стр. 444—445, 1934.

большевиков против японских интервентов поднялся весь край. Народно-революционная армия Дальневосточной республики и красные партизаны выбросили интервентов из пределов Советского Дальнего Востока.

Об отношении германского империализма к Советскому государству Покровский рассказывает в связи с Брестским миром. Освещение Брестского мира в работах Покровского и позиция его самого в тот период требует особого рассмотрения. Здесь мы остановимся только на освещении Покровским отношения Германии к Советской республике в 1918 году.

В лагере германских империалистов во время брестских переговоров было два течения; одно за подписание мира с Россией, другое — за продолжение войны. Оба течения были глубоко враждебны социалистической революции в России и стремились уничтожить советскую власть в России, захватить часть ее территории и превратить ее в свою колонию. Представители первого течения стояли за то, чтобы заключить сперва мир с Россией, сосредоточить все силы на западном фронте для разгрома Англии и Франции, пока не подоспели американские подкрепления, а потом уже задушить социалистическую революцию в России. Представители второго течения предлагали, воспользовавшись военной слабостью молодого социалистического советского государства, разгромить его, захватить его продовольственные и прочие ресурсы для продолжения войны на Западе, а главное, разгромив Советскую республику, избавиться тем самым от очага революции, революционизирующего германский пролетариат. После всеобщей стачки в январе 1918 г. в Берлине и Вене верх взяло второе течение — «военная партия» во главе с Гинденбургом и Людендорфом. Посмотрим теперь, как освещает позицию Германии Покровский.

«...В этом лагере, — пишет он, — было два течения. Одно течение, это то, которое представляли австрийцы, вообще союзники, и к которому присоединилась значительная часть самой германской буржуазии. Это было течение за настоящий мир с Россией, — настоящий мир, который даст настоящий хлеб, во-первых; а, во-вторых, даст настоящий хлопок для германской индустрии, даст настоящего покупателя для германской мануфактуры... Но ей противостояла другая группа, — это как раз тяжелая индустрия, химическая промышленность и юнкерство, возглавлявшее все. Эта группа хотела не мира с Россией, а разгрома России, и считала, что этот разгром — сравнительно очень легкое дело».[1] Не приходится много и критиковать такое упрощенное в духе «экономического материализма» объяснение позиции германской буржуазии. Покровский все же признает, что в Германии было течение за разгром России. Но для чего же нужен был разгром России? Обратимся снова к Покровскому.

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистическая война, стр. 426.

«Людендорф миром интересовался меньше всего. Ему нужно было ликвидировать восточный фронт, ликвидировать начисто, что я выразил иными словами: разгромить Россию». [1]

Вот в чем дело. Оказывается, не большевики, не социалистическая революция страшны были германским империалистам, а все тот же восточный фронт. Взгляды Покровского давно уже разоблачены историей. Разоблачены они и признаниями самих империалистов. Так, Людендорф писал, что «условия Брестского мира имели в виду большевиков, с которыми враждебные отношения никогда не могли прекратиться». [2] Уже после подписания Брестского мира германское военное командование, не ограничиваясь оккупацией Белоруссии и Украины, готовило наступление на Петроград и Москву. План наступления мы находим в воспоминаниях того же Людендорфа: «Теперь мы располагали в Нарве и Выборге такими позициями, которые давали нам возможность в любой момент начать наступление на Петроград, чтобы свергнуть большевистскую власть. Мы были в силах произвести короткий удар на Петроград теми войсками, которые имелись на востоке, и при помощи донских казаков развить наступление на Москву...». [3]

Выполнение этого плана, который намечался на лето 1918 г., задерживалось, как выражается Людендорф, из-за «внутренних настроений» в Германии, т. е. из-за роста революционного движения. Германское правительство искало повода, чтобы оправдать новое наступление на Россию в глазах трудящихся масс Германии. Провокаторская работа контрреволюционных заговорщиков — троцкистов, «левых коммунистов» и «левых» эсеров, старавшихся сорвать Брестский мир и втянуть советскую страну в войну с Германией, была как нельзя более на-руку германским империалистам. Предатель Троцкий всячески подстрекал германское правительство к наступлению на Москву, уверяя, что Советская республика слаба и защищаться не может. По свидетельству советника германского посольства в Москве Ботмера, Троцкий в начале июня 1918 г. заявлял германскому посольству, что Советская власть уже мертва, и нет только никого, кто бы ее похоронил. Даже Ботмер вынужден был заметить по этому поводу, что таким плохим положение советского правительсгва все же не было. [4]

Военные успехи Германии на западном фронте оказались кратковременными. Внутри Германии и Австрии нарастало возмущение народа против нескончаемой войны. Сказалось громадное революционизирующее влияние Октябрьской революции в России. В ноябре 1918 г. в Германии разразилась революция, свергшая кайзера Вильгельма.

---

[1] Там же, 427.

[2] Э. Людендорф. Воспоминания о войне 1914—1918 гг., стр. 135, 1924.

[3] Там же, 194, 218.

[4] K. Bothmer, Mit Graf Mirbach in Moskau, S. 57. Tübingen, 1922.

Военное поражение Германии, однако, не означало прекращения борьбы германских империалистов против советского государства. Потерпев военное поражение и понимая, что за него придется расплачиваться, германская буржуазия хотела выслужиться перед Антантой и предлагала свои услуги для борьбы с большевизмом. Эту тактику тогда же разоблачил Ленин.

За несколько дней до революции вильгельмовское правительство порвало с РСФСР дипломатические отношения. По этому поводу Ленин говорил, что Германия «действовала, если не по прямому соглашению с англо-французской политикой, то желая им услужить, чтобы они были к ней великодушны».[1]

Позже, в 1919 г., подводя итоги разгрома первых двух походов Антанты, Ленин снова подчеркивал, что «Германия помогала постоянно Антанте еще с тех пор, когда она, не будучи побеждена, питала Краснова, и до последнего времени, когда та же Германия блокирует нас и оказывает прямое содействие нашим противникам».[2] Слова Ленина полностью подтверждаются фактами. Например, очищение германскими войсками в конце 1918 г. Украины, Прибалтики и других территорий, оккупированных Германией, происходило по согласованию с представителями Антанты. Военный министр в правительстве Шейдемана, социал-демократ Носке, прозванный германскими рабочими кровавой собакой, признавался, что 23 декабря 1918 г. английский представитель сообщил представителю германского правительства в Риге, что Германия должна держать в Остзейском крае свои войска до тех пор, пока это понадобится Антанте.[3]

Покровский не сумел разоблачить эту политику империалистов, этот намечавшийся сговор антантовской и германской буржуазии для борьбы с социалистическим советским государством. Если германские белогвардейцы не смогли организовать в 1919 г. поход против советской страны, то не из-за «психологической инерции» английской буржуазии, как писал Покровский, а из-за весьма реальных противоречий с этой буржуазией и из-за революции в своей собственной стране.

Сделаем некоторые выводы из высказываний Покровского по вопросам истории интервенции. Антиленинская трактовка Октябрьской Социалистической революции сказалась и на взглядах Покровского о сущности истории гражданской войны. Покровский вплоть до 1924 г. не понял и не разделял ленинско-сталинского учения о возможности полной победы социализма в нашей стране. Для буржуазно-помещичьей контрреволюции, по мнению Покровского, была база прежде всего внутри страны. Он не понял исключительного значения иностранной военной интервенции, которая только и могла придать

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXIII, 268—269.
[2] Там же, XXIV, 566—567.
[3] Носке. Заметки о германской революции. II, 149, 1922.

силы внутренней контрреволюции и навязать нашей стране трехлетнюю гражданскую войну.

В своих работах 1922—1926 гг. Покровский не только не сумел разоблачить действительные причины интервенции Антанты, но фактически защищал лживую «теорию» империалистов Антанты о том, что последние, предпринимая интервенцию, не ставили себе целью борьбу с социалистической революцией за реставрацию капитализма. Покровский не дал также надлежащей оценки политики Германии по отношению к Советской республике в 1918 г.

IV

Рабоче-крестьянская Красная армия разгромила иностранную военную интервенцию и внутреннюю контрреволюцию. Наша родина была очищена от захватчиков. Победа Красной армии обеспечила государственную независимость СССР и создала условия для развития социалистического строительства.

Покровский не сумел дать правильное объяснение причин этой всемирно исторической победы. В его работах мы не найдем целостного анализа причин победы над интервентами. В различных работах Покровский выдвигает на первый план то одно, то другое объяснение. В брошюре «7 лет пролетарской диктатуры» он сводит причину побед Красной армии главным образом к помощи советской стране со стороны международного пролетариата. Конечно, борьба рабочих «против капиталистов враждебных советской республике стран содействовала тому, что империалисты были вынуждены отказаться от интервенции».[1] Но было бы ошибкой ограничиваться этим в объяснении причин нашей победы. В курсе лекций «Внешняя политика России XX в.» Покровский объясняет провал интервенции тем, что «по самой сути буржуазной политики и буржуазного строя интервенты не могли столковаться. Вот почему такие огромные звери, которые лезли на нас, были нами разбиты, хотя с огромным трудом, — эти звери передрались между собою».[2] Конечно, противоречия между империалистами сильно ослабляли единый империалистический фронт в борьбе с Советской республикой. Это обстоятельство имело большое значение и несомненно облегчило разгром интервенции. Однако было бы не правильно и вредно забывать о другой тенденции в лагере империалистов, именно о стремлении империалистов создать единый фронт для борьбы с Советской республикой. Хотя этот единый фронт империалистов постоянно раздирался внутренними противоречиями, все же совместная интервенция держав Антанты в России была осуществлена в 1918—1920 гг.

Как мы видим, Покровский объясняет причины неудачи интервенции внешними обстоятельствами, благоприятно складывающимися

---

[1] История ВКП(б). Краткий курс, стр. 235.

[2] М. Н. Покровский. Империалистическая война, стр. 445, 1934.

для нас. Мы уже говорили, что он не понимал внутренних условий для победы социалистической революции в России. О внутренних условиях победы над интервенцией Покровский писал: «Эти условия заключались в том, что по мере того, как белая сторона этой гражданской войны падала, как дело от Учредительного собрания переходило к явно монархического типа командованию, масса крестьянского населения перекачнулась на нашу сторону, и мужик с белыми не пошел. Это и объясняет нам крах белых правительств».[1] Тот факт, что основная масса крестьянства шла в гражданской войне за пролетариатом, имел решающее значение для победоносного исхода гражданской войны. Однако само по себе, без руководства со стороны рабочего класса, во главе с его партией, крестьянство не могло решить исход войны. Крестьянство выступило на стороне рабочего класса отнюдь не самотеком. Союз рабочего класса и крестьянства (середняки) в годы гражданской войны был обеспечен лишь благодаря политике большевистской партии, которая на VIII съезде в 1919 году приняла, по предложению Ленина, важнейшее решение о союзе со средним крестьянством. Видимо, не случайно Покровский обходит вопрос о классовом расслоении крестьянства. О том, что кулачество выступило в гражданской войне, как смертельный враг советской власти, он и не заикается.

Покровский затушевывал роль пролетариата в гражданской войне. В его объяснении не нашлось места для характеристики руководящей роли большевистской партии, которая своим непревзойденным умением организовать миллионные массы рабочих и крестьян и правильно руководить ими в сложной обстановке обеспечила победу в гражданской войне. Руководящая роль партии была в конечном счете важнейшей, решающей причиной победы над полчищами иностранных захватчиков и русских белогвардейцев.

«...Только благодаря тому, — говорил Ленин, — что партия была на-страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи, и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двухкратный, трехкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить».[2]

V

Статья Покровского «Советская глава нашей истории» и брошюра «7 лет пролетарской диктатуры» являются единственными работами

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистическая война, стр. 443—444, 1934.
[2] В. И. Ленин. Соч., XXV, 96.

Покровского, где он изложил свое общее понимание истории первых лет Советского государства. Прежде всего, он попытался дать — по его собственному выражению, — общую «схему всего периода». Ленин и Сталин в изучении истории уделяли большое место периодизации. Научная периодизация помогает вскрыть закономерности исторического развития. Лучшим примером является гениальная глубоко научная периодизация истории большевистской партии, изложенная товарищем Сталиным в письме к составителям учебника истории ВКП(б) и положенная в основу «История ВКП(б). Краткий курс». Однако, предлагая свою «схему», Покровский заранее объясняет всякую периодизацию «научно весьма слабым приемом». Действительно, «схема» Покровского является карикатурой на подлинно научную периодизацию.

Покровский понимал, что в основу периодизации должен быть положен определенный принцип. Но какой? По его мнению может быть взят по желанию любой «какой-нибудь». Он пишет:

«Так как у схемы должен быть какой-нибудь основной принцип, то я беру лишь одну сторону исторического процесса, которая мне представляется важнейшей: положение пролетарской диктатуры в ее отношении к непролетарским элементам как внутри страны, так и во внешнем мире, за границей». Мы увидим, что̀ на самом деле означает эта общая и туманная формулировка. «Против этого можно возразить, — продолжает Покровский, — что исходной точкой тут является не *экономика*, не развитие производительных сил, но *политика*. Я думаю, однако, что для *данного* периода это совершенно правильно».[1] Здесь ясно проглядывает «экономический материализм», стремление свести все исторические явления прямо к экономике, к развитию производительных сил. Было бы совершенно абсурдно искать объяснения истории гражданской войны непосредственно в развитии производительных сил нашей страны в 1918—1920 гг. Мы уже говорили о том, что Покровский не понимает соотношения экономики и политики. Это сказывается и здесь.

Первым периодом по своей схеме Покровский выделяет «1917—1918 гг. — переход к социалистическому хозяйству в условиях мирной обстановки».[2] В другом месте этот период характеризуется так: «Период, охватывающий время от октября 1917 по август примерно 1918 года, можно назвать периодом *пацифистских* иллюзий».[3] Иллюзии эти заключались в том, что большевики якобы надеялись на «настоящий мир» с мировой буржуазией, что русская буржуазия «образумится... подчинится... поймет неизбежность пролетарской диктатуры», что Западная Европа превратится не сегодня-завтра в ряд пролетар-

---

[1] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 370, 1929 (подчеркнуто здесь и везде дальше автором).

[2] Там же, 380.

[3] Там же, 374.

ских республик. Известно, что Покровский в период Брестского мира принадлежал к враждебной партии группе, именовавшей себя для маскировки группой «левых коммунистов». «Левые коммунисты» вместе с троцкистами и «левыми» эсерами, выполняя заказ русской и антантовской буржуазии, пытались сорвать заключение Брестского мира, чтобы поставить молодую Советскую республику под удар еще мощного германского империализма. Контрреволюционный блок «левых коммунистов», троцкистов и «левых» эсеров составил тайный контрреволюционный заговор с целью сорвать Брестский мирный договор, свергнуть советское правительство, убить В. И. Ленина, И. В. Сталина и Я. М. Свердлова и сформировать новое правительство из своей среды во главе с заговорщиком Пятаковым.

После заключения Брестского мира Покровский порвал с «левыми коммунистами». Однако он не освободился полностью от антипартийных «левокоммунистических» взглядов, которые сказывались в его практической работе и в его теоретических и исторических выступлениях. Даже в статье, написанной в 1924 г., он старается оправдать позицию «левых коммунистов», грозившую поражением социалистического отечества. Он извращал подлинную суть позиции Ленина и Сталина, настаивавших на подписании Брестского мира, чтобы вывести неокрепшее советское государство из-под ударов германского империализма и получить передышку. «Мы думали, — пишет Покровский, имея в виду большевиков, стоявших на ленинской позиции, — что сможем по-мирному, по-хорошему столковаться с буржуазией вне России, попросту говоря, с империализмом. Мы всерьез принимали тот мир, который мы предлагали империалистическим странам и который они иногда в довольно для нас неприятной форме, как это было с Германией в феврале 1918 г., принимали».[1] Покровский пытается доказать «ошибочность» линии большевиков в период Брестского мира. Эта линия, по его мнению, ничего не дала, ибо, как он пишет, «из войны нам вырваться не удалось, и из империалистической войны мы попали в гражданскую».[2] От своего «пацифизма» большевики избавились, по Покровскому, только к осени 1918 г.: «Ряд ударов лета 1918 г. — восстание левых эсеров в Москве, восстание правых эсеров в Самаре, восстание савинковцев в Ярославле, убийство Володарского, убийство Урицкого, наконец, покушение на Ленина 30 августа — ликвидировали наш пацифизм до тла».[3]

Излишне доказывать, что изображение периода 1917—1918 гг. как периода «пацифистских иллюзий» большевиков является троцкистской клеветой на большевистскую партию. Не выдерживает никакой критики, с точки зрения конкретных исторических фактов, изображение этого периода как периода «мирной обстановки». Он был наполнен

---

[1] М. Н. Покровский. 7 лет пролетарской диктатуры, стр. 5, М., 1924.
[2] Там же.
[3] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 374, 1929.

ожесточенной борьбой против контрреволюции: в ноябре 1917 г. против мятежа Керенского-Краснова, в декабре 1917 — январе 1918 гг. против Каледина-Корнилова на Дону, против Дутова на Урале, против Украинской Центральной рады, против германского наступления в феврале 1918 г., после предательского срыва Троцким брестских переговоров. В марте 1918 г. развернулась освободительная отечественная война на Украине против германских оккупантов. Весной 1918 г. началась интервенция Антанты.

Второй период в «схеме» Покровского: «1918—1919 гг. — перерыв начавшегося процесса мирной социализации, под давлением гражданской войны, постепенная стихийная милитаризация».[1] Неверно и не соответствует фактам ограничение периода гражданской войны хронологическими рамками «с августа 1918 года до весны 1920 года».[2] Иностранная военная интервенция, вызвавшая гражданскую войну, началась не в августе 1918 г., а значительно раньше. 5 апреля были высажены японский и английский дессанты во Владивостоке, 25 мая начался мятеж чехословацкого корпуса, охвативший Поволжье, Урал и Сибирь, летом началась интервенция в Мурманске и Архангельске, в Закавказье и Средней Азии. Как мы видим, Покровский исключает из этого периода третий поход Антанты — нападение польских панов на советскую страну и его провал (апрель — октябрь 1920 г.), наступление генерала Врангеля и его разгром (июнь — ноябрь 1920 г.). Такое исключение не было случайным. Мы видим, что Покровский вообще не дооценивал значения иностранной военной интервенции для развертывания гражданской войны. Период 1918—1919 гг. он называет периодом «гражданской войны в тесном смысле этого слова», т. е. войной с внутренней контрреволюцией, а «в начале 1920 г. военная победа была одержана, так же, как были раздавлены и сломлены все внутренние враги».[3] Поэтому он и не включает в этот период интервенцию лета 1918 г., не включает и войну с белой Польшей, о которой В. И. Ленин говорил, что «эта война с Польшей оказалась более непосредственной *войной* против Антанты, чем предыдущие войны».[4]

Иностранная военная интервенция объединилась с внутренней контрреволюцией всех мастей. Это была единая попытка свергнуть советскую власть и восстановить капитализм. Покровский не понял замечательно глубоких указаний на этот счет Ленина и Сталина. Как раз в момент начала интервенции Антанты, Ленин говорил в своей речи на объединенном заседании ВЦИК 29 июля 1918 г.: «...из этого соединенного усилия англо-французского империализма и контрреволюционной русской буржуазии вытекло то, что война гражданская у нас теперь с той стороны, с которой не все ожидали и не все

[1] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 380, 1929.
[2] Там же, 374.
[3] М. Н. Покровский. 7 лет пролетарской диктатуры, М., 1924.
[4] В. И. Ленин. Соч., XXV, 401. (Подчеркнуто мною. — *Е. Л.*)

ясно сознавали, и она слилась с войной внешней в одно неразрывное целое. Кулацкое восстание, чехо-словацкий мятеж, мурманское движение, — это одна война, надвигающаяся на Россию».[1]

Против нашествия войск иностранной интервенции и мятежей свергнутых революцией эксплоататорских классов большевистская партия подняла народ на отечественную войну. «Партия объявила страну военным лагерем и перестроила ее хозяйственную и культурно-политическую жизнь на военный лад».[2] Глубокой ошибкой Покровского является трактовка периода гражданской войны как периода «стихийной милитаризации». Покровский игнорирует политику партии и советского правительства, которые рядом мероприятий сознательно и организованно мобилизовали всю страну для победоносного отпора контрреволюции.

Третьим периодом в своей «схеме» Покровский называет «период военного коммунизма (с 1920 г. до весны 1921 г.)».[3] Для этого периода характерны, по Покровскому, даже не «иллюзии», а «угар милитаризации». Не понимая значения иностранной военной интервенции, Покровский отрывает 1920 год от 1918—1919 гг., хотя и в 1920 году основной задачей партии и советской власти, основным вопросом в жизни нашей родины, как и в 1918 и 1919 годах, была борьба с интервенцией. Покровский же считает основным экономическую политику — военный коммунизм, — которая сама была подчинена задаче военного отпора интервентам, а когда эта задача была решена, то отпала надобность и в военном коммунизме.

С другой стороны, совершенно неверным является утверждение Покровского, что военный коммунизм сложился только в 1920 году. На самом деле военный коммунизм был введен партией и советской властью уже в 1918 году, как только развернулась интервенция и гражданская война. Все наиболее характерные для военного коммунизма мероприятия имели свое начало уже в 1918 году.

Следующими периодами Покровский называет: «4. Период реакции против военного коммунизма, период первоначального нэпа, с его иллюзиями с обеих сторон (1921—1923).

5. Период постепенного возвращения к плановому хозяйству, в условиях уже не воображаемой, а действительно мирной обстановки, с введением нэпа в границы абсолютно необходимого (1923?)».[4]

Мы привели характеристику последних периодов для того, чтобы полнее выявить ошибочность периодизации Покровского, оставляя в стороне критику его неправильного понимания новой экономической политики, поскольку это не входит в задачу данной статьи.

В основу периодизации Покровский кладет распространение в тот или иной период той или иной «иллюзии». Вся история нашей страны

[1] В. И. Ленин. Соч., XXIII, 160.
[2] История ВКП(б). Краткий курс, стр. 218.
[3] М. Н. Покровский. Октябрьская революция, стр. 380, 1929.
[4] Там же.

этих лет заключается, по Покровскому, в том, что большевики бросались от одной «иллюзии» к другой: от «пацифистских иллюзий» ударились в «угар милитаризации», «иллюзии» военного коммунизма вызвали «реакцию против военного коммунизма», — период первоначального нэпа с новыми «иллюзиями». В этом, по Покровскому, и заключалось важнейшее в положении пролетарской диктатуры и ее отношении к непролетарским элементам.

В периодизации Покровского сказалось его антиленинское понимание Октябрьской Социалистической революции, экономической политики диктатуры пролетариата, неправильное антимарксистское и антиленинское понимание соотношения экономики и политики. Периодизация Покровского идет вразрез с конкретными историческими фактами, она является надуманной схемой, исходящей из антиленинского понимания истории интервенции и гражданской войны. Кладя в основу своей периодизации распространение «иллюзий», при этом сконструированных им самим, Покровский скатывается к идеализму. Такая периодизация не имеет ничего общего с историческим материализмом.

Извращения, допущенные Покровским в вопросах истории интервенции и гражданской войны, наглядно вскрывают всю антимарксистскую, антиленинскую методологию и небольшевизм самого Покровского. В ошибках Покровского по разобранным вопросам совершенно очевиден механистический «экономический материализм» и идеалистическое толкование исторических событий. В ошибках Покровского сказалась его принадлежность к «левому» ликвидаторству в период реакции и особенно активное участие в контрреволюционной группе так называемых «левых коммунистов» в период Брестского мира. Сами же ошибки по вопросам интервенции и гражданской войны имеют преимущественно троцкистский характер.

Жестокая критика и преодоление ошибок Покровского являются необходимой предпосылкой для создания научной истории интервенции и гражданской войны.

А. В. ФОХТ

ОШИБКИ М. Н. ПОКРОВСКОГО В ВОПРОСАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

I

С момента основания в 1919 г. Государственного ученого совета при Наркомпросе (ГУС) до 1932 г. М. Н. Покровский был бессменным его председателем. Под его непосредственным руководством проходила вся научно-методическая работа Наркомпроса. В частности, при его личном участии вырабатывались программы по истории. Его книги долгое время были основными пособиями для учителей и учащихся. Поэтому для преодоления влияния антиленинских, антимарксистских исторических концепций Покровского чрезвычайно важно разоблачить также его ошибочные взгляды на вопросы преподавания истории.

«Зачем нужно заниматься историей? — пишет Покровский в одной из своих последних статей («Ленин и история»). — Многие думают, что совсем не нужно, — что нужно заниматься только современностью. Или что история служит только так, для развлечения, или, в лучшем случае для «поучения». Если сказать, что без некоторого исторического образования — как и без некоторого философского образования — нельзя быть марксистом, иной широко раскроет глаза. Еще недавно спорили, учить ли в школах истории или нет, хотя Ленин требовал этого самым настойчивым, самым неукоснительным образом».[1]

Да, совершенно правильно указано, что В. И. Ленин всегда настойчиво и неукоснительно требовал преподавания истории в нашей школе, правильно указание и на то, что, вопреки категорическому требованию В. И. Ленина, велись споры, изучать ли историю в школе, или нет. Но говоря об этом, Покровский забыл одну «маленькую» деталь, а именно, что именно он, Покровский, больше, чем кто-либо другой, повинен в этом антиленинском пренебрежении к преподаванию истории в нашей школе.

По вопросу о преподавании истории в советской школе у Покровского не было твердых, устойчивых взглядов. В первых программах по истории (1920) Покровский защищал историю как самостоя-

---

[1] «Историческая наука и борьба классов», вып. 2, стр. 284.

тельный предмет преподавания в школе и стоял за широкий систематический курс всеобщей и русской истории.

Когда же историк М. Н. Коваленский и автор антиленинской «теории» отмирания школы Шульгин выступили с левацким предложением полностью уничтожить преподавание истории и заменить ее изучением современности, Покровский согласился с ними и провел это вредительское предложение в жизнь. Поэтому в 1922—1923 гг. Покровский переходит на позицию полного отрицания истории как предмета школьного обучения. В это время вводится так называемое «комплексное обучение», сведшее на-нет все отдельные предметы преподавания. Обосновывая отмену преподавания истории и введение преподавания обществоведения, Покровский еще в 1926 г. писал: «Старая школа во всех областях, в том числе и в области изучения истории, ориентировалась на прошлое... Отсюда понятно, что история изучалась, как тогда говорили, систематически, начиная с самых древних времен... Разумеется, мы в таком порядке изучать историю не можем и не должны. Марксизм и ленинизм ориентируются не на прошлое, а на будущее».[1]

Отменив преподавание истории в качестве самостоятельного предмета, Покровский высказывается за изучение учениками 5—7 классов отдельных «картин» по истории. Эти «картины» мыслились только как средство для познания современности при сравнении с прошлым. По Покровскому, преподавание истории в 5—7 классах должно было ограничиться показом только этих не связанных между собою «картин», без соблюдения историко-хронологической последовательности и без какого бы то ни было разбора и обобщения исторических событий. К этому следует добавить, что в 1927 г. многие наши школы (семилетки) не имели 2-го концентра (8—9 группы), до которого Покровский откладывал изучение истории. Таким образом, выходило, что, даже формально соглашаясь на введение отдельного курса истории во 2-м концентре школ II ступени, Покровский фактически проваливал преподавание истории в советской школе, причем там, где были 8—9 группы, история изучалась схематически, абстрактно, как сухая «история общественных форм», а не как живая гражданская история.

Такое положение продолжалось до постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г., когда история была восстановлена в правах самостоятельного предмета.

II

В своем докладе «Схемы II ступени» в 1923 г. Покровский указывал, что «если мы присмотримся к истории вопроса о программах, то мы получим диалектическую триаду: теза, антитеза и синтез».[2]

[1] М. Н. Покровский. Об обществоведении во 2 концентре II ступени. Сб. «Вопросы школы II ступени», стр. 178. М., 1926.

[2] Новые программы для единой трудовой школы, в. I, 15, Гиз, 1923.

Разберем подробнее, как с помощью гегелевских «триад» Покровский излагает эволюцию программ по истории, и посмотрим, как на самом деле обстоял вопрос с программами.

«Первое, — говорит Покровский, — это был трудовой метод, когда признавался только трудовой метод обучения и не признавался метод изучения по книге, когда нужно было изучать все среди природы, в мастерской, а книга могла играть роль только последнего подсобного средства самой последней категории. По этому пути шли довольно долго, и когда я в 1918 г. предложил поставить на конкурс учебник по истории, то это было встречено улыбкой и указанием, что это крайне нелепая задача: зачем книга по истории? Будут учиться иначе, будут учить историю методом трудового изучения, будут даваться макеты, будут драматические воспроизведения моментов прошлого и т. д.».[1]

Покровский с этим согласился и стал ревностным проводником «трудового метода». Такая быстрая сдача позиций для Покровского чрезвычайно характерна: сперва он предлагает создать учебник и сразу же отказывается от своего предложения, соглашаясь на введение пресловутого «трудового метода».

С помощью гегелевской «триады» Покровский оправдывает уничтожение преподавания основ наук, произведенное «леваками» из Наркомпроса осенью 1918 г. Уже тогда некоторые ретивые члены коллегии Наркомпроса проповедывали изучение учениками капиллярности путем мытья пола грязной тряпкой, требовали полного самообслуживания школы во всех ее нуждах, стояли на антиленинской позиции — за отмирание школы. Естественно, что ничего, кроме полной ликвидации изучения основ наук, из этой вредной мелкобуржуазной утопии не могло выйти.

«Года через три оказалось, — продолжает Покровский, — что средств материальных и человеческих не достаточно для этого идеала и он воплощен быть не может. Естественно, произошла реакция».[2] Вот и все, что в 1923 г. смог Покровский сказать о левацких загибах Наркомпроса. Оказывается, все дело было будто бы только в недостатке материальных и человеческих средств, хотя и при любых условиях эта мелкобуржуазная утопия, в корне противоречащая марксизму-ленинизму, не могла быть проведена в жизнь.

Как же Покровский изображает эту «реакцию», этот новый «этап» в развитии школы. Вот что он пишет об этом: «Программа, разработанная Соцвосом два года тому назад, не только является программой совершенно книжной, но и имеет очень мало общего с трудовым методом. По крайней мере, в отношении программы по истории, в составлении которой я принимал деятельное участие, я не вижу, как связать ее с трудовой школой. Со школой — да, но при чем тут

---

[1] Новые программы для единой трудовой школы, в. I, 15, Гиз, 1923.
[2] Там же.

трудовая? Получилась программа книжная, правда, не бесполезная для учителя, поскольку она помогала разобраться в предмете. И эта программа стремилась оживить старые материалы, устаревшие до смешного, устаревшие до того, что только благодаря действительно бесконечной привычке можно было с этой устарелостью мириться. И польза известная была, но это по отношению к предыдущей стадии программы — антитезис».[1] Таким образом, по словам Покровского, программы 1920 г. являются «отрицанием» предыдущей программы. Непонятно только, как можно отрицать пустоту, так как никаких программ по истории в 1918—1920 гг. не было.

В 1920 г. были изданы отдельной книжкой «Примерные программы по истории для школ II ступени», разработанные Комиссией по преподаванию общественных дисциплин в школе II ступени. На этом документе, в составлении которого Покровский, по его словам, принимал «деятельное участие», необходимо остановиться подробнее.

Прежде всего естественно возникает вопрос, что же понимали составители программы 1920 г. под историей. На это дает ответ объяснительная записка к программе. «История должна преподаваться, — говорится в объяснительной записке, — как очерк исторической эволюции различных сторон человеческой культуры в их взаимной связи и обусловленности; школьное изучение истории должно быть введением в понимание исторического процесса развития и в понимание движущих сил этого развития, причем должно быть выяснено обусловливающее все стороны этого процесса значение экономической эволюции».[2]

Это какая-то социологическая галиматья. Живую гражданскую историю, т. е. конкретный исторический процесс классовой борьбы в определенной стране во всех ее многообразных формах записка подменяет богдановской «историей культуры». Самый исторический процесс берется вне классовой борьбы. Сказано только, что история культуры берется «как процесс развития», но не указано, что под этим подразумевается. На первое место выдвинуто «значение экономической эволюции». Это выпячивание только экономического фактора является типичным выражением пресловутого экономического материализма, на почве которого стояли меньшевики и от которого не освободился и Покровский.

Господство богдановско-меньшевистской методологии в программе 1920 г. отнюдь не случайно. Дело в том, что, кроме Покровского, авторами этих программ были заклятые враги рабочего класса: меньшевики Абрамович (один из лидеров II Интернационала), Денике (сподручный шпиона Бухарина и Гильфердинга) и Рубин, осужденный Верховным судом СССР в 1931 г. по делу меньшевиков. Эти

[1] Там же, стр. 15.

[2] Примерные программы по истории для школ II ступени, стр. 5. Гиз, 1920.

враги при попустительстве Покровского сознательно составили вредительскую программу 1920 г. Антимарксистская, антиленинская установка проявляется во всех высказываниях как объяснительной записки, так и самих программ. Меньшевики протаскивали свою установку решительно по всем вопросам. Антинаучная богдановщина — эта «философия мертвой реакции» — лежит в основе всех этих меньшевистских построений. В записке прежде всего всячески подчеркивается, что в основе истории лежит не классовая борьба, как учат Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин, а зоологическое приспособление человека. Авторы программы предлагали «дать фактически обоснованное и конкретное представление о закономерности процесса развития, коренящегося в особых формах приспособления к жизненным условиям, свойственным человеку как зоологическому виду, и приведшего к тому состоянию человеческого общества, которое дано нам в современности».[1]

Известно, что классики марксизма-ленинизма всегда предостерегали от перенесения биологических закономерностей в сферу общественных явлений, движущей силой которых является классовая борьба. Меньшевики же сознательно отбрасывали идею классовой борьбы и заменяли ее биологическими «формами приспособления». В этом, как видно, Покровский был с ними согласен. Известно, что еще в «Очерках истории русской культуры» Покровский пытался, например, вывести религию из биологического страха смерти, присущего будто бы всем животным.

Единый процесс общественной жизни меньшевики вслед за буржуазными социологами изображают в виде отдельных вертикальных разрезов, проходящих через все периоды истории. Вот что сказано в объяснительной записке в обоснование того, как надо преподавать историю культуры: «От древнейших каменных орудий до современной паровой, электрической и радио-техники; от первобытного коммунизма до проблемы превращения капиталистического хозяйства в социалистическое; от группового, стадного быта до современной государственной организации; от слабо оформленного до логического мышления, от простейшего анимизма до научного мировоззрения и сложности идеологий в нашем обществе, — таковы в самых общих чертах те вехи, которыми намечается многостороннее рассмотрение эволюции человеческой культуры».[2]

Что дает такая схема «многостороннего изучения эволюции человеческой культуры» взамен изучения гражданской истории? Она разрывает единый процесс гражданской истории на ряд отдельных изолированных частей и дает возможность в каждой из них проводить вредительские меньшевистские установки. В самом деле, что значит изучать технику вне ее зависимости от общественных отношений. Это

---

[1] Примерные программы по истории для школ II ступени, 5, Гиз, 1920.
[2] Там же.

значит стать на точку зрения самодовлеющего, независимого от экономики развития техники, т. е. на антиленинскую точку зрения врага народа Бухарина. А это в свою очередь приводит к буржуазному реставраторству. Впрочем, для господ Абрамовичей, Денике и Рубиных это только и было нужно.

В программе для детей в советском социалистическом государстве указывается эволюция от группового, стадного быта до «современного государства». При этом совершенно не указано, о каком же именно государстве идет речь — о буржуазном или социалистическом. В своей классической работе «Государство и революция» В. И. Ленин писал: «Марксист лишь тот, кто *распространяет* признание борьбы классов до признания *диктатуры пролетариата*. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного мелкого (да и крупного) буржуа».[1] Программа же ничего не говорит о диктатуре пролетариата. Конечно, все меньшевики во главе с Каутским ополчились тогда, как и сейчас, против диктатуры пролетариата. На то они и меньшевики, но странно и чудовищно то, что коммунист Покровский солидаризировался с ними и не включил в программу школ РСФСР изучение диктатуры пролетариата. Надо при этом отметить, что свой «Очерк истории русской культуры» Покровский строил как раз по таким же неправильным, антимарксистским, антиленинским вертикальным разрезам.

Вместо марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях, меньшевики излагают учения буржуазных ученых о фазах культуры и вредную богдановщину. Вместо конкретной истории излагается контрреволюционное учение о двух циклах развития человечества. «Первый представляет собою историю древности или древнюю, второй же до сих пор по традиции, основанной на уже изжитых наукой представлениях, разделяется на историю «среднюю» и «новую», но должен рассматриваться как единое целое... Параллелизм (в основном) обоих циклов должен быть использован при построении плана школьного изучения истории. Ознакомление со вторым циклом будет отчасти восполнять прослеженный на первом цикле очерк эволюции и в большей мере давать базу для более широких обобщений».[2] Объяснительная записка в заключение требует «освещения исторических данных в определенной связи и обусловленности с установлением функциональной зависимости всех сторон человеческой культуры от степени развития производительных сил и экономической организации».[3] В. И. Ленин в своей классической работе «Материализм и эмпириокритицизм» разоблачил эту «функциональную зависимость» Маха как разновидность идеалистического отрицания объективной причинной зависимости.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXI, 392.
[2] Примерные программы по истории для школ II ступ., стр. 7, Гиз, 1920.
[3] Там же, стр. 18.

Функциональная зависимость у меньшевиков имеет вполне ясный политический смысл. Если в истории господствует только фатальная функциональная зависимость, то людям нет никакой необходимости воздействовать на этот независимый от них слепой процесс развития истории.

В этих вреднейших «программах» имеется и статья Покровского: «Объяснительная записка к программе по новейшей русской истории в школе II ступени» (стр. 37—44). Покровский пытается здесь объяснить «величайший исторический переворот, какой когда-либо переживала Россия — революцию 1917 г.».[1] При этом Покровский допускает крупнейшую ошибку: вместо того, чтобы говорить о февральской буржуазно-демократической революции 1917 г., о процессе ее перерастания в социалистическую революцию и о Великой Октябрьской Социалистической революции, Покровский говорит о единой революции 1917 г., от свержения царизма до установления советской власти. Вся статья Покровского, кроме того, пронизана его излюбленной антиленинской теорией торгового капитализма. Он берет Россию вне системы мирового империализма. Покровский не указывает, что именно в конце XIX и начале XX вв. Россия делается объектом эксплоатации со стороны мирового империализма, становится средоточием империалистических противоречий, испытывает тройной гнет, — в том числе и гнет мирового империализма. Именно это и привело к тому, что «кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на империализм, кто восставал против царизма, тот должен был восстать и против империализма, ибо кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и империализм, если он в самом деле думал не только разбить царизм, но и добить его без остатка. Революция против царизма сближалась, таким образом, и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию пролетарскую».[2] Ни о чем подобном Покровский даже и не заикается.

Время Ивана IV названо в программе: «Кризис феодальных отношений в России». Далее идет «Смута». Авторы программы сохранили этот неправильный термин, ни словом не упомянув о крестьянской войне под руководством Болотникова. После «Смуты» дается «Возрождение феодализма» (стр. 29). Отсюда ясен меньшевистский источник терминологии о новых и старых феодалах, против чего протестуют товарищи Сталин, Жданов и Киров в своих Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР. В последнем разделе «Россия в XVIII в.» на первое место выделяется «Развитие торгового капитализма» (стр. 32). Программа истории новейшего времени ни слова не говорит ни о Парижской коммуне, ни о Коммунистическом Интернационале. О Первом Интернационале

[1] Примерные программы по истории для школ II ступ., стр. 37, Гиз, 1920.
[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 11-е изд., 5.

сказано только следующее: «Первый Интернационал. Прудонизм, анархизм и марксизм». Ни слова не сказано о ведущей роли Маркса — основателя и вождя Первого Интернационала. На первое место меньшевики выделили прудонизм и анархизм и только после них упомянули как о равноправном «течении» — о марксизме. Нет ни единого слова о непримиримой борьбе Маркса против прудонизма и бакунизма и о победе марксизма над этими враждебными пролетариату течениями. Больше того, в этой программе совершенно нет даже имени Маркса. И в то же время имеются такие имена: Прайс, Пен, Бональд, Де-Местр, Бенжамен Констан, Кобден, Лист, Ротшильды, Луи Блан и др.

Порочна самая конструкция программы по истории новейшего времени. В каждом разделе сперва даются социологические определения абстрактного характера, а затем уже конкретный материал. Таким образом, эта меньшевистская программа построена как раз обратно тому, что требуется от научной программы по истории.

Известно, что после подавления крестьянских восстаний 1861—1863 гг. началась правительственная реакция, связанная с именами шефа жандармов Петра Шувалова и министра просвещения Дм. Толстого. В своей программе Покровский подводит под эту реакцию мнимую экономическую базу и пишет: «Объективные условия: пореформенная экономика как реальное основание политической реакции 1866 г. и следующих годов» (стр. 46—47). Таким образом, по Покровскому, выходит, что реакционеры Шувалов и Толстой были будто бы выразителями развития капитализма, так как именно в 60—70-х годах происходит сильный рост промышленного капитализма. Далее, выделяется особая «эра Витте» (стр. 47). Зато вовсе нет ничего о «революции 1905 г.». А взамен этого сказано следующее: «Обострение рабочего движения в связи с войной, 9 января, октябрьская стачка и декабрьское восстание. Движение окраин: Польша, Финляндия, Кавказ. Пролетариат окончательно становится руководящей силой революции» (стр. 48).

По Покровскому выходит, что только в конце 1905 г. пролетариат становится руководящей силой в революционном движении. Сказать так, значит полностью извратить исторические факты.

Программы 1920 г. отличаются еще одной особенностью. Они вводят новый особый предмет — историю социализма. В ней указано, что русская революция, явившись результатом империалистической войны и краха капитализма (стр. 86),— начало мировой революции. Программа истории социализма не показывает, однако, что ленинизм является продолжением и дальнейшим развитием марксизма. Большевики упоминаются только один раз при расколе РСДРП, а большевизм дается только как один из равноправных оттенков социалистической мысли. Большевизм отнесен в раздел истории социализма в России. В разделе А, «Социализм на Западе», последняя треть курса названа: «Эпоха II Интернационала», причем нет указания на создание III Ком-

мунистического Интернационала, два конгресса которого уже состоялись и который в 1920 г. являлся важнейшим фактором мирового рабочего движения. В то же время программа заканчивалась таким разделом: «Итоги и основные типы европейской социалистической мысли в ее отношении к важнейшим вопросам программы и тактики» (стр. 86). И в этом важнейшем обобщении никакого места для большевизма не нашлось.

Какие же выводы можно сделать при рассмотрении программы 1920 г.? Разбор программы показал, что Покровский совершенно неправ, утверждая, что эта программа «старалась оживить старые материалы». Это неверно, она давала новый материал по сравнению с программой старой царской школы, но это были меньшевистские антимарксистские программы по истории, а не программы школы победившего пролетариата. Программы 1920 г., как показывает анализ их установок и подбора материала, не давали систематических исторических знаний. Наоборот, они давали только грубые и неверные социологические обобщения. Авторы программы — меньшевики Абрамович, Денике и Рубин — сознательно занимались вредительством и протаскивали через программы свои установки реставрации капитализма и прислужничества буржуазии. Эти программы не только не помогали учителю разобраться в предмете, но, наоборот, они запутывали его и подсовывали ему заведомо вредную меньшевистскую фальсификацию истории. К сожалению, эти вредные программы долгое время оставались руководящим материалом для нашей советской школы, и в этом — большая вина Покровского.

Следующий, третий «этап» разработки программ Покровский называет «синтезом». Покровский пишет: «Теперь получаем некоторый синтез. Изучение исходит не из среды природы, не заключает в себе трудовых методов, а проводится по книжкам и программам, которые имеют быть выработанными... В основу здесь положено изучение труда».[1]

И этим «синтезом» является вреднейшая комплексная система преподавания. Вот ее характеристика, данная самим Покровским: «В каждый комплекс должно быть внесено идейное содержание независимо от того, что представляет этот комплекс — деревню, электрификацию и т. д.» Именно на основе этого представления о комплексах, исключающих преподавание отдельных предметов и объединяющих их в одно целое, и была построена пресловутая комплексная программа-схема ГУС по трем столбцам. В школе I ступени она строилась по таким столбцам: 1) Природа и человек, 2) Труд, 3) Общество. В первом концентре школы II ступени столбики были такие: 1) Природа, ее богатства и силы, 2) Использование этих богатств и сил человеком (трудовая деятельность людей), 3) Общественная жизнь. В докладе о схемах программы II ступени Покровский предлагал:

[1] Новые программы для единой трудовой школы, в. I, 15—16, 1923.

«Читать эту схему, по моему мнению, нужно справа налево, как читается на восточных языках, например, на арабском, и тогда основной колонной является история».[1] Однако в школе история должна была проходиться согласно «комплексам», как они напечатаны в программе, и, таким образом, от истории ничего не оставалось, кроме не связанных между собою отрывков.

В основу всех комплексов Покровский предлагал положить изучение только сельского хозяйства. «Смена форм сельского хозяйства дает стержень прежде всего для объяснения диалектики семьи, затем «общественных классов (рабство, крепостничество, батрачество, фермерство и соответствующие формы крупной собственности)»,[2] — пишет Покровский. В слепой «власти земли» Покровский находит удобный метод объяснения исторического процесса. Отправным пунктом для изучения истории служит не развитие различных общественно-экономических формаций, а развитие различных форм земледелия. При такой схеме Покровского реальный исторический процесс совершенно извращается.

Вся эта пресловутая система комплексов целиком противоречит основам советской педагогики и является отрыжкой буржуазного влияния, в особенности вреднейших теорий Богданова. Если детально просмотреть все схемы тогдашних комплексов, то одна сторона их бросается в глаза. Не говоря уже о порочности самого комплексного метода, следует сказать, что все эти комплексы, основанные на изучении «форм сельского хозяйства», вредительски игнорировали ленинский план социалистической переделки деревни, они игнорировали указания В. И. Ленина на то, что спасение деревни возможно только через развитие крупной машинной общественной обработки земли. Комплексы Наркомпроса стремились, наоборот, увековечить мелкотоварное, мелкобуржуазное единоличное хозяйство. Комплексы заслоняли и скрывали от детей и педагогов перспективы строительства социализма в Советском Союзе.[3]

В докладе о схемах II ступени Покровский говорил, что «колонка истории наиболее нова и вызывает наименьшие споры (?). Я называю эту колонку исторической, хотя она заключает и общественные науки

---

[1] Там же, стр. 16.

[2] М. Н. Покровский. Марксизм в школе, стр. 4, тез. 6.

[3] Существовал комплекс, построенный на изучении свиньи. Сперва изучалась свинья с биологической точки зрения. Это первый столбик или колонка схемы программы ГУС под названием «Природа и человек». Затем переходили к изучению значения свиньи в крестьянском единоличном хозяйстве и к уходу за нею. «Свинья — крестьянская копилка» — это второй столбик или колонка схемы программы под названием «Труд». И в заключение изучалось единоличное крестьянское хозяйство. Это третий столбик или колонка схемы программ под названием «Общество». Такой комплекс одно время был в школах Москвы. Не говоря уже о нелепости и вредности этого комплекса, он доставлял непреодолимые трудности для проведения в школе, поскольку реального объекта для изучения и примерного ухода — живой свиньи — в школах Москвы не было.

в целом».[1] Обосновывая уничтожение в школах преподавания истории как самостоятельного предмета, Покровский вслед за меньшевиками указывает, что деление истории на древнюю, среднюю и новую «теперь бессмысленно до ужаса» и должно быть отброшено. «В основу программы по изучению истории должна быть положена эволюция трудовых процессов, и так как примитивной формой труда является сельское хозяйство, то на первую очередь надо поставить изучение крепостного хозяйства. Это наиболее древний строй хозяйства».[2] Как мог историк Покровский утверждать, что наиболее древним строем хозяйства является крепостное хозяйство, т. е. феодализм?

Нарком просвещения Луначарский в своем выступлении выявил основную политическую ошибку всех этих комплексных программ. Он говорил следующее: «В основание первого концентра (II ступени) положено изучение земледельческой добывающей промышленности. Поэтому все законы природы и все науки о природе приноравливаются к крестьянскому взгляду на вещи, к земледельческому взгляду, и только поскольку они входят сюда».[3] Эти политически неверные взгляды абсолютно расходятся с требованиями программы партии по вопросам просвещения. В программе партии мы читаем: «...Школа должна быть... проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм».[4] Вместо этого Наркомпрос своими комплексными программами и практикой преследовал в 1923 г. совершенно обратную цель. Все воспитание рекомендовалось строить на изучении деревни, крестьянского двора, личного опыта своей волости. «Своя деревня, конкретный крестьянский двор, совхоз, общественность своей деревни, своя волость, свой район и пр. в связи с жизнью всей страны (других деревень, районов и пр.) должны быть прежде всего пристально изучены и взяты в таком политическом подходе, чтобы всегда неотступно ставилась проблема: как строить новую советскую деревню здесь, в данных конкретных условиях». И для того, чтобы рассеять малейшее сомнение в антиленинском взгляде на деревню и на крестьянство, программа указывает следующее: «Основной подход к миру сельскохозяйственного производства, к миру земли, самая сердцевина постановки вопроса определяются следующими словами К. Маркса: «Основой всякого развитого и обусловленного товарным обменом разделения труда является разграничение между городом и деревней. Можно сказать, что вся история общества построена на движении этой противоположности».[5]

[1] Новые программы для единой трудовой школы, в. I, 16.
[2] Там же.
[3] Там же, 6.
[4] Программа и устав ВКП(б), стр. 28—29. Госполитиздат, 1938.
[5] Новые программы для единой трудовой школы, вып. I, стр. 104. Перевод приводится, как он дан в этой программе. Точный перевод см. Маркс и Энгельс. Соч., XVII, 388.

Следует вдуматься в то, что говорит Маркс и как его цитируют прожектеры из Наркомпроса. Маркс дает чрезвычайно важное указание о всей истории классового общества. В программе же Наркомпроса речь идет о советской деревне, ученикам ставится даже задача переустройства нашей советской деревни, а в качестве подхода к советской деревне, т. е. к деревне диктатуры пролетариата, берутся слова Маркса о деревне при капитализме. Этот пример извращения Маркса — яркий образчик того, как наркомпросовские прожектеры пытались прятаться за цитаты из Маркса, Энгельса и Ленина. Следует критически остановиться на том, как разработаны исторические части этого комплекса. В основе его лежит абсолютно неверное положение, будто феодализм является «наиболее древним строем хозяйства» (Покровский). Поэтому историческая часть комплекса первого года II ступени, т. е. 5-е группы, включала в себя историю крестьянства, начиная с крепостного права в России и до Октябрьской революции. В 5-й группе проходились всего две исторические темы: «Крепостное право в России XIX в.» и «Реформа и развитие сельского хозяйства в России». Необходимо указать на порочную конструкцию программы. Сперва изучалось крестьянское движение 1902 и 1905 гг. без всякого указания на развитие рабочего движения и роль пролетариата как руководителя крестьянства, совершенно без указания на развитие капитализма в сельском хозяйстве, на борьбу крестьян против остатков крепостничества в сельском хозяйстве. Затем в 6-й группе проходилось развитие капитализма и развитие рабочего класса России вплоть до Октябрьской революции.[1] И уже в 7-й группе проходился империализм.[2] Но ведь Великую Октябрьскую Социалистическую революцию невозможно понять без изучения ленинской теории империализма. Точно так же роль крестьянства в революции 1905 г. непонятна без изучения революционной борьбы российского пролетариата, который был вождем крестьянского движения в 1905 г. В программе совершенно не дается ленинско-сталинский кооперативный план переделки деревни на социалистический лад. Кооперация трактуется политически ошибочно, как это делал враг народа Бухарин.

В 6-й группе изучалась история революции 1905 г. И вот какие требования предъявляла программа к этому важному разделу истории: «Революцию 1905 г. изучать, насколько позволит время, конкретнее и подробнее. Дать живую характеристику государственного строя и идеологической динамики различных классов». Это стоит в столбце: «выводы и достижения». Но программа ни слова не говорит о борьбе большевиков за перерастание буржуазно-демократической революции 1905 г. в революцию социалистическую. В 1924 г. была издана работа товарища Сталина «Об основах ленинизма», где был специально выделен этот важнейший вопрос революции 1905 г. Как

---

[1] Программа для первого концентра школ II ступени, стр. 28—29, Гиз, 1925.
[2] Там же, 32—33.

раз в 1924 г. особенно остро шла борьба партии против контрреволюционного троцкизма именно по этому вопросу. Но составители программы Наркомпроса сознательно смазывали эти важнейшие задачи. В 6-й группе должны были изучаться первые декреты советской власти. Что же, по предложению автора программы, должны были получить дети в результате этого изучения? Оказывается, «не изучение документов, а живой властный голос рабочих и крестьян должен быть услышан в этой теме». Такие многословные, напыщенные формулировки в программе имеются, но зато в ней нет ни слова о том, что у нас в СССР — диктатура пролетариата, опирающаяся на союз с трудовым крестьянством.

Покровский не только не протестовал против этих вредительских установок комплексной программы, но требовал ее осуществления. «Нам пора все-таки не только говорить о комплексах во II ступени, но и осуществлять их там, где это возможно, где это само собой напрашивается. Говоря о промышленном перевороте, т. е. о переходе ручного производства к машинному, как не сказать, что такое машина, и не связать историю с соответствующими отделами физики? А заканчивая эту главу, как не дать кое-каких сведений из политэкономии, которая недаром и зародилась ведь в эпоху промышленного переворота? Адам Смит не случайно был современником Джемса Уатта».[1]

Никто никогда не отрицал необходимости при изучении промышленного переворота изучать и развитие машины и возникновение парового двигателя, а также излагать зарождение политэкономии. Но другое дело ставить все изучение физики и политической экономии в зависимость от проходимого курса истории и наоборот. Ведь тогда курс современной физики пришлось бы раздирать на кусочки и проходить его отдельными и не связанными между собою частями. Такой метод не давал ученикам реальных знаний ни по истории, ни по физике, ни по политэкономии.

В докладе «Марксизм в школе» Покровский дает пример комплекса из истории Франции начала XX в. (1900—1914 гг.). И этот пример нагляднейшим образом показывает коренной порок всей комплексной системы преподавания — ее полную антиисторичность. Известно, что именно в 1900—1914 гг. империалистическая Франция бурно развивала свою металлургическую промышленность и превращалась в крупнейшую металлургическую, т. е. индустриальную, страну. По мнению Покровского, все эти изменения в экономике и политике Франции «сделало химическое открытие Томаса — Джилькриста (переработка железных руд, богатых фосфором, — *А. Ф.*) в 80-е годы XIX в.»[2] «В конечном счете технический фактор определил не только экономику, но и политику страны».[3]

---

[1] Обществоведение в трудовой школе. Сб. I, 8.
[2] М. Н. Покровский. Марксизм в школе, стр. 15.
[3] Там же, 15—16.

Покровский как экономический материалист ухватился за это свое антимарксистское богдановское утверждение о примате техники над экономикой и повторяет его постоянно в своих работах как классический пример комплекса. В докладе «Марксизм в школе» он прямо ссылается на свою статью об этом комплексе (см. журнал «На путях к новой школе», 1924, № 1).

Анализ комплексного метода обнаруживает его корни в богдановщине с пресловутой «всеобщей организационной наукой», этой типичной лженаукой, разоблаченной в свое время В. И. Лениным и партией. Не случайно увлечение Покровского комплексным методом: после революции 1905 г. Покровский одно время был идейно и организационно близок к Богданову, этому признанному вожаку российских махистов и богостроителей. К группе последователей Богданова принадлежал и Луначарский.

III

Комплексный метод и дальтон-план господствовали в школе с 1922—1923 гг. В 1929—1930 гг. комплексный метод был заменен методом проектов. Все эти извращения были осуждены постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. как антиленинские. Комплексный метод был явно вредительским, так как он совершенно не давал учащимся знания основ наук. Наоборот, он приучал их скользить по поверхности явлений и ограничиваться общими рассуждениями. Он насаждал неграмотность, прикрытую громкими пышными фразами. В частности, на примере вышеуказанных комплексов Покровского видно, что они не давали ученикам никаких конкретных знаний — ни исторических, ни физических, ни экономических.

В 1926 г. Покровский высказался за восстановление преподавания истории как самостоятельного предмета во втором концентре II ступени, т. е. в 8 и 9-й группах. В 1927 г. были выпущены программы по истории для этих классов. В этих программах особенно ярко сказывается схематический социологизм. Вот, например, программа по истории Запада для 8-й группы. Она охватывает следующие разделы: I. Феодализм, II. Город, III. Торговый капитализм, IV. Промышленный капитализм и буржуазная демократия, V. Утопический и научный социализм, VI. Национальное рабочее движение, II Интернационал, его крушение. В первом разделе нет ни одного указания на конкретное историческое событие, нет ни одной страны, ни одной даты. Весь раздел написан в таком совершенно абстрактном стиле: «Экономика феодальной эпохи. Преобладание земледелия. Примитивность техники. Преобладающий натуральный характер всего хозяйства. Узость и замкнутость рынка. Состояние ремесла».

Во втором разделе программы «Город» имеется несколько более конкретный подход, здесь сказано: «Классовая борьба в городе: а) борьба города с феодалами — Франция, б) борьба внутри города: средние и низшие классы против патрициев — Новгород и немецкие

города, античные города; низшие против средних — Фландрия, Флоренция, Новгород». Этот курс полностью нарушает хронологическую последовательность событий: в один отдел исторического курса попадают и античные города и Новгород. Крестьянские движения всех стран и народов объединены. Вот что об этом сказано: «Влияние развития торгового капитализма на положение земледельцев (закрепощение и дифференциация). Реакция со стороны крестьянства на эти явления. Жакерия. Уот Тейлор, гуситские войны, крестьянские войны в Германии, разиновщина в России, хмельнитщина». Таким образом, в одну главу попадают события XIV и XVII столетий из истории Франции и Украины. Ясно, конечно, что при таком построении курса никакого конкретного представления об исторических событиях у учеников получиться не могло. Но еще более непонятен был для учеников отдел о государстве торгового капитала. Таковыми по программе являлись: «Людовик XIV и русский абсолютизм XVIII в. Парламент в Англии XVIII в.» Ставить знак равенства между дворянской сословной монархией Людовика XIV и виговским парламентом Англии это опять-таки значило нарушать исторический подход к событиям. Погоня за социологическими схемами привела к тому, что совершенно выпали французская буржуазная революция 1789 г. и немецкая реформация XVI в. О реформации в программе вообще нет ни слова. А о французской буржуазной революции 1789 г. упоминается так: «Необходимость устранения этих препятствий революционным путем. Создание революцией необходимых для промышленного развития условий». Таким образом, мы видим, что, даже и согласившись на введение курса истории, Покровский способствовал подмене конкретного исторического курса голой социологической схемой.

Программа по русской истории составлена по книге Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». Она делит весь курс на следующие разделы: 1. Буржуазный либерализм и радикализм. 2. Народническая революция. 3—4. Пролетарская революция. 5. Русский империализм. Эта программа сразу же показывает порочность схемы Покровского, так как одни и те же события ученикам приходилось изучать трижды. В первом разделе давалась история капитализма в России, но без изучения борьбы рабочего класса. В этом разделе ученики изучали события от конца XVIII в. (от Радищева) до революции 1917 г. Во втором разделе («Народническая революция») ученики проходили снова те же события от первой четверти XVIII в. тоже до 1917 г. И, наконец, в третий раз они проходили эти же события в 3—4 разделах, под названием «Пролетарская революция». В результате такого социологического дробления у учеников, разумеется, не могло создаться цельного представления об исторических событиях. Например, сперва ученики изучали программы буржуазных партий 1905 г., так как в программе говорилось: «Разобрать программу кадетов и ответить, можно ли ее назвать демократической. Сравнить кадетскую программу с программой Пестеля». Затем во

втором разделе ученик снова возвращался к революции 1905 г., так как в программе сказано: «Разобрать лозунги крестьянских революций в 1905 и 1917 гг.». Но в разделе о пролетарских революциях вовсе нет указаний на революцию 1905 г.

Чрезвычайно характерно для Покровского освещение февральской буржуазно-демократической революции. В программе сказано: «Февральская революция как образчик рабочей революции, использованной буржуазией». Это троцкистское определение совершенно расходится с определением февральской революции 1917 г. Лениным и Сталиным как революции буржуазно-демократической. Неправильно изображается и борьба большевиков за массы, в частности за крестьянство против эсеров и меньшевиков в 1917 г. В программе сказано: «Борьба лета 1917 г. как продолжение борьбы предвоенных годов против мелкобуржуазных и нереволюционных влияний на пролетариев».[1] Но ведь это совершенно не то, что говорит об этом товарищ Сталин: «История этого периода (до февральской революции. — *А. Ф.*) есть история борьбы кадетов (либеральная буржуазия) и большевиков (пролетариат) за крестьянство».[2] О борьбе 1917 г. от февраля до октября товарищ Сталин говорит следующее: «История этого периода есть история борьбы эсеров (мелкобуржуазная демократия) и большевиков (пролетарская демократия) за крестьянство, за овладение большинством крестьянства».[3] Как мы видим, товарищ Сталин качественно различает эти два периода. Это и понятно, ибо в первом случае мы имеем дело с крестьянством на этапе подготовки буржуазно-демократической революции, а во втором — во время подготовки пролетарской революции. В эти периоды тактические лозунги большевизма по отношению к крестьянству были различны. Но Покровский ничего этого не хочет замечать, захваченный своей троцкистской схемой.

В качестве объяснительной записки 1917 г. к программе по истории России Покровский счел возможным перепечатать свою антимарксистскую объяснительную записку 1920 г., которую мы разобрали выше.

Таким образом, анализ программ по истории 1927 г. вскрывает всю ошибочность воззрений Покровского на исторический процесс. Самая конструкция программы 1927 г. и по истории Запада и по истории России противоположна тем требованиям, которые всегда ставили Ленин и Сталин перед школьным преподаванием истории и которые изложены в постановлении Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) о преподавании гражданской истории в школах СССР (16 мая 1934 г.). Вместо связного изложения гражданской истории программы 1927 г. дают отвлеченные, социологические схемы, с абсолютным нарушением историко-хронологической последовательности событий. Ника-

[1] Программы и методические записки единой трудовой школы, вып. V, 2 концентр II ступени, стр. 19. 1927.
[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 11-е изд., 37.
[3] Там же, 40.

ких конкретных исторических событий программа не дает, исторические деятели в ней совершенно отсутствуют, нет и вождей пролетариата, Ленина и Сталина, но зато приводится предсказание Александра II и Витте о неизбежности падения Российской империи одновременно с торжеством революции. Таким образом программы 1927 г. отражали целиком антимарксистскую, антиисторическую концепцию Покровского.

IV

Когда в наших вузах леваки начали снимать лекционные курсы и заменять их только практическими занятиями, Покровский приветствовал это и провел через ГУС учебные планы вузов, построенные на этом принципе. Во вступительной лекции к курсу «Борьба классов и русская историческая литература» в 1923 г. он говорит следующее: «Самый способ вашей работы, живой и активной работы, а не мертвого слушания лекций, — этот способ и является наиболее ценной особенностью новой школы, из чего вы можете заключить, что мое появление на этой кафедре отнюдь не составляет необходимой части этой новой школы общественных наук. Несомненно, что я и всякий другой лектор, читающий лекции сотням людей, — это, конечно, остаток старой школы в новом коммунистическом университете. Это нечто вроде остатка хвоста у человека, инструмент в значительной степени ненужный. ...К у р с м ы д е р ж и м н а в р е м я б е з л е к ц и о н н о е, когда ваши самостоятельные а к т и в н ы е з а н я т и я будут заполнять все время, и когда ваше образование будет делом ваших собственных рук, только п р и п о м о щ и (разрядка Покровского) старших товарищей. Это — тот идеал, к которому мы должны стремиться».[1]

В 1925 г. на IV конференции партшкол и комвузов Покровский выступал с защитой этого взгляда. Ключ был найден в пресловутом дальтоновском методе, в этом архииндивидуалистическом буржуазном методе воспитания. Вот что говорил Покровский в своем выступлении на конференции: «Несомненно, что в так называемом дальтоновском плане и лабораторном методе мы нашли наиболее совершенный способ приобретения реальных конкретных знаний в нашей обстановке с нашими студентами».[2]

Известно, что дальтон-план предполагает только индивидуальные, вполне самостоятельные занятия учеников и вовсе отрицает лекции, совместные занятия, классы, расписания и т. д.

Но не прошло и полутора лет, как в 1926 г. на V методической конференции преподавателей совпартшкол Покровский выступает с горячей защитой лекций. Он отказывается от прежнего своего без-

---

[1] М. Н. П о к р о в с к и й. Историческая наука и борьба классов, в. I, 9.

[2] IV конференция партшкол и комвузов, стр. 24.

лекционного идеала, курс на осуществление которого он держал и проводил в качестве заместителя наркома просвещения во всей системе народного образования. Вот что он говорил: «Конечно, это предполагает лекции как толкование фактов, как связь между фактами. Вот почему я являюсь может быть большим сторонником лекций и большим представителем лекционной реакции. Лекции совершенно необходимы, товарищи, что нужно помнить, потому что если вы познакомите учащихся только с этими фактами, то они будут знать, над чем размышлять».[1] Выступая на этот раз в качестве защитника лекций, которые он перед тем систематически уничтожал, Покровский сейчас же спешит оговориться: курсы должны быть очень краткие, очень небольшие.

Из приведенных высказываний Покровского видно, что в вопросах методики преподавания истории в вузе он постоянно колебался. По существу же он все время оставался противником систематического курса лекций как основного метода преподавания. Он был сторонником только самостоятельных практических занятий студентов.

Эти неверные взгляды Покровского на преподавание в вузах осуждены постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) о высших учебных заведениях (1936), где вскрыта ошибочность «семинарского метода», сторонником которого был всегда Покровский.

V

Долгие годы Покровский был единственным признанным авторитетом в вопросах преподавания истории. Его выступления и статьи носили директивный характер. Все его указания должны были беспрекословно проводиться в жизнь.

Учитель истории, читая до 1934 г. многочисленные противоречивые высказывания Покровского, был в полном недоумении: ограничиваться ли ему одними иллюстрациями, или излагать ученикам связно исторические факты и давать их анализ. Как строить рассказ? Излагать ли систематически целый курс с соблюдением историко-хронологической последовательности событий, или ограничиваться только одним вступительным рассказом к занятиям учеников по дальтон-плану и заключительным словом? Делать разбор и обобщение исторических событий (рассуждать) Покровский запрещал.

Долгие годы учебником по истории СССР в школе была «Русская история в самом сжатом очерке» Покровского. Учителю этот учебник давал совершенно неправильные установки. Вторая часть книги Покровского была построена по такому плану: сперва идет изложение только экономической истории (раздел под названием «Промышленный капитализм»), затем раздел «Крепостническое государство» и после него — «Революционная буржуазия». Этот раздел

[1] Вопросы преподавания исторических дисциплин, стр. 132. М., 1926.

начинается чрезвычайно характерными словами: «До сих пор мы изображали развитие народного хозяйства и государственных форм так, как если бы этот процесс шел совершенно гладко, не натыкаясь ни на какие препятствия, без сучка, без задоринки, что называется».[1] Изложив историю революционной буржуазии, Покровский переходил к разделу «Народническая революция» и заканчивал эту часть разделом «Рабочее движение». Это искусственное разделение живого единого процесса истории приводило, как признает и сам Покровский, к извращенному представлению об историческом процессе. Покровский строил рассказ с полным нарушением хронологической последовательности. Вследствие такого плана ученик сперва узнавал об отмене крепостного права, затем знакомился с конкретными формами крепостнической монархии, вплоть до начала царствования Александра III, после чего опять возвращался назад к крестьянским движениям, начиная с движения Пугачева. Вследствие этого отмена крепостного права — важнейшее событие в истории России XIX в. — сперва изображалась как сделка между торговым капиталом и промышленным, затем излагались реформы 60-х годов и давалась характеристика самодержавного строя Александра II, и только в разделе «Народническая революция» излагалась борьба Чернышевского за крестьянскую революцию. Таким образом, одно историческое событие разделено на три части, совершенно не связанные между собой. Хронология при этом, конечно, полностью нарушается. Например, сперва ученики узнавали об отмене крепостного права, т. е. о событии 1861 г., а затем, спустя некоторое время, узнавали о восстании Пугачева, который как раз и боролся против крепостного права. Такая система изложения приучала к полному пренебрежению хронологической последовательностью событий.

Да собственно и исторических событий-то нет никаких, — учил Покровский, — они не имеют ничего общего с действительностью: «Эти подвиги были заштемпелеваны целым рядом хронологических дат, которые неукоснительно спрашивали у учащихся. Эти хронологические даты также не имеют ничего общего с какой-либо действительностью».[2]

Только по настоянию В. И. Ленина Покровский снабдил свой учебник синхронистическими таблицами, но таблицы эти были совершенно не связаны с содержанием учебника.

Другой важнейшей ошибкой учебника, как и всех исторических работ Покровского, являлось отсутствие показа героической борьбы русского народа и народов СССР против интервентов за свою независимость.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, стр. 105, 1933.

[2] М. Н. Покровский. Историзм и современность в программах школ II ступени, стр. 5.

Покровский целиком игнорировал роль исторических деятелей. Он требовал показа народной массы без ее вождей, которым в схеме Покровского нет места. Да и масса рабочих и крестьян у него обезличенная. И это не случайно. В своем выступлении на методической конференции в 1926 г. преподавателей совпартшкол Покровский очень сочувственно отозвался о меньшевистской концепции проф. Переверзева, говоря, что «никакой индивидуальности в литературе не существует. Чтобы понять творчество Байрона, нужно взять описание жизни английского аристократического общества, как личности Байрона нет, Пушкина тоже нет».[1]

Неверный методологический подход к роли личности в истории приводил Покровского к ошибкам при характеристике исторических деятелей. Эти же его ошибки сказывались и в показе исторических деятелей на уроках в школах.

VI

В 1926 г. Покровский с большими оговорками согласился на восстановление преподавания истории в нашей советской школе. Ни одного слова не сказал Покровский об образовательном и воспитательном значении изучения истории. В своем докладе «Историзм и современность в программах школ II ступени» он всячески старался ограничить объем исторических курсов в школе II ступени. Древность и феодализм он предлагал изучать только социологически. Вводя изучение феодализма социологически в виде голой схемы, Покровский тем самым не вооружал подрастающее поколение конкретными знаниями истории феодализма в Англии, Франции, России и Китае.

Покровский предлагал начинать изучение истории в школе II ступени только с эпохи первоначального накопления. Чрезвычайно характерна мотивировка этого предложения: «Это тот момент, глубже которого спускать историческое изложение не стоит, ибо мы только загрузим головы детей массой исторического материала, малоценного, в значительной степени фиктивного, легендарного».[2]

Мотивом введения преподавания истории Покровский выставлял «необходимость подкрепить курс обществоведения... серьезным историческим курсом, который должен быть возвращен на свое место в виде настоящего исторического курса».[3] Таким образом, история только вводилась как подсобный материал для обществоведения.

Произведенный нами разбор методических взглядов Покровского показывает их антиленинский характер. Бросается также в глаза полная неустойчивость методических взглядов Покровского, его постоянная «качка», частая смена взглядов, «принципиальных установ-

---

[1] «Вопросы преподавания исторических дисциплин», стр. 196.
[2] М. Н. Покровский. Историзм и современность в программах школ II ступени, стр. 14.
[3] Там же, 10.

вок». Начав в 1920 г. с утверждения курса истории, Покровский в 1922—1923 гг. требует изъятия этого курса из школьных программ, борется против преподавания истории, соглашается на введение небольших курсов истории ближайших к современности эпох и, наконец, в статье «Ленин и преподавание истории» негодует по адресу тех, кто был против преподавания истории.

Основная методологическая ошибка Покровского ясна. Он был последователем экономического материализма, а не марксизма-ленинизма. Знание исторических фактов не дало ему подлинных ленинских знаний исторической перспективы, что и приводило его к постоянной смене своих исторических взглядов и методических установок.

Когда мы теперь подходим к «истории» преподавания в нашей школе курса истории, мы должны со всей определенностью установить, что главным виновником невыполнения неустанных требований В. И. Ленина и И. В. Сталина о введении преподавания истории, был именно Покровский; это он покрыл своим авторитетом развал леваками-вредителями преподавания в нашей школе.

В декабре 1920 г. В. И. Ленин писал: «Составить программу (если таких программ еще нет, то повесить Луначарского) по годам: Коммунизм, история вообще, история революций, история революции 1917 г.».[1] Это прямое указание Ленина не было выполнено Покровским. Взамен этого под его покровительством развилось левацкое прожектерство, ликвидировавшее преподавание истории как науки, чем и пытались воспользоваться враги народа. Только историческое решение Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. поставило преподавание истории на большевистские рельсы. Разоблачение антиленинских методических взглядов Покровского на преподавание истории должно помочь школьным работникам окончательно выкорчевать остатки ошибок, допущенных в этом важнейшем деле.



[1] В. И. Ленин. Соч., XXX, стр. 418.

20 руб.